Галина НИКОЛАЕВА

2

Галина
НИКОЛАЕВА

Собрание
сочинений

Галина НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений в трех томах



Москва
«Художественная литература»
1987

Галина НИКОЛАЕВА

Собрание сочинений
Том второй

БИТВА В ПУТИ

Роман



Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84Р7
Н63

Составление Собрания сочинений
М. САГАЛОВИЧА

Научная подготовка текста
и комментарии к настоящему
Собранию сочинений
А. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Н $\frac{4702010200\text{-}278}{028(01)\text{-}87}$ подписное

БИТВА В ПУТИ

Роман

Максиму — другу, которому
я обязана и жизнью,
и возможностью окончить
эту книгу.

Глава I

МАРТОВСКАЯ НОЧЬ

Все было необычно в эту ночь, но невероятное воспринималось как должное, а обыкновенное вдруг поражало своей противоестественностью.

К ночи скопище людей на улицах не уменьшилось, а разрослось. Беспорядочная людская лавина, захлестнув и мостовые и тротуары, безостановочно катилась в одном направлении; оттесненные ею машины едва ползли вдоль обочин узкой цепью, одна к другой, осторожно, покорно, в строгом порядке.

Безжизненные жестянки ослепших светофоров висели не мигая, и не они, а иная сила направляла движение в одну сторону — к центру.

Народная лавина была слишком молчалива и трагична для демонстрации, слишком стремительна и беспорядочна для траурного шествия.

Слово «смерть» стояло в воздухе, но слово это, обычно связанное с торжественной неподвижностью, в этот раз вызвало движение, подобное обвалу.

С разных сторон, из разных домов, переулков, улиц шли и бежали люди и группы людей, обгоняя друг друга.

— Сколько людей?! Тысячи?.. Миллионы? — сказал Вальган, и голос его глухо прозвучал откуда-то из-за окна машины.— Величье жизни — величье смерти!..

Они ехали по Садовому кольцу, и ЗИС, стиснутый людским потоком, двигался медленно, с частыми остановками. Оконные стекла были опущены. Вальган высунул голову в окно так, что Бахирев мог видеть только его темный затылок, беспокойно вертевшийся то вправо, то влево. Бахирев сидел окаменев, засунув сжатые кулаки в карманы, и глядел на улицу сосредоточенным, неподвижным взглядом. Массивные плечи его темнели глыбой, и только трубка слабо попыхивала в полусвете.

Ночь дышала весной и пахла ледоходом. Ветер был порывист, изменчив и влажен, словно только что кружился над вздыбленными льдинами, над бурлящими, черными разводьями.

Москва была светла, но непривычные переливы цветных огней играли вдоль улиц, а ровное, мертвенное, голубоватое сияние поднялось высоко над центром столицы. Лучи ли мощных юпитеров омертвевали, дробясь в ночном тумане? Или сам воздух светился небывалым, кладбищенским светом?

«Фосфоресцирующий туман»,— подумал Бахирев.

— Смотри!— сказал Вальган, повернув голову. Резкий профиль его отчетливо вырисовывался в квадрате окна, большой глаз блестел в полумраке кабины.— Стихия! Где, когда еще увидишь такое?! Смотри же, Дмитрий Алексеевич, смотри!

Бахирев протянул в окно раскрытую ладонь. Что-то влажное и холодное коснулось кожи. Зима ли, утратив силу, прощалась с землей последними, вялыми, тающими в воздухе снежинками, весна ли первыми редкими и робкими дождевыми каплями нерешительно прощупывала темную землю?..

Люди шли вплотную к ползущей машине, обгоняя ее. То одно, то другое лицо, словно выхваченное из толпы и вставленное в рамку автомобильного окна, двигалось вровень с ЗИСом, и обрывки фраз звучали совсем рядом.

Пожилые женщина и мужчина шли, тесно прижавшись друг к другу. Подняв залитое слезами лицо, женщина говорила:

— Мы привыкли: победа — это он! Гидростанция — это он! Лесные полосы — это он! Как же без него?

Эти двое ушли вперед, и теперь генерал в зимней форме, в шапке серого каракуля поравнялся с окном. С ним шли две девочки.

— Папа, его похоронят завтра, а что будет послезавтра?— спрашивала девочка.

— Будем жить, дочка...

— Папа, это все правдашнее или как в театре? А это кто? Папа, кто?

— Не знаю... Не знаю...

На середину улицы вышла колонна людей. Они были в простых штатских пальто, лица их были жестковаты, тверды, как у старых рабочих, но шли они по-военному, плотным, молчаливым строем. Траурное знамя неподвижно свисало над головой ведущего.

— Что? Кто?— теребила девочка генерала.

— Не знаю... Не знаю...

Они шли суровым строем, под намокшим в тумане знаменем. И сам собой пристраивался к их строю ряд за рядом. Они уходили, словно вовлекая и втягивая народ в свое четкое, твердое движение.

И вдруг со всего маху врезался в тишину пронзительный и восторженный мальчишеский голос:

— Петькя-а!.. С Герцена нада-а! Ходи за мной! Петькя-а! Махай сюда! Я проход знаю!

Несколько бежавших цепью юных девушек на миг возникли возле машины. Они бежали, взявшись за руки, простоволосые, со стиснутыми губами и неподвижными лицами. Они бежали бесшумно и быстро, мелькнули мгновенно, но долго еще стоял в глазах Бахирева их скорбный и легкий бег.

С машиной поравнялись тучный мужчина с обрюзглым выразительным лицом старого актера и две молодые женщины. Одна из женщин говорила торопливо и почти весело:

— Вы понимаете, они едут автобусом, совершенно официально, по пропуску, до самого Дома Союзов! Юра посадит меня, Лильку я как-нибудь протащу, а уж вы, Геннадий Васильевич...

— А я на заднем колесе! Я за вами зайчиком, зайчиком!—игриво ответил мужчина дребезжащим, старческим голосом.—Я этак... на заднем колесе!

«Все смешалось,—думал Бахирев, и мысли у него были медленные, тяжелые.—Эти, под знаменем... И этот, мечтающий о заднем колесе... Все по-разному, каждый по-своему, и все-таки все об одном... Народ об одном... О том, о чем мы. Что будет дальше?»

Он покосился на Вальгана.

Вальгана возбуждала необычность происходящего, он впитывал окружающее широко распахнутыми глазами, расширенными ноздрями, полуоткрытым ртом, он отзывался на все со свойственной ему бьющей через край энергией: говорил, жестикулировал, то высовывался из окна, то откидывался на спинку сиденья.

Бахирев как сел, так и продолжал сидеть, не изменив позы. Отодвинулось все то, что еще недавно занимало его помыслы,—нежданный переход с любимого танкостроительного завода на незнакомый тракторный в качестве главного инженера, переезд в новый город, знакомство с директором тракторного завода Вальганом. Сейчас одна мысль владела Бахиревым. С юности он видел, как сполохи новых домен, зыбкие блики новых морей, алые отсветы победных знамен ложатся на портреты Сталина. Освещенное всеми свершениями народа, лицо человека стало для Бахирева уже не лицом, а олицетворением

всего, что свято. Оно казалось почти бессмертно... и вот человек умер. Как пойдет жизнь без него? Состояние неясности было для Бахирева самым угнетающим из всех возможных душевных состояний. В своем тяжелом пальто он походил на черепаху, которая в минуту опасности вся ушла в панцирь и только где-то в глубине настороженно поводит головой.

Машина приближалась к Дому Союзов. Здесь люди уже не шли, а стояли вплотную друг к другу, заполнив всю улицу. Машина остановилась.

— Что такое?—спросил Бахирев.

— Заслоны,—ответил Вальган.

Броневики с юпитерами сплошной шеренгой преградили улицу. Мощный людской прибой глухо бился о железо, и жаркое дыхание согревало металл. Неподвижные цепи бойцов замерли по краям тротуаров. Лучи юпитеров, расплываясь в тумане и мороси, сливались в то голубовато-белое, похожее на неживой свет магния, марево, что стояло высоко над Москвой. Бойцы на грузовиках утирали не то вспотевшие, не то влажные от мороси лица.

Было тепло, сыро и душно.

Вальган сумел запастись пропуском на себя, на Бахирева и на машину. Их пропустили, и они, медленно выбираясь из людской лавины, миновали заслон. Сразу стало просторнее и тише. Сюда просочились лишь вереницы людей, они сплотились в колонны на тротуарах, за цепями бойцов, стоявших на обочинах.

Как ни широки были эти занявшие весь тротуар колонны и как ни безостановочно было их движение, они казались и узкими и медлительными по сравнению с той человеческой стихией, что бушевала за шеренгой броневиков.

Вскоре ЗИС вместе с другими машинами свернул в переулок и снова остановился.

Дальше Вальган и Бахирев пошли пешком. Через несколько минут путь им преградил второй заслон из броневиков.

Они показали пропуска, прошли в узкий проход, и Бахирев остановился, пораженный внезапной и противоестественной пустотой, открывшейся здесь, за вторым заслоном. Гладкий асфальт безлюдной улицы был весь открыт взгляду и весь лоснился в белесом свете юпитеров. Ни одна машина не покушалась на его неприкосновенность. Лишь два пешехода вдали торопливо пересекали пустоту.

В безлюдье улиц, феерическом и мертвенном свете обычные дома приобретали дворцовую торжественность и пышность.

Дом Союзов возникал за этой окруженной железом пустотой. Сплошь заваленный у подножия грудами венков, он казался поднятым над ними, плывущим в белом светящемся тумане.

Бахиреву трудно было ступить на неприкосновенный асфальт. Даже Вальган растерялся и остановился на минуту, а потом пошел отчетливой, как бы военизированной поступью. Он испытывал одновременно и невольную неловкость оттого, что шел через пустынную зону, и невольную гордость оттого, что ступал на асфальт, неприкосновенный для тысяч рвущихся сюда людей.

А Бахирев шагал еще неуклюжее, чем обычно. Когда вокруг него теснились толпы таких же, как он, их жаркое, живое дыхание отгоняло холод смерти. Но сейчас кипение человеческих чувств осталось за железным кругом. На мгновение Бахирев почувствовал себя наедине со своими тревожными мыслями, и они придавили его.

В пустоте, внезапно окружившей его в этот миг, была настораживающая нарочитость. Свои шаги звучали здесь как чужие, слишком гулко, слишком отчетливо. Каждый шаг отдавался болью.

Бахирев торопился пересечь пустынную зону и в тоске мысленно говорил себе: «Торичеллиева пустота. Искусственно созданный вакуум». Он и сейчас думал привычными инженеру техническими терминами, но они насыщались горечью: «Вакуум в данном случае работает как амортизатор. Но что «амортизируется»? Амортизируется напор чувств человеческих? Зачем?!»

Он понимал, что надо ввести в русло стихию этих чувств, и все же не покидало его ощущение противоестественности «вакуума», кем-то созданного здесь и охраняемого.

Вслед за Вальганом он пересек улицу и вплотную подошел к Дому Союзов.

Сняв шляпы, они вошли в подъезд и поднялись по широкой лестнице. Черные коробки юпитеров буднично и деловито возвышались над грудами венков. Бахирев вздохнул с облегчением: здесь не было пустоты. Два людских потока двигались бесшумно и безостановочно. Терявшиеся и как бы уменьшавшиеся на просторах улиц, колонны людей здесь, в помещении, разрослись и наполнили высокий зал теплом, дыханием, движением. Тонко звучала скрипка. Дмитрий ждал громовой тоски оркестра, могучего реквиема. Но не было многозвучных оркестров. Казалось, плакала только одна струна, но плакала так тонко, так проникновенно, словно сама кровь, протекая в сосудах, звенела печалью.

В большом зале стоял гроб, приподнятый в изго-

ловье,— умерший был весь виден, словно весь отдан народу в последнем прощании. В зелени венков Дмитрий увидел резко очерченное лицо с подчеркнутыми скулами и сомкнутыми веками. Руки с не по росту большими кистями покойно лежали вдоль тела.

Обычный смертный лежал в гробу, необычно приподнятый над людьми и отданный им смертью не таким, каким они представляли его раньше — в величии монументов, портретов, песнопений. Смерть словно сняла с него монументальные мраморные шинели и глянцевый, нестареющий блеск кожи. Все, что было привычно по бесчисленным портретам и статуям, сбросила с него смерть и положила его здесь с такими большими ладонями, расширенными смуглыми скулами и покатым лбом.

Обычно смерть придает величавость даже тем лицам, чьи черты при жизни были самыми обыденными, ничем не примечательными. Здесь произошло как раз обратное. Лицо, которое знали при жизни по портретам, исполненным значимости и величия, посмертно поразило своей простой человеческой сущностью.

Перед Бахиревым лежал человек, способный, как и все смертные, седеть и стареть, слабеть и ошибаться.

Ему хотелось остановиться, но безостановочный людской поток, не задерживаясь, нес его мимо... Мимо... Они вышли на улицу.

И вот уже снова цепи грузовиков, гул моторов, лязг железа, напряженные лица бойцов, безмолвное и торопливое движение людских потоков — и надо всем этим грозный, мертвенный свет.

«Тревога... Боевая тревога... Канун перемен,— подумал Бахирев.— Каких? Что умрет с этой смертью? Что будет жить вечно?»

Обратно продвигаться было еще труднее. Со всех сторон, из улиц и переулков, народ стекался сюда, к центру столицы. Задние нажимали на передних. Сила движения накапливалась к центру, и здесь люди шли уже как бы не своей волей — неудержимая стремнина влекла их. Машина едва пробилась вперед и наконец остановилась. Сила людского напора была так велика, что железные, массивные, запертые болтами ворота ближнего двора непрерывно вздрагивали и скрипели, грозя сорваться с петель.

Задыхающийся женский голос прозвучал совсем рядом:

— Что вы делаете, негодяй? Сумочку, сумочку вырывают! Ох! Больно!

Посреди толпы вызвышался всадник-милиционер на белом, голубоватом в свете юпитеров, великолепном коне.

Очевидно, он заехал сюда раньше, стремясь навести порядок, но теперь сам стал лишь песчинкой в разбушевавшейся человеческой стихии. Конь вскидывал узкую умную морду и тревожно ржал. Испуганный тесной близостью человеческих тел и лиц, прижатых к его ногам, бокам, шее, он поднялся на дыбы. Белые тонкие ноги с темными копытами мелькнули в воздухе. Раздался крик.

Темные руки отталкивали белую шею и лошадиную морду. Юноша, такой высокий, с таким твердым, крупным лицом, что казался скульптурой, поднятой над плечами людей, повернулся к коню и схватил его за узду, заслоняя собой перекошенные и запрокинутые лица женщин.

Бахирев увидел, как одно из копыт с силой опустилось прямо на выпуклый, гипсовый лоб юноши и оставило на нем темную полосу. Голова юноши запрокинулась и скрылась в толпе. Стоголосое «а-а-а!» взмыло в воздухе, слилось с прерывистым конским ржанием. Конь еще выше вскинул морду и вдруг исчез, упал под напором людей.

Над улицей несся вопль:

— А-а-а!

Бахирев хотел выскочить из машины, бежать на помощь, но не смог открыть дверцы, придавленные снаружи толпой.

Человеческая лавина дрогнула, и железные ворота со скрежетом распахнулись под натиском. Толпа хлынула во двор.

Шофер повернул машину вслед за людьми. Проходными дворами они долго пробирались на соседнюю улицу. Здесь было тише. Многоголосый вопль еще звучал в отдалении, а люди на смежных улицах шли и шли к центру.

После всего виденного здесь, на заполненном людьми Садовом кольце, показалось просторно и тихо, и в странном шествии пустынных и светлых троллейбусов и автобусов вдоль тротуаров была успокоительная торжественность.

За Садовым кольцом стало еще просторнее, но и здесь улица жила полной жизнью, как будто был не первый час полуночи, а первый час полудня.

По гостеприимному приглашению Вальгана Бахиревы проездом остановились в его московской квартире. Дочь и меньшого сына они отправили гостить к родственникам в Подмосковье, но со старшим сыном, своим любимцем, Бахирев не захотел расстаться и на несколько дней. Семья Вальгана много лет жила в далекой области, при заводе. В московской квартире оставались лишь мать и домашняя работница, но сам Вальган часто бывал в Москве, называл

московскую квартиру «базовой» и сохранял в ней весь обиход.

Лифт не работал. На площадке стояли люди. Двери некоторых квартир были приоткрыты, и траурный марш, передаваемый по радио, сопровождал Бахирева через все этажи.

В квартире Вальгана было до странности покойно. Со стен смотрели портреты его улыбчивой, яркоглазой родни. Бахирева поразило удобство обжитых вещей. Аккуратно накрытый стол, серебряные кольца салфеток, румяные котлеты на блюде и тоненько нарезанный хлеб. Кто-то вдевает салфетки в кольца, режет хлеб тонкими ломтиками...

Дома была одна домработница Лена.

— Где остальные? — спросил Вальган.

Лена когда-то работала кондуктором в троллейбусе, и, очевидно, с того времени у нее сохранилась привычка говорить деревянным голосом, без всякого выражения, словно оповещать: «Площадь Маяковского! Следующая — Васильевская!»

— Бабушка сидят на крыше! — возвестила она привычным способом.— Катерина Петровна пошла за ними!

Открытые двери квартир и бабушка, сидящая на крыше, удивили Дмитрия гораздо меньше, чем тонкие ломтики хлеба и кольца салфеток на обеденном столе. В ожидании жены и сына Бахирев подсел к приемнику и, нажимая кнопки, включал одну станцию за другой. СССР... Китай... Румыния... Венгрия... Величавые звуки траурного марша... Моцартовский реквием... Внезапная, простая, русская, любимая ленинская:

Наш враг над тобой не глумился,
Кругом тебя были свои,
Мы сами, родимый, закрыли...—

песня отозвалась в сердце, пахнула в лицо теплом. Он хотел точнее нащупать волну в эфире, добиться полной чистоты звука. Чуть заметный поворот выключателя — и вдруг ворвалось завывающее ликование джаза. Гнусаво-веселое буги-вуги, топот и визг скотского веселья...

Нет, не только скорбь была над землей. В самом воздухе планеты шла схватка человеческого и звериного, на волнах разной частоты, как на рапирах, дрались два мира.

«Везде твой фронт, партия»,— сказал себе Бахирев; торжественность этих слов была необычна для него, но все было необычно в эту ночь.

Вальган ходил по комнате, то трогал машинально беспокойными пальцами ноты на пианино, костяных китайских божков на этажерке, то забирал в горсть соб-

ственный удлиненный подбородок и принимался энергично гладить, ощупывать его и говорил, говорил отрывочными, горячечными фразами. На его смуглом лице южанина горел румянец, влажные великолепные глаза блестели острым, немного хмельным блеском.

Волнение от пережитого и та неукротимая нервная энергия, о которой Бахирев давно слышал, прорывались в каждом жесте. Даже останавливаясь, Вальган переминался с ноги на ногу, мягко и нетерпеливо, словно готовясь к прыжку.

Бахирев не вслушивался в его слова. Слишком многое свалилось на плечи. Сколько перемен сразу! Перемены в судьбе страны, в судьбе семьи, в своей судьбе...

Строить тракторы... В танки он вложил всю свою жизнь. Он любил эти машины, сформированные битвами двадцатого века и проверенные всеми его сражениями. Мысль перебирала события, годы, страны.

Год 1936—горящие танки Мадрида. «Los tanques arden»[1],—сразу в ответ на эти испанские слова дизель и новое горючее на советских танках.

В 1939 году доты и пушки линии Маннергейма. И уже через полтора-два месяца, как отклик на них, танки «Клим Ворошилов» с усиленной броней и снарядами: «Броня для подхода, снаряд для разрушения».

В 1943 году немецкие «тигры» на Курской дуге. И тотчас в ответ могучая танковая самоходка.

Горячие дни наступления—и сразу орудие наступления, тяжелый танк «Иосиф Сталин» с его дальнобойностью и маневренностью, пушка с огромной начальной скоростью снаряда.

Какая отзывчивость к задачам боя, какое разнообразие поиска! Как дрались за первенство в борьбе и состязании двух систем, как сохраняли это первенство в боях, как побеждали!.. Дмитрий любил танки, потому что для танка потерять первенство значило потерять самое жизнь. В этом ежеминутном и вечном состязании за первое место в мире, во имя мира в мире, был смысл этой машины, смысл, и счастье, и страсть всей жизни Дмитрия.

А тракторы? Похуже или получше, первокачественные или второсортные, они спокойно живут многие годы, бороздя колхозные поля. И у них то и дело во время работы ломаются разные детали...

«Представить себе танк, у которого во время боя сами по себе ломаются детали?!—думал Бахирев.—Если б мы давали армии такие танки, нас надо было бы карать жестоко!»

---

[1] Танки горят.

Существующие тракторы представлялись Дмитрию лишь черновыми набросками будущих машин. Ему предстояло их делать. И руководить им в незнакомом деле будет этот почти незнакомый человек. Каков он? Лауреат, Герой Труда, орденоносец. В военные годы имя его гремело на Урале, где обосновался тогда эвакуированный завод.

«По слухам, силен, но трудноват. Почему он выбрал меня? Пойдем ли мы в паре? Во всяком случае, темпераменты у нас прямо противоположные! Может, это и хорошо для главного инженера и директора? Агрегат взаимодополняющих машин? Об этом ли сейчас?! О чем он говорит?..»

— Если вдуматься,— говорил Вальган,— то смерть часто не только завершение, но и отражение всей жизни! Представь себе... Завод. Несколько потоков, несколько конвейеров в ходу... Что уже сделано, что еще не сделано — трудно даже сказать: все в ходу, в движении, не различить... И вдруг... все остановилось.— Вальган замер мгновенно, словно на ходу застигнутый оцепенением. Он передавал мысли не только словами, но жестами, пластичными, почти скульптурными позами, игрой необыкновенно подвижного лица. Он протянул вперед руку, разжал смуглую ладонь и повторил: — Все остановилось... И тут что сделано, как сделано, что не сделано — все тотчас откроется как на ладони! Понимаешь? Смерть собирает, как линза, в фокусе, что прожито. Тля и умирает как тля! Когда умирает гений, то слышно, как вздрагивает мир! Я удачлив, я никогда никому не завидовал. Сегодня я почти позавидовал. И чему?.. Странно сказать! Смерти! Но какая смерть! Какое потрясающее величие! Ты понимаешь? Отражение всей этой гениальной жизни можно было прочесть сегодня на этих улицах! И грандиозность, и это безудержное движение вперед, к цели, и поток тысяч людей, объединенных одной идеей! Ты понимаешь? Вся жизнь, как в зеркале, в одной этой ночи! Раскрой смысл этой ночи — и ты откроешь смысл его жизни.

Бахирев как будто бы и разделял мысли, звучавшие в речи директора, но почему-то она вызывала в нем все возрастающее внутреннее сопротивление.

И чем горячее, чем безудержнее лились слова Вальгана, тем ощутимее и тревожнее представлялась Бахиреву противоречивость этой ночи. Давка на улицах и зияющая пустота площади за грозным военным оцеплением. Горы тихих цветов и след копыта на лбу юноши. Глубина скорби и жадное любопытство...

В двойственности впечатлений было что-то нездоровое, противоестественное.

— Величье! Величье во всем! — повторял Вальган.

— Бабушка с крыши! — кондукторским голосом возвестила Лена.

Вошли мать Вальгана и Катя.

— Ты пришел? — сказала Катя Бахиреву.— А где же Рыжик?

— Как где? — удивился Дмитрий.— Рыжик с тобой!

— Он выбежал из двери вслед за тобой!

— Он догнал меня у машины, но я не взял его... Я велел вернуться сейчас же к тебе!

Они помолчали. Потом она сказала так, словно губы ее с трудом отклеивались от зубов:

— Он не возвращался...

Они смотрели друг на друга.

«Я уехал в семь... Сейчас около двух.— Мысли неслись, теснясь, набегая...— Ему всегда надо быть в центре событий... На демонстрациях всегда пробьется к трибунам... Лоб юноши под копытом... Крик... Хорошо, что Катя не знает... Пока я там... он, может быть... Он так рвался к Сталину!.. Этот порыв и... и гибель?! Невозможно! За что?! Зачем?!»

Страшна была сама мысль о смерти сына. Если бы угроза утраты исходила от болезни, от воды, от огня, от злодейской руки, все было бы непереносимым горем для Бахирева, однако все бы могло как-то поместиться в сознании. Но гибель мальчика в эту ночь!.. Гибель в первом высоком порыве ребячьей души, в этом исполненном веры, безудержном стремлении к Сталину, воплощавшему для Рыжика все светлое, что есть на земле... Нести лучшему из людей лучшее в себе, метнуться, как мошка на призывный свет, и сгореть, не долетев...

Так не могло быть!

Такая гибель представлялась Бахиреву не только непереносимой, но и чудовищной. Она не вмещалась в мозгу, она не совмещалась с представлением Бахирева о жизни, об окружающем мире, о том, кто был для него воплощением истины.

От нее веяло дыханием предательства, злодеянием, проникнувшим в святая святых...

Она была уликой огромной лжи, нежданно проступившим наружу симптомом опасной и тайной болезни.

Вихрь мыслей, закружившись мгновенно, так же мгновенно исчез, и осталось одно: любимое мальчишеское лицо с горячим, открытым и доверчивым взглядом и лоб юноши под копытом.

Бахиреву трудно стало дышать.

Казалось, все противоречия этой ночи, сплетаясь, стягиваясь петлей, захлестывали его. Из глубины рвался крик: «Бежать! Найти!» — но губы одеревенели, и, обернувшись к жене, он с трудом выдавил:

— Пойдем.

— Куда? — Вальган властно схватил его за плечо.— Куда вы, безумные? Ну что можно найти в этих толпах? Звоните! Сперва в милицию...— Он придвинул телефон, дал телефонную книжку.

Дмитрий позвонил в милицию.

— Потерялся мальчик... Вы бы запомнили. Он очень рыжий. Такой, совсем огненный... Его нельзя не заметить... Его нельзя не запомнить...

Дмитрия поразило, что звонок его приняли без удивления, без излишних вопросов.

— Записали... Проверим... Сообщим...

Ответ звучал с такой торопливой деловитостью, словно подобное было в порядке вещей в эту ночь!

Другие отделения милиции. Институт Склифосовского. Больницы. Поликлиники. Номер за номером. Звонок за звонком...

Охрипшим голосом Дмитрий твердил все те же слова:

— Он очень рыжий... Совсем огненный... Его нельзя не заметить! Он очень рыжий... Его нельзя не запомнить...

И в ответ все та же пугающая, обыденная деловитость:

— Проверим... Сообщим... Ждите...

Наконец он положил влажную трубку. Лицо, спина его были мокры.

— С ним ничего не может случиться. Все мы были мальчишками. Он вот-вот объявится,— твердил Вальган. Он уже не говорил о величии жизни и смерти.

Катя сидела, крепко держась обеими руками за край стола.

Дмитрий подумал: сейчас надо вдвоем с Катей! Нет! Как и о чем сейчас говорить? Говорить страшно. Что делать? Ехать? Искать?

— Я пойду... Я выйду...

Он вышел на улицу. Жена молча следовала за ним.

Толпы народа шли и шли. В давке и в темноте невозможно было разглядеть даже тех, кто находился в трех шагах.

— Может быть, уже позвонили? — сказала жена.— Может быть, сейчас звонят?

Бегом, боясь опоздать к звонку, они побежали обратно. Звонка не было. Они сели у телефона.

Все события этой невероятной и стремительной ночи отступили перед одним — перед исчезновением мальчика. Кто-то двигался и суетился вокруг. Кондукторский голос возвестил:

— Кушать подано!

Седая старушка с горячими глазами Вальгана жалостливо и нерешительно уговаривала:

— Прибежит. Найдется... Вы перекусите. Наволновались... Устали...

Приторно запахло жареным мясом. Кто-то ел; от запаха и вида еды Дмитрий почувствовал противную сладость тошноты.

Все окружающее было далеким и неразличимым, и только один предмет приобрел необыкновенную величину и весомость — телефонный аппарат. Никогда раньше Дмитрий не видел с такой отчетливостью горбящейся телефонной трубки, темной пирамидальной поверхности с белым венцом циферблата, черного провода, змеящегося по зеленому сукну стола. Он ждал звонка с секунды на секунду, и все же звонок прозвучал неожиданно и резко, как набат.

Дмитрий кинулся к телефону. Трубка ткнулась в щеку, потом в висок и наконец прильнула к уху.

— Слушаю! Я слушаю!

Осипший мужской голос надрывно прокричал издалека:

— Погрузили в ящики!

— Что, что, что?!

На мгновение мелькнула сумасшедшая мысль о том, что Рыжик — уже неодушевленное тело, что уже можно погрузить его в какой-то ящик. Все уже казалось возможным и вероятным.

— Ящик парникового стекла сейчас погрузили, а олифы нет! — сипел голос.

— Что олифа? Какая олифа?

— Василь Сергеич? Нету олифы, говорю. Заменяю...

— Ошиблись номером.

Он положил трубку.

— Господи Иисусе! — сказала бабушка и подала Кате стакан с водой.

Дмитрий то и дело смотрел на часы. Время не текло, оно едва сочилось сквозь гущу напряженных мыслей и чувств. Секунды, набитые ожиданием, страхом, надеждами, громоздящимися друг на друга мыслями, становились протяженными и весомыми. Ему казалось, что минула целая ночь, но прошло лишь двадцать минут, когда в незапертую дверь вошел Рыжик. Его привел незнакомый, худой, бритый старик в очках.

Сын, живой, рыжеголовый, сияющий, курносый, с веснушками, с грязными руками, был рядом.

Дмитрий что есть силы схватил его за плечи, придвинул к себе и, глядя в мокрое мелковеснушчатое лицо, твердил:

— Ты... Ты... Ты...

Потом, почувствовав страшную усталость, оттолкнул сына и опустился на тахту. Катя прижала рыжую голову к груди.

— Вот... Привел... Довел, можно сказать, на привязи,— сказал старик с сердитой иронией.

Катя благодарила его, не выпуская из рук вырывавшегося сына.

— Как он попал к вам?! — спросил Дмитрий.

— В окно со взломом...— с той же сердитой иронией продолжал старик.— Мы звонили вам из автомата... У вас что-то случилось с телефоном — все время частые гудки. Жена говорит: «Скорей отведешь, чем дозвонишься. Веди, говорит. Такая ночь! И у нас, говорит, были дети». Действительно! И у нас были дети... Повел! На привязи... Все рвался туда.

— А мы пошли с Костькой,— говорил Рыжик, захлебываясь, вертя головой и вырываясь из Катиных рук.— Не с генеральским Костькой, а с тем, что из третьего подъезда... Он говорит: «Я знаю проходной двор!..» Мы ка-ак побежим. А там народу, народу! Ворота заперты, высокие! А рядом окно низкое! Какой-то дяденька ка-ак нажмет! Окно ка-ак дрыбызнет! Дяденька в окно, и мы с Костькой в окно — и в коридор. А Анастас Васильевич — вот он — ка-ак нас схватит — и прямо в комнату. А там бабушка! А на кровати кот рыжий! Мы хотим в Колонный зал, а нас держат! А Костька как даст бабушке головой в живот и выскочил. А меня бабушка ухватила за пальто. А кот испугался да ка-ак прыгнет через нее! А бабушка про нас говорит: «Ах вы, чертяки рыжие!»

Дмитрий подошел к сыну и сильно стукнул его костяшками кулака по затылку.

— Очнись! Бабушку головой в живот?! В такой день хулиганить?! Думай, что говоришь!

Рыжик мгновенно притих.

— Извините меня за моего паршивца,— сказал Дмитрий старику.

Пока вызывали шофера и машину для старика и угощали его чаем, Рыжик молча сидел на стуле и жевал котлету. Потом он повернулся к отцу и, блестя карими глазами, в которых еще горело возбуждение, сказал с упреком:

— Ну, за что ты меня стукнул? Ты меня неправильно

стукнул! Ведь это Костька, а не я бабушку в живот. Когда ты меня правильно стукаешь, я ж тебе ничего не говорю!..

— Не бегай без спросу! Не лезь в окна!

— А если ворота заперты?

— Дома сиди.

— Неправильно! — убежденно сказал Рыжик.— Я же не хулиганить бегал! Я же к Сталину бегал! Сами всю жизнь говорят: «Сталин, Сталин!..» А как посмотреть? А теперь вдруг можно посмотреть!.. Все бегут поглядеть. И я побежал. А ты меня стукаешь!

Вальган взял в кулак подбородок и, поглаживая его, хохотал беззвучно, одним дыханием.

— Я тебя еще не так стукну! — гневно пообещал Дмитрий.— Театр себе устроил! Завтра я с тобой не так поговорю.

— Истинная скорбь сдержанна. Истинное всегда благородно,— негромко сказал старик Рыжику, отодвинув нетронутый чай.— Следует различать любовь к нему и... любовь к сенсации! — Он вскинул голову, выкатив худой кадык, помолчал и заключил: — Сенсационность! — Он кивком показал на Рыжика.— Сенсационности больше, чем горя! Стыдно, юноша!

— Я не юноша, я мальчишка,— опроверг его Рыжик.— А что это — «сенсационность»?

— То самое, за чем ты бегал сегодня! — оборвал его Дмитрий.— Завтра я тебе это так растолкую, что вовек не забудешь! А сейчас марш в постель!

Катя увела сына.

Уехал старик. Все улеглись.

Бахиревы разместились в большом кабинете Вальгана.

Катя спала на тахте, прижав к себе Рыжика.

Рыжик то вскрикивал, то бормотал во сне:

— За пальто хватают!.. Пустите, дяденька! Костька! Бросай пальто, ныряй в окошко!

Дмитрий не мог уснуть,— он сидел на краю раскладушки, прислушивался к дыханию измученной волнением жены, к бормотанию сына. За окном сновали машины. Возле окна стояла пальма, и тени от ее листьев скользили, безостановочно переплывая со стены на стену, то разрастались в свете фар, то сжимались и таяли в полумраке и все качались, все меняли свои очертания. И мысли, одолевавшие Дмитрия, были так же изменчивы, то огромные, то малые, и так же неясны, неустойчивы. Все пережитое за ночь вставало в памяти. Широкие ладони умершего, фосфоресцирующее марево над Домом Союзов, Рыжик, появившийся на пороге, словно воскресший из мертвых. Рыжик жив, а чей-то сын с белым лбом... Он не

вернется под отчий кров. Что притянуло и что погубило? Копытом коня провело по лбу полосу, как отметину. За что отмечен? За слишком горячую любовь, за безудержную веру, толкающую туда, в самую гущу?

Мысли неслись в растревоженном, бессонном мозгу. Дмитрий привык к потрясениям войны. Он умел оставаться спокойным в горящих цехах. Даже в самые тяжелые военные дни он неизменно сохранял трезвость в оценке происходящего, точность в расчетах будущего. Эта трезвость оценок и точность расчетов были его главными чертами. Сейчас он как бы терял их на время, а значит, терял себя.

Он думал: когда умирает отец, встает перед глазами жизнь семьи. Когда умирает вождь, поднимается в памяти судьба страны. Смерть многое проясняет, но трудно охватить мыслями четверть века народной жизни. И какие четверть века?!

Вальган говорит, что смерть, как в зеркале, отражает жизнь. Что же отразилось в этой смерти? Многое смешалось в эту ночь. Величавое движение людских колонн в скорбной тишине зала и кровавая давка на площади... Белый юношеский лоб, падающий под копыто, и старик, который хочет примоститься зайчиком на заднем колесе... Продиктованный волей и сознанием путь народа в Колонный зал и движение, подобное стихийному движению железных опилок, притянутых силой магнита...

Что искал народ у гроба? Что стремился отнять у небытия? Что тщились люди постигнуть и что хотели они увидеть? Смуглолицего человека с руками, крупными не по росту? Истину великой эпохи, воплощенную для них в том, с чьим именем жили и умирали? Мысли теснили и обгоняли друг друга... И все звенела та тонкая, скорбная, плакавшая где-то в самой крови струна. Что-то драгоценное из пережитого и увиденного этой ночью хотелось сохранить навсегда, чтобы, и уходя из жизни, передать другим... Что-то хотелось отсечь, уничтожить, выкинуть из памяти как не существовавшее.

Что отсечь и что выкинуть из памяти, он еще не мог определить точно. Этот внезапный и противоестественный «вакуум» с лоснящимся асфальтом и дворцовым безмолвием перед Домом Союзов? Этот лоб под копытами? Эту угрозу гибели Рыжика? Ощущения еще были ошеломляющими, расплывчатыми и не помещались в слова. Намного легче было ему определить то, что хотелось сохранить в памяти навсегда. Великая высота и слитность народных мыслей, объединявших в эту ночь миллионы. Безудержное и возникшее по воле бесчисленных сердец движение

к одной цели! Это было вечным и непреходящим, и утрата этого значила бы для Бахирева утрату самого себя.

До сих пор он жил и жил, как все, следуя побуждениям сердца и потоку окружающей жизни, не пытаясь философствовать по поводу собственной судьбы. Только сейчас он отчетливо понял, что хотел для себя именно такой судьбы... Только такой... Он не променял бы ее ни на какую другую. В эту ночь он впервые отчетливо ощутил свою жизнь как малую каплю общенародной жизни, трудной, но счастливой, знающей и ошибки и тяготы, но исполненной победного движения. И светлый дом свой он увидел сейчас особенно чистым, и увлекательный труд особенно захватывающим. Сохранить в уме и в сердце лучшее из прожитого народом и отраженное в этой ночи для Бахирева значило сохранить самого себя, свою судьбу, весь склад своей души. Первая половина двадцатого века — это было его время, страна, прошедшая путь от капитализма до социализма, была его страной, и он был сыном своего времени и своей страны.

Он подошел к окну. Улица была освещена и все еще многолюдна. Но теперь шли от центра, шли неторопливо, и само движение казалось исполненным раздумья. Бахиреву бросились в глаза и усталость, которая сквозила в сутулых плечах, в тяжелых шагах, и то, что многие были очень просто, порой бедно одеты...

«А тракторы на нашем заводе мы будем делать для Китая, и Венгрии, и Румынии. И хлеб и машины мы отправляем туда. Что же, кто-то должен возглавить борьбу за человеческое, против звериного».

Блекла и становилась пепельной ночь, а он все стоял у окна, напружинив спину и сжав кулаки, ощущая медленные толчки собственной крови. Казалось, не только мозгом, но и мускулами и сердцем овладевали огромные, как глыбы, мысли. Он думал о том, что самый великий и самый самоотверженный из народов взял на свои плечи тяжесть борьбы и, жертвуя собой, отрывая у себя самого хлеб, и кровь, понес это человеческое другим народам, чтобы отдать это человеческое вместе со своим хлебом, а иногда и своей кровью... Но этот народ, щедрый и самоотверженный той щедростью и той самоотверженностью, которые присущи неистощимой силе, народ, счастливый своим мужеством, своим благородством, своими делами, должен быть счастлив не только этим. Он должен быть счастлив и обильным, как его доброта, хлебом, и теплым, как его сердце, очагом, и прекрасным, как судьба его, платьем. Как совместить все это? Как сложится дальше жизнь народа, возглавившего схватку между человеческим и звериным, народа, идущего впереди?

— Рукав порвался, калоша потерялась!— захлебываясь и торопясь, весело сказал во сне Рыжик.— Как же к Сталину с порванным рукавом и в одной калоше? Великое и ничтожное смешалось в эту ночь.

Заставляя меркнуть огни фонарей и окон, поднимался рассвет. Уже выползали на асфальт мостовых деловитые уборочные машины. Дворники в белых фартуках с обычной старательностью подметали тротуары. Троллейбусы шли один за другим через равные промежутки, направляясь по обычным маршрутам.

Самое высокое и легкое облако, еще минуту назад блеклое и едва различимое в рассветном небе, вспыхнуло первым; вслед за ним загорелись вдалеке пышные вершины низких кучевых облаков, и с каждой минутой багрянец скользил по ним, все ниже опускаясь к их плоским синеватым доньям. Это солнце набирало высоту...

Внезапно ум Бахирева пронзило давнее, забытое, как будто ничем не связанное с этой ночью. Ему вспомнились первые шаги самого кровного и дорогого — сына.

В начале войны Катя с сыном уезжала из города, от бомбежек. Бахирев задержался на заводе и пробирался сквозь толпу к входу в привокзальный садик. Он шел с наружной стороны покореженной бомбежками решетчатой ограды и по ту сторону ее увидел сына. Похожий на медвежонка в своих широких фланелевых штанишках, малыш стоял возле матери, старательно держался за край садовой скамьи и тревожно оглядывался на тощего пса, рыскавшего рядом, на обломки кирпича, на полосы скрюченного недавним пожаром железа.

— Рыжик! — позвал Бахирев через решетку.

Мальчик завертел головенкой, увидел, заулыбался, показал два маленьких зуба, потянулся одной растопыренной ладошкой. До сих пор он ходил, лишь держась за что-нибудь; теперь ему и хотелось к отцу, и страшно было оторвать от скамьи другую руку, сделать первый в жизни самостоятельный шаг. Но, еще не умея ходить, малыш уже умел любить. И любовь оказалась сильнее страха. Он оторвался от скамьи, качнулся и двинулся к отцу, колеблясь всем телом, неверно шагая тупыми ножками. В груди у Бахирева похолодело. Комочек человеческого тепла и радости, движимый любовью, зыбко шел к нему, протягивая растопыренные ладошки.

И Бахирев понял, как страшно и грозно то, что вокруг,— острый кирпич, цепкое, скрюченное огнем железо, обшарпанный рыщущий пес.

Он был только псом, только старым, наторелым в собачьих боях псом с голодной клыкастой мордой, но как уверенно и проворно перебирал он четырьмя голенастыми

лапами, с какой жадностью, наглостью и сноровкой рыскал он меж людьми и вещами!

— Катя! Смотри, собака!—в страхе крикнул Бахирев.

Жена подхватила ребенка. Этим и закончилось происшествие.

Но навсегда в памяти Бахирева остались и те зыбкие, первые шаги сына, и то обжигающее чувство любви, гордости и тревоги.

Почему сейчас вдруг пронзило его это воспоминание? Он ладонью крепко потер лоб. «Что со мной? Почему сейчас о первых шагах ребенка?» Вспомнились свершения трех с половиной десятилетий—все, от озелененных пустынь до победных битв. Несмотря на владевшее им волнение, уверенность была где-то в глубине костей, в крови, у истоков мыслей. Гигантский опыт стоял позади.

Но откуда же это чувство любви и тревоги, пронзительное и сходное с тем, с которым он смотрел на первые шаги сына? Может быть, наши три десятилетия представятся лишь первыми шагами, если взглянуть из той глубокой дали, когда коммунизм восторжествует на всей земле и войны будут безумием далекого прошлого? Может быть, историк далеких времен скажет, что в тысячевековом кровавом прошлом страна, несущая новые человеческие законы, делала первые шаги в начале двадцатого столетия? Он скажет: страна несла и тепло и свет и училась идти и нести, и не было старшей, более опытной руки идущего впереди, но немало было рук, готовых толкнуть, ударить, злорадствуя и торжествуя при каждом неверном шаге.

И снова тревога сжала сердце, и снова в борьбе взволнованных чувств и трезвых мыслей побеждал разум. И снова Дмитрий опровергал самого себя: нет! И тут будущий историк увидит, что лишь за три десятилетия до этой мартовской ночи страна бескрайнего сугробного бездорожья была и нищей, и разоренной, и окровавленной, и полуфеодальной. И тот далекий историк расскажет не о первых шагах ребенка, но о первых десятилетиях гигантской работы...

За стеной слышались мерные, мягкие шаги. Вальган ходил из угла в угол в своей комнате.

«Не спит...—подумал Дмитрий.—Что-то в нем не устраивало меня сегодня. Многоречивость? И эта привычка брать в кулак, гладить, ласкать собственный подбородок?.. А! Все это мелочь. Энергичен, горяч, неутомим, как видно, отзывчив, и вот не спит, ходит... думает... как весь народ в эту ночь... в это утро...»

Оттого, что Вальган ходил за стеной, он стал сейчас ближе Дмитрию, чем за весь день, проведенный бок о бок.

Что в эту ночь шло сквозь стены, сквозь время?

Червленая заря заливала город, но во многих домах еще светились окна. Сколько людей в эту ночь и в этот рассвет вот так же, как он, ходят по комнатам, стоят у окон с мыслями о грозном, светлом и победном пути юной страны в этом огромном древнем мире, раздираемом битвами и противоречиями! Одна мысль сейчас у миллионов!

Каждый думает о своем и по-своему, но едины раздумья народа в эту ночь, на глазах превратившуюся в утро ведренного и чистого дня.

Глава II

НЕМИЛЫЙ ЗАВОД

Они приехали на рассвете.

Квартира была заботливо прибрана и обставлена необходимым. Дмитрий торопился:

— Ты тут займись вещами, Катя. Я сейчас к Вальгану, а с ним на завод.

Катя бросилась в прихожую.

— Только смени костюм. Знакомиться будешь... Нельзя же...

Он покосился на зеркало, повешенное в прихожей. На него исподлобья взглянули заспанные, темные глаза. Костюм не помялся и не запачкался. Волосы были до блеска приглажены.

— Хорош!—сказал он решительно.

— Вихор!—Катя с ужасом схватила его за рукав.

До женитьбы он не подозревал о существовании вихра на своей макушке. Причесывался он всегда тщательно и считал свою прическу образцом аккуратности. Но оттого ли, что, причесываясь, он приподнимал голову и утрачивал возможность лицезреть свою макушку, оттого ли, что у него была привычка во время работы крутить и дергать волосы на темени, или по иным причинам, на голове у него торчал вихор. В обычное одностворчатое зеркало Бахирев его не видел, но в трельяже, к которому подводила мужа Катя, картина действительно получалась несолидная: над внушительной фигурой, над безукоризненно причесанной на косой пробор головой возвышался хохол, похожий на обтрепанный петушиный гребень. В эти минуты Бахирев понимал Катины мучения. Но в трельяж Бахирев смотрел раза два в год, а в остальное время вихор терял для него свою реальность. Поэтому на

возглас Кати он махнул рукой и вышел. Вальган уже дожидался его в машине.

Город, еще по-ночному сумрачный, был уже по-дневному деловит.

Справа от дороги, вдоль берега, под раскидистыми деревьями еще гнездился мрак, а слева ярко сияли окна одинаковых четырехэтажных домов, и по расчищенному асфальту тротуаров и мостовых в одном направлении шли люди. Их обгоняли «Победы» и «Москвичи». Проплывали медлительные, как большие рыбы, автобусы. Позванивая, цепочкой, один за другим, скользили трамваи.

Чуть морозило, но ветер, рвавшийся с реки в открытые окна кабины, был отсырелым и едва уловимо пахнул тающим снегом, ростепелью.

«Сколько раз придется мне проделывать этот путь?— думал Бахирев.— Скоро ли завод? И какой он?»

Наконец показалась нарядная предзаводская площадь, вся в алых стендах. Высоко над площадью желтел луноликий часовой циферблат. Улицы шли к заводу радиально, как лучи, и со всех сторон к площади стекались люди и машины в ровном, ритмичном, деловом движении.

С поворота открылась колоннада заводских ворот. Гирлянды фонарей повторяли легкие очертания арок. Вход был просторен, воздушен, словно вел он не на завод, а куда-то на праздничное побережье, к мраморным ступеням, к широкой водной глади.

«Вот он...»—мысленно сказал себе Бахирев и затосковал.

Привычной и добротной представлялась ему сейчас вся его прошлая жизнь, с городком, родным от рождения, с заводом, знакомым до каждого станка.

И как ни празднична и ни великолепна была входная арка, она была чужой, и остро захотелось ему войти в будничный вход родного завода. «Там я был на своем месте. Придусь ли к месту здесь? Справлюсь ли?»

По широкой лестнице, устланной дорожкой винного цвета, Дмитрий вслед за Вальганом поднялся во второй этаж заводоуправления и вошел в директорский кабинет.

Кабинет был параден. Кремовые полированные панели, коричневые, обитые кожей кресла и коричневые, в тон им, портьеры придавали ему солидную элегантность. Тяжелые знамена торжественно алели в углу.

Вальган делал несколько дел сразу.

— Садись сюда! Ближе!—указывал он Бахиреву, перебирал бумаги на столе, улыбался, поглаживал подбородок, говорил в трубку:—Алексей Павлович!.. Да, да, приехал... От Толи привет! Как программа?.. А по

номенклатуре?.. Как металл?.. Черт подери! Привез, привез! Вот он сидит. Приходи сюда, познакомлю.— Тут же он нажал на кнопку и, нахмурясь, спросил вошедшую секретаршу, указывая на бумаги: — Почему ко мне вторично? Я уже подписывал! Развольничались без меня!

Бахирев по себе знал это радостное чувство возвращения на родной завод и завистливо любовался Вальганом. Здесь, у себя дома, в этом великолепном кабинете, Вальган был особенно привлекателен со своим горячим и быстрым взглядом, с постоянной сменой выражений лица — то озабоченного, то веселого, то дружеского, то сердитого.

«Энергичный директор, боевой коллектив,— говорили Дмитрию в министерстве.— Без остановки производства перешли на новую марку трактора и одновременно увеличили программу. Себестоимость у них высока, но и условия трудные! Завод старый, разорен войной, удален от центра, плохо с энергетикой — на вечном лимите...»

Дмитрий знал, что такое переход на новую марку машины без остановки производства. Он знал, что такое одновременное увеличение программы. Он думал, глядя на Вальгана: «Нет, нет, не случайно он и Герой Труда, и прославленный директор. Есть в нем, есть хватка... Не пройдешь мимо такого...»

— Входите, входите! — говорил Вальган.— Привет, привет! Знакомьтесь! Главный конструктор Шатров, парторг ЦК Чубасов. А это наш главный технолог, он же заместитель главного инженера и он же врио заместителя директора — Уханов.

— В трех лицах един бог! — смеясь, сказал высокий белокурый человек.— Едва вас дождался.

Трое вошедших были различны, вошли и сели поразному.

Голубоглазый Уханов вошел упругой походкой, с таким выражением почтительно сдерживаемого, но рвущегося оживления, с которым молодой ученик входит к любимому учителю. Он сел в ближнее к Вальгану кресло и весь подался к нему, улыбаясь и радуясь. Смеясь, он по-вальгановски запрокидывал голову.

Конструктор Шатров, костлявый человек не то с робким, не то с виноватым выражением влажных темных глаз, шел заплетающейся походкой, цепляясь длинными ногами за края ковра. Сев в кресло, он сразу весь обмяк и замер, ссутулившись. Только голова его на слабой шее все время беспокойно поворачивалась, подергивалась, и казалось, что ему тесен воротник.

Чубасов шагал легко, и вся его до хрупкости худощавая фигура казалась легкой. Вальган кивком указал ему

на кресло прямо против директорского, но он прошел мимо, присел на подоконник и принялся оттуда разглядывать Бахирева с тем добрым, но беззастенчивым, словно забывчивым любопытством, с каким взирают на нового человека деревенские ребятишки. Молодое, матово-смуглое, продолговатое лицо его с правильными чертами и крупным ртом, с аспидно-серыми глазами было красиво. Галстук гармонировал с костюмом мышиного цвета. «Жених»,— мелькнуло у Бахирева. Он отвел глаза от навязчивого взгляда Чубасова и принялся ощупывать карманы в поисках спичек.

— Возьмите! — Чубасов, улыбаясь, подвинул зажигалку в форме трактора.

Улыбка у парторга была застенчивая, простоватая, почти глуповатая. Так улыбаются на людях каким-то своим, очень интимным и счастливым мыслям, когда и стесняются этих мыслей, и все же не могут не улыбнуться.

Чубасов озадачил и огорчил Бахирева: «Жидковат, жидковат! Разве такой нужен парторг для такого завода, для такого директора? Жених,— повторил он про себя,— и улыбка жениховская».

Продолжая улыбаться, Чубасов повернулся, и Бахирев увидел, что с правой стороны зубы у него сплошь металлические. Это была единственная неправильность на безукоризненно очерченном лице. «Хоть с правой стороны похож на человека»,— подумал Бахирев, отвернулся и встретил взгляд Уханова. Уханов взглянул остро, но тут же тактично отвел прозрачные, умные глаза и обратился к Вальгану:

— Как там Толя осваивается?

— Уже главки гоняет! Большому кораблю большое и плавание.

Они говорили о бывшем главном инженере Таборове, переведенном теперь на работу в министерство с большим повышением.

— Он звонил на той неделе,— продолжал Уханов, видимо, занимавшую его тему.— Я его спрашиваю: «Ну, как ты?» — «Шурую! — говорит.— Наши методы, Вальганову школу, внедряю в министерстве!» Я говорю: «Падать будешь — скажи! Соломки принесу по старой дружбе». Хохочет: «Отсюда упадешь — соломкой не спасешься!»

— Этот не упадет! — возразил Вальган.

— Да. Лет пять — глядишь, и министр! — задумчиво протянул Уханов и снова бросил на Бахирева быстрый, испытующий взгляд.

Дмитрий на минуту пожалел, что не послушался Кати, не надел для первого раза новый пиджак с орденами. Он

вспомнил про вихор, хотел было его пригладить, протянул руку к тому месту, которое Катя определяла то как «затылочную часть макушки», то как «макушечную часть затылка», но тут же забыл о своем намерении и, вместо того чтобы пригладить, по привычке дернул вихор с такой силой, будто собирался сам себя скальпировать. Здесь, на месте, ему стало еще непонятнее, почему Вальган выбрал в заместители именно его, начальника цеха далекого завода, почему не взял одного из своих заводских людей, хотя бы Уханова. Выбор Вальгана был загадкой и для Бахирева и для других.

Люди постепенно наполняли кабинет, усаживались за длинным столом, перебрасывались словами, говорили с директором с тем оживлением, в котором чувствовались и уважение и симпатия. Один из вошедших бросился в глаза Бахиреву огромным ростом и красным, угрюмым лицом. Он не пошел к столу, а молча сел на стул у самой двери. Глаза его прятались под белыми ершистыми и жесткими бровями, похожими на две зубные щетки.

Когда кабинет наполнился людьми, Вальган встал. Сразу наступила тишина.

— Ну вот, почти весь наш командный состав в сборе. Представляю вам, товарищи, главного инженера Дмитрия Алексеевича Бахирева. Прошу любить и жаловать и с завтрашнего дня с вопросами главного инженера ко мне не обращаться.

Дмитрий подумал и, сидя, неловко поклонился под любопытными взглядами.

— Кратко информирую вас, товарищи,— стоя, четко, по-военному говорил Вальган.— Самое главное — вопрос энергетики — удалось решить. Осенью завод подключается к новой электростанции.

— Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь... — тихо начал считать Уханов.— Долгонько!

— Через Госплан не прыгнешь! Между нами,— он прищурился и привычным жестом быстро погладил подбородок,— между нами, я рассчитываю временно получить часть энергии после весеннего паводка со старой ГЭС. Надеюсь, что обком... и лично Сергей Васильевич нам помогут... — Он нагнул голову и опять сощурил веки с хитроватым выражением, словно еще раз прикинул что-то в уме.— Они же заинтересованы иметь передовой завод! Энергию организуем. С металлом сложнее. Кое-что удалось. Послано приказание министерства — дать досрочно, в счет будущего квартала. Как на заводе сейчас с металлом?

— Положение очень серьезное.— Лицо Уханова стало озабоченным.

— Брак ест металл,— гулко, как из бочки, донеслось от двери. Белобровый человек легко заполнил всю комнату гудящим голосом.— Литейщики вот-вот выбьют нас из графика... Брак ест график,— повторил он упорно.

Но Вальган не стал говорить о браке.

— Министерство требует программу во что бы то ни стало!— сказал он с особым, жестким выражением на мгновенно окаменевшем лице.— Безоговорочное уважение к плану — закон завода!— добавил он, не взглянув на Дмитрия, но, видимо, адресуя ему эту фразу.— Четырнадцатого вышли из графика. Развольничались... Как Магнитка? Идет металл по телеграмме?..

Он взглянул исподлобья на полнеющего красивого человека с барственной осанкой. Тот поспешно встал.

— Есть металл с Магнитки...

— Вы о чем?— Вальган помолчал. Человек стоял переминаясь.— Вы о фондах? О документах? Или о реальном металле?

— О фондах.

— Где вам нужен металл — в рудниках или в цехах?

Вальган все смотрел исподлобья, смотрел не отрываясь в лицо отвечающего. Под этим взглядом полнеющий человек с вельможным поворотом породистой головы выпрямлялся и вытягивался и наконец сказал жалобно:

— Позвоните сами на Магнитку, Семен Петрович.

— Мне Магнитка не подчиняется. Мне подчиняетесь вы!— ледяным тоном ответил Вальган.— Так будьте любезны обеспечить металл не позднее двадцать третьего!

— Невозможно ж, Семен Петрович! Железная же дорога... Вагоны... Если вы поможете...

— Помочь?.. Ну, так я вам помогу!— Вальган поднял голову и бросил в лицо начальника снабжения:— Я вам приказываю это сделать!

И начальник снабжения, по-военному повернувшись, пошел к двери. Лицо его выражало смесь противоположных чувств — недоумения и решительности, покорности и сопротивления.

Когда он вышел, наступило короткое молчание.

— А как там с нашим гибридом?— осторожно улыбаясь, спросил Уханов.

Бахирев понял, что на заводе «гибридом» называют трактор новой марки. Над ним работал научно-исследовательский институт в контакте с «ведущим» тракторным заводом. Здешние инженеры внесли целый ряд конструктивных изменений, и «гибридный» трактор недавно запустили в производство на трех крупнейших тракторных заводах.

— Что ж с гибридом?— Вальган понимающе улыбнул-

ся и весело встряхнул смоляными волнистыми волосами.— С гибридом все идет так, как надо... Комитет по Сталинским премиям предварительно уже утвердил... Вот видите, что получается, Борис Ильич, когда становишься на почву реальных задач?—обратился он к главному конструктору, видимо заключая этой фразой какие-то давние разногласия.

Главный конструктор торопливо закивал головой. Он сидел в кресле, безвольно опустив на колени вялые руки. Лицо его с выпуклым лбом и крупными, густо затененными ресницами глазами было бы красиво, если бы не стертая линия тонкого рта и не странная, не то робкая, не то виноватая, улыбка. Так же странен показался Бахиреву и его тоскливо бегающий взгляд.

Бахирев невольно вспомнил взгляд обезьяны в клетке Московского зоопарка, куда он водил Рыжика. Обезьяна как будто все время и боялась чего-то, и непрестанно искала выхода из клетки, и таилась от посторонних.

Похожее—и печальное, и фальшивящее, и ищущее выхода—выражение таилось в глубине темных глаз главного конструктора.

— Видите, Борис Ильич, что получается, когда талант и знание работают на главном направлении...—упрямо продолжал Вальган, а конструктор в ответ быстро кивал головой и нервно шевелил костлявыми пальцами.

Закончив разговор, Вальган отпустил инженеров и подозвал Уханова.

— Сориентируйте Дмитрия Алексеевича.

— У нас с девяти рапорт,—сказал Уханов Бахиреву.— Хотите пойти? Сразу войдете в курс всех трудностей.

...Заводской двор говорил словами плакатов, карикатур, лозунгов, таблиц. У начала главной аллеи стояли стенды.

Уханов ввел Дмитрия в сборочный цех, оглянулся и сказал с гордостью:

— Два года назад реконструирован!

Застекленный, как оранжерея, цех был высок и светел. В синеве за сплошными стеклами по-весеннему сияло солнце. Из глубины цеха медлительно и неуклонно текла широкая лента главного конвейера. Течение ее казалось таким же заданным из века, как течение большой реки. Залитый солнечным светом конвейер двигался, притягивая и подчиняя себе всех и все,—к нему на кранбалках неторопливо подплывали детали, подкатывали юркие автокарки, над ним взвивались гибкие шланги и тросы, к нему прильнули хлопотливые люди. Гудели моторы, урчали гайковерты, свистели бормашины, лишь люди работали беззвучно и безмолвно. Слов не было

слышно в разноголосице металла, да люди и не нуждались в словах — так слаженны, согласованны были их действия. Что бы ни творилось там, за стенами, но здесь, в цехе, под оранжерейным покровом стекла, властвовало покойное движение конвейера, оно все превращало в строгий и стройный поток: даже солнечный свет покорно скользил вслед за конвейером по лоснящимся от масла рельсам и плитам.

Бахирев на миг невольно задержался у конвейера и расправил плечи, как невольно задерживаются, расправляя плечи, на берегу просторной и спокойной реки.

— Хорош, хорош цех... Ничего не скажешь. Хорош! — щурясь от солнца и улыбаясь, говорил он.

Из середины сборочного они свернули в боковой проход.

Подсобные помещения не реконструировались, были низки и невзрачны.

Единственное узенькое, сдвинутое куда-то в угол окно в кабинете начальника цеха упиралось в соседнюю стену. В маленькой комнате было сумрачно. Люди в старых спецовках и несвежих сорочках, с привычно усталыми лицами вяло переговаривались, шелестели суточными сводками, жадно курили. Очевидно, многие пришли на рапорт с ночной смены: глаза их под красноватыми веками светились знакомым Бахиреву лихорадочным блеском бессонной и деятельной ночи.

«Кухня...» — подумал Бахирев. Здесь собрались те, кто вчера обеспечил подачу на праздничный стол — на большой конвейер. Начальником сборки оказался Рославлев, тот инженер, который запомнился Бахиреву мрачным лицом и бровями-щетками. Он усадил Уханова за свой стол и представил собравшимся Бахирева.

Появление нового главного инженера встретили сдержанно, два-три любопытных взгляда оторвались от сводок и быстро скользнули по его лицу.

Уханов, казавшийся здесь особенно свежим и элегантным, начал своим вибрирующим голосом:

— Подача деталей на россыпь и на конвейер в плане. Вчера, по итоговым данным, сработали хорошо.

По бодро-оживленному тону Уханова и по особому блеску его глаз Дмитрий узнавал в нем то свое состояние, когда он привычно, ладно и споро делал любимое дело. Очевидно, сама процедура рапорта доставляла Уханову удовольствие.

— Начальник цеха сборки, ваши претензии!

— Хорошо сработали! — лениво поднявшись, недружелюбно усмехнулся Рославлев. — Конвейер жмет из послед-

него... В закромах пусто... По многим деталям нулевые позиции...

— Втулочка!—долетел откуда-то из-за спин, из сумрака низкой комнаты тихий и стонущий голос.

— Ну да!—гулко отозвался Рославлев.—Втулки нет! Дожили! Втулка конвейеру угрожает!.. Половина тракторов идет недоукомплектованными на конец конвейера. Два последних трактора сняли без фар.

— Почему без фар?—насторожился Уханов.

— Нет пальца кронштейна! Программу завода в палец загоняем! Пальцы и втулки решают судьбу конвейера!.. Гильзу моторный гонит бракованную...

— Почему бракованная?

— Потому что привыкли в моторном работать не плюс-минус микрон, а плюс-минус лапоть!—прогудел Рославлев. Собрав в складки лоб, он с усилием приподнял тяжелые белые брови, и из-под зубных щеток выглянули на свет два неожиданно ясных и даже наивных глаза.— Должна же у моторного и чугунолитейного, помимо всего прочего, быть еще и совесть!

Закончив мрачную речь этим исторгнутым из глубины души воззванием к совести, Рославлев сел.

— Что у вас с гильзами, моторный цех?—обратился Уханов к молоденькому, кареглазому, тоненькому, как девушка, инженеру.—И опять ты пришел, Сагуров?—упрекнул он.—Начальник цеха в кабинете отсиживается, заместителей посылает? Что там у вас с гильзами?

Кареглазый поднялся с гибкостью разогнувшейся лозы и заговорил быстро, громко, негодующе:

— Что с гильзой?! Что с гильзой?! Спросите у чугунщиков, что у них там с гильзой! То давали нам с отбелом, то совсем не дают! Да что там гильза! Блока нет! Вот до чего дожили!—Он повернулся к маленькому, худому и черному от копоти человеку и ожесточенно накинулся на него:—Дайте вы мне, по крайней мере, блок!! Блок будет—остальное я из вас выколочу! А блоков нет—ничего нет.

И снова в мгновенной тишине раздался стон, летящий откуда-то из дымного сумрака:

— Втулка! Втулочка!.. Надо же ее выбивать!

— Да, втулочка!—досадливо подхватил молодой инженер.—Хоть бы уж она на деталь-то была похожа! Втулочка на рапорте выплывает!

— Как бы она еще и на парткоме не выплыла!—угрожающе пророкотал Рославлев.

Инженеры говорили горячо, но за горячностью чувствовался не избыток энергии, а нервозность и утомление.

За кажущейся плавностью конвейера раскрывалась для Бахирева лихорадочная и с перебоями пульсация завода. Да, здесь была кухня со своей грязью и копотью, с тысячами мелочных забот и недоделок и с большими заботами заводского коллектива.

Бахирев не был новичком и отлично знал, чего стоит заводу величественный ход большого конвейера. Но с первых слов он почувствовал и чрезмерную контрастность отдельных участков завода, и чрезмерную лихорадочность рапорта. Предчувствие опасности заставляло Бахирева слышать в каждой фразе скрытый сигнал тревоги.

— Опять все цехи предъявляют дефицит чугунолитейному,— строго говорил Уханов.— Что там у вас с блоком? Что же вы молчите? Мыслей своих выразить не в силах?

— Я устал свои мысли выражать,— прижавшись в угол и блестя злыми глазами, говорил маленький закопченный человек.— Бегут рабочие. Шихта бракованная. Нужных чугунов нет...

— Вы эту объективщину бросьте!— крикнул с места инженер моторного.

— Это я слышал... Объективщиком крестят на каждом рапорте. Ругать — все, а помогать — никто!

Рапорт перешел в перебранку, и Уханов с трудом утихомирил разгорячившихся инженеров:

— Товарищи, спокойнее!.. Ведь решается вопрос, быть или не быть квартальному плану! Втулки и гильзы — аварийно! Блоки — сверхаварийно!

Кончился рапорт. Озабоченные, усталые люди расходились из полутемной, прокуренной каморки по цехам.

«Все понимаю,— думал Дмитрий, идя за Ухановым.— Своя «кухня» есть всюду... И у нас она была... Но такая ли? Может, и у нас так же было, да пригляделся, своего не замечал? Нет, не так! Все было нормальнее, яснее, здоровее...»

То возникало перед глазами тяжелое переходящее знамя в элегантном кабинете Вальгана, то слышался стонущий в полумраке голос: «Втулочка!.. Надо же ее выбивать!..» Впечатления были отрывисты, противоречивы и тревожны. Из смеси все яснее выступало все то же ощущение болезненности заводской жизни. Так порой при встрече с человеком по горячему румянцу щек, по блеску глаз, по излишнему оживлению начинаешь подозревать тайно терзающую его лихорадку. И все настойчивее гвоздила мозг одна тревожная мысль: «Зачем уступил, согласился приехать? Что мне здесь надо? Масштабы? Положение главного? Деньги? На черта мне все это! Мне бы сидеть на своем месте, делать свое дело без сучка, без задоринки! Там я так и делал. А здесь?.. Дело незнако-

мое, люди незнакомые, обстановка неясная. Ненормальная обстановка».

Первой мартовской ростепелью омывало асфальт проходов. Сосульки свисали с крыш. Цехи уходили вдаль длинными рядами. Где-то далеко, у реки, ухала кузница.

Завод лежал перед Дмитрием как задача, которую необходимо решить.

Бахирев рвался в цехи, но прежде ему пришлось зайти в отдел кадров, заняться собственным оформлением, потом засесть за техническую документацию.

Так прошло полдня. Между сменами на заводском дворе состоялся общезаводской митинг. На площадь у проходной, возле статуи Сталина, поставили грузовик, затянутый кумачом. Заиграл оркестр, разместившийся возле грузовика, и зеркально сверкнули трубы. Рябило в глазах от этого блеска, от алмазной капели, что дробилась, падала с прозрачных сосулек, от слюдяной наледи на снегах заводского сквера.

Люди заполнили площадь. Дмитрий стоял в толпе. Разговоры, возникавшие вокруг него, обходили его, как ручьи обходят камень, лежащий на пути. Он был еще незнакомый, посторонний, не включенный в кипевшую вокруг него жизнь. На грузовик поднимали знамена. Бахрома шевелилась на прибрежном ветру. Золоченые верхушки знамен огнецветом горели почти у сердца статуи, поднятой высоким постаментом. Мраморная шинель широко распахнулась в таком движении, от которого шевелятся даже камни. Глаза не отрываясь смотрели вдаль, поверх людей, заполнивших площадь, и нижнее веко, чуть приподнятое в легком прищуре, словно оберегало этот прикованный к далям взгляд. «От чего оберегало?—подумал Бахирев.—От лишнего, мельтешащего, низменного?» Но внизу, у постамента, стояли люди и так же, как Бахирев, думали сейчас о том, с чьим именем жили, и, может быть, также пытались разгадать загадку этого скользящего мимо и поверх голов взгляда.

Мартовское краснопогодье оживило молодой прутняк у самой статуи. Тонкие, невысокие, по колено человеку, ветви беспомощно торчали из осевших сугробов и что есть силы тянули к солнцу маленькие поветья, обнаженные, трогательные, полные ожидания.

Они вздрагивали от речного ветра, ударялись о мрамор постамента и снова упрямо выпрямлялись. Зимой, укутанные снегом и инеем, они дремали в покое, летом, насыщенные теплом и влагой, они зашумят листвой, и только сейчас, ранней весной, так бросались в глаза их жажда, и их беспомощность, и то, в каком напряжении и ожидании жил каждый трепетный прутик. Один из них

чуть заметно, словно прося и робея, коснулся бахиревской ладони. Бахирев отодвинулся, чтобы не поломать, забывшись.

Из общего говора вырвался чей-то возглас:

— Еще несут! Министерское переходящее. Эх, алый цвет мил на весь свет!

— Три года носили и еще десять поносим министерское!

— Блоки бы вы носили!—буркнул чей-то сердитый голос.—С утра блоки не подают на конвейер...

— Смотри... Траурное принесли. С черной каймой.

— Ох! Не привыкну никак!—скорбно сказала пожилая работница.—Вздумаю—и все вокруг окаймится чернотой...

— Гляди, идут... Кто этот толстый?

— Это не наш... У нас раскормленные не водятся!

— А вот и наши... Что директор, что парторг—один к одному.

На грузовик поднимались Вальган, Чубасов, Уханов.

Из-под распахнутой генеральской шинели Вальгана блестели ордена. Красивое лицо его с горячим румянцем и черными глазами было поднято.

Оркестр умолк.

Молодой, светлый голос Вальгана легко поднялся над площадью и мигом приковал к себе внимание.

— Товарищи! В эти дни скорби и испытаний... закаленный, боевой, доблестный коллектив нашего завода... готов к новым трудовым подвигам!

На площади стало тихо. Еще отчетливее звучало у реки гулкое уханье кузницы. Под аккомпанемент этих ритмичных ударов лилась речь Вальгана. Дмитрия удивило, что привычные митинговые слова приобретают у Вальгана необычную наполненность. В них звучали то светлая, мужественная скорбь, то страстный призыв, то несокрушимая уверенность. Вальган подступил к краю грузовика, опустил голову так, что кудри крутыми завитками упали на лоб. Громко, отрывисто, но сильно, голосом, полным упорства, он говорил:

— Из года в год... из месяца в месяц... наш коллектив, вдохновленный сталинским планом, шел в первых рядах социалистического соревнования, выполняя и перевыполняя план! Не щадя сил... во имя родины... трудились героические люди нашего завода!..

Он отступил к середине грузовика, закинул голову. Ветер взметнул кудри. Широким жестом поднялась кверху рука.

— Клянемся тебе, товарищ Сталин, продолжать нашу

героическую трудовую вахту и всегда идти в первой шеренге! — И снова, опустив голову, он подступал к краю грузовика, говорил тише, глуше: — Из года в год... из месяца в месяц... несли мы это переходящее знамя! Мы держали его крепко... Мы боролись за него жестко...

И с силой посылал высокий, светлый голос к реке, к далеким корпусам!

— Клянемся тебе, товарищ Сталин, что будем без тебя, как с тобою...

Уханье многотонных молотов у реки подтверждало каждое слово. Разноголосая минуту назад, толпа затихла. У стареющего начснаба с вельможной осанкой и у девушки с полудетским личиком одинаково покраснели веки. К каким глубинам взывал Вальган? Что-то общее всем и лучшее в каждом отозвалось на его слова и объединило всех.

«Что это?» — спрашивал себя Бахирев.

Голые прутики над снегом у постамента по-прежнему тянулись к свету и вздрагивали от ожидания. Они могли только ждать, покорно и трогательно. Люди могут создавать, добиваться, бороться. Это и есть общее во всех и лучшее в каждом? Разбуженное и поднятое из глуби словами Вальгана, оно и объединило всех стоящих на площади?

В призывном голосе Вальгана было нечто общее с призывным, прикованным к горизонту взглядом поднятой на высокий постамент статуи, с ее движением, таким стремительным, что от него распахнулись даже мраморные полы шинели. За эту общность, за этот бьющий ключом призыв Бахирев сразу «простил» Вальгану и его многоречивость, и его привычку ласкать собственный подбородок, и многие другие раздражавшие Бахирева особенности.

«Силен, силен директор! — почти завидуя ему, сказал про себя Бахирев. Он не был речист и особенно ценил недоступный ему ораторский талант.— Забирает за душу, бисов сын! И слова не его, а ведь поди ж ты! Голос?.. Или лицо?.. Это, что ли, называется «вдохновение»? Умеет. Я бы этак не сумел. Больше тысячи людей — и всех взял! Лоб мокрый, кудри прилипают... Силен...»

После митинга Бахирев отправился осматривать цехи. Он решил для начала пойти один, чтоб ничто не мешало сосредоточенности. «На заводе, как в бою, слабое место — на стыке частей,— думал он.— Моторный цех — стык сборки и металлургических цехов... Стык конца и

начала. Здесь и рвется. Гильза и блок лихорадят завод... Начнем с моторного».

Строй станков, их мерный гул, веера искр, потоки эмульсий — все было знакомо Бахиреву. В центре цеха заметил он странное безлюдье и устремился туда. Здесь царила автоматика. На линии не было ни души. Ни суеты, ни гама, лишь мерное пощелкивание командного пункта. Тяжелые головки цилиндра то скользили в точном и мерном ритме, то плавно поворачивались, то сами собой осторожно перевертывались вверх дном по невидимой, неслышной команде.

Ни голосов, ни суетливых движений, только мерное пощелкивание да скользящее движение меняющейся на глазах детали.

Бахирев стоял один, не двигаясь. Отдых! Он отдыхал здесь не телом, но всем сознанием от сумятицы рапорта, от противоречий завода. Так отдыхает путник у знакомых привалов, так отдыхает художник возле любимых полотен.

Перед ним было как бы ядро будущего завода. Оно существовало. Оно билось сильно и ровно, как бьется здоровое, не отягощенное никакими пороками сердце. Бахирев стоял, наслаждаясь:

«Вот оно! Воплощенная мечта инженера. Может быть, то, что называют «мечта поэта»? Вот такой тракторный завод от начала и до конца!»

Он с трудом оторвался и зашагал главным проходом. Навстречу выбежал улыбающийся мальчуган в форме ремесленника. На обеих руках его, подобно муфтам, были надеты серебристо-серые гильзы. Испачканное лицо выражало ажиотаж.

— Эй, моторщики! — кричал он. — Чепе! Чепе! Конвейер встал по гильзе!

Его окружили.

— Как «по гильзе»? — спрашивал знакомый Бахиреву по рапорту Сагуров. — У вас же гильза в запасе!

— Бракованная! Овальная!

Все заторопились к сборочному, а Бахирев, подумав, зашагал к линии гильзы. Оснащенная современными станками, она не вызывала сомнений. Вдруг Бахирев остановился в удивлении — молодой широкогрудый рабочий вручную, большой грязной деревянной кувалдой, правил гильзы на колодке.

— Что? Что? — прокричал Бахирев ему на ухо.

— Гильзы тонкостенные... Получается овальность... Вот выправляем...

— Есть по техпроцессу? Кувалда по техпроцессу? — кричал Бахирев.

— Нет, кувалда в техпроцессе не указана... Но оваль-

ность... Я ж объяснил... Овальность!..—Для убедительности рабочий нарисовал овал рукой в воздухе.

Когда Бахирев пришел в сборочный, все там как-то опало, осело, и цех чем-то напоминал футбольный мяч, из которого ушел воздух.

Конвейер стоял. Тросы и шланги над ним одряблели и безжизненно повисли. Омертвев, остановился кранбалк. Люди, раньше плотно облеплявшие конвейер, теперь отхлынули от него, унося жизнь, шум, хлопотливую суету. Конвейер был безлюден, проходы же, прежде свободные, теперь заполнились рабочими. На блоках, на застрявших автокарах сидели и полулежали люди, курили, жевали бутерброды, переговаривались. Остановившийся конвейер Бахиреву приходилось видеть сотни раз, и каждый раз это зрелище тревожило его. Захотелось немедленно что-то предпринять...

Он отправился туда, где виднелась группа людей. Люди стояли над кучей гильз.

— Ну, я же говорил, что есть на сборке гильзы! Еще из фонда запасных лежат с той недели,—горячился Сагуров.

— А я ж говорил, что все овальные, все бракованные!—гудел Рославлев.

— Чтобы ОТК пропустило сто овальных гильз—этого быть не может!

— Как не может быть, когда есть!

По привычке досконально все прощупывать своими руками Бахирев сам молча измерил приборами внутренний диаметр и убедился в том, что налицо овал вместо круга. Так же молча он прошел обратно в моторный цех, взял три гильзы прямо из-под кувалды и замерил их в ОТК. Они были круглыми. Он велел отнести их в свой кабинет и только тогда снова пошел по цехам.

В инструментальном и модельном он, так же как в сборочном, невольно вздохнул полной грудью.

Тот же, что в сборочном, стеклянный покров от пола до потолка. Проходы, очерченные по краям аккуратными белыми полосами. Серо-голубые ящики для отходов. Цветы у станков на специальных серо-голубых подставках.

Большинство рабочих здесь были одеты в синие комбинезоны.

В модельном ему бросился в глаза рослый юноша с крупным, веселым ртом и чуть вздернутым носом. Двумя руками фрезеровщик крутил две рукоятки—одну по часовой стрелке, а другую против.

Бахирев подошел вплотную и попробовал незаметно для других крутить большие пальцы рук в противополож

ных направлениях. «Не получается!» Он стоял за плечом юноши, любовался виртуозностью движений и с отменным старанием крутил большими пальцами. «Ни черта не выходит! А он в две руки! Ну и артист!» Бахирев от удовольствия дернул себя за вихор. Юноша остановил станок.

— Ну, ловок!—сказал Бахирев.— А зачем это?—Он для ясности неуклюже поболтал в воздухе руками.

Юноша улыбнулся и бросил на него мгновенный взгляд больших глаз желудевого цвета.

— По кривой же фрезерую.

Бахирев взглянул на фрезу. И фреза была невиданная—она обрабатывала сразу несколько плоскостей незнакомой замысловатой детали.

— Откуда фрезы берете?

— Сами делаем.

— Здорово! А это куда?—Он ткнул пальцем в деталь.

Юноша досадливо свел светлые брови.

— А!.. Чужому дяде...

— Жалко такую фрезу для чужого дяди...

— Це́ха не жалеем,—с прежней досадой ответил юноша,—что уж фрезу!

«Ведь видел я его где-то... и совсем недавно...—пытался припомнить Бахирев.—Таких энергичных, курносоватых на плакатах рисуют: «Кто куда—а я в сберкассу».

До чугунолитейного цеха Бахирев добрался к вечеру.

Он знал, что цех этот, первенец пятилетки, выстроен по старым американским чертежам, и ждал неприглядной картины, но увиденное превзошло ожидания.

Дневной свет едва пробивался сверху, а электрический мерк в гарном воздухе низкого и тесного цеха. Пахло горелой землей и едкой копотью. Полыхало пламя вагранок, белый, как молоко, металл, искрясь, лился из светящегося, плохо промазанного ковша, и старые опоки с треском и шипом отплевывались бело-голубыми плевками пламени. Весь цех был в дрожи и грохоте. Покрывая грохот, надо всем царили резкие, требовательные колокола мостовых кранов. Дробно стучали выбивные решетки. Истошно вопили шлифовальные камни. С перекатами громыхали очистительные барабаны. Безостановочно двигались узкие ленты многих конвейеров. Люди смешно открывали беззвучные рты и объяснялись жестами, как глухонемые. Бахирев плутал в лабиринте переходов и думал:

«Ну и цех! Сам черт ногу сломит!»

В конце одного из конвейеров стоял статный парень, одетый в грязные опорки и расстегнутую на груди рубаху.

Бахирев заметил его разухабистую, ленивую позу, голую грудь и небрежную легкость, с которой он крючками перебрасывал пудовое раскаленное литье с конвейера.

Вдруг лицо парня изменилось, он сплюнул папироску и вытянул шею, вглядываясь в кого-то.

В конце пролета шел тот самый юноша, которого Дмитрий заметил в инструментальном. «Что его носит по заводу?» — заинтересовался Бахирев.

Он поравнялся с юношей и пошел вплотную сзади него. В самом центре цеха компания молодых рабочих устроила веселую карусель. Они уселись на подопочные доски и беспечно катались на круговом конвейере. Юноша решительно остановил конвейер и подошел к весельчакам:

— Катаетесь, значит?

— А чего нам делать? Обрубка литья не принимает, стержневое стержней не подает. Плавильщики шабашат! Потрудились — хватит.

— Эх, вы, труженики! Не труженики вы, а круженики! — Юноша постоял, засунув руки в карманы, и бросил: — Пошли бы в обрубное, подсобили...

— Специальность имеем! Пусти конвейер! Чего отключил?

— Где мастер?

— За стержнями побежал. Он у нас в подсобниках.

— А где начальник цеха?

— Сидит в кабинете, стучит кулаком по столу. Детали выколачивает.

Полыхнув жаром, мимо Бахирева проехал автокар с коричневыми горячими стержнями. Длинноусый старик с лицом старого мастера, насупившись, шагал рядом. Юноша в комбинезоне подошел к нему.

— Что же это сегодня? С утра гильзы не было, теперь блок стопорит. Давайте нажимайте.

— Еще ты тут будешь распоряжаться! Завели систему: «Давай, давай!» — рассердился мастер.— Людей мало, шихта бракованная, в земледелке земля некачественная, а все одно знают: «Давай, давай, давай!»

— Деда, я же от комсомольской рейдовой,— примирительно сказал парень,— ребята на опоках катаются. Поговорить — подсобили бы пока на обрубке.

Мастер ответил что-то, утонувшее в грохоте, и ушел. Юноша стоял, щурясь. К нему подошел парень в расстегнутой рубахе и сказал с вызовом:

— Выбрали тебя — так ты нос кверху и не здороваешься?

— А ты всегда здороваешься? — прищурил желудевые глаза юноша.

— Да когда как...— Парень почесал голую грудь.

— То-то и оно! За собой мы не замечаем...

Оба помолчали.

— Вернулся, значит...— полунасмешливо сказал юноша.

— Как видишь.

— Осознал?— В голосе юноши звучала явная ирония.

— Ну, и осознал. Ты против меня выступал? За увольнение?

— За товарищеский суд...

— Это кто же судить будет? Яшка с Машкой?

— Хотя бы и они...

— Тоже судьи...— Парень плюнул, рванул рубаху так, что она затрещала.

Когда Бахирев вышел из цеха в аллею передовиков, уже темнело.

Еще не отгорела вечерница, за цехами тускло тлела полоса брусвяного цвета. Погода изменилась, и зорные сумерки гасила густая мгла. С неба падала липень. Безостановочно дул верховой ветер. На душе у Дмитрия было смутно. Впечатления, еще не отстоявшиеся, пестрые и противоречивые, толпились, вытесняя друг друга:

«Автоматическая линия и... кувалда. Виртуоз из модельного и бесшабашная карусель на опоках в самом центре базового цеха. Великолепный сборочный цех и чудовищный чугунолитейный. Сверкающий директорский кабинет, где все дышит большими мыслями о будущем, где чувствуется дружеская спайка веселых и уверенных людей, и сумрачная каморка рапорта, переходящего в перебранку сердитых и недовольных».

Ощущение болезненности виденного не покидало его, но он не знал ни причин болезни, ни способов лечения.

«Последствия войны, эвакуации?— спрашивал он себя и отвечал себе:— Я был на Сталинградском тракторном, когда люди жили в землянках, работали в непокрытых цехах, где снег порошил станки, и все же не испытал этого двойственного ощущения. А Минск?— вспоминал он.— А ХТЗ? Завод-сад, завод-красавец, а ведь тоже был в эвакуации... Почему же здесь? Если не война, то что же?..» Он опять не находил ответа.

После гари и копоти чугунолитейного цеха ему хотелось глотнуть свежего воздуха и подумать в тишине. Он сел на скамейку в аллее передовиков. Ворота в цех сборки были открыты, и три трактора медленно выползали на обкаточную площадку.

«Немилый завод, немилые машины...— Снова овладели им те неотступные мысли, которые вызывали желание бежать с завода.— Многотонный, дорогой, неповоротливый извозчик с баранкой вместо вожжей... Такой тяжело-

вес едва ползет, тянет иной раз пару легоньких сеялок, да еще требует миллионной армии прицепщиков. Дико!.. Когда двигается танк, то все в нем оправдано. И толщина металла, и тоннаж, и скорость движения — все именно такое, какого требует бой. А здесь? Для пахоты и сева нужны иной тоннаж, иная скорость и иная износоустойчивость! Все не по заданной цели! Почему не ищут необходимого? — Мысли Бахирева упорно возвращались к годам войны: — Тогда танкостроители искали, торопясь, неустанно, неотступно, потому что те, кто не найдет наилучшего решения военной машины, обрекают на гибель страну. Но разве оттого, что над полями мирное небо, нам можно мирно дремать на этих полях? Непоправимо ошибается тот, кто так думает! Я думаю иначе,— говорил он себе.— Но что я сумею сделать здесь? Они знают о тракторах больше меня! Сидеть бы мне у себя!.. Что я здесь смогу? Немилый завод... Немилая машина...»

А тракторы, не чуя враждебных мыслей главного инженера, бодро тарахтели где-то за деревьями, и тракторист весело напевал в темноте старую песню:

По дорожке по зимней, по тракту, да,
Нам с тобой далеко по пути.
Прокати нас, Ванюша, на тракторе,
До околицы нас прокати...

Бахирев прислушался: «Да, когда-то ждали трактора, души не чаяли, а вот теперь ясно: не так, не то, надо иначе, надо лучше. Кому ясно? Мне или всем? И как «иначе»?»

— Алешка, давай фары для опробы! — раздался крик на весь двор.— Переносные фары давай!

«Переносные... Значит, все еще без фар,— подумал Дмитрий.— Слепые идут... Сейчас я еще вчуже смотрю на них, и вчуже мне худо. А если и при мне пойдут вот так же, вслепую?.. А они пойдут! Этой махины мне не повернуть. Я не справлюсь».

Он уже ясно сознавал, что его приезд был ошибкой. Все вблизи оказывалось гораздо сложнее, чем издали, и, как едким запахом, все отдавало дурной, противоречивой двойственностью.

«Уезжать, пока не поздно, пока еще не закончили оформление... Неловко? Да!.. Глупо? Да! Но еще глупее остаться здесь, взяться за дело, заведомо непосильное... Я привык работать честно. Дети — и те гордились батькой... Я приходил домой, спокойно глядел в глаза своему мальчишке. Во что я превращусь здесь? Заводу будет плохо от такого главного... Мне тоже будет плохо... Не затягивать! Решиться немедленно...»

Он пошел к Вальгану и застал директора в одиночестве.

— Ну как, поглядел завод?—дружелюбно и весело спросил Вальган.

— Поглядел,—сказал Бахирев, сел, поерзал в кресле и принялся что есть силы дергать и крутить свой вихор.

Трудно было начать разговор. Вальган выжидающе смотрел на него.

— Семен Петрович... Поглядел я... Подумал. И должен сказать: мое назначение было безусловной ошибкой... Я с заводом не справлюсь...

Директор с силой сдвинул папку с бумагами, приподнял верхнюю губу так, что обнажились белые, один к одному, зубы. Видимо, он хотел сказать что-то резкое, но сдержался...

— Кто я, по-вашему?—спросил он гневно, но негромко.—Мальчик? Я договариваюсь в министерстве, я говорю с вами, вы соглашаетесь...

— Я отказывался!

— Но потом вы согласились! Я оформляю. Я перевожу вас. И в первый же день...

— Лучше в первый, чем в триста первый, Семен Петрович. Издали я не представлял всей сложности задачи... Я привык работать честно... И вот честно говорю: мне завод не под силу...

— Не под силу?—с гневным презрением перебил его Вальган.—Да вы еще не пробовали! Дело не в том, что «не под силу», а в том, что вы силу жалеете! Себя бережете! Начальником цеха, конечно, поспокойнее... А мы все здесь не хотим спокойной жизни? Я, когда езжу поездом, на каждую будку путевого обходчика смотрю с завистью. Соскочил бы с поезда, поселился бы где-нибудь у черта на куличках! Лес, ружье, огород, пенсия! Живи, береги свое здоровье... Однако не соскакиваю!

— Каждый хорош на своем месте,—не глядя на Вальгана, сказал Бахирев.

— А вот, по-моему, я уже очень был бы хорош на месте путевого обходчика... Думаете, мы все не видим, что такое наш завод? Если хотите—это продукт стремительности нашего развития. В нем одном отпечатки трех эпох! Да, да! Наша мрачная чугунка построена по чертежам и образцам капиталистических заводов. Модельный—это уже переход к социализму! А наш сборочный, наши автоматические линии, наши парки, наш Дворец культуры—это уж социализм. Есть у нас такие рабочие, как фрезеровщик Сугробин,—это социализм. А есть и пьяницы и даже ворюги—такие пережитки капитализма в сознании, что хуже некуда. А рубцы войны? На темных

стенах кузнечного полоса светлого кирпича — заметили? В этом месте стена была разрушена... И теперь — как шрам на теле завода. Думаете, мы всего этого не видим? Только не трусим, не нудим, не дезертируем,— трудимся!

Он был прав. Но Бахирев смутно ощущал странную легкость в словах директора. Нетерпимо миролюбивым представлялось Бахиреву соседство противоположностей, описанных Вальганом, и хитрое это миролюбие настораживало, заставляло упорно твердить:

— Семен Петрович... Ваше право ругать. Ругайте, но отпустите...

— Я вас отпущу. А что будет с заводом? Отпустить вас — самому опять в Москву ехать, опять искать, опять просить у министерства... Кто я, по-вашему, мальчик? — снова повторил он. Бахирев молчал.— Кто вы, по-вашему? — с еще большей силой спрашивал Вальган.— Коммунист? Вам доверили большую работу! А вы даже не попытались справиться — и сразу лапки вверх: «Не справлюсь!» И это в такие дни!.. Миллионы наших людей сейчас напрягаются до предела, чтобы восполнить утрату. А вы... Ваше дело — положить все силы, чтобы справиться... А если вы не справитесь, то уж нашим делом будет снять вас как несправившегося! Все силы для того, чтобы оправдать доверие! Вот в чем честность! Вот каким должно быть партийное поведение. А вы...

Вальган закурил, подошел к окну, толчком открыл форточку, постоял под весенним ветром, пуская дым. Потом обернулся к Бахиреву и сказал совсем спокойно и властно:

— Я этот разговор забыл... И тебе советую не напоминать... Ступай... Работай...

Бахирев вышел от Вальгана с чувством мальчишки, которого только что выпороли. Завод представлялся ему ловушкой, в которую он попал по неосторожности. «Никуда не денешься, придется работать»,— думал он, шагая заводским двором.

Ночная прохлада освежила голову. Волглый, тяжелый ветер непрерывно дул с реки. Что-то влажное и холодное, густое падало с высоты. Оно то ложилось на землю мутно-белым, быстро тающим месивом, то крыло асфальт влагой. В тумане и ветре широкая колоннада ворот была освещена ярко и чисто. Гирлянды фонарей висели арками. В свете фонарей отчетливы были чугунные ограды ближних бульваров, очертания цветочных ваз на бульварных тумбах. Разноцветные огни, играя, бежали по краям больших стендов у входа. Здесь, у ворот, помещались два самых больших портрета — юноши и девушки.

«Вот же он!—Бахирев узнал лицо фрезеровщика.—Никакая не сберкасса, конечно! Здесь, а не на плакате я его видел. Кто же он?—Он подошел к портрету и прочел подпись:—Сергей Сугробин... передовик, рационализатор... Но что его носит по цехам?»

За притихшими бульварами слышался гул машин и голоса. Там, на обкаточной площадке, шла жизнь. Откуда-то из земли, очевидно, из обмывочных шлангов, поднимался пар, он опалесцировал в свете цветных фонарей, менял очертания и окраску. И этот феерический, меняющийся отсвет, и ночная мгла, и ветер, и гул машин, и суета людей—все смешалось в одну, ни на что не похожую картину...

«Придется осваивать... Но где же концы, где начала?—снова и снова мысленно перебирал Бахирев.—Многотонные тракторы—и пара легоньких плугов. Первенство завода—и эта отчаянная себестоимость. Зовущая речь Вальгана—и эти затравленные, обезьяньи глаза конструктора. Эти непривычные противоречия—и это хитро-миролюбивое отношение к ним. Как это может совмещаться? Где концы, где начала? И как разобраться в этом? Как я начну? Что я смогу? И зачем занесло меня сюда?»

Он тоскливо оглядел заводской двор. На обкаточной площадке по-прежнему пар бил из земли, и в его феерическом, изменчивом отблеске проползали неуклюжие, слепые, безглазые тракторы.

Глава III

БОЛЬШИЕ ГЛАЗА

Даше снилось, что всё поднимаются, всё растут на тонких ножках дымчатые лесные колокольчики, и путаются в сосновых ветках, и звенят, звенят чистыми, тонкими голосами, звенят, словно требуют: «Пусти... пусти... пусти...»

Она проснулась. Верушка посапывала, уткнувшись в Дашино плечо мягким носом. За окном двигались ленты огней и слышались звонки.

«Трамвайчики!»—подумала Даша и босиком побежала к окну. По улице, позванивая на ходу, один за другим бежали полупустые, ярко освещенные трамваи.

«И я буду ездить... на тракторный завод... к проходной... в первую смену...»

«Тракторный завод», «проходная», «первая смена»,— она с удовольствием повторяла в уме эти слова. Озябнув, она снова юркнула в теплую постель. Веруша подняла с подушки курчавую голову и сиплым со сна голосом спросила:

— Ты чего?

— Трамвайчики!—ответила Даша и рассмеялась от радости.

— Я тоже сперва глядела,—сонно ответила Веруша.

— Красивенькие... Идут и идут! И все в один конец! Откуда это они?

— Они тут, рядом, ночуют, в трамвайном парке...

Едва договорив, Веруша заснула, а Даше представился парк с развесистыми деревьями. Ветви у деревьев лапчатые, тихие, а под ветвями стоят трамвайчики—ночуют! Все это вместе называется «трамвайный парк»...

Две постели пустовали: соседки не вернулись с ночной смены. Сережки лежали рядом на тумбочке и блестели. Вчера Веруша купила одинаковые—себе и Даше. Такой уж повелся у подруг обычай со школы, с колхоза—все покупать вместе: Веруше кофточку—и Даше кофточку, Веруше серьги—и Даше тоже. Теперь Веруша была рабочая, а Даша—еще «приезжая из колхоза», еще не принятая, денег у Даши было в обрез, и Веруша снаряжала ее из своих. Для первого выхода на завод купила голубые сережки, в цвет глазам. Даша потрогала их, опять тихонько засмеялась, и вдруг в сердце словно укололо: «В кино хожу, сережки покупаю, а мама, видно, вечером опять от глаз хоронилась в овчарне—плакать... Нюшка да Люшка по годам не помощницы, да и сноровка у них не моя. Забаловали мы с мамой девчонок! Теперь не наплакаться бы с ними... Спят, поди, еще и печку не затопляют? А я тут! В городе, на заводе!» И снова она засмеялась от удивления и радости.

Сна не было, и мысли перебивались воспоминаниями.

В памятный знойный полдень первого послевоенного года Даша, две ее сестренки-близнецы и мать их, вдова Анна, сидели на пригорке среди изрытого окопами пустыря. Позади были и годы эвакуации, и длинные рассказы Анны о милом «своем» доме под двумя заветными сосенками, и долгий путь к этому дому. И вот наконец этот «дом»—кирпичная печь с развороченным, черным от сажи чревом.

Такие же полуразрушенные печи в ряд торчали на пустыре. Маленькая Нюшка робко спросила:

— Мам, это могилки?..

Даша смотрела на сосны. Ветки были обгорелые, похожие на культи, и только наверху качалась белесая хвоя.

Анна долго сидела на пригорке, потом подошла к соснам, прикоснулась ладонями к стволам и сказала с болезненной улыбкой:

— Растут все ж таки...

Ночевали они в землянке, густо набитой людьми.

— Чего немец не дожег, то солнце выжжет,— звучал в темноте незнакомый Даше женский голос.— Грянула засуха из засух. Мы женщины мужние, семейные, и дети у нас не твоя мелкота, и то не знаем, как осилим... А тебе, Анна, пробираться бы пока поближе к Заречью. Там и села цельные, и дождило с весны... Есть там знаменитый колхоз «Трактор», председателем в нем Ефим Ефимович.

— Я под этими соснами сама люлькалась и своих трех люлькала,— сказала Анна.— А в девках была, Яша мой... затаится, бывало, за стволами, меня караулит...

— У девчонок твоих, гляди, косточки светятся,— сурово возразил голос.— А сосны что...

Когда все уснули, мать стала тихо плакать. Двойняшки, испуганные и намученные, тоже заплакали. Тогда мать сразу успокоилась и зашептала:

— Встанем с утра, да и пойдем полюшком... На своей земле да не найти своей доли?

Ранним утром они вышли. У матери и у восьмилетней Даши были сумки за плечами, двойняшки несли по узелку.

В траве, под кустами, еще не обсохла роса, а пыль на дороге была уже теплой и пухлой. Из рытвин и воронок торчало ржавое железо.

Когда поднялись на холм, мать оглянулась на две сосновые вершины, маячившие вдалеке, притянула к себе детей и затряслась от слез.

— Бездомочки вы мои...

Двойняшки тут же взялись в голос. Мать спохватилась, пересилила себя:

— Ну, попрощались, ну и хватит... Поглядите-ка, утро какое нарядное... Худо ли, плохо ли идти?

Даша со страхом посмотрела на множество видных с холма, перепутанных, как нитки, дорог.

— По какой же мы пойдем, мама?

— По какой пойдется, по той и пойдем, где придется, там и присядем,— торопливо заговорила мать.— Какое место понравится, то и наше. Худо ли, плохо ли?.. Хорошо, распрекрасно-хорошо!..

Они шли день за днем, ночевали то на сеновалах, то в сенях, то в клунях. В любой дом и в любые сени входила

Анна, как в свою хату, здоровалась с хозяевами и доверительно говорила:

— Не найдется ли местечка переночевать? Иду, ищу места такого, где бы сиротам моим лучше окорениться...

Им сочувствовали, устраивали на ночь и давали советы.

До Заречья было далеко, а шли они медленнее, чем думали, потому что Нюша натерла ногу. У них не осталось ни денег, ни хлеба. Мать выменяла юбку и шаль на хлеб. После этого менять стало нечего...

В полдень, когда они проголодались, мать подошла к женщинам, сидевшим на крыльце, и сказала просто:

— Нет ли хлеба, женщины? Идти еще далеко, а дочка, на беду, ногу стерла. Не поспели мы в срок дойти... Истратились.

И так же просто, как она просила, женщины поделились с ней молоком и хлебом.

Другой раз в полдень они вошли в большое село. Улицы и дворы были пустынны. Ставни больших домов закрыты от жары. В одном из дворов сидела толстая, краснощекая деваха в розовой, с темными пятнами пота рубахе и перекладывала из корзины в корзину помидоры.

— Не найдется ли у вас ковша воды да куска хлеба?—попросила Анна.—Дорога у нас дальняя, не рассчитали.

Девушка подняла осоловелые глаза и, глядя на Анну, молча взяла помидор из корзины и принялась сосать изо всех сил, с причмокиванием. Желтый сок неторопливо капал с круглого подбородка.

— Чего это там, Тамарка?—раздался из дома старушечий голос.

— Нищенка тута,—хрипло протянула деваха.—Милостыньку, Христа ради...

Анна схватила девочек за руки и рванула их с места.

Однажды Даша поотстала и издали услышала необычайно звучный и радостный мамин голос:

— Даша, Дашенька!

Мама стояла на вершине холма, и на тронутом вечерней желтизной небе отчетливо выделялась ее темная фигура. Стояла она, опираясь на палку, ссутулясь и неестественно вытянув худую шею. Видно было, как ходят под темной кожей круглые хрящики горла. Серая от седины и пыли прядь волос билась, как крыло, меж бровей, то взлетала по ветру, то снова никла. «Нищенка!»—холодея от жалости, повторила про себя Даша чужое слово. Но глаза матери светились радостным светом.

— Ну, дочка, глазастенькая моя, смотри, куда нас дорога вывела,— сказала мать.

Внизу среди кудрявых лесистых холмов голубела речка. Вдоль берегов в густой зелени виднелись добротные дома. С левой стороны литым массивом стояли хлеба. Пыля и звеня бубенцами, шло по дороге стадо.

Даше так приглянулось красивое место и так устала она идти, что закричала:

— Не тронусь отсюда, здесь жить стану!

Двойняшки поддержали ее в два голоса.

Мать тихо сказала:

— Ну что ж, дочушки, быть этой логовинке нашей!

Надолго запомнила Даша свою мать вот такой — сгорбленной от усталости, с хрящиками на темной, выгнутой шее и с этим синим светом в глазах.

Все четверо пошли, торопясь так, словно кто-то хороший нетерпеливо ждал их у этих холмов.

За низким забором полная старуха, тяжело топая по двору, накрывала стол под деревом. Мужчина и мальчик лет десяти строгали доски на верстаке возле дома. От самовара шел дымок, и хорошо пахло от этого дымка человеческим жильем, вечерним уютом.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказала мама.

Старуха, тяжело ступая, подошла к калитке.

— Это откуда же ты такая, ровно зачумленная?

— И верно, зачумленная,— сказала мама.— От войны, как от чумы, не скоро уйдешь... Слышали, может, такое место — Чухтырки? Немец выжег до последней хаты. Самой — куда ни шло, а их, малых, не оставишь с неприкрытыми головами. Вот и повела я их.

— Куда же это вы идете?

— Идем по дороге от беды к доле...

— От Чухтырок... Это сколько же идти? — вмешался мужчина.— Неужели вы все пешком?

— Пешком,— вздохнула мама.— Нюша у нас обезножела. Давно бы надо быть нам на месте, а мы еще идем да идем...

Старуха посмотрела на Нюшу, прижавшуюся к материнским ногам.

— Поистерла ступалочки? А вы входите-ка...— Она раскрыла калитку и, глядя, как захромала Нюша, сказала: — Вот и выходит, нас с тобой парочка — гусь да гагарочка. Я вот тоже вовсе обезножела. Я от старости, а ты от малости.

— Куда же ты с ними направляешься, мамаша? — деловито спросил мужчина.

— Шли мы в колхоз «Трактор», к председателю Ефиму Ефимовичу.

— Слышали про такого... Что же он вам, родственник либо так, знакомый?..

— По правде сказать, и не родственник он нам и не знакомый. Сильно хорош, говорят, человек... Мне ведь немного надо — была бы работа! Я к любому делу способная... Думаю, поглядел бы он на мою работу, увидел бы, что за человек пришел, дал бы мне с сиротами обкорениться... А как дошли до вашего села, облюбовались вашими местами! И стали мои девчонки проситься: пойдем да пойдем!

— В наше село, значит, захотелось? — спросила старуха Нюшу.

— Девчонкам уж очень тут понравилось... Я и подумала: может, и здесь нужны работящие люди?

— А отчего же и нет? — с неожиданной легкостью согласилась старуха.— Работящие люди везде к месту. Никеша! — крикнула она мальчику.— Подкинь в баньку поленцев! Вода еще горячая, и щелок удался. Помойся, отужинаешь, переночуешь, а с утра сведу тебя к председателю.

Через час, чистые, распаренные, они сидели во дворе за столом. На Даше была Никешина рубаха, перепоясанная пестрой тесьмой. Уже смеркалось, старуха зажгла лампу, подвешенную прямо к суку дерева. Белые бабочки вились над лампой, меж ветвями. Красные угольки сыпались из самовара на жестяной поднос. Старуха угощала борщом и чаем с медом. В прозрачном меду виднелись кусочки сот и пчелиные крылья. Старуха ласкала двойняшек и жаловалась, что ее дети поразъехались и увезли внучат.

— Обездетнел дом,— говорила она.— Никешу у дочки, можно сказать, слезами оторвала. Дочка еще ничего, да зять попался, на горе, такой детолюб! А тут, глядишь, снарядились они на каналы, а куда мальчонку везти на каналы, на необжитое место?

Она ласкала двойняшек, а Даше хотелось, чтоб и ее приласкала старуха. Даша взяла остатки мыльной воды из бани и вымыла затоптанное крыльцо. Старуха не останавливала ее, смотрела, как моет, и сказала матери:

— Видать по ветке яблоньку, по детенышу родителей...— Намазала медом ломоть хлеба, протянула Даше и похвалила ее: — Приметлива растешь! Глаза-то распахнуты, как два окошка!

Утром они со старухой Павловной пошли к председателю.

— Пускай работает... Поглядим...— буркнул он в стол.

— И документы у нее исправные, бумажка к бумажке! — радостно заговорила Павловна.

— Какие еще документы! — Председатель нахмурился и глянул на двойняшек и Дашу.— Коли работы не боишься, снаряжайся завтра на покос со второй бригадой. Поглядим, что ты за работяга.

Когда они выходили, Нюша потеряла Никешин большой, не по ее ноге, ботинок, и председатель крикнул:

— Эй ты... документ!.. Подбери обутку!

Так началась для Даши новая жизнь. После военных мытарств все казалось ей счастьем, и, вспоминая ту осень, живо ощущала она запах дымка от самовара, терпкую сладость меда с вощинками. Мать работала днем в поле, а ночью сторожем в «Заготзерне». Старик работал в колхозе, а Павловна вела дом и опекала девочек. Никеша целые дни пропадал на реке, на двойняшек и Дашу не обращал внимания. Даша относилась к нему с уважением и даже с некоторой боязнью. Однако это не помешало ей однажды схватиться с ним. Даша путешествовала по всему колхозу, и все ей было интересно. Но самым интересным местом оказался конный двор. Там был конек — гнедой меринок необыкновенно маленького роста и неизвестной породы.

Сперва Даша приняла его за жеребенка, но он был широкий, плотный и не шарахнулся от нее, как шарахаются жеребята, а протянул из стойла морду и теплыми черными губами потрогал Дашину ладонь.

— Сольцы просит! — объяснил конюх.

Даша нарвала травы, посыпала ее солью и дала коньку. Он поел и снова потрогал губами Дашину ладонь...

— Дядя Петя! — с трепетом попросила Даша конюха.— Пусть этот конек будет мой!

— Это в каких же смысла́х твой?

— Ну, чтобы я сама его кормила, и чистила, и в стойле убиралась. Можно?

— Ну, в таких смысла́х можно.

С утра Даша мчалась на одичалое, заросшее клеверище и со снопом посоленного клевера входила на конный двор. Конек, заслышав ее шаги, ржал.

— Чует хозяйку,— говорил дядя Петя, а когда просили запрячь конька, он серьезно отвечал: — Я коньком не распоряжаюсь. У него хозяйка есть.

И Даша краснела от радости.

Однажды она вывела конька к речке, вымыла и собиралась сесть на него, чтобы ехать обратно. Вдруг чья-то рука решительно забрала у нее поводья, и Никеша махом очутился на коньке. Даша схватила его за босую ступню.

— Не смей, Никешка! Это мой конек!

Никеша молча лягнул ее в плечо ногой, за которую она держалась. Даша что есть силы дернула его за ногу. Он не удержался, и оба они, сцепившись клубком, покатились по траве. Даша тихо визжала от горя и дергала Никешу за волосы. Он сопел и отрывал ее от себя. Наконец он оттолкнул ее, вырвался и вскочил на конька. Даша стояла в траве на карачках и, всхлипывая, смотрела, как мчался Никеша на ее коньке по зеленой прибрежной дороге.

Обида и жажда справедливости рвали ей сердце. Чтобы не встретить Никешу, она весь день бродила в лесу. В конце дня она пришла домой и собиралась пожаловаться матери. Но мать взяла ее за руку и молча повела на зады, к бане.

— Это что ж такое, жадюга ты этакая?—сказала мать и больно дернула Дашу за косицу.—Люди к тебе передом, а ты к ним хребтом? А? Гадючкой порешила вырасти? А?—И она снова дернула за косицы. Мать никогда не била и не ругала ее, и Даша онемела от удивления. Лицо у матери было серьезное, сухие губы плотно сжаты.—Ты пришла к людям в дом, как в отцовы палаты. Люди к тебе и хлебом и кровом, люди к тебе всем добром сердечным! А ты? Колхозного конька, жадюга, пожалела!—И мать снова дернула Дашу за косу.—Еще медом да конфетами тебя, гадючку, кормили!

— Да, мам... Да ведь конфетами Павловна... А конька Никешка отнял...

— Ты еще мне порассуждай!—сказала мать.—Ты еще мне порассчитывай, кому чего! Значит, кто тебе расщедрился, тому и ты со щедростью, а кому тебя нечем ублаготворить, тому и ты поскупишься? Ты еще меняльну лавку открой, как в старину! А на чьей ты подушке спишь, гадючка? А чьим опояском у тебя рубаха опоясана?—Мать рванула с Дашиного платья Никешин старенький витой поясок.—Будешь ходить распояской, спать без подушки! К коньку чтоб близко не подходила! Иди в дом, до ночи сиди одинешенька, образумь бессовестные твои поступки, бесчеловечные!

Мать ушла. Даша поплелась домой. Дома было пусто и сумрачно. Даша села в кухне на лавку возле окна.

«Ну что ж!—думала она.—Оставлю свои игрища и куклу, что дядя Петр подарил, пускай Никеша играет. А сама уйду... Поступлю на работу, заработаю денег и начну всем слать подарки. Двойняшкам пришлю по мячику, Никешке—велосипед, маме деньгами отошлю, а Павловне—пуховый платок... И что ни месяц, то и буду подарки слать! Кинутся они меня к себе звать, а я и не поеду! Раз я для вас бессовестная, раз бесчеловечная, раз

я у вас гадючка, то и буду жить одна-одинешенька, пока не помру!»

Она задремывала, просыпалась, думала и снова дремала.

По улице прогнали коров, прошли пастухи, щелкая бичами, и Павловна, громыхая подойником, направилась к стойлу. Двойняшки мыли картошку в большом тазу. «Поди, и вымыть-то не сумеют как следовает!» — подумала Даша, но не тронулась с места.

Хлопнула дверь. Даша обернулась и увидела у дверей Никешку. Он стоял к ней затылком, и на шее у него темнела царапина.

«Неужто ж это я исцарапала?» — подумала Даша.

Никеша молча и сосредоточенно искал что-то в корзине под лавкой. Голова его поворачивалась то в одну, то в другую сторону, и от этого царапина на шее то удлинялась, то казалась короче. Соломинка торчала в волосах. Видно, он пришел прямо с конного двора — кормил там конька.

«Ну что ж!» — подумала Даша и сказала дрогнувшим голосом:

— Никеша! Ну как там... твой... конек?

Никешина голова вдруг замерла над корзиной. Даша ждала. «Серчает...»

— Какой он мой! — вдруг раздалось из-под лавки.— Он... тво-ой... конек!

Никеша хлюпнул носом...

Уже много позднее Никеша рассказал ей, что перед этим Павловна позвала его к себе, взяла за вихор, подняла его голову и сказала:

— Ты что ж это, удалец, сироту обижаешь? У тебя и мать, и отец, и бабка с дедкой. У тебя на селе дом, в городе дом, игрушек в каждом доме по вороху, а ты для маленькой сироты колхозного конька пожалел? Может, потому у тебя два дома, что ее отец мертвым лег, а до твоего дома войну не допустил? У сироты ни одежки, ни обувки, ни книжки, ни игрушки, и вся была ей отрада — колхозным коньком поиграть. И того ты отнял... Напишу-ка я твоему отцу, как ты тут, удалец, отличаешься, сиротских детей, безотцовских, обижаешь! Ступай!..

Бабка прогнала Никешу, он ушел рыбачить, но совесть мучила его. Вернувшись домой, он увидел Дашу в полутемной кухне на окошке.

Худая, заплаканная, она сидела, подогнув острые коленки и опустив голову,— как есть сирота! Когда она тонким, «сиротским» голосом кротко спросила: «Как... твой... конек?..» — Никеша вдруг остро пожалел ее.

— Какой он мой!.. Он тво-ой... конек!..— сказал он и почувствовал, что глаза у него взмокли.

— Пускай он твой будет...— всхлипнув от обоюдной доброты, сказала Даша.

Так началась их дружба.

Через два года из «своего» колхоза Анне написали, что вернулся ее свекор, а вскоре пришло письмо и от него. Он вернулся в родные места, получил от колхоза лес, собирался строить дом и звал Анну.

Снова увидела Даша две сосны на пригорке, а под ними маслянисто-желтый сруб нового дома.

Строили всей семьей, а осенью поселились, но не на радость. Старого председателя перевели в районный центр, а с новым дела пошли день ото дня хуже. За этот год как-то сразу сникла и сдала Анна. Пока строились, жила надеждами, неутомимо ворочала бревна, певучим говором подбадривала других, а как вселилась в новый дом, вдруг умолкла.

Надорвалась ли она в последнем усилии? Сказались ли задним числом тяготы военных лет? Затосковала ли сильнее в своем новом доме о невозвратимом — о муже, о молодости?

Даша вспоминала, как шла мать, бездомная, сгорбленная, с котомкой — «нищенка» с тремя малышами,— а улыбалась и радовалась солнцу и утешала детей, приговаривая: «Худо ли? Плохо ли? Хорошо! Распрекрасно-хорошо!» Как стояла на холме, выгнув жилистую шею, и светила глазами из-под седой и пыльной пряди.

А теперь ходила в своем долгожданном доме, под своими желанными сосенками, безмолвная, с тусклым, покорным взглядом.

Испуганная этим взглядом и молчаливостью матери, Даша спрашивала:

— Да что ж ты, мама, ходишь, ровно неживая?

— Приустала...

— Так отдохнула б!.. Баню истоплю, ноги распаришь!

— Чего уж...— Мать не договаривала, но по опустевшим глазам ее Даша понимала: не в ногах дело...

В доме стало тоскливо. В школе, среди сверстников, было легче. Даша училась зимой, а летом работала в колхозе и даже была звеньевой в школьно-молодежной бригаде. Трудодни давали плохонькие, но Даша это переносила терпеливо, пока сохранялось в целости школьно-молодежное звено — дружная Дашина компания. В прошлом году ребята ушли в армию, и сразу стало скучнее. Павловна проездом к сыну заехала навестить и рассказала, что Никеша в Москве, на первом курсе университета.

— Наш университетский за границу ездил со студенческой делегацией,— рассказывала она.— Привез матери голосистый кофейник... Как наливаешь, так он начинает носиком высвистывать... А Никешу там обо всем расспрашивали. Чего он рассказывал, сейчас распечатают по всем газетам.

Даша и ее подруга Вера слушали и не знали, верить ли рассказам о газетах и голосистых английских кофейниках. Но то, что Дашин приятель Никеша учился в Москве, был отличником, ездил за границу, они знали. Где-то совсем рядом, возле них, кипела еще незнакомая, большая жизнь, и все чаще они думали о том, как им самим прикоснуться к этой жизни.

Проводив Павловну, Даша с Верой легли в клуне над погребцом, до полуночи разговаривали о том, как им жить и кем сделаться, и Вера порешила ехать в город. Из города она прислала Даше два письма.

«Молодежи здесь много. Рабочие очень культурные. Есть Дворец культуры и во дворце балетный кружок. На одной нашей улице два кино, а возле завода площадь, на площади портреты передовиков, и всё больше молодежь. Тут, прямо при заводе, можно выучиться на кого хочешь».

Без Веры Даша совсем затосковала и стала проситься у матери в город. Мать с трудом справлялась с работой и с хозяйством, и двойняшки были ей плохими помощницами. «Забаловали мы девчонок!» — думала о них Даша.

На Дашу мать смотрела как на главную свою опору, и, когда Даша стала проситься в город, мать сперва растерялась:

— Дашенька, как же я одна-то? — Но сразу переломила себя: — Ищи, доченька, где тебе лучше!

Только вчера Даша приехала в город. Многолюдье широких улиц, поток машин, игра вечерних огней — все показалось ей праздничным.

«Неужели я здесь буду жить? — думала она.— Неужели буду ходить по этим улицам, и ездить в этих трамваях, и бывать в этих кино, и работать, и учиться, как все эти девушки? Народу-то сколько!»

Даша и Вера с утра отправились на завод, в отдел кадров. Даша думала, что завод — это большой дом, и, увидев сквозь проходные ворота площадь и широкие улицы с аллеями и с высокими домами, спросила Веру:

— Это который же из них завод?

— Везде завод!

— Я понимаю,— серьезно сказала Даша.— Здесь кон-

тора, и склад, и все такое. А который же дом — самый что ни на есть завод? В котором доме машины?

— Во всех домах машины, чудила! Кругом везде завод! И к речке завод, и туда, на пригорок, тоже завод!

— Батюшки! — сказала Даша.— Да ведь тут, Верушка, одних окошек на сто колхозов!

В отделе кадров Даше предложили на выбор — быть уборщицей во дворе или учиться на стерженщицу в чугунолитейном цехе.

— Само собой разумеется, только в цех! — посоветовала Вера. В колхозе она во всем слушалась Дашу, а здесь держалась как старшая и в разговоре с важностью употребляла непривычные для Даши выражения.— Уборщицей хотя и легче, да мы, рабочие, за этим не гонимся.

Дашу стали оформлять стерженщицей.

Когда они выходили из отдела кадров, подъехала черная длинная машина, необыкновенно красивый черный молодой генерал легко выскочил из нее.

— Смотри, смотри... сам директор! — сказала Веруша.

Даша и так смотрела во все глаза.

— Люда! Люда! Игорева! — вдруг закричал директор.

Простенькая девушка с бледным лицом, в пуховом платке остановилась на оклик.

— Ну, благодарю, Люда! — сказал директор и пожал ей руку.— Две смены отстояла?

— А как же иначе, Семен Петрович? — спокойно сказала девушка.— У нас половина стерженщиц заболели, а тут конец месяца, программу срываем.

— Ваша же, стерженщица, Люда Игорева,— пояснила Даше Вера.

— Обыкновенная стерженщица? Такая, как я буду? — поразилась Даша.

— Ты еще лучше будешь! — уверенно сказала подруга.— Разве я не знаю, как ты работала в поле?

Потом Вера с Дашей ходили по магазинам, покупали сережки, съели в кафе по нарядному пирожному, вечером подряд посмотрели два фильма в двух кино и в первом часу пришли к Вере в общежитие. Так кончился этот удивительный день — первый заводской день в Дашиной жизни.

Сейчас начинался второй день — начинался бегущими огнями, веселыми звонками трамвайчиков. Прижавшись к Верушиному боку, Даша то перебирала воспоминания, то мечтала о будущем. «Уж что-что, а работать я сумею!

Павловна и то нахваливала, как я поспевала повсюду! В нашей школьно-молодежной я самая малолетка была, а меня — никого другого — выбрали звеньевой!» Она мечтала о том, что настанет в ее жизни такой день, когда она, как Люда Игорева, наинужнейшая для завода, простояв две смены, выйдет из проходной бледная, в простом полушалочке...

— Вера! — жарко прошептала Даша в самое ухо подруги.— Разве же я не смогу так, как эта Игорева? Когда б я ее не увидела, я бы и не подумала! А теперь я думаю! Разве она здоровее меня? Разве в ней старания больше? У меня, знаешь, сколько старания?

— Ты еще ее и обгонишь! — сказала Вера.— Она гордячка, эта Игорева. Женихается с техником. Зазнаваться стала. Большой портрет видела на площади? Там много портретов маленьких, а впереди два больших — ее да Сережи Сугробина. Сережа — тот в цехе и в комитете комсомола. А Люда оторвалась от коллектива. В работе она, конечно, старательная, но характером совершенно не годится... А у тебя и старательность и характер лучше всех, самый подходящий для завода!

— Ах, нет! — Даша откинулась на подушку.— У меня характер совсем неподходящий! И никак не могу я своего характера перевоспитать! Я такая мнимая! Такая мнимая! Кто как на меня посмотрит, я уж сразу понимаю его мнение и сразу всю вину принимаю! Другие — что не так, станут оправдываться, а я сразу все воспринимаю на себя! И как начну думать, как начну, то просто нету мне покоя!

Они шептались, хотя в комнате никого не было. Все вокруг было тихо, неподвижно, только трамваи позванивали за окном.

— Знаешь, чей характер мне нравится? Мамин! Какой у нее раньше был! Сколько мы с ней перенесли трудностей, а никакой этой мнимости в ней не было! Все, бывало, сама надеется и нас обнадеживает. И говорунья была такая, вроде меня. И никогда она на меня не сердилась. Бывало, забегаешься на улице — не накричит, не накажет, только усовестит! Только раз в жизни и наказала, когда я с Никешей подралась из-за конька. Теперь она посумрачнела, узнать нельзя. И в колхозе неполадки, и приустала она, и годы немолодые. Как докажу здесь, так сюда ее заберу. Скучает она без меня...— Даша тихо всхлипнула.

— Ты ей напиши письмо.

— Как приду с работы, так и напишу! — оживилась Даша.— Я ей напишу, как меня встретили, как меня сразу приняли... Только... этот главный мастер, усатый, Васи-

лий Васильевич... словно он на меня там, в отделе кадров, не так поглядел?

— Нет, он ничего. Он хороший! Только я правду скажу: ты правильно угадала, ты ему маленькой показалась. Он тогда и говорит, в отделе кадров: «У меня в стержневом, говорит, не детский сад».

— Вот видишь, видишь!—в страшной тревоге воскликнула Даша.—Я такая мнимая! Я сразу углядела, сразу почуяла!

— Да успокойся ты, не переживай! Я ему рассказала, как ты бригадирила, а в отделе кадров дали ему почитать твою характеристику из колхоза. Он тогда согласился. Он хороший, ты еще увидишь! Кричит, строжится, а если какая беда, то он первый защитник девчонкам из стержневого. Он каждой что-нибудь да сделает хорошее!

— Если кто для меня хорошее сделает, тому я стараюсь в двадцать раз сделать,—твердо сказала Даша, успокаиваясь.—Если он хороший, то я его к себе расположу!

— Конечно, расположишь! Мастер он исключительный, ну, конечно, не без строгости...

— Разве я не понимаю! Двойняшки—родные мои сестры, и то, бывало, применяешь к ним меры наказания! За уши оттреплешь, бывало, да еще и прикажешь: не говорите, мол, матери.

Даша вздохнула. Сейчас она жалела о том, что трепала двойняшек за уши, да еще и скрывала это от матери. «Ну, ничего,—утешила она себя,—заработаю семьсот рублей, как начну им слать подарки!»

Нарядившись в лучшее платье и новые сережки, Даша бодро шагала к проходной в толпе людей. Шли рабочие первой смены, и Даше было приятно, что она тоже рабочая. С гордостью показала она вахтеру новенький пропуск. Проходя мимо стендов, она остановилась, посмотрела на портрет Игоревой, вздохнула и над ее удивительной судьбой, и от предчувствия своей собственной, еще более удивительной судьбы.

Она вошла в двери цеха, и грохот чугунолитейного охватил ее плотно, как вода, когда ныряешь.

Огромные черные воронки рядами свешивались с потолка. Под ними что-то тряслось и вздрагивало, и черные, полуголые, закоптелые люди делали непонятное. Вдали виднелись печи, и огненная сметана текла из печей в бадьи. От печей по полу сами собой ползли железные ящики. Двое рабочих лили в эти ящики текучий огонь из раскаленного докрасна, огромного, подвешенного к потолку ковша. Огонь лился в ящики и выпархивал из боковых отверстий легкими голубоватыми огненными бабочками.

Это было красиво, и Даша залюбовалась. Сейчас же со всех сторон закричали и зазвонили. Даша оглянулась. Под потолком, распластав красные огромные крылья, плавно двигалось что-то похожее на птицу. В клюве у птицы была кабина, а в кабине сидела девушка и махала Даше рукой, чтоб Даша посторонилась. Даша в страхе отскочила.

— Куда ты под автокар?!—кричали ей в затылок.

Кругом было чадно, шумно, душно, но Даша ни разу не видела других цехов и думала, что на заводе так и полагается. От чада было трудно дышать, но Даша подбодрила себя: «Что я, на копнителе не работала?! Еще больше пыли наглотаешься».

Правда, над копнителем было небо, а вокруг чистое поле, а тут со всех сторон подступало грохочущее железо, темный потолок нависал низко, и от всего веяло суровостью. Но эта суровость и нравилась Даше: она придавала значительность и ей, и ее новому, рабочему положению.

Теперь Даша, как Веруша, может с гордостью сказать и даже написать маме: «В уборщицах ходить легче, но мы, рабочие, за этим не гонимся».

Ее пугал только Василий Васильевич. От этого незнакомого человека зависела сейчас вся Дашина жизнь.

«Только бы он понял, сколько во мне старания... Только бы понял, что я ответственная, что я с тринадцати лет ходила в звеньевых... Если бы пришел случай все это ему рассказать... Да ведь как с ним и заговорить? Вон он какой! Все мимо да мимо. И то ведь сказать—у него не одна я, вон какие понаставлены машинищи! Да и что тут словом докажешь! Я делом докажу! Уж как возьмусь я за работу!»

То, что Даша увидела в стержневом, сперва показалось ей до смешного простым: взрослые женщины стояли рядами у станков и занимались тем, чем занималась Даша в раннем детстве,—лепили песочные «пирожки».

Правда, эти «пирожки» были большие, сложных очертаний, и формы, в которые набивался песок, были металлические, замысловатые, и в песок надо было закладывать для прочности железные прутики, и потом «пирожки» на этажерках везли в печь—печься. Но в целом все это занятие показалось Даше неожиданно легким, почти детским.

Василий Васильевич подвел Дашу к одной из стерженщиц и сказал торопливо:

— Этот стержень называется «лента». Стой здесь, сбоку, глазастая, и запоминай весь технологический процесс последовательно.

Слова «технологический процесс», «последовательно» понравились Даше своей значительностью. Она подумала: «Чего ж тут запоминать! Я в колхозе не такое делала»,— и бодро встала близ станка.

Она не сомневалась в успехе, потому что старательность и сноровка в работе с детства были ее неотъемлемыми качествами, признанными не только в семье, но и во всем колхозе. С детства мать говорила: «Не гордись лицом, не гордись крыльцом, а гордись трудом... Лицо у девушки — от бога, крыльцо — от батьки с маткой, труд — от себя самой».

Вечером Даша писала маме:

«Старательный человек тут может всего достигнуть, и некоторых стерженщиц сам директор в генеральской шинели лично при мне благодарил за работу. Я, мама, надеюсь на свое старание. Тут можно выявить всю свою ответственность скорее, чем в наилучшем колхозе. Я работаю в стержневом отделении,— это наиважнейшее отделение в чугунолитейном цехе, а цех наиважнейший во всем заводе. Работа у нас не чересчур трудна, и я с ней совладаю. Похоже, как мы с Нюшкой лепили песочные пирожки, только они больше, а внутри надо для прочности закладывать железки — называются «арматура». Еще надо соблюдать весь технологический процесс последовательно. Я его научусь соблюдать».

Дашу поставили возле Игоревой. Руки Игоревой сновали так быстро, а держалась она так отчужденно, что Даша не успевала следить за ней и не решалась спрашивать. Она убирала у станка, помогала переворачивать ленту на станке и смотрела, смотрела во все глаза... Ей очень хотелось хотя бы постучать молотком по белым металлическим вкладышам, которые делали в песке вдавления. Но делать ей ничего не разрешали. На десятый день Василий Васильевич позанимался с ней часа полтора и сказал сердито:

— Не многому же ты научилась! Плохо глядишь! — и ушел по делам.

На другой день он опять позанимался с ней. А еще через два дня заболели сразу две стерженщицы, и Василий Васильевич сказал:

— Ну, хватит глаза таращить, становись к станку! Лент не хватает, формовка сердится!

Ей было приятно, что «формовка сердится» и что от нее, от Даши, зависит, чтобы она не сердилась. Приходили комсомольцы из формовки и говорили ей: «Нажимай, детский сад! Из-за вас простаиваем, лишаемся заработка». Приходил даже мастер из формовочной и тоже просил «нажать».

Даша весело стала к станку. Она обдула воздухом форму, посыпала тальком и быстрыми движениями заправской стерженщицы стала насыпать состав и уминать его. Вложила арматуру и белые вкладыши. Когда она перевернула ленту и первый стержень лег на сушильную плиту, ей стало весело. Стержни шли один за другим, такие же, как у других работниц, и автокарщицы подъезжали к ней и забирали ее стержни и наравне с другими везли их в печь.

В перерыв пошла в столовую с особым чувством: теперь она стала настоящей рабочей. Правда, до перерыва она сделала много меньше лент, чем полагалось, но это ее не огорчало. Все говорили, что быстрота придет со временем.

Беда разразилась в конце дня. В стержневом появились сердитый инженер и Василий Васильевич. Они сердились и кричали что-то на ухо друг другу. Даша смотрела на них издали, но не обращала особого внимания: их разговор не мог иметь к ней никакого отношения. Но они направились прямо к ней.

— Это что же ты наворочала?—сказал инженер.— Пойдем-ка с нами!

Они привели Дашу к печи. Там на этажерке лежали еще горячие, полуразвалившиеся Дашины ленты. Арматура торчала из них, как кости из скелета. Даша смотрела на них в ужасе.

— Это ты что же набраковала, милая? Чего это ты настряпала?

— Эх ты... детский сад!—добавил Василий Васильевич.

Все сделанные ею ленты пошли в брак.

Василий Васильевич встал у станка и сам следил за каждым Дашиным движением.

— Еще бы они у тебя не разваливались! Всю арматуру перепутала,— сказал он.

Она пришла домой расстроенная, но не павшая духом. Она сидела у стола, проверяла в уме последовательность движений—мысленно закладывала арматуру.

На другой день она работала очень медленно и обдумывала каждое движение, сделала еще меньше, но и эти немногие ленты разваливались. Даша растерялась. Снова пришел к ней Василий Васильевич.

— Неправильно набиваешь! Бока жмешь, а середина рыхлая! Вот гляди...

Она опять смотрела. Она не ушла с завода и после смены встала возле своей сменщицы и простояла возле нее до ночи. Она едва добралась до дому. Ноги у нее гудели. Пальцы, изрезанные арматурой, нарывали. Она

легла на кровать, но не сон, а тяжелая дрема охватила ее. Стоило ей закрыть глаза, как из темноты выплывала арматура. Тонкие темные прутья сплетались, скрещивались перед глазами. Потом начинал сыпаться состав, засыпал ее всю, и она никак не могла умять его.

Всю ночь она пробредила арматурой и составом, а на другой день сделала лент в четыре раза меньше, чем полагалось по норме. Распухшие пальцы ее шевелились с трудом. Над каждым куском арматуры она думала полминуты: все боялась, что не туда положит... Только через неделю она перестала ошибаться в арматуре, но обнаружился новый дефект — стержни получались коробленые.

Норма представлялась ей недостижимой.

«Хотя бы полнормы делать без брака! — с тоской мечтала она. — Или совсем оказалась я не способна к заводской работе? Может, только и гожусь картошку окучивать? А тут такая точность, такая кропотливость! Может, этого нам, колхозным, и не достичь?»

Опять приходил Василий Васильевич и уже безнадежным голосом говорил:

— Отрабатывай все движения! Опять рывком переворачиваешь. Экая ты оказалась невосприимчивая! Бери плавнее! Отрабатывай движения!

Она старалась перевертывать плавно и отрабатывать движения, но брак продолжал идти.

Она приходила задолго до смены и стояла возле старых стерженщиц. Все они казались ей теперь необыкновенно умными, способными и счастливыми.

По ночам она плакала в подушку и говорила:

— Ну нет на заводе девчонки бесталаннее меня! Ничего у меня не получается. Один брак гоню! То они разваливаются, то коробятся! И хоть бы причину знала! Все будто делаю, как другие, а стержней нет! Говорят: «Отрабатывай движения!» Да разве я их не отрабатываю?! Может, не способна я к заводу, может, мне в колхоз возвращаться?

Василий Васильевич смотрел на Дашу сердито и не называл иначе, как «детский сад»; взрослые стерженщицы были далеки от нее. Игорева говорила:

— Все будто правильно делаешь, а сноровки не имеешь. Видела, как на рояле играют? У одного рояль поет, а другой и пальцы ставит этак же, и на клавиши нажимает, а музыки нет. Кому что дано.

Даже Веруша постепенно теряла веру в подругу и никак не могла понять, почему Даша, славившаяся сноровкой на весь колхоз, у станка оказалась на диво неспособной. Веруша испытывала недоумение и тайное разочарование и только из жалости утешала:

— Ты потерпи. Одолеешь понемногу... Ведь счастье к кому как приходит. К одному легко придет, да и уйдет тут же... А которые его долго добиваются, у тех оно прочнее.

— Уж какое там у меня прочное счастье! Хоть бы стержни-то прочные получились! — плакала Даша.— Негодящая я к заводу! Давно б уехала, да срам домой не пускает!

Однажды, мрачная, она стояла у станка.

— Что ты не весела? — спросила ее соседка по станку.

— Что веселиться? — ответила Даша.— Стержни не получаются... Какое веселье!.. Видно, уж судьба моя — навоз возить да копать картофель...

— Опять разболталась. А кто работать будет? — сказал проходивший мимо Василий Васильевич.— Болтать умеешь, детский сад, а стержни давать до сих пор не научилась.

На другое утро девушки-стерженщицы подбежали к Даше.

— Даша, видела на стенде? Тебя разрисовали?

Даша бегом побежала к площади. Там, против портретов Игоревой и Сугробина, стоял стенд заводского «Крокодила». У стенда толпились рабочие. На стенде Даша увидела свежую карикатуру. Две страшенные стерженщицы стояли над распавшимися стержнями. Длинные, раздвоенные, как змеиные жала, языки их высовывались и переплетались. Под карикатурой была подпись:

Все с первого взгляда становится ясно:
Страсть к болтовне, к работе бесстрастность!

В одной из стерженщиц Даша узнала себя... Да, это была она — курносая, лупоглазая, в новых своих сережках с голубыми камушками.

И первое, о чем подумала: «Мама! Мама-то письма мои читает, радуется... Думает, что дочка у нее разумница, удачница... И не знает, какое надо мной здесь стряслося позорище!»

Она бежала от стенда в слезах.

«И сережки разрисовали! Какой злодей расстарался?»

В аллее почета она опять оглянулась: с огромного портрета смотрело гордое, улыбающееся лицо Игоревой, а прямо против нее висел «Крокодил», и в «Крокодиле» Даша — с языком-жалом, смешная, безобразная и, чтобы не спутали ее с другими, с голубыми сережками.

Она вынула из ушей свои опозоренные сережки, еще недавно такие желанные.

Глава IV

«ХОХЛАТЫЙ БЕГЕМОТ»

По-весеннему высокое солнце сияло в мартовском безоблачном небе, но наперекор ему непрерывно дули пронзительные ветры. От жестокого единоборья солнца и ветра страдало все существующее. Люди, уставшие хорониться от стужи, радуясь весеннему солнцу, распахивали пальто, ветер тут же прохватывал насквозь, и гриппы свирепствовали в городе.

Город сковало льдом. Снега, едва успев оттаять, тотчас покрывались коркой ноздреватой наледи. Люди скользили на льдистых тротуарах. Машины буксовали на обледенелом асфальте и на крутых поворотах порой начинали странно кружиться, вальсируя в танце, от которого бледнели шоферы и пассажиры.

Невинные сосульки на крышах, на гóре управдомам, достигали небывалых размеров. Причудливые наросты свешивались с карнизов, рушились и дробились на осколки, пронизанные солнцем. По ночам крепко морозило, а днем где-нибудь за ветром, в тихом закоулке, в сухости согретого солнцем кусочка земли, в запахе пыли и горячего кирпича вдруг маячила настоящая весна.

И так же противоречивы, как эта весна, были желания и помыслы Бахирева. Труд и бой, холод и голод — все было знакомо ему, и сквозь все мог он шагать, не замечая, когда жило в нем устоявшееся с юности согласие с самим собою. Но как раз этот фундамент бахиревской жизни и подтачивало противоречивой весной. Десятки раз твердил он себе несложную формулу своей новой судьбы: «Я не могу работать на таком заводе. Значит, я должен либо уйти с него, либо переделать его. Уйти нельзя. Остается одно — переделывать.— И десятки раз прерывал себя вопросом: — Но как я могу переделать то, чего я не знаю?» Он мог бы скрывать незнание и, лавируя, шаг за шагом завоевывать авторитет. Он не был способен лавировать. Не зная, он не считал себя вправе вмешиваться. Вторую неделю он числился на заводе, а присутствие его никак не чувствовалось. Массивная фигура его с нелепым хохлом на макушке безмолвно маячила в цехах и в дирекции. Он молча сидел или стоял, уставившись на что-либо, и по временам развлекался, дергая себя за свой хохол. Бездеятельный и безликий, он оставался безыменным. Имя его забывали и для простоты называли пренебрежительно и коротко: «новый».

Захваченных заводской кипучей жизнью людей раздражали и его позиция стороннего наблюдателя, и его

молчаливая отчужденность, и его фигура, и его лицо. Смуглое, крупное, широковатое, оно было бы красиво, если бы не окаменелость всех черт. Узкие и длиные карие глаза прятались за веками, словно набрякшими от сна. Неподвижный взгляд из-под отяжелевших век придавал ему выражение тупой надменности. В тех случаях, когда полагалось улыбнуться, «новый» подергивал трубкой, неизменно торчавшей у него изо рта. Очевидно, он полагал, что это подергивание должно заменить улыбку. На его скованном лице жили и шевелились только круто изогнутые брови да широкие ноздри крупного носа. Ни лицо, ни поведение «нового» не располагали. Бахирев смутно чувствовал возрастающее нерасположение, но, занятый своими тревогами, не думал о нем.

Он превратился в ученика, безмолвного и неутомимого. В самой природе его была потребность в знании, дотошном, доскональном и, как он говорил, «собственноручном». На родном заводе за четверть века он так изучил свой цех, что сам сделался его частью. По тысяче незаметных другому деталей, по звукам, по запахам, по загромождениям и пустотам он чувствовал и ритм работы, и неполадки с такой безошибочностью, словно каждая поточная линия была продолжением его мышц и нервов. Потребность в доскональном знании производства удовлетворялась и приносила наслаждение. На новом заводе эта потребность стала мучительной. Он не знал ничего: не только отдельных цехов, линий, конвейеров, не знал слабых и сильных мест завода, его возможностей и перспектив. Днями он с методичностью механизма ходил по цехам, прощупывал линию за линией, станок за станком. По ночам сидел дома, обложенный материалами и документами, ворочал груды схем, перебирал тысячи цифр.

Катя входила со стаканом горячего кофе:

— Митенька, неужели такая уж необходимость узнать все вот так, сразу?..

Лицо его делалось страдальческим и беспомощным.

— А как иначе?

Она ставила кофе и беззвучно уходила.

Когда-то Катя пленила его такой же беззвучностью, такой же способностью делать все необходимое незаметно. Катя вошла в его жизнь как благодатная тишина. Он был сыном когда-то знаменитого своей силой грузчика. И отец и мать его пили.

Желтая, со вздувшимися подглазницами, с космами седых волос, мать хрипела по утрам:

— Митя... погляди, сынок... аспид оставил... опохмелку?

— И так хороша... развалюха...— отвечал отец из сеней, где спал, положив голову на порог.

Эти люди любили друг друга. В давние годы Ксения Захаровна, синеглазая, русокосая воспитательница из детского сада, полюбила красавца грузчика, которому прочили будущность Шаляпина.

— Если не вы, Синочка, значит, никто... Если не вы, значит, не жить.

Надеясь, что любовь пересилит водку, она пошла за него. Он клялся, боролся с собой, бросал пить, и неделями они были тревожно и жадно счастливы. Потом он срывался и, если она не давала вина, бил ее. Потом снова тянулись дни клятв и дни трепетного, ненадежного и наполненного горячими надеждами счастья. Она убедилась, что совсем отучить его от вина нельзя, и, надеясь постепенно уменьшить бедствие, поставила условием, чтоб пил он только при ней и только с ней. Ей удалось устроить его хористом в оперный театр, и оба были счастливы музыкой, сценой, новой для них жизнью. Но он снова запил. Его уволили. С горя он запил сильнее прежнего. Семь лет она боролась, а на восьмой, после того как второй ребенок, не родившись, погиб под его кулаками, она запила сама.

Скелетообразной, с тяжелым, зловонным дыханием видел ее сын. А над кроватью карточка — тоненькая, вся напряженная, как струнка, девушка с выражением радостной готовности к подвигу в длинных ясных глазах. Дмитрий знал, что это была мать. Он знал это не по сходству в очертаниях глаз и губ. Он знал это потому, что чувствовал ее такою, как на портрете. Как ни была она пьяна, она никогда не пропивала одежды и книг сына. Если бороться с собою становилось невмоготу, она трясущимися пальцами заворачивала его вещи.

— Унеси Митя... Спрячь от беды...

Как ни была она пьяна, лучший кусок она оставляла сыну и мужу. Иногда на его глазах происходило чудо.

— Алексеюшка... Погуляем по-доброму...— говорила мать.

Они звали гостей, готовили закуску, наряжались и пили не до сшибу, а понемногу. И тогда в длинных синих глазах загорался наивный и добрый свет, щеки и маленькие уши за кудрявыми прядями розовели.

Тоненькая девушка с портрета, ожив, спускалась на землю. Закрыв от стыда платком худую шею, она пела дребезжащим, но нежным и радостным голосом. Отец

наваливался на стол грудью, смотрел на нее не отрываясь, требовал, чтоб другие смотрели, и кричал:

— Гляди, сын, какая у тебя мать! Испитая, избитая, а все всех лучше!

Митя сидел, сжавшись, и стыдные слезы сочились из глаз. Ему хотелось убить и разбить всех и все и унести куда-то, в заповедную землю, эту тоненькую, длинноглазую, напряженную, как струнка, девушку — его любимую мать.

Ему хотелось убить отца, но отец сам начинал колотить кулаками по своей голове.

— Что я с тобой наделал, Сина! Что я с тобою понаделал!

Она сперва отмахивалась от него и от мыслей о прошлом, потом вскидывала руки, вскрикивала в тоске:

— Что ты со мной наделал!.. Со мной и с моими махонькими!

Отец упрекал себя сам, но не выносил, когда упрекали другие. Он вскакивал, не зная, обнять или ударить. Нежность к жене уживалась в нем рядом с жестокостью.

В добрые минуты отец садился на постель возле матери, гладил ее лицо, плечи и, любуясь минувшей, отданной ему красотой, говорил: «Моя хорошая... Красивая моя... лучше всех». Но стоило матери шевельнуться, как он кричал: «Не шелóхнись!» Многие годы стояли в ушах Дмитрия эти слова: нежное «моя, моя», и зычное «не шелóхнись». Родительская любовь порой была страшнее родительских драк. Сын видел все. И отец с матерью и другие пьяные пары иногда валялись на полу тут же, в тесной комнате. С детства он проникся омерзением к тому отвратному, что звали любовью. Повзрослев, он избегал девушек. То, к чему звали девушки в их подсознательной девичьей игре, тотчас вставало перед ним в обнаженном и грубом виде. Вспоминались сплетенные тела пьяных на покрытом блевотиной полу.

Он работал с детства, но с возрастом все настойчивее стремился к ученью. Заниматься после работы в родительском доме было невозможно. Семнадцатилетним парнем он снял комнату в рабочем поселке, у старого инструментальщика.

На новую квартиру Митя пришел вечером. Ему навсегда запомнились тишина тенистого сада под вечерними сизыми облаками, белое, как кипень, и твердое, как картон, покрывало на постели, легкий шорох за спиной и внезапный сладостный запах меда. Он оглянулся, но увидел только белую и гибкую руку, мелькавшую за дверными занавесками. На столике возле двери стояла

тарелка оладьев, политых медом. Так впервые вошла в его жизнь Катя.

Он был счастлив тишиной, она подарила ему уйму времени. Тишина открыла ему емкость вечеров и ночей. Цельные, не разбитые скандалами и попойками, они оказались непостижимо вместительными. Они разрастались от яблочной свежести, от легкого ветра и чуть слышного шороха листьев. Тишина открыла ему будущее: он понял, что сможет заниматься по восемь — десять часов после работы, сможет высыпаться за четыре часа, сможет окончить техникум и институт, сможет сделать все, что захочет. В тишине он открыл самого себя, определил свои главные склонности. Он пристрастился к математике. По ночам цифры слетались к нему вереницами, стаями садились на бумагу, жили своею, особой жизнью. При шуме и стуке они, вспугнутые, разбегались, сложные вычисления путались, и он с досадой смотрел на того, кто ему мешает. Но здесь мешали редко. Его тянуло к расчетам, как пьяницу к водке, и он отдавался своей страсти до самозабвения, удивляя учителей своими успехами.

Он долго не мог как следует разглядеть ту, что так бесшумно убирала из его жизни все помехи. Казалось, от одной ее близости все вокруг делается само собою: сами собою моются тарелки, подметается пол, штопаются носки.

Они стеснялись друг друга, он не поднимал глаз и отчетливо видел лишь ее руки. Эти руки — очень белые, крупные, сильные и красивые — то ставили на подоконник тарелку с вишнями, то подвигали на край стола стакан чаю, то протягивали свежую газету.

Постепенно Дмитрий и Катя разговорились. Он узнал, что она работает кассиршей в универмаге.

— Скучно же! — удивился он.

— Ах нет! Я люблю!

— Что ж там любить?

— У нас такой большой магазин. И касса такая высокая... Мне все видно. У меня никогда нет очереди. И я никогда не ошибаюсь. Тысячи людей проходят, и все довольны. Ни жалоб, ни неприятностей...

Теперь он уже ясно видел ее, статную, рослую, с покойным, неподвижным лицом и ясным лбом. Она ходила в платьях с короткими или засученными рукавами, и ее белые быстрые руки оставались самой подвижной и выразительной частью ее фигуры. Руки эти красиво выделялись на темных платьях, всегда были в неторопливом, но неустанном движении, и утончавшиеся к концам пальцы прикасались к вещам с материнской бережностью.

Однажды он пригласил ее в кино и был удивлен серьезностью, с которой и она, и ее отец отнеслись к

приглашению. Весь день она что-то шила, крахмалила, утюжила. Вышла из дома тихая и торжественная, в белой, как сахар, блузке. Отец проводил их до калитки, и Дмитрию было хорошо оттого, что все в его жизни так ладно, так по-людски.

Мать его умерла, а разбитого параличом отца положили в больницу. Дмитрий взял из смрадной комнаты только портрет матери. Тени яблоневых веток скользили по лицу вытянутой, как струнка, девушки. Домик стал представляться Дмитрию родным домом. Он привязался и к старику и к девушке.

Однажды Катя спросила его:

— Я нынче буду варить черносмородинное варенье. Вы с огня что больше любите — пенки или ягоду?

— А у варенья бывают пенки?

— А вы и не едали? Да как же так?! — Она искренне огорчилась за него.— Меня, маленькую, бывало, папа с мамой только ими и заманивали...

Вечером, когда он занимался, Катина рука протянулась из-за стула и поставила возле книг молоко и розетку с пенками. Рука была разогретая, розовая, с алым соком ягоды у края кисти, от нее крепко пахло смородиной, и голубая жилка ручейком бежала в локтевой впадине. Он сам не заметил, как взял и погладил эту руку. Он гладил не девушку — только руку, добрую, теплую, пахнущую смородиной. Но рука под его пальцами внезапно оцепенела в неловком, вытянутом положении.

Тогда он повернул голову. Катя стояла, опустив рдеющее лицо. В ямке меж ключицами вспыхнуло розовое пятно, словно и там раздавили ягоду. Впервые ни девичье плечо, ни шея не возбудили в нем брезгливости. Ему захотелось прикоснуться к розовому пятну. Пересилив себя, он отпустил ее, и она поспешно вышла. Он сидел и думал о том, что с этой тихой и ясной девушкой то угарное и отвратное может стать иным.

Катя стала краснеть при встречах, глаза старика сделались тревожными. Но Дмитрий, занятый работой и ученьем, не замечал этого. Универмаг закрылся на ремонт, и Катя уехала с компанией к знакомым в заречье — подышать соснами и походить за грибами. Хозяйничать осталась соседка Романовна. Мир неожиданно опустел для Дмитрия. Не тот был яблоневый сад, не те были оладьи с медом, не так пахнул смородинник. Душа ушла из дома.

— Пусто без Кати,— пожаловался Дмитрий старику.

— Если пусто, так и привезти ее недолго. Взял у соседа лодку да переехал.

— И вправду, завтра поеду!

Но старик посмотрел на него как-то сбоку и возразил:

— Стоит ли? Живет в своих стенах, свету не видит. Девушка в самой красе. Там молодежь, общество... Костя туда за ней поехал. Человек серьезный. Может, и склонит ее на свою сторону. Зачем правду таить? Мне жить недолго... Уйду—на кого оставлю? То-то, парень... Ты, может, кухарку привезешь оладьи печь. А тут жизнь... Так что ты не с маху... Кого везешь? Зачем едешь? Обдумай честью.

Он обдумал и на следующий день твердо сказал старику:

— Еду за Катей.

Он переплыл реку и разыскал Катю в компании молодежи, меж грудами грибов. Катя чистила маслята. Она вышла к Дмитрию в платочке, с ножом в руках, с кожурой маслят, прилипшей к пальцам.

Она сошла к лодке, но ехать отказалась.

— Скучно без вас в доме, Катя.

— А мне дома скучно... Ведь дома и не поглядит никто. Хорошая ли, плохая—никто не заметит.—Она улыбнулась.—Тут хоть люди похвалят. Потерпите день-два, Романовна привыкнет к хозяйству.

— Я не могу без вас, Катя. Ни день, ни два. Совсем не могу.

Он не знал, были ли эти слова предложением руки и сердца, но Катя поняла их так. Она вскинула обе руки и обвила его шею. Он отвез ее домой. У калитки Катя старательно пригладила вихор на его макушке—ей хотелось придать ему жениховский, солидный вид.

Старик встретил Дмитрия сурово:

— Привез себе стряпуху?

— Невесту себе привез,—ответил Дмитрий.

А невеста, улыбаясь, стояла в калитке, как была—в платочке, с руками, облепленными кожурой маслят.

Все было за их брак—их юность, скромность, трудолюбие, уже сложившийся семейный уклад.

Катя была его первой и единственной женщиной. Измены были ему непонятны. Он жил целеустремленной, напряженной и наполненной до краев жизнью. Многое приходилось преодолевать, нагонять, наверстывать. В покое и добротности семьи он видел великое благо. Нелепым показалось бы ему тратить время и силы на лишнюю и грязную ерунду. В дни борьбы жена была его тылом, в дни напряжения—его покоем. Но никогда прежде не вставали перед ним такие трудности, не расстилалось такое поле битвы.

Прежде были трудности государственных экзаменов, трудности освоения новой машины, трудности выполнения заводского плана. Как ни приходилось тяжело, но задачи были ясны и пути намечены.

Сейчас, на новом заводе, самое тяжелое заключалось в неясности путей и задач. Что надо сделать, чтобы перевернуть работу завода? С чего начать?

Бахирев думал упорно. Фонды. Кадры. Станочный парк. Механизация основных и вспомогательных процессов. Все было отрывочно, не складывалось в единое и систематическое целое. В заводском плане оргтехмероприятий попросту перечислялись многие полезные мероприятия без учета реальных возможностей, без определения первоочередного и решающего.

— Митя, ляг!—говорила жена.—Ведь четвертый час! Усни хоть на три часа!

Он ложился, но ему хотелось не спать, а говорить.

— Ленин учил, что в каждой цепи надо найти основное звено, за которое можно вытащить всю цепь. Вот этого-то я и не найду.

Катя привычным жестом попыталась пригладить его вихор.

— Ведь работал до тебя другой главный инженер... Охотился. На лыжах за реку ходил. И ничего такого он не вытаскивал... А в Москве оценили же его! Ты от нервов не спишь, а от бессонницы нервничаешь... Ты спи.

Она хотела ему добра, а он раздражался:

— У человека в мозгу чирей, а она знай убаюкивает! Ты б еще в люльку положила!

— И положила, если б знала, что ты заснешь!..

Она засыпала, а он, полежав без сна, снова шел к столу.

Ночью Бахирев кончил анализ остановок конвейера за полгода. Цифра получилась интересная—около двух третей простоев уходило корнями в чугунолитейный цех. Он и до этого знал, что ЧЛЦ—это узкое место завода, но такой цифры не ожидал. С рассвета он отправился в «чугунку».

«Все не так и не то»,—думал он, стоя на высоких мостках у вагранки. Мелкая палубная дрожь от вагранки передавалась в подошвы, била в ладони, охватившие поручни. Чайниковые ковши, раскаленные докрасна, плыли в полутьме цеха вдоль конвейера, и вместе с ними плыли красные отсветы. Балки и шланги при их приближении алели, словно мгновенно накалялись, и тотчас угасали, когда ковши проплывали мимо. Опоки ползли по конвейерам. На некоторых опоках горели маленькие стройные факелы, синие у оснований и трепетно-

оранжевые наверху. На других беспорядочное желтое пламя скользило по поверхности.

Плавильщики шли осторожными напряженными шагами, в характерных позах: правая рука внизу, у ковша, левая поднята высоко над головой.

«С факелами только половина опок... Значит, жди брака...—думал Бахирев.—Ковши красные... Плохая обмазка! Воздуходувка гудит рывками. Куда ни глянь, все не то... Но как сделать, чтоб стало «то»? Не знаю. Главный должен знать завод, как малый знает мамкину титьку... Посмотреть, что там с опоками?»

Он спустился и пошел узким пролетом цеха. Сосредоточенный на своих мыслях, он не заметил, как автокарщица едва не налетела на него, не услышал, как она пожаловалась:

— Загородит весь пролет и едва топает... Бегемот хохлатый!

Он пошел вдоль конвейера. Опоки требовали замены. По одним и тем же конвейерам шло то малое, то среднее литье. В неумолчном грохоте и чаде ручной выбивки литье путалось, на обрубку в другой конец цеха транспортировалось, петляя через весь цех. «Перепланировать, расширить весь цех,—думал Бахирев.—А пока? А пока как минимум еще один конвейер для мелкого литья, механическая выбивка, правильная подача деталей».

Обдумывая и прикидывая в уме так и этак, он прошел через весь цех и близ выхода, там, где было свежее и тише, наткнулся на девчонку лет семнадцати. Она сиротливо прикорнула на опрокинутом ящике. Был обеденный перерыв. Она сидела в одиночестве, разложив на коленях белый платок с небогатой снедью, но не ела.

Она плакала и в то же время деловито подбирала обильные слезы, уберегая от них соль и яйца.

«Что тут еще за горькая душа?»—подумал он и спросил:

— Ты чего?

Она подняла голову. Лицо у нее было курносенькое, с широко распахнутыми глазенками, похожими на те полукруглые окна, что делают в мезонинах.

— Кто тебя обидел?

— Да стержни же!—сказала девчонка, всхлипывая, и хлопнула слипшимися ресницами.

— Что стержни?—допытывался он.

— Да разваливаются же!..—с отчаянием, сквозь слезы ответила она.

Бахирев вспомнил карикатуру, висевшую на стенде, и уловил отдаленное сходство с лицом девушки. Так это была она, виновница вчерашнего брака!

— Когда разваливаются?—спросил он, желая уточнить это обстоятельство.

— Всегда!—с силой и отчаянием сказала девчонка.— Всегда разваливаются!—И все лицо ее сразу взмокло.

Теперь казалось, что слезы капают отовсюду—из глаз, с носа, с подбородка, со щек.

— Веерный душ!—невольно улыбнулся он.—Ну, подберись! Отчего они у тебя разваливаются?

— Вредные очень потому что...—плакала девчонка.

— Кто тебя учил?

— Да Люда же! Да разве она учила? «Стой, говорит, рядом да гляди...» Я стою!.. Я гляжу!.. Разве за ней углядишь?! Руки-то у нее снуют, ровно стрижи... а там этой одной арматуры миллион.

— Ты мастеру говорила?

— Нет...

— Почему?

Она помолчала, потом ответила односложно:

— Боюся...

— Чего же ты боишься?

— А он меня брать не хотел,—внезапно успокаиваясь, сердито сказала девчонка.—«У меня, говорит, стержневая, а не детский сад...» А разве я детский сад?! Я в колхозе в звеньевых ходила с пятого класса, в школьной бригаде.

— А теперь плачешь? Вот и выходит, что детский сад! Как тебя зовут?

— Дашей...

— Ну, Даша, кончай душ Шарко, пойдем за мной...

Девчонка не совсем поняла его слова, она не знала, кто он, не знала, куда он собирается ее вести, но по тону безошибочно определила, что ей желают добра, деловито высморкалась, хлопотливо вытерла слезы, быстро собрала в узелок яйца, соль, хлеб и бодро пошла. Постепенно ею овладели сомнения, она замедлила шаги и тронула Бахирева за рукав.

— Послушайте... А как он на вас закричит, то вы не забоитесь?

— Авось не забоюсь...—улыбнулся Дмитрий.

— А я так боюсь до ужасти!..—созналась Даша.—На Василь Васильиче завод стоит! Для всего завода самый что ни на есть главный наш чугунолитейный цех. А наша стержневая—для всей чугунки стержень. И вся стержневая держится на Василь Васильиче! Как он выходной—так программа летит.

Он улыбнулся и подумал: «Девчонка-несмышленка, а глядит в корень!»

— Про это даже Дуська говорила...—продолжала Да-

ша.— Он на нее не кричит. А на меня кричит. Такое у него обо мне мнение... А на меня как закричат, так я хуже все позабываю.

Пока они бродили в поисках, девушка говорила не переставая, но едва мастер мелькнул за печами, мгновенно умолкла на полуслове.

Не только спецовка, но даже седые, пышные холеные усы Василия Васильевича — его гордость и украшение — потемнели от копоти. Он смотрел на Бахирева, видимо досадуя на внезапную помеху.

— Как обучали девушку? — спросил Бахирев.

— Как обыкновенно,— буркнул мастер.— Две недели обучалась. К лучшей стерженщице ставили.

— Да не обучала она меня,— набралась смелости Даша.— «Стой, говорит, да гляди!»

— Сколько заводов видел, а такого обучения не видел! Надо вам лично проследить за обучением. Этот брак не на ее, а на вашей ответственности!

Усы Василия Васильевича дрогнули от негодования.

— На моей ответственности! — горько повторил он.— Да разве у нее у одной брак?! Какой земледелка состав подает? Это на чьей будет ответственности?! Вы подите да поглядите!

— Пойдем...

По пути они столкнулись с начальником чугунолитейного Щербаковым.

— Попрошу пройти со мной к земледельному,— сказал Бахирев.

Щербаков, широкоплечий человек с младенческими глазами на одутловатом лице, покорно пошел за ним.

В углу, отведенном для земледелки, облаком стояла едкая пыль. Медленно вращались лопасти, вздрагивали бункера, и с ног до головы перепачканные женщины на глазок засыпали песок, глину, добавляли воду.

Подойдя к земледелке, Василий Васильевич старательно вытер платком усы, и теперь они решительно торчали, знаменуя боевую готовность мастера.

— Что у вас тут с составом? — ринулся он на маленького, сердитого и всегда с ног до головы закопченного Кузькина.

— Завезли с карьера крупнозернистый песок,— не глядя, ответил Кузькин.

— Вот,— посетовал Щербаков.— Докладывал я директору. Качество спрашивают, а песок дают некачественный.

— Эх, Леонид Леонидыч, и зачем вы всякому слову верите?! — яростно вступил в бой Василий Васильевич.— Да у них только один вагон такого песка, а брак все

время! Ничего же не дозируют! Болтушку на худой свиноферме и то делают лучше. А вы, Леонид Леонидыч, всему как есть верите,— горько упрекнул он Щербакова.— Уж такой вы доверчивый, такой доверчивый! Это же просто беда, какой вы доверчивый!.. Сколько ты льешь, Ольга Степановна? Как ты льешь? — повернулся он к худой старой женщине.

— Как семь лет лила, так и восьмой лью,— вяло ответила она.

Под глазами у нее лежали мертвенно-синие тени. Верхних зубов не было, и губа запала. Бахирев взглянул ей в глаза и встретил тусклый и ко всему безразличный взгляд. Эта старая женщина с пустыми глазами стояла у истоков техпроцесса. Сколько остановок большого конвейера зарождалось в этих ладонях с омозоленной и неотмывающейся кожей? Знает ли она об этом?

— Век атома, а песок и глина держат завод. Вот так и работаем! — со вздохом сказал Щербаков.

— Наивно работаете,— едва процедил Бахирев и, подумав, отчетливо подтвердил это определение: — Наивно...

Он знал за собой прямо противоположный недостаток — он все должен был прощупать своими руками, до всего дойти своим умом. Младенческая доверчивость Щербакова казалась ему преступным безразличием. Но он еще не считал себя вправе предъявить обвинение. Пока он мог говорить лишь о своем личном впечатлении, и он в третий раз гневно повторил:

— Наивно работаете...

«Что мертвому припарки, то чугунолитейному полумеры,— думал он, шагая узкими переходами цеха. Мысли были едкими, как гарь земледельного.— Детали путаются в этих лабиринтах. Тонны металла буквально уходят сквозь землю, кое-как сляпанную прадедовским способом. Брак, чад, гром, чехарда! Кадровый рабочий не унизится до такого цеха. Вот и работают несмышленыши вроде девчонки из стержневого или ни к чему не пригодные старухи вроде этой пустоглазой».

Он понимал, что основные части трактора зарождаются в пораженном чреве. Рожденные порочным цехом, они от рождения обременены тайными и явными пороками. Они расходятся отсюда по всем цехам и всюду тащат за собой свои изъяны. И вот где-либо в моторном ломаются резцы или в сборочном обнаруживается овальная гильза. Сборочный и моторный начинало лихорадить, словно в них вместе с деталями проникала из чугунолитейного тайная зараза. Весь завод бьется в лихорадке, зарождающейся в чугунолитейном болоте.

Он видел все это, но чем мрачнее было существующее, тем ярче становились мечты. И, как в юности, безудержно потянуло его к расчетам, схемам, планам нового, совершенного чугунолитейного цеха. Нужны были немалые суммы и сроки,— это могло решиться лишь в правительстве. Но улучшать работу цеха надо было немедленно. Он изучил все планы и фонды завода. Технические богатства и денежные фонды распылялись по многим цехам. Если бы сконцентрировать их на этом цехе! Многим цехам предназначались площади в новых домах, во многих цехах намечались усовершенствования цеховых столовых, клубов. Если бы повременить с другими цехами, но зато в этом, самом тяжелом, создать преимущественное положение с жильем и с питанием. Только удвоенной заботой о рабочих можно закрепить кадры в цехе, который вдвое тяжелее других цехов.

Расплывчатый план оргтехмероприятий, полученный Бахиревым от Вальгана, ночь от ночи превращался в два целеустремленных и систематизированных плана — план-максимум, для которого нужны были санкция и помощь министерства, и план-минимум, который можно было провести в жизнь своими силами. Планы вызревали в мозгу с мучительной медлительностью. Он считал преждевременным делиться замыслами, поэтому его поручения к разным отделам и службам казались людям бессмысленными и плохо выполнялись. Лишь несколько его заданий выполнили так, как ему хотелось.

Он поручил отделу главного металлурга произвести расчеты и дать свои соображения по внедрению кокильного литья. В точности и последовательности полученной докладной было что-то близкое складу его ума. Ему доставили наслаждение строгая логичность параграфов и умение выделить основное. Он сам с удовольствием подписался бы под этой докладной. С любопытством он посмотрел на почерк — размашистый, с твердым латинским «t». Записка была подписана технологом отдела главного металлурга Т. Карамыш. «Толковый инженер. Татарин, что ли? Знает, видно, и иностранные языки. Следит за специальной литературой...»

Напряженная, но подспудная работа Бахирева была не видна никому, а видная всем его бездеятельность беспокоила многих. Трудности росли, предстояло увеличение программы, а «новый» все еще сохранял позицию безучастного наблюдателя. «В чем дело? — спрашивал себя Вальган.— Неужели я ошибся? Когда я ошибался?»

Он вспомнил, как состоялся выбор Бахирева.

Вальган был на совещании в министерстве.

— Вот. Выбирай любого вместо твоего,— полушутя

сказал ему на ухо приятель, начальник главка, указывая на участников совещания.

— Обмозгуем,— ответил Вальган.

Он присматривался к людям. Среди выступавших был Бахирев. Его выступление отличалось от других краткостью, систематичностью и обилием цифр, которые он приводил на память. Вальган знал, что для такого выступления необходимо дотошное знание завода, точность ума и редкий дар памяти.

— Это что за зверь?—заинтересовавшись, спросил он заместителя министра.

— Из сибирских «тягачков».

Вальган недаром слыл блестящим организатором — в Бахиреве он угадал как раз то «дополняющее», чего не хватало ему самому. Выступление свидетельствовало о кропотливой методичности, а весь облик инженера — о неограниченной выносливости и некоторой тяжеловесности, которые также были на руку Вальгану. «Такие неповоротливые тяжеловесы лучше других умеют сохранять раз заданное направление. Таких нацель — и будь спокоен!» Он стал собирать о Бахиреве подробные сведения, и они подтвердили впечатление. Бахирева рисовали как человека, способного упорно въедаться в повседневные, подчас мелочные и скучные заботы производства, день и ночь сидеть на заводе, не пасовать, не нервничать при трудностях и упорно тянуть всю упряжку. Сама неизвестность Бахирева играла на руку Вальгану — он искал человека непритязательного, «тыловика».

В конце недельного совещания он сказал начальнику главка:

— Знаешь? Думаю взять «тягачка».

— Вот тебе и на! — удивился тот.— Не промахнешься? Я бы рекомендовал другого.— Он назвал фамилию известного инженера.— Голова с идеями!

— Идей у меня и своих достаточно. У меня дефицит не на идеи, а на исполнителей. Я по характеру рвусь в авангард. Мне нужно закреплять тылы. А этот из тех, что если впряжется, то потянет.— Он прищурился и привычно огладил подбородок.— И поперед батьки в пекло не полезет...

Так сибирский «тягачок» появился на заводе в качестве нового главного.

Но он не оправдывал ожиданий — он не «тянул»...

— Не подключается главный,— жаловался Вальган Уханову.

— Знаете, как его называют? — улыбнулся Уханов.— Первой ошибкой Вальгана.

Вальган засмеялся, но тут же нахмурился.

«Не мог же я ошибиться,— снова подумал он.— Но в чем дело? Боится? Осторожничает? Но главное — внутренне неповоротлив! Ну что ж, я тебя поверну,— уже весело подумал он.— Еще пару дней полиберальничаю, а там нажму — колесом завертишься!»

— Он тут собирается говорить с тобой по вопросам технологии. Ты человек огневой — вот помогай подключать, заражай энергией... Протяни, так сказать, руку помощи.

— Есть протянуть руку помощи! — весело ответил польщенный Уханов.

— Завтра тебе с утра в горком. Может, поручим ему провести вместо тебя рапорт? — думал вслух Вальган.— Пусть хоть голос его услышат.— Он нажал кнопку и сказал секретарше: — Разыщите главного инженера и Шатрова.

Когда Бахирев вошел к директору, Вальган мягкими, эластичными шагами ходил по кабинету и раздраженно говорил Шатрову:

— Газеты надо читать, Борис Ильич... «Правду», «Известия»! «Пионерскую правду» читайте, и в ней про это пишут!..— Он увидел Бахирева и на ходу бросил ему:— Садись. Вот хочу, чтоб ты был в курсе некоторых наших сложностей. Ребятишки в нашей школе,— снова обратился он к Шатрову,— пишут в диктантах о снижении себестоимости трактора, а главный конструктор самоустраняется от этой задачи...

Шатров виновато улыбнулся и посмотрел вокруг своими бегающими тоскливыми глазами.

— Как это ни тяжело,— с выражением мужественной решимости произнес Уханов,— но я считаю своим долгом сказать, что вопросы технологичности конструкции опять ускользают от главного конструктора.— И, словно выполнив неприятную обязанность, сменил официальный тон на дружески-веселый, наклонился к Шатрову: — Борис Ильич... Помнишь, два года назад мы тебя за уши тащили к вопросам модернизации!.. Что жизнь показала? Тебя же, чудака, проголосовали в Комитете по Сталинским премиям!

Вальган и Уханов уговаривали конструктора, как малого ребенка, а тот молчал, мигал пушистыми ресницами, шевелил худыми пальцами и улыбался не то фальшиво, не то виновато.

Бахирев не понимал ни его тоскливых глаз, ни уклончивой улыбки, ни настояний директора.

Вальган оборвал уговоры и заключил своим обычным, не допускающим возражений тоном:

— По всему этому роду узлов,— он подвинул к Шатрову бумагу,— закончить работу в два месяца!

— Будет сделано, Семен Петрович,— вяло и со вздохом проговорил Шатров.

Вальган обратился к Бахиреву:

— Главному инженеру взять под личный контроль перестройку отдела главного конструктора.

Шатров и Уханов вышли.

Бахирев остался сидеть под испытующими взглядами Вальгана.

— Все еще присматриваешься? Долгонько ты, однако...

— Не торопи,— коротко попросил «новый».

— Не я тороплю, жизнь торопит! Когда я пришел сюда, завод не давал плана, не было у меня ни главного инженера, ни технолога. И ровно через две недели, впервые за многие месяцы, выполнили суточную программу!

Вальган думал, что Бахирев обидится, но тот только двинул бровями и сказал с оттенком зависти:

— Да... У меня этак не получается...

— У меня пока две просьбы,— продолжал Вальган.— Первую ты уже знаешь. Возьми под жесткий контроль отдел главного конструктора. А вторая — у нас тут ползавода разгрипповалось. Некому завтра провести рапорт. Проведи ты.

Когда Бахирев вышел из кабинета, Шатров и Уханов еще стояли в приемной.

— Так через два месяца,— говорил Уханов.— Значит, в мае...

— В мае, пожалуй, еще не сделаем...

— А что ты сказал у директора? Ты же сказал: будет сделано?

— А что, по-твоему,— своим мягким, вялым голосом возразил Шатров,— по-твоему, я совсем младенец? Как я могу говорить у директора, что не будет сделано? Конечно, говорю, как большой. Приму, мол, меры... будет сделано, и все такое прочее.

Переговариваясь и забыв о Бахиреве, они пошли по коридору. Шатров не нравился Бахиреву. Не нравились его бегающие глаза, добрая, вялая усмешка, неуверенные движения и то, что он сфальшивил в кабинете директора.

Вечером этого дня Бахирев шел домой. Ему хорошо думалось на ходу, он не стал вызывать машину и брел, выбирая тихие переулки, вдоль заводского забора.

В густом тумане он издали увидел что-то темное, услышал голоса людей. «Что бы это могло быть?» Он

пошел в сторону тупика, проваливаясь в подтаявшие сугробы.

Прижавшись к самому забору, стоял грузовик. Невидимые за досками люди передавали что-то через забор, и другие люди принимали передаваемое и укладывали на грузовик.

— Павел Петрович, принимай последнюю. Да без звону!—сказал приглушенный мужской голос.—Приняли?

— Есть! Взяли!—тихо ответили у грузовика.

Бахирев понял, что происходит воровская погрузка через забор.

«Тащат! Да еще как нагло, разбойники! Что это они грузят? Длинное, гнутое. Проволока? Нет! Трубки какието!»

— Ну, слава богу!—радостно сказали на грузовике.— Теперь можно действовать!

Бахирева удивили мирные, даже сердечные интонации в голосе вора.

— Да не так укладываешь!—Мужская фигура встала на борт машины.—Ящиками, ящиками подопри!.. Как вас благодарить, не знаю!

— Что там благодарить... Ты коммунист, и я коммунист!..—неожиданно со знакомой хрипотцой прозвучало за забором.

— Кабы все это понимали!—горько вздохнула фигура на борту.—Ну, до свидания!

Из-за забора показалась голова в шапке и протянулась рука. Воры обменялись через забор рукопожатием.

— Так ты не унывай, Павел!—сказала голова знакомым хриплым басом.

— Я не унываю!—грустно ответили из грузовика.

Машина стала разворачиваться, и свет фар скользнул по забору, по голове в шапке. На миг осветилось круглое лицо с моржовыми опущенными усами.

«Василий Васильевич!—подумал Дмитрий.—Не может быть! У того усы не такие, у того торчат. Но не одни усы, и лицо, и голос! Вот тебе и опора завода!»

— Стой!—закричал он и побежал к машине, увязая в сугробе.

Машина рванулась, человек на борту грузно шлепнулся в кузов, голова за забором исчезла.

Бахирев смутно различил номер машины, вернулся на завод и сообщил о виденном охране и дежурному по заводу.

Утром он по просьбе Вальгана проводил рапорт.

Бахирев не терпел длинных совещаний. Еще до рапорта он внимательно просмотрел «дефициты», ознакомился с

диспетчерскими сводками. Ему уже знакомы были и полусвет маленькой комнатушки Рославлева, и до отказа набившие ее усталые люди. Они здоровались с ним вяло,—видимо, ничего существенного не ожидали от рапорта, проводимого «новым главным». Только два светлых глаза смотрели на него с откровенным и спокойным любопытством. «Кто это глазеет там, у окна?»—мельком подумал он.

Смугло-бледная в сером полусвете комнаты, девушка поставила согнутую в колене ногу на перекладину соседнего стула и обхватила колено сплетенными руками. В позе ее была такая естественность и непринужденность, словно она сидела не в переполненном людьми кабинете начальника цеха, а где-то на степном пригорке в полном одиночестве. На темном лице странно выделялись светлые, прозрачные, как дождевые капли, глаза. Бахирев на мгновение отметил и ее позу, и глаза, но тут же забыл о ней.

Он сел на свое место и без предисловия начал глуховатым монотонным голосом:

— Дефициты и взаимные претензии имеются по цехам: чугунолитейному, термическому, моторному, сборочному. Четыре перечисленных цеха останутся. Остальные могут уйти...

Начало было непривычным. Отсутствие на рапорте обычно считалось признаком нерадивости, а «новый» сам гнал половину людей с рапорта. Инженеры сперва нерешительно переглядывались, потом, обрадовавшись нежданной свободе, толпой ринулись к двери.

Наскоро покинутые людьми стулья стояли в небрежном беспорядке, и от этого обычная деловая и напряженная атмосфера рапорта исчезла. Оставшиеся поглядывали на двери, свертывали дефициты. Им тоже хотелось уйти. Только девушка у окна не изменила ни позы, ни выражения лица.

— Прошу подвинуться поближе,—сказал Бахирев.

Два-три человека нехотя вышли из дальних углов.

— За истекшие сутки,—начал Бахирев все тем же ровным, монотонным голосом,—с конвейера спущено двадцать недоукомплектованных тракторов и недодано три трактора. Начальник сборки, почему не обеспечили нормального выпуска?

Рославлев неохотно встал. Он, как и все на заводе, знал, что «новый» не решает вопросов, и поэтому рапорт в присутствии «нового» и в полупустой комнате становился формальностью. Рославлеву крайне не понравилось также начало рапорта. Обычно он сам, как начальник сборки, предъявлял свои претензии цехам, а «новый» начал с

претензии к нему. Это было мелочью, но мелочью, непривычной для Рославлева. Поэтому начальник сборки вложил в свой бас иронию и пренебрежение.

— Мы «не обеспечили» потому, что нас не обеспечили.

— Почему вы говорите «мы»? Что значит ваше «мы»?

— Мое «мы» значит — цех сборки...— пробубнил Рославлев с прежней иронией.

— На фронте, когда командир батальона не выполняет задание, он не говорит: «Мы не выполнили». Он говорит: «Я не выполнил...»

«Дешевый прием»,— поморщился Рославлев и ответил:

— Я на фронте не был... За передачу фронтового опыта благодарю...

По лицам скользнули мгновенные улыбки.

— Прошу отвечать точнее,— не реагируя на насмешку, сказал главный.— Почему недодали три трактора?

— Ночью конвейер стоял по дизелям,— одновременно и сердясь и скучая, сказал Рославлев.

— Почему допустили нулевые позиции по дизелям?

«Ты еще и зануда ко всему прочему!» — окончательно рассердился Рославлев. Иронизируя еще откровеннее, чем прежде, он точно, но тонко передразнил монотонные интонации Бахирева.

— Потому допустили нулевые позиции по дизелям, что чугунка половину блоков сумела загнать в брак...

Снова усмешки пробежали по лицам, и снова главный никак не реагировал на иронию.

«Не понял, что его высмеяли? — подумала девушка у окна.— Смешной! Лицо и фигура каменные, прическа спереди как из парикмахерской, а на затылке петушиный хохол.— Она улыбнулась, но лицо Бахирева заинтересовало ее странным несоответствием между тяжелой оцепенелостью черт и чуткостью подвижных бровей. Брови, стянутые к переносью напряженным узлом, круто изгибались и расходились к вискам взмахами, сторожкими, словно крылья готовой взлететь птицы. Они то и дело шевелились — то приподнимались, то туже стягивались в узел.— Кажется, будто он слушает бровями»,— определила девушка.

— Начальник чугунолитейного цеха,— сказал он,— объясните, в чем дело.

Щербаков тяжело поднялся со стула. Его мягкие руки нежно, как цветок, держали мятый листок «дефицита».

— Опять чугуны! — сказал он со вздохом.— Кончились хромоникелевые чугуны. Я сам вчера был в техснабе. Видел, что у них там творилось... Запарились.

Брови Бахирева дрогнули и поднялись. Узкие темные глаза остро блеснули за тяжелыми веками.

— Техснабу, значит, посочувствовали? Сперва к техснабу проявите сочувствие, потом к металлоснабу, потом, последовательно, железной дороге начнете сочувствовать?

— Почему же... железной дороге?—округлились младенческие глаза Щербакова.

— По логике вашего рассуждения.

«Тоже умеет вышутить!»—удивилась девушка.

— Перебой с чугунами ликвидирован вечером,— продолжал Бахирев.—Почему ночью выскочил брак?

— Ночью я не был на заводе. Сушильные печи... Старший мастер...—невнятно забормотал Щербаков.

Василий Васильевич усиленно зашевелил усами.

— Насчет печей я второй месяц твержу. Не делают ремонта! Сам в печи лажу, сам ремонтирую!

Лицо мастера выражало ничем не обремененную честность. Это было особенно противно Бахиреву: «Как наловчился играть под честнягу!»

Дело с кражей все еще не было завершено. Вальган сказал Бахиреву: «Ты в это не мешайся, предоставь мне. У меня есть тут свои соображения...» О том, что соучастником кражи был Василий Васильевич, Бахирев никому не сказал. Допуская возможность ошибки, он не считал себя вправе говорить другим, но внутренне был убежден в том, что орудовал не кто иной, как Василий Васильевич.

— Вы знали, что печи неисправны?—почти с ненавистью спросил он мастера.—Какое же право вы имели уйти, бросив производство в таком положении?

— А вот так и ушел!—заявил мастер.—Пока своими плечами да руками все дыры затыкаешь, никто не почешется! Один разговор: «Давай! Жми!» Я жал, жал, взял да и ушел. Пойду, думаю, пусть стержни горят, пусть наконец завод почувствует, какое у меня в стержневом отчаянное положение!

Брови главного сошлись у переносья и приподнялись к вискам.

Он усмехнулся и процедил:

— Прямо по пословице: «Пойду вырву себе глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой!»

В комнате невольно засмеялись.

— Только вы не зять, а завод вам не теща,—тем же злым тоном продолжал главный.—Отвечать за брак прежде всего будете вы. Я поставлю вопрос о выговоре в приказе и о списании всех убытков по браку в стержневом за ваш счет.

Наступила тишина.

Мастер шевелил губами, силясь возразить, но не находил слов. Наконец овладев собой, он повернулся к Щербакову:

— Это как же? Печи давно замены требуют, а я от вас даже ремонта не добьюсь. Все выходные сам кручусь за ремонтников. Не в печах, вот в этих вот руках сушу стержни! За весь месяц в первый раз взял выходной, и то несполна, и меня же... меня же...

— Давно пора проводить в жизнь принцип материальной ответственности за брак,— отозвался Щербаков.— Надо же когда-нибудь начинать.

Мастер стоял посредине комнаты и растерянно оглядывался. Все молчали и отводили глаза.

— Неправильно! — прозвучал девичий голос.— Начинать надо, но не с таких людей, как Василий Васильевич...

Девушка у окна говорила спокойно. Взгляд ее странно светлых на темном лице глаз был одновременно и пристальным и безмятежным, как будто она еще не совсем проснулась, еще полна какими-то своими мирными сновидениями, но уже с любопытством вглядывается в окружающее.

Не стоило вступать в пререкания с этим полусонным существом, и Бахирев обратился к Щербакову:

— Что скажет начальник цеха?

Тот засуетился:

— Что ж? Я полагаю, что Дмитрий Алексеевич в принципе прав. Товарищ Карамыш смотрит с субъективной точки зрения.

«Карамыш? — удивился Бахирев.— Значит, с кокилем это она? Вот не подумал бы... Или есть на заводе другой Карамыш?» Но ему некогда было размышлять об этом.

— Я тридцать лет на заводе. Пришел безусым, усищи здесь выросли, здесь поседели...— Василий Васильевич сорвался на полуслове и умолк.

Бахирев поднял голову и обвел всех медленным, тяжелым взглядом.

— При Петре Первом похвалялись бояре бородами,— гулко прозвучал в тишине его голос.— Сбрил им Петр Первый бороды по первое число. А с бородами, глядишь, некоторые худые привычки отбрились...

Мастер поднес руку к усам, словно защищая от главного свою красу и гордость.

— Ну что ж? — хрипло сказал он.— Пока я на заводе работаю, одиннадцатый главный инженер приходит...— Он помолчал, потом повернулся всем корпусом к Бахиреву и сказал ему в лицо: — Придет и двенадцатый...

Не сказав больше ни слова и ни с кем не простившись, Василий Васильевич вышел из комнаты.

Наступила тишина. Старик прочил главному инженеру недолгую жизнь на заводе, и все безмолвно согласились с ним.

Инженеры избегали смотреть на Бахирева. Только девушка у окна по-прежнему пристально смотрела на него с выражением непонятного ему сострадания.

Дурная слава о рапорте пошла по заводу.

— Главный рапорт не сумел провести.

— Грозится кадровикам стричь бороды.

— Гнет под Петра Первого!

А главный словно не понимал своих ошибок и не пытался их выправить.

То смутное недовольство, которое ощутил он в первый же день, разрослось в отчетливое и постоянное раздражение. Он уже ясно видел недостатки завода — слабость заводской металлургии, отсталость технологии, изношенность станочного парка, текучесть кадров.

А меж тем на заводе, казалось, не замечали этого — инструментальные цехи загружали заказами со стороны, окончательно подрывая этим заводское хозяйство, уходивших рабочих заменяли новыми, тонны металла списывали в брак, а план выполняли за счет аварийных и сверхурочных работ в конце месяца, как будто так и полагалось.

Планы перевыполнялись, премии выплачивались, и на всех совещаниях твердили о достижениях победоносного коллектива.

Бахирев несколько раз пытался об этом говорить с Вальганом. Директор соглашался, но, занятый предстоящим увеличением программы, лимитами, энергетикой, скороговоркой отвечал Бахиреву:

— Вот решим основное, тогда займемся частностями.

Но Бахирев считал это главным.

«На заводе бьют по оглоблям, а не по лошади,— думал он.— Я знаю еще немного, но это немногое знаю уже крепко. Когда крепко знают, тогда крепко и действуют».

Однажды ему передали, что его разыскивает директор.

«Вот и кстати!» — сказал он себе.

На лестнице заводоуправления его встретила секретарша Вальгана:

— Наконец-то! Почему так долго? У нас же Сергей Васильевич!

— Какой Сергей Васильевич?

— Бликин!! Бликин Сергей Васильевич! Секретарь обкома.

Бахирев заторопился. Мелькнуло в памяти все, что он слышал о Бликине: «Умен, демократичен, решителен. Приехал на завод. Значит, знает! Значит, встревожен!»

Секретарша удивилась неожиданной легкости, с которой он взбежал по лестнице.

С первого взгляда картина, открывшаяся в кабинете у директора, удивила его. Группа людей в большом, по-вальгановски уютном кабинете показалась слишком непринужденной и жизнерадостной. Центром ее был широкоплечий человек с небольшой, красиво посаженной головой. Он сидел в директорском кресле, удобно и покойно откинувшись на спинку. За спиной его в вечернем свете золотились кремовые панели, неподвижными декоративными складками падали шоколадные гардины. Напротив него сидел Чубасов, выпрямившись и положив руки на подлокотники. Глаза его блестели больше, чем всегда, и все та же непонятная Бахиреву, застенчивая и мягкая, «жениховская» улыбка морщила крупные губы. Уханов всем корпусом подался вперед и замер в радостной неподвижности, только раскрасневшееся лицо поворачивалось то к Бликину, то к Вальгану. Вальган по-мальчишечьи примостился на ручке соседнего кресла и оживленно говорил Бликину:

— Зарежет нам энергетика апрельскую программу! А, Дмитрий Алексеевич! Наш новый главный!—представил он Бахирева и продолжал:—Помогай атаковать обком!

— Зачем обком! Вы энергетиков атакуйте!—возразил Бликин.

— Ездил к ним Николай Александрович Чубасов. Просил я его: «Ну, размахнись ты хоть раз! Тряхни стариной! Дай нокаут!»

— Боксеры на партийной работе! Вот она, демократия!—засмеялся Бликин.—Ну как, оправдывает назначение?

— Не нокаутирует!—развел руками Вальган.

Бокс так не вязался с хрупкой фигурой и мягкими манерами Чубасова, что у Бахирева невольно вырвалось:

— Боксером были? Непохоже.

Чубасов по-девичьи покраснел.

— Да я так, любителем...

— Нет, почему!—вступился Уханов.—С профессионалами схватывался. Цветы получал от девушек. Не столько, правда, за победы, сколько за рьяность. Как говорится, «не щадя живота».

— Во всяком случае, не щадя зубов!—Бликин взглядом указал на металлическую челюсть.

Над парторгом все подшучивали любя, и все же в иронии Бликина Бахиреву слышалось чуть заметное пренебрежение.

Вальган опять обратился к Бликину и, по своему обычаю смешивая шутку с серьезным, упорно повел какую-то свою линию:

— Парторг не нокаутирует, энергетики не поддаются! Госплан и министерство нам не внемлют! Они далеко! Но вы, Сергей Васильевич, своими глазами видите положение.

Бликин поднял бледное лицо.

— Что ты волнуешься преждевременно? Я же сказал: вопросы энергетики и металла обсудим на бюро. Где у тебя твоя знаменитая зажигалка?

Он сам нашел на столе зажигалку в форме трактора, повертел ее и закурил. Закуривая, он склонил голову, и кончик тонкого, с горбинкой носа чуть отклонился в ту же сторону. Бахирев с любопытством всматривался в лицо секретаря обкома. Всего примечательнее в нем был взгляд светло-карих глаз, одновременно и пристальный и ускользающий. Казалось, секретарь пытается проникнуть взглядом в каждого, но в то же время избегает допускать посторонних к каким-то своим глубинам.

По тому, как привычно и свободно сидел Бликин за директорским столом, по непринужденным позам остальных чувствовалось, что секретарь обкома частый гость на заводе. Вальган в его присутствии был особенно оживлен, казался очень молодым, и, что бы ни делал — присаживался ли на ручку кресла, вставал ли, ходил ли по комнате,— все движения его отличались отчетливостью и легкостью.

Оживление, охватившее Вальгана, отразилось и на лице Уханова. В позе, в улыбке, во взгляде молодого инженера сквозило непосредственное удовольствие. Видно, ему было необыкновенно приятно участвовать в значительной и интересной беседе на равной ноге с руководителями области и завода.

Беседа лилась легко, но она расплывалась, и Бахирев не мог уловить ее основной темы.

— Ну, предположим, энергию будем давать первоочередно,— сказал Бликин.— А как с заказом для завода «Красный Октябрь»?

— Если энергия и металл будут, одолеем!

— Не боишься?—спросил Бликин.

— Сергей Васильевич! Где и когда я боялся?! Мое убеждение — коллектив лучше всего воспитывается на подвиге! — Вальган схватил подбородок ладонью и принялся поглаживать его привычным, быстрым движением.

— На Урале до сих пор вас вспоминают... Так и говорят: «Школа Вальгана»,— вставил Уханов.

— Смотри! Дело серьезное...— Бликин не договорил.

— Сергей Васильевич,— засмеялся Вальган,— я же не ребенок из детских яслей, я же взрослый товарищ!..

— Как будешь выполнять заказ?

— Мобилизуем инструментальные цехи.

Наконец речь зашла как раз о том, что волновало Бахирева. Он решительно кашлянул и врезался в разговор:

— Инструментальные цехи не справляются с внутризаводской работой. Заводской станочный парк недопустимо запущен.

Вальган скользнул по его лицу удивленным, отстраняющим взглядом и поспешно перебил:

— Добавим в инструментальный людей. Вы читали в «Правде» о нашем фрезеровщике Сугробине? В январе на сложнейших новых моделях триста процентов нормы!

Реплика Бахирева выпала из беседы как непроизнесенная.

Вальган рассказывал о Сугробине:

— Молодой парень, а любое уникальное задание берет играючи, с одного маха! Как призовой конь — любой барьер! Вот какой молодняк воспитываем.

Что-то в интонациях директора не нравилось Бахиреву: казалось, Вальган и щеголяет Сугробиным, и старается загородить широкой спиной фрезеровщика заводские неполадки.

Беседа гладко текла от темы к теме.

«О чем они говорят? — все силился и не мог Бахирев уловить основного стержня беседы.— Зачем приехал на завод секретарь обкома?»

— Не забывайте, что за мартом идет апрель! — говорил Бликин, подняв кверху худой палец и улыбаясь.— А за апрелем полагается май!

— Кто же об этом забывает? — засмеялся Вальган.— Выйдем в предмайском соревновании на первое место! И «Красному Октябрю» поможем, и область поднимем, и чугунную решетку отольем для сквера. Все сделаем, если «Октябрь» авансирует нам металл в счет будущего квартала!

— Опять пошел выпрашивать! — прищурился Бликин.

— Так у нас же траки! В шихтовке недополучаем марганцевых сталей. Из чего нам делать траки? Пусть меня бог научит!

— Без бога обойдешься! И так всю область обобрал ферромарганцем.

— Без бога обойдусь, Сергей Васильевич, без вас — нет...

Разговаривая о трудностях с металлом, все замалчивали большую потерю металла браком.

«Скажу. Это же главное зло,— думал Бахирев.— Хотят не хотят, а надо сказать».

Он подергал себя за вихор и пробубнил:

— Интересен подсчет брака в тоннаже за месяц. Брак по одним гильзам — тринадцать процентов. Из каждых ста тонн металла тринадцать прямиком в брак!

Вальган метнул на него мгновенный яростный взгляд и заговорил быстро, весело, торопясь увести Бликина от опасной темы:

— Брак в целом по заводу за месяц снизился на шесть процентов. Бывало, в старое время, литейщик приходит наниматься к хозяину. Хозяин спрашивает: «Брак делаешь?» Тому охота попасть на работу: «Нет, господин хозяин, я работаю без брака».— «Брака не делаешь? Ну, тогда отправляйся ко всем чертям! Если литейщик брака не делает, значит, он либо врет, либо вообще ничего не делает. Мне такие литейщики не нужны...»

— То, брат, другие годы были,— сказал Бликин, забыв о Бахиреве.

— Да... И у нас были годики по металлу! — вздохнул Уханов.— Бывало, лежит на складе, бери — не хочу! А теперь выбрали месячный металл. «Чермет» говорит: «Стоп!» И крутись как знаешь!

Снова Бахирева, как щенка, вышвырнули из беседы. Снова он оказался в глупом положении человека, поющего не в тон.

Вальган теперь уселся так, что затылок его очутился перед Бахиревым. Главный инженер видел смоляной кудрявый висок директора, край мясистого розового уха, крепкую шею с синевой бритья у затылка. Этот висок и шея как бы изолировали Бахирева от других. Бахирев сам чувствовал бестактность своего поведения, но это его не останавливало.

Он вытянул шею и с мрачно-упрямым выражением выглянул из-за директорского уха. Явно не к месту, как всегда монотонным, а сейчас особенно занудливым от неловкости голосом он проскрипел:

— Авансируют или не авансируют назавтра металл — это не решит главных вопросов... Брак, кадры, а также то, что оборудование на заводе морально устарело,— вот главные причины!

Вальган крякнул от досады и резко повернулся в кресле.

— Причины! — быстро заговорил он.— Что мы тут

будем выкладывать причины! Ну, перечислю я причины! Вот, мол, какой Вальган умный, все причины знает! Что нам тут перед Сергеем Васильевичем умничать! Причины надо не перечислять, а устранять!

Жар ударил в лицо Бахиреву. В третий раз отщелкала его ловкая рука Вальгана.

— И мы их устраним,— утверждал директор.— Но сейчас мы идем на расширение программы. Нам сейчас как никогда нужна помощь по металлу.

Он продолжал говорить, но горячий глаз его теперь то и дело косился на Бахирева с затаенным и яростным выражением.

Бахирев понимал ярость Вальгана: директор не хотел демонстрировать перед Бликиным своих болячек. Но непонятно было: почему ничем не реагировал на слова Бахирева секретарь обкома? Потому, что не считал нужным обострять разногласия между директором и главным инженером? Или просто потому, что Вальган умело держал разговор в своих руках?

Но вот Вальган умолк. Молчали и остальные.

«Что сейчас скажет секретарь обкома? — пытался угадать Бахирев.— О чем он думает?»

Лицо Бликина сохраняло все то же дружественно-покойное выражение. Он встал, не торопясь подошел к шкафу и вынул красный томик. Все молча и с интересом следили за ним, видимо ожидая поступков примечательных и поучительных. Бликин провел пальцем по краю книжки. На пальце остался пыльный след.

— Для виду держишь? — спросил он Вальгана.

Тот развел руками:

— Не успеваю, Сергей Васильевич...

— Скажи уборщице, чтобы хоть пыль вытирала...

Вальган с виноватым и смущенным видом поскреб кудрявый затылок.

Бликин снова подошел к столу:

— Говорят, у тебя повар в рабочей столовой печет кренделя какие-то особенные?

— Знаменитые кренделя! — оживился Вальган.— Сейчас принесу.

— Зачем приносить? Пойдем-ка, товарищ директор, в цеховую столовую да похлебаем за одним столом с рабочими! Такая похлебка иной раз полезнее директорских разносолов...

Пока все одевались, Бахирев и Вальган на минуту остались вдвоем в кабинете.

— Ты что, Дмитрий Алексеевич? — с гневным удивлением спросил Вальган.— Тут серьезный разговор, а ты... Ты что тут палки совал в колеса?

— Я считаю, что надо ставить вопрос в принципе.

— Хочешь сидеть с принципами и без программы? — зло усмехнулся Вальган.— Ну, ну, дорогой...

Он вышел из кабинета, Бахирев поплелся следом.

«Зачем приезжал секретарь обкома?» — упорно спрашивал он себя.

Ничего не случилось, но именно это отсутствие происшествий и казалось ему самым необычайным происшествием. Если бы разразился скандал, если бы спорили, кричали, снимали с работы — все показалось бы ему естественнее.

Вечером Бахирев вызвал к себе Уханова. Подтянутый и, как всегда, бодро-оживленный, Уханов вошел в узкий и длинный кабинет Бахирева.

Он помнил лестную просьбу Вальгана «подключить» Бахирева и был преисполнен снисходительной доброжелательности.

— Я могу вам быть полезен, Дмитрий Алексеевич?

«Новый», не поднимая глаз, приподнял свои стянутые к переносью брови.

— Вы мне нужны. Садитесь...

Уханов сел не в той свободной и непринужденной позе, в которой он сидел рядом с Вальганом и за которой скрывалось его уважение и даже восхищение директором. Он сидел с подчеркнуто уважительным видом, желая из снисходительности и добродушия замаскировать свое истинное отношение к «новому».

В удачливом, общительном, располагающем к себе Уханове «новый» с его медленной ориентировкой, сумрачным видом, неумением войти в коллектив вызывал пренебрежительное, но искреннее сочувствие.

«В своем коллективе расти и обгонять трудно,— думал он.— Все помнят тебя начинающим сосунком... Но не уметь войти в новый коллектив! Оказаться в положении мальчишки, которого «подключают»!»

— Чем могу быть полезен? — с готовностью повторил он.

— У меня есть к вам несколько вопросов разного порядка... Первый вопрос будет общий,— бубнил «новый».— Что вы считаете необходимым предпринять для снижения себестоимости и поднятия производительности труда?

— На заводе имеется план оргтехмероприятий...

Бахирев вытащил из стола папку.

— Здесь семьсот два мероприятия. Совершенно неясно, что здесь первоочередное и главное. В этом смысле план недодуман и недоработан.

«Однако!» — подумал Уханов и сказал с достоинством:

— Обвинение не могу взять на себя. План разработал коллектив завода. Я только главный технолог! — И, улыбнувшись, с чуть заметной иронией добавил: — И я привык разговаривать конкретнее...

Бахирев молчал. Уханов выжидал, разглядывая крупное, неподвижное лицо «нового». Молчание затягивалось. Слышно было, как за стеной захлопали двери и зазвучал топот многих ног — кончался рабочий день.

— Хорошо. Будем говорить конкретнее,— сказал Бахирев и вынул новую папку.— Первый конкретный вопрос.— Главный инженер так нажал на слово «конкретный», что оно кольнуло Уханова.— Какие станки и механизмы грозят срывом программы третьего квартала?

— У нас не бывает срывов программ... По крайней мере, не бывало до этого времени,— отчеканил Уханов. Он хотел сказать: «Не бывало до вашего прихода, а теперь, возможно, и будут».

— Не бывало потому, что простои оборудования покрывались за счет энтузиазма и доблести.

— Вы против энтузиазма и доблести? — спросил Уханов, перенимая у Вальгана манеру щуриться и чеканить слова в минуты гнева.

— Против! — отрезал главный инженер.

— Вот как?!

— Я против доблести и энтузиазма, когда ими покрывают недостатки организации. Но я согласен поставить свой «конкретный» вопрос иначе,— с монотонностью и методичностью машины продолжал главный.— Скажите мне: какие станки необходимо отремонтировать в первую очередь?

— Я могу представить вам полную документацию...

— Я уже проверил документацию. Балансировочный станок, по документам, находится в аналогичных условиях с другими станками линии, однако он в идеальном состоянии. Сверлильный станок в угрожающем состоянии. Документы этого не отражают...

Сонные веки «нового» тяжело приподнялись. Глаза, длинные и острые, взглянули непреклонно.

«Да что он на самом деле? Ловит меня?»

Островерхая крышечка на чернильнице блестела под неярким светом настольной лампы. Уханов смотрел на эту крышечку, чтоб не смотреть на Бахирева.

— Как вам известно,— не отрывая глаз от чернильницы, процедил Уханов,— я главный технолог, а не главный инженер...

В кабинете снова воцарилось молчание. Очевидно, главный инженер обдумывал слова и поведение технолога.

Их разговор превратился в охоту — Бахирев расставлял ловушки, Уханов ускользал из них.

За стенами кабинета тоже стояла тишина: рабочий день кончился. Длинные часы с золоченым маятником отсчитывали минуты. Бахирев сказал все тем же методично-монотонным голосом:

— Хорошо... Я буду говорить с вами как с главным технологом. Скажите: какие наиболее серьезные отклонения от техпроцесса вы числите по заводу?

— У нас, как и на каждом заводе, есть ряд отклонений, и мы работаем над их устранением.

— Хорошо, я поставлю вопрос иначе,— все тем же нудным, монотонным голосом сказал Бахирев.— Какие нарушения техпроцесса ведут, по-вашему, к прямому нарушению ГОСТа?

Нет, это была не охота. Главный инженер напоминал Уханову паровой молот или пресс, методично отжимающий из металла задуманную форму.

— Завод не нарушает законов...

— При беглом осмотре я насчитал шестьдесят отклонений от техпроцесса. Одна треть их является прямым нарушением закона и ведет к недопустимому снижению качества.

— Этого не может быть! — Уханов выпрямился, не сдерживая и не скрывая негодования, смотрел в лицо Бахирева.— Как главный технолог завода, я утверждаю, что этого не может быть.

— Как главный инженер завода, я утверждаю, что это есть.— Бахирев молча вынул из стола три гильзы и измерительный инструмент.— Прошу проверить!

Уханов с облегчением откинулся в кресле.

— Ну, овал! — протянул он.— Мы же это знаем, и мы его выправляем!.. Не совсем по техпроцессу, но выправляем!

— Да... Кувалдой по колодке...— жестко сказал Бахирев.— Но дело сейчас не в этом... Эти гильзы взяты после выправления... И все-таки овал имеет место, как вы можете убедиться.

— Ошибка ОТК? — быстро спросил Уханов.

— ОТК ни при чем.

— Так что же?

«Куда он гнет? Чего добивается?» — думал Уханов, глядя в сонные веки «нового».

— Гильза сразу после выстукивания кувалдой идет в ОТК и оттуда в моторный. В момент прохождения ОТК и моторного она сохраняет круг. Через два-три дня в силу низкой остаточной деформации металла к ней постепенно возвращается овал. И эти гильзы неделю назад имели

круг. На неделю я запер их в стол. Как видите, к ним вернулся овал... Вы помните недавнюю остановку конвейера по гильзе? Гильзы лежали неделю и стали овальными. Что же получается на заводе? Делаем круглые гильзы, которые через десять дней становятся овальными! Самообман? И обман потребителя?

— Не может быть!

— Прошу проверить лично... Еще... Относительно вкладышей. Необходимый калибр вкладышей второго ремонта достигается за счет утолщенного слоя бронзы. Бронза в утолщенном месте будет крошиться! Повторяю: из ста осмотренных мною лично техпроцессов шестьдесят имеют отклонения, и двадцать отклонений резко сказываются на качестве.

Уханов был ошеломлен той дотошностью, с которой Бахирев говорил о новом для него производстве. «Когда успел? Когда высмотрел? Или специально меня ловит?»

Уханов намеревался помочь главному сориентироваться, а вместо этого вдруг почувствовал себя обстрелянным и загнанным в угол. Он пришел сюда уверенным и благожелательно-веселым — и вот сидит растерянный и негодующий. А Бахирев как был, так и остался туповато-спокойным. «Кашалот! — вспомнил Уханов заводские прозвища Бахирева.— Бегемот с вихром на затылке! А ведь говорит только о мелочах. Неспособный к большому всегда отыгрывается на мелочах...»

Из репродуктора на всю комнату прозвучал веселый голос Вальгана:

— Дмитрий Алексеевич, Уханов там, у тебя? Пусть идет ко мне!

— Что случилось? — отозвался Уханов.

— Добрые новости. Сейчас из министерства звонили. Живей ко мне!

Дружеский голос Вальгана мгновенно вернул Уханову уверенность. Он уже с прежней, несколько иронической снисходительностью сказал Бахиреву:

— Так разрешите мне ваши шестьдесят отклонений? Очень признателен, конечно, за ваш кропотливый труд. Всего доброго.

Бахирев остался один в своем длинном пустом кабинете. Очевидно, у Вальгана были какие-то важные новости и за стенами этого кабинета творились какие-то большие дела... Очевидно, тем, кто делал эти большие дела, все замыслы и дела Бахирева казались мелочными, ничтожными... Но он не мог так думать... Как бы грандиозны ни были замыслы Вальгана, самое нутро Бахирева жестоко сопротивлялось спокойно-терпеливому отношению ко многим недопустимым, на его взгляд, вещам.

«Как же это?—думал он.—Если спросить их, можно ли терпеть такое количество брака, они скажут, что нельзя. Но они терпят... Если спросить их, можно ли дальше терпеть штурмовщину, они скажут, что нельзя. Но они терпят... Если спросить, можно ли терпеть такую себестоимость, они скажут, что нельзя. Но они терпят... Я не должен терпеть! Но что же я должен делать? Может быть, они уже знают, что делать, и только поэтому так спокойны и так уверенны? А я не знаю, и поэтому мне так паршиво?..»

Он прошел на заводской двор. Ночь была темна и туманна. ЗИС стоял у ворот, и люди переговаривались за туманной пеленой.

— Мы увеличим вам энергетику,—узнал он голос Бликина,—но с тем, чтобы вы досрочно увеличили программу к первомайскому рапорту! Не боитесь трудностей?

— «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?»—смеясь, продекламировал Вальган.

— Ты себя, что ли, к великим причисляешь?—спросил Бликин.

— Завод, завод у нас великий!—пояснил Вальган.

Машина круто развернулась и, разрезая фарами темноту, помчалась к распахнувшимся воротам.

Бахирев побрел в чугунолитейный цех, чтобы еще раз прикинуть место для нового конвейера и обмозговать движение потока деталей, намеченное им по плану-минимум.

Работа над планом-максимум доставляла ему наслаждение: он разрабатывал то, к чему рвался сердцем. Работа над планом-минимум была мучительна: надо было двадцать раз прикинуть и рассчитать, как извлечь из производства все возможное при минимальных затратах на перестройку.

Узкими, путаными проходами он шел к вагранкам и думал: «По этому цеху ходить и то тяжело... А вот ей не тяжело... Да это та самая Карамыш! Но как она, однако, идет!» Чадным узким пролетом грохочущего цеха она шла так, как ходят на стадионе,—спортивной, летящей поступью. Маленькие ноги ее были обуты в коричневые туфли без каблуков и с хлястиками на пуговках. «Туфли школьницы»,—подумал он. Точно такие туфли были у его дочери. Пробираясь между автокарами, грудами деталей, станками, она мимоходом прикасалась к ним властно, легко и ласково—так мимоходом хозяин ласкает морду любимой собаки или шею любимой лошади. Он видел, как на ходу она махнула рукой крановщице, как перебрасыва-

лась короткими фразами со встречными. Ему захотелось нагнать ее. Он ускорил шаги. Словно почувствовав его взгляд, девушка пошевелила плечами, обернулась и взглянула ему в глаза. Мягкий электрический свет падал прямо на нее. Он увидел ярко-смуглое лицо с чуть расширенными скулами и странно светлые на темном лице, холодноватые глаза.

Лицо ее было угрожающе красиво. Но не только красота поразила Бахирева. Повеяло вдруг давним, кровно знакомым. Такие же глаза, безмятежные и холодноватые на первый взгляд, но с тайной решимостью, с невысказанным знанием в глубине, уже смотрели на него давным-давно. И сейчас они взглянули на него из глубины прошлых лет, из позабытого, но родного далека.

«Вот она какая. Красивая,— сказал он себе.— На рапорте была другая. Или тогда не разглядел в темноте? Но, черт возьми, где, когда я видел и знал ее?»

Глава V

«ТИНКА ЛЬДИНКА-ХОЛОДИНКА»

Небо начиналось у ног. Видно было, как зарождалась дымчатая синева в тени ущелья, под кустами и травами, как, светлея, поднималась она и превращалась в пронизанную солнцем, зыбкую голубизну неба. Вдали сияли снежные вершины, легкие и напряженные, словно паруса, наполненные ветром и приготовленные к отплытию. Тина лежала над обрывом в кустах. Ручей прыгал по камням у самого лица. На том берегу стоял лес, и близ ручья росли три сросшиеся ели; в маленькой пещере меж их корнями был Тинин «дом»; здесь хранились птичьи яйца, нарядные перья, пестрые гальки. Деревья не шевелились, и солнечные блики неподвижно лежали на хвойном настиле. Вдруг сгусток солнечных бликов сдвинулся, оторвался от земли, зажил своею отдельной и самостоятельной жизнью. Он бесшумно и быстро скользил к ручью меж стволами. Что это?.. Тина сперва не поняла, в чем дело, потом сердце у нее сжалось от радости. Мараленок? Почему один? У маралов появилась болезнь, их загоняли на лечение, и он, наверно, отбился от матери. Тина затаила дыхание, боясь спугнуть... Он был маленький, остроухий, на тоненьких ножках, и его желтоватые пятна сливались с бликами на хвое.

Осторожно и легко переступая тонкими ногами, он шел к ручью.

«Не почует, не заметит... Хорошо, что с подветренной стороны»,—думала Тина, холодея от радости и волнения. Мараленок, маленький, глупый, подошел к ручью как раз напротив Тины, потянулся к воде и замер. Он увидел ее. На долю секунды они взглянули в глаза друг другу. Ни испуга, ни удивления не мелькнуло во взгляде мараленка. Большие, влажные глаза его сияли, все видя, все отражая и ничего не пропуская в глубину.

Мараленок был чуткий, отзывчивый на каждый шорох, а глаза у него непроницаемые и спокойные. Ни преданности, льющейся из глаз собаки, ни терпения, наполняющего взгляд лошади, ни тупой сосредоточенности коровьих медленных глаз—ничего нельзя было прочесть в них. Он посмотрел прямо в лицо Тине без изумления и без страха, потом повернулся, в два прыжка достиг каменистой гряды и, вытянувшись в струнку, мгновенно пролетел через нее. Тина побежала за ним. За грядой заросли кустарника, рукав ручья—и ничего больше. Мараленка не было.

Словно сгусток оживших солнечных бликов мелькнул, оторвался от земли, взлетел и исчез.

Тина искала мараленка долго, но даже на песке у ручья не нашла следов. Ей попался плоский и светлый камень с золотистым пятном в виде подковы. Она подумала, что мараленок оставил ей на память отпечаток копытца, и взяла камень.

— Чтобы проверить сложение двух слагаемых...— Назойливый голос учительницы вернул Тину к действительности.

Не было ни мараленка, ни ручья, ни гор, ни камня. Кругом парты, впереди черная доска, за окном скучный город.

У доски учительница с буклями, словно приклеенными к вискам, а за партами девочки с бантами и мальчики в длинных брюках макаронами. Как можно в таких брюках ходить на охоту или скакать верхом во время гона маралов? И разве они знают, что такое гон маралов? Там, в горах, старые гонщики брали на гон только Тину. Ее брали на гон потому, что она была внучкой партизана Карамыша, того, чьим именем назван перевал, и дочерью Бориса Карамыша, того, который уехал на границу и стал большим командиром. У нее было особенное лицо: по-алтайски смуглое, скуластое, но с русскими светло-голубыми глазами. Она знала, что она внучка Карамыша и что лицо у нее не как у других, и считала естественным, что ее одну брали на гон маралов. Конь волновался перед

гоном, гонщики становились шумны и говорливы, и одна она оставалась спокойной. Не только за светлые глаза на темном лице, но и за это спокойствие мама прозвала ее «Тинка льдинка-холодинка». Отец и мать были пограничники и жили на севере. Раньше Тина тоже жила с ними, но три года назад у нее распухли желёзки, и доктор велел отвезти ее на кумыс к бабушке и дедушке. С тех пор Тина жила в горах, а мама и папа приезжали к ней в отпуск. И каждое лето они говорили: «Подожди еще одну зиму. Весной папу переведут в другое место, и мы уедем вместе». В последний приезд она узнала, что ее опять не возьмут, ушла в огород, села на грядку и принялась плести косички из морковной ботвы.

Отец разыскал ее, присел на корточки и стал утешать.

— Не любишь,— сурово произнесла она, продолжая плести косички.

— Эх, не понимаешь!— Большое лицо отца жалобно скривилось.— Если б не любили, как раз взяли бы! Думаешь, не хочется? Гулять бы водили, книжки бы читали!.. Но ведь там застава, граница, солнца долго нет, кумыса нет, молока нет, моркови и той нет. Трудно там.

— А зачем вы уезжаете, если трудно?

— Такая судьба...— вздохнул он, но выражение у него было не грустное, а гордое.

— У кого такая судьба? У тебя?

— У всех у нас. У народа.

— Почему?— Она перестала заплетать косички.

— Первым всегда трудно. А наша страна первая такая... справедливая... Кругом много врагов. Мы должны быть настороже.

Папа и мама были необыкновенные, и слова у них были необыкновенные: «справедливость», «народ», «застава».

Когда они уехали, Тина устроила дом для них в пещере меж тремя елями. Она выбирала две гальки— большую черную и маленькую белую, или два пера— большое черное и маленькое белое, или две шишки— большую темную и маленькую светлую. Это были папа и мама. Она водила их гулять, кормила их и укладывала спать.

Однажды Тина услышала разговор соседки с приезжей женщиной.

— Как же мать дочку покинула?— спрашивала приезжая.— Коли девчонке туда нельзя, так ведь матери сюда можно!

— Девчонка не конь, цыган не украдет,— ответила соседка.— А на такого орла, как Борис, каждая польстится. Верка совсем немудрящая была девка, да прицепилась

к нему без всякого стыда. Он ее вроде пожалел. Теперь она и боится отойти: как бы другая не перебила!

Два пера — черное и белое,— поднятые «на прогулку» на еловую ветку, так и остались лежать на ней.

Тина любила буйные мальчишеские игры, но иногда ее тянуло к взрослым. Ее дед, мамин отец, ночью работал на пожарной каланче, а днем сидел дома, учил ее вырезывать из дерева зверушек. Но хоть он и не дотянул до деда Карамыша, однако вскоре тоже сделался ответственным — его назначили табунщиком в горы. Бабка принялась метаться меж пастбищем и домом. Кончилось тем, что и бабка стала ответственной — ее назначили возить табунщикам продукты.

— Все кругом теперь ответственные. Вовсе дома не стало! — пожаловалась Тина учительнице.— В лес пойду. В лесу буду жить.

Учительница была добрая, но ненастоящая — просто старенькая мама доктора, к которой Тина ходила заниматься.

— Тебе ли жаловаться? — сказала учительница.— Тебе все село — дом. Куда ни придешь, везде тебе рады.

Когда Тину тянуло к взрослым, она шла к кому хотела.

Узнав, что старику Гурию будут вырезать шишку на щеке, Тина прошла коридорами больницы, появилась на пороге перевязочной и заявила доктору:

— Надень мне на лицо маленький фартук, я хочу смотреть, как ты будешь резать Гуриеву шишку.

Она не встречала отказа. Она была дочерью любимого всеми человека, оставленной на попечение села, и люди позволяли ей то, чего не разрешили бы родным детям.

Наконец отца перевели с границы. Он стал начальником штаба округа. Четыре дня ехала Тина в далекий город к родителям. Первые дни были днями радости. Потом маму услали в командировку. Отец с утра до ночи был на работе. Тина оставалась дома с домработницей Василисой Власьевной, огромной женщиной с лицом, усеянным бородавками. Впервые увидев Тину, ее волосы, падавшие на плечи прямыми прядями, ее ожерелье из монет, Власьевна всплеснула руками и сказала:

— Чистая туземка, прости господи!

Тина не знала, что такое туземка, но поняла, что Власьевна хотела сказать: чужая, плохая, непохожая на других.

Через несколько дней Власьевна принесла куклу и сообщила, что теперь у Тины будут настоящие куклы, а туземкины игрушки выброшены на помойку.

Тина все утро рылась в помойке. Она отыскала перья,

птичьи яйца и все камни, кроме оставленного мараленком. Чтобы загладить нанесенную камням обиду, она разложила их на столе в красивых тарелках и села рядом. Она тосковала о камне «След мараленка». Камень был теплый, и только край его, омоченный волной, холодил руку. На гладкой поверхности отчетливо золотился отпечаток копытца.

Власьевна налетела с криком. Она мыла Тину губками и щетками, терла руки карболовой кислотой, от которой саднили царапины. Тина молчала. Она знала: если б всю ее обожгли карболовой кислотой, она все равно не смогла бы не пойти на помойку выручать оскорбленных.

Когда пришел отец, Власьевна бросилась к нему с жалобами. И отец не защитил Тину. Он поморщился.

— Из помойки — и на стол, в тарелки! Как это можно?

В школе Тина также чувствовала себя «туземкой». У нее был свой обычай жизни, отличный от здешнего, и ничто не заставило бы ее отступиться от этого обычая.

— Надо вычесть из суммы слагаемых одно из слагаемых,— продолжала учительница.

Опять она мешает!

Мальчик у доски кончил задачу и повернулся к учительнице с таким видом, словно совершил что-то достойное награды. Холодноватые глаза Тины заметили все: и фасонный росчерк мелом на доске, и то, как мальчик вскинул голову, гордясь и красуясь, и как удовлетворенно задрожали учительские букольки. Эти двое думали, что сделали существенное дело. Что они могли понимать? Они не умели сесть на коня и никогда не видели маралов. Больше всего Тину удивляло то, что они и не подозревали о собственном ничтожестве. Они суетились, выступали на собраниях, рассуждали о слагаемых и воображали, что делают интересное.

После арифметики будет история. С историей Тина мирилась — все-таки эти цари действительно жили когда-то. Но «сумма слагаемых»! Бессмысленность этих слов олицетворяла для нее бессмысленность непривычной жизни в замкнутом квадрате класса.

— Карамыш! Подойдите к доске.

Она вышла и записала задачу. Она легко могла решить ее. Но она не желала заниматься пустяками. Она прислонилась плечом к доске, устроилась поудобнее и стала смотреть в окно. На снежной дороге суетились воробьи. Они жили разумно и не придумывали никчемных слагаемых.

— Почему вы не решаете примера, Карамыш?

Надо было что-то ответить.

— Мне не нравится...— сказала она нехотя.

Брови учительницы поползли кверху.

— Что не нравится? — спросила она.

Нельзя было объяснить, что не нравится все: город, класс, урок, мальчики и девочки, брючки и букольки!

— Слагаемые не нравятся,— ответила Тина.

В классе засмеялись. Тина, не дожидаясь разрешения, отправилась на свое место. На нее смотрели, не понимая. Ей это было безразлично. Маня, ее соседка по парте, укоризненно трясла косичками с голубыми бантиками. Бантики всегда были отутюжены, а завтрак она носила завернутым в три слоя пергаментной бумаги. Завтрак съедала, а бумагу старательно складывала. Тина разделила парту пополам и строго следила за тем, чтобы Маня не вторгалась на ее территорию. Заметив Манин локоть на неположенном месте, она вынула булавку и воткнула ее в локоть. Маня закричала, в классе поднялся шум, но Тина не обратила на него внимания. Она вышла из класса и отправилась в лес, за город. Лес был плохой, но все-таки там росли деревья. Настроение у нее поднялось, и вечером она вернулась домой довольная. Отец и мать были, против обыкновения, дома. Оказалось, что их срочно вызывали в школу и весь день они хлопотали о Тине.

— Разделить парту! Всадить булавку в локоть девочке! — говорил отец страдающим голосом.— Ты плохой человек! Ты совсем плохой человек!

Тина объяснила, что она предупредила обо всем заранее, что она сама никогда не клала локоть на Манину половину, и поэтому она была права, а Маня кругом виновата. Но отец ничего не понимал. Он говорил много, громко, неразумно.

— Все девочки и все мальчики сердятся на тебя и не любят тебя! — говорил он.

— Они ничего не могут! — ответила она презрительно.

— Чего они не могут?

— Ничего. Они очень долго не понимают, что объясняет учительница, а я сразу понимаю. В столярной мастерской они делают из дерева ящики. А я могу сделать из дерева орла, коня и марала — все, что захочу.

— Ты высокомерная! — сказал отец.

Он был очень большой, и лицо у него было большое, темное, с широкими скулами. А выражение лица было как у маленького, который может заплакать от огорчения.

— Ты высокомерная! — повторил он.— Кто научил тебя ездить верхом, делать разные вещи из дерева и быстро понимать то, что говорит учительница? Тебя научили люди. Твоего деда Карамыша никто ничему не учил. Все, что он знал, он узнавал сам. Но все, что он знал, и все, что умел, он отдавал людям. Он был справедливый

человек. И этому он учил меня. А ты, моя дочь и его внучка, выросла высокомерная. Ты должна попросить прощения у девочки. Если ты умеешь делать из дерева хорошие вещи, сделай и подари девочке.

Тине надоело его слушать, и она согласилась:

— Ладно. Подарю...— Она не любила, когда много разговаривали.— А прощения просить не буду. Пускай она у меня просит. Она положила локоть на мою половину. И если еще положит, я всажу ей еще одну булавку.

— Таких девочек, как ты, надо бить!— сказал отец.

— Ну и бей, пожалуйста!

Она повернулась к отцу спиной и, задрав юбчонку, старательно выпятила назад голубые трусики. К этому способу девочки в деревне прибегали для выражения крайней степени презрения. На минуту за ее спиной воцарилась полная тишина. Отец и мать затихли от изумления. Потом ладонь отца звонко опустилась на выпяченное место. Тина, не опуская платья, подождала следующего удара. Удара не последовало. Тогда она повернула голову к отцу. Он стоял красный, растерянный, страдающий.

— Успокоился?— презрительно сказала она и опустила юбчонку.— Очень нервный.

Вскинув голову, она пошла к двери и, обернувшись, бросила с порога:

— Такой большой— такую маленькую!.. Фу!..

Она прошла в кухню и поела холодной телятины. С тех пор как отец шлепнул ее, представление о нем как о большом и умном исчезло. Она думала о нем с легким презрением. Стоило ли вообще думать о нем? И все-таки она думала.

«Он сказал, что я плохой человек. Нет, я хороший человек! Дома все говорили, что я хороший человек. Когда дедушка со Степой ушли на охоту, я понесла им еду. Я искала их полдня, я сама ничего не ела, а они не знали и съели все, что я принесла. И я осталась весь день голодная. Но я ничего не сказала им».

Она вспомнила, как шла домой голодная и до вечера ела только щавель и полевой лук. Было весело. Мысленно она заключила: «Нет, я хороший человек!»

Утвердившись в этом, она отправилась спать, но ей не спалось. Она вспомнила, что обещала отцу подарить Мане вещичку из дерева.

«Я ей подарю! Уж я ей подарю!»— подумала Тина лукаво и злорадно. Она вынула из-под кровати нож и кусок дерева, пошла в кухню, открыла окно, освещенное луной, уселась на него и принялась вырезывать голову марала.

Марал был злой и необыкновенный. Он будет плеваться на Маню. Она знала от бабки, что каждую вещь можно «заговорить» на горе и на беду человеку.

Она вырезала для Мани плюющегося марала и чуть слышно пела-заговаривала:

И пусть мой марал на тебя плюется!
И пусть тебе будет очень плохо-о!
И пусть у тебя станут костяные пальцы-ы!
И пусть на тебя падут все болезни-и!
И пусть тебе будет очень плохо-о!

Порывом сквозного ветра распахнуло двери столовой. Очевидно, раскрылись и двери спальни, потому что вдруг отчетливо прозвучал голос матери:

— Ее надо перевести в заречную школу. Там свой сад, и рядом ипподром, и есть свой кружок верховой езды. Это же лучшая из лучших школ. И там эта превосходная заведующая — Анна Васильевна.

— Почему моя дочь должна учиться в лучшей из лучших школ? — сказал отец.— В горах из нее делали принцессу, потому что она внучка старого Карамыша. Здесь будут делать принцессу, потому что она дочь молодого Карамыша. Ей предстоит жить не с лучшими из лучших, а с обыкновенными людьми! Пусть учится в обыкновенной школе.

— Нет! — перебила мать.— Знаешь, что сказала мне Анна Васильевна сегодня, когда я говорила с ней о переводе Тины? Она сказала мне: «О взрослом говорят, что у него счастливая или несчастная судьба. А у ребенка еще нет судьбы. У него есть только родители. Если мать разумная и любящая, она при всех обстоятельствах сумеет вырастить ребенка бодрым, здоровым,жизнерадостным. Значит, у ребенка счастливая судьба. Если мать неразумна и ничтожна, ребенок плох и несчастлив». Мать — это судьба ребенка! Я хочу быть счастливой судьбой своей дочери!

— И в хороших семьях бывают плохие дети! — сказал отец, и мать снова быстро и решительно возразила ему:

— Нет! Анна Васильевна сказала, и я согласилась с ней, что душа ребенка — это фотография семьи. Только не простая фотография, а рентгеновская. Понимаешь? Она всегда отражает внутреннюю сущность семьи. Если родители карьеристы, мещане, корыстные люди, они сумеют скрыть это от всех, но не от ребенка. И ребенок отразит сущность семьи. И в семьях, благополучных на первый взгляд, вырастают плохие дети.

— Ну, знаешь, я считаю, что наша семья с тобой хорошая семья.

И в третий раз мать горячо возразила отцу:

— Сейчас — да, а раньше? Когда я выходила за тебя, ты не очень-то любил меня. Я же тогда ничего не знала и не понимала твоей жизни. И все-таки я вышла за тебя. Что в этом хорошего? Но я хотела стать такой, чтобы ты полюбил меня. А годы были трудные, и ты был такой принципиальный. Ой, милый, тяжело быть хорошей женой такого принципиального человека в такие трудные годы! Я должна была и работать, и учиться, и нести всякие общественные нагрузки! Жены других начальников не работали, ездили на базар и в магазины на машинах своих мужей, но ты был принципиальным. И я до работы в пять утра бежала за семь километров в поселок на базар и в магазины.

— Но я ни разу не просил...

— Ты не просил, но я любила тебя! Я хотела, чтоб у тебя был красивый дом и вкусные кушанья. И я успевала делать все. Я добилась того, что меня единогласно приняли в партию. Я получила образование. Я сделала наш дом самым уютным. Я научилась даже шить модные платья. Я добилась того, что ты любишь меня и будешь любить все сильнее! Я сумела все... и не сумела только одного. Я не сумела быть матерью. И ты... Ты должен был бы заставить меня ехать с ней в горы. А мы бросили ее на дедушку с бабушкой. Теперь привезли сюда. Оба целые дни на работе. Она одна и одна.

Мать прошлепала по комнате и плотно закрыла дверь в спальню.

«Не спят! Переживают! — удовлетворенно подумала Тина. — Так им и надо! А я не переживаю».

Она поплотнее закрыла двери столовой и снова тоненько, тихо и весело запела:

И пусть тебе будет очень плохо-о!
И пусть у тебя станут костяные пальцы-ы!
И пусть на тебя падут все болезни-и!

— На, Маня, — коротко сказала она через несколько дней, отдавая Мане марала.

Маня неуверенно протянула руку.

— Это мне? Это ты сама сделала? — Она говорила нерешительно и вдруг улыбнулась. — Это ты мне, чтобы я не сердилась? Да? Хочешь, я подарю тебе красную тетрадку? Девочки, девочки, смотрите, какого Тина сделала мне оленя!

Она побежала показывать подарок, а Тина притихла. Если бы Маня приняла подарок с таким же безразличием, с каким он был сделан, все было бы в порядке. Но та простодушная радость, радость ото всей души, с какой

нелюбимая соседка шла на перемирие, озадачила Тину. Весь день ей было не по себе, а к вечеру она решила, что необходимо срочно взять у Мани «заговоренного», плюющегося марала и сделать для нее другого. Она узнала Манин адрес и отправилась к ней.

На краю города стоял старый каменный дом. Соседи сказали Тине, как спуститься в полуподвал и пройти коридором.

В коридоре было сыро и так темно, что приходилось идти ощупью. Где же здесь живут люди? Но за поворотом было светло и слышались голоса. Сквозь открытые двери Тина увидела часть комнаты. На низкой кровати лежал мужчина, прикрытый серым солдатским одеялом. Над кроватью на полочке лежал Тинин марал и висели знакомые голубые ленточки.

Рослая женщина вышла из-за занавески и крикнула низким голосом:

— Или я каторжная? Или я здесь цепями прикованная? Я еще молодая, мне еще жить по-людски!

Мужчина схватился за ворот своей сорочки рукой с искореженными пальцами:

— Что же ты мне не даешь уйти? Что же ты умереть мне не даешь, Нюша? Разве я держу тебя? Разве...

Маня встала за спинку кровати и быстрыми руками гладила щеки мужчины.

— Папочка, не надо! Папочка, не надо!

Но он рванулся и сел. И тут Тина увидела, что из-под серого одеяла высунулись обрубки ног.

— Я уйду, Нюша! — торопливо сказал он. — Я сейчас уйду. Я совсем уйду. Я к Василию пойду. Ты не думай... Ты живи, моя хорошая!.. Ты живи, моя хорошая, как тебе лучше!

Женщина села на кровать, обняла его и заплакала, заговорила быстро и невнятно:

— Не слушай меня! Сердце зашлось.

Мужчина говорил ласково, спокойно, почти весело:

— Нюша, может быть, уйти? Может быть, легче тебе будет? Может, найдешь себе другого, с ногами?

— Да как я тебя пущу, головушка ты моя?! — Женщина прижалась лицом к его лицу. — У других мужья с ногами, да безголовые! А я где ни хожу, все думаю, что у меня дома головушка моя разумная!

Маня стояла у кровати, улыбалась и плакала одновременно.

Тина выбежала из коридора и бегом помчалась домой. Она совала в базарную сумку все, что у нее было дорогого: любимые гальки, кусок маральего рога, две сросшиеся кедровые шишки, ожерелье из монет —

подарок бабушки. С этой сумкой она вернулась к Манину дому. Женщины не было в комнате. Маня и отец, увидев Тину на пороге, растерялись и испугались. Маня стояла посреди комнаты. Волнение и стыд, нежность и боль за отца и боязнь того, что подумает о нем Тина,— все отражалось на ее лице.

— Позвольте мне посидеть у вас, пожалуйста!— быстро-быстро, боясь остановиться, заговорила Тина.— Мама с папой все время на работе. Я одна да одна! Можно мне поговорить с вами? Я возьму этого марала, я сделаю вам другого, веселого, гораздо лучше!

Лица Мани и ее отца постепенно разглаживались, расправлялись.

Через минуту Тина сидела на кровати, раскладывала свои богатства и говорила во весь дух, говорила так, словно торопилась наговориться на десять лет вперед.

Домой она вернулась поздно. Мать была в командировке, а отец на работе. Тина заснула, едва коснувшись подушки, но средь ночи проснулась.

Подвальная комнатка, добрый и веселый безногий человек, Маня, радостная, тревожная, застенчивая и доверчивая,—все заново встало в памяти. Она презирала Маню за слишком аккуратные ленточки, но у Мани их было только две, а у Тины комок лент валялся в ящике комода. Она смеялась над завтраками, завернутыми в три слоя бумаги, но их завертывал Манин отец своими обгоревшими руками. Он потерял ноги и все-таки остался веселым и добрым, а Тина желала ему, чтобы у него «стали костяные пальцы», «чтобы на него напали все болезни».

Не в силах вспоминать об этом, она заплакала в подушку.

— Дочка, ты о чем? Дочка?

Отец в одном белье стоял над ее кроватью.

— Ты чего, маленькая? Ну, чего ты?—тревожно спрашивал он.—Ну, мы не будем больше ссориться! Ну, не будем! Ах ты, ветки зеленые! Ах ты! И мать уехала! Ну, дочка, ну, будем с тобой дружиться!

Он думал, что она плачет из-за него. Какой глупый все-таки человек! Станет она плакать из-за пары шлепков! Там, в подвальной комнате, лежит человек без обеих ног, и она хотела бы отдать ему свои ноги. Она плакала о нем и Мане. И, вспомнив, как она желала им зла, плакала еще горше.

Отец окончательно растерялся. Он мог командовать тысячами людей, понимал их, плохих и хороших, молодых и старых. Но вот здесь, на постели, рыдало непонятное существо с отцовскими широкими скулами и темными

волосами, со светлыми русскими глазами матери, похожее на них обоих и не похожее ни на кого из них. Он считал, что она забалована, черства и ничего не чувствует, и два дня она действительно ходила бесчувственной, с холодными, как у взрослой, глазами, а вот теперь ночью рыдает так горько, так по-детски, что сердце переворачивается. Ведь она была хорошей девочкой в горах. Когда он приезжал, он видел, что ее любили и взрослые и дети. И все его подарки она тут же раздавала кому попало. А он побил ее. «Такой большой — такую маленькую!» — как она это сказала! Разве можно ударить такое создание? Такое... Ах, ветки зеленые!..

Отец сел на корточки возле кровати.

— Дочка! Ну, я больше не буду! Дочка! Ведь ты сама напросилась! Ну, давай по-честному! Я, честное слово, не собирался! Да ведь ты что выделываешь? И не хочешь, да шлепнешь! Ну, давай забудем! Ну, маленькая! Ну, скажи мне, чего ты хочешь?

Отец был не очень умный, но добрый человек. Он не понимал, отчего она плачет, и воображал, что она станет плакать от шлепков. Но он был готов на все. Она от души простила его, но тут же учла все выгоды своего положения.

— Я хочу к тебе!

В спальне стояла большая и широкая постель с шелковым одеялом.

Он взял ее на руки и понес к себе. Она уютно устроилась и заявила:

— Я хочу к левому плечику.

Он послушно повернулся к ней левым плечом. Но ей не спалось.

— Я хочу к спинке! — сказала она.

Он послушно повернулся спиной и жарко задышал, засыпая. Но она уже выспалась и лежала, размышляя:

«Хорошо все-таки, когда у тебя отец такой большой начальник и все его боятся, а ты можешь лежать и вертеть его в постели, как тебе вздумается!»

— Я опять захотела к плечику,— потребовала она.

— Дочка, ты, кажется, опять захотела шлепки! — сказал он сонным голосом, но все же подставил ей плечо.

Выгоды своего положения она еще не использовала полностью.

— Пап! — сказала она и потянула его за ухо. Он сонно замычал в ответ. Тогда она взяла его ухо в рот, пожевала его и тихонько засмеялась.— Пап, у тебя уши как вареники! Пап! Проснись на минутку! Пап, я хочу в заречную школу! Мы с Маней хотим в заречную школу. Там кружок верховой езды и свои деревья. Пап!

— Не будет тебе никакой заречной школы! Спи!

Она подождала немного и всхлипнула. Потом всхлипнула еще раз и заговорила уже сквозь горькие слезы:

— Сперва бросили на бабушку и на дедушку! Потом взяли оттуда! Целый день нет никого дома! Я одна да одна!

Через неделю Тину и Маню перевели в заречную школу.

Тина вступила в пионерский отряд и записалась в три кружка. Ей все давалось легко. Папа и мама гордились ее многочисленными успехами, и ей везло во всем и всегда, кроме одного-единственного случая.

В драматическом кружке роли распределялись голосованием, и Тину выбрали играть Снегурочку в сцене из пьесы Островского, потому что она была «снегуристая», а глаза у нее как «две ледышки». Маню выбрали на роль Весны. Тина легко запомнила роль, добросовестно, но без волнения ходила на репетиции. Она не волновалась, когда в день спектакля ее, загримированную и одетую в серебро, вывели на сцену. Но когда раздвинулся занавес и осветители залили сцену голубым светом, а за кулисами заиграла виолончель, все в мире перевернулось внезапно и непостижимо. Самое чудесное произошло, когда появилась Весна. Это была и Маня, и совсем не Маня. Как из маленькой сутулой девочки получилась высокая девушка? Как из Маниного белобрысенького, безбрового лица получилось это лицо, большеглазое и удивительное? Когда Маня заговорила певучим и грудным голосом и подняла руки, как крылья, Тина забыла о сцене, о зрителях, о самой себе, обо всем, кроме Мани. Тина сама не умела делать ничего подобного, но она была всей душой благодарна тем, кто это умел. Маня давно кончила и ушла со сцены, а Тина все еще слышала ее голос, все еще видела ее лицо. Она, забывшись, хлопала вместе со зрителями, а когда аплодисменты стихли, никак не могла понять, почему отовсюду несутся два шипящих слова: «Все говорят...»

— «Все говорят...» — надрываясь, шипел суфлер.

— «Все говорят...» — неслось откуда-то из-за кулис.

— «Все говорят, что есть любовь...» — сипел игравший старика восьмиклассник Володя прямо в лицо Тине.

Маня, высунувшись из боковых кулис, с расширенными от ужаса, страшными глазами шептала быстро:

— Тина! Снегурочка! Милая! Дорогая! «Все говорят...» Боже мой, Тина! «Все говорят, что есть любовь!..»

За боковыми дверями Анна Васильевна, схватившись за голову, говорила:

— Вот ужас! Да что же это такое? Тина! «Все

говорят...» Может быть, дать занавес? Да что же это с ней? Тина! Снегурочка! «Все говорят, что есть любовь на свете. Все говорят, что есть любовь!»

Тина видела переполох, но она забыла о себе самой, о том, что она Снегурочка, и не подозревала, что все это относится к ней. Она не могла очнуться до тех пор, пока Володя не ущипнул ее за ногу и не сказал почти вслух свирепым голосом:

— «Все говорят, что есть любовь...» Слышишь, ты, чурка несчастная?! «Все говорят, что есть любовь...»

Тогда она наконец сообразила, в чем дело, припомнила роль и ровным, безразличным голосом произнесла положенное:

Все говорят, что есть любовь на свете.
А я любви не знаю...

После спектакля все поздравляли Маню, Володю, но никто не поздравил главную героиню — Тину. Только преданный ей соклассник Вася сказал ей:

— Знаешь, я думаю, что ты была самая снегуристая из всех Снегурочек. Ты говорила совершенно без всякого выражения! Но ведь Снегурочке так и полагается...

Она не стала опровергать такой выгодной точки зрения, хотя понимала, что провалила роль. Она не была особенно огорчена этой неудачей. В этот вечер она открыла, что люди самые обыкновенные, такие, как Маня, могут делать то удивительное и красивое, что Тина сделать не в силах.

Тина полюбила и школу и город, но больше всего она полюбила свой дом.

Дома было весело и беспокойно оттого, что отец или мать все время куда-нибудь уезжали и откуда-то приезжали.

В редкие периоды семейной оседлости они не успевали наговориться и оставляли друг другу письма на столе под пресс-папье. На диванах в столовой и кабинете всегда ночевали приезжие люди, которых то встречали, то провожали. Железнодорожное расписание висело в прихожей под телефоном и было исчеркано карандашами различных цветов.

— Чистый вокзал, а не квартира! — ворчала Василиса Власьевна. Грузная и грозная, с черными волосами и большой бородавкой на подбородке, она держала папу и маму в строгости, не давала в будние дни носить нарядных костюмов, стелить на стол шелковую скатерть и ставить синий с золотом, праздничный сервиз.

В тех случаях, когда к обеду и к ужину вся семья неожиданно оказывалась в сборе, Тина просила:

— Ну, мам! Ну, пап! Ну, сделаем Первое мая! Ну, пожалуйста! Ну, мне очень хочется!

— И нам с папой очень хочется,—сознавалась мама.— Но как быть с Василисой Власьевной?

Она переглядывалась с папой, папа прокашливался и решительно произносил преувеличенно деловитым басом:

— Василиса Власьевна! У меня как будто вышли все папиросы! Будьте такая добрая!

Пока домоправительница ходила за папиросами, вся семья и неизбежные гости торопливо, со смехом и суетой накрывали стол шелковой скатертью и ставили синий сервиз. Тина выбегала встречать грозу дома в прихожую с криком:

— А у нас Первое мая!

— Разоряйте, разоряйте свое гнездо, кукушки!— ворчала Василиса Власьевна, раздеваясь.— Вот махну на вас рукой, да и уйду к настоящим хозяевам! Давно бы ушла, да ведь пропадете вы без меня, как щенята в ярмарку.

Окруженная любовью, любящая все окружающее, Тина жила взахлеб. По утрам она просыпалась с ощущением нетерпеливой радости: каждый день сулил столько хорошего, что хотелось лететь ему навстречу.

В начале войны Тине было двенадцать лет. Умом она понимала, что где-то происходит страшное, но смерть и ненависть были так чужды тому миру, в котором она жила, что, все понимая, она ничего не могла представить реально.

Когда она провожала папу с мамой на фронт, на вокзале пели песни, папа и мама смеялись и шутили с Тиной. Тина понимала, что милый мир, который окружал ее, надо было защищать от врагов, но война все еще казалась ей нереальной. Мама, в белом новом полушубочке и в стеганых штанах, коротко остриженная, маленькая, была похожа на мальчика.

— Лейтенант Карамыш!—командовал ей папа.— Запахнуть полушубок! Выполняйте мое распоряжение!

И мама смеялась в ответ:

— Есть запахнуть полушубок, товарищ командир!

Но в самую последнюю минуту, когда загудел паровоз, все изменилось. Мама задрожала, ткнулась лицом в широкую грудь Василисы Власьевны, и когда подняла лицо, оно было мокрое и искривленное, а губы с трудом выталкивали слова:

— Василиса Власьевна! Дочку!.. Доченьку!.. Все, все!.. На всю жизнь!.. Девочку!

Василиса Власьевна тоже заколыхалась и, огромная, неловко навалилась сверху всей тяжестью на маленькую мамину голову.

— Как свою, как малую кровинушку!.. Бог... бог увидит!..

Отец поднял Тину на руки, ткнулся твердыми губами в ее щеки, застыл так и долго, молча не выпускал. А когда он опустил ее, на перроне было уже пусто, в вагонах играли баяны и по всему эшелону нестройно, но сильно гремела песня:

Уходили комсомольцы
На гражданскую войну...

Тина видела огромную спину отца и маленькую, поникшую, спотыкающуюся о шпалы маму, которую отец поддерживал под руку.

Они впрыгнули в вагон уже на ходу, оба остановились на ступеньке, и Тина в последний раз увидела их лица и вытянутые, неестественно повернутые к ней шеи. Она заплакала, но и тут еще не постигла всей реальности войны.

Она вернулась в пустой и тихий дом, прошла в спальню родителей, остановилась у большой кровати с белыми взбитыми подушками и вдруг поняла, что никто не ляжет на эти холодные, как сугробы, подушки ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Пройдет очень много, неизвестно сколько дней, а здесь все будет так же холодно, так же пустынно. Только тут она поняла, что война пришла в дом. И дом перестал быть домом. Домом представлялась ей вагонная лесенка, на которой, прижавшись друг к другу, стояли они двое с неестественно повернутыми и вытянутыми шеями. А то, что раньше было домом, стало местом ожидания. У Василисы Власьевны начали отекать ноги, и Тина многие хозяйские дела взяла на себя. Каждый месяц Тина застилала свежим бельем нетронутую большую кровать. Каждый вечер она засыпала с упрямой надеждой, что папа и мама вдруг очутятся дома. Она не простила бы себе, если бы они застали несвежие наволочки или пыль на этажерке. Папа с мамой не приезжали, но писали ей веселые письма.

«Дочуренок!—писал ей отец.—А наша мама нас с тобой обогнала. Наша мама ходила в разведку и раздобыла очень важные сведения, и ей объявили в приказе благодарность. Вот какая у нас с тобой мама, дочуренок! Я уверен, что ты очень хорошо учишься, и что тебя все любят, потому что у таких мам, как наша, не бывает плохих дочек».

Она изо всех сил старалась быть хорошей, и ее действительно все любили.

В Тинину квартиру вселили демобилизованного офицера. Он был очень вежливый, обращался с Тиной, как со взрослой.

— Вы разрешите мне работать за столом в кабинете? Я не буду ничего трогать в комнате...

Так же, как и папа, он целыми днями не бывал дома, а ночами долго работал.

Тина читала ему письма родителей, он слушал внимательно и говорил кратко, суховато, но очень серьезно, как со взрослой:

— Ваши родители — великолепные люди. Подлинный золотой фонд.

И Тине было приятно слышать эти слова, хотя она не вполне понимала, что такое «золотой фонд».

Тина посылала посылки, письма и ждала и жила непоколебимой уверенностью в том, что мать и отец могут появиться на пороге каждую минуту.

Но они не приезжали. Перестали приходить письма. Однажды, когда она пришла из школы, ей сказали, что Василиса Власьевна заболела и ее нельзя тревожить.

Все было странно в этот день. Приходили знакомые, переговаривались, ласкали ее и уходили. Непонятный шум то и дело слышался на лестнице. Она вышла. Ее школьные подруги гурьбой стояли на лестничной площадке и спорили о чем-то. Увидев ее, они дружно заплакали...

Она ворвалась в кухню. Василиса Власьевна лежала растерзанная, опухшая, заплаканная. Тина бросилась к ней.

— Мама?! Папа?! Что?! Где?! Говорите! Говорите же! Мама?! Папа?!

— Оба!! Милушка моя! Оба! — зарыдав, крикнула Василиса Власьевна.— Как жили, голуби, душеньки, неразлучные, так неразлучно и померли!

Ей назначили пенсию за отца и мать. Ее прикрепили к хорошему военному магазину и к хорошей столовой.

Внешне все в ее жизни осталось по-прежнему, хотя она знала, что теперь она не просто девочка, а сирота. Через год к ней зашел молодой военный и сказал, что он папин шофер и был с папой и мамой, когда их машина нарвалась на фашистскую засаду.

— И село веселое было... Вишенки называлось...

Он кратко рассказал об их гибели, а потом вынул из кармана по-особенному отчетливую и блестящую фотографию, бережно завернутую в бумагу, и подал ее Тине.

Фотография изображала добродушного мужчину, который сидел на диване и держал на коленях двух хорошень-

ких девочек, одетых в одинаковые нарядные платья. Смеющаяся женщина сидела на ручке дивана и обнимала шею мужчины, а маленький щенок с веселой мордой и раздвоенным хвостом стоял на задних лапках, упираясь передними в колени мужчине.

Тина сообразила, что два хвоста у щенка получились оттого, что он слишком быстро махал им.

— Этот,— сказал шофер Костя, усмехнулся кривой улыбкой и ткнул пальцем в мужчину.— Отто Либерзак.

Незнакомое имя вылетело, как ругань, из искривленных усмешкой губ.

— Что «этот»? — не поняла Тина.

— Ну... он... застрелил и его и ее... а меня, как я кинулся на подмогу, подранил. Врукопашную схватились. Я его за шинель ухватил... Он шинель скинул и ушел. Однако я его еще достигну! Я ему еще этот документ предъявлю!..

Он снова засмеялся, нехорошо ощерив белые зубы, аккуратно завернул фотографию и спрятал ее в карман.

— А это... чьи... там... девочки? — прерывистым голосом спросила Тина, хотя на фотографии все было яснее ясного.

— Его отродье, Отто-Либерзаково,— отчетливо сказал шофер.

Тина плакала без слез и без звуков, одним дыханием. Мир был непонятен. Этот веселый мужчина, у которого были две девочки и щенок, мужчина, ласковый даже к маленькой собаке с двойным хвостом, почему-то пришел в деревню Вишенки и убил их: маму — маленькую, всегда ласковую, веселую, и папу — доброго, большого, кудрявого...

Шофер уехал, а Тина легла в постель и лежала, как больная, не раздеваясь и не зажигая огня.

«Убей его!» — такие плакаты не раз видела она на стенах. Они звали убить неопределенного фашиста, гадкого, но нереального.

Не со злобой, но с жаждой справедливого возмездия думала теперь Тина о том, чтобы убить не немца вообще, но немца Отто Либерзака, и его девочек, и его жену, и всех их, кроме маленькой собачонки с раздвоенным смешным хвостом. Убить лицом к лицу, штыком в самое сердце...

То особое чувство сиротства, которое охватило ее после смерти родителей, не проходило, а разрасталось. Оно пронизывало каждый час Тининой жизни. Оно становилось судьбой.

Сирота... Что это? Слово, такое же, как тысячи других слов, как — «дерево», «дом», «девочка»? Нет, это имя неотступной беды, имя судьбы, надломленной у корня.

Тине было легче лишь рядом с Власьевной. У старухи отнялась правая рука, одною левой она прибивала Тинины похвальные грамоты над своей кроватью, под пыльными иконами. Но вскоре не стало и Власьевны.

Иногда Тинины подруги, торопясь домой, твердили: «Дома ждут. Дома заругают». Тине представлялось счастьем, что кто-то может бранить за опоздание. Ее никто не ждал и никто не бранил.

В семьях подруг Тину встречали ласково. Но как ни привечали ее чужие мамы и папы, она знала — захлопнется дверь, и они останутся все вместе и в тихом уюте своих гнезд забудут о ней, а она уйдет в пустоту и будет одна.

Она открывала входную дверь и останавливалась на пороге темной прихожей. Иногда у нее не хватало сил переступить этот порог. В поздние часы, когда нельзя уже было снова пойти к подругам, она шла на улицу. Она полюбила смотреть в чужие окна. Вот в щель меж занавесями видно, как мальчик моет шею, а рядом стоит женщина с полотенцем — мама. А вот мужчина, лежа на диване, читает газету, маленькая девочка, озорничая, тянет за край газеты, а женщина у стола перетирает чашки и ласково-лукаво поглядывает на них обоих. Захватывающим дух счастьем веяло на Тину от этих картин. Желанен и недоступен был мягкий свет чужих абажуров за дымкой занавесей.

Возвращаясь домой, Тина остановилась, чтобы купить ландышей у женщины, торговавшей на углу. Цветы рассыпались. Собирая и связывая букеты, она присела на скамью и услышала разговор соседок, отдыхавших рядом в тени деревьев:

— Лампочку на лестнице вывернули, всю проводку сорвали. Пороть бы таких сорванцов по энтому месту, как в старину пороли!

— Тебе бы одно — «пороть», — с грустной усмешкой возразил другой голос. — Безотцовщина ж озорует! Война же... Порушенный дом, либо шрам у человека снаружи — это мы видим... А то, что война снутри наделала, — это нам не видно. Вдовьи сыны... Разве они знают, что такое семейная жизнь, при отце, при матери? Ты взгляни хоть на нашу, из восьмой квартиры, полковника Карамыша сироту. Ходит чистенько, платьице на ней наутюжено, в школе ей не нахвалятся. Каждой бы матери на радость. А

глаза у нее как у Феди-контуженного... Разве девчонки так смотрят?

Федя-контуженный был ослепший от контузии муж Тининой соседки. Тина никак не думала, что ее лицо может чем-то напоминать лицо этого пожилого, седого человека, с большими, чистыми, странно неподвижными глазами.

Придя домой, она посмотрелась в зеркало. Глаза были красивые — светлые, с длинными темными ресницами. Только чуть светлее, чуть неподвижнее, чуть шире открыты, чем у других девочек... И вдруг она сама в зеркале уловила это странное сходство со взглядом контуженного.

Она была одна в пустой квартире. В такие часы у вещей появлялось «выражение лиц», и каждая начинала говорить своим голосом. «Дер-жись... Дер-жись...» — скрипели-выговаривали дверцы шкафа. В ванной протекал кран. Капли падали звонко и своим отчетливым «кап-кап» ободряли: «Мы тут. Мы тут...» Тина не давала чинить кран — слишком тихо стало бы без этого говора. Может быть, уйти в детский дом? Там я не буду одна. Там много таких, как я... И нет этого «кап-кап»... Но здесь все еще дышит домом. Папино большое кресло в кабинете. Мамины платья в шифоньере. Здесь был хоть запах довоенной, досиротской жизни, такой простой и свежей, как ландыши в стакане.

Вот в этой кровати Тина однажды лежала, прижавшись к теплому отцовскому боку, и командовала, и вертела отца в постели, как ей вздумается, и, шаля, кусала его мягкое, словно вареник, ухо. В платяном шкафу спрятан синий сервиз. Тина требовала: «Мама, папа, я хочу Первое мая!» И первомайский весенний праздник наступал по ее требованию в любое время года. Как весело было в эти неурочные праздничные застолья! Неужели сама Тина была той беспечной, своевольной, веселой девочкой?

Комнаты все разрастались в тишине. Тина чувствовала себя невесомой, лишенной земной защиты и устойчивости, лишенной чего-то необходимого, как земное притяжение.

Для того чтобы существовал звук, нужно, чтоб звуковые волны коснулись человеческого уха. Если этого не будет, то останутся звуковые волны, но исчезнет звук. Для того чтобы существовал цвет, световые колебания должны отразиться в живых человеческих глазах, иначе исчезнет цвет и останется лишь безрадостное колебание эфира. Для того чтобы человек стал человеком, он должен весь, до каждого своего волоска, до каждой родинки, отразиться и запечатлеться в чьем-то сердце. Он

должен любить и быть любимым. Если этого нет, человек утрачивает лучшее в себе.

Тина инстинктивно чувствовала эту утрату. Да, она была не похожа на прежнюю, довоенную себя, не похожа на своих подруг.

Из полумрака зеркала смотрело чужое, печальное и далекое лицо. «Не девочка... Сирота... Сирота с контуженными глазами... Кто и как это сделал? Зачем? За что?!»

Все существо ее, сформированное миром справедливости, не принимало чудовищного беззакония войны. Она снова вспоминала карточку Отто Либерзака и добродушные лица его веселой семьи. «За что?..»

«Кап... кап... кап...» — Капли шлепались в ванной необыкновенно звучно, гремели на всю необъятную пустоту квартиры. — «Война... Война... Война...»

Наступила весна 1944 года. Оттого ли, что в воздухе пахло победой, оттого ли, что дни стояли на диво голубые и солнечные, оттого ли, что сама Тина менялась не по дням, а по часам, все в эту весну казалось ей особенным, не таким, как в прошлые весны.

Однажды она лежала под тополем на крыше сторожки школьного сада. Шершавое железо крыши нагрелось, и Тине хорошо было лежать на нем, в тени ветвей, раскинув руки и глядя в далекую голубизну неба.

Маня торопливо вскарабкалась к ней по лестнице. И Маня в эту весну была особенная. Всегда невидная, белобрысенькая, сейчас она так сияла, словно солнце освещало ее изнутри, играло в каждом волоске пушистых кос, в каждой клеточке прозрачной кожи. Она засмеялась, с разбегу ткнулась в Тинино плечо, потом оторвалась и заговорила:

— Почему ты в тени? Я хочу на солнышко! Ах, Тинка, милая, как все, все нынче удивительно! И наши победы, и весна такая, и вот эти тополевые почки тоже! Вчера вечером девочки пели на террасе, а я думала, что все это в самый-самый первый раз в мире! А Клавдия Андреевна пришла и говорит: «Ах вы мои певуньи!» И я подумала, что ведь это тоже в самый в первый раз! Ты понимаешь?

Тина с жадностью слушала подругу, но сама она не переживала ничего похожего. Она сама не могла сказать таких слов, она могла только понять их от всей души.

Маня рассказала о мальчике Вене из соседней школы. Тина не видела ничего интересного в длинноногом, тонкошеем Вене, но когда Маня говорила о нем, Веня тоже становился таким, какой появляется первый раз в жизни.

— Ты посмотри, какие облака... Как будто это земля дышит... так легко, легко! Нет, ты не понимаешь! — говорила Маня. — Ты знаешь, Тина, вот я сижу и чувствую, что сегодня, именно сегодня, должно случиться что-то совсем необыкновенное! Вот выйду на улицу, пойду заверну куда-нибудь — и вдруг где-то прямо за углом... чудо! Вот ты не веришь, а я знаю!

— Нет, я верю... я тоже верю, — говорила Тина.

— Что-то должно сегодня произойти. Ах, боже мой, как все удивительно!

И, забрав свои учебники, Маня слезла с крыши и пошла навстречу своему чуду, сама вся чудесная, непохожая на прежнюю Маню.

Тина смотрела вслед, взволнованная. Что прошло рядом? В ней не было той солнечной легкости, что в Мане. Даже ее обнаженные руки, смуглые, зеленоватые в тени деревьев, совсем не походили на золотисто-розовые руки Мани.

Вечером, когда Тина спала, кто-то стукнул в окно. Тина распахнула раму. Бледное в лунном свете, лицо Мани дрожало в пушистой рамке волос.

— Тина, ведь оно же случилось, случилось... то чудо!

— Что? Что? Что? — спрашивала Тина, обнимая Маню и чувствуя, как трепет подруги передается ей.

— Ты только подумай! Ну кто бы поверил? Я все думала, что будет чудо, будет чудо... и все ходила, все ходила одна по улицам... И вот!.. Нет, Тина! Ты только послушай! Именно там! Там, где я думала! На Конюшенной, где Венина школа... Я завернула за угол — и вдруг!.. Он! Веня! Сам! Ты только подумай! Так и стоит прямо напротив меня. И потом мы пошли сами не знаем куда. И он говорит, что он тоже знал, что сегодня случится необыкновенное. А потом я пришла домой, и я не могла уснуть, я опять оделась и побежала к тебе!

Тина понимала, что случилось чудо, ради которого необходимо немедленно, ночью, бежать к подруге, и лезть к ней в окошко, и говорить счастливым, задыхающимся шепотом. Тине захотелось тоже рассказать что-нибудь такое же.

— Ты знаешь, а я тоже встретила...

— Кого? — отозвалась Маня.

Тина подумала, кого бы назвать из многих мальчиков, встреченных ею сегодня возле школы.

— Я встретила Васю...

Она хотела говорить дальше, но ей совсем нечего было сказать. Она умолкла. Ее уделом было слушать.

Тина была красива. Она знала, что некоторые девочки

считают ее дурнушкой, но мальчики, когда она проходит мимо, умолкают и смотрят ей вслед странными глазами.

Озорные и грубоватые сокласссники ни с того ни с сего становились с нею тихими и покорными, словно какая-то сила появилась в ней и действовала сама по себе.

Мальчики все чаще говорили ей странные слова, подобные тем, которые умела говорить Маня. Тина слушала с интересом и даже признательностью, как слушают артистов на концерте. Но слова эти, так же как слова песен, она не принимала всерьез, хотя и привыкла к ним. И слова эти, и выражение покорности в мальчишечьих глазах уже сделались нормой ее жизни, не очень важным, но привычным для нее обстоятельством. Слушая их, она иногда вспоминала освещенную солнцем Маню и себя в тени тополя. Тень лежала на ней. Она казалась себе много старше своих сверстников и соклассников.

Прошел еще год. В один из дней победоносного апреля 1945 года ее вызвали в военкомат. Ее провели прямо к полковнику, и люди, мимо которых она шла, растроганно и странно улыбались ей. Ей показалось даже, что некоторые вставали и тихо шли вслед за ней по длинной анфиладе комнат к кабинету полковника. Она не могла понять, в чем дело, но в неясном предчувствии необычайной радости шла, не чуя ног и стиснув губы.

Увидев ее огромные, казавшиеся слепо-белыми на темном лице глаза, полковник поспешил сказать:

— Не бойтесь. Мы позвали вас, чтобы сказать вам счастливую, очень счастливую весть. Мы получили письмо. Сядьте, пожалуйста... Вот письмо.

Она узнала почерк отца.

Железный организм его взял свое. Он был спасен колхозниками, стал партизаном, вновь был ранен и попал в плен. Его отвезли в лагеря Бельгии. Он бежал оттуда и сражался вместе с бельгийскими партизанами.

Наступил срок его приезда. Весь ее класс помог ей убрать и приготовить квартиру. К ночи она попросила всех уйти. До утра горели все люстры и лампы в квартире, и всю ночь она не спала. Она ходила по парадным комнатам и то бросалась наново протирать только что протертые дверные стекла, то снимала и переутюживала чуть примявшиеся за день занавески, то чистила наждаком кастрюли в кухне — ей все не хватало блеска.

«У меня есть папа! Папа завтра приезжает домой,— десятки раз повторяла она себе эту фразу.— Папа приезжает домой завтра в полдень. Папа приезжает домой...»

Руки у нее вспухли от кислот, щелочей и стирального порошка. Волосы прилипали к потной шее. На рассвете она погасила огни в комнатах и пошла в ванную. Она хотела быть свежей, сильной, красивой. Отец расстался с беспомощной девочкой. Он встретится сегодня с девушкой, которая будет ему опорой.

Она вымылась и вышла в сумрачный коридор. Из приоткрытой двери столовой падал красный, невиданный отсвет. Она быстро подошла к двери и распахнула ее. Из-за реки прямо в окна столовой вкатывалось красное восходящее солнце и бил его алый, пожарный свет. Он отражался в начищенной до блеска политуре вещей, играл в навощенном паркете, в глади стекол. Само солнце плавилось в каждой грани. Столовая горела, как фонарь.

Тине никогда не приходилось вставать в такой ранний час, когда дрема еще гнездится в тихой и сумрачной квартире и только здесь, в столовой, этот свет, еще дикий, еще красноватый, с оттенком пожаров и крови, но уже ослепительный и радостный свет молодого дня.

В эту минуту позвонил телефон, и она услышала голос своего детства:

— Тина? Это я, Тина. Мне удалось попасть на ранний самолет. Я уже здесь, на аэродроме. Скажи мне что-нибудь, Тина...

— Папа? Я ждала тебя в полдень.

— Я приеду раньше. Я буду с тобой через полчаса.

Голос был тот же. Этим голосом с ней сейчас говорили алтайские вершины, белые и легкие, словно паруса, приготовленные к отплытию, говорила роса на траве, у босых ног, озябших от студеных, горных утренников, говорило то раннее детство, когда, как сейчас, ждала она отца из дальних и долгих странствий.

Она быстро накрыла на стол, вскипятила чай, надела лучшее платье и посмотрела на себя в зеркало — совсем взрослая девушка, сильная девушка, с бледным и смуглым лицом. В очертании чуть расширенных скул что-то отцовское. Она притронулась к ним, погладила их пальцами.

Она вышла на угловой балкон. Солнце выкатилось, но еще не оторвалось от горизонта. Город под ясным утренним небом был безлюден, тих и чист. Пустынные улицы распахнулись навстречу простору. Деревья в зеленой дымке нераскрывшихся почек стояли, замерев в ожидании.

Солнечный свет не падал привычно с высоты, а, вырываясь из-за горизонта, устремлялся снизу вверх, зажигал облака; в упор, ровно и сильно, снизу доверху, освещал отвесные стены домов и покатые крыши с

тэобразными, тающими в сиянии антеннами. От этого весь мир казался поднятым, окрыленным, летящим. Меж облаками и антеннами шли три реактивных самолета, серебряные, со скошенными крыльями, и казалось, многоэтажные и розовые от солнца дома, с длинными, отброшенными далеко назад тенями так же, как высокие реактивные машины, жили в полете.

И впервые в жизни Тина всей кожей почувствовала чудесный полет земли. Земля ощутимо неслась навстречу солнцу. Тина стояла у окна и слушала биение своего счастливого сердца.

Летящее утро... Приезд отца... Близость победы... Все сплелось, все наполняло ее такой легкостью, что встань на край окна, чуть оттолкнись — и без всяких усилий полетишь высоко над утренней землей.

Кто-то постучал в дверь. Он! Значит, он почему-то подъехал со двора, и она не увидела машины. За дверью молодой, сильный голос, голос гор и росы, голос раннего детства, позвал ее:

— Тина...

Она распахнула дверь. Кто-то стоит. Но где же отец? В первый миг она заглянула за спину стоявшего: где же отец? Но тут же она узнала его. Старик, худой, сгорбленный, с седыми, упавшими на лоб прядями, с резкими морщинами, с крупными складками на изможденном лице, с испуганным взглядом красных и слезящихся глаз.

И он тоже не узнал ее. Она была неожиданной до испуга. Вместо розово-смуглой, живой, как огонь, своенравной девочки бледное, каменно-строгое лицо взрослой и замкнутой девушки.

Ни для кого из них война не прошла бесследно. Резец войны прошелся по обоим лицам: он придал несвойственную юности жестковатость и скованность лицу дочери; он выпятил бугристый лоб над иссеченным, крупноскладчатым лицом отца и сделал голову его странно похожей на голову больного, старого льва. Глаза его были воспалены и все слезились, как будто он, не отрываясь, смотрел на огонь.

Они поспешили горячо обняться и долго не разжимали рук, спасаясь в этих объятиях друг от друга, от невольной горечи первого взгляда, от собственной растерянности.

«Старик...— думала Тина.— Но все равно он мой родной, он мой отец. Это он! Сильная девушка должна быть еще сильнее!»

Наконец они разомкнули руки.

Медленно ступая, он пошел по комнатам.

— Все как было...

Тина шла за ним. Обоим им было неловко. Слишком долго они мечтали друг о друге, слишком горячо жаждали встретить того, с кем расстались, слишком глубоко вросли в них образы, которые они вынашивали столько лет! Отчаянно веселая, своенравная девочка и сильный, мудрый отец — такими жили они в памяти друг друга.

«И только четыре года жизни!» — думал каждый из них, глядя на другого и забывая, что это были не четыре года жизни, но четыре года борьбы за жизнь народа, четыре года войны.

Он тяжело шел по комнатам, останавливался, прикасался к вещам, и старческие, не стыдящиеся себя слезы катились по иссеченным годами щекам. И чтоб не видеть этого, Тина возилась в кухне и у стола, принесла кипящий чайник, вздрагивающими пальцами резала хлеб.

И вдруг она поймала на себе почти прежний, чуть улыбающийся взгляд отца. Правда, улыбка была другая — печаль сквозила в ней и придавала ей новое, все понимающее, и мудрое, и старческое, выражение. Тине захотелось подбежать, прильнуть, утешить отца и утешиться самой. Но с годами она привыкла глубоко в себе таить и печаль и любовь. Молчаливая сдержанность, накрепко выкованная войной и сиротством, стала ее второй натурой. Она сказала:

— Может быть, ты помоешься с дороги, папа?

Голос был чужой, сдавленный.

— Я потом умоюсь,— ответил он спокойно, по-молодому полнозвучно.

Он опустился на стул перед большим портретом матери, украшенным бутоньерками с подснежниками.

Он долго молчал, все больше сутулясь, и слезы катились чаще. Потом он вытер их большой ладонью и протянул руку к дочери.

Тина подошла. В горле у нее бился клубок. Она стояла рядом с отцом, скованная своей привычной сдержанностью. Отец смотрел на нее спокойно, в глазах под воспаленными веками мелькнула та же понимающая улыбка.

— Ну, расскажи мне, как ты жила, девочка.

И, не дожидаясь ответа, он одним движением притянул ее сильными, как корни, руками и, как маленькую, легко посадил к себе на колени.

— Как ты жила, дочка?

Он прижал ее голову к себе и железной, царапающей ладонью накрыл ее лицо, провел по нему, словно сдирая многолетнюю маску.

И, прорвавшись, хлынуло все накопленное. Прижимаясь к отцу и по-детски захлебываясь, Тина плакала. С

детства не выплаканное и никому не рассказанное хлынуло в железную ладонь. И в эту минуту они стали друг для друга тем, кого ждали, тем, кем были когда-то, тем, кем оставались сейчас,— беспомощной девочкой и мудрым отцом. Он не утешал. Он только покачивал ее на коленях и все сильнее прижимал к себе. И когда иссякли Тинины слезы, им стало легко вместе. Поплакав, как в детстве, Тина смогла и улыбнуться, как в детстве.

— А брови у тебя не поседели! И все так же торчит бровинка посредине! Наш чай остыл. А пироги я подогреваю в духовке. Я же сама испекла вечером.

Прошли первые дни возвращения. Отгрохотала ликующая победа. А будней все еще не наступало — все еще длился непрерывный праздник в Тининой жизни.

Отец не начинал работать, но каждый день ходил в райком или в горком, выполнял поручения, ездил в командировки, что-то организовывал и обследовал. Каждый свободный час он отдавал Тине. Чем глубже они постигали друг друга, тем глубже любили. Они часами расспрашивали и рассказывали, и каждая мелочь минувшего оживала вновь, разрасталась в событие, и в каждой такой мелочи, и в каждом поступке узнавали они свое, родное, как раз такое, какого просило сердце. Порой они уставали от напряженной любви, подобно юным влюбленным.

На первых выборах отца избрали заместителем председателя горсовета. Он ведал строительством.

Это был трудный год, когда на выжженные фашистом земли упала засуха, когда людям не хватало ни хлеба, ни крова.

Бывший полковник Карамыш ринулся в непривычное сражение. Новое жилье и новые заводы, строительные материалы, механизация строительства. Теперь армия его состояла не из красноармейцев, не из партизан, но из штукатуров, каменщиков, прорабов, архитекторов.

Целыми днями его не бывало дома, а по ночам он сидел над проектами, сметами, книгами по строительству. Тина превратилась в его домашнего секретаря. Она делала для него выписки из книг, переводила статьи из иностранных строительных журналов. В когда-то пустынном Тинином доме теперь толклись люди. Ночевал московский академик, специалист по промышленному строительству, неделями жил колхозный печник-самоучка, изобретатель необыкновенно экономичной и удобной домашней колхозной печки, обедало целое пионерское звено, отыскавшее во время похода гору годного для строительства камня.

Однажды на пороге появился маленький, легкий, как пушинка, дед и потребовал «товарища Карамышева». Тина знала, как занят и болен отец, и по возможности оберегала короткие часы его домашнего отдыха.

— По какому вопросу?—спросила она старика.

— По гусиному...

— По гусиному? Вы не туда пришли, дедушка. Гусями и вообще животноводством занимается товарищ Двойников.

Но дед, не дожидаясь Тининого приглашения, вошел в столовую, сел и объяснил:

— Я знаю, кудысь мне иттить. По моему гусиному вопросу требуется партийный человек.

— Но Двойников тоже партийный, тоже коммунист.

— Федот, да не тот,—отрезал старик.

Тина поняла, что сходство старика с пушинкой глубоко обманчиво. Он сидел на стуле как клещ. Вытащил из сумки хлеб, луковицу и потребовал у Тины воды. Запах лука распространился на всю квартиру. Жалея отца и кляня в душе старика, Тина подчинилась необходимости и угостила гостя ужином. Отец долго не приходил. Старик дремал, просыпался, крутил цигарки чудовищной величины.

— Шли бы вы, дедушка, по другому адресу,— уговаривала Тина.—Я же говорю—он гусями не занимается.

— Займется,—заявил старик.—Этот возьмет во внимание... Я знаю, кудысь мне иттить...

Отец вернулся поздно, глаза у него слезились сильнее, чем обычно, и крупные складки на лице еще сильнее набрякли.

Тина почувствовала себя виноватой за то, что не избавила его от назойливого и лишнего посетителя.

— Я ничего не могла с ним поделать, папа!— оправдывалась она.—Такой нахальный, просто выживший из ума человек. Твердит одно: «Я знаю, кудысь иттить».

Отец умылся, вышел к столу и пригласил старика:

— Ну, гусиный ходок, садись, выкладывай суть вопроса.

— Гусь—как раз послевоенная птица, и никто не хочет взять это во внимание!—начал старик.—Ты сам посуди: куре зерно надо, ути—те прожирущие, упаси бог! Один гусь сам ест, сам пьет, на траве да воде мясо нагуливает. У нас под городом, на разливе, и луга заливные и острова—самые гусиные места.

Старик высыпал на стол целую кипу брошюр, фотографий, газетных вырезок, почетных грамот. Оказалось, что лет двадцать назад он заведовал знаменитой на всю

область гусиной фермой. Ученые упоминали о нем в своих трудах, его награждали орденами и грамотами.

— Мне уж, дорогой ты мой Борис Борисович, девятый десяток тянется. Я уж давно не у дел, давно правнукам байки сказываю. А тут гляжу — после войны поднимается народ, а за птицу берутся не с того конца. Ну, и решил: пойду, мол, к большому партийному человеку. Где он, кем работает — не в том важность! Был бы вникающий человек. Вот и говорю тебе — ныне зерна и людям не хватает, про кур и утей не ко времени разговор. А гусь — как раз послевоенная птица! Я бы сам взялся положить начало!

Он так интересно рассказывал о гусях, что Тина заслушалась.

Старика уложили в столовой, а в спальне отец тихо говорил Тине:

— Каков человек? Стар, слаб. Кажется, подуй на него — с земли сдуешь! А видит — одолел народ беду, поднимается из нужды, и не может старик стоять в стороне! Едет, хлопочет, добивается! Каков народ, каков народ! — И, шагая, засмеялся своим полнозвучным, заразительным смехом.— Ну, я не я буду, если не получит гусиный генерал гусиную армию под начало!

Тина окончила школу, поступила в институт, переехала в областной центр, поселилась в общежитии.

Ее захватила и студенческая жизнь, и ученье.

Ее увлекала железная логика математических формул. Тонкие линии чертежей доставляли ей наслаждение, своеобразное, но близкое к тому, которое испытывала она, разглядывая графику. Она любила научные гипотезы и теории, сочетавшие скрупулезную точность с беспредельной фантазией. Но самым заманчивым представлялось ей воплощение этих формул, линий, теории в живое, грохочущее производство. Разговаривая с сокурсниками о своем будущем, она утверждала:

— Не надо мне никаких научно-исследовательских институтов, никаких внезаводских лабораторий! Только завод! Только цех!

В этом своем стремлении, как и во многих других, она сходилась с большинством студентов. Она отличалась от них одним качеством — тем, что главное место в ее душевной жизни занимал отец. По натуре склонная к глубоким и постоянным привязанностям, она долгие годы была лишена величайшей из этих привязанностей — родительской. Теперь она жадно восполняла упущенное. Сиротство так въелось в ее жизнь, что она все еще не могла привыкнуть к своему новому положению и каждое утро, просыпаясь, вновь делала счастливое открытие:

«Папа... У меня есть мой папа!» — и новизна радостного ощущения не проходила.

Ее интересовали все отцовские дела: в каком месте заложили новый завод, принялись ли деревья в новом парке и как живет «гусиный генерал»? Когда подруги удивлялись количеству и длине писем, которые она писала отцу, она молчала и думала:

«Разве объяснишь, как мы с отцом наскучались? И разве у них такие папы, как мой? Такой — один!»

Через год отца выбрали заместителем председателя облисполкома, он тоже переехал в областной центр, и они снова зажили вместе. Отец был по-прежнему занят с утра до ночи, и по-прежнему по вечерам в их квартире толпились самые различные люди — ученые и колхозники, инженеры и рабочие. Тина знала за отцом одно удивительное свойство — люди хорошели при нем. Когда он запаздывал, возникала натянутость, которую Тине не удавалось сломать. Разнокалиберные гости не находили общих тем, разговоры иссякали и гасли. Но вот он появлялся, сутулый, худой, похожий на старого льва, со своими улыбающимися и слезящимися глазами,— и люди становились собой. Они делались искренни, горячи, правдивы, увлекательны. И Тина вспоминала ту минуту, когда отец провел по ее лицу доброй железной рукой, снимая закаменевшую маску. Так он поступал и сейчас — двумя-тремя словами, шутливыми и простыми, он возвращал людям самих себя, заставлял звучать лучшее, что в них было.

И люди любили его. Отраженный свет этой любви Тина чувствовала на себе. Часто она слышала за спиной шепот:

— Это Тина Карамыш. Дочка того самого...

Всюду встречали ее с особым вниманием: одни — из уважения к ее отцу, другие — из-за его влиятельности. Где бы она ни была, отец был с ней, она чувствовала его опеку и его защиту. Как далеко это было: «сирота с глазами контуженного», одиночество и «кап-кап» в пустой квартире!..

Вспоминая те дни, она кидалась к отцу на шею, прижималась лицом к его груди.

— Папа, каждый раз, когда ты уходишь на работу и я вижу твою спину на пороге, я пугаюсь! Я больше не могу разлучаться.

Она была красива, отлично училась и хорошо рисовала; она была дочерью известного и уважаемого человека и юной хозяйкой гостеприимного дома. Она нравилась многим.

Непонятная, ищущая покорность сверстников, их ту-

манные и взволнованные слова были знакомы Тине со школьных лет. Но теперь они раздражали ее.

— Это принимает угрожающий характер! — досадуя, говорила она отцу.— Еще одно объяснение! Что они хотят от меня? Они мне мешают!

Она еще не понимала, что они «мешают», и вызывают досаду, и «принимают угрожающий характер» только потому, что сама она уже не могла относиться к ним с прежним безмятежным спокойствием. Они тревожили ее.

Отец притянул ее к себе, положил руку на коротко, по-мальчишески остриженную голову.

— Все придет в свое время. Только не торопись.

— С какой стати мне торопиться! Мне хорошо с тобой. Я хочу одного — чтобы ничто не менялось. И, знаешь, между прочим, половина их ухаживает вовсе не за мной, а за тобой! Ну что ты хохочешь? Большой, ответственный, а трясешься, как маленький. Совсем не можешь смеяться по-взрослому! Перестань сейчас же трястись! Наказание какое! Я тебе вполне серьезно говорю, что половина ухаживает за мной из-за тебя. Если бы я встретила человека, у которого такой отец, как ты, я бы тоже тотчас влюбилась! А вот не встречу такого — и останусь старой девой! И опять из-за тебя!

— Это почему же из-за меня?

— Потому, что всех по тебе прикидываю. И все не такие.

Но о любви ей говорили все чаще, и она стала ловить себя на странном ожидании.

Вечером они с отцом сидели в кабинете. Редкий вечер обходился без гостей, и оба они радовались возможности побыть вдвоем. Отец сидел за столом над чертежами, схемами и планами, с циркулем в руках — изучал проекты нового моста. Тина свернулась клубком на тахте с томиком Мопассана в руках. Ей не хотелось читать. Книга скользнула из рук. Тина подняла глаза. За темными окнами прошел дождь. Остро пахло влагой и тополем. Отец измерял и высчитывал что-то и шептал с милой мальчишеской старательностью. Седые волосы его серебрились под лампой. Глаза слегка слезились — неизгладимый след войны, поражение каких-то вегетативных центров. Знакомые привыкли к этому, и сам он приспособился к своей болезни. Не переставая шептать, вынул платок, протер ресницы. Тина смотрела на отца с нежностью, но вот взгляд скользнул мимо. «Никогда так сильно не пахли тополя. Кто-то шагает по лестнице?.. Нет, показалось. Он войдет и сядет рядом со мной на диване. И я не пошевелюсь. Он возьмет меня за руку. И я не рассержусь на него.— Она встряхнула головой.— Кого

я жду?.. Мне никого не надо... Я никого не хочу...» Она приподнялась на тахте.

— Пап...

Он, не отвечая и не переставая шептать, поднял палец, предостерегая: «Не сбивай, я сейчас кончу, подожди».

Она опять прикорнула в углу дивана. Кто-то не похожий ни на кого из знакомых ходит по темным и мокрым улицам. Кто-то ищет ее. И найдет... Она обращалась к нему: «Ничего не надо говорить. Я все пойму сразу. Если только это ты...»

Время молча стояло перед ней, стояло стеной, как эта темная, влажная, тополевая ночь за настежь распахнутым окном.

Отец кончил считать и повернулся, с удовольствием разминая затомившиеся от напряжения и неподвижности мышцы.

— Начиталась?

— Скучно читать... Странные какие-то любви были... Одна, другая, третья — ну что за интерес?

— Нечем же людям заняться было. От пустоты, от нищеты духовной. Одни забавлялись любовью: измены, перемены — словом, скотство. Другие хватались за нее, как утопающие за соломинку. Хоть чем-то заполнить жизнь... Нам все это уже дико.

Отец закурил и принялся быстро, мерно, энергично шагать по комнате. Тело воина требовало движения. Тина знала за отцом эту привычку ровными, быстрыми шагами ходить по комнате во время разговора.

— Нам все это дико. Мы и не замечаем, как уходим от многого! Маркс говорил, что при коммунизме наступит очеловечивание человека, очеловечивание человеческих чувств.

Тина слушала внимательно.

— Возьми, Тинок, хотя бы отношения меж детьми и родителями. На чем зачастую основывались они в господствующих капиталистических классах? У детей — на том, как сумели родители обеспечить их будущее. У родителей — на том, насколько дети сумеют приумножить отцовское богатство. Нам и это дико... У нас все на другом — на взаимном уважении, на признании благородных человеческих качеств.

Тина улыбнулась.

— Тебе надо выступать с лекциями о семье и морали. Но это о детях и родителях. А что ты сможешь сказать о любви после Шекспира, после Ромео и Джульетты?

Отец не отвечал. Только шаги гулко звучали в комнате. Тина ждала. Он остановился у стены и повернулся лицом к Тине. Рядом с его головой висел портрет матери.

Тина знала и эту его привычку — останавливаться возле этой стены и стоять так, что щека касалась края портрета. Даже след образовался на стене возле портрета.

— Разве они знали такое? — тихо сказал отец. — Я уж не говорю об этих, — указал он на томик Мопассана, — но даже Ромео и Джульетта? За долгие годы не только ни измены, ни предательства, но ни одной секунды скуки. Ни одной такой секунды, когда бы мы не радовались друг другу, когда бы нам не хотелось видеть друг друга, чувствовать друг друга, говорить друг с другом...

— Как у нас с тобой? — одним дыханием спросила Тина.

И отец резко ответил ей:

— Нет... Лучше, глупая... — Тут же он улыбнулся ей. — Подрастешь — узнаешь. Об одном я тебя прошу и буду просить — не торопись. И сейчас есть всякие и всякое. Но вот у нас — и у деда твоего Карамыша, и у нас с матерью, и у тебя, и у тех, кого мы любим и уважаем, — у нас по-своему. Где-то я читал такие строки:

Мы из рода древних азров.
Полюбив, мы умираем...

Про нас я бы сказал иначе:

Мы из рода Карамыша.
Полюбив — верны до гроба!

Он умолк. Он думал о матери. Он впервые говорил с Тиной так о своей жене и ее матери. Обычно он избегал говорить о ней, даже с Тиной.

Тина поняла — он мог говорить о жене только как вечный влюбленный. И думал, что дочь слишком молода, чтоб понять. В первый и, наверное, в последний раз он приоткрылся перед ней. И она увидела не только своего отца, но мужа своей матери, ее верного возлюбленного. Тине показалось, будто огромная невидимая птица ворвалась из весенней ночи, пролетая, прошумела сильными крыльями и исчезла.

Отец все стоял, прислонившись к стене. Седые волосы его касались портрета.

Война отняла у него его неизменную подругу, делившую с ним и радость, и хлеб, и пули. И вот он стоит безмолвно у ее портрета. Воспаленные глаза на его старом, львином, крупноскладчатом, неподвижном лице слезятся, как будто он глядит на огонь. Тина невольно подумала, что это происходит не от поражения вегетативных центров. Человек такой силы любви и такой доброты, узнав войну, столько потеряв на войне, уже не может не

носить слез в сердце. Они не ослабят его воли. Они не помешают ему работать и действовать, так же как не помешали воевать, стрелять без промаха, не бояться смертельной опасности и побеждать. Но они не могут не течь! И вот они текут по его твердому, старому, высеченному из камня и обожженному огнем лицу...

Тина пришла в свою комнату, но ей не хотелось спать. Она думала об отце, о матери, об их любви, которая раньше казалась ей привычной, само собой разумеющейся, а сегодня открылась удивительной.

Она высунулась в окно, ловила губами влажный ветер, всматривалась в далекие зарницы, игравшие во влажном небе. «Где ты ходишь сейчас?» Она тихо засмеялась,— так хорошо и странно было думать, что вот сейчас, в эту самую минуту, где-то живет, дышит, ходит тот человек, с которым они встретятся и полюбят друг друга. А это случится непременно. Он есть. Он придет. И они будут любить так же, как любили друг друга ее отец и мать. Все услышанное ею сегодня повторится.

«Где же ты сейчас, вот в эту минуту?—нетерпеливо спрашивала она.—Какой ты? Когда и как мы с тобой встретимся?»

Но он не встречался. Чем горячее, и поспешнее, и нетерпеливее были слова тех, кто искал ее, тем яснее она понимала: не он. Тот, кто приходит на всю жизнь, приходит иначе.

Однажды на собрании городского комсомольского актива подруги указали ей на юношу, сидевшего в президиуме:

— Видишь, красивый, с черной прядью на лбу? Это же и есть Юра Гейзман.

— Какой Гейзман?

— Ну, тот, которому больше всех хлопали, когда голосовали. Нравится?

— Отсюда не разгляжу. А тебе?

— Еще бы! Только он на таких, как мы, и не глядит. Он вообще ни на кого не глядит.

— Задавала?

— Нет. Серьезный. Да ты ничего не знаешь? Его же всюду выбирают. И в президиумы, и делегации встречать, и за границу ехать.

Тина засмеялась.

— Вот еще тоже достоинство! «Всюду выбирают»! А есть за что выбирать?

— Есть. Он аспирант. Физик. Засекреченный. В институте говорят, что ему присудят не кандидатскую степень, а сразу докторскую. У него работы связаны с космиче-

скими лучами, ради них он и стал альпинистом и пилотом. Понимаешь, какой парень?

Тина забыла об этом разговоре, но через несколько дней к ним в дом пришел отец молодого физика, профессор Гейзман. Бледнолицый и темноглазый старик со странным прозвищем «всесторонний дед» стал своим человеком в доме Карамышей.

На остреньком, морщинистом лице старика жили обособленной, юной жизнью огромные и наивные глаза. «Настоящие гейзмановские глаза»,— говорила Тина, когда хотела передать ощущение чистоты и ясности человеческого взгляда.

История знакомства старика с отцом Тины была примечательна. Во время войны части полковника Карамыша подошли к партизанскому отряду. Среди партизан оказался профессор Гейзман. Собираясь переправить его в тыл как негодного к военной службе, Карамыш вызвал его к себе.

— Я обдумал всесторонне и считаю, что как снайпер я могу пригодиться.— Старик взглянул на полковника Карамыша с надеждой.— С одной стороны, по старости лет я дальнозоркий, имею склонность к неподвижности и смогу, если надо, сидеть не шелохнувшись. С другой стороны, я уже неделю назад получил снайперскую винтовку и имею неплохие результаты.— Изложив эти доводы, старик вытянулся, стараясь по мере сил приобрести военный вид.

Полковник не мог не улыбнуться.

— А вы не думаете, что самое лучшее для вас — отправиться в тыл?

— Нет, я думаю, что я должен воевать по нескольким соображениям.

— Я слушаю вас...

— Это я тоже обдумал всесторонне. С одной стороны, я должен воевать как советский человек. С другой стороны, я должен воевать как еврей — представитель одной из угнетенных в прошлом наций. С третьей стороны, я должен воевать как девятый сын нищего местечкового сапожника. Наконец, с четвертой, я должен воевать сейчас, чтобы наверстать упущенное.

— Не понимаю четвертого,— сказал Борис Борисович, заинтересованный необычным стариком.

— Видите ли, в семнадцатом и в двадцатом годах, когда воевали мои сверстники, я... я не воевал... Я... я тогда ходил в синагогу.

Старика любили за смелость, за неизменное стремление к справедливости и даже за его нудную манеру каждый вопрос рассматривать всесторонне, с утомительной подробностью.

Когда отец Тины стал работать в облисполкоме, он встретил профессора Гейзмана в его натуральном профессорском виде.

Старик стал постоянным гостем в их доме. В столовой стояли гейзмановское кресло-качалка и гейзмановская пепельница.

Он привел к ним своего старшего сына, кандидата философских наук, но за младшего шутя извинился:

— Самый занятый человек в нашем семействе: изучение космических лучей — дело, не терпящее промедления.

Вскоре они встретились в театре. Вблизи знаменитый аспирант выглядел много старше, чем издали. Бледное лицо его очерчено тонко и точно. Глаза совсем не гейзмановские — светлые, миндалевидные. Он сказал Тине пару беглых фраз и отошел. Но когда она оглянулась, она встретила его спокойный, пристальный, испытующий взгляд.

Через несколько дней он пришел вместе с отцом.

Захваченная работой над очередным чертежом, Тина едва поздоровалась с новым гостем. Оттеняя штриховкой контуры деталей, она в забывчивости сказала самой себе:

— Вот так будет красиво.

— По-вашему, это красиво? — с сомнением возразил гость.

— Конечно! Разве это плохой чертеж?

— Чертеж хороший, но красота — не то слово.

— Как не то?! — возмутилась Тина.— Если бы я захотела рисовать музыку, я пыталась бы изобразить ее чертежами.

— В раннем детстве я изображал звуки трубы спиралью, а звуки скрипки молниеносной линией,— улыбнулся юноша.

— Вы хотели сказать, что я еще не вышла из младенческого возраста?

— Нет, скорее я хотел бы сказать о сходстве некоторых наших восприятий.

Так начался их первый разговор. С тех пор Юра стал изредка заходить. Он был прост и немногословен. Много разных людей бывало в гостеприимном Тинином доме, но лишь его посещения и удивляли и тревожили ее. Она понимала всех, лишь он оставался непонятен, словно она смотрела на него сквозь призму, ломавшую изображение.

— Папа, какой, по-твоему, Юра? — спрашивала она у отца.

— Будущее светило науки! — торжественно возвестил отец. Он относился к ученым с глубоким уважением.— Мы еще услышим о нем, дочка. И не только мы.

— Он похож на «всестороннего деда»?

— Характер другой, а голова почище отцовской. Тоже снайпер своего рода.

— Почему снайпер?

— Снайперский мозг, бьет без промаха. Ты смотри, как он живет. С восьмого класса он уже точно определился — не выходил из отцовской лаборатории. Пришел сдавать в институт экзамены — в одной руке учебники, а в другой запатентованный физический прибор под названием «счетчик Юрия Гейзмана». Зря ничего не сделает.

«Зря ничего не сделает»,— повторила Тина про себя.— Но ведь он и не делает ничего! Не ухаживает. Просто сидит, играет со мной в шахматы, катается со мной на коньках.— И тут же она возразила себе:— Но ведь ни с кем другим он не катается на коньках!»

Чем молчаливее он был, тем больше ждала она от него слов, тем чаще задумывалась над его короткими фразами.

Однажды он сказал:

— Вы замечаете, как мы с вами похожи друг на друга?

— Чем?

— Оба темноволосые, со светлыми глазами, оба... как бы это сказать?.. внутренне сосредоточенные, сдержанные.

Тина засмеялась.

— Но я только с вами! В институте и вдвоем с папой я болтуша из болтуш.

Он опроверг ее:

— Нет. Вы сдержанная.

Как всегда, простые слова его звучали с особой значительностью, и, простясь с ним, Тина снова спрашивала себя:

«Что он хотел сказать? Или ничего? Почему во всех его словах я ищу тайный смысл? Чего я жду от него? Может быть, это... он? Тот, которого я полюблю?.. Зачем он все ходит ко мне?»

Он был уже известен в ученом мире, он часто бывал в Москве, работал там в лаборатории прославленного на весь мир ученого. Зачем он ходил к ней, второкурснице из провинциального города? Она привлекательна, но ей далеко до настоящих красавиц. Она способна, но не одарена никакими талантами. Конечно, он ходит просто подружески, «на огонек».

Порешив на этом, Тина успокаивалась. Но за нее тревожились подруги:

— Тина, все говорят, что он ухаживает за тобой!

— Он совсем не ухаживает. Он просто ходит.

— Что же, ты хочешь, чтоб он писал письма и таскал тебе цветы, как какой-нибудь первокурсник?

Но он принес и цветы.

Тинин день рождения был в декабре. Все уже сидели за столом, когда вошел он. В руках у него был пакет из плотной оберточной бумаги. Он развернул бумагу, вытряхнул из ее складок комья снега. Под бумагой и под снегом оказался букет пунцовых роз.

— Прямиком из Сухумского розария. Самолетом. Самое трудное было добиться, чтоб именно пунцовые. Зимой, в снег, особенно контрастно. И Тине к лицу.

В этот же вечер он сказал ей:

— Ты заметила, Тина, что в хороших браках мужья и жены или прямо противоположны друг другу, или очень сходны?

— А что лучше — противоположны или сходны?

— Я думаю, что все диктуется вездесущим инстинктом естественного отбора. Если люди с каким-нибудь изъяном, они тянутся к антиподу, способному компенсировать изъян. Слишком высокий — к низкорослой, альбинос — к жгучей брюнетке, умный урод — к глупой красавице. Но существа, гармонично развитые, стремятся сохранить гармонию. Они ищут себе подобных...

Короткий и беглый разговор. Но Юра часто подчеркивал свое и Тинино сходство. И Тина ночью спрашивала себя: случайны или не случайны слова, сказанные сегодня?

Она привыкла непрерывно думать о нем и видеть его. Она спрашивала себя: «Люблю ли я его? Может быть, я начинаю любить? Нельзя так много думать о человеке, которого не любишь! — Она вспоминала ночной разговор отца и матери, услышанный ею в детстве. — Даже такая любовь у них не пришла сразу. Папа не зря твердит одно: «Не надо торопиться». Юра хороший, только у него страшное количество «подтекста». Я бы уж предпочла немного самого примитивного текста. Но зачем я думаю? У меня есть друг. И я рада, что он есть. И ни о чем больше я не хочу думать!»

Весной он уехал в одну из своих «засекреченных» экспедиций, о которых Тина знала только то, что работать ему приходится «на больших высотах». Тина скучала без него сильнее, чем сама ожидала.

Музыка помогала ей, и чаще, чем прежде, приходил к ним теперь скрипач Алексеев. Тощенький, пьяненький, с невесомой, шатающейся походкой, он трезвел и менялся лишь в присутствии Бориса Борисовича. Его терпели в доме за те минуты, когда он, плотно смежив затекшие веки, брал смычок, и скрипка начинала горестно плакать о загубленном таланте.

Видя, как скучает Тина, отец предложил ей поехать на

охоту. Ездили большой компанией и возвращались поездом, заняв три купе.

Тина зашла за консервным ножом в соседнее купе, где разместился начальник областного управления МВД Корилов с двумя своими сотрудниками.

Здесь было жарко, пахло табаком и вином. Корилов сидел без пиджака, в рубашке, распахнутой на груди. Красивое лицо его с ярко-синими глазами раскраснелось от жары и вина.

— Помню, помню я Володьку Гольшева,— не замечая Тины, говорил он и лихо встряхивал волнистыми волосами.— Хват был парень! Любое дело поручи — двинет. Его тогда со всей компанией под горячую руку забрали... Потом разобрались, да уж поздно!..

Он ребром ладони быстро провел по шее, точно разрезая ее, и вдруг, вскинув голову, захохотал странным, беззвучным, состоящим из частых придыханий смехом. Он увидел Тину, прочел ужас в ее глазах, но не смутился, а только подобрался, выпрямился, застегнул ворот и спросил с горькой, снисходительной, почти нежной насмешкой взрослого над ребенком:

— Ну что, испугались? Нет страшного на свете! Садитесь!

Как он? Что он? Любопытство заставило ее сесть. Он угощал ее, шутил, даже пел густым баритоном. А ей хотелось дотронуться до его смеющихся и настороженных глаз. «Пусть закроет глаза. Тогда лицо станет усталым, измученным».

Она ушла, так и не разобравшись в нем. Через час он стал рядом с нею у окна коридора, опустил раму и по-мальчишески обрадовался:

— Овражек! Точь-в-точь такой, в каком я мальчишкой хоронился от батьки! — Оглядел Тину пристальным взглядом.— Везет, черт возьми, Юрке Гейзману! Хотя трудновато, пожалуй, с вами? А? — Задумался, засмеялся.— Я и сам был такой, как вы! Беспощадный!

— Я беспощадная?! — удивилась Тина.

— Конечно... Я же говорю — и сам был таким. Чуть что не по нраву... Ух! Пятнышка не прощал. Молодость. Начиналась она вот в такой деревушке над оврагом...

Он отрывочно рассказал ей о детстве и ранней юности.

— А потом? — спросила Тина. Ей хотелось знать, как из деревенского паренька получился Корилов, которого приглашает на дачу Берия и побаивается даже секретарь обкома.

— А потом — обыкновенно...— Корилов и заскучал и засмеялся едким своим смехом.— Потом понесло, как вот

этим поездом. Разобраться не успел, где и в каком вагоне, куда еду, а уже мчит!

— Разве плохо?

— Плохо ли, хорошо ли, но мчит! Куда денешься?

— Сойти, если не нравится.

— Не сойдешь! Спрыгнуть на ходу? Разобьешься. Миг—и нет тебя.—Он смотрел вниз, на пролетавшие мимо шпалы, будто и в самом деле хотел выпрыгнуть.— Нет, ехать надо! Домчит же куда-нибудь! Будет же остановка!

По привычке рассказывать отцу все, что ее тревожило, Тина тут же рассказала ему о Корилове.

— Странный он... и страшный.

Отец задумался.

— Да... разговоры непонятные. На фронте он показал себя как человек большой личной смелости.

— Может быть. Но, мне кажется, это не смелость коммуниста. Это смелость бретера. Привычка к рискованной игре.

— Он был пьян,—снова возразил отец.

Но Тина видела, что отец неспокоен. Подумав, он прошел в купе Корилова. Тина снова встала у окна. Через полчаса в купе послышался спор. Вырвался отчетливый возглас отца:

— Я полжизни был пограничником. Я привык разговаривать с врагом как с врагом, но с другом как с другом. Как я должен после этого разговаривать с тобой?!

Раздался смех Корилова и его сразу смягчившийся голос. Вскоре отец, сумрачный и непривычно молчаливый, прошел к себе в купе.

Вечером Корилов выходил из вагона холодным, свежим, подтянутым, в брюках без единой морщинки. Он спокойно и бегло простился с отцом и не заметил Тины, хотя прошел совсем рядом.

Вскоре Тина узнала, что арестовали группу инженеров того завода, на котором она проходила практику. Это взволновало ее.

— Не понимаю,—говорила она отцу.

— А ты пойми одно: зря у нас не возьмут!

— Но были такие простые, такие свои... И вдруг— враги, шпионы. Не верится.

— А верится тому, что через наши границы пытаются пробраться сотни шпионов и диверсантов? Что некоторые из них, которым это удается, живут в наших городах? Не верится? Ты таких не видела? А поговори с пограничниками, с работниками МВД. А верится тому, что в нашем городе совершаются убийства? Не верится? А поговори с работниками уголовного розыска! Они покажут тебе

людей, убивавших в нашем городе, может быть,на нашей улице. Ты ничего не знаешь об этом? Но ты не знаешь об этом потому, что другие взяли на себя это тяжелое знание! Предоставь же тем, кто знает, поступать так, как подсказывает им это знание!

Вечером к ним пришел старик Гейзман. В полуосвещенной комнате Алексеев играл Брамса, а Тина, Борис Борисович и старик слушали, сидя на балконе. Тина только что прочла письмо от Юрия. Он писал ей: «Я рвусь к тебе даже от моей работы. Понимаешь ли ты, что это значит?» Острый месяц висел над купами тихих деревьев. Все было неподвижно, только звезды хлопотливо мерцали в темной глубине неба. Старик сидел в своей излюбленной позе — сгорбив спину, подняв голову.

Когда последние аккорды смолкли, старик сказал безмятежно, слегка удивленно:

— А вы знаете... Меня обвинили в некритическом отношении к идеалистам.

— К каким еще идеалистам? — беспечно спросила Тина.

— К астрофизику Милну и аббату Леметру. К их теории расширяющейся вселенной. В партком, представьте себе, поступило заявление.

— Ну, и что же вы? — насторожился отец.

— Я ответил, что стараюсь освещать предмет всесторонне. Я действительно говорил студентам, что в теории Милна о расширяющейся вселенной есть рациональное зерно. Спектральный анализ доказывает, что скорость удаляющихся звездных систем доходит до шестидесяти тысяч километров в секунду.

— Звезды так стремительно улетают от нас? Как странно! — Тина не отводила взгляда от кротких созвездий. — Но ведь если вселенная расширяется, значит, она много веков назад была крохотной?

— Католики и утверждают, что был «первичный атом». Он взорвался, и таким путем бог сотворил мир.

— Бога совместили с атомом! — тихо засмеялась Тина.

— Ерунда, конечно! С одной стороны, далекие галактики действительно разбегаются от нас, и видимая нами часть вселенной действительно расширяется. В этом и есть здоровое зерно теории Милна. Но, с другой стороны, в бесконечной вселенной существуют бессчетные количества и расширяющихся и сжимающихся звездных систем. И бесконечны формы существования материи! Мы знаем, что само пространство имеет материальную сущность. Вы помните солнечное затмение двадцать третьего марта тысяча девятьсот девятнадцатого года? — Голос старика звучал молодо, темные глаза смотрели в небо.

Тина поежилась.

— Ничего я не знаю ни о вселенной, ни о вечности, ни о затмениях.

— Как же? — огорчился старик.— Двадцать третье марта — день великого торжества человеческого разума! Слушайте. Мы, материалисты, считаем, что, с одной стороны, солнечные лучи материальны и, с другой стороны, само пространство имеет материальную сущность. Если так, то материальная сущность будет взаимодействовать с материальными телами и звездные световые лучи, проходя в пространстве, близком к Солнцу, должны смещаться. Эйнштейн заранее точно высчитал смещение — одна семьдесят пять сотых дуговой секунды. Две экспедиции выехали в зону солнечного затмения двадцать третьего марта. И что же вы думаете? Цифры их совпали с предсказанием.— Старик легким взмахом руки указал на небо.— Сама вселенная поставила звездную подпись под теорией относительности!

И Брамс, и звезды, и торжественные слова Гейзмана, и его родственная теплота, и близость отца, и призывные слова письма, и мысли о Юре — все в этот вечер сливалось в сознании Тины в одно ощущение силы и покоя, полноты жизни и счастья. «Да,— думала она,— торжество разума в том, что мы, четыре крохотных существа, сидим и мирно беседуем о законах вселенной».

— Мы знаем, что само пространство имеет материальную сущность,— продолжал Гейзман,— но многого мы не знаем о формах существования материи. В каких формах существовала материя многие миллиарды лет назад? Даже в той материи, которую мы сегодня держим в руках, многое нам не известно. Взять хотя бы возникновение урана и его превращения. Откуда он взялся? С одной стороны, мы так глубоко проникли в тайны материи, что могущественно овладели глубочайшими процессами ее превращений. А с другой стороны, сколько еще перед нами неразрешенных загадок вселенной!

В речах старика слова «вселенная» и «вечность» приобретали весомость. Галактика становилась такой же реальной и близкой, как кущи тихих деревьев у балкона.

Завороженная этими словами, Тина молча смотрела в небо.

Трудолюбивые звезды жили, шевелили лучами, непрестанно ткали свою звездную паутину. Странным образом эти далекие звезды помогали людям проникнуть в сокровенные тайны жизни. Небо было исполнено добра и мира.

— Ну, а с третьей стороны? — нетерпеливый и тревожный голос отца врезался в звездную тишину.— С третьей

стороны, вы не сказали, что обещаете уточнить некоторые формулировки относительно теории Милна?

— Но мои формулировки в точности соответствуют моим мыслям,—с достоинством возразил старик.

— В чем конкретно вас обвинили в письме?—допытывался отец.

— В идеализме, космополитизме и еще каких-то «измах».

Старик говорил безмятежно, а в настойчивом вопросе отца Тина снова уловила непонятную тревогу:

— Но что же сказали вы?

— Я не мог говорить...

— Почему?

— Видите ли... меня почему-то одновременно спросили, по каким причинам я не сразу примкнул к партизанам. Как будто так легко было разыскать партизан! Это понятно каждому, кто хочет понять. А с тем, кто не хочет понять... я не смог говорить об этом.

— Эх!—с досадой крякнул отец.—Вот тут-то и надо было вам говорить «всесторонне»: и о Милне, и о звездах, и о партизанских делах.

Дней через десять отец сказал Тине:

— Вокруг старика разрастается история. Этот пустяк с трактовкой Милна и прочих идеалистов вначале нетрудно было погасить. Но ты знаешь нашего «всестороннего»? Заладил свое—с одной да с другой стороны... И не желает поступиться ни одним словом!

— Что же ты думаешь делать?

— Я сам проштудировал его лекции и не нашел ничего антимарксистского! А каша заваривается круто. Надо старика вытаскивать...

Через неделю в институте Тине сказали, что ночью арестовали профессора Гейзмана. Тина звонила к Гейзманам, звонила отцу и не могла дозвониться. Вечером, ожидая отца, она в темноте лежала и упорно думала. Лицо старика с огромными глазами стояло перед ней.

«Совсем недавно он сидел вот здесь и спокойно говорил о вселенной, о звездах... А сейчас... За что и почему его взяли? Ошибка? Ну конечно, ошибка! Папа говорил, что никого не берут зря. Что-то есть... Папа говорил, что мы многого не знаем. Вопросы вселенной перекликаются с вопросами атомной энергии, с такими страшными глубинами, о которых я действительно ничего не знаю! Шпионаж, диверсии—все это не может быть не связано с атомной энергией, а значит, и со всякими теориями о строении материи и вселенной. Что я знаю об этом? Ничего. А что я знаю о старике? Тоже ничего! Гейзмановские глаза...»

И вдруг ей стало казаться, что глаза эти чересчур наивны. В наивности их померещились приторность и нарочитость. Манера каждый вопрос окружать цепью разных «с одной и с другой стороны» стала подозрительной. «Ведь человек с ясной душой и отвечает ясно: «да» или «нет»...»

В тишине полуночной пустынной комнаты смятенные мысли тревожно разрастались. Вместо знакомого старческого лица возникала маска притворщика и соглядатая. Тогда Тина спохватилась в ужасе и отвращении к самой себе: «Что со мной? Я подлая! Так не верить другу...» С упреком смотрели из темноты чистые гейзмановские глаза. «Но если верить старику, значит, не верить тем, кто взял его?»

Две веры — вера в чистоту друга и непререкаемая вера в непогрешимость правосудия — не совмещались. И потерять первую было легче, чем потерять вторую. Потеря первой была лишь мучительной частностью, а потеря второй грозила Тине крахом жизненных основ. И сила жизненного инстинкта направляла мысли по первому, не столь мучительному пути... И снова излюбленная поза старика — опущенные плечи и настороженно выглядывающая голова — начинала казаться типичной позой соглядатая.

И снова Тина садилась на кровати и в страхе спрашивала себя: «Что же, что же со мной?»

Отец пришел поздно. Тина босиком выбежала в переднюю.

— Что? Как?

— Чудовищная ерунда!

— Но как же это могло?! Ты же сам говорил, у нас зря не возьмут!

— Исключения возможны всегда... Лес рубят — щепки летят. Но все скоро выяснится. Это дело дней.

Юрия вызвали из экспедиции телеграммой. Он прилетел вечером и тотчас приехал к Тине. Он молча взял ее ладони и прислонился к ним лбом.

— Тина, я поживу у вас пару дней. Дома слишком тяжело.

— Поживи сколько хочешь.

— Я уеду через два дня. Здесь будет действовать брат. Я буду хлопотать через Москву... И для меня лучше всего в эти дни быть не здесь, не на отцовской кафедре, а под эгидой академика Ломова. Мировое имя. Я думаю, если кто-нибудь сможет помочь, так это он.

Через день, прощаясь, он поцеловал ее и сказал:

— Как хорошо, что у меня есть еще и этот дом! Хорошо, что есть ты, Тина.

Он писал ей часто и нежно. Но все происходившее меж ними отодвигалось Тининой тревогой за отца.

— Дело дней...— твердил отец о старике Гейзмане.

Но проходили дни, прошло больше месяца, а старик все еще сидел.

Отец стал молчалив. Он избегал разговоров с Тиной о старике. Тина знала только, что к его письмам и заявлениям присоединилось еще несколько человек.

Однажды он пришел разгоряченный. Он отказался от ужина и принялся быстро ходить по комнате. Тине послышалось, что он говорит сам с собою. Она вошла в кабинет. Отец был вне себя. Он остановился и продолжал говорить:

— Меня, коренного пограничника, обвинить в защите шпиона! — Он рассмеялся сухим, гневным, не своим смехом.— Как будто я половину жизни не стоял на страже границы! Я привык ловить шпионов, нападать на врагов и всячески защищать мирный труд советских людей! Как же я могу не встать на защиту, когда...

Он задохнулся, несколько раз трудно сглотнул что-то, подошел к столу, не нашел стакана и прильнул к горлу графина с водой. Выпил почти всю воду, остатки плеснул себе на руки, заливая ковер и кресло, мокрыми ладонями протер лицо. Успокоившись, он заговорил уже с усмешкой:

— Договорились до того, что у меня «примитивно-пограничное» представление о враге: «По ту сторону чужак, по эту — свояк». Я другое скажу. Была у нас собака Иртыш. Она людей с той стороны границы по запаху узнавала. Папиросы у них другие, мыло не наше, одежда из других тканей. Черт ее знает, как она чуяла, но безошибочно! Я своего от чужака почище этого Иртыша отличу, по одному запаху...

Из Москвы приехал видный работник МВД, и Борису Борисовичу удалось добиться личной встречи с ним. Он вернулся спокойный. Тина прильнула к нему.

— О чем вы говорили? Что ты сказал ему?

Он ответил коротко и почти весело:

— Сказал, что вся эта история пахнет провокацией.

— Все будет хорошо, папа?

— В конце концов все должно быть хорошо!

Проснувшись среди ночи, Тина увидела свет в кабинете. Она бесшумно подошла к двери. Отец сидел в низком кресле и разбирал бумаги. Пижама его была расстегнута, кучи бумаг, и целых и разорванных, лежали на ковре. Но Тину поразил не столько этот ночной разгром в кабинете отца, сколько взгляд его. В этом остановившемся, ушед-

шем в глубь себя взгляде Тина прочла непонятное, пугающее.

— Что ты? Что с тобой?

Он прижал ее к себе.

— Ничего, дочка. Я привожу в порядок свои бумаги. И знаешь, что я тебе скажу? Они были правы в одном. У твоего старого пограничника действительно примитивное представление о враге. Все сложнее и... опаснее... чем я думал.

Он умолк. Она боялась спрашивать, боялась словами сбить поток незнакомых ей мыслей. Помолчав, он продолжал:

— Но вот в чем главное. Между внешним врагом, от которого я привык охранять родину, и внутренним врагом огромная разница. Внешний действует массами, войсковыми соединениями. Внутренний враг в наших условиях единичен. Как бы он ни был хитер и опасен — это единицы! И обреченные единицы. Что бы ни случилось, помни это....

— Почему я должна помнить это, папа?

— Чтобы зрело и верно судить обо всем, что бы ни случилось...

Спокойная, печальная твердость была в словах и взгляде. Тину бил озноб.

— Но что может случиться, папа?! О чем ты думаешь, папа?!

Он не ответил, но, как в первый день их встречи, он посадил ее к себе на колени...

Утром он был молчалив, спокойно-сосредоточен.

Шли дни, и можно было подумать, что все как прежде.

Но когда далеко за полночь раздался стук в дверь, он не удивился и встретил пришедших так, словно ждал. Происходящее казалось Тине нереальным. Она молчала, двигалась как во сне и только с жалкой торопливостью все старалась помочь отцу одеться — подавала носки, пояс, галстук... Она запомнила, как, выпрямившись, он туго, по-военному затянул пояс, глубоко, как перед прыжком в воду, вздохнул и обнял Тину.

— Скоро все выяснится, и я вернусь... Но... что бы со мной ни случилось — помни: их единицы... Они обречены. Это дело времени. Помни это и верь партии. Верь партии! Тому верь, что вложено в нее лучшими людьми двух столетий! Без этой веры нельзя жить! Запомни, что я тебе сказал.

Она, дрожа, вцепилась в его плечи.

— Пора, — сказал один из пришедших.

Отец вышел в прихожую. Тина бросилась за ним. Ее остановили:

— Нельзя.

Она прильнула к окну. Свет соседнего окна падал на темную, закрытую машину. Показалась группа людей, среди них и выше всех их — отец. У входа в машину мелькнула неповторимая линия широких плеч, седая, крупная, львиная голова.

Свет померк... Тина смутно поняла, что в соседнем окне опустили штору... Машина бесшумно скользнула по асфальту и слилась с темнотой.

Почти все вещи, кроме Тининой одежды, были опечатаны. Квартира была облисполкомовской, и Тине предписали срочно выехать. Кое-кто из знакомых предложил Тине временное гостеприимство, но в тоне предложений была непереносимая для нее неуверенность и жалость. Поэтому Тина была рада, когда известная в городе спекулянтка Евдоха позвонила и назначила на улице «деловое свидание по вопросу о квартире». Откуда-то из ворот быстро выкатилось бочкообразное существо с отвисшей нижней губой и маленькими маслеными глазками, и горячие руки обхватили Тинины плечи.

— Голубушка, красотушка! Ведь что делают с людьми! Небось кого поила, кого кормила — все теперь в сторону? Знаю, знаю, нету честных-то людей, нету! Моя комнатка не хоромы, да что уж теперь? Зато тепло, тихо и цена невелика — всего-навсего две сотенных...

Она увела Тину к себе, помогла перевезти вещи и устроиться. Комната оказалась половиной кухни, отгороженной дощатой перегородкой. Когда вещи Тины были расставлены и пути отступления предусмотрительно отрезаны, цена за комнату немедленно возросла ровно вдвое.

— Двести рублей за площадь, а двести рублей за свет, за воду и прочие коммунальные. Это уж у всех так водится! — пояснила Евдоха.

Потянулись дни, полные хлопот.

С утра до ночи Тина ходила по приемным, ждала, подавала заявления. Ей сказали, что надо ехать в Москву, и она отправилась в Москву, записалась на прием, подала заявление и снова вернулась домой. Она писала письма на имя Корилова, Берия и даже на имя Сталина. Она верила, что мир справедлив, что надо только объяснить, рассказать, все увидят ошибку, и хмарь рассеется.

Шел август. Тинины сокурсники были на каникулах, большинство друзей разъехалось по дачам и курортам. С теми, которые оставались в городе, Тина избегала встречаться — гордость мешала ей нести к ним свое горе.

Только Юру хотела она видеть,— сраженная одним с ним горем, она считала себя навсегда породнившейся с

ним. Но экспедиция затягивалась, и Юра не приезжал. Одиноко жила она в своей щели за печкой.

Привычный и любимый ею мир закрылся для нее. Зато впервые в жизни соприкоснулась она с другим миром.

— Деньги все любят!—убежденно говорила Евдоха, подтягивая обвисшую нижнюю губу. Исходя из этого убеждения, она считала себя и подобных себе самыми честными.—Я хоть словами не прикрываюсь...

Те, кто умел урвать, пользовались ее уважением. Умение обмануть было ее гордостью. Тайны, сопутствующие ее деяниям, были ее поэзией. С таинственным и гордым видом, хихикая и подмигивая, угощала она Тину жареными голубями.

— На вкус что тебе рябчики, и всего по пятишнице штука!

— Откуда у вас?—удивлялась Тина.

— А ты, милая, плати пятак, ешь и не спрашивай!

И Тина ела, пока однажды, обсосав жирными губами косточку, старуха не заключила с тихим и злорадным торжеством:

— Вот тебе и весь голубь мира!

Тина поперхнулась. Старуха воровала и жрала тех самых голубей, которых с любовью разводили на городской площади.

В темноте ее старинных буфетов и кованых сундуков хранились серебро, вазы драгоценного хрусталя, сервизы редчайшего фарфора. На Тинин взгляд, каждая из этих ваз была уликой и позором, а старуха показывала их с гордостью.

Тина спросила в упор:

— Ваш муж был продавцом, получал рублей семьсот на руки, тяжело болел десять лет, вы нигде никогда не работали—откуда же у вас все это? Зачем вам и что за радость в этом?

Черные узкие глаза старухи неожиданно наливались слезами.

— Жить, жить умела!—вздрагивающими пальцами она торопливо завертывала вазы, прятала их в глубину шкафа. Небрежные Тинины слова уязвили ее, и, не зная, как отомстить, она сказала:—Я умела! А вот твой отец и в чинах ходил, и в тюрьму сел, а чем сумел попользоваться?

Когда Тина дала ей для продажи свои немногие ценности, старуха сперва не поверила.

— В этаком достатке жили, да чтоб ни золота, ни бриллиантов? Не доверяетесь? Это, конечно, ваше дело...

Она вообразила, что Тина хитрит с ней, и прониклась уважением к такой предусмотрительности.

Поняв, что Тина много беднее, чем казалось, Евдоха стала относиться к ней пренебрежительно. Как Тина и ее отец не могли не пренебрегать теми, кто не умел работать, так старуха не могла не пренебрегать теми, кто не умел нажиться. Больная, страдающая одышкой, она оживала, когда приносили пакеты, узлы, свертки, когда приходилось оценивать, покупать, продавать.

Сперва Тину удивляло, что всех этих ловчащих и шепчущих людей связывала взаимная преданность. Они не оставляли друг друга в беде, вместе обделывали дела и вместе пировали. Потом Тина поняла, что это не преданность, а взаимная порука, которая связывает людей, живущих во враждебном им окружении, и связывает тем прочнее, чем их меньше, чем подлее их дела и чем больше грозящая им опасность. Только среди своих Евдоха была собой, при чужих она становилась приторно-сладкой и настороженной. Она бесшумно скользила по коридору коммунальной квартиры, и Тина не раз видела, как замирает она то возле одной, то возле другой комнаты. Она подслушивала любые разговоры, но молчала до поры до времени—накапливала оружие до нужного случая. Соседи ненавидели ее, а Тина органически не переносила этого разжирелого существа, как губка водой, пропитанного ложью.

По вечерам, лежа за перегородкой, глядя в узкое окно, выходящее на задворки, Тина сжималась от непреодолимого отвращения к людям, шебаршившим за стеной,—к спекулянтке, пожиравшей голубей мира, и ее сообщникам.

Так жила Тина, замерев в ожидании и по-прежнему веря в торжество справедливости. Внезапно вышвырнутая из любимого мира, проникнутая отвращением к тому миру, в который бросила ее жизнь, повисшая в безвоздушном пространстве меж ними, она верила, что вот-вот на пороге появится отец, а вместе с ним вернется правда, мир обретет свои реальные очертания и хмарь рассеется.

В середине августа приехал Юрий. Он странен был в Тининой щели, со своим тонким лицом, в своем великолепном костюме, со своей почти изысканной сдержанностью слов и движений. Очевидно, и Тина показалась ему странной: она уловила мгновенное колебание, как бы невольную и едва заметную попытку отпрянуть, когда она бросилась к нему.

После первых, обычных слов он сказал:

— Я не могу тебя видеть здесь и такой. Знаешь что, Тина? Уедем на весь день за город.

Он увез ее в лес, на берег реки. День был знойный и тусклый. Парило. Небо утеряло яркость, стало белесым

от тончайшей пелены. Листья и хвоя деревьев отсвечивали таким же белесым, жестяным отблеском. Юра был очень старателен—катал ее на лодке, угощал фруктами и мороженым, устроил навес и постель из ветвей. Как будто бы все было так, как она ждала, но все давило ее. Мысли. Духота. Жестяной блеск знойного и тусклого дня. Вечером он отвез ее домой. Прощаясь, она спросила:

— До завтра?

— Я поздно освобожусь...

Утомленная, она, не думая, согласилась:

— Хорошо. Я позвоню тебе послезавтра.

Но на следующий день она затосковала о нем.

«Почему мы не вместе в эти часы такого большого и общего горя? Он поздно освободится. Но что такое поздно? Десять? Одиннадцать? Пойду к нему и буду ждать».

Он занимал комнату в большой квартире брата. Здесь же прежде жил и старик. Тина не любила жену брата Лелю и редко бывала у них. Но иногда, соскучившись по Юрию, она приходила «сюрпризом» и ждала его, устроившись на тахте в его комнате. Он всегда встречал ее с искренней радостью:

«Тина! Вот чудесная неожиданность!»

Ей открыла Леля. В кухне пахло сдобным тестом и лежали кучи ореховой скорлупы—ореховый торт был коронным блюдом этого дома. Не дружбу и не сочувствие, а испуг и растерянность прочла Тина в глазах Лели.

— Тина!.. Мы звонили... Нет, нет, нет, не сюда!.. Там к Юре и Мише пришли по делу...

Из столовой доносились голоса. Прозвучал чей-то смех. Тина поняла: там были гости, и хозяйка не хотела, чтоб они встретились с Тиной.

— Я хочу пройти к Юре... Подождать...

— Сейчас... Сию минуту...

В полураскрытой двери Юриной комнаты мелькнул знакомый серый костюм. Тина быстро прошла по коридору, распахнула дверь. Юра открывал окно и не услышал ее прихода. В комнате было накурено, в розовой раковине на столе еще дымились непогашенные окурки. Очевидно, гости только что перешли в столовую.

Юрий повернулся.

— Тина!

Стыд, жалость, досада, замешательство, страдание изменили и исказили его обычно спокойное лицо. Он бросился к ней.

— Я сейчас объясню.

Но она уже не смотрела на него.

Чего не хватает ей в этой комнате?

Тревожное, опасное, угрожающее отсутствие чего-то необходимого отбросило мысли о Юре, о Леле, о гостях. Портрет! Ее взгляд искал и не находил на стене привычного пятна. Да, вот и квадратный след от него. Здесь висел портрет старика.

Еще не веря себе, она через стеклянную дверь заглянула в кабинет. И там квадратное пятно.

— Сняли портрет?!

Резко, в грудь оттолкнув Юрия, она пошла в прихожую. Юрий обогнал ее и загородил выходную дверь.

— Тина, подожди... Тина, подумай!

— Вы трус.

— Тина! Чего вы хотите?—Он говорил глухо и быстро.—Смерть меня не пугает, вы знаете, на войне мы не были трусами! Погибнуть во имя народа—хоть сейчас! Но погибнуть как враг народа? Чего вы хотите от нас?

— Вы чего хотите?—Злобный шепот Лели в полутемной передней, мелкая дрожь ее подкрашенных губ потом долго преследовали Тину.— Вы чего хотите? Вы бессемейная. А у нас с Мишей дети! А Юра на отцовской кафедре... И так едва держится... Вы чего хотите?

Тине было отвратительно ее лицо, мелко-злобное, ее зад, низкий и тяжелый, как у ваньки-встаньки.

В дальней комнате звучал беспечный женский смех, кто-то играл увертюру к опере «Кармен», а тут, в прихожей, глухо и злобно шептались люди, охваченные петлей одного горя.

— Я бы поняла пассивность. Я бы поняла отчаяние. Но снять портрет отца! Мой отец защищал вашего отца смелее, чем защищаете вы, его сыновья... Трусы! Пустите!

Она говорила полным голосом. Пианино в дальней комнате смолкло. Юра отступил от двери.

Тина бегом спустилась по лестнице, бегом добежала до своей конуры.

Его бессмысленный обман был унизителен. Но он не так мучил ее, как два квадратных пятна. Снять портет отца... Сыновья! И все же она ждала. Она даже была уверена, что он прибежит сейчас же следом за ней, чтоб объяснить, удержать.

Сперва она думала: «Не пущу. Пусть стоит у дверей хоть всю ночь».

Потом она стала думать: «Только бы пришел! Ведь нельзя же так...»

Она смотрела на часы. Прошел час. Он не бросился вслед за ней. Значит, он ищет минуты, когда удобно будет

уйти из дома. Прошло два часа. Он придет, когда уйдут гости. Прошло три часа. Может быть, он ходит под окнами...

Она выбежала, обошла дом. Никого. Третий час ночи. Он уже не придет.

Медленно сочился рассвет. Она видела, как постепенно белела и становилась водянистой ночь.

Он пришел к вечеру следующего дня.

— Тина, вы должны понять...

— Я все уже поняла.

— Нет. Ты должна выслушать. Ведь я не обманывал. Я же не сказал, что я на работе или на собрании. Я просто, не объясняя причины, сказал, что поздно освобожусь. Я не обманывал.

— Зачем вам прямой обман? Вы так любите чистоту. Можно сработать чистенько.

— Тина! Хорошо. Оскорбляйте. Я заслужил... Я хотел позвать вас, спросите брата! Они возражали. И у нас с ним сейчас шаткое и трудное положение. У нас были вчера влиятельные и щепетильные люди. Уже одно то, что они пришли к нам, к двум сыновьям «врага народа», как они считают! Но если еще сюда и третьего... Жизнь есть жизнь. Нельзя было усугублять...

— Вот и не будем «усугублять». Идите, Юра.

— Тина! Я не подлец. И я по-прежнему хочу быть с вами. Нельзя же рвать из-за одного этого...

— Портрет!

— Тина, если бы ты знала, как я люблю свою работу. Она под угрозой! А я не могу без нее. Не вини меня.

Она ответила тихо.

— Я не виню. Я просто не люблю.

— Значит, вы никогда не любили меня.

— Да. Конечно. Но и вы тоже.

С безразличной, почти старческой ясностью она видела и понимала в нем все, что когда-то казалось непонятным. Талантливый, до конца погруженный в свою работу, в редкие свободные часы он тянулся в тот дом, где проще и легче всего было отдохнуть. Его тянула Тина, остроумная и жизнерадостная хозяйка уютного дома, дочь известного в области человека. Но придавленная горем Тина из запечной каморки, Тина — дочь репрессированного отнюдь не притягивала его! Это еще можно было простить и расстаться без гнева. Человек, который так много отдает сложнейшим расчетам, может быть обедненным в чувствах. Но портрет... Портрет ее отца висел над изголовьем ее постели. Снять? Лучше б у нее отсохли руки!

Она улыбнулась с недоброй иронией.

— Уходите, Юра. Не будем... «усугублять»!

Он ушел. Она осталась одна. Как легко соскользнула с нее эта «любовь»! Да и не за что было ей зацепиться!! Она перебрала в памяти месяцы, проведенные вместе. Только и было дорогого — букет роз. Этого слишком мало. Пустота. Девичье ожидание кануло в пустоту. Любви и в помине не было, Юры, которого она считала другом, тоже не было. Не утрата этой несуществовавшей любви и несуществовавшего Юры давила ее, но на глазах перевернувшийся мир. Может быть, и того милого, трудного, но справедливого мира, в котором она жила всю жизнь, так же не было, как любви и как Юры?

Но отец был! Он был самым близким, самым реальным, самым живым и выверенным воплощением того мира, в котором она выросла.

Начались дожди. Тину мучило то, что отец ушел без пальто, в легких туфлях. Близились сентябрьские заморозки. Надо было что-то делать.

Она решила проникнуть домой к Корилову, у которого однажды была. Вахтер не пропускал ее без вызова, а на письма и звонки Корилов не отвечал.

Тина узнала, что жена Корилова Мирра Мироновна с младшими детьми все еще живет на даче, а дома он, старшая девочка и домашняя работница Валя.

Утром, нарядная и веселая, Тина подкараулила Валю у входа в дом.

— Валечка! Как кстати! А я как раз к вам! Я с дачи и опять на дачу! Мирра Мироновна просила передать мужу записку и привезти ответ. Я сейчас же еду обратно, я могу захватить...

Случилось так, как она хотела, — она вошла в дом, болтая с домашней работницей, и вахтер не задержал ее. Так она проникла в квартиру Корилова. Теперь важно было действовать сразу, пока хозяева не успели опомниться, пока ее не вывели.

Из спальни доносилось мужское покашливание, и Тина быстро вошла в спальню. Корилов лежал в постели и просматривал газеты. Увидев ее, он отбросил газеты и приподнялся.

— Простите... Я должна была... Мы же знакомы... Я пришла...

Она видела, как секунду он колебался: позвонить, закричать, выгнать? Потом, очевидно не желая скандала, откинулся на подушки:

— Да, я вижу, что вы пришли... даже ворвались. Ну что же, садитесь. — Он указал ей на пуф возле кровати.

Она послушно села, чувствуя облегчение уже от того, что ее не выгнали.

Он оглядел ее с ног до головы. Глаза его были

ледяными. Он искал правильного поведения в этом неожиданном положении.

— В конце концов это даже приятно... проснувшись, увидеть хорошенькую знакомую.

Казалось, он уже забавлялся ситуацией. Но точно рассчитаны им были каждый жест и каждая интонация.

Потянувшись за папиросой, он коснулся рукой ее колена.

— Я пришла говорить о деле...

Он поднял высокие дуги бровей.

— Здесь я не говорю о делах! Если «на войне как на войне», то «в спальне как в спальне»!..

Она встала и отошла к стене. Она понимала: он казнил ее за вторжение, казнил наиболее легким для него и наиболее оскорбительным для нее способом. Точно и тонко он казнил Тину ее же оружием — тем положением, в которое она себя поставила сейчас. Она не была для него ни знакомой, ни дочерью знакомого, ни девушкой, которая нравилась ему и однажды заставила разоткровенничаться. Для него существовала сейчас лишь дерзкая просительница, которую надо было как можно беспощаднее казнить за дерзость. Второй раз в жизни ей захотелось убить человека. Она смежила веки.

— Я пришла сюда потому, что не могла добиться разговора с вами на работе. Я пришла к вам как к коммунисту говорить о деле, которое для меня важнее жизни.

— Что касается дела...— Он откинул одеяло и сел. В смятении она подумала, что он сейчас встанет при ней в одном белье, лишь бы наказать и оскорбить беспощаднее. Но он был в пижаме. Поднявшись, он продолжал: — Что касается дела, то вам давно пора понять, что все ваши письма, заявления, а тем более подобные авантюры не принесут пользы. Скорее наоборот...

— Но речь идет о человеке, пострадавшем невинно!

Нетерпеливым и повелительным жестом он остановил ее.

— Если речь идет о деле, то вам надо знать, что решаю не я, а закон и обстоятельства дела.

Он шел к двери, она загородила дверь и заторопилась:

— Я вас понимаю... обстоятельства будут за него. Я прошу об одном: скорее и тщательнее разобраться в этих обстоятельствах! Ведь невинно... Ни вести, ни передачи... Он стар, нездоров, он ранен на войне! Он не вынесет!.. Кого просить? К кому идти? Ведь я всех молю сейчас об одном — ускорить разбирательство!

Он медленно ответил:

— Ускорить?.. Может быть, это и придется сделать.

Он прошел в ванную и крикнул оттуда шоферу:

— Костя, проводите Тину Борисовну!..

Начались занятия в институте. Тина переселилась в общежитие. Соседки по комнате при ней, как при тяжко больной, понижали голос и сдерживали смех. Их заботы трогали ее, но она понимала, как трудно девушкам, из которых брызжет молодость и веселье, поминутно ощущать близость чужого горя. Она уходила заниматься в библиотеку, бродила одна по улицам, а в те часы, которые проводила в общежитии, занималась хозяйством всей комнаты. Она прибирала, чистила. Засияли окна, лампы, чайники. Блестели белизной салфетки и скатерти, а она все искала дела для тревожных рук. Она знала, что отец сохраняет мужество, и старалась быть достойной его дочерью.

Ее ждало еще одно испытание. Ее вызвали в комитет комсомола. Пятикурсница Лопаткина, изможденная, желтолицая женщина с лихорадочными глазами, взяла слово:

— Я считаю, что в наших рядах не место человеку, который родственные связи ставит выше комсомольской принципиальности, который жил бок о бок с врагом и не смог или не захотел распознать и разоблачить врага. Вот почему я и группа товарищей подали заявление об исключении студентки Карамыш из рядов ВЛКСМ.

На Тину нашло непреодолимое оцепенение. Она едва выдавила несколько слов:

— Отец не враг... Он коммунист... Он лучший из людей...

— Неубедительно! — крикнула Лопаткина.— Бездоказательно! Ты его защищаешь — значит, ты сочувствуешь врагу?

Тину спросили:

— Что еще вы можете сказать?

Она молчала. Она чувствовала, что молчание губит ее, и не могла раскрыть рта. «Что говорить? Оправдываться? В чем?»

— Ну что вы, ребята?! — услышала она удививший всех досадливый и нетерпеливый голос своего однокурсника Володи Бугрова. Бугров был спортивной гордостью института и поэтому обычно не утруждал себя студенческими занятиями и делами.

На стадионе славились «бугровские рывки». До середины дистанции Бугров бежал вразвалку, поглядывая по сторонам, чуть ли не посвистывая. В конце делал «рывок». Рывок не всегда оканчивался удачей, но всегда придавал остроту состязаниям и приносил спортсмену успех у девушек. В институте Бугров тоже занимался «рывками» — полгода ничего не делал, а перед экзаменами

его начинали вытаскивать всем курсом. Его любили и прощали ему провалы на экзаменах за спортивные успехи и природное добродушие. Беззастенчивость, с которой он получал плохие отметки и приносил на экзамены чертежи, сделанные руками девушек, вызывали в Тине пренебрежение. Что может сказать о ней этот недалекий «баловень стадиона»?

Обычной своей ленивой развалкой он вышел вперед. Весь он был кофейно-коричневого цвета — с лица и рук не сошел еще спортивный загар, светло-карие глаза, казалось, выгорели на солнце. Пшеничный, тоже выгоревший на солнце, чуб дыбился над темным лбом. От него веяло солнцем, курортной непринужденностью, пляжным бездумьем. Он никогда не выступал на собраниях. Почему он вдруг выступил? Что он мог сказать? Губы его кривились досадливо-брезгливой гримасой.

Тина подумала: «Сейчас скажет: «Что там долго возиться? Голоснем за исключение — и вся недолга».

Он вышел вперед и повторил:

— Ну что это, ребята? Ведь сказано: дети за отцов не отвечают! Ее упрекают, что она не распознала врага. Так его вся область не распознала. Что же вы от нее хотите?

— Ты хорошо ее знаешь? Можешь ручаться? — спросила Лопаткина.

— Да вовсе я ее не знаю! «Здрасте-прощайте» — все знакомство. Но я же из принципа! Вы обвиняете: почему она сейчас молчит? Да если б мне кто-нибудь сказал, что я бандит и сочувствую бандитам, разве я стал бы разговаривать? Я бы дал в зубы — и никакого разговора!

— А если б с тобой говорил официально член комитета? — спросила Лопаткина.

— Все равно дал бы в зубы.

Бугров, не поворачивая головы, покосился на Лопаткину и сделал едва приметное, но такое лукавое и выразительное движение плечом и кулаком, что все рассмеялись: здоровье и добродушие Бугрова заражали. Все сразу показалось проще, легче и здоровее. Большинство выступавших поддержали Бугрова.

После заседания комитета Тине хотелось поблагодарить его хоть взглядом. Проходя мимо, она нарочно задержалась, но он не взглянул на нее. Как всегда, он стоял в окружении.

Худенький, маленький студентик тыкал его в грудь и, чуть заикаясь, говорил:

— Ч-человек, загубленный стад-дионом! Если б тебя не загубили лавры стад-диона, ты мог бы стать ч-человеком!

— Правильно выступил Володька!

— «Бугровский рывок»!

Несмотря ни на что, в мире были справедливость и свет. Тина ушла с облегченной душой. Еще непоколебимее стала Тинина уверенность в том, что отец скоро будет дома. Придет кто-то безбоязненный и здоровый духом, скажет простые, истинные слова, и все в мире встанет на свое место.

Наступили холода. Тина снова стала добиваться свидания с Кориловым. Она поймала его у машины, и он назначил ей час приема.

Ее принял один из его помощников и сообщил, что отец умер неделю назад.

Тина не могла идти в общежитие, не могла говорить. Без цели и без смысла она шла по улицам. Ноябрьский холодный дождь то хлестал, то сеялся мелкой моросью, то снова поливал землю косыми струями; городские улицы сменились переулками пригорода, потом началось поле, за полем снова дома. Тина шла и шла. Она очнулась в незнакомой деревушке. Долго стояла на ветру у автобусной остановки, вымокла до последней нитки. Дождь, холод, физическое страдание отвлекли ее от того страшного, что она узнала, о чем боялась думать.

Глубокой ночью она добралась до общежития. Она была рада тому, что огонь погашен и девушки спят. Она была не в силах рассказывать. Не зажигая огня, не раздеваясь, она свалилась на постель.

К утру у нее начался бред. Через день ее с воспалением легких увезли в больницу.

Целыми днями она лежала, плотно сомкнув веки. Она видела львиную голову отца, его добрые воспаленные глаза. Она думала о нем непрерывно. Она вспоминала то летящее утро, в которое он вернулся. Как они счастливы были оба! Зачем он вернулся, зачем не умер в один час с матерью? Умереть за родину, на славном поле боя, в один час и рядом с любимой... Никогда не испытать того, что он испытал в последние дни...

Она все время представляла его глаза: какое недоумение застыло в них, какая смертная горечь! Эта смерть и мир, привычный и любимый ею, были несовместимы. Куда он исчез, этот мир? Да и был ли он?

Все внутри стало подобно открытой ране, все в мире стало острым и ранящим. Больно было видеть звезды, загоравшиеся за окном. В эти дни ей стало больно видеть газеты, не могла она найти в них ответа на мучившие ее вопросы. Услышав о чьей-то смерти, она думала о покойнике: «Счастливый! Он умер от болезни!» Услышав рассказ об умершем, она думала: «Смерть делает священной память об умерших, даже о скверных, даже о

ничтожных. И только тебе смерть не принесла и этого блага...»

Ночами и днями она непрерывно и безмолвно говорила сама с собой: «Мать отняла война. Она воевала за мир справедливости... Но какой войной отнят отец? Есть ли смерть страшнее, чем его смерть? Отдав душу партии, быть казненным врагами партии, прикрывшимися именем партии!..»

Ночи и дни проносились для нее незаметно, гонимые вихрем мыслей. Около двух недель она не спала, и снотворное было бессильно успокоить мозг. На третьей неделе ее свалил сон, глубокий, как наркоз.

Тина проспала двое суток, а когда проснулась, боль сменилась тупым безразличием к себе и к миру. Утратив меру добра и зла, она утратила способность к любви и к ненависти. Утратив веру в людскую справедливость, она утратила интерес и к людскому суду. Лишь собственное суждение теперь имело для нее смысл и цену. Ум ее приобрел болезненную остроту, он напоминал ум человека, впервые посетившего анатомический институт, пораженного безобразным зрелищем кишок, почек, легких... Как этот пораженный человек невольно видит под кожей здоровых людей безобразные органы, так и Тина не могла не слышать за обычными фразами лжи.

Ее соседкой по палате была молодая добродушная аспирантка кафедры марксизма-ленинизма.

— Наша кафедра в любом институте будет ведущей! Мы закладываем идейные основы!

Раньше Тина улыбнулась бы наивной важности, теперь она содрогалась от того, что за этой важностью чувствовала не интерес к идеям, но лишь гордость «ведущим положением».

Муж, ассистент той же кафедры, спрашивал жену:

— С кем это ты разгуливала в больничном саду?

— С генералом из пятой палаты!

— Скажите! Она уже разгуливает с генералами!

Слушая эти простые слова, Тина отворачивалась с отвращением. За незамысловатым диалогом раскрывались ей самодовольство жены и мелкая гордость мужа. Он приходил ежедневно, и часами они говорили о вещах, модах, театрах, но ни разу не прозвучал в разговорах этих ревнителей идейных основ интерес к мысли, к идее, к книге. Тина судила их своим судом и осудила строже, чем Евдоху.

Поправившись, Тина вернулась в институт и машинально стала делать все то, что делала раньше,— есть, пить, учиться, убирать комнату. Ей казалось, что к такому мертвенному равнодушию, как у нее, смерть должна

присоединиться сама собой. Она старалась думать как можно меньше. Заботами учебы и повседневности она окружила себя, как железным кольцом, ограничила им круг чувств и мыслей. Но чем меньше она старалась думать, тем ярче становились представления. Мысли, загнанные в подсознание, не угасали, но, застаиваясь, сбраживаясь, загустевая, превращались в образы.

Сны ее по яркости и многообразию не уступали действительности. Ей снились сны с продолжением, сны-воспоминания, сны-аллегории. Из ночи в ночь видела во сне давно забытое происшествие.

Много лет назад она ехала в трамвае. Впереди нее села девушка с большой корзиной яблок. Девушка была белокурая и цветущая, с кудряшками над выпуклым и гладким, как яблоко, лбом, с родинкой на румяной щеке. Что-то испортилось в проводах, и трамвай остановился. Многие пассажиры, а среди них и девушка с яблоками, вышли из трамвая. Через минуту трамвай снова двинулся, и вышедшие бросились обратно. Раздался внезапный крик, и трамвай остановился рывком. Тина вышла и подошла к людям, сгрудившимся у рельсов. Яблоки раскатились по пыльной мостовой. Девушка лежала на рельсах. Платье ее задралось. На месте бедер виднелось кровавое мясо с острыми обломками розоватых костей, простенькие кружева комбинации вмялись в страшное месиво. Девушка говорила очень ровным голосом:

— Опустите мне юбку... И помогите мне! Что же я лежу здесь?

Лицо у нее было бледное, но спокойное, и только в глазах, уже запавших, была отрешенность, да голос, слишком ровный, казалось, доносился издалека.

— Неужели же ей не больно?—спросили в толпе.

Кто-то ответил:

— Это называется шок. Когда чересчур больно, человек перестает воспринимать боль.

— Умрет, не выживет...

— Слабая, ясное дело, умерла бы. А эта уж больно сильна! Не помрет, выживет на свою беду!

Тине снилось, что она так же с раздробленными ногами лежит на пыльной мостовой. И так же она уже не чувствовала боли, но была отчуждена от всего, что творилось на земле.

В зачетной книжке ее по-прежнему стояли отличные оценки. По-прежнему блестели ножи, вилки и чайники в тесной студенческой комнате. По-прежнему девушки из ее комнаты относились к ней с нежностью. Тина радовалась, когда они приходили, но не скучала, когда их не было. Будь на их месте совсем другие девушки, она так же

убирала бы их комнату, так же наряжала бы их в свои блузки и воротнички — она так мало дорожила вещами, своим временем, своим трудом, самою собою. Чем она могла бы еще дорожить? Она не знала. Отдала бы она девочкам то, что ей самой было дорого? Этого она тоже не знала. Но как жить, не дорожа ничем — ни собой, ни людьми? И этого она не знала. Перестав чувствовать любовь, она перестала чувствовать отвращение. С теми, кого она раньше считала лучшими, теперь ей было хуже, чем с другими. Их хотелось спрашивать: «Если вы хорошие, то как вы можете допускать такое? А если вы плохие, то зачем же вы лжете, что вы хорошие?» Они тревожили мысль, и она торопилась уйти от них. К удивлению девочек из комнаты, она упорно избегала приходившего к ней Юру Гейзмана, избегала многих других, но зато часто уходила с полухмельным Алексеевым. Он был не плохой, не хороший — он был ничтожный, и ей было легко с ним из-за его ничтожества. Обмороженному месту не опасен мороз, лишь теплота возвращает боль. Она знала, что возле него ей не угрожает единственное, что могло вернуть боль, позвав ее к жизни, единственное, что было опасно для нее, — благородство. Ни одна мысль и ни одно чувство не пробуждались его присутствием. Она забывала о нем, едва отвернувшись от него, а бывая с ним, бросала безмолвный и презрительный вызов другим: «Вы считаете, что вы умные, честные, хорошие? Вы хуже, чем он. Он откровенен в своем ничтожестве. А вы лжете, играя в честность».

Ее пренебрежение уравнивало всех, убивало интерес к людям и оставляло лишь равнодушное любопытство как раз к тем темным сторонам людей и жизни, которые прежде были ей неизвестны. Заморозив свои чувства, заставив умолкнуть свои слова, она тем легче заговорила на чуждом ей языке тех, кто будил ее презрительное любопытство, будь то Евдоха, Алексеев или аспирантка с ведущей кафедры. Ей не приходилось даже притворяться с ними. Как шкатулка с черной полированной крышкой, она под тремя замками недоступно и недостижимо для других хранила свое, но безразлично отражала черной пустотой поверхности все скользившее мимо.

А жизнь задавала загадки ей и ее презрению. Люди создавали новые машины, меняли русла рек, рыли каналы, строили гигантские плотины и гидростанции и радовались этому. И она не могла не воспринимать величия этих дел и чистоты этой радости. Как же совместить все это с тем черным, что ворвалось в ее жизнь? Знакомый физиолог когда-то рассказывал ей об эксперименте над собаками. Чтобы получить у собаки искусственный нев-

роз, надо приучить ее на звонок получать ласку и пищу, а на вспышку света получать удары, а потом совместить и звонок и свет. Два таких одновременных, противоречивых и несовместимых раздражителя поставят перед мозгом непосильную задачу и приведут к мертвенной заторможенности всех рефлексов. Собака перестает пить и есть, теряет подвижность и восприимчивость. Часами сидит она в оцепенении, безразличная к окрикам, к ласке, к самой себе. Тина напоминала такую собаку. Жизнь поставила перед ней задачу — совместить несовместимое. И душа ее, придавленная тяжестью этой непосильной задачи, впала в мертвенное оцепенение.

Но однажды, когда девушки в общежитии заговорили об угрозе новой войны, Тина поймала сама себя на внутренней решимости. Что она сделает, если на страну нападут? Конечно, пойдет на фронт! Разве можно отдать то, во имя чего погибла мать, чем жил отец, то, ради чего жил Ленин и тысячи лучших? Ведь оно существовало, оно росло, несмотря ни на что. Удивясь, она спросила себя: «Значит, все-таки есть такое, чем я дорожу?» Равнодушная к себе, к своей судьбе, к земле и к небу, она не могла не дорожить тем, что создали лучшие.

Приближались зимние каникулы.

В прежние каникулы и поезда, и пароходы, и самолеты, и лучшие санатории лучших курортов — все было к ее услугам.

Теперь ей некуда было ехать.

— Останусь в общежитии,— сказала она Нине, старосте комнаты.

— Одна в пустом общежитии?! С ума сойти!

Подруги предложили ей на выбор — поехать к Нине или к сокурснице, дочке профессора. Она побоялась стеснить родных Нины и не захотела ехать в веселый профессорский дом.

— Есть еще вариант,— сказала Нина.— В доме у Володи Бугрова свободный мезонин. Они вдвоем с матерью, а у них целый домик. Володька засыпался по машиноведению и запустил все предметы. Надо его вытягивать! Если б ты у них жила, и тебе хорошо бы, и ему...

Тине захотелось помочь своему защитнику. Он принял предложение девушек как должное:

— У меня же тренировки. Я держу первенство института по шести видам спорта и первенство области по двум. Я институт выручаю на стадионе, а ты меня выручай на занятиях!

Так Тина очутилась в маленьком домике рабочего поселка. В тихих комнатах с крашеными полами и изразцовыми лежанками неслышно двигалась мать Воло-

ди, которую он звал «бабушка»,— Прасковья Федоровна, маленькая, полная старушка с ласковыми, словно о чем-то спрашивающими глазами. Она стряпала, стирала, мыла и чистила, а каждую свободную минуту вязала, не глядя на вязанье, с таким необыкновенным проворством, что спицы становились почти неразличимыми.

— Внучатам,— немногословно объяснила она Тине.— Старший сын не пришел с войны. Внучатки есть, да далеко. И подсобить нечем. Володя сам на стипендии. Только вот свяжешь, пошлешь кое-что...

Она устроила Тине пышную постель, затопила печь и сказала нерешительно:

— У меня геранька хорошая есть. Только я не знаю, понравится ли вам? Некоторые говорят — деревенское украшение.

— Я люблю гераньки.

Старушка обрадовалась, принесла в мезонин три горшка герани и поставила их на салфеточки, вырезанные из бумаги. С первых же минут Тина увидела в бабушке Прасковье кротость и потребность незаметно и неустанно делать что-то для других. Вечером, когда Тина улеглась и погасила свет, бабушка тихонько приоткрыла дверь:

— Тут кот наш пробрался. Приважила я его спать на постели. У меня все спина болит, он греет — мне и легче. А вы, может, не любите, так я его возьму.

— Нет, я люблю...— сонно сказала Тина.

Она отдыхала. За окном в ярком свете уличного фонаря безостановочно хлопьями падал снег. Кот прыгнул на кровать и осторожно пошел вдоль Тининого бока, мурлыча и отыскивая местечко поудобнее.

Все было непохоже на виденное и пережитое, все было просто и тихо в добром мире бабушки. Ничто здесь не будило тяжелых мыслей, не ставило неразрешимых задач. Она проснулась отдохнувшей, погладила кота, босиком побежала к гераням, потрогала лепестки, подышала на замерзшее окно: «Что со мной? Отчего мне так легко здесь? Бабушка? Да, конечно, лучше всего бабушка! Как мне ее надо! И весь этот домик, тихий, отличный!..»

Как после тяжелой болезни, все было внове, и все нравилось: снег за окном, небо над крышами, крашеные половицы, желтые кошачьи глаза.

После чая она усадила Володю заниматься.

— Прочитай и расскажи,— сказала она строго.

Он рассказывал сбивчиво и небрежно.

— Ты представляешь материал,— заявила она, выслушав,— но у тебя нет ни малейшего понятия о логике! Тебя все время куда-то заносит! Ты часто отклоняешься от основного направления! Это меня не устраивает.

Он весело рассмеялся.

— Зато меня устраивает!

— Володя, я считаю, что я вправе жить у тебя только в том случае, если ты сдашь на «отлично»! Или ты будешь знать отлично, или я уезжаю!

— Вот так альтернатива! — Он снова засмеялся.

Сперва он зевал и пытался поскорее кончить занятия, но Тина со свойственной ей методичностью и работоспособностью была непреклонна.

Вечером он уговорил ее покататься на лыжах. Она упала, запнувшись за кочку.

— Ты представляешь себе лыжи, но у тебя нет ни малейшего понятия о ходьбе на лыжах! — мстительно говорил он, стоя над ней.— И куда тебя все время заносит? И почему ты отклоняешься от основного направления? Это меня не устраивает!

И, лежа в снегу, она рассмеялась впервые за много времени.

Жизнь их пошла легко и гладко. Они вместе занимались, а после занятий вместе бегали на лыжах и на коньках. Тина не проявляла к спорту способностей, и Володя был горд своим преимуществом.

— Не смей думать! — сердился он.— На коньках некогда размышлять! Надо действовать! Освободи голову! Ну, раз, два...

Она с радостью подчинялась его команде «не думать».

Тина привязалась к бабушке и все больше привыкала к Володе. Она обнаружила у него хорошие способности. Он учился плохо лишь потому, что не утруждал себя, считая, что с него достаточно лавров стадиона. Однажды он помогал соседним ребятишкам строить снежную гору, а Тина смотрела на него, стоя возле калитки. Он хлопотал молчаливо, но старательно и с удовольствием, словно полагал, что строительство снежной горки для ребят и есть его самая важная жизненная задача.

Тина невольно улыбнулась, глядя на него. И он, увидев это, улыбнулся ей доброй, застенчивой, совсем «бабушкиной» улыбкой. И в эту минуту за беспечным любимцем стадиона Тина отчетливо увидела его мать, маленькую тихую женщину с ее потребностью вечно хлопотать о других и кротко радоваться этим хлопотам, с ее способностью к незамысловатому счастью, свойственною чистым, здоровым душам.

Мать помогла ей глубже понять сына.

Однажды утром, открыв дверь, Тина увидела, что Володя сидит с книгой на ступеньках мезонина.

— Почему ты занимаешься здесь? Ведь здесь неудобно!

Он молча улыбнулся своей застенчивой, мягкой улыбкой, и в глазах у него Тина увидела хорошо знакомое ей, преданное «собачье» выражение...

В ласках бабушки появились тревога и преувеличенность, которых Тина не понимала до одного случайного разговора.

Бабушка рассказывала ей про своего мужа:

— И красив был, и ласков, и мастеровит. Одна в нем была подверженность. Подвержен он был мастеровой болезни — запивал от времени... Сперва понемногу. Я поначалу и беды не понимала. Не все, мол, у человека вёдрышко, должен каждому выпасть и ненастен день. А после сильнее да сильнее. Вёдрышка и не стало. Одно ненастье. От этого и погиб. Не уберегла. Не понимала смолоду, что за беда. А поняла да спохватилась — поздно!

Она замолчала. Спицы, сами собой летавшие в ее пальцах, дрогнули, затрепыхались, опустились на колени. Тина знала бабушкину способность вязать в любом положении — за беседой, между делом, в полусне. Она думала, что сила прошлой боли парализовала неутомимые пальцы. Но старушка заговорила не о прошлом:

— Володя мой — копия с Алексея. Иной раз как войдет, так и дрогну: живой Алеша... За что бы ни взялся, все к нему само идет. А я и того боюсь. Бывало, старые люди говорили: «Наикращему цветку первому сорвану быть. Наикращей девице первой сгубленной слыть. Наикращему удальцу первому голову сложить».— Сухие пальцы, всегда деловито спокойные, отбросили спицы и тревожно бегали по концам шали, по трогательным беленьким пуговкам темной сатиновой кофты.— И в этом обычае... в приверженности этой... узнаю я Алешу. Худого не скажу. Как все, так и Володя. Ну, погулял с товарищами. Не стоял бы в глазах у меня отец его, может, и не тревожилась бы я. А так... Ведь, бывало, каникулы — сплошь веселье. Первые каникулы он рюмки не пригубил. Первые каникулы день и ночь дома. Пока я жива, он еще при мне, при доме. А ведь у меня в третьем году рак вырезали.

С надеждой смотрели на Тину кроткие глаза матери.

Володя был для Тины уже не посторонним человеком, но таким, судьба которого зависела от нее.

А для Володи она была чем-то вроде диковинной залетной птицы, прилетевшей к нему укрыться.

Многие месяцы жила и ходила в институт дочь заместителя председателя облисполкома, ездила в ЗИСе, носила лучшую в городе шубку и ни разу не заговорила с избалованным девушками Володей. И вдруг нежданно-негаданно появилась у него в мезонине, ходит в серебри-

стом халатике, строго спрашивает у него машиноведение, учится у бабушки вязанью и тихо сидит целыми вечерами рядом с бабушкой, совсем не чужая, не зазнаистая, совсем «своя», грустная, кроткая... ни девочка, ни девушка, ни женщина, а диковинное существо. Залетная птица с подстреленным крылом. Он знал, что, не будь этого крыла, не было бы Тины в его доме. И он любил и ее, и ее больное крыло. Она не только пленяла его, она взывала к его силе, жизнерадостности и доброте. Если бы она была счастлива и здорова, она не заставила бы все его существо зажить так полно и напряженно. Она не пробудила бы с такой силой потребности опекать — главной потребности его натуры. Он понимал, что никого не полюбит так, как Тину, и со свойственной ему веселой ясностью говорил:

— Тина, ведь я же теперь конченый человек! Побит на всех дистанциях!

Она пугалась и торопилась перевести разговор в шутку.

Когда миновали каникулы, Тина заговорила о переезде в общежитие, но бабушка и Володя приняли это как кровную обиду. Она осталась в мезонине.

Простудившись, она заболела гриппом. Две ночи она сквозь сон слышала непонятные, скрипучие звуки в прихожей, но ей было так плохо, что звуки эти шли мимо сознания. На третью ночь, когда ей стало лучше, она снова услышала невнятный скрип. «Опять? — подумала она.— Что же это?» Накинув халатик, она зажгла свет и распахнула дверь.

На полу в крохотной прихожей на плоском тюфячке спал Володя. Серое одеяло сползло, открыв полосатую пижаму. Рука и волосы его были в пуху от зацепившейся за дверной косяк и порванной подушки. Голова упиралась в кухонную дверь — скрип этой двери и беспокоил Тину. Пока она, изумленная, разглядывала его, он проснулся, сел, морщась от яркого света, и доброе лицо его приняло испуганное и виноватое выражение.

— Володя? Что такое? Почему ты здесь?

— Потому что... оттуда... я бы не услышал, если бы тебе стало плохо ночью,— сказал он все с тем же выражением человека, внезапно застигнутого на месте преступления.

Третью ночь он ночевал на полу у ее порога, ни слова не сказав ей об этом. И сейчас ему было неловко и неприятно то, что она застигла его здесь. Красивые глаза его просили о прощении. Ни мужской корысти, ни тайного расчета, ни хитрого умысла. Одна жалость и беззаветная человеческая доброта — дар его матери. Тина поняла это,

и что-то отогрелось, оттаяло внутри. И впервые со времени разлуки с отцом теплые слезы подступили к глазам.

Володя подошел к ней:

— Тебе нехорошо? Или ты рассердилась на меня?

— Нет. Просто вспомнилось.

— Говорят, чтобы не вспоминать, надо как следует выплакаться.

— Я не умею плакать.

— Поучись у бабушки. Она иной раз всплакнет об отце — и сразу как умытая.

— Лучше я поучусь управлять сердцем.

— У кого?

Она улыбнулась.

— У индийских факиров. Они могут учащать, и замедлять, и даже приостанавливать биение сердца.

Она коснулась лбом его горячего плеча, попросила воды. Мать и сын стали самыми близкими для нее во всей вселенной. Она любила их обоих и их маленький дом. Что было там, за невысокими белеными стенами, Тина и не могла и уже не стремилась понять. Но в крохотном кусочке мира, отгороженном этими стенами, все было ясно, тепло и чисто. Здесь можно отдохнуть сердцем и стать самою собою. Тине хотелось отгородиться этими стенами и жить в своем маленьком добром мире, где все понятно и все близко душе, где ничто не мучает ума и сердца непостижимой бесчеловечностью человеческого мира.

Только Володе и бабушке она рассказывала о всем пережитом. Рассказала даже о девушке на рельсах.

— Душа живучее тела,— ответила бабушка.— У тела ноги отрежь — не вырастут, а у доброй души иной раз наоборот: ей ноги отрежут — она крылья вырастит.

Страшные рассказы Тины вызывали ее сочувствие, но не омрачали и не тревожили.

— Тебя еще я понимаю,— говорила Тина Володе.— Ты молодой, и в характере у тебя такая несокрушимая жизнерадостность. Но бабушка?

— Она свое знает,— объяснял Володя.— В молодости жила в бараках, впроголодь, работала с десяти лет. А теперь дом, сад, пенсия, сын в институте, внучата учатся. В этом ее жизнь, и ничем этой жизни не перечеркнешь.

Не нашли поддержку ни у Володи, ни у бабушки и Тинины рассказы о Евдохе и ассистентке с ведущей кафедры.

— Неверно ты их приравняла,— возражал всегда и во всем согласный с Тиной Володя.— Есть у меня для людей одна мера: я прикидываю, как они поступят в случае

войны. Эти «ведущие», может, и не великого ума, а на фронт пойдут и будут воевать. А Евдоха—она же все советское ненавидит, она же оккупации обрадуется, торговлишку заведет.

Тина чувствовала истину в простодушных суждениях Володи и бабушки.

— Я ошибаюсь? Может быть. Но ведь я столько думала об этом!..

— Главное—сохранить здравый взгляд на все, что вокруг. Может болеть весь организм, а может нарвать один палец. Как бы он ни болел, все-таки можно разрезать нарыв, на худой конец—отсечь палец... Конечно, когда он болит, то человеку кажется, что нет в организме ничего важнее этого пальца! Вот и ты смотришь на все с точки зрения больного пальца... Дай полечу!—Он брал ее за руку, целовал и приговаривал:— Бoли́ у сороки, боли́ у вороны... Ну, улыбнись! Ты же у нас, как индийский факир, можешь управлять сердцем.

И Тина улыбалась.

Его доброта, ясность и жизнерадостность заражали Тину. Она спокойнее смотрела на звезды и на людей, с интересом тянулась к газетному листу.

С каждым днем она все глубже привязывалась к бабушке и Володе; изголодавшаяся по семье, она уже видела в них свою семью; изголодавшаяся по родному дому, она видела в их доме свой дом. Пусть это маленький дом, с тесноватыми комнатами и низкими потолками, зато в нем есть такие качества, как чистота и устойчивость.

Наступила весна. По воскресеньям Володя и Тина уезжали на лодке за реку. Пышно цвела черемуха. Тина и Володя лежали на молодой траве. Одуванчики, щедро золотые и мохнатые, как пчелы, тянулись к солнцу на эластичных трубчатых стеблях. Молочный сок просвечивал и перебивал зелень стеблей, они светлели, белели, слегка розовели на изгибах. Местами соцветья отгорели, и на зрелых, телесно-розоватых стеблях сидели крохотные, круглые облака, в шутку подаренные земле высоким небом. Полупрозрачная зелень молодой травы сквозила на солнце. Каждая травинка что есть силы тянулась к небу, жила своею особой жизнью, играла продолговатыми бликами, трепетала и вздрагивала от сквознячков и ветерков, незаметных другим, но безостановочных. Тонкие тени травинок сплетались живой, изменчивой вязью. Над водной гладью летел пух.

Володя нашел нору в земле и принялся ее расковыривать.

— Не надо!—попросила Тина и заговорила, не выби-

рая слов, не мудрствуя, как она могла говорить лишь сама с собой да с Володей.— Мне самой иногда хочется в такую норку! Я жила в просторной квартире, но я столько лет была в ней одна! Потом папа приехал, но тут же я уехала учиться. Наконец и его перевели сюда. Но нам не дали пожить вместе! — Безотчетным, порывистым движением она коснулась виском Володиного плеча. Голос прозвучал жалобно.— Хочется норку маленькую-маленькую. Но чтобы она была всегда... и чтобы те люди, кем дорожишь, тоже были всегда...

— Тина, так пусть будет всегда... Мы же с бабушкой только этого и хотим. И дом у нас «маленький-маленький», как тебе хочется. Слышишь, Тина? Пусть будет «всегда»... И ведь я уж не могу так дальше... быть с тобой и чужим тебе. Дальше так невозможно.

В глазах его отражалось солнце. На сильных, мускулистых плечах лежал первый загар. Все в нем и в его чувстве к ней было просто и молодо, как трава.

Тот, чей ум истерзан сложностью неразрешенных жизненных задач, не ищет мудрствования. Последнее время только Володе она раскрывалась до конца, только с ним отдыхала всем существом. При нем она не стыдилась быть горестной и беспомощной, с ним становилась иногда беспечной и бездумной, как девочка; ему говорила о самом страшном, обо всем скрытом, с ним болтала о чем попало; при нем плакала, с ним играла в смешные детские игры — в пятнашки и в чижики. Доверие и признательность, нежность и покровительство, веселое спортивное товарищество и совместные студенческие труды — все связывало их. Она не только дорожила любовью Володи, но и сама относилась к нему с нежной и неизменной привязанностью. Не многим натурам свойственна такая настоятельная потребность в привязанности, в семье, в тепле, какая отличала Тину. Но жизнь сложилась так, что не было возле нее ни родителей, ни сестер, ни братьев и после пережитой катастрофы рядом с ней оказалась одна преданная и родная ей душа — Володя. Утратить и ее? Пойти еще на одну утрату? Тина не в силах была думать об этом. И сейчас, когда Володя повторил: «Пусть будет «всегда», я уж не могу дальше»,— она встала, закрыла глаза. Прижалась к стволу черемухи. Какие слова женщины говорят любимым в такие минуты? Тина хотела бы сказать эти слова Володе, но не нашла их. Она посмотрела на облака, плывущие в небе, на белые ветви над головой и с силой тряхнула черемуху. Посыпались легкие лепестки. Володя понял ее. Он поднялся и притянул ее к себе:

— Ну вот, и навсегда...

В институте все приняли известие о их браке как нечто само собой разумеющееся. Только Нина, староста комнаты, жестоко осудила Тину:

— Ты не любишь его так, как он этого стоит. Ты как ящерица — сама холодная, поэтому все греешься у чужого тепла. Ты сама никого не любишь, лишь бы тебя грели, лишь бы тебя любили!

Нина была неразлучна с Володей с первого курса. Он был «ее Володя», и это все знали, хотя, кроме дружбы, ничто их не связывало. Она подружила Тину с Володей, желая добра обоим. И вот неожиданно для нее они поженились.

Тина была удивлена ее несправедливыми нападками, но ей некогда было размышлять о них. Теперь у нее была своя семья «навсегда» и свой дом «навсегда», и она хотела, чтоб в этой семье и в этом доме все было как можно лучше. Ей надо было учиться, вести дом и ухаживать за бабушкой, доживавшей последние месяцы. Раньше для того, чтобы дома было уютно, можно было пойти в магазин, купить шторы, скатерти, люстры, позвать полотера, заказать цветы в цветочном магазине. Теперь надо было своими руками выстирать, накрахмалить и отутюжить скатерти, вымыть полы, вырастить цветы в палисаднике.

Вскоре Тина и Володя схоронили бабушку.

— Теперь ты у меня одна на всем белом свете,— сказал Володя.

Он по-прежнему дня не мог прожить без нее и, когда она убирала квартиру, ходил за ней по пятам из комнаты в комнату.

Он был родным ей человеком, она не задумываясь отдала бы за него жизнь. Когда он говорил ей о любви, она слушала с радостью. Но сама она не находила таких слов.

Она считала, что красивые слова о любви необходимы в жизни так же, как красивые песни и красивые картины. Но то было мужское дело. У нее, Тины, были свои, женские обязанности: она должна была создать покой, уют в доме и сделать так, чтобы выявилось все лучшее, что было в муже. С ее помощью Володя стал отличником. Его дремавшие способности пробудились, и дипломный проект его был блистателен. Ему предложили работу в научно-исследовательском институте.

У него не было ни склонности к научной работе, ни честолюбия, но у него была жена Тина, которую он любил и боялся потерять. Он понимал: для того чтобы Тина не обогнала его, он сам должен быстро двигаться, для того чтобы она уважала и ценила его, она должна

уважать и ценить его работу. Со свойственной ему веселой прямотой он говорил ей:

— Не важно, что я буду доцентом. Мне важно то, что ты будешь женой доцента.

И Тина принялась служить Володе и его диссертации с той же не терпящей послаблений истовостью, с которой делала все, за что бралась. Она сберегала его время и силы. Опоздание с завтраком на десять минут она почитала преступлением. Она обсуждала с Володей планы и результаты экспериментов, помогала делать чертежи. Муж платил ей беззаветной преданностью.

Она не заблуждалась на его счет и ясно видела все достоинства и недостатки этой преданной души.

Его тренер говорил о нем:

— Великолепные физические данные! Для того чтобы перейти во всесоюзную категорию, не хватает только волевых качеств.

И Тина в душе не могла не согласиться. Для того чтобы Володя отлично защитил диплом и успешно работал над диссертацией, ему необходим был такой добавочный двигатель, как любовь к ней. Плюс к этому двигателю сама Тина должна была не сидеть сложа руки, а периодически активизировать своего слишком благодушного мужа. Исчезни она с лица земли — и он тут же потерял бы интерес и к диплому и к диссертации.

— Ой, как я тебя знаю! — говорила она ему. — Я не только тебя знаю, но всех твоих пра-пра-прадедушек. Рассказать тебе, какие у тебя были пра-пра-пра... Как они мне приходятся? Пра-прасвекры?

— Какие? — интересовался Володя.

— Жили они в деревне, в Ярославской губернии, — это бабушка говорила. Зима там длиннущая, а лето — коротышка. Они были очень здоровые, добрые и непритязательные. Был бы кус хлеба да полати! Зимой лежали-полеживали на полатях. Глядь — лето подходит! Тут хочешь не хочешь, а работай — иначе не будет ни хлеба, ни полатей!.. И тут-то они начинали ворочать! Начинались «бугровские рывки». Землю переворачивали, дубы гнули, горы двигали! И так до осени. А при первой возможности — хоп на полати! И это тянулось почти две тысячи лет, с самого рождества Христова! Вот какие у меня пра-пра-прасвекры!

Володя встревожился:

— Тебе не надо таких «прасвекров»?

Тина тихо засмеялась в ответ.

— Если уж я вышла за тебя замуж, значит, я навсегда взяла тебя вместе со всеми твоими пра-прадедами! То, что их порой тянуло на полати, — это еще не самое существенное.

— А что самое существенное?

— Не скажу. Станешь задаваться.

Тина знала, что, если когда-нибудь в нее полетит пуля, Володя закроет ее собою не колеблясь. Она знала больше: вот такие, как Володя, со всеми их тысячелетними прапрадедами, в дни войны не колеблясь бросались грудью на амбразуру, если этого требовала защита родины.

И, зная все это, Тина переносила недостатки Володи терпеливо и мужественно. Он был ее избранником, а она была Тиной Карамыш, она была из тех, о ком ее отец полушутя-полусерьезно сказал однажды:

Мы из рода Карамыша.
Полюбив — верны до гроба!

Глава VI

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В кабинете Вальгана мягко светили лампы дневного света. Портьеры были задернуты. На коричневом бархате выделялись зубчатые мясистые листья кактуса, и догорал, осыпаясь, огненный цветок. Лепестки тлели на ковре.

— Такое на вид чудище, а уж цветет, уж цветет...— Вальган положил ладонь на папку с бахиревскими планами и вернулся к разговору: — Изрядно ты потрудился...

Он только что одобрил плод упорных трудов Бахирева — перспективный план завода — и теперь поглядывал на главного инженера с острым любопытством.

Вечерние часы были для Вальгана часами полуотдыха. Без пиджака, без галстука, в расстегнутой рубашке, с тем добродушно-веселым выражением, которое так шло к его волевому и яркому лицу, он ходил своей мягкой походкой от стола к окну и обратно. К майским праздникам готовились озеленять цехи, образчики растений стояли на маленьких столах вперемежку с образчиками деталей. Жарко натопленный кабинет напоминал диковинную оранжерею, где причудливые растения смешивались с причудливыми сгустками металла.

Бахирев был и взволнован и счастлив незнакомым, неспокойным счастьем. Со свойственной ему въедливой кропотливостью вникал он в производство, день за днем накапливал знания, ночами тяжело ворочал накопленное, прощупывал слабые и сильные звенья производства, пытался систематизировать необходимые мероприятия. Трудно и безрадостно рождался план перестройки произ-

водства. Еще не родившись, он распался на два плана — план-максимум, для которого нужны были дополнительные ассигнования, и план-минимум, который можно было осуществить за счет наличных средств.

Из сумятицы сведений и вороха документов выкристаллизовывалась четкая и последовательная цепь мероприятий. Завоеванная ясность сделала завод близким. Он был еще плохим, но уже своим, таким, который не терпится перестроить. Удивляясь и не доверяя собственным ощущениям, Бахирев ходил вокруг стола, с опаской посматривал на рукопись и думал: «Может, я того? Может, я вроде графомана? Им своя писанина всегда кажется лучше некуда. Что-то уж больно мне нравится!.. Потел, потел, все будто не получалось... и вдруг — на́ тебе! Может, мираж, самообольщение?»

Он передал свой труд Вальгану, стыдясь и робея, как мальчик, отдающий на компетентный суд свои первые вирши. Смущенным вошел он час назад в эту комнату, но искренние похвалы Вальгана и новое, острое любопытство, мелькавшее в его взгляде, ободрили Бахирева.

— Изрядно, изрядно! — продолжал Вальган.— Должен тебе признаться, не будь я сам свидетелем, не поверил бы, что все это своротил один человек за один месяц. Под этим трудом институту не совестно подписаться, десятку специалистов... Силен, ядрен, ничего не скажешь...— Он обошел вокруг Бахирева, оглядывая его выпуклыми веселыми глазами с тем любопытством и опаской, с каким смотрят на цирковых силачей, слонов и волосатых женщин. Бахирев ежился под этим взглядом, потел, молча сиял от восхвалений и предвкушал новую эру в своей жизни — эру перестройки завода: «Теперь начнется... Теперь мы с ним двинем...»

— Я согласен с тобой,— продолжал Вальган, перелистывая бахиревский труд,— как минимум — переорганизация узких мест: металлургических и моторного цехов. Как максимум — перестройка всего производства. Автоматика, кокиль, точное литье! Передать производство отопительной аппаратуры, втулок, гаек и прочей ерунды специализированным заводам, а за счет освободившихся мощностей увеличить массовость основных деталей. Читал, как роман! Все это вопрос времени, конечно.

— Время давно пришло для многого. Например, для смены руководства в чугунолитейном и моторном. Или для налаживания техпроцесса по гильзам, пробкам, вкладышам.

— Возможно... Надо еще подумать,— ответил Вальган, легким движением гибкой руки закрыл папку, снова

обошел Бахирева, уловил в его неуклюжей фигуре с вихром на затылке сходство с мясистым, причудливым и колючим кактусом и невольно улыбнулся.

В юности Вальгану пришлось присутствовать при внезапном раскрытии таланта. Мальчишки-футболисты смеха ради поставили вратарем очкастого, узкоплечего книголюба-десятиклассника. Новоиспеченный вратарь принялся брать невероятные мячи и потряс всю мальчишечью команду. Он был так же счастливо взволнован, как Бахирев, и так же не понимал всей силы своего дара.

«В чем дар «хохлатого»?—думал Вальган.—Дар организатора? Нет! Он еще ничего не организовал. Дар технолога? Не знаю. Но дар колоссальной трудоспособности—во всяком случае!» Ему захотелось сделать Бахиреву приятное. Он прикоснулся к колючим листам кактуса.

— Нет, хорош—не налюбуюсь! Главное, что интересно: вот такое неприглядное, зеленое, колючее мясо—и вдруг в нем такой огонь, такая энергия! Прислать тебе в кабинет?—предложил он Бахиреву.

Бахирев улыбнулся. Посылать цветы своим сотрудникам—до этого он не додумался бы. И жене он за всю жизнь не подарил ни одного цветка. «Боялся, мы с ним не сработаемся, а вот... планы одобряет... даже цветы посылает»,—подумал он и невольно поежился:

— Ну что ж... пришли...

«Коряга, конечно,—думал Вальган, привычным быстрым движением поглаживая подбородок,—но коряга доброго дерева. Другим эта коряга, возможно, и не под силу. А что до меня... Пожалуй, это как раз то, что искал! Повернуть эту корягу в нужном направлении—ее никаким потоком не смоет!» Однако он считал, что незаурядная сила направлена неверно.

Он знал, что переход на новую марку трактора и одновременно увеличение программы дорого обошлось заводу. Производство находилось на предельном напряжении. Всякая перестройка грозила срывом праздничной первомайской программы. В Комитете по Сталинским премиям вопрос о награждении работников завода за освоение новой марки трактора был предварительно решен, но у завода был и сильный конкурент, и сильные противники, которые опротестовали предварительное решение и настаивали на пересмотре.

«Если зарежем предмайскую программу, то какое уж там «освоение»! Загрохочет не только первомайский рапорт, могут грохнуть и авторитет завода и лауреатство. Перестройка сейчас несвоевременна. Если не запланировать фонды на нее заранее и не подготовиться к ней загодя, то залезешь в такой прорыв, что в год не

выкарабкаешься». Он подал Бахиреву его папку с планом и сказал:

— Резюмируем: времени ты не терял и в производстве полностью сориентировался. Пришла пора впрягаться в дело.

— Только этого и хочу,— оживляясь, заговорил Бахирев.

На родном уральском заводе его шутя прозвали «торпедой» за особую манеру работать. Он неторопливо и тщательно выверял прицел — выбирал решающий производственный узел. Но, раз нацелившись, обрушивался со всей мощью и всей стремительностью, не оглядываясь, не отвлекаясь, не боясь риска и не щадя себя.

И сейчас от горячего желания «торпедировать» уже намеченную цель он корежился, как от огня, сидя в мягком кресле вальгановского кабинета.

— Вот тут,— слегка охрипнув от волнения, сказал он,— я пишу о реорганизации чугунолитейного. С этого я хочу начать... и как можно скорее.

— Будем просить средств у министерства.

— Пока хотя бы те средства, что отпущены на сборочный, автоматно-серийный и цех шасси, передать чугунолитейному. Я пишу здесь.

— Деньги — это политика! Оголять все цехи ради одного-двух мы не можем... О планах твоих подробнее поговорим еще не раз. Дай мне время обдумать. А пока перейдем к делу.— И тоном и словами Вальган решительно дал понять Бахиреву, что все предыдущее считал интересным, но несущественным и что только сейчас начинает настоящий деловой разговор. Он сел в директорское кресло, и лицо его из дружеского превратилось в официальное и властное, с той разительностью мгновенных перемен, которая всегда удивляла в нем Бахирева.— Завод третий день лихорадит коленвал. Коленвал ставит программу на колени. Сколько коленвалов подали на восемь ноль-ноль?

Бахирев не поднял глаз.

— Не знаю.

— Прошу срочно узнать и доложить мне. В предмайские дни возьми программу, и в частности движение коленвала, под личный контроль.

Вальган ждал, что Бахирев встанет и пойдет выполнять его поручение, а Бахирев сидел не шевелясь. Вальган нахмурился.

— Протолкни коленвал и доложи мне через час.

— Семен Петрович,— услышал он монотонный, бубнящий голос главного.— Я не толкач и не диспетчер. Это не моя функция.

Он не обнаруживал ни малейшего желания выполнить срочное распоряжение директора. Это было так непривычно для Вальгана, что он удивился и заинтересовался.

— Вот как! А для чего же существуешь ты и в чем твоя функция?

— Функция главного инженера завода — видеть перспективы производства и вести его к этим перспективам.

Коряга не желала ложиться в указанном ей направлении. У коряги, оказывается, существовали собственные планы и устремления. В туповатой строптивости «нового» было что-то и раздражавшее и веселившее Вальгана. Секунду Вальган колебался, какое из двух направлений выгоднее, выбрал второе и, вскинув голову, расхохотался.

— Я не собираюсь делать из тебя диспетчера и не посягаю на перспективы! — Он перестал смеяться и продолжал с мягкой усмешкой: — Все мы мечтаем, друг! Ленин мечтал и нам наказал! И я вот тоже размечтался над твоими планами до рассвета. А на рассвете звонок. Встал конвейер! Вот как. Ночь придет — опять помечтаем! А днем... Друг дорогой, мы же зарплату получаем! Работать надо. Жать программу. Выпускать тракторишки.— Он подошел к Бахиреву и положил на его плечо горячую ладонь.— Устал я один, ей-богу. Из периода ориентации ты вышел с честью. Пора тебе подключиться вплотную. Заедает же!.. Помогай!

Гибкость ума, с которой Вальган изменил положение и овладел им, была несвойственна Бахиреву и вызвала в нем чувство, похожее на зависть. «Другой бы полез в бутылку. Уперлись бы мы лоб в лоб, как два барана. А этот развернулся на ходу — и снова кум королю! И вот шагаю по следам коленвала! У такого небось зашагаешь!»

Цветок, посланный Бахиреву, уронил одно огненное соцветие и набирал второй, еще твердый бутон, а планы Бахирева лежали без действия.

«Хоть бы такую мелочь, как вкладыши, удалось сдвинуть с места».

Обычная, но ненавистная Бахиреву производственная текучка захлестывала его. Он жил двумя напряженными и противоречивыми жизнями — внешней и внутренней. Видимая всем жизнь его заключалась в том, что он не всегда продуманно и тактично решал очередные и насущные вопросы. Внутренняя, скрытая от всех жизнь заключалась в непрерывном ощущении, что так работать нельзя, и в жадном совершенствовании заветных планов. Он переживал небывалые дни. Все прошлые годы теперь казались ему лишь периодом подготовки и накапливания сил к

предстоящей деятельности. Сейчас наступил период реализации накопленного. Он правдами и неправдами освобождал время для своих расчетов и, когда его отрывали, испытывал боль и ярость. Переполненный большими замыслами и внутренней уверенностью, он забывал о том, что люди не знают ни этих замыслов, ни этой уверенности.

Число его стычек с людьми возрастало, а он не придавал этому значения. «Лес рубят — щепки летят»,— повторял он. Он затеял рубить большое дерево, и щепки полетели при первых ударах топора. Люди вроде Вальгана или Рославлева, несмотря на его промахи, чувствовали в нем человека немалого калибра и следили за ним с интересом. Люди более ограниченные мерили его своей мерой, а по малому своему росту не могли видеть «большого дерева», которое задумал рубить Бахирев, «щепки» же казались им непомерно велики. Таким людям Бахирев представлялся человеком тупым и зазнавшимся.

Это были две крайние и малочисленные категории. Большинство же заводских людей, не зная Бахирева, могли судить о нем лишь понаслышке. Но Рославлев, Вальган и им подобные занимались делом, а не пересудами. Обильные порочащие Бахирева слухи сеяли люди второй категории. Нежелание главного инженера что-либо опровергать, объяснять было хорошей почвой для этих слухов, и те, кто не знал его лично, невольно подпадали под их влияние.

Бахирева это не беспокоило. Когда Чубасов говорил ему: «Ты бы потактичнее, поосторожней с людьми...» — Бахирев отвечал: «Осторожность — это по твоей части».

Бахиреву претили и сдержанные жесты, и мягкий голос парторга. По мнению Бахирева, парторг должен прежде всего обладать смелостью, а определяющей чертой Чубасова была осторожность.

Чубасов еще помнил себя непутевым «Колькой-чубчиком», одним из тех мальчишек, что залезают в чужие сады, дразнят учителей и зачитываются на уроках Майн Ридом. Как произошла трансформация характера, он и сам не мог бы рассказать. Он помнил, как однажды, после школьного вечера, его отец, знатный сталевар, сказал ему:

— Эх ты... отецкий сын! Поглядел я на твоих товарищей. Каждый сам своей цены стоит. Один отличник, другой декорации малюет, третий жарит на пианино. Один ты у меня только по отцу и ходишь: «Чубасов сын» да «Чубасов сын»! А что ты есть сам по себе?

Потом «Чубасова сына» выбрали звеньевым в пионерском звене. Здесь он по-новому использовал свое умение лазить, бегать и передразнивать: он проводил спортивные занятия и репетировал скетчи. Малыши-пионеры ходили за ним табуном. И он уже не мог лазить в чужие яблоневые сады и получать двойки по физике.

Сперва все его достижения не выходили за пределы лагеря и пионерских сборов. Дома он по-прежнему сутулился, ходил в мятой рубашке и кое-как накидывал на постель одеяло. Он и сам не заметил, когда подтянутость вошла в его кровь и плоть. В школе за ним укоренились прозвища «Коля справедливый», «Коля правильный», «Коля-интеллигент».

Отец был доволен. Ему нравилось, что у него, не очень грамотного и грубоватого, сын растет книголюбом, отличником, любимцем учителей. Он водил своих гостей в комнату сына и говорил им как будто мимоходом, но с тайной гордостью:

— Колькина библиотека... Больше тысячи томов. По-немецки тоже читает... Интеллигент!—Он показывал на полку с немецкими книгами.

Но, к удивлению Коли, часть соклассников стала относиться к нему пренебрежительно. Прозвище «Коля правильный» они заменили прозвищем «Дважды два—четыре».

Собираясь на вечеринку в складчину, они нарочито громко говорили:

— А «Дважды два—четыре» мы звать не будем. Ну его!

Таких было мало, но он хотел, чтоб таких не было совсем. Он уже знал, что «правильность», над которой они подсмеивались, стоит немалого напряжения ума и воли. Надо было заставить их уважать себя.

Отец сказал ему, как всегда, коротко:

— Ты все на принцип да на сознание. Надо же еще и морду бить!

Так появился в секции бокса Дворца культуры юноша, тонкий, хрупкий и красивый, как девушка. Он настойчиво отрабатывал крюки, хуки, апперкоты и настойчиво выходил на ринг, на тренировочные бои с сильнейшими партнерами. Он знал свою слабость. Он знал, что будет бит любым товарищем по секции, и в то же время у него была твердая уверенность, что он сможет добиться победы.

Он думал:

«Кроме костей и мышц, у человека есть еще бесстрашие, воля, ум. Буду битым, но не побитым».

Он шел драться за те «правильные» качества, которые

пытались высмеять. С трудом добился он допуска к первым соревнованиям. Его партнер был много сильнее, но и страх, неизбежный у новичков, владел им сильнее. Чубасов шел на ринг так, как идут на операцию: «Боль неизбежна, поэтому о ней не надо думать».

Соленый вкус во рту, тошнота, гул в голове и мысль: успеть подняться, успеть встать хотя бы в последнюю минуту. Он почти ползком добирался до средины ринга, и все-таки поднимался на ноги, и, едва поднявшись, упорно, но слепо, бессмысленно, безнадежно пытался атаковать. Те качества, на которые он надеялся,—бесстрашие, воля и ум,—кулаки противника выбили из него. Он ушел с ринга и «битым» и «побитым». Но стойкость, с которой он держался, удивила знатоков. В течение немногих месяцев он упорно добивался участия во всех молодежных соревнованиях и неизбежно выходил побитым. Но схватки, в которых он участвовал, отличались жестокостью и рьяностью. Безрезультатные, но яростные наскоки тонкокостного паренька с девичьим лицом раздражали партнера. Тренер говорил, что эти схватки интересны в одном отношении — поучительна выдержка побитого.

А он учился одному — учился не теряться, думать, сохранять ясность мысли даже в ту секунду, когда от удара противника меркнет свет и земля плывет под ногами.

«У каждого из боксеров, даже у сильнейшего, есть свои промахи, свои слабости в расчете, в тактике боя. Если я не могу взять силой мышц, я должен взять силой тактики и расчета».

Он стал усиленно отрабатывать удары левой рукой.

К общегородским соревнованиям его допустили только потому, что тренеру хотелось продемонстрировать с его помощью некоторые приемы защиты и стойкость в борьбе против сильнейшего.

И вот он на ринге. Уже «продемонстрированы» все намеченные приемы, уже привычный соленый вкус во рту, уже истекает время. Противник спокоен и методичен. Он дерется играючи. Чубасов прижат к канатам. По глазам, по лицу противника он видит, что готовится последний удар. И у него, у Чубасова, есть только одна, последняя возможность. Он резко бросает туловище вправо. Перчатка уже у самого лица. И в эту секунду Чубасов делает шаг влево. Точно рассчитаны доли секунды. Противник, потеряв равновесие, падает на канат. Загремели аплодисменты, но Чубасов не понял, что они относятся к нему. Противник поднялся, ошеломленный неожиданностью. Сколько продлится это ошеломленное состояние? Не терять ни секунды! Чубасов сделал движе-

ние правой рукой. Противник, защищаясь, подставил плечо. «Быстрее левой!» И еще прежде, чем Чубасов успел подумать, левая рука наносила удар за ударом. Мгновенно один за другим — прямой удар, боковой, прямой снизу. Левая рука Чубасова слаба, в ударах нет нокаутирующей силы, но они стремительны, они не дают противнику опомниться, они затягивают и усиливают состояние растерянности, они заставляют его приоткрыться. Путь для удара правой руки Чубасова открыт. Шаг вперед, поворот всем телом и одновременно прямой удар правой руки в голову. Силы всех мышц тела собраны в одном месте — в кулаке. Если бы Чубасов промахнулся, он грохнулся бы на землю со всего размаху. Но удар мгновенен и точен, а противник деморализован — он не успел ни отклониться, ни шагнуть в сторону. Нокаут!

Чубасов стоял над поверженным «сильнейшим». Первый нокаут!

Он давно забыл о тех, чьи насмешки заставили его выйти на ринг. Он полюбил бокс, полюбил холодную ярость борьбы. На ринге обретал он свое второе «я», а в обычной жизни оставался все тем же выдержанным, мягким, вдумчивым юношей — все тем же «Колей правильным», «Колей справедливым». Он был членом бюро райкома ВЛКСМ, а через несколько лет его выбрали секретарем райкома. В райком партии он пришел почти сформировавшимся человеком. Что бы он ни сказал, он знал, что его голос должен быть голосом партии.

На тракторном заводе ему было особенно трудно, и приходилось быть особенно осторожным, потому что он не имел технического образования.

Он поступил на первый курс вечернего машиностроительного института, открытого при заводе, и Вальган шутя называл его «парторг-первокурсник».

Прочтя бахиревские планы, Чубасов несколько раз пытался поговорить с Бахиревым, но тот пришел лишь по третьему приглашению.

Кабинет Чубасова был просторен и прост. Два стола в виде буквы «Т», ряд стульев вдоль стен. Комнату скрашивали лишь огромные незашторенные окна с весенней голубизной за ними. Играя на солнце, за окнами висели кривые сосульки. Ветер был так силен, что гнал капли в одну сторону, и сосульки загнулись, как по команде.

Бахирев увидел внимательные темно-серые глаза парторга, затененные красивыми, как у девушки, ресницами, и сказал себе: «Личное обаяние обязательно для двух профессий — для киноактрис и для партработников».

Он грузно уселся на стул, весьма довольный тем, что для него самого личное обаяние отнюдь не обязательно.

— Большую работу вы проделали, Дмитрий Алексеевич! — сказал Чубасов.— Удивляет меня только: почему все это в виде предпраздничного сюрприза? На заводе есть партийная организация. Пришли бы, посоветовались...

— Планы еще не были додуманы.

— Вы считали, что в одиночку додумаете лучше?

«Говорит, что ему по штату положено»,— подумал Бахирев и ответил по-прежнему неохотно:

— Сперва надо самому разобраться в том, что меня интересует.

Чубасов улыбнулся.

— Почему вы думаете, что это интересует вас одного? Меня, например, ваши планы минимум и максимум заинтересовали.

Тяжелые веки главного приоткрылись.

— Что вас заинтересовало?

— Главным образом то, с кем вы рассчитываете реализовать ваши планы и замыслы.

— Хотя бы с моими единомышленниками...

— Это как минимум,— опять улыбнулся Чубасов.— Может быть, как максимум вам пригодится коллектив завода?

Бахирев явно скучал. Чубасов посмотрел на опущенные веки главного, закинул голову и рассмеялся, широко показав весь ряд зубов — стальные с одной стороны, мелкие, как у девушки, с другой.

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич. Я не инженер. Образование у меня гуманитарное. Бродят у меня в голове разные литературные ассоциации. Посмотрел на вас — и знаете, кого вспомнил? Печорина!

— Это с какой же стороны Печорина? — опешил Бахирев.

— Один средь людей. Печорин в новой модификации.— Чубасов снова рассмеялся, беззлобно, но с откровенной насмешкой.

Смех уязвил Бахирева, но вывел его из состояния скуки.

Чубасов посерьезнел:

— Я говорю так потому, что вы сами вредите своим планам.

— Каким образом?

— Отталкиваете тех, кто должен стать вашей опорой.

— Например?

— Например, вы пишете о смене руководства в моторном и чугунолитейном. Я говорил с Рославлевым и

Сагуровым. Они наотрез отказываются. И знаете почему? Боятся начинать новое трудное дело с вами. Жалуются на вас кадровики наши.

Бахиреву не понравилось, что большой разговор о перспективных планах завода мельчал, сводился к отдельным людям и слухам.

Он скучал и думал: «И зубы у него мелкие, как у девушки... и сосульки вот кривые... и разговор бабий... кто на что жалуется».

А Чубасов продолжал:

— Вот вы пишете о реорганизации чугунолитейного. А у нас уже есть интересный план его переорганизации, и знаете, кто его автор? — Бахирев вопросительно поднял брови.— Василий Васильевич! А он подал заявление об уходе. Не хочет работать с вами. Старику давно бы на пенсию, а он все работает — и по существу за всех: и за сменных мастеров, и за инженера, и за рабочих, и даже... за начальника цеха. Не его, а наша вина, что не получается. А вы сделали его козлом отпущения.

— У меня свои соображения.

Бахирев рассказал Чубасову историю ночной кражи.

— Я не могу доказать, что это был он. Поэтому и не считал возможным сообщить официально. Но сам-то я знаю это и вам обязан рассказать.

Слушая, Чубасов все ниже опускал голову и все сильнее хмурился.

— Может быть, Василий Васильевич оказался там потому, что хотел задержать воров? А может быть, это был не он?

— Подождем расследования.

— Я не буду ждать никаких расследований. Я могу сделать одно — позвать его сюда. Вы при нем расскажите все, что вы видели.

— Зовите,— сказал Бахирев.— Хотя... стоит ли?

Чубасов позвонил не отвечая.

Старик, увидев Бахирева, на минуту замялся на пороге, но тут же оправился.

— Есть у нас тут некоторое недоумение,— сказал Чубасов.— Дмитрий Алексеевич видел ночью, как через забор нагружали машину. И показалось ему, что мелькнуло неподалеку твое лицо. Ты ли это был?

Василий Васильевич крякнул и стал большим и указательным пальцами аккуратно разглаживать усы.

«Не смутился и не возмутился,— подумал Бахирев.— Однако явно замялся».

— Ну что же? — печально сказал Василий Васильевич.— Я, это был действительно, так сказать, я.

— А что ж это за машина?

— А машина это была, так сказать... незаконная... с, так сказать... незаконными материалами.

— С ворованными, ты хочешь сказать?—допытывался Чубасов.

— А ну и с ворованными, если уж называть по закону,—еще печальнее согласился Василий Васильевич.

Чубасов от неожиданности поперхнулся папиросным дымом и закашлялся.

— Так что ж ты там делал, Василий Васильевич? Ловил ты их, что ли? Уличал?

— Зачем их уличать? Я, так сказать... погружался...

— Куда ты погружался?! Зачем?!

— Да не я погружался... материалы грузил. Трубку отопительную... опять же баббит и олово.

— Не путай ты меня, ради родителей! Рассказывай толково!

— Приезжают, значит, ребята с подшефной МТС. Секретарь парторганизации Павел Петрушечкин... из наших, из заводских. «Нечем, говорят, тракторы ремонтировать! Район захудалый... МТС захудалая...» Когда б я еще своими глазами не видел! А то ведь бывал, видел! Пошли мы к Семену Петровичу. Тот говорит: «Рад бы душой, да не дано право директору выписывать на сторону. Не могу взять на себя ответственности». Вызвал он, конечно, бухгалтера. И тот опять же: «Права не имею и ответственности не беру, надо через главк». А через главк опять же получатся подушки!

— Какие подушки?—удивился Чубасов.

— Те проклятущие, стройконторские.—Василий Васильевич раскраснелся; видно, история подушек сидела у него в печенках.—Завезла к ним в район стройконтора подушки для общежития лесозаготовителей. Давно заготовителям понастроили дома. Общежитие ликвидировали. А подушки на складе второй год лежат да лежат! А тут МТС выстроила общежитие для трактористов. Одеяла, матрацы закупили, а подушек нет во всей области! А аккурат через дорогу истлевают бесполезно сто стройконторских подушек. МТС просит: «Продай!» Стройконтора говорит: «Рада бы продать, да закон не велит! Пишите в область!» Из области ответ: «Рады бы продать, да закон не велит. Пишите в главк». Главк опять: «Рад бы, да закон не велит. Пишите в министерство». Писали в министерство. Второй год нет ответа. И хоть бы подушки-то были пуховые! А то из куриного пера!

— При чем тут подушки?—еще настороженнее спросил Бахирев.

— Так ведь писать про баббит в главк—разводить «вторые подушки». А пшеничка не человек. Человек

стерпит — два года переспит головой на железке! А пшеничке постель приготовь мягкую! Обсказали мы все это Семену Петровичу. А он опять: «Ответственности на себя не беру... однако, мол, если найдется такой... желающий, так сказать, взять ответственность... то я ему, так сказать, не препятствую». Вышли мы с Павлушкой. Парнишка чуть не плачет. И то сказать, заплачешь на его месте! Упрекает меня. «Хлеб, говорит, каждый день хочешь кушать?! Ты, как коммунист... Я, как коммунист...» Ну, думаю, так сказать... Должен же кто-то взять на себя ответственность? — Старик вздохнул и заключил: — Ну, и взял на себя.

— Василий Васильевич,— спросил Чубасов,— Семен Петрович об этом знает?

— А как же? «Делай, говорит... на твою совесть. Я, говорит, ничего не слышал, ничего не видел».

Бахирев сильно дернул себя за вихор и поднял голову.

— Василий Васильевич... А ведь я тогда, на рапорте, напустился не столько из-за печей, сколько из-за этого случая.

— Что же вы... что ж вы подумали?

Бахирев видел, как медленно приливает кровь к лицу старика.

Старику до этой минуты и в голову не приходило, что кто-то может заподозрить его в краже.

Чубасов пытался успокоить его:

— Василий Васильевич! Полно! С кем не бывает! Ведь новый человек на заводе. А тут такое стечение обстоятельств!

— Люди других по себе судят,— сказал мастер.— Кто сам на низость не пойдет, тот и на другого не подумает.

Он встал, надел свой затрепанный серый картузик. Бахиреву казалось, что даже этот картузик смотрит на него с горьким упреком.

Старик вышел из комнаты.

— Ну, что ж... стоило позвать Василия Васильевича? — спросил Чубасов.

Они разошлись с ощущением неловкости и взаимного недовольства. Бахиреву было стыдно за историю с Василием Васильевичем, но он был недоволен и тем, что весь разговор свелся к этому случаю. Чубасов не мог преодолеть неприязни к Бахиреву, оговорившему старика.

Со свойственной ему способностью сосредоточиваться на одном деле Бахирев отбрасывал от себя все, что мешало ему. И все же иногда он тупел от неудовлетворенности собой, текучки, усталости и того недоброжелательства окружающих, которое ощущал все сильнее.

«Может, прежде чем перестраивать завод, самому

отступить и перестроиться?—думал он, лежа в постели бессонной ночью.—Не обижать стариков, слушаться Вальгана, брать пример с Чубасова—голоса не подымать из осторожности? К черту все мои выдумки! Все мои потуги к черту!»

Катино дыхание казалось приглушенным. Может быть, она тоже не спит? Не только он, но и жена и дети не приживались на новом месте. Один Рыжик поддерживал боевой семейный дух.

— Опять не спишь, Митя?

Она обняла его шею горячей, душной рукой.

— Ты не мучь себя, Митя. Ты попроще, потише. Все обойдется.

— Что обойдется? Что ты знаешь?

— Ох, я же вижу!

— Душно здесь. Топят, как в бане!

Он встал и открыл форточку.

...Отупевший от бессонной, бездеятельной ночи, он брел через предзаводскую площадь. Утро было повесеннему ярким и говорливым. В сквере звонко чирикали воробьи; ручьи, журча, струились по мостовым; рупоры на всю площадь беззаботно напевали: «До чего же хороши вы, Жигули». Сотни людей невольно шагали в ритме песни. Мягко гудя на поворотах, сверкая от солнца и чистоты, рулили к заводу «Победы» и ЗИСы. Среди общего радостного движения бросался в глаза темневший у входа трактор с пробитым боком. Пробоина, большая, черная, зияющая, с рваными краями, напомнила Бахиреву пробоины в танках от бронебойных снарядов.

Бахирев подошел и спросил тракториста:

— Бомбили вы его, что ли?

— Не мы его, а он нас!—сердито ответил тракторист.—Ваши трактора стреляют. Едва человека не убило. Привертели четыре противовеса на коленвал. Говорят, от них мотор ровнее работает. А по мне, без них лучше. Если они все у вас начнут срываться, костей не сосчитаешь.

Раненый трактор стоял среди веселого утреннего движения, непонятный и одинокий в своей неподвижности и в своем увечье; трос, за который его приволокли сюда, валялся под ногами людей.

Тяжелая металлическая скоба сорвавшегося противовеса лежала тут же. «Мириться со всем—значит мириться и с этим!»—подумал Бахирев. Пробоина взывала к непримиримости.

Придя к себе, он увидел свой собственный приказ Уханову—срочно изменить технологию производства гильз, пробок и вкладышей. Через весь приказ шла

размашистая резолюция Вальгана: «Пересмотреть технологию в процессе общего пересмотра».

Эта резолюция отменяла приказ главного инженера. Бахирев молча смотрел на властный росчерк Вальгана. Что делать? Лезть в решающую драку из-за этих гильз, пробок, вкладышей? Он устал от непрерывных стычек. Уступить? Ведь в конце концов эти детали — мелочь.

Изувеченный трактор встал перед его глазами. Тоже какая-нибудь мелочь в установке противовеса, и вот разодранный, как бумага, металл. Пробоина зияла как предупреждение. Он долго думал, закрыв глаза и крутя вихор, потом написал третий по счету рапорт и пошел к Вальгану. Там уже сидели Уханов и Рославлев.

— И ты здесь спозаранку? Ну, мы все друг друга стоим! — засмеялся Вальган.

— Семен Петрович! У меня к тебе два дела. Во-первых... какие-то чудеса с противовесами. Пробоина, как от бронебойных... Рекламация у тебя?

— Рекламацию сняли. Они там в районе мудрят с противовесами. В районных базах гирь не хватает, так они повадились брать вместо гирь противовесы. Компактные, тяжелые. Чем не гири!

— Этак и убить недолго! Такая железяка сорвется на полных оборотах!

— Я уже с ними говорил. Они признали вину.— Вальган нетерпеливо постучал карандашом по столу.— Что у тебя еще?

— Я только что обнаружил твою резолюцию относительно гильзы, пробки, вкладыша. Положение с этими деталями нетерпимо.

Вальган молчал. Потом ответил твердо и холодно, с той мгновенной переменой интонации, которая была ему свойственна:

— Не возвращайся к этому вопросу. Мы достаточно его дебатировали.

— Я вынужден написать.

Бахирев подал рапорт.

— Третий! — сказал Вальган.— Ты что, собираешься эти рапорта писать ежедневно? Триста шестьдесят пять рапортов в год? Тоже, конечно, работенка!

Он небрежно сунул рапорт в стол и посмотрел на Бахирева, как бы говоря: «Уходи же!»

— Я не уйду,— сказал Бахирев и прочно уселся в кресле.— Семен Петрович, с этими деталями так продолжаться не может.

Вальган вскинул длинные ресницы. Глаза были желтые, злые и быстрые.

«Глаза рыси,— подумал Бахирев.— Рысь — неприручаемый зверь».

«Я его забаловал,— подумал Вальган,— слишком приблизил... С такими нельзя!»

— Почему пробки, гильзы, вкладыши? — спросил он.— У нас недостаточно прочные звенья гусениц, надо бы усовершенствовать кабину, заедают, случается, поршни. Давай уж сразу рапортуй на весь трактор. А то выбрал гильзу — пробку — вкладыш. По какому, собственно, принципу ты их избрал и объединил?

Глаза «рыси» смотрели в упор. Ресницы Вальгана вздрагивали, веки то щурились, то раскрывались, и от этого глаза то темнели, то делались светло-желтыми, прозрачными, казалось, то гасли, то разгорались. «Разозлится, будет беспощадным,— понял Бахирев.— Не страшно».

Осторожничать под таким взглядом значило бы трусить. Он ответил резко:

— Я их выбрал и объединил по принципу очковтирательства.

— Как?!

— Когда мы даем недолговечные гусеницы, мы говорим, что они недолговечны. Они служат указанный нами недолгий срок. Но когда мы выдаем за доброкачественные овальные гильзы и вкладыши с утолщенным слоем бронзы, мы занимаемся очковтирательством.

— Кто занимается? Кто именно?

— Все мы... Завод...

— Нет. Вы не занимаетесь! — засмеялся Вальган, переходя на «вы».— Вы вот рапорта пишете! Значит, вы единственный честный человек на заводе! А мы все,— он кивком указал на присутствующих,— мы все очковтиратели! Вот что вы хотите сказать. Я принял к сведению.— Он обернулся к Уханову.— Так что ты говоришь? — И тут же снова окликнул Бахирева: — Да, там тебе на подпись отнесли дополнительные сведения для Комитета по Сталинским премиям. Не задерживай! Через несколько дней мне ехать в Москву.

Бахирев вернулся к себе возмущенный. Но как только он взял в руки бумагу, посланную Вальганом на подпись, другая тревога вытеснила мысли о гильзе, пробке и вкладышах. Сведения были точные, но сам факт премирования всколыхнул с новой силой мысли о тракторе: «В машине нет принципиального новаторства. Реализованы принципы двадцатилетней давности. Закостенелая, тяжелая, неотзывчивая к требованиям жизни машина!»

Снова мысль вернулась к родному танкостроению, снова вспоминал он и непрестанный, напряженный поиск,

и машину, в которой все — от наклона брони до мощности мотора — было сформировано сражениями двадцатого века и отвечало задачам боя. Как искали, как дрались в тылу и на фронте и как побеждали! Значит, умеем!

Он со страстной горечью скомкал ни в чем не повинную бумажонку.

«Почему же, почему здесь, в тракторостроении, такое отставание от задач жизни? Тяжким грузом висит на хозяйстве и этот избыток тяжелых и неповоротливых гусеничных тракторов, и многомиллионная армия прицепщиков. Жизнь требует: решите задачу навесных орудий! За рубежом она решена, а у нас? А задачи долговечности, экономичность? Машина не решает задач времени. Машина не первенствует в мире. Премирование такой машины — это поощрение косности. Это мне ясно. Да, это мне ясно. Но что же мне не ясно? Мне не ясна должная линия поведения».

Бахирев понимал, что выступить против премии — значит окончательно и бесповоротно стать «чужаком», рискнуть своими замыслами, своим будущим, своей репутацией. Возможно, его обвинят в зависти. Как доказать, что это не зависть, а принципиальная позиция? Два-три года назад его самого в числе других танкостроителей выдвигали на премию. Тогда он возражал:

«Получим премию — и вдруг в каком-нибудь пограничном инциденте выяснится, что наши танки хуже заграничных! Куда тогда глаза денем? Нельзя премировать боевую машину, пока она не проверена боем. И вообще не надо так много премий».

Тогда было просто возражать: он сам выдвигался на премию. Он говорил: «Слишком много премий, и они слишком легко достаются»,— с этим могли соглашаться или не соглашаться, но все видели, что он руководствуется принципами, а не личными интересами. Свидетели этого случая — директор завода и парторг ЦК — были живы.

«Но кто захочет искать их свидетельство? — думал он.— Идти сейчас против премии — значит ставить под удар себя и все то, что мной задумано».

Он колебался весь день и пришел домой, еще ни на что не решившись.

Дома царила необычная тишина. Бесшумно двигалась Катя. Послушные матери Аня и Бутуз говорили полушепотом, словно рядом лежал больной.

— Охрипли вы все, что ли? — рассердился он. Ему хотелось бодрых голосов, смеха, шуток. Он поймал себя на этом желании и подумал: «Я трушу».

Жена оробела от его непривычно резкого тона.

— Мы боимся помешать тебе.

— Катя...— Он хотел посоветоваться с ней, но взглянул в большие испуганные глаза и осекся. Все в жене сегодня раздражало его: и робкий голос, и испуганный взгляд, и бесшумная походка. «Она способна только не мешать! Ей и в голову не приходит, что можно помочь».

Она погладила его по голове.

— Митюсь, у меня сегодня такой пирог с вареньем!

Но его раздражали и «Митюсь», и поглаживание, и разговор о пироге. Он отдернул голову.

— Какие пироги? Я ж не ребенок, чтобы утешать меня пряниками!

Жена молча покраснела от непривычной обиды, но дочь тотчас строго заявила:

— Папа, если у тебя неприятности, значит, надо срывать их на маме? Это, по-твоему, правильно?

Дочь, тоненькая, неизменно аккуратная, была критиканшей и ярой до надоедливости ревнительницей справедливости.

Он рассмеялся. Дерзость дочери сегодня была ему больше по душе, чем пугливая осторожность жены. Он сказал:

— В дирекции критикуют, в парткоме критикуют, да еще в собственном доме дочь-критиканша!

— Ты же сам учишь говорить в глаза!

— Доучил на свою голову!— он подергал вихор, потом взял дочь за плечо и притянул к себе. У нее были такие же длинные, полуприкрытые веками и непримиримые глаза, как у него.— Катя,— спросил он жену,— скажи, неужели и я такой же зануда, как наша Анька?

Он хотел, чтобы жена рассмеялась в ответ, но она только слабо улыбнулась.

Рыжик пулей ворвался в дверь, швырнул на стол книги, схватил свинчатку.

— Опять весь исцарапанный!— ахнула Аня.— Опять пуговицу оторвал? Опять дрался?

— Конечно, дрался! А что я, трус?!

Мать кинулась к аптечке.

— Дай йодом... Рыжик! Куда же ты?

Сестра схватила его за пальто.

— Помойся!.. Грязный... совсем уличный!.. Фу!.. Стыдно! Папа, мама, ну что же вы, наконец, смотрите?!

Рыжик вырвался, увидел в кабинете Бахирева и уже с порога крикнул ему:

— Папа, скажи ей, чтоб она ко мне не приставала!

Дверь отворилась, в солнечной полосе сверкнул рыжий вихор, и Рыжик исчез.

— Это ужас, а не ребенок! — сказала Аня. — Говорят, дети походят на родителей. Но в кого он у нас получился такой драчун, я совершенно не понимаю!

Бахирев поймал свое отражение в зеркале и самокритично подумал сам о себе:

«Соединение Борькиной драчливости с Анькиной занудливостью... Хорошо, хоть не одному досталось, на двоих детей поделилось!..»

Он представил в своей семье ребенка, соединившего оба эти качества, и не обрадовался такой возможности.

Ему хотелось освежающей шутки, бодрящей иронии, но он не мог ни дать, ни получить ее и до ночи томился в бездействии и нерешительности. За ночь он написал докладную, перечел ее, закряхтел и заерзал на стуле. Докладная была как раз тем соединением занудливости и драчливости, которое казалось ему таким отвратным. Она состояла из пяти параграфов, изложенных с методичной и сухой последовательностью.

Он писал, что, по его мнению, трактор не должен получать премии, так как: «Первое: не имеет принципиально новых решений, а лишь модернизирует старые решения советских и заграничных марок. Второе: не решает основных задач современности, не освобождает сельское хозяйство от миллионной армии прицепщиков, не обеспечивает маневренности и скорости, потребной сельскому хозяйству. Третье: не имеет мирового первенства по основным параметрам. Четвертое: имеет много недоработанных узлов. Пятое: не прошел достаточной проверки на полях».

В конце рапорта он приписал: «Желая оградить себя от возможных обвинений в необъективности, считаю нужным сообщить, что два года назад, когда меня самого представляли к Сталинской премии, я отстаивал аналогичную точку зрения».

Подумав, он зачеркнул приписку. Он адресовался большим людям, писал о больших вопросах и не желал мельчить их самооправданием.

С унынием перечитывал он свое творение. Оно не звучало, оно скрипело. Оно не отражало его горечи и тревоги. Оно не волновало и не убеждало. Он посидел над ним в унылом раздумье. «Да... соединение занудливости с драчливостью... Но что делать? Я не могу иначе! А каждый должен делать то, что он может. Я сделал то, что мог».

Утром он принял холодную ванну и стал тщательно бриться. Перед решающим сражением ему хотелось быть подобранным и свежим. Жена вошла к нему в халате и ночных туфлях.

— Что ты делаешь, Митя? Я прочла это! Что же ты делаешь?—Она прижала к груди большие красивые руки.—Ведь после этого тебе здесь не жить! Ну их, пусть получают премию! Разве тебе жалко?!

— Жалко, Катя.—Он так двинул бритвой, что кровь горячей струей потекла по щеке.

— Чего тебе жалко?!

— Чести нашего машиностроения.—Он прижимал к лицу полотенце, а кровь все сочилась и пятнала его.

В девять часов он вошел в кабинет Вальгана. В кабинете было людно: готовясь к отъезду, директор собрал людей на короткое совещание.

Несколько инженеров толпились вокруг Вальгана и оживленно разговаривали. Остальные тихо сидели у стен, на дальних стульях.

— Добьюсь во что бы то ни стало!—весело говорил Вальган.—Иначе живого не ждите. «Со щитом или на щите», и не иначе!

Бахиреву трудно было диссонансом войти в эту атмосферу совместных упований и чаяний. Он скользнул взглядом по гурьбе инженеров. «Кто тут будет за меня? Рославлев с младенчески ясным взглядом, спрятанным зубными щетками бровей? Шатров с его заплетающимися ногами и вялым ртом? Может быть, эта Карамыш с ее спокойствием и детскими туфлями? Нет! Все ополчатся против меня!»

«Длинная какая!»—подумал он о ковровой дорожке винного цвета. Он долго шагал по ней от двери к столу Вальгана, наконец остановился, выжидая молчания. Оно не наступало. Тогда он перебил общий разговор:

— Семен Петрович... Тут мне дали на подпись сведения для Комитета по Сталинским премиям...

— Что? Вы опять возражаете?—спросил Вальган с веселой иронией, и кое-кто тотчас засмеялся.

— Нет. По конкретным данным не возражаю. Но по принципиальным позициям имею возражения.

— Что опять такое?

— Я считаю, что трактор как целое, как принцип не заслуживает премии.

Вальган откинулся в кресле.

— Почему?

— Что такое трактор в принципе в настоящее время?

Лошадь? Что такое тракторист? Извозчик. А в принципе трактор должен стать частью сельскохозяйственной машины, а тракторист — машинистом! И никаких прицепщиков. Так я думаю.

Вальган на минуту замер на месте, но тут же отвернулся и махнул рукой. Он отмахивался от главного, как от назойливой мухи:

— Никто не запрещает вам думать и иметь свои суждения по этому поводу. На доброе здоровье!

— Семен Петрович... Я буду настаивать на своей точке зрения перед Москвой. Я подаю докладную в Москву. Разрешите ее зачитать?

В полной тишине монотонно и тихо он пункт за пунктом читал свое творение. Он кончил.

Люди в комнате напоминали внезапно оцепеневших. Уханов хотел сесть, подвинул кресло, но так и остался стоять возле него. Рославлев, закуривая, замер с догоревшей спичкой в руке. Технолог Карамыш, собираясь причесаться, застыла, сжав расческу в кулаке, блестя неправдоподобно прозрачными глазами.

Не шевелился и Вальган. Он мигом понял всю опасность и чреватость происходящего для него самого и для всего завода. За докладную Бахирева могли ухватиться те, кто опротестовал предварительное решение Комитета по Сталинским премиям. Бахирев бросал массивную гирю на весы противников завода.

До сих пор Бахирев мешал Вальгану в делах внутризаводских, и его нетрудно было обезвредить. Теперь он начинал вредить вне завода. Он становился опасен. Опаснее, чем можно было ожидать. Почти с ненавистью смотрел Вальган на массивную фигуру Бахирева с его тщательным пробором и нелепым вихром на затылке. Мысли Вальгана неслись стремительно: «Кого я привез? Кого извлек из захолустья? Кого поднял до главного инженера крупнейшего завода? «Бегемот вихрастый»,— вспомнил он прозвище Бахирева.— Обезвредить немедленно! Обезвредить, и проучить, и уничтожить!..»

— Дайте сюда ваш рапорт...— Он взял рапорт.— Ваше устное заявление — дело вашей... чистоплотности и совести. Но это документ, и документ политический. Вы здесь обливаете помоями все советское тракторостроение и превозносите заграничные марки. Это уже не техника. Это политика. Очевидно, так и будут это рассматривать. Вы свободны.

Под общее молчание Бахирев вышел из кабинета...

Глава VII

ДОМ ПОД СОСЕНКАМИ

Перелески, темные на светлом снегу, то взлетали на увалы, то падали на ложбины. Крутобокие тучи дыбились в зимнем сумрачном небе и вдали сливались с набегавшими друг на друга снежными холмами. Машину жестоко тряхнуло на разгоне.

«Сейчас сообщит о пересеченной, чертяка!» — шевельнув ушибленным плечом, подумал Курганов. И действительно, водитель Гоша тотчас с удовлетворением констатировал:

— Пересеченная местность...

«Нет этим увалам конца-краю»,— думал Курганов.

Казалось, он шагнул обратно в юность, и кусок в два десятилетия выпал из жизни.

Лекционный зал института, диссертация «О единстве и борьбе противоположностей в социалистическом обществе», абонемент в концертном зале — все это отошло, детские же воспоминания — катание с увалов на салазках, походы в ельник за матово-синей, словно запотевшей голубицей, первый покос со взрослыми — возвратились, подступили вплотную. Может быть, поэтому говорили, что он помолодел, и сам он все чаще чувствовал себя тем прежним, непоседливым парнем, которого за остроту ума и крупную не по росту голову когда-то прозвали «головастиком».

Машину снова тряхнуло. Ему вспомнилось, как в детстве мать, играя с ним, сперва плавно, потом толчками качала его на коленях и приговаривала: «По гладенькой дорожке. По гладенькой дорожке. По кочкам! По кочкам! Бух в яму!» И она опрокидывала его на спину.

«Вот она и жизнь,— усмехаясь про себя, подумал он.— По гладенькой дорожке — это солидные институтские годы, по кочкам — это сейчас в райкоме, а уж «бух в яму» — это если снимут как не обеспечившего руководство районом!»

— Пересеченной местностью, конечно, можно полюбоваться,— рассуждал Гоша.— Однако для нашего брата механизатора прискорбная красота!

— Почему же прискорбная? — спросил Курганов.

— А через что я ушел из трактористов? Вертишься, вертишься на тракторе по увалам, между елками!.. Пересел на «Победу» — и тут не лучше... С весны развезет дороги, где застрянешь, там и ночуй...

За ельником начиналась усадьба МТС. Медвежьей спячкой скованы угнездившиеся в снегу тракторы и

комбайны. На пять часов было назначено открытое партийное собрание. Шел шестой час. Курганов, против обыкновения, запаздывал: задержали заносы на дороге. Он с ходу выскочил из машины и пошел к конторе.

На дверях висел замок. Курганов подергал дверную ручку. С замка упали слежавшиеся валики снега. Может быть, собрание в мастерских? Он зашагал безлюдными дворами к мастерским, переделанным из старых конюшен. Но и здесь было пустынно. В дальнем углу горел костер из вымазанной в мазуте пакли. Неверное и неяркое пламя освещало разобранные тракторы. Несколько закопченных людей грели над огнем руки.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался Курганов.— Где тут у вас проходит партийное собрание?

Ему не ответили. Он молча ждал. Наконец кто-то маленький, сидевший к нему спиной, не оборачиваясь, бросил:

— Где-то в ухабе проходит.

— Почему в ухабе?

Маленький не ответил. Курганов видел его узкие плечи да сдвинутую набок шапку-ушанку с торчащим кверху рыжим в свете костра ухом. Высокий парень с красивым лицом, одетый в новенький полушубок, лениво сказал:

— Начальство уехало в город за материалами. К утру обещались быть, собрать собрание. Да, видно, засели в заносах.

— Чего собирать! — по-прежнему срыву сказал маленький.— Начнут агитировать... Надо, мол, работать. А чем работать? Ни запчастей, ни материалов! Чего собираться?

— Так,— сказал Курганов.— А где же остальные ремонтники? Трактористы где же?

Рыжее ухо сердито закачалось.

— Умные ушли, дураки здесь остались. Нас, дураков, немного — все налицо!

— Пойду, однако... — сказал высокий парень.

— И пойдет! — обрадованно подтвердил маленький.— Этот у нас самый умник. Этот работать не ходит. Этот ходит деньги получать!

— А что ж? — равнодушно отозвался парень.— Деньги мне недодали. Я и пришел. Видно, нынче не получить. Поехали, что ли, копченые. Попутка ж есть.— Он неторопливо повернулся, и за ним двинулся еще один.

— Ты не копченый! — бросил ему вслед маленький и с ожесточением плюнул в костер.— У одного совесть чистая, у другого — морда. Которые бессовестные, те всегда чисто ходят.

Во дворе послышался шум грузовика.

Курганов вместе с трактористами вышел во двор. Грузовик уже стоял у склада, и возле него суетились люди. Курганов узнал щуплую фигуру секретаря партийной организации Петрушечкина и направился к нему.

— Плеча, плеча не жалей!—кричал Петрушечкин и сам подставлял плечо под ящик.

— Павел Петрович!—выждав, обратился Курганов к Петрушечкину.—Такелажником сделались?

— Тут не только такелажником, тут... —Петрушечкин не договорил, выпрямился, схватился за шапку, словно хотел бросить об землю, но не бросил, а только с силой нахлобучил глубже на голову.—Тут черт знает чем сделаешься...

Его сухое, тонкое, молодое лицо было одновременно и возбужденным, и беспокойно-растерянным. Светло-голубые глаза не имели того пытливо-доверчивого выражения, которое было знакомо и приятно Курганову. Они щурились, прятались за покрасневшими веками.

Вздыхая и широко ставя негнущиеся ноги в высоких валенках, он пошел с Кургановым в контору.

— Что такое?—спросил Курганов, когда они уселись в кабинете.—Назначено партийное собрание... Я приезжаю... Ни души!

— Сперва в городе застряли, потом в дороге. Сперва достать ничего не могли,—возбужденно и отрывисто заговорил Петрушечкин.—Туда-сюда—нигде ничего! Думаю, плюнуть, уехать! Да ведь как уедешь! Вот людей собираем. Разговор один—выполнять план ремонта. А чем? Как с пустыми руками возвращаться? Ну, пошел снова! Говорю: «Ты коммунист, я коммунист...» Добился кое-чего... с грехом пополам. У Ельникова дорогу замело. Заносы! Пятнадцать километров шли пешком. Трактор вызывали машину выволакивать! Тракторы стреляют!

— То есть как стреляют?

— А черт знает, как он стреляет. Бомбит противовесами! Блок, трубки, капот—все пробило!—В тихой комнате Петрушечкин опомнился и стал извиняться:—Вы уж извините, что так получилось. Илья Ильич задержался в городе, а я сейчас с вами.

— Это все понятно. Но срывать партийное собрание недопустимо.

— Это конечно,—вздохнул Петрушечкин и в оправдание похвастался успехами:—Баббит вот привез. Кислород, баббит, трубки питательные, будь они неладны, привез!—Он все еще говорил с лихорадочной быстротой человека, захмелевшего от усталости, мороза, бессонницы.

— Говорил я, что неплохо бы тебе самому съездить на завод, к рабочим.

— Да... Вот я и съездил... —с непонятным Курганову оттенком раскаяния, иронии над собой, озабоченности сказал Петрушечкин и вдруг задумался.

— Я пришел — пять часов, механизаторов нет,— сказал Курганов.— Детали валяются по всей мастерской.

— Знаю. Вторая бригада саботирует ремонт. Этого Медведева придется гнать из МТС. Вредный тракторист! И ведь что обидно: и сев и уборку шел одним из первых! А потом привел тракторы в МТС. «Мы, говорит, вам пахали и сеяли, а теперь вы нам тракторы ремонтируйте!» Один такой герой заведется — весь коллектив демора... — Он запнулся, одеревенелый язык с трудом вымолвил: — Деморализует.

— Есть в бригаде коммунисты?

— Один. Второй месяц, простуженный, лежит в больнице. Холодище в мастерских. Распределяли мы бригады. Никто не идет на залежные земли. «Нету, говорят, выгоды».

Поговорив с Петрушечкиным, Курганов хотел вместе с ним пройти на стройку, но взглянул в измученное лицо Петрушечкина и закончил:

— Ладно, я приеду завтра. Договоримся о партийном собрании. А вы идите-ка сейчас погрейтесь... в бане, что ли.

Он один прошел на стройку новых мастерских и, несколько утешенный кирпичными стенами, средь которых кружился снег, поехал дальше.

— Заедем по пути в «Крепость»? — спросил шофер.

— Да.

Курганов хотел на фермы колхоза «Крепость социализма» посылать для обучения доярок из других колхозов. Надо было договориться об этом с председателем и заодно взглянуть на новый доильный агрегат.

— Вот это мастерские! — сказал он, когда показались каменные высокие колхозные мастерские.

— Уж Иван Терентьевич воздвигнет! Один этот колхоз всей той МТС стоит,— отозвался шофер.

Прямая, широкая улица, крепкие ладные дома с резными наличниками, цепи уличных фонарей, каменный клуб с колоннами, стадион и каток на маленьком озерке за клубом — все здесь было давно знакомо Курганову, но не переставало радовать.

«И увалы не увалы, и ельник не тот! — весело думал он.— Вот место для жизни человеческой на земле! Идеальное сочетание природы и культуры, коллективного и

собственного, физического труда и умственного! Крепость, действительно крепость социализма!»

— Где Иван Терентьевич? — спросил он мальчуганов, побежавших за машиной.

— Семиклассниц сманивает доильным агрегатом!

На фермах, таких же добротных, как все в этом колхозе, царила та важная и блаженная тишина, которая наступает после дойки. Белые и массивные, словно печи, коровы лениво жевали. В приемочной доярки в белых халатах негромко переговаривались и звенели подойниками. Шумел сепаратор. Все это радовало самые глубины сердца, почему-то веяло собственным теплым детством, но очищенным, измененным, поднятым.

В пристройке, соединенной с фермой коридором, Курганов увидел председателя и гурьбу девчат в пуховых, вязанных по здешней моде шапочках. Председатель Самосуд, маленький, молодцеватый, с отечным лицом и выпуклыми серыми глазами, размахивал металлическим шлангом доильного аппарата и говорил:

— Ну где еще вас сразу приставят к такому аппарату? Ну, уедете, ну, разбредетесь кто куда! Где чего найдете? А здесь, в своем колхозе, год-два — и вышли в люди! И вам культурная специальность, и вам поездка в Москву, и вам полный достаток — чего хотите! Трофим Демидович! — Он увидел Курганова и, размахивая шлангом, шагнул к нему. — Привезли, привезли агрегат, в полном комплекте! Вот даже сам секретарь райкома интересуется доильным агрегатом! — укоризненно обернулся он к девушкам. — А вы как будто необразованные, безо всякого интереса!

— Мы с интересом, — вздохнула рослая девушка. — Только как же это, Иван Терентьевич? Учились, учились. Семь классов кончили... а теперь в доярки.

— Экая ты беспонятная девушка, Лена! — сказал Самосуд. — Доярка при таком агрегате — это редкая специальность. Со всей области ездить будут — глядеть на тебя. Фабричные с Узловой приедут сватать.

В мирную тишину фермы ворвался захлебывающийся визг свиньи.

Самосуд продолжал говорить, но визг заглушал его голос.

— Не слышно. Аж в ушах свербит, — сказала девушка, наклоняясь к Самосуду.

Свинья на миг умолкла, потом снова захлебнулась визгом, потом разом замолчала.

— Что это она у вас? Поросится, что ли? — спросил Курганов.

— А кто же ее знает. Может, и поросится... — сказал

Самосуд и посмотрел очень прямо в глаза Курганову веселыми выпуклыми глазами.— Нас, однако, не свиньи, а коровы сейчас интересуют!

— Агрегат-то агрегат,— опять сказала девушка.— Однако доить и днем и ночью. И ферма от села далеко. Ни тебе в кино, ни тебе на танцы.

— Так мы ж общежитие строим со своим залом. Кино сюда будем привозить. Пианино поставлю дояркам в общежитие. Пришла с фермы — пожалуйста, садись к пианино, играй хоть Шостаковича. Я сам с ним за границу ездил. Приглашал его к нам. Первым делом привезу сюда к вам агрегат смотреть.

За фермой опять залилась свинья.

— Это на убойной, верно,— сказала девушка.

— Чур тебя, Ленка! — шикнул на нее председатель и сразу заторопился: — Агрегат посмотрели, теперь пойдем общежитие смотреть. А у тебя, Лена, и вовсе совести нету. Пятеро при матери остались сиротами,— сказал он Курганову.— Всех пятерых колхоз вырастил. Обуты, одеты, обучены, нужды не знали, обиды не видели. Правду или нет говорю?

— Это правда, Иван Терентьевич,— вздохнула девушка.

— А ты как подросла, так к колхозу спиной! Да еще подружек за собой тянешь, пользуешься своим на них влиянием! А чем тебе тут не жизнь? — Председатель остановился возле фермы.— Природы тебе? Природа вокруг — конца-краю нет. Культуры тебе? Культуры — сколько хочешь. Огней, гляди, больше, чем в городе! Библиотека в три тысячи томов! Наилучшие звуковые картины в кино! Кружки какие хочешь. Пианино тебе в общежитие покупаю, стадион тебе выстроили, а ты? Всем ты пренебрегаешь! Ты подумай: чем ты пренебрегаешь?

Когда девушки ушли, Самосуд долго и горячо жаловался Курганову:

— Я человек выносливый. Спроси меня, какое главное качество для председателя, я отвечу: выносливость. Все могу перенести. А вот когда молодежь целится из колхоза, не могу переносить. В прошлом году пятеро наших кончило семилетку. Митрофанка Савельев, из всех дурачок, говорит: «Я, Иван Терентьич, в город!» — «А чем, говорю, тебе родной дом не хорош?» — «Мне, говорит, образование не позволяет жить в колхозе». Ушел. Парень, надо сказать, бросовый. А все своя, колхозная косточка. «Иди, говорю, когда ты такой умный! Еще и вернешься!» Да еще и не примем, когда вернется.

Самосуд каждый уход из колхоза воспринимал как личное оскорбление. Курганов знал в нем эту черту и

любил ее. Но надо было переходить к теме, которой Самосуд старательно избегал.

— Ну, как же, Иван Терентьевич, относительно того важного вопроса?—осторожно сказал Курганов.— Подумал ты насчет обучения доярок из других колхозов?

Горячность и многоречивость председателя как рукой сняло. Лицо его вдруг стало туповатым.

— Не возьму в толк... Обучать, значит... кормить тоже... опять же размещать... И что же нам с этого будет?

— Почет и уважение.

— За этим не гонимся. На счету-то кругло! Горим-прогораем!—Он развел руками.—Крахмало-паточный завод не знаю как и достраивать! Того гляди, разоримся с этими стройками да агрегатами. Не рад, что затеял!—И снова отупело пожаловался:—Горим... Горим-прогораем...

Курганов знал привычку председателя жаловаться на то, что он «горит-прогорает».

— Вот я и говорю, того гляди, пойдешь по миру!— сказал он уныло, в тон председателю.—Все равно ведь тебе разоряться. Прими хоть доярок на обучение. Две-три доярки в неделю—глядишь, за зиму обучишь армию. Разоришься—хоть добром тебя помянут. Вот, мол, был такой погорелый председатель, шеф всему районному животноводству. Сам горел-прогорал, а дело делал громадной важности!

Самосуд блеснул глазами, усмехнулся.

Договорившись с Самосудом, Курганов поехал дальше, освеженный, взбодренный, каким всегда уезжал из «Крепости социализма».

Ветер разгонял хмарь. Низко, меж черною кромкой леса и краем сизых туч, проглянуло красноватое солнце. Снега на увалах ожили, заиграли, зарозовели. Еще синее и глубже стали ложбины.

Маленькая пустынная деревушка лежала среди холмов. В лощине было сумрачно и дремотно, как в берлоге. Забаррикадированная увалами, окруженная густой лесной ратью, деревушка словно затаилась от жизни, оберегая свою нерушимую тишину.

— Опять пересеченная. Не заночевать бы в этой берлоге...—сказал шофер.

По крутому склону медленно двигалась сгорбленная фигура. Когда машина поравнялась с ней, Курганов увидел женщину. Она тянула за собой салазки, нагруженные, прикрытые мешковиной. Чтобы дать дорогу машине, она посторонилась, по колена увязла в сугробе. Ветер занес на лицо конец черной шали, женщина отстранила

его и взглянула на Курганова красными, слезящимися от ветра глазами. Что-то знакомое почудилось ему в особом, отчетливом рисунке этих светлых глаз. Мелькнула мысль остановиться и посадить ее, но машина промчалась мимо.

«Всех не пересажаешь»,— говорил в таких случаях Гоша, и Курганов соглашался с ним.

Близ дороги темнел неподвижный трактор.

— Дежурный по вытаскиванию,— обрадовался Гоша и крикнул: — Эй! — Эхо отозвалось с увалов.— Никого нету. Или это тот самый... разбомбленный...

Они оба вышли из машины. Рваная дыра зияла сбоку. В нее намело снегу, и снег стал темен от масла, потекшего из разбитого маслопровода.

— Кто это над ним, сердечным, наглумился? — посетовал Гоша.

С трудом они выбрались из ухаба.

После темной ложбины обрадовал волнистый простор, открывшийся с вершины холма.

Снова замелькали розовеющие снега на взгорьях и льдистые тени в ухабах. Леса то надвигались, подступали к дороге, то враз отступали назад, и поляны стлались под колеса. Увалы то сходились вплотную, то разбегались в стороны, заманивая бескрайним простором. А красное солнце горело впереди: то, поддразнивая, убегая, пряталось за увал, то поднималось над ним, заливало лицо живым, призывным светом, завлекало, задорило.

Все здесь менялось с каждым поворотом колеса, все влекло вот к такому головокружительному движению с увала на увал, по склонам, по ухабам, только вперед...

От быстрой езды, от красоты изменчивой, но неизменно родной земли на Курганова дохнуло избытком сил, молодостью. «Сколько здесь было поезжено еще в двадцать седьмом!... Так же вот с увала на увал, за солнцем вдогонку! Носило меня, тогда девятнадцатилетнего, по этой земле, как по волнам. Сколько дел переделано, сколько с того времени прожито!»

У поворота они прочно засели в сугробе. Пока разгребали снег, женщина нагнала их. Очевидно, она шла напрямик, ближней дорогой.

— Тетка, силенка есть? — спросил Гоша.— Подсоби толкать...

Гоша дал газ, Курганов и женщина навалились сзади на машину, и она вынырнула.

— В Чухтырки? В колхоз «Искра»? — спросил Курганов.— Лезьте в машину, подвезем.

Гоша выскочил и взялся за сани.

— Тяжеленько!.. Хлеб?

— Хлебушко...

Квадратные буханки были уложены, как кирпичи.

Когда груз разместили в машине, женщина уселась на заднем сиденье. У нее было худое, обветренное лицо и большие глаза с покрасневшими веками, с короткими, но густыми и темными ресницами. От этого глаза выделялись четко, словно нарочно обведенные черным. Когда она входила в машину и, нагнув голову, взглянула на Курганова, опять что-то неуловимое вспомнилось ему. Почудилось, что между ним и ею из прошлого тянется далеко идущая нить. «Не она. Сотни таких, как она. Большеглазых, в темных платках, с обветренными лицами»,— подумал он.

— Издалека везешь?—спросил Гоша.

— С района... с Устинова...—ответила она хриплым голосом.

— Килограммов двадцать будет?

— Из Чухтырок центнерами на машинах, а в Чухтырки килограммами на хребте...—В словах была застарелая, притерпевшаяся горечь.

Она прикорнула в углу машины и замолчала. В сдвинутое шоферское зеркало Курганов видел кусок ее лба и один глаз. Глаз то полуприкрывался набрякшим веком, то неподвижно, оцепенело глядел прямо перед собой. Глаз был сзади, но зеркало перехватывало, возвращало взгляд и направляло его в лицо Курганову уже спереди, откуда-то из убегающего заснеженного далека, и всю дорогу на взгорьях и ухабах глаз неотступно стоял перед Кургановым. И снова Курганову показалось, что этот «возвратный», отраженный взгляд идет из глубины прошлого.

Они въехали в деревню. У края деревни стоял стог сена с подъеденными боками, похожий на гриб.

— Вот он, весь ваш колхоз, в этом стогу,—сказал Гоша.—Куда тебя везти?

— Вон в тот дом при двух сосенках.

Старые сосны стояли по углам дома. И слова о сосенках, и вид их внезапно осветили Курганову прошлое.

— Анна?—полувопросительно сказал Курганов.

— Или вы меня знаете?

— В двадцать седьмом году. Вы тогда говорили: «С места не сдвинусь, от этих сосенок не оторвусь». А я вас уговаривал, что колхоз сосенкам не помеха. Помните?

— Где припомнить!—сказала женщина.—С того года сколько их к нам переездило... уговорщиков!..

А он уже отчетливо вспомнил ее, радостно-доверчивую говорунью. Он любовался ею тогда и долго помнил ее милую женственность и певучий говор.

«Что так перевернуло ее?»—думал он. Лицо ее не

просто постарело, оно зачерствело и ссохлось. Оно стало лицом другого человека. Вместо застенчивой полуулыбки стянутый, как рубец, рот. Вместо любовного интереса ко всему — холодное безразличие. Только четкий рисунок слинявших глаз сохранился от прежней Анны.

«Она? Не она? — не верил себе Курганов. — Какая встреча! Хотя что странного?» В период коллективизации он бывал в этих местах, объехал десятки сел, говорил с сотнями людей.

Машина подрулила к дому.

— Может, обогреетесь с морозу? — равнодушно сказала женщина.

Он вошел вслед за ней. Из грязноватой кухни Анна провела Курганова в просторную, чистую, по-деревенски обряженную цветами, кружевами и картинками горницу и крикнула:

— Митрофаныч! Знакомца привела...

Откуда-то из-за печки появился старик с худым, хитроватым и наивным лицом. Широко улыбающийся рот походил на разинутый цыплячий клюв. Во рту красовался единственный длинный и желтый зуб.

— Не признаю...

— Как коллективизацию проводили, говорит, приезжал.

— Все возможно... Все возможно... — Старик сел, с дружелюбным любопытством оглядел Курганова.

— А где ж хозяин? — спросил Курганов.

— Пал смертью... — Седая голова качнулась, как от толчка. — Пал смертью...

— Осталась я с ребятами да вот со свекром.

Она выложила привезенный хлеб на лавку и стала резать каравай на ломти. «На сухари», — понял Курганов.

— Теперь ничего... А сперва, главное дело, внуки-то были мелкие...

«На что они живут? — думал Курганов. — Колхоз наихудший, а в горнице богато — видно, в доме достаток».

— Подросли, помогают? — спросил он.

— Какое! — вздохнул старик. — Все учатся! Двое в школе, одна на заводе. Должны ж мы их как-нито довести до советского, значит, гражданства. — Он заметил удивленный взгляд Курганова, скользивший по комнате, и пояснил: — Горница-то не наша, квартирантов держим. Тракторист у нас квартирует. А мы там. — Он кивнул на кухню.

Курганов сквозь открытую дверь взглянул на кухню. Кровать, кое-как закинутая старым одеялом, дощатый стол, лавка с грязной, битой посудой, рваный тюфяк на печи. Он на минуту закрыл глаза.

— Сколько же вас там помещается?—спросил он с тем усилием над собой, с которым расспрашивают о подробностях болезни дорогого человека.

— Вчетвером спим.

— Как колхоз?

Старик молчал, видимо соображая, с какой мерой откровенности можно ответить на этот вопрос.

— Что колхоз!—со злой усмешкой сказала Анна.— Колхозники позабыли, как на трудодни получают. Ушла бы куда глаза глядят! Да вот не иду никак. Знать, все они, сосенки, держат.

— А ведь добрый колхоз был до войны.

— Добрый, добрый!—подтвердил старик.—Еще года два назад повеселей было. Школьно-молодежное звено сад сажало. Дашунька, внучка моя, верховодила. Председатель товарищ Соснин, партийный человек, очень ее одобрял. Веселеть при нем начали, да месяцев шесть он у нас пробыл. В город перевели. Молодежь тоже поразъехалась. Кто в армию, кто в город. Дашунька наша тоже на завод подалась. Докатился колхоз. Совсем захудали.

— Отчего же захудали?—спросил Курганов.

— А кто же его знает отчего,—ответил старик.—Кто ж его знает?..—В голосе его звучало покорное терпение, будто говорил он о непонятном и не зависящем от его воли стихийном бедствии, вроде града или суховея.

— От войны обезлюдели,—сказала Анна.—Председатель у нас до войны был наш, чухтырский, а в колхозе два села—Чухтырки да Холуденки. Наш председатель ушел, дали нам холуденовского. Чухтырские не хотят работать на холуденовских, холуденовские—на чухтырских. Стали менять—то чухтырских, то холуденовских, и все негодящие. Тогда и поплыли... варяги.

— Почему варяги?

Анна молчала и продолжала резать хлеб... В красном свете низкого солнца руки ее казались обваренными кипятком.

— Что значит варяги?—настойчиво повторил Курганов.

Анна молчала, а старик объяснил с прежней покорностью.

— Варяг—значит и не ворог, да хуже ворога! Сторонний, временный человек. Которые в старину в половодье с первой водой приплывали, а на заморозки уплывали. Это и есть варяги! От воды до воды, значит. Одной волной принесет, другой волной вынесет... От варягов вся беда народу...

— Как же вы так рассуждаете? Колхоз сам по себе, а

вы сами по себе? Колхозная жизнь не река, не сама по себе течет. Колхоз колхозники делают.

Дед, словно спохватившись, заулыбался и быстро закивал головой.

— Это, конешно, и мы тут виноваты! Чья же тут вина, кроме нашей?

«Перестроился на ходу! Бывалый дед»,— про себя невесело усмехнулся Курганов. А дед продолжал, стараясь приноровиться к незнакомому начальству:

— И мы, конешно, разбаловались, слов нет! Раньше, в бесколхозное время, я снохе, ей же вот, Анне, спать не давал! Приучил, чтоб зоревала на поле. Чуть припозднится, кричу: «Какого лешего зорю проспала?» А теперь рано идет на работу — кричу: «Куда тебя спозаранку леший понес?» Мы тоже не бессознательные. Осознаем и можем самокритику критиковать!

«Дипломатический дед,— подумал Курганов.— Поднаторел обращаться с начальством».

— В бригадирах ходил, дедушка?

— А как же! Все время на руководящей работе! И сейчас хожу в бригадирах! Староват стал, правда, да ведь подсаду-то нет... Нет подсаду! Сад растить — надо молодь подсаживать. А в колхозе у нас никакого подсаду! У нас как подрос, так шасть из колхоза. Соседи в «Крепости» смеются, что у нас на три бригадира всего два зуба в наличности. И верно, два. У холуденовского Савелия один зуб, да у меня вот — гляди.— Старик разинул рот и указал на зуб.— У меня один. А у Степановны ни одного не видать.

— Да...— невесело улыбнулся Курганов.— Позубастей бы надо бригадиров. Но ведь не везде так. Вот в колхозе «Крепость социализма» не только свой «подсад» растет, а еще и из других мест люди к ним тянутся, и молодые и пожилые. Даже из других районов просятся к Самосуду! Вот как бывает, когда колхозники правильно работают в колхозе.

— Наша вина... Наша вина...— охотно и с удовольствием завздыхал наторелый дед.

— Какая вина в том, чтоб с утра до ночи не работать задаром? — оборвала его Анна.— Третий год на трудодень ни единой полушки.

— А чем живы?

Анна молчала.

— Я до прошлого года в лесхозе работал,— сказал дед.— Теперь ослаб... не могу... Вот квартирантов держим. Огород. Корова опять же. Корова — главное дело!

— На четырех титьках живем,— бросила Анна.— Вчетвером на четырех титьках.

— Хорошо доит?—допытывался Курганов.

— Корова, слов нет, золотая!—Старик даже прижмурился.—Ведерница корова.

«Ведерница...—думал Курганов.—Ни сена, ни покосов в колхозе не давали. Откуда же ведерница?»

— Прикупали сена?

— Какие у нас купилки!

— Где ж брали сено?

И старик и Анна молчали. Старик повернулся к окну и горячо заинтересовался погодой.

— Гляди-ка, как заметает! И крутит с холмов, и крутит... Такая несоответственная погода!..

— Интересно все же, где добывали сено?—допытывался Курганов.

— Да так... кое-где... перебиваемся...—уклончиво сказал старик.—В феврале метелям бы кончиться, а, глядь, они и в марте метут. Такая наблюдается несоответственность в природе.

Анна не отвела глаз.

— Где было сено, там и брали. Как люди, так и мы. Не подыхать же корове...

«Тащат...—понял Курганов.—Тащат привычно, всем колхозом. Тащат и, как говорится, стыда не имут».

— Недавно ваш же колхозник Афонин при мне сказал такие слова о колхозе: «По-божьи живем, помаленьку приворовываем». Я ему не поверил. Не позволил я ему называть ворами колхозников.

— Воруют чужое...—нахмурилась Анна.—А свое так берут. Когда и возьмет колхозник какую охапку со своего же луга... Какая ж это кража!.. Где ж ему еще взять?..

— Говорите: колхозное—свое... А вот из окна видно—колхозный стог. Кругом скотина подъела! Стоит грибом, того гляди, рухнет. Вчуже и то обидно взглянуть. А вы всю зиму, каждый день смотрите. «Свое» бы было, давно бы огородили.

Анна молчала.

— Значит, как брать колхозное, так оно свое?—продолжал Курганов.—А как беречь его, так оно чужое?

— То-то и беда!—по-своему понял его и поторопился подладиться к начальству «дипломатический» дед.—Ни свое, ни чужое. Одно слово—колхозное!..

Курганова повело, как от боли. «Эк хватил, однозубый!»

— Хватил ты, дед! «Одно слово—колхозное». Там, где колхозная работа—своя работа, там и колхозы такие, как «Крепость социализма». Бывал? Видел?

— А вы допрежь того, как нас учить, сами два года сработайте без зарплаты,—отозвалась Анна.—Слыхали,

как рака рак учил вперед ходить? Опостылели нам рачьи уроки ваши.

Он хотел ответить и не находил убедительных слов. Он вспомнил отточенные фразы своей диссертации «О единстве и борьбе противоположностей в социалистическом обществе» и усмехнулся над собой: «Выдержки из диссертации ей в ответ не почитаешь. И зачем этот разговор? Ей словами не поможешь, а себя... себя по-пустому растравишь...»

Анна кончила резать каравай и в первый раз полюбопытствовала:

— Вы откуда представитель?

— Я не представитель. Я теперь здешний.

— Кем же вы будете?—Она посмотрела внимательно. Очевидно, представителей было много, они никак не влияли на ее трудную судьбу, поэтому не имели для нее значения и не занимали ее. Местный же человек мог иметь какое-то касательство к ее жизни.

— Секретарь райкома я, Курганов,—с трудом ответил он.

Знакомясь с людьми, он произносил слова «секретарь райкома» с достоинством и удовлетворением, даже бо́льшим, чем во время войны слова «командир батальона» или после войны слова «заведующий кафедрой». Но сегодня, называя себя этой обветренной, угрюмой женщине, он внутренне сжался. Вдруг она скажет: «А, хозяин района! Так ты и есть главный виновник!»

Но она посмотрела с неожиданным для него доброжелательным интересом.

— Это новый, что ли? Который прогнал Васильчикова?

— Действительно прогнал.

— Это мы слыхали!—радостно сказал старик.—Это вы правильно. Всех обошел, паразит, всех улестил. Колхозникам на него управы не было! А вы на другой же день враз и насквозь!

— Облегчили людей,—сказала Анна.—Откушайте с нами хлеб-соль...

Оттого ли, что она одобряла его за поступок с ненавистным ей Васильчиковым, оттого ли, что просто разморило ее в тепле после долгой дороги, но она обмякла.

— Как это вы с ним в один срок разобрались?— продолжал любопытствовать дед.

— Люди помогли. Сообща, дедушка, все можно. Слыхал, в «Октябре» как все сообща взялись за дело, так и подняли колхоз в один год!

Он говорил и сам стыдился избитости своих слов. Но

для Анны его простые слова имели убедительность факта: колхоз «Октябрь» был рядом.

— Верно,— сказала она.— В «Октябре» нынче выдавали и зерном, и деньгами, и овощью. Это правда!

— В этом и есть самая главная правда, Анна. Нет вреда больше, чем ее не видеть.

— Видим. Как не видеть!

Они ели с той сосредоточенностью и уважением к хлебу, с которым едят в крестьянских семьях. Он старался подражать им. Ему вспомнились дипломатические обеды, на которых ему приходилось бывать во время командировок за границу. Там он тоже следил за обычаями, боясь попасть впросак. Вспоминая, он про себя усмехнулся: «Нет, для лордов я так не старался!»

Анна почувствовала и оценила его уважительное отношение к ее хлебу-соли. Он стал не случайным «уговорщиком», он стал ее гостем, и женщина, хозяйка дома, проснулась в ней. Она сняла полушалок и озабоченным женственным движением небольшой руки поправила волосы. Что-то от прежней Анны было в этом жесте.

— И «Октябрь» и, чего лучше, «Крепость социализма» — все рядом! — вздохнула она. Щеки ее порозовели от еды и тепла. Голос звучал мягче.— В этом правда, верно ты говоришь. Да ведь вот беда наша: и земля у нас та же, и правда наша та же, да счастье не такое. Нам, видно, счастье на роду не написано...

— Зачем так безнадежно, Анна?

— Безнадежно? — Она положила ложку и всем телом повернулась к нему.— Или мы не видали и «Октября» и «Крепости», своих добрых годов не держим в памяти? «Безнадежно»! А ты вот по справедливости, по праву спросил бы, через что мы работаем? Сперва было дело, через трудодни работали... Потом трудодней давать не стали, только обещали... Еще обещальщикам верили, через веру работали. А теперь веру потеряли... Изверились... Однако все ходим, все работаем!.. Двести трудодней вот наработала. А через что? Вера навылет ушла, а надежда... еще осталась! Она и водит на ферму да на поле... В жару ли, в стужу ли, ходим... гнем хребет... Не через зерно, не через копейку — через нее одну... через надежду...

Такая сила духа и стойкость прозвучали в словах этой воровавшей колхозное сено женщины, что Курганов поднялся в волнении. За угрюмым взглядом, за обветренной кожей мелькнуло кровное, от сердца шедшее к сердцу. Свой человек сидел здесь, человек с другой судьбой и характером, но с тем же складом заповедных чувств.

Он понял, что она так же любила эти холмы да ложбины, поля да перелески и такое же жило в ней неистребимое стремление к правде.

— Надеяться мало, Анна,— сдерживая волнение, сказал он.— Помогать надо...

— Было б кому!

— Мне,— негромко сказал он.— Тебя от дома сосенки не пускают. И меня, видишь, притянули сюда... сосны да березы. Нам здесь жить, Анна. Так ведь жизнь надо устраивать.

Курганов собирался уходить, когда в комнату вошла маленькая кругленькая женщина с крупными темными, как вишни, глазами на остреньком лице.

— Постоялка наша, Гапа,— сказала Анна.— Тракториста Медведева жена...

«Того самого Медведева, «вредного тракториста!»— подумал Курганов и с интересом посмотрел на женщину.

— Не бачили, чи не приходив ще мой-то?— спросила она быстрым говорком, мешая русские слова с украинскими, и с ходу поправила салфетку на комоде, подтянула сбившийся половик.

— С Украины?

— С Полтавщины.

— Как же это чухтырский тракторист завладел украинкой?

— Та не вин мной завладел, а я им завладела... Квартирувала у нас ихняя часть. Я й кажу дивчатам: «Я ростом наименьшая, нехай мий чоловик буде наибильший». Як вони выстроились, он и был першим правофланговым. Подружка моя тут мени й каже: «Дывысь, твий наибильший».

Веселый говорок не мешал Гапе ловко и споро убирать комнату.

— Так сразу и сдался ваш правофланговый?

— Та де там! Я круг него вьюном изовьюсь, а вин тилькы сидит да молчит. Я уж и отступилась от него, та гляжу— стронулся! А як уже он стронулся, удержу нет! Приступился— поедем да поедем!.. Привез вот!

— Ихний медведевский дом через улицу,— сказал старик.— Семьища большая, тесно. Нам, колхозникам, чем теснее, тем теплее. А они механизаторы!

— А як же?— сказала Гапа.— Михайло на машинах працюе!.. Вин культурно жить должен. Весной себе хату срубим... Идеть!— Она тревожно прильнула к окну.— Бичева якась к нему причепилась!

Она бросилась навстречу мужу. В дверях показался тот самый тракторист в новом полушубке, которого

Курганов видел в МТС. Гапа, не доходившая ему до подмышки, командовала:

— Вытырай ноги... И чого це до тебе всяка дрянь чипляется?.. Та вытырай чище! Це пакля причепилась, це що? Не отстала! А ну-ка, пиднимай ногу!

Парень покорно поднял ногу. Гапа присела на корточки, отцепила от сапога кусок веревки, тщательно вытерла сапог и скомандовала:

— А ну, давай другу ногу!

Тракторист безропотно поднял другую ногу и терпеливо стоял на одной, напоминая Курганову коня в кузнице. Курганов невольно улыбнулся: «Крепко подковала эта Гапа своего правофлангового...»

Раздевшись, Медведев прошел в горницу, безмятежно, без всякого удивления, поздоровался с Кургановым и прочно сел на лавку. Лицо его было красивым, в очертаниях губ и ноздрей чувствовалась даже какая-то тонкость, но выражение было тупо-добродушное. Ленивый взгляд то и дело застревал на окружающих предметах. Казалось, взгляд этот случайно цеплялся то за одно, то за другое, и хозяину лень было оторвать его. «Крынка так крынка... Чем она хуже чего другого?—казалось, говорили глаза.— Можно поглядеть и на крынку. Чего там беспокоиться да попусту водить глазами?»

И Медведев смотрел на крынку с тем же безразлично-безмятежным выражением, с каким смотрел на Курганова, на Анну, на деда. Гапа вилась вокруг мужа, обчищала, одергивала, осыпала вопросами. Любопытный дед допытывался о делах в МТС, парень молчал и только поеживался.

— Та чого ж це ты, Михайло, мовчишь, як пень?!

— А что говорить?—нехотя, низким, ровным голосом ответил Михайло, не отрывая безоблачно-голубых глаз от крынки.

— Та расскажи хоть, що там в МТС?

— Бегают...—неодобрительно сказал парень.—Всё бегом да бегом...

— Що воны тоби казалы?—допытывалась Гапа.

— Оставайся, говорят, на ремонт.

Медведев умолк, и Гапа опять принялась его раскачивать с привычной энергией:

— А ты им що? Та говори ж, що ты им казав?

— Я, говорю, свое отработал... Теперь вы мне трактора ремонтируйте. Я, говорю, весной мок, летом парился. Еще теперь мне зимой морозиться в вашей эмтээсе...

После длинной тирады Медведев решил передохнуть и замолк прочно.

— А воны тоби як? Та Михайло ж! Та що ж ты замовк?

— Они мне говорят: «Ты, говорят, бригадир. Ты, говорят, кадр».

— А ты им що?

— Что ж, говорю, мне теперь подыхать, если я кадр?

— Ось це дила!—всплеснула руками Гапа.—Люди добри, та вин же не соглашався бригадирствувать! Яка ему корысть?

— Им бы только воткнуть... воткнут, а потом почнут жевать!

— Кто начнет жевать?—заинтересовался Курганов.

— Агроном почнет жевать, председатель почнет жевать, МТС почнет жевать... Они сжуют.

— Сжуешь тебя такого...—сказала Анна.—С утра прибегали, просили на увале встречать с трактором, машины вызволять из сугробов...

— Встренешь, а у них на увалах трактора стреляют...

— Как это стреляют?

— А кто их знает!

— Вы все говорите «они» и «их»,—вступил в разговор Курганов.—Вот я интересуюсь: кто это «они»?

— МТС.

— Добре. Они—МТС. А вы кто?

— Мы-то? Мы трактористы. Мы здешние... колхозные.

— Вы считаете себя колхозником?

Пока Медведев собирался ответить, Гапа уже посыпала говорком:

— А то як же? В МТС механики есть, хай воны и ремонтируют. А Михайло в колхозе работает, от колхоза плату получает...

— В эмтээсе он колхозный, а в колхозе он эмтээсовский,—вмешалась Анна.—Намедни надо было колхозникам помочь на лесосеке, так он сразу перевернулся на эмтэзсовского! У всех у них такое заведение. В колхозе они эмтэзсовские, а в эмтэзсе колхозные... Одно слово—промежуточные.

— Ну и промежуточные!—сказала Гапа.—Яка радисть! Оплата им от колхоза, а команда от МТС. Повертись-ка меж директором и председателем!

— Это он-то вертится! Да твоего Михайлу тремя тракторами не повернешь...—Анна вышла, не взглянув на квартирантов.

Курганов, простившись, пошел за ней. Тот подъем, который захватил ее на минуту, схлынул, прежнее подавленное состояние овладело ею, но прежней отчужденности уже не было.

Она вышла на улицу проводить Курганова. Сумерки загустели. Наискось падали густые снежные хлопья на черные бревна изб, на черный платок Анны.

Свинцовый свет гаснущего дня ложился на холмы, на чернь далекого леса.

— Так договорились, Анна? Жить здесь и жизнь налаживать?

— Что ж,— ответила она вяло. Глубже натянула платок на голову и молча следила, как подъехала машина, как садился в нее Курганов. Только тогда, когда он уже из машины протянул ей руку, прощаясь, она не спросила, а печально подумала вслух:

— А может, и ты тоже... из варягов? С водой пришел, с водой и уйдешь...

Вечером Курганов добрался до Ухабина и зашел в райком.

Запах масляной краски, дорожки в коридоре, вечерняя полупустота — все было привычно. Кое-где в тиши и безлюдье отделов еще виднелись склоненные над столами фигуры.

— Аппарат у нас дисциплинированный! — в первые же дни работы сказал Курганову второй секретарь Вострухов. Он любил слово «аппарат» и то и дело говорил: «у нас в аппарате», «мобилизовать аппарат», «дать задание аппарату»,— и это почему-то раздражало Курганова.

Работники райкома были, как правило, людьми пожилыми и работали в райкоме многие годы. Единственным молодым по возрасту и стажу был Вострухов. Три года назад он работал секретарем соседнего райкома. Сперва его там хвалили, а потом сняли как несправившегося и послали в Ухабино заведовать отделом. За три года он превратился во второго секретаря. Кое-кто настаивал на том, чтобы сделать его первым. Своего невольного соперника Курганова он встретил дружелюбно. О своей работе первым секретарем рассказал коротко и с горечью:

— Мечтал поднять район... И, кажется, даже начинал поднимать! Но знаете, как у нас бывает... Не дотянешь — бьют... Перетянешь — тоже бьют...

Работал он много и горячо. Курганову претило то, что на совещаниях Вострухов часто повторял: «Теперь под руководством Трофима Демидовича», «Трофим Демидович правильно решил вопрос».

«Что он взялся поминать меня? — досадовал Курганов.— Или боится, чтоб не заподозрили в соперничестве, и перебарщивает со страху?»

Проходя мимо его кабинета, Курганов увидел свет и

подумал: «И это каждый день... Может, и перебарщивает со страху, но работает не за страх, а за совесть!»

Курганов сидел, углубившись в бумаги, когда в кабинет вошел Вострухов. Небольшой, аккуратный, с выпяченной грудью и маленькой, закинутой назад головой, он чем-то напоминал воинственного, напыжившегося воробья.

— Садись,— сказал Курганов.— Давай займемся «папкой нумерованных тревог секретаря райкома».

Вострухов достойно улыбнулся над известной всему райкому папкой.

— О первой нашей тревоге, о слабости ряда колхозных партийных организаций, мы говорим каждый день. А вот о тревоге номер два — МТС...— продолжал Курганов.

— Вы уже знаете?

— Что знаю? Что по заявке ничего нет? — Вострухов сделал протестующий жест, но Курганов, увлеченный своим, не заметил этого.— Знаю. Нелепость! Мощность тракторного парка возросла вдвое, а урожаи те же. А почему? Представь крестьянина, который держит стадо битюгов, а к ним ни сбруи, ни саней. Наши битюги-тракторища стадом стоят в МТС. А к ним ни саней, ни самосвалов, ни транспортеров, ни погрузчиков. Плугов да борон — и тех нехватка! Механизация без организации. Производство зерна массовое, техника высокой стоимости, а поток не организован. Просишь необходимое — отказ! Придется тебе съездить в область с этой заявкой.

— Что ж! Я съезжу,— согласился Вострухов таким терпеливо-снисходительным тоном, каким нянька соглашается с беспокойным ребенком.

Курганов заметил это и засмеялся.

— Я упрям. Я таки хочу подключить тебя. Вот номер три. Гляди. Сделали мне анализ расхода трудодней. Впечатляющая картина! На то, чтоб собранное зерно вывезти, высушить, очистить, идет столько же трудодней, сколько на то, чтоб посеять, вырастить и убрать с поля. Трудодни текут на токах! И зерно утекает на токах. Осени в районе дождливые, а крытых токов мало. Договоримся с лесозаводом, чтоб готовили материал для стандартных токов. Мобилизуем людей, каждой бригаде — крытый ток.

Чем больше увлекался Курганов, тем больше снисходительного сожаления источали глаза Вострухова.

— Смотришь ты на меня, как стреляный воробей на птенца,— сказал Курганов.— Но ведь я с тобой говорю о существенных вещах. И с кем, как не с тобой, мне о них говорить!

Увлечение Курганова охладевало под взглядом Вострухова. Однако он решил сделать еще одну попытку.

— Тревога за номером четыре касается зарослей и залежей и невольного нашего очковтирательства.

Сразу по приезде Курганов настоял на проверке севооборотов, и выяснилось, что залежи, освоенные по сводкам, остались нетронутыми, а исконные пашни уменьшались год от года, захлестнутые лесною петлей. Трактористы зачастую недопахивали одну-две загонки трудной земли у самого леса. Недопаханные окраины пашен быстро прорастали мелкой лесной порослью. На следующий год трактористы отступали еще на ползагона от поросли — и леса наступали на пашни. Надо было браться за разработку залежей и порослей, а трактористы шли на это неохотно.

— Опять дело на первый взгляд частное, а по существу принципиальное,— говорил Курганов.— В чем суть? В основе оплаты не главные показатели, а второстепенные. Не продукция, не рост производительности, а гектары мягкой пахоты, экономия горючего и другая мелочь. Колхозники уговаривают трактористов пойти на разработку залежей: там, мол, урожаи больше! А что им урожаи? Им платят прежде всего не за урожаи, а за гектары!

— Это вам Петрушечкин нажаловался? На его слова нельзя полагаться,— вздохнул Вострухов и спросил с такой осторожностью, с какой с тяжелобольным говорят о его болезни: — Трофим Демидович, вы ездили сегодня в МТС и в колхоз «Красный Октябрь»? Как там?

«Кого он жалеет? Меня? Глядит, будто у меня рак или чахотка»,— подумал Курганов и бодро ответил:

— В колхозе что надо. Приедешь — уезжать не хочется. А в МТС разброд. Одно хорошо — Петрушечкин раздобыл-таки материалы.

— Трофим Демидович, а вы знаете, каким образом он раздобыл материалы? — раздельно, медленно и все тем же сочувственным тоном спросил Вострухов Курганова.

— Как раздобыл? Поговорил по-партийному с заводскими коммунистами...

— Жаль мне вас приземлять, Трофим Демидович. Жаль отвлекать от высоких ваших материй. Но придется. Беда случилась. Украл он материалы!..

— В каком смысле украл? — Курганов вспомнил измученное лицо, по-детски доверчивые глаза Петрушечкина.

— К сожалению, в самом прямом смысле! Сейчас сообщили по телефону из области...

«Или я дурень, или земля вверх дном? — думал Курганов.— Тот, кого считал своей опорой в МТС? Или... или мне действительно только писать диссертации?»

— Что сообщили? Как сообщили?

— Из охраны завода. Погрузил через забор в машину

с помощью одного из мастеров. Грузил ночью через забор воровским образом.

«Секретарь партийной организации ворует через забор баббит и олово!..»

— И еще одна неприятность, к сожалению. Насчет колхоза «Крепость социализма». Мне уже давно сигнализировали о разных подозрительных махинациях. Но улик не было.

— Какие улики?! — сорвался Курганов.— Улик нет, пока нет обвиняемого!

«На кого кричу? На кого я кричу? — мысленно спросил он себя.— На себя, на идиота, кричу!»

Вострухов с достоинством поднял голову.

— Трофим Демидович, я отвечаю за свои слова. Вы новый человек, а я... Самосуд — великий комбинатор. Осенью в колхозе комбинировал с яровыми и озимыми. В сводках писал о яровых, а сеял озимь. Уличили, предупредили. А сегодня сообщают, что опять очередные комбинации. Теперь с поголовьем. Как только сдали сводку, начали забивать. И сейчас производится забой и продажа скота.

Курганов вспомнил отчаянный визг свиньи, слишком прямой, слишком веселый взгляд Самосуда и отчетливо понял: «Он мне врал. Именно тогда, именно при мне забивали свиней. Смотрел на меня, как на отца родного, и обводил вокруг пальца!»

— Я послал в колхоз районных зоотехников с приказом пересчитать наличное поголовье,— продолжал Вострухов.— Сейчас они мне звонили. Самосуд не пустил их на фермы!

Курганова внезапно охватила непобедимая усталость. Он машинально вертел в руках пресс-папье. «Да, да... визжали свиньи... Свиньи! Кругом свиньи?! А я? Я идиот! И этот Вострухов... Он действительно может смотреть на меня с сожалением. Дураков жалеют! Самосуд тоже... Нет, тот не жалел! Тот врал про семиклассниц и исподтишка насмехался. Я спросил: «Поросится, что ли?» А он: «Кто ее знает. Может, и поросится!» И прямо в глаза. И девчонки слышали. Девчонки все знали. Эта, Лена, говорит: «Визжит на убойной...» Он шикнул! Сделал из меня дурака? Ну, ну, ну!..»

Он не мог больше говорить и встал.

— Ладно, Игорь Львович. До завтра... С утра... На свежую голову.

Морозный воздух освежил его и вернул способность к юмору.

«Где в Ухабинском районе самый последний идиот? — спрашивал он себя.— Самый последний идиот здесь! Иди-

оты могут писать диссертации. Идиоты не могут работать секретарями райкома».

Дома он застал разлад. У жены Лиды были заплаканные глаза. Старший сын — с таким же, как у матери, тоненьким и капризным личиком — стоял в углу. Младший сын был заперт в спальне и со страшной силой гудел там в трубу. Теща мелькнула в коридоре с хорошо знакомым Курганову шкодливым выражением и срочно скрылась в спальне.

— Что произошло? — спросил Курганов.

— Что произошло? — дрожащим от слез голосом сказала Лида.— Произошло то, что ты думаешь о ком и о чем угодно, но не о семье! Ты сорвал детей с места, оторвал жену от нормальной жизни!.. Мы все бросили ради тебя!.. А тебе ни до чего нет дела!..

— Давай, Лида, поконкретней! — терпеливо сказал Курганов.— Общих руководящих указаний мне достаточно шлют из области...

— Тебе шутки!... А я... А дети...

— Папа приехал! — закричал сын, кинулся к отцу и обнял его колени.— Папа, папа! — торопливо и восторженно сообщал он.— Бабушка приходит домой и думает: отчего это я так тихо сижу?! А я, оказывается,— с особой отчетливостью сын произнес это новое для него слово,— я, оказывается, ломаю динамик у радио.

Сын, видимо, повторял бабушкин рассказ и гордился необычным поведением. Курганов расхохотался. Теща, обрадованная поддержкой Курганова, вплыла в комнату и тоже заколыхалась от смеха.

— Смеетесь! — с негодованием сказала Лида.— Маму я еще могу извинить! Она старая женщина! Она не понимает, что губит ребенка! Но ты! Воспитатель масс!..

Она повернулась и быстро пошла в угловую. Угловая комната по обоюдной договоренности была «полем боя». Кургановы уходили ссориться в угловую, так как ссоры в других комнатах были слышны в смежной квартире председателя райисполкома.

— Ну, ну,— сказал Курганов сыну.— Значит, ты, «оказывается», ломаешь динамик... Ну, пойдем, пойдем... покажи...— Он посмотрел на испорченный радиоприемник.— Сломать ты сумел. А теперь сумей-ка починить! Ломать умеешь, а чинить не умеешь? Но, брат, так только дурачки делают. А ты у нас умный! Сумел сломать, сумеешь починить!

Озадаченный сын смотрел на приемник.

— Садись-ка чини! — весело сказал Курганов.— Пока не починишь, до тех пор не выйдешь из комнаты. Так, брат, в этой жизни полагается! Мама! — обратился он к

теще.— Пойдемте отсюда! Здесь Слава будет сидеть и чинить динамик. Не надо ему мешать, он очень занят!

Он увел тещу, запер ошеломленного сына один на один с динамиком и пошел в угловую ссориться с женой. Жена сидела на детском стульчике и смотрела в одну точку.

— Ты смеешься!—сказала она шипящим шепотом, чтоб не слышали мать и дети.— Мама губит детей, а ты смеешься! В городе была тетя Таня, была Анна Львовна, и мамино влияние не было таким пагубным. А здесь они целый день с ней. Целый день.

— Детей надо пока послать в детский сад!

— В такой детский сад! О! Ты думаешь, о чем ты говоришь? Дети гибнут... Меня...— Губы у Лиды задрожали.— Меня здесь оскорбляют из-за какой-то кошки!

— Из-за какой кошки?

— Из-за серой! Из-за обыкновенной! Ты говорил, что я смогу здесь заканчивать эксперименты. А здесь нет не только лаборатории, здесь нет самых обыкновенных кошек! На ком мне экспериментировать?!

— Вот еще проблема!—засмеялся Курганов.— Слава богу, кошачье поголовье в районном масштабе и не нормируется и не планируется. Режь—не хочу!

— Ты опять смеешься!—трагически прошипела Лида.— Ты только и умеешь смеяться! Моя научная работа... вся моя судьба... и все мое будущее... А ты...

— Лидочка, я клянусь тебе, кошек здесь сколько угодно!

— Но пойми ты—это же хозяйские кошки! И они все здесь знают и друг друга, и всех своих кошек, и всех своих мышей, и бог знает что! Мне принесли мальчишки кошку. Я сделала ей фистулу. Так трудно было в этих условиях!.. Ни инструментов, ничего! Наконец начала эксперименты! И вдруг является эта старуха. Кричит, оскорбляет! Хватает прямо со станка кошку с фистулой! Ты опять смеешься. Ну конечно, тебе смешно! Тебе все только смешно!

— Лидушка!—сказал Курганов.— Ты успокойся. А я пока пойду помоюсь. После этого мы серьезно займемся кошачьими проблемами. Ты понимаешь, работу с этим поголовьем я, как секретарь райкома, еще не освоил.

Он вымылся и попросил:

— Дай мне чистую сорочку.

— Вот тебе твои сорочки!—Лида бросила ему сверток в нарядной целлюлозной бумаге.

Недавно Курганов ездил в город, и Лида просила его купить белье. В одном из магазинов он увидел целлюлозные пакеты с нарядными, дорогими рубашками в кружевах и бантиках. Он простоял час в очереди, ухнул уйму

денег и купил на радостях сразу полдюжины пакетов. Вернувшись, он торжественно вручил их жене. Когда счастливая Лида развернула нарядные рубашки, они оказались детскими. Лида трясла рубашонки-коротышки и спрашивала:

— Куда я их теперь дену, несчастный ты человек! Ну, куда?

— Лида! Я буду носить их вместо майки...— мужественно пообещал Курганов.

Теперь в сердитую минуту жена вспомнила о злополучных сорочках. Курганов знал, как трудно Лиде, коренной горожанке, увлеченной своими экспериментами, применяться к непривычной обстановке. Ему хотелось как-то развеселить жену. Он покорно натянул на себя распашонку и посмотрел в зеркало. Из зеркала, нагнув голову, с тоской смотрел на него невысокий, большеголовый и большелобый человек, одетый в розовую рубашку с кружевами и бантиками. Белая щетина волос лезла сквозь кружево.

— Знаешь, Лида,— сказал он,— кружева — это ничего. Вентилирует! На совещаниях даже полезно... Но куда приспособить бантики?

Лида посмотрела на мужа, и ей стало смешно.

— Ты невозможен,— сказала она.

Он уже кружил ее по комнате.

— Может, с бантиками я тебе наконец понравлюсь? Ну, говори, нравлюсь? — Он опрокинул ее на диван.— Нравлюсь? Говори!

— Совершенно невозможен! — повторила она, пытаясь вырваться.— Мальчишка! И всегда ты смеешься! Всегда смеешься!

— Э, моя милая,— возразил он.— Если в моем положении не смеяться, так можно повеситься!

Он снова почувствовал прилив неодолимой усталости. Жена поняла это.

— Что ты, Трофим? Что-нибудь случилось?

Она могла повздорить и покапризничать при случае, но в трудные минуты становилась такой, какой была в глубине души,— мягкой и самоотверженной.

— Что случилось? Ты не заболел? — Она положила ладонь на его лоб.

Он поцеловал ладонь, прижал к груди.

— Вот так, Лида...

— Тебе плохо, Трофимушка? Что, милый? Что? Трактора? Семена? Корма? Коровы? Свиньи?

— Люди...— ответил грустно он.— Все остальное я переношу. А вот это меня бьет! Когда обманывают коммунисты... в которых видишь опору...

Она заставила его рассказать, выслушала и попыталась утешить. Потом накормила, уложила на диван, легла рядом с ним, прижала к себе его голову.

— Ты сейчас ни о чем не думай... С устатку все кажется трудным. А о моих делах не заботься. Я все сама устрою... Детский сад здесь ужасен, но почему бы нам не выписать Анну Львовну. Она приедет к нам в тишину, в район, если создать ей условия. Почему бы не завести в нашем районе образцовый детский садик?

— С детьми отрегулируем.— К нему вернулась способность шутить.— А как же проблема кошек?

— Кошки? Знаешь, можно делать заявки на котят!— Ее глаза уже смеялись. За годы замужества она переняла у него манеру шутить.— На котят можно абонироваться! Как на симфонические концерты. Заранее. Понимаешь?! Я возьму на учет всех кошек, которые находятся в интересном положении.— Она засмеялась, но заключила серьезно: — В крайнем случае я переключусь на кроликов. Их можно покупать на ферме.

Он задремал.

В полусне он увидел свой высокий и тихий городской кабинет с паркетным полом, со шкафами, вделанными в стенные ниши, с белыми листами бумаги на зеленом сукне стола. «Диссертация,— подумал он, засыпая.— Как хорошо, как спокойно!.. Как я там все умел! Все понимал... Понесло ж меня, идиота!.. Но в конце концов всегда можно вернуться. Один звонок Володе — и меня срочно отзовут на научную работу».

Перед ним выплыло лицо Анны, и совсем рядом прозвучал ее глухой голос: «Может, и ты тоже... из варягов?.. С водой пришел... с водой и уйдешь...»

Глава VIII

ПЕРВЫЙ ВКЛАДЫШ

Апрель пробивался сквозь ветры и морозы. Оседали источенные солнцем снега на бульварах, и новорожденные ручьи прорывались сквозь снежную коросту. Сперва они робко ощупывали асфальт, и обрадованные и испуганные собственным появлением, потом встречались друг с другом, начинали переговариваться, смелели и, наконец, наглотавшись высокой синевы, сливались в потоки и с шумом завладевали улицами. Ветви деревьев почернели живой, влажной чернотой, и четок стал их рисунок на прозрачной голубизне. Каждое дерево всеми своими вет-

вями впивалось в небо, каждый самый крохотный прутик жил со всею силою жизни и что было мочи тянулся к солнцу.

Все в эту весну западало в душу Бахирева — запоминались испуганная, дрожащая синева ручья, набухшая ветка в квадрате окна, части нового конвейера, сваленные на разломанном полу чугунолитейного. Так запоминается мир в дни первой любви и первой разлуки. Теперь Бахиреву казалось, что тракторный завод и был его первой любовью: ни в одно свое дело прежде не вкладывал он столько страсти, и ни одно из них не приносило ему столько страданий. Теперь Бахиреву казалось, что он стоит на пороге первой, грозной разлуки — после бахиревской докладной о Сталинских премиях Вальган не хотел с ним работать, и Бахирев понимал это. Но ни горечь этой несчастной любви, ни боль возможной разлуки не расслабляли воли. Бахиреву уже нечего было терять и незачем осторожничать; ему хотелось одного — как можно лучше использовать оставшийся долгий или короткий срок.

Он пробовал вызвать одновременно главного конструктора и главного технолога и поговорить об основном — о том, каким должен быть трактор и как сделать его дешевле.

Разговора не получилось.

— Конструкция, конечно, несовершенна в деталях, но в принципе интересна,— вяло говорил Шатров, и взгляд его бархатных, мечтательных глаз был уклончив.

— Конструкция недостаточно технологична, и главный конструктор не мобилизовался на вопросах технологичности,— привычно наступал на него Уханов.

Оба явно не интересовались ни словами, ни начинаниями главного инженера: считали его временным человеком на заводе. «Ни главного конструктора, ни главного технолога — ни правой руки, ни левой. Безрукий главный! — сам над собой издевался Бахирев. Но и это раззадоривало его.— Тот, кто не имеет рук, должен крепче работать головой. Я многого не могу, но тем больше оснований сделать все, что могу».

На следующий день после своего выступления о премиях он вернулся домой раньше обычного, чтобы кое-что додумать и с утра начать наступление.

Дома он не нашел привычного покоя.

Рыжик с подозрительным усердием писал что-то и не повернулся, когда вошел отец.

— Вот, папа... Полюбуйся на него! — едва увидев отца, крикнула Аня.

Мать попыталась остановить:

— Анечка! Папе же некогда.

— Ах, мама, уж ты хоть бы молчала!—возбужденно продолжала Аня.—Папе некогда! Ты не можешь его воспитывать! Это же всем известно: мамы не могут, папам некогда, а в результате получаются мальчики, которые поджигают дома, о которых пишут в газетах!

— А уж ты до того воспитанная, как циркулем отмеренная...—буркнул Рыжик.

— Ну и что ж, что я циркулем? Зато я хожу без синяков! Вот ты посмотри на него, папа! Поверни голову!

Сын не желал поворачивать головы. Аня схватила брата за вихор. Рыжик, по-прежнему не поворачиваясь, ударил ее локтем в живот.

— По животу нечестно,—закричала Аня, но стойко продолжала держать брата за вихор.

Младший сын, по прозвищу «Бутуз», толстенький, розовенький, необыкновенно похожий на мать, сидел возле нее, держал ее за пояс халата и с удовлетворением комментировал:

— Она его по баске, а он ее по зивоту! Да, мам?

— Дети, прекратите немедленно!—волновалась жена.

— Покажись папе! Ага, стыдно? Ага, боишься?!—кричала Аня.

— И ничего не стыдно! И ничего не боюсь!

Рыжик повернул голову, и Бахирев увидел черный синяк под затекшим веком левого глаза.

— Кто это тебя так?

— И не говорит, и молчит, и стыдно сказать!—кричала Аня.

— Не все такие ябеды, как ты...

— Я не ябеда! Я сестра! Если мама с папой не могут тебя воспитывать, то кто-нибудь должен тебя воспитывать! Я не ябеда! Я не хочу, чтобы мой брат ходил с подбитым глазом!

Бахирев смотрел в милое веснушчатое лицо сына. Мальчик сидел боком, и видно было, как из-под синего набрякшего века смотрит печальный карий глаз.

— С кем ты подрался, Рыжик? Из-за чего?

Сын молчал. И вдруг из печального глаза побежала слеза. Бахирев испугался: он давно не видел сына плачущим.

— Ну, что ты? Ну, пойдем со мной!—Он увел мальчика в кабинет.—Что случилось? Ну, что ж ты молчишь? С кем ты дрался?

— Да с Валькой... с Шатровым,—тихо ответил Рыжик.

— Из-за чего? Ну, говори.

— Да он...

— Ну?

— Я хотел занять место у окна... А он тоже хотел. А я первый. А он говорит...— Губы Рыжика дрогнули и вытянулись смешным хоботком. Он умолк.

— Ну, что он говорит? Ну?

Хоботок все вытягивался и дрожал.

— Рыжик! Будь же мужчиной!

— Он говорит: «Понапрасну ты стараешься...»

— Ну, что он говорит?

— «Понапрасну ты стараешься. Все равно, говорит, вы чужаки и твоего отца скоро выгонят».

Бахирев стиснул зубами черенок трубки. Итак, дошло до детей. Если даже дети в школе, значит, это глубже, чем он думал. Сын... Дерется за него вот этими веснушчатыми кулачонками. Защитник! Он притянул к себе огненную голову.

— Это неправда, папа? Это неправда.

— Неправда. Но когда люди берутся за трудное дело, им приходится трудно.

— А тебе трудно?

— Мне станет легко, если я сдамся и отступлю. Но ведь ты не хочешь, чтоб я сдавался?

— Не хочу! Ты никому не сдавайся, пап! А чего ты хочешь сделать трудное?

— Сперва я хочу привести в порядок все машины, чтобы они не ломались и работали во всю силу. Потом хочу вводить самые лучшие, новые методы и машины.

— А директор не хочет?

— Ты хочешь к празднику новый костюм?

— Хочу!

— А хочешь кроить, сметывать, сшивать, пришивать пуговицы, метать петли, утюжить? Не хочешь? Ну вот, так и многие... Носить бы не прочь, да шить не хотят.

Он перебирал легкие кудри сына. Мальчик взволнован. Может быть, надо было скрыть, успокоить? Но сын сказал срывающимся, но басовитым голосом:

— Ты не волнуйся, пап! Ты тоже... знаешь... перетерпи... Все равно твоя будет верхняя, потому что ты лучше всех.

Когда Рыжик ушел в спальню, неслышно, как всегда, вошла жена и села на край дивана.

— Митя... Я не хотела говорить, но ведь уже дошло до детей!

— Что дошло?

— Ну, все это... Вся эта вражда.

Он повернулся так, что затрещало кресло.

— Какая вражда?

Она плакала. Он не мог взять в толк причину ее слез. Всегда неслышная, спокойная, довольная...

— Катя! О чем ты плачешь? О чем ты говоришь?

— Мне так тяжело! Я тут так одинока! А теперь еще дети... И Рыжик... и Аня...

— И Аня тоже?! Что Аня?

— Ей сказали, что ты одиннадцатый главный инженер и скоро будет двенадцатый. Аня — разумная, выдержанная девочка. Но Рыжик дерется! А я?.. Я просто боюсь выйти из дому. Вчера в магазине... женщины думали, что я без очереди... И какая-то вдруг закричит: «Пусть ее хватает, пока их самих не выхватили с завода». А еще Рославлева. Ты знаешь, я заходила к ним по-соседски. Она славная. Она говорит: «Ваш Дмитрий Алексеевич слишком крут... у нас этого не любят. Вы бы его поостерегли».— Казалось, прорвалась внутренняя плотина — слезы и слова хлынули потоком.— А третьего дня на трамвайной остановке... какие-то мужчины, такие вполне приличные... лица такие солидные. Они меня не знают. Стоят разговаривают: «Новый» не смыслит ни бельмеса в тракторостроении. Завод без технического руководства». Я стоять не могла. Что же это, Митя?!

— Я делаю то, что считаю нужным.

— Но, Митя! Ведь всяко можно. Если ты не все знаешь... Надо уступать! Тут свои обычаи.

Он был ошеломлен. Он не представлял себе, что все это достигло таких размеров. Его спокойная, уравновешенная Катя дрожала и плакала. Он никогда не видел ее такой. Но никогда жизнь не подвергала ее таким испытаниям. А жена все говорила:

— Мне тяжело всюду: в магазине, в трамвае, на улице. Детям тяжело в школе, в пионерском отряде.

Ему вспомнились слова сына: «Ты не сдавайся, пап». Мальчик... Мужчина... Как он уже все понимает!

Он смотрел на лицо жены, припухшее от слез, на ее вялый, влажный, кривившийся рот так, словно видел ее впервые. А она все говорила, и в сбивчивых речах ее не было ни одного нужного ему слова. Ни одного слова, похожего на те слова, которые нашел для него даже Рыжик. В эти часы, самые трудные в жизни Бахирева, ребенок оказался ближе и мужественнее сердцем, чем взрослая женщина. Возле нее, у себя дома, он почувствовал еще больше одиночество, чем на заводе. Он сам испугался своей отчужденности и заговорил торопливо:

— Катя... ты пойми... основные параметры нашего трактора...

Она перебила его:

— Я не понимаю и не могу понять никаких параметров! Я знаю одно — все здесь живут как люди, и только мы...

Ни желания помочь, ни стремления понять не было в ее словах. В них звучало одно желание — сохранить привычный покой и благополучие.

В испытательных лабораториях металл испытывают нагрузкой. Семейная жизнь Бахирева в эти дни также проходила испытание нагрузкой и, не выдержав испытания, давала трещину. Когда это началось? Ему вспомнилось, как и в первые годы их совместной жизни он, увлеченный техническими идеями, пытался говорить о них с Катей. Она скучала, слушая, и, от природы искренняя, даже не пыталась сделать заинтересованного вида. Он умолкал и думал: «Что же делать? У Кати нет технической жилки».

Она всегда говорила, что «живет только им», что у нее нет иной жизни. Но как можно было из года в год «жить только им» и ни на миг не заинтересоваться металлом, производством, техникой, тем, что составляло смысл его жизни? Нет, она не « жила им»! Она жила «возле него»... И как дефектный металл порой кажется доброкачественным, до проверки его нагрузкой, так и их семья казалась ему благополучной до этих дней испытания.

Катя продолжала жаловаться, а Бахирев, ошеломленный открывшейся ему трещиной, говорил себе: «За полчаса не расскажешь ей о том, чем жил всю жизнь. Что же теперь делать? — Он невесело усмехнулся. — Может быть, читать ей лекции о советском тракторостроении?»

У него не было времени не только на лекции, но и на то, чтобы поесть и поспать спокойно. Он вытащил из портфеля кипу материалов и сказал жене:

— Возьми себя в руки, Катя. Я поступаю так, как нахожу нужным. А сейчас я сяду работать до утра. Прошу тебя, если уж ни словом не можешь помочь, хотя бы не мешай.

Утром он вызвал к себе начальника ОТК Демьянова.

Маленький, белобрысый, некрасивый Демьянов вошел враскачку, словно шагал в шторм по палубе. В длинных руках он, как всегда, вертел что-то. Бахирев знал, что раньше он работал токарем на заводе, потом Вальган взял его в шоферы и дал возможность окончить без отрыва от работы институт. Не так давно прежнего начальника ОТК убрали за строптивость, а вместо него назначили Демьянова.

Еще и сейчас в напряженной шее Демьянова, в

осторожных и ловких движениях его пальцев, в каких-то неуловимых жестах, поворотах угадывался старый рабочий.

— Товарищ Демьянов,— проговорил Бахирев,— я должен сказать вам, что, на мой взгляд, вы не выполняете своих функций.

Демьянов сидел не двигаясь, только маленькие смышленые глазки посмотрели вопросительно.

— Я говорю о гильзе, пробке, вкладышах.

— Я предупреждал... Семен Петрович обещал принять меры.

— К июлю?

— Да...

— А до июля вы считаете возможным выпускать брак? Завод должен уважать себя.

— Что, по-вашему, я должен делать?

— Каждый должен честно делать свое дело. Я буду делать все, что смогу. Но в ваших руках есть то орудие, которого лишен я.

— Вы что ж, советуете... «запереть» программу?—с любопытством спросил Демьянов.

— Иначе мы «запрем» сев на тысячах километров.

Демьянов выслушал, не возражая и не соглашаясь.

«Ничего не сделает вальгановский шофер,—думал Бахирев.— Знал, знал Вальган, кого поставить начальником ОТК! Разговор—так, для очистки совести».

Днем Бахирева вызвали на совещание в горком. После совещания, когда он, вернувшись, вошел в кабинет, на пульте горел красный сигнальный свет.

Бахирев позвонил в диспетчерскую.

— Что на конвейере?

— ОТК не клеймит гильз, вкладышей, пробок...

«Осмелился-таки!» От неожиданности Бахирев тихо засмеялся в трубку, и диспетчерша закричала:

— Что? Что? Что вы сказали?

Усилием воли он заставил себя сидеть и заниматься очередным делом. Он ждал, что Вальган его вызовет, но вызова не было...

Тянулись минуты, красный глазок звал, но Бахирев упорно не вставал с места...

Вдруг сигнальный огонь погас. Конвейер вновь пошел обычным ходом. Бахирев позвонил диспетчеру.

— Директор приказал взять клейменые детали из фонда запасных частей.

Бахирев знал, что запасных вкладышей хватит ненадолго. Что ж будет дальше?

Он продолжал работать. Шли часы. Никто не входил в

кабинет, никто не звонил ему, как будто он уже стал парием, отторгнутым от жизни завода. Общее молчание было отзвуком директорского гнева. Не звонил и Демьянов. Ненадолго хватило вальгановского шофера! Итак, еще одно поражение.

И вдруг снова вспыхнул красный сигнал. Бахирев рывком снял трубку.

— Что опять на конвейере?

— ОТК сошел с ума!—По отчаянному голосу диспетчера Бахирев понял, какой переполох сейчас на заводе.— Конвейер встал по вкладышам!

Тогда он пошел в сборочный.

Конвейер стоял. Остановка его была противоестественна, как остановка реки. Безжизненно повисшие тросы, люди, отхлынувшие от конвейера, безалаберность цеха—все то, что было признаком бедствия и требовало немедленного вмешательства главного инженера, сегодня было вызвано им самим.

Конвейер стоял. Одинокий среди общего волнения, обходимый всеми, как чужой, как чумной, как помеха, как причина бедствия, Бахирев шагал вдоль замершего конвейера. С новым приливом горечи он обдумывал все, что таилось за этой остановкой, за «гильзой—пробкой—вкладышем»... «Дело не в них,—думал он.—В странах капитала существует конкуренция. Тот, кто выпускает плохие и дорогие вещи, разоряется и гибнет. У нас никому не грозит гибель и разорение. Что же, значит, можно делать плохие вещи? Почему же мы терпимы к людям, которые пользуются благом и преимуществом так, что благо превращается во зло и преимущество—в изъян?..»

Им овладело чувство, похожее на то, которое в детстве заставляло его кидаться на помощь товарищу, уязвимому не от слабости, но от чрезмерного доверия и чистоты. Высокочеловечная социалистическая система предполагает в людях высокую человечность. Но когда обман за доверие, бесчестие за честность, зло за добро, тогда...

Тогда груды бракованных вкладышей лежат у контрольного пункта. Нечестность людей, превращенная в нечестность вещей! Яростное желание защитить охватило Бахирева. Нет, не во имя конкуренции, не во имя страха, а во имя страны, во имя социализма надо было во что бы то ни стало давать хорошие машины, превосходные машины, лучшие в мире машины.

Конвейер стоял. Но в ту минуту для Бахирева он перестал быть конвейером. Весь он, со всеми его узлами и линиями, стал орудием, которым главный инженер умело

или неумело, верно или неверно, но яростно сражался за то, что было свято для него.

С конвейера Бахирев пошел к Вальгану.

В кабинете теснились люди. Вальган шагал по ковровой дорожке. Маленький, красный, взъерошенный Демьянов утонул в кресле. Длинные руки его крепко вцепились в подлокотники. Налитое кровью лицо выражало одновременно и страх и упорство.

— Кем и чем вы становитесь?! — кричал Вальган.— Вернее, кто и что из вас делает?! — Он увидел Бахирева, смешался на мгновение, но тут же стал говорить еще ожесточеннее и громче: — На заводе есть коллектив, есть свои люди, которым дорога жизнь, честь, судьба завода. И есть... чу-жа-ки!

— Иначе, Семен Петрович, не могу,— жалобно, но упрямо сказал Демьянов.

Вальган сел. Вслед за ним сели остальные. Вальган не смотрел на Бахирева. Бахирев тоже сел поодаль.

— Положение такое,— сказал Вальган гневно, но уже тихо,— начальник ОТК сегодня ни с того ни с сего бракует те детали, которым в течение месяцев давал клеймо. Завод поставлен в пиковое положение.

Демьянов молчал. Видимо, все силы его уходили на то, чтоб не сдаваться, и он уже не мог ни соображать, ни отвечать.

Но Бахирев был во всеоружии.

— Начальник ОТК предупреждал нас многократно,— сказал он твердо.

— В пиковое положение...— повторил Вальган, игнорируя Бахирева.— Начальник ОТК занял позицию чу-жа-ка! Не организатора, но стороннего наблюдателя.

— Я берусь организовать в несколько дней новую технологию указанных деталей,— снова вмешался Бахирев.— Мне нужны для этого ваше согласие и ваша помощь.

Наступило молчание. Бахирев ждал. Какой новый ход найдет гибкий ум Вальгана?

— Хорошо! — Вальган заговорил тихо и твердо.— Завод работал на этих деталях месяцы, и ничего не произойдет, если он поработает на них еще три дня. Если ОТК спросит с нас за эти три дня, мы беспощадно спросим с ОТК за многие месяцы молчания. Сделаем так. Сейчас пустим конвейер. А за три дня...— Вальган повернулся к Бахиреву и улыбнулся ему своей великолепной улыбкой; верхняя губа приподнялась больше, чем обычно, сильнее обнажила плотные, острые зубы. «Улыбнулся или ощерился?» — подумал Бахирев.— За эти три дня под личную ответственность главного инженера предлагаю

наладить необходимую технологию указанных деталей,— закончил Вальган.

Бахирев не наладил технологию за три дня, и на третий день, в день своего отъезда в Москву, Вальган объявил ему выговор приказом и вызвал его к себе.

...Кабинет Вальгана. Сколько раз Бахирев входил сюда! В день приезда он вошел как в неведомое, но гостеприимное обиталище, где все радует глаз, сулит порядок и ясность. Однажды он сидел здесь как в обители друга, выкладывая заповедные замыслы, окруженный оранжерейными цветами и оранжерейным теплом. Несколько дней назад он вошел сюда так, как входят в операционную: будет боль, кровь, крик, но так надо.

Сейчас он вошел сюда как в штаб врага. Вальган сидел полуотвернувшись, держал в руке стакан с чаем и весело кричал в трубку:

— Завтра жди! Конечно, к тебе! Как там Леля? Приветы от меня и от Нины... Так ты подготовишь у министра, чтоб мне не засиживаться? Ну-ну, завтра увидимся!—Он повернулся к Бахиреву и отпил чай, не изменяя оживленно-веселого выражения лица, как будто Бахирев был настолько незначительным и легко устранимым явлением в жизни Вальгана, что не мог никак влиять на его настроение.

Бахирев был спокоен. Единственное, что могло выбить его из равновесия,—неясность—кончилась. Он уже ясно сознавал, что судьба его решена Вальганом, и не собирался подчиняться этому решению. Допив чай, Вальган аккуратно поставил стакан, обтер салфеткой губы и только тогда заговорил:

— Дмитрий Алексеевич! Я буду краток. Я извлек вас из вашего далека. Вы хотели уйти, я не отпустил вас. Я надеялся сделать из вас крупного работника. Я ошибся. Я не мстительный человек. Портить ваше будущее я не хочу. Но сейчас я согласен отпустить вас по вашему желанию. Пишите заявление. В Москве я оформлю. На этом окончим вашу деятельность на нашем заводе.

Он подвинул Бахиреву лист бумаги. Бахирев ответил, не шевельнувшись:

— У меня нет желания кончать мою деятельность на нашем заводе.

Вальган смотрел на Бахирева светлыми, желтыми глазами рыси и медленно тер подбородок. Несколько секунд они посидели молча. Потом Вальган встал.

— Ну... пеняйте на себя!

Бахирев прошел к себе. В кабинете было жарко. Присланный Вальганом кактус еще цвел. Лепестки цветка

были напряженными и яркими. Бахирев усмехнулся: «И отцвести не успел!»

За темными оконными стеклами жил и дышал бессонный завод. Подходили составы с грузами. Перекликались гудками паровозы, и один из них пыхтел под самым окном Бахирева. Не прекращался далекий грохот кузницы. Совсем рядом захлебывались свистки бормашины сборочного. С рокотом шли на погрузку тракторы, и на поворотах белые отсветы их фар скользили по темным окнам.

Огромная махина завода жила, дышала, ворочалась за окном кабинета, и Бахирев слушал ее дыхание. Расстаться с ним? Нет!

Кто-то стукнул в дверь.

— Войдите.

Вошел Чубасов, ссутулившийся, желтый, утомленный.

В глубине души он соглашался, что новая марка трактора несовершенна и недопроверена. Однако он знал, как напряженно работали тракторостроители. Почему не поощрить этот труд? Он знал немало случаев, когда премии получали за работы такого же качества. Поставить под сомнение премию завода — значило поставить под сомнение всю систему премий. Вопрос о премиях решали люди, которых Чубасов считал компетентнее себя. Он не любил скоропалительных, измышленных в одиночестве выводов. Медленно и трудно вынашивал он каждое решение. Ему вспомнилось школьное прозвище «Коля правильный». «Кто, кроме партийных работников, знает, чего стоит человеку такая правильность? Самый смысл партийной работы как раз в том, чтобы для каждого вопроса найти принципиально правильное решение. Партийный руководитель как минер — он ошибается только раз. Там, где начинаются неисправленные ошибки,— кончается и смысл работы, и право на руководство, и авторитет, а следовательно, и возможность руководить».

С приходом Бахирева для Чубасова наступили самые трудные дни — дни поисков верного решения. Он ценил и любил Вальгана за его бьющую через край энергию, за его умение поднять, зажечь людей. Бахирев не обладал этими качествами. Он начал со стычек с Вальганом. Чубасов видел — назревают еще более резкие столкновения. Как найти правильную линию меж ними? Как сделать, чтобы самая противоположность и разнокачественность их пошла не во вред, а на пользу заводу? «Оба коммунисты. Оба советские люди. Значит, можно привести их к одному знаменателю»,— думал он. Ему нравилась систематичность бахиревских планов. Он поддерживал многие предложения Бахирева. Ему удалось уговорить Вальгана срочно сменить руководство в двух цехах,

отдать часть средств, распыленных по другим цехам, на переоборудование «чугунки». Но все же поведение главного казалось странным. То разрабатывает грандиозные планы, то часами сидит в земледелке, то не выполняет основных функций, то превышает эти функции. Цепь противоречивых и необоснованных поступков. Чем они вызваны? Отсутствием знаний и опыта? Самомнением? Честолюбием? Чубасов не терпел честолюбцев.

Их негромкий разговор мог показаться вялым от той напряженности, с которой говорили оба.

— Дмитрий Алексеевич,— начал Чубасов,— вы новый человек в тракторостроении. Как же вы берете на себя смелость сбросить со счета достижения лучших тракторостроителей страны? Ведь это поступок, мягко говоря, бестактный.

— Я не озабочен соображениями такта.

— Я сказал — «мягко говоря».

— Ну, жестко говоря?

— Вы знаете, кое-кто расценил это как проявление космополитизма.

— А вы?

— Я должен разобраться. Поэтому я и пришел. Я прошу объяснить...

— Что ж объяснять? Космополиты — это политические злопыхатели. Я не злопыхатель. Но я всю войну работал в танкостроении.— Бахирев, не поднимая сонных век, смотрел на бумаги, но слова ложились весомо.— Война заставила и приучила меня жить идеей нашего технического первенства...

Чубасов насторожился. «Жить идеей нашего технического первенства...» Чубасову показалось, что на миг приоткрылась завеса сонных век. Может быть, это и есть главное? Тот ключ, который открывает все двери и все замки в этом человеке? Но Бахирев не дал ему подумать над этой фразой.

— Я не злопыхательствую над недостатками. Я...— Он перебрал в уме «стыжусь», «краснею», «страдаю» — все было не то. Одна фраза точно определяла его состояние, но в ней было излишество. Он понимал это, но устал искать и сказал то, что пришло на ум: — Для меня наши недостатки — это язвы на теле матери. Пока я вижу их, я могу думать лишь о том, чтобы залечить их.

«Нескромность во всем — в поступках, в словах, в отношении к людям»,— подумал парторг и сказал скептически:

— Предположим, вы правы, в нашем тракторе еще много, как вы говорите, язв, я бы сказал куда проще — недостатков. Но разве плохо поощрить премией людей,

еще не давших нужного качества, но идущих к верной цели верной дорогой?

Губы Бахирева болезненно покривились.

«Щедрость! — подумал он с горечью. — Широкая щедрость страны...»

— Плохо! — ответил он. — Премий надо меньше и строго по заслугам. Настоящего человека перехвалом не испортишь. Но если наградить, перехвалить человека корыстного... честолюбивого... ограниченного... Он же тотчас поверит в свое совершенство! Он же тотчас начнет с помощью наград и похвал пробираться к деньгам и власти! Награждая бездарных и недостойных, мы способствуем тому, чтобы бездарные и недостойные приобретали вес и влияние. И это в стране, главной движущей силой которой должны быть инициатива и талант масс. Это — первое зло. Награждая недостойных, мы делаем недостойных образцом для миллионов. Это — второе зло. И когда два этих зла соединяются вместе... Щедрость! — вдруг некстати с горечью вырвалось у него. — Щедрость страны, обращенная во зло стране!

Последние слова были отрывисты и неясны, но именно эти слова с их неуместностью и болью вдруг заставили Чубасова поднять голову.

— Разве вы не видите этого? — продолжал Бахирев.

Чубасов медлил с ответом.

— Есть вопросы, которые решает партия... Я не беру на себя смелость решать их персонально.

— Но из кого состоит партия? Из таких, как вы! Если каждый струсит, каждый «не возьмет на себя смелости», то во что же превратится партия?

— Вы не поняли меня, — побледнев и обозлившись, оборвал его Чубасов. — Я решаю их вместе с партией, но когда они решены, я не возьму на себя смелости перерешать их в одиночку... или в этаком интимном тет-а-тет, как у нас с вами.

Нить, на миг протянувшаяся между ними, опять порвалась. Они сидели как антиподы — Бахирев, напористый до опрометчивости, как считал Чубасов, и Чубасов, осторожный до трусости, по мнению Бахирева.

— Мы попросим вас выступить на партактиве, — едва выговорил Чубасов. — Но это будет недели через две, после возвращения директора. Я хотел бы быть в курсе ваших ближайших планов.

«Я должен встать выше личной обиды и личной неприязни, — мысленно твердил он. — Речь идет о заводе». Пересилив себя, он чуть улыбнулся.

— Во избежание добавочных катастрофических неожиданностей. А также потому, что в ряде вопросов

согласен с вами. Семен Петрович еще не успел сказать вам. Но два часа назад подписан приказ о назначении Рославлева в моторный, Сагурова — в чугунолитейный. А также о передаче средств последнему и об установке там нового конвейера.

Бахирев стал торопливо дергать и крутить вихор на затылке. «Значит, все-таки удалось! Проняло-таки Вальгана! Понял, что на пользу! Значит, можно начинать работу!»

И, словно угадав его мысли, Чубасов сказал:

— Только... еще раз хочу вам напомнить... Приказы производства не перестроят. Его перестроят только люди!

Чубасов ничего не сказал о своей помощи, о разговорах с Вальганом в горкоме и обкоме. Бахирев смотрел на усталое красивое лицо парторга с одним желанием: скорей бы ушел этот вялый человек с его прописными истинами, скорей бы на свободе, без Вальгана, приняться за дело!

Этот день ознаменовался еще одной небольшой победой. Первый вкладыш, изготовленный по всем правилам, лег на ладонь Бахирева. Смена, занятая вкладышем, уже кончила работу. Демьянова не было. Бахирев был один со своей радостью. Вкладыш — легкий, сверкающий полуцилиндр с золотистыми бликами на внутренней поверхности — на вид не отличался от прежних. Но за холодком металла, за сияющей алмазной расточкой Бахирев видел, что в отличие от прежних этот был «честным» вкладышем! Слой бронзы нормален,— значит, не будет выкрашиваться прежде времени. Кто оценит это качество — честность детали? Тракторист, механик МТС?

Бахирев смотрел, как скользят блики по отполированной поверхности. Первый реальный вклад в работу завода... Пока еще не вклад, еще только «вкладыш», именно «вкладыш», маленький, невесомый! Что удалось пока? Вернуть честность одной детали, сделать ее боеспособной в том соревновании двух систем, которое шло в мире. Но разве решен до конца даже этот малый вопрос? Не возиться с каждым вкладышем, а сделать биметаллическую ленту. Это могут сделать только металлургические заводы.

«И здесь, на заводе, так мало зависит от меня,— думал он.— А по ту сторону заводских ворот? Металлурги с качеством их проката, станкостроители с их станками, нефтяники с их горючим. Может, так же как мы, тракторостроители, недоделываем гильзы и вкладыши, нефтяники недоочищают горючее и станкостроители недодумывают конструкции станков? Откуда возникает нечестность людей, превращающаяся в нечестность вещей? Почему притупляется решающее оружие в соревновании

двух систем, почему нет того взлета производительности труда, который возможен и должен быть? Может быть, полагаясь на высокий дух советского человека, мы недооцениваем силу рубля и плохо маневрируем рублем? Может быть, многие мелкие изъяны — лишь следствие одного большого, следствие того, что мы еще нарушаем основной закон социализма — каждому по труду? Но мудрено, ой как мудрено проследить действие огромного закона на миллионы мелочей, вплоть до этих вкладышей!»

Горечь заставила его сильнее сжать пальцы. Край вкладыша врезался в кожу. Бахирев переложил его в другую руку. Туманный след от пальцев остался на льдистой поверхности. Бахирев бросил вкладыш в ящик. Сколько их тут? Одинаково мерцают под огнями цеха, и трудно отличить те, прежние, с тайной предательской фальшью, от сделанных на совесть! Бахирев очнулся от задумчивости. Наладчики возились у автоматов.

— Доконали наконец вкладыши...— прорвалось у Бахирева. Но его даже не расслышали.

В этот час своей первой маленькой победы Бахирев особенно остро почувствовал свое одиночество. Люди не то что сторонились его, но видели в нем чужака, который недолго останется на заводе, и не интересовались им.

Он вышел из цеха и направился к «чугунке». У выхода из сборки под ветвями деревьев, урча потихоньку, стоял трактор. Тракторист, видно, на минуту вернулся в цех. Бахирев протянул руку, почувствовал теплое дыхание мотора и усмехнулся. Ублюдок, конечно, но уже чем-то милый и близкий ублюдок! Милый своим будущим, близкий чаяниями, что в него вложены.

«Ну вот, брат тракторище! — мысленно сказал Бахирев трактору.— Вкладыши у тебя не будут крошиться, пробки не будут пропускать, и гильзы будут круглые, как положено. Это, конечно, только начало... Вот и гусеницы у тебя нехороши. И полегче тебя сделаем. И навесные орудия приспособим. В Америке нет прицепа. Им надо экономить рабочую силу. А нам не надо? Так-то вот. Ты еще не машина, ты еще эскиз машины, извозчик с баранкой вместо вожжей. Но дай срок, сделаем из тебя человека, то есть настоящую, уважающую себя машину».

Он поймал себя на безмолвной беседе с трактором, смутился и поспешно пошел дальше.

Нелепая ночная беседа с трактором... Ни в ком не встретившая сочувствия радость по поводу новых вкладышей... Он был в тупике одиночества и отчетливо понял это сегодня. Прозвучала в памяти «прописная истина» парторга: «Производство перестроят не приказы, а люди». Но ни эти слова, ни чувство одиночества не повлияли бы

на Бахирева. Он был упорен и не склонен искать сочувствия. Его перевернуло другое: он измышлял свои планы максимум-минимум во имя действия. И вот наступило долгожданное время действовать. Новые назначения Рославлева и Сагурова, передача ассигнований чугунолитейному, предстоящий отъезд Вальгана... Медлить нельзя... Но собственные планы уже не казались ему столь совершенными, как в дни их рождения. Он уже видел ряд изъянов, а новые варианты уже мелькали в уме. С кем обговорить и с кем выверить? Кто поможет создать самый совершенный из вариантов? И кто будет осуществлять? В короткий срок проделать огромную и сложную работу могут лишь люди, увлеченные ею не меньше, чем Бахирев! Но где они? По особенностям своего характера он сближался с людьми медленно. Он был сосредоточен и самолюбив, он не мог и не хотел нарочито и сознательно ускорять сближение с нужными ему людьми. Он наделал на заводе немало ошибок, оттолкнувших от него заводчан. Повиниться перед ними? Он с трудом сознавался в своих ошибках даже самому себе. Но потребность в долгожданном действии пересиливала все. Перед ней отступали и особенности характера, и собственное самолюбие, и неумение признавать ошибки. Надо было немедленно выходить из тупика, в который он зашел. Дело потребовало поступков, несвойственных его характеру,— значит, надо ломать свой характер! Надо идти к людям, виниться перед ними, искать их помощи... С кого начинать? Рославлев, Сагуров, Василий Васильевич, Сергей Сугробин... Ему нужны были все. Но прежде всего чугунолитейщики — начинать перестройку завода надо с чугунолитейного.

Бахирев вошел в чадный и грохочущий, как всегда, цех и проходил мимо стержневого, когда рядом раздался радостный девичий голос:

— Здрасте!

Из-под низко повязанной косынки выглядывали смеющиеся глаза и нос пуговкой.

Никто на заводе не встречал его с такой радостью, и мысль об этом невольно кольнула его: «Хоть одна душа приветствует меня, как отца родного!»

— Вы меня не признаете? — сказала девчонка.— Я Даша!

— Какая Даша?

— Да которую вы водили до Василия Васильевича. Еще у меня брак шел... Теперь у меня вот уже второй день нисколечко нету брака!

Девчонка говорила так, будто это событие должно было тотчас осчастливить Бахирева. Он не мог не улыбнуться.

— Я счастлив, Даша, что у тебя нет брака!

— А уж я-то! — вздохнула девчонка. — Первую ночь спала как нормальная. А то и во сне-то видела стержни да арматуру.

Девчонка глядела на него во все глаза, дожевывала бутерброд и говорила, сияя:

— Вы меня не сразу признали, а я вас сразу. А тогда я вас не признала. Я еще тогда вас спросила, не забоитесь ли вы Василия Васильевича. Я еще новенькая была. Ничего еще не понимала!

— А теперь уже все понимаешь? — опять невольно улыбнулся Бахирев.

— Теперь уж не спрошу этак.

— А вот как раз теперь-то тебе бы и спросить!

— С чего же? — удивилась Даша.

— Потому что теперь как раз и забоялся я твоего Василия Васильевича.

Девчонка не поверила, закачала головой и засмеялась.

— Чего же вам-то бояться?

— Да ведь на заводе главный чугунолитейный цех, в чугунолитейном главное — стержневое отделение, а в стержневом главный человек — Василий Васильевич! Выходит, на нем весь завод! Так ты тогда рассудила?

Девчонка перестала жевать и смотрела на Бахирева с сомнением, склонив голову набок.

— Правильно ты тогда рассудила, — ободрил ее Бахирев. — Вот и боюсь я твоего Василия Васильевича. Кого ж мне еще бояться?

— Ох, и все вы шуткуете надо мной! — засмеялась Даша. — А я уж и не боюсь. Я только стараюсь... Что он скажет, то я и стараюсь. И что вы скажете, я тоже буду стараться.

И Бахирев понял: все, что он скажет, с радостью и старанием сделает эта простая душа, пригретая им однажды мимоходом. И снова с досадой на себя он подумал: «Хорош я, хорош руководитель, если на всем заводе, среди десятков тысяч людей, есть лишь одна душа, готовая с охотой идти за мной».

— А он захворал... — продолжала девчонка.

— Кто захворал?

— Да Василий Васильевич. Мы к нему бегали навещать. Может быть, вы тоже до него пойдете, если он вам нужен? Он любит, когда приходят. Он в проулке живет, как раз против ворот стадиона, в синеньком домичке. Вам каждый укажет.

«Эх, Даша, простая душа, — решил про себя Бахирев, — послушаю я тебя, пойду к старику. С кого-то мне начинать надо. С него и начну. Виниться придется, —

покривился он и сам на себя цыкнул: — И повинишься, коли дело требует!» Раз решив, он не любил откладывать исполнение.

Ветви так густо сплелись над крышей, что казалось, дом завален валежником. И калитка, и дверь в дом были распахнуты настежь. Бахирев вошел в дом и увидел третью дверь, открытую в кухню.

В кухне топилась русская печь, и пахнущий печеной картошкой воздух клубами валил в сени. В кухне на полу, стоя на коленях, Сергей Сугробин стучал молотком по чему-то похожему и на кровать и на коляску. Только тут Бахирев сообразил, что фамилия старика, которого все звали по имени, тоже Сугробин. Старик сидел рядом, на положенной боком табуретке. Он был одет в ватник и валенки. Шея его была обмотана белым платком, завязанным на затылке. Концы платка вздрагивали.

— Жизнь идет зигзагой! — говорил Василий Васильевич.— И главное дело, Сергунька, не пугайся ты никакой зигзаги, а учти ее и двигай к своей точке!

— И опять вы, деда, жмете прямо по Ленину.— Сугробин вздохнул, сел на пятки и поднял голову. Лицо его было печально.— Только Ленин говорил не про зигзагу, а про спираль. Развитие жизни идет кверху и по спирали...

— Вот видишь, кверху и по спирали! — Василий Васильевич обрадовался и закивал головой.

Бахирев почувствовал, что его нежеланное появление нарушит мирное, философское настроение собеседников.

— Можно?

Мягкое, раздумчивое выражение исчезло с лиц старика и юноши. Старик поднялся, для чего-то торопливо застегнул ватник, выпятил грудь, нахохлился, тронул себя за усы и сказал с неожиданной светскостью:

— Чем могу служить?

Очевидно, так выпячивали грудь, трогали свои усы и разговаривали памятные ему инженеры царского времени. Слова извинения застряли в горле Бахирева. «О черт, принесло же меня не ко времени! Надо было как-нибудь половчее в цехе разговориться».

Собственная прямолинейность в сотый раз ставила его в неловкое положение. Он не обладал находчивостью, не умел выйти из этого положения, только ежился, поводил плечами, дергал себя за вихор и, наконец, как за спасательный круг схватился за чертежи.

— Вот пришел посоветоваться с вами насчет нового конвейера и новых печей.

Старик замялся. Бахирев видел, как не хочется ему

приглашать чужого в комнату. Но положение было безвыходное.

— Прошу войти.

В большой комнате было тесно. Часть комнаты занимало сооружение, напоминавшее верстак. Девочка лет тринадцати, с длинными косичками, стояла перед зеркалом, а женщина подкалывала ей подол коричневого платья. Мальчик лежал в постели, улыбался и следил за ними. Бахирев не сразу заметил, что лежал он в гипсовом корытце. Гипс охватывал спину, грудь, шею, затылок и раструбом расходился к лицу. Из раструба выглядывало бледное, ясноглазое лицо. За край гипсового корытца держалась маленькая кудрявая девочка.

— Прошу садиться,— прежним великосветским тоном сказал старик.

— Посоветоваться с вами... Вот тут... Чертежи...— бормотал Бахирев.

— Сергунька, убери. Быстро!

Сережа стал освобождать стол. В домашнем окружении он совсем не походил на того плакатного парня, каким выглядел на заводе. Он казался меньше, проще, моложе, заметнее сделались и светлые веснушки, и детская припухлость щек и губ. На заводе он уже был Сергеем Сугробиным, нарисованным на главном стенде в аллее почета, а здесь все еще оставался Сергунькой. Пока он освобождал стол, все безмолвствовали. Чтобы хоть как-то прервать молчание и уйти от неловкости, Бахирев обернулся к кудрявой девочке.

— Как тебя зовут?

Та нагнула голову, спряталась за спинку стула и ответила одним дыханием, так, что он различил лишь конец слова:

— ...ушка.

— Как?

— ...ушка,— сказала она еще тише и спряталась за старика. Снова наступило молчание.

— А Тамаре сейчас купили платьице,— прервал тишину радостный тонкий голос мальчика.— Форменное. В магазине «Детский мир»!

У девочки с косицами покраснела худая шея.

— Я уж и не надеялась,— сказала женщина.— Так зашла, на всякий случай, а их как раз несут на прилавок!

— А еще деда купил Тамаре бантики. Белые. На Первое мая,— торопясь и улыбаясь, продолжал мальчик.

— И черненькие купили!— прошептала «Ушка» из-за спины старика.

Бахирев понял, что покупка девочкиных платья и лент были в этой семье событием, радостным для всех.

Опять наступило томительное молчание. В растерянности Бахирев ухватился за фотографию на столе. Он узнал старика и женщину. Рядом с женщиной стоял, смешно вытянув шею, тощенький мальчик.

— Вас и вас узнаю, а это кто же?

— А это Сережа... в тот год, как они приехали ко мне.

— Сережу не узнаешь.

— В сорок пятом снимались. Тогда только что отца схоронили...— сказала женщина.— В сорок четвертом приезжал на побывку, а через год погиб. Толика и не увидел. Сережа тогда плохоньким был. Думали, и он за отцом уйдет.

— Заморышем был,— подтвердил старик.

— Я такой и на завод пришел. Тощий, рыжий, конопатый,— Сережа усмехнулся и расправил плечи.

И сам Сережа, и мать, и дед, видимо, гордились его превращением и поэтому любили вспоминать то, каким он приехал.

Но старик не желал посвящать Бахирева в семейные воспоминания, он нахмурился и повторил еще раз:

— Чем могу служить?

Он недоумевал, зачем пришел к нему домой этот одиннадцатый главный инженер, которого, по общему мнению, надлежало как можно скорее сменить на двенадцатого.

Они уселись за освобожденный Сережей стол. Рассмотрев чертежи, Василий Васильевич забеспокоился.

— Надо не две печи по концам, а одну посредине. Сережа! Куда ты дел мои соображения?

Сережа подал школьную тетрадь, аккуратно обернутую глянцевой бумагой. Крупные буквы заголовка гласили: «Соображения». На клетчатых страницах синим и красным карандашами вычерчены были схемы. Одна из них сразу заинтересовала Бахирева.

— Остроумно! — сказал он.— Куда экономичней, чем в моей схеме.

С этой минуты они оба перестали замечать окружающее. Они дышали в лицо друг другу, толкались, стукались лбами над чертежом.

— Стенка мешает.— Василий Васильевич ожесточенно стучал карандашом по тонкой линии чертежа.— Сдвинуть ее — и все пойдет хороводом. Песок да шихта здесь входят, литье здесь выходит!

— Интересно, интересно, интересно!..— твердил Бахирев.

Только любовь к своему цеху могла подсказать старику эту схему, тщательно продуманную, выверенную четвертьвековым опытом и неумело, но старательно вычер-

ченную на страницах школьной тетради. Бахирев взглянул на старика с нежностью — милы стали ему и воинственные усы, и концы шейного платка на затылке, и даже розовеющая лысина.

— Здорово же, черт побери, Василий Васильевич! Прямо, можно сказать, талантливо! — И сами собой вырвались те слова, которых он не мог произнести вначале: — Эх, был бы я Петром Первым, оставил бы вам персональные усы-бороду, да еще и поклонился бы им низенько в знак покаяния... и того ниже за эту вот, за драгоценную вашу тетрадочку...

— Деда, горит ведь уж каша, — произнес чей-то жалобный голос.

Бахирев взглянул на часы — шел десятый час. Он смутился.

— Я вам помешал.

— Отведайте нашей каши! — сказала женщина.

Предложение было сделано нерешительно, но Бахиреву не хотелось уходить. В этой тесной комнате сейчас ему было лучше, чем в своей просторной и тихой квартире.

Сережа вывел его из замешательства:

— Отведайте маминой каши! Кто ж от такой каши уходит?

— Что это вы мастерите, Сережа? — спросил Бахирев юношу не столько из интереса, сколько из желания прервать неловкость.

Юноша ответил уклончиво:

— Так это... фреза... центрифуга...

— Сергуня изобретает фрезу и еще центрифужный фильтр, — пояснил мальчик, — а когда изобретет, то ему дадут денег, и он отправит меня лечиться в Крым.

Но Сереже не хотелось говорить на эту тему. Он подвинул кроватку мальчика к столу, нажал кнопку, отчего она превратилась в полукресло, и похвастался Бахиреву:

— Вот какая у нас с Толиком механизация!

Толик притянул брата за шею и худенькими пальцами показал на его глаза.

— А у Сергуни глаза веснушчатые. Вон конопатинки! Глядите!

В желудевых радужках Бахирев увидел коричневые крапинки и улыбнулся.

— На портрете в аллее почета конопатинок не видно! Сережа махнул рукой.

— Скоро портрета не будет, видно... Снимут...

— Почему?

— Отцентрифугируюсь, как тяжелая взвесь!

После нескольких рюмок наливки, поставленной в честь гостя, стесненная поначалу беседа оживилась.

— Твердят «механизация»! — жаловался старик.— Есть у нашего соседа Ермолая собака. Он ее не кормит. Сама, говорит, родилась, пускай сама и кормится. Наша механизация — в точности Ермолаева собака. План механизации дают, а средств не дают! Сама, мол, возникаешь, сама и осуществляйся. Да и думать о ней некогда! Мы каждое утро идем детали друг из друга выколачивать! Сергуньку мастером выдвигают — я запретил. Сейчас ты человек, о техническом прогрессе думаешь, а выдвинут — станешь колотушкой.

— А я так понимаю...— сказал Сережа. Непривычный к вину, он раскраснелся и слегка захмелел от нескольких рюмок.— Я так понимаю. Что такое техпрогресс? Обезьяна взяла палку в руку — это начало техпрогресса, а конец... конца ему нет! Если человек не думает ни над чем, то, я считаю, он и не живет! Я день и ночь думаю. Лягу спать, и оно мне снится. В лесу на лыжах иду, а мозгами все что-нибудь изучаю. Может, я фантазер, черт меня знает! Тысячи вариантов в мозгу: одна мысль, другая... Как облака!..

Мечтательное выражение сделало его лицо совсем детским.

Старик строго постучал ножом о стол.

— Это и плохо, всегда я тебе говорю. За все хватаешься: и фрезы, и траки, и фильтр! Ровно куклами забавляешься. Живешь играючи. Выбирай одно и доводи до дела, тогда я скажу, что ты человек.

— Товарищ Бахирев,— быстро повернулся Сережа к Бахиреву, и уже не детская мечтательность, а мужская горечь прозвучала в голосе,— разве же это не позор — бумажные фильтры на тракторе?! Ведь нет такого тракториста, чтоб их не клял, и нет такого министерства, чтоб их не делало! Министерства автотракторной промышленности, лесной промышленности, нефти, машиностроения, собеса — артели слепых и инвалидов — все делают эти проклятые фильтры! А модели опять же... Сколько их делаем, а механизация фиговая. Заразился я всем этим. Боюсь, скоро разоблачат.

— Как разоблачат? — удивился Бахирев.

— Обыкновенно... Ведь у меня как свободная минута, так я то к фрезе, то к моделям траков, то к центрифуге!

— Начальник цеха встретил меня,— вздохнула женщина.— Воздействуй, говорит, на сына. Изобретательство изобретательством, а программу надо двигать. Чем больше будет изобретать, тем меньше получать.

Старик оборвал женщину:

— Не об том говоришь!—Он поднял нож кверху и строго сказал Сереже: — Я тебя предупреждал: три раза клянись! Есть такая сказка,— пояснил он Бахиреву.— Пошел Иван-царевич выручать царевну. Упреждали его: не оглядывайся. Оглянешься, испугаешься — унесут злые духи. Три раза клялся не оглядываться. Так и тут,— снова обернулся он к внуку,— как взялся изобретать, три раза поклянись не оглядываться! Ни на зарплату, ни на похвалу, ни на доску Почета! Испугаешься, оглянешься — сгинешь!

Бахирева заинтересовала горькая присказка.

— Откуда у вас такие выводы?

— Из своей жизни. Сам оглянулся и пропал. Был изобретателем, а стал кувалдой по выколачиванию того-сего. Ну, я старик, мое дело к концу. А ему я с детства прививаю. Мой отец был рабочий, мой сын, Сережин отец, был рабочий, и мой внук Сергунька должен рабочее звание понимать высоко! Раньше какие были рабочие? — обратился старик к Бахиреву.— Помню, шестерни нарезали вручную, и то как особая монополия. Не всякий умел. А теперь? Да вот он же, наш Сергунька, мальчишка еще! А ведь у него в руках фреза только что не поет, остальное все может! На моих глазах все эти сдвиги произошли. Наблюдаешь — и сам захвачен. Так неужели же тебе, молодому, угнездиться на выгодном деле и не двигаться?

— Я так не понимаю,— отверг разгоряченный Сережа его предположение.— Я так понимаю: что если человек не двигается, то мертвый он человек. Если машина не двигается, то и машина мертвая! Я так понимаю: первый трактор сошел с конвейера, а конструкция уже мертва. Начинай думать! Он пашет, он будет пахать, но если ты думать не будешь, и он пропал, и ты пропадешь.

«Ведь мои мысли выговаривает парнишка»,— подумал Бахирев.

— Спит уж Марфушка,— сказала женщина.

Девочка подняла со стула кудрявую голову.

— Я не сплю, я не сплю!

Бахирев спохватился:

— Пора, засиделся, простите! «Ушка», так, значит, ты Марфушка? Ну, прощай, дедушкина внучка! — Он обнял девочку.

— Я не внучка...

Бахирев развел руками:

— Все я попадаю впросак, «Ушка»!

— Стерженщицы нашей одной дочка,— объяснил Василий Васильевич.— Та нынче в ночную. Марфушка с нами.

— А я скоро гулять поеду,— сообщил мальчик в гипсе.— Мне деда и Сережа делают коляску.

Мастер проводил Бахирева до кухни. У порога снова выпятил грудь, вскинул голову, нахохлился и взглянул с сомнением. Он забыл обиду, был доволен разговорами, но еще не знал, сумеет ли «одиннадцатый главный» перейти от разговоров к делу.

Бахирев крепко пожал руку старика.

— Спасибо, Василий Васильевич. Тетрадочку вашу я забираю с собой. Думаю, что многое мы реализуем. Извините за поздний разговор.

Лицо старика отразило сомнение.

— Только бы в дело... Только бы в дело.

Сережа плутоватыми «веснушчатыми» глазами посмотрел на затянувшееся рукопожатие старика и Бахирева и сказал:

— Жизнь идет зигзагой.

Над темной улицей стоял туман, пятна фонарей расплывались в нем, словно кляксы.

Старик подсказал много интересного, но перед глазами сейчас стояли не чертежи и планы. В памяти всплывал то сам старик с его приглашением «не пугаться никакой зигзаги» и, идя к цели, ни на что не оглядываться; то Сережа — тощий конопатый мальчик, выросший на заводе в молодца и изобретателя, у которого «мысли наплывают, как облака», то дочь стерженщицы «Ушка», пригретая семьей мастера; то улыбающееся из гипсового раструба светлое лицо калеки-мальчика...

Глава IX

ХОДИТ ПТИЧКА ВЕСЕЛО...

Длинные желтые закаты, влажно-черные стволы тополей, птичий грай в еще голых ветвях — все в эту весну манило и тревожило Сережу.

Модельщики парком шли к набережной. Только что кончилась цеховая лекция об экономии средств и материалов.

— Экономь, экономь,— басом сказал Костя-Кондрат,— а в конце месяца — бац: сверхурочно и поаккордно.

— Покупай шляпу, макинтош! — засмеялся Витя Синенький, подпрыгнул и хлопнул Кондрата по новой фетровой шляпе.

Кондрат шевельнул плечом.

— Я свои две косых и так возьму.

Сережа не слушал, задумчиво насвистывал. Пронырливый Витя заметил и тихонько запел в самое ухо:

Фреза моя новая,
Двенадцатирезцовая!
Расписали, расхвалили,
В кладовой похоронили...

— Оставь,— отодвинулся Сережа.— Мы еще такое сделаем!

Полгода он бился с новой фрезой и новой фрезерной головкой. Искал число резцов, геометрию, менял углы наклона. Хвалили, шумели, но до сих пор в цехе лишь у него такая фреза. Головки он сделал две, и вторая пылится в кладовой. Почему? Он так и не понял почему, переболел неудачей и тут же увлекся центрифугой и кокилем. Но вчера передали по радио: «Фреза Сугробина». Снова ковырнули болячку. «Э, об чем горевать?— нахмурился он и тряхнул кудрями.— С одной задумкой не получилось, с другими получится. У меня их мало ли? На тысячу лет вперед».

Чтоб прекратить шутки Синенького, Сергей обернулся к Косте-Кондрату:

— Ну как, надумал?

Кондрата Лукова все звали Костей и, только когда решили наградить почетной грамотой, обнаружили, что по документам он Кондрат.

— Кто Кондратом назовет, тому в ухо!— пригрозил Кондрат.— Костя — и все. Если напишете на Кондрата, то и грамоты не возьму.

Сережин вопрос заставил его насупиться. Синенький юркнул ему под плечо и сказал с обычной ехидной нежностью:

— Кондраша, как же это? По паспорту Кондрат, по грамоте Константин? Нехорошо так, Кондрашенька!

— В ухо...— мрачно отозвался Кондрат. Но Сереже сказал со вздохом:— Пусть так. Решил я смириться. Пишите Кондратом.

В центральных аллеях, утрамбованных и присыпанных песком, было сухо и людно, а в боковых гнездилась сырость, и кое-где в гущине кустов дотаивали грязные ошметки снега.

За поворотом открылась река. Последние льдины плыли туда, где над низким солнцем плавились тягучие облака.

Как бы на льдине мне бы поплыть бы...—

запел Сережа.

Синенький тотчас подхватил:

Как бы дожить бы
до свадьбы-женитьбы!

— Кому чего,— пробасил Костя-Кондрат.

Ребята засмеялись. У витой изгороди на краю набережной толпились люди. Смех и песни вместе с птицами сновали в воздухе. По набережной шли комсомольцы из первой кузницы.

— Наши идут,— сказал Костя-Кондрат и поспешно стянул с головы фетровую шляпу.

Сережа взял ее и снова нахлобучил Кондрату на голову.

— Эх, ты! Пьяным шататься не стыдишься, а в шляпе идти застеснялся.

Неделю назад Сережа примерял старое демисезонное пальто, и дед ворчал:

— Полы выше колен. И кто растет после двадцати? Ни в чем порядка не знаешь. Придется покупать...

Вчера получили поаккордную плату, Сережа подбил ребят, и все вместе пошли покупать макинтоши. Знакомая продавщица соблазнила купить и фетровые шляпы. Надев макинтош и шляпу, Сережа почувствовал себя взрослым и победоносным.

Кузнецы подошли ближе. Кузнец Женя Вальков крикнул:

— Гляди, ребята, модельщики в шляпах!

— Фраерами нарядились!

— Интеллигенция!

— Техническая! Не вам чета!— отшучивался Сережа.— Ваше дело — отштамповал, и ладно. На ваши головы и шляпы жалко. А модельщики мозгами работают.

— Наших задевают!

— Кузнецы, навались на модельщиков!

Но Женя Вальков надел Сережину шляпу и прошелся гоголем:

— Видали, как наши ходят? Вы, модельщики, ткнетесь в станок и долбите. А наше дело живое. У нас из-под рук поковки летят грачами!

Дальше пошли вместе. «Фреза моя новая, двенадцатирезцовая...» — все вертелась в уме Сережи ехидная песня Синенького.

Синенький снял шляпу и галантно раскланялся с худенькой, окруженной детворой женщиной.

— Гляди, жених, скажу твоей Тосе!— пригрозил Вальков.

— Чудак! Это ж Чубасиха. А ведь я, ребята, за ней ухаживал!— похвастался Синенький.

— Ох и трепач!

— А вот и нет! Еду я из Москвы, со слета. На полустанке подсаживается к нам какая-то. Я сперва и внимания не обратил. Невидненькая. Только села, и гляжу — купе не узнать. То ехали, уткнувшись по углам, загрязнили, замусорили. А тут чистота, ножи, вилки, салфеточки. Пассажиры кое-чего тащат, а она угощает домашней колбасой. Разговор у нее спроста, а до того занимательный! Сидим будто не в купе, а в родной хате. Ну, думаю, Витька, наткнулся на такую, держи, не пускай!

Кондрат презрительно покосился сверху вниз.

— Уже и готов. Эх, ты!

— Да не одному мне, всем она страх понравилась. Я и за кипятком, я и за шоколадом! Туда-сюда! Стараюсь. Чай пьет, шоколад ест и меня угощает. Все как надо. Только едем мимо одной станции, она и говорит: «А вот тут я замуж вышла».— «Как так?! Что такое?!» — «Я, говорит, в сельской школе работала. А он в командировку приезжал. Всех воспитывает, всеми командует, обо всех заботится, а об нем никто. Устал, думаю, человек, а никто не догадывается. Вот и догадалась я сама им покомандовать и об нем позаботиться». Словом, дозаботилась! Двоих детей имеет. Вот те, думаю, и невеста! Подъезжаем мы, гляжу, заволновалась, от окна не отходит. Потом застучала в стекло. «Вон он, вон он, красота-то моя!» До того обрадовалась, себя не сознает. Вижу, идет по перрону... И в самом деле красота! Самостоятельный, серьезный, серьезнее Кондраши...

— В ухо! — пригрозил Кондрат.

— За что же, Кондратушка, в ухо? — умильно удивился Витя.— Самостоятельнее Кондрашеньки, говорю. Складный, лицо смуглое, глаза блестят, сам культурный, при шляпе-велюр, при сером костюмчике. Ну, один из всех такой. Киноактер, думаю, не иначе. Приклеились они друг к другу. А я, значит, боком, боком, боком.

— Какой актер приезжал? — спросил Кондрат.

— Да не актер, чудило! Года не прошло, появился у нас новый парторг. Прихожу на собрание, гляжу — да ведь это ж он!

Сережа засмеялся, столкнул с дорожки обломок кирпича и неожиданно для самого себя пропел:

Расписали, расхвалили,
В кладовой похоронили...

— Да брось ты о фрезе! — рассердился Синенький.— На него все девчата оглядываются, а он знай о фрезе!..

«И верно»,— подумал Сережа.

Тело было таким легким, что казалось, оттолкнись — и полетишь птицей. Только в глубине что-то смутно тревожило: не то фреза, не то закат, не то девичьи взгляды.

— Кондраша, гляди! Твоя симпатия! — сказал Синенький.

У изгороди стояли стерженщицы и среди них Игорева, тоненькая, на высоких каблучках, в сером пальто и зеленом, как трава, беретике.

Сергей обрадовался. Они часто бывали вместе в театре, в клубе, в кино; в последний раз Сережа в темноте весь сеанс держал Люду за руку, но всегда они бывали не вдвоем, а в компании.

«Пусть обернется и сама заговорит», — подумал Сережа и обратился не к ней, а к той лупоглазой девчонке, которая как-то заблудилась в чугунолитейном. Девчонка выросла из своего серенького платьишка и надставила его широкой коричневой, не в цвет платья, полосой.

— Ну, научилась отыскивать стержневое? — спросил он.

Девчонка залилась краской.

— Научилась.

Игорева и другие девчата обернулись. Кто-то из девушек откровенно охнул:

— Ох, девчата, Сережа-то сегодня какой весь хороший!

Девичья рука потянулась к Сережиному плечу.

— Макинтошик новенький, картина!

— Смотри, Танька! Дотронешься — обожжет!

Кудрявая Нина, автокарщица, подошла, пристукивая каблучками, прижалась крутым плечом и со значением спела в лицо:

Ах, весна, весна, весна
Да повесенница!
По весне ли ненагляда
Переменится?!

Он полушутя обнял ее. «Податливая». Отпустил и задумался, глядя на льдины. Нина льнула к нему.

— Об чем думаешь, Сереженька?

За него ответил Синенький:

— О фрезе, о фрезе, не о тебе он думает.

— Уж так ли хороша фреза, как по радио передавали? — вполоборота спросила Игорева не Сережу, а Кондрата.

Кондрат заулыбался и осторожно пробасил:

— А что, если я ту фрезу сконфужу?

— Шутишь, Костя!

Сережа рассмеялся.

— «Расписали, расхвалили, в кладовой похоронили».

Игорева посторонилась, незаметно освобождая место возле себя.

— Похоронили, а ты смеешься.

Сережа встал рядом.

— Вон, видишь, льдины. Плывут и плывут... И мысли у меня так же. Одна уплывает, десять наплывают. У меня их богато!

На лице у Игоревой были рассыпаны родинки, карие глаза смотрели из-под ресниц с женским скрытым вызовом.

«С техником женихается. Говорят, с самим Вальганом что-то было... Сплетни, конечно. Он выдвигал как хорошую работницу, а она красивая. Даже Кондрат сохнет».

Женский взгляд Игоревой и сплетни, ходившие о ней, и волновали и отталкивали.

Они стояли плечом к плечу, смотрели на реку. Кондрат попыхтел сзади и умолк.

По темному разливу льдины проплывали медленными лебедями.

Сереже вспомнилась поездка в Москву и «Лебединое озеро» в Большом театре. Хотелось, чтоб девушка была такая же белая, завороженная, чтоб плыла мимо и надо было догонять, расколдовывать.

«Обсплетничали»,— подумал он об Игоревой и пожалел ее милые родинки.

Он взял ее за руку, вывел из толпы и повел по набережной.

— Аллея почета шагает!— злым голосом крикнула вдогонку Нина.— Пристраивайся в затылок, в два ряда!

— Ведь что с этой фрезой получилось и с головкой тоже,— говорил Сережа.— Моя фреза нежная, требует правильной технологии напайки и заточки, а у нас на заводе эта технология нарушена. А чтоб головки внедрить, надо старые поснимать, убрать колено, на конусах резьбу нарезать. Зачем начальнику цеха возиться, если он план выполняет пустяками? Сперва обидно было... А потом... Сколько еще мыслей! Дед меня укоряет, что изобретаю играючи. А что же мне не играть, когда играется? Когда во мне эта самая рационализация, будто ситро в бутылке, так и пенится! Вон, гляди, велосипед проехал, зубчатый след по дороге. Мы шестерни вытачиваем, а если прогревать их УВЧ и вот так же зубцами накатывать?— Сережа вздохнул и засмеялся.— Ну, куда ни взгляни, все тебе подсказывает рационализацию.

— Сядем.— Игорева села на лавочку за густым кустарником, карими влажными глазами заглянула в зрачки

Сережи.— Мы с тобой в аллее на портретах весь год стоим рядком, глядим друг на друга, а в жизни и не поглядели ни разу как следует...

— Первый вечер свободный — и то потому, что лектор оказался сознательный. На полчаса всей лекции. Скорей кончить техникум, добраться до института! Эх, будь я инженером, сколько бы мыслей осуществил! Хоть на том же фрезерном.

— Столько лет учиться — и опять к фрезерному...

Игорева вытащила платочек. Сладкая волна отогнала весенние запахи земли и влаги. Сережа стал отмахиваться шляпой.

— А я тебе серьезно говорю. Добьюсь образования, а все равно встану к фрезерному!

— Ну уж! Никогда не поверю!

— Что я тебе, вру? — возмутился Сережа.— Ты нашей специальности не понимаешь. Модельщик-фрезеровщик, если хочешь знать,— скульптор! Скульптор высекает лицо человека из мрамора, а модельщик-фрезеровщик вырезает из металла лицо детали. Ну что ты смеешься? Что ты...— Он с разбегу остановился на полуслове.

Она все посмеивалась, помахивала платочком. Отломила ветку с набухшими почками, перекусила ее, поморщилась и странно улыбнулась.

— Ох, горько...

Ему расхотелось разговаривать. Он заскучал: «Что это мы сидим здесь одни в сырости?»

— Пошли к нашим.

Она неохотно поднялась. Совсем рядом Сережа увидел, как обиженно вздрагивают ее набухшие, словно почки, приоткрытые губы.

«Поцеловать, что ли? Может, хорошо получится?»

Он притянул ее к себе, поцеловал и разочаровался: «Холодная штамповка!»

Они пошли к набережной. Льдины уплывали туда, где над краем солнца пылали тучи. Он указал на закат:

— Хоть бери ковш да разливай по опокам!

Грачи угомонились, и только одна неуемная птица кружилась в высоте.

— Сейчас птицу приманю, и прилетит.

Сережа прошел меж гуляющими, встал у края набережной, поднял руку. И птица начала снижаться медленными, широкими кругами.

— И вправду прилетит... Оюшки! — сказала лупоглазенькая.

Но птица скользнула за деревья, и Сережа опустил руку.

— Эх, летела, не долетела!

Они пошли дальше. Игорева шла слишком близко, не в ногу, и это мешало.

В парке к первомайскому гулянью приготовили игры и аттракционы. На площадке кузнецы тянули канат против модельщиков, а кругом толпились люди и подзадоривали:

— Куда модельщикам против кузнецов! Чересчур интеллигентные!

— На одном Косте-Кондрате держатся.

— Сережа!—отчаянно закричал Витя Синенький.— Поспевай!

Сергей обрадовался, бросил Игореву, в два прыжка подскочил к канату, встал перед ним и бросил:

— Витька, отцепляйся. Ребята, с положительного угла на отрицательный. Рывком по команде.

Перехватив дрожащий от натуги канат, он подался вперед и скомандовал:

— Делай за мной! Раз... два... Рывок!

Всей тяжестью тел модельщики откинулись назад, а кузнецы, спотыкаясь, налетели друг на друга.

Секретарша начальника цеха, «Надя в очках», шла мимо, остановилась и сказала Сереже с укоризной:

— Об нем в «Правде» написано, его парторг ЦК по всему заводу ищет, а он тут канаты тянет!..

Центральные газеты приходили на завод в конце дня. Чубасов, уже в пальто и шляпе, запихивал свежие газеты в портфель и думал: «Раз в жизни прийти домой по-человечески, засветло погулять с Любой и с ребятами. Такой вечер, полгорода на бульварах!» С первой страницы «Правды» взглянули знакомые глаза. «Кто это? Похож на Сугробина. Нет, какое!.. Сугробин молодой, крепкий... Он!» Сугробин получился тонкошеим, изможденным человеком лет под тридцать.

«Новая фреза Сугробина режет твердую сталь в два раза быстрее того инструмента, которым до сих пор пользовались все фрезеровщики в цехе»,—прочел Чубасов и застыл над газетой.

«Портрет нашего передовика в «Правде». Надо бы радоваться. Но он был встревожен. «На весь Союз о фрезе Сугробина, а я и не видел и не знаю, что с ней сейчас... И о Сугробине разные разговоры. Сколько я не был в цехе?»

До прихода Чубасова на завод инструментальный и модельный цехи были объединены под начальством Рославлева. Богатые оборудованием и кадрами цехи шли в числе первых, но Рославлев скандалил с Вальганом при каждом заказе «на сторону». Вальган не хотел пачкать руки ради нескольких килограммов баббита для МТС, но когда дело шло о тоннах нужного заводу металла, он

пускал в ход связи в обкоме, в министерстве, в Госплане и, как никто, умел находить ходы и выходы. В таких случаях знаменитые заводские модельщики и инструментальщики были для директора своего рода обменным фондом. Они выполняли сложные и срочные заказы со стороны в обмен на разные производственные услуги.

Когда Чубасов пришел на завод, строптивый Рославлев был уже переброшен на подъем отстающего сборочного цеха, а в модельном, отделенном от инструментального, был новый начальник цеха, бывший мастер Гуров и новый секретарь партбюро Ивушкин.

Расположенный на отшибе, цех долго жил старой славой, но за последние месяцы стал работать с перебоями.

«Больше месяца там не был,— подумал Чубасов.— Отложить до завтра? Завтра опять весь день занят». Он позвонил шоферу:

— Подавай во двор! Поедем в модельный.

Километра за три от проходной, в самом углу заводского двора, там, где кончались и асфальт и аллеи, виднелось серое здание модельного цеха. По широкой лестнице Чубасов поднялся на второй этаж, в цеховые службы. Здесь деятельно готовились к весне: пахло масляной краской, известью, в опустевших комнатах работали маляры, столы были выдвинуты в коридор, и девушка в очках пробиралась меж ними.

— Сугробин в цехе?—спросил Чубасов.

— Ушел. Мы уж его искали. Про него в «Правде»,— ответила она предупредительно.— Валерьян Иванович и Тимофей Тимофеевич здесь.

Чубасов с трудом добрался до кабинета Гурова. И маленькая приемная, и кабинет были разделаны накатом «под шелк». Чубасов поморщился: «Зачем? Нигде у нас нет этого. Тут своя иерархия».

На розовом, будуарном фоне серела квадратная голова Гурова. Сухонький и морщинистый Ивушкин сидел рядом, привычно, по-женски подперев рукой подбородок, словно пригорюнившись.

Чубасов крякнул про себя: «Пригорюнившийся секретарь. Не то... Уж такое не то!»

Опытные, знающие инженеры чаще всего были многосемейными, зарабатывали вдвое больше, чем секретари партбюро, и снижение заработка было для них бедствием. Ивушкина, доброго, старательного, состарившегося на заводе техника, в коллективе любили, секретарем выбрали единодушно, и сам он охотно перешел на партийную работу. И все же, говоря с ним, Чубасов каждый раз внутренне раздражался.

Свежая «Правда» лежала перед Ивушкиным и Гуровым.

«Радости, однако, не заметно,— подумал Чубасов.— Озадачены и обеспокоены.— И тут же подумал: — А я?»

— Давно я у вас не был,— сказал он, садясь.— Понадеялись на вас. Привыкли слышать: передовой цех. И вдруг нá тебе! Сорвали недельную программу. В чем дело?

Гуров беззвучно пошевелил губами. Губы были мясистые и тяжелые, и, прежде чем начать говорить, требовалось время «на раскачку». Говорил Гуров медленно и громко, но сипло, заглатывая, утяжеляя буквы, так что вместо «и» иногда слышалось «ы», вместо «н» звучало «л».

— Ли то на собрания ходить, ли то работать,— раскачался он, и Чубасов не сразу понял, что «ли то» означает «не то».— Поскольку мы снабжаемся, значит, плановыми материалами, отвечают, значит, лимита ли положено.

«Косноязычная речь, косноязычная мысль,— отметил Чубасов.— Однако Гуров много лет работал мастером передового участка». Взгляд маленьких глазок был быстр и зорок.

— Лимит на материалы был и раньше,— возразил Чубасов.— Однако цех шел образцовым. На всю страну хвалят ваших передовиков. Читали? Сколько в цехе фрез и головок Сугробина?

— Так одна же...

— Почему одна? — И Гуров и Ивушкин молчали.— Не понимаю, почему одна. Хорошая фреза или плохая? — в упор обратился Чубасов к Ивушкину.

— Что она отрицательная — сказать не могу,— вздохнул Ивушкин.— А сказать, что положительная, так надо ж отвечать! Я же не специалист по резанию.

— Но вы секретарь партбюро.

— Я возил Сугробина к директору политехнического института. Он не отреагировал. Он же лучше знает! Я ж не специалист.

— Ни один партийный руководитель не может быть специалистом по всем вопросам, но разбираться по-партийному обязан,— резко сказал Чубасов и строго нахмурился. Он узнал себя: «Я не специалист». Как часто сам он внутренне прятался за эти три слова!

— Скажите мне одно,— продолжал он уже мягче,— ценное или нет предложение дал Сугробин?

— Кроме ж предложения, надо прыменять еще соображение, ум ы так далее,— ответил Гуров, произнося вместо «и» «ы».— Надо под ту головку делать переобору-

дование. Что будет прямой расход, я вижу, а что будет польза, я еще не вижу. У нас вознесли: «Сугробин, Сугробин!» А Сугробин норму не выполняет!

— Как же так?—Чубасов двинул портфелем.—Мы же воспитываем на Сугробине! Корреспондент «Правды» идет к нашему лучшему передовику и пишет о его достижениях, а лучший передовик даже нормы не выполняет!

Ивушкин сокрушенно вздохнул.

— В коллективе говорят: «Мы его подняли, а он в дальнейшем пошел по неверному пути». Он от производства оторвался. То ходит на совещания, то изобретает.

Гуров зашевелил губами:

— Начнешь ему говорить, а он тебя же обрежет: «Я член обкома комсомола, член комитета ВЛКСМ, член облпрофсовета!» Член и член! Член и член!

— В коллективе говорят, что Сугробин за многое берется, а ничего не доводит,—осторожно подтвердил Ивушкин.

— В коллективе говорят?—опять в чем-то узнавая свои слабости и с трудом сдерживая раздражение, спросил Чубасов.—Ну, а ваше, ваше личное мнение?

— Мое личное мнение?—Ивушкин задумался.—То фреза, то головка, то центрифуга, то кокиль. И ведь ничего нету! Я не специалист. Однако на опыте жизни можно убедиться: головку и фрезу Сугробина рабочие не внедряют. В рейдовой бригаде он тоже сперва взялся, а теперь остыл.

— Красота и лицевая сторона новатора—быть первым помощником начальника цеха,—сказал Гуров. Энергия раздражения помогла ему благополучно выбраться из периода раскачки, и речь его теперь лилась гладко.—А что мы слышим от Сугробина? Мы слышим: «Я член и член!»

Каковы бы ни были Ивушкин и Гуров, но слова их основывались на фактах. Сугробин действительно не выполнял нормы, действительно брался за многое, не доводя до конца, и действительно не получила признания на заводе его прославленная фреза.

Чубасов, забывшись, стучал карандашом по газетному листу. «Кто же он? Его называют любимцем Вальгана. Один из тех, кого вознесли не по заслугам, напоказ и ради показа?»

— Как же?..—сказал он с тем подчеркнутым медлительным спокойствием, которое появлялось у него в минуты волнения.—Вы говорите, что Сугробин не выполняет норму, ведет себя антиобщественно и новаторство

его не имеет значения. Если так, значит, газета напечатала липу по вашей вине и мы обязаны немедленно писать опровержение и объяснение. Если газета напечатала истину, то позор нам, руководителям, которые не продвигают хорошего дела. Тут нет третьего решения. Или мы должны писать опровержение, или должны сознаться в позорном консерватизме! — Он прошелся по кабинету, чтобы успокоиться.

«Не ясно, не ясно,— думал он.— Лицо и судьба Сугробина... Из таких лиц и судеб складывается лицо и судьба завода».

Гуров взглянул на часы.

— Консырватизм, консырватизм... Сыдишь каждый день до ночи, а слышишь одно: «Консырватизм». Надо разобраться по существу.

— По существу! — не выдержав, оборвал Чубасов.— По существу надо снимать одно из двух: либо портрет Сугробина в аллее почета, либо нас с вами!

— А вы поговорите с рабочими,— возразил Гуров.— Каждый скажет, что он вознесся, нормы не выполняет, цехом не интересуется.

В дверь постучали, и вошел Сугробин. В фетровой шляпе, в макинтоше с иголочки, самоуверенный, улыбающийся, он поздоровался небрежным кивком и свободно, как у себя дома, сел в кресло.

Гуров подал Сереже «Правду».

— Видишь? О тебе в «Правде» написано! А ты нормы не выполняешь!

Сережа, не переставая улыбаться, объяснил Чубасову:

— Был пленум обкома комсомола. Потом послали по заводам для передачи опыта.

— И в рабочее время отвлекался,— сказал Гуров.

— Было дело... Тут у меня одна идея... Насчет кокиля.

— Постой...— сказал Чубасов.— У тебя же была идея о центрифуге? И о шестерне...

— Меня эти идеи, ну, просто одолевают,— засмеялся Сережа.

— Так надо ж до конца доводить! А как фреза?

Сережа помрачнел, потом вскинул голову.

— За свою фрезу я говорить ничего не буду. Но вот есть ценная фреза, это да! Фреза Савича и Карасева с Кировского завода. Мне сам Савич подарил одну. А ведь нам в цехе часто нужны такие фрезы. Ну, моя плоха, а почему Савича не внедряете? — обратился Сережа к Гурову.— Косность ваша.

— Ты постой,— нахмурился Чубасов.— Люди постарше тебя.

— Ну, положим, у нас, у начальников, и косность,— сказал Гуров,—начальникам по всем книгам положено быть косными! Но рабочий на хорошее тянется. Была б фреза ценная, рабочие б требовали. Не все же скептики, есть и трезвые головы!

— Внедрять надо!—сказал Сугробин.—Была б моя воля, я б внедрял и внедрял. Подумал бы по каждой детали, по каждому участку, что можно сделать. Ух, сколько тут еще! А у нас нормы по шаблону увеличивают, а о производительности не заботятся. Вот сейчас обрабатывал я деталь, за которую три года назад платили в два раза дороже. А что вы мне дали, чтобы повысить производительность?—вызывающе обратился Сугробин к Гурову.

— Инструмента у тебя больше.

— Так это ж я сам сделал. А вы?

— У тебя возросла квалификация.

— Так это ж опять я сам ее возрос! А вы?

— Вот!—обернулся Гуров к Чубасову.—«Я» и «вы»! Неправильно понимает свое положение передовика. Говорит, много можно внедрить, а сам и одной фрезы не довел до дела.

— Да, это верно, фреза не на всех операциях хороша,—согласился Сережа.—Резцы у меня нежные. Я ее, фрезу, дорабатываю и вот-вот доработаю.

Самоуверенностью и легкомыслием веяло от слов, от голоса, от позы.

— Есть у тебя заключение лаборатории резания?— спросил Чубасов.

— В шкафу. Сейчас принесу.

Сережа быстро пошел к двери, полы макинтоша развевались, и сдвинутая на затылок шляпа держалась чудом. Гуров блеснул вслед острыми глазками и сказал сиплым басом:

— Ходыт птычка весело...

Чубасов, невольно улыбнувшись, припомнил старые стишки:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий...

— Шума много!—продолжал Гуров.—У нас лучше есть рабочие, только делают и молчат. Вон хоть его же, сугробинский, дружок Луков.—Гуров указал на полуоткрытую дверь приемной.

В приемной сидел Кондрат. Гуров окликнул его:

— Костя, ты ко мне?

— Не. Я Сугроба дожидаюсь.

— А ты войди. Садись.

Кондрат вошел, снял шляпу и неловко сел на край дивана.

— Вот ты нам и скажи: как обстоит в цехе с рационализацией? Есть интерес? — спросил Ивушкин.

Луков огляделся, пытаясь понять, чего от него хотят, и проговорил:

— Если рабочий что придумает, ему деньги дают, и смысл есть.

— А ты давал предложения? — Маленькие глазки Гурова смотрели любовно. Сильная фигура Лукова, его немногословная речь, его добродушно-смущенное лицо были Гурову по душе.— Изомнешь! — Он вынул из рук Лукова шляпу, положил на стол.

Чубасов подумал: «А тот даже не снял!»

— Я в том году давал два предложения,— неторопливо ответил Луков Гурову.

— Помогали тебе или тормозили?

— Зачем тормозить? Ничего меня не тормозило.

— А в этом году у тебя были предложения? — спросил Чубасов.

Кондрат подумал.

— Не. В этом году не было.— Голос его звучал подкупающим добродушием.— Так у нас же теперь все усовершенствовано! Больше ж нам нечего применять.

— Так-таки и нечего? — Чубасов подсел на диван к Лукову.— Ну, а что ты скажешь о фрезе и головке Сугробина?

— Фреза ничего. Берет большую нагрузку и вглубь и вширь. И головка тоже ничего.

— Почему ж в цехе их не применяют? Интереса нет у рабочих?

— Интерес у рабочих есть, да расчету нету. Если применять, надо станок приспосабливать, хвостовики подрезать, нарезки делать на конусах. Возни много. Он, Сугроб, это любит. А я должен норму перевыполнять. У меня семья — старики, сестренки. Когда ж мне?

— Ну, а если дать одну и ту же деталь тебе и Сугробину, кто скорей отработает: ты или он с его фрезой и головкой? — спросил Чубасов.

— Так, ясное дело, он!

— А есть крайняя необходимость менять головку? — заторопился Гуров.

Кондрат усиленно заморгал. Он, видимо, хотел угодить Гурову, но сбился с толку и растерялся.

— Возня с ней большая, а есть ли крайняя необходимость менять? — настаивал Гуров.

— Не. Крайней необходимости нету.

— Ну, а если бы тебе поставили сугробинскую головку? — спросил Чубасов.

Кондрат заколебался. Желание угодить Гурову явно боролось с желанием ответить правду. Последнее победило.

— Если б поставили, так я бы работал... и другие б работали, — твердо произнес он. — Только не мы ж должны ставить! Над нами ж программа.

Пришел Сережа и принес заключение лаборатории.

Чубасов взял бумаги, чтоб разобраться со специалистами, и прошел в цех. Он говорил о фрезе и головке Сугробина со многими рабочими. Все говорили так же, как Луков.

Если что убедительное, то рабочий пользу понимает и требует.

На обратном пути Чубасов снова проехал под портретом Сугробина. Беспечное юношеское лицо было ярко освещено цветной цепью огней.

Дерзкий тон Сугробина, его самоуверенность и, главное, легкость, с которой он прыгал от фрезы к центрифуге и к кокилю, не нравились Чубасову. «Несерьезно все это. Несерьезно. Голова у парня закружена. Некрепкая голова».

Вечером домой Чубасову позвонил Рославлев. Поговорив о делах, Чубасов спросил:

— Ты в модельном работал. Скажи мне по чести, что такое Сугробин?

— По чести? По чести, если весь модельный цех — обменный фонд Вальгана, если принять других за обменные гривенники, то Сугробин — директорский обменный рубль. Когда надо срочно, аккордно сделать выгодную для завода работу, Сугробин сделает всех лучше и всех быстрее.

— Обменный рубль Вальгана? Ну хорошо. А без директора, сам по себе, что такое Сугробин?

— Даровитый парень. Конечно, может, попортили, давно его не видел.

Чубасов верил суждениям Рославлева, и все же ясности не было. Мало ли даровитых начинающих пошумят и сходят на нет! Как сложится судьба юноши, который победоносно глядит с портрета, открывающего заводскую аллею почета? В памяти прозвучал сиплый бас Гурова: «...Ходыт птычка весело...»

Жена и сын с дочерью сидели в детской на ковре и с увлечением мастерили первомайские подарки для детского сада.

«Что сказала бы о нем Люба?» — подумал Чубасов. Люба, на его взгляд, была удивительная женщина с

необычайными взглядами. Она работала в школе с самыми младшими и искренне считала, что женщины должны быть заняты детьми и работать с детьми — нянями, воспитательницами, учительницами, детскими врачами. Женщин, занятых не связанной с детьми работой, она считала несчастными. В маленькой, худенькой Любе была такая сила материнства, которая подчиняла всех. С молодыми и старыми, с мужчинами и женщинами, с рабочими и с учеными она равно обращалась заботливо и повелительно, как с ребятами-первоклассниками. И, к удивлению Чубасова, все, начиная с него самого, одинаково слушались и любили ее.

Через час все в доме утихло. Чубасов прочел в постели газету, прислонился головой к худенькому плечу жены и впервые за день почувствовал ту полноту счастья и отдыха, которую знал лишь в детстве близ матери.

— Любушка,— сказал он,— ты знаешь в лицо Сугробина?

— А как же? Я сегодня его видела в парке.

— Какой он?

У жены был свой метод определять людей. Для того чтоб понять сущность человека, она должна была зажмуриться и представить себе, каким он был в раннем детстве. Способ был странный, но дважды именно этим способом Люба поняла и определила людей точнее, чем сам Чубасов после многомесячного изучения. С тех пор Чубасов проникся уважением к Любиному методу и к ее проницательности, которую объяснил силой Любиного материнского инстинкта.

— Какой он, по-твоему? — настойчиво повторил он.

— Сейчас...— Люба плотно зажмурила глаза.

Чубасов молчал, зная, что в такие минуты в Любином уме происходит таинство преображения. Солидные люди, ожирелые, бородатые, морщинистые, в эти минуты теряли бороды, морщины, животы и представали перед Любой в своем первозданном естестве.

— Поняла...— засмеялась Люба.— Он же голышок!

— Как голышок?

— Ну, совсем еще маленький. Ясельный. Такой очень здоровенький голышок! Лежит в постели, улыбается во весь рот и за все хватается — за палец, за пуговицу, за игрушку. Но я должна тебе сказать, если ребенок голышком такой деловой, он и в школе будет как дрожжина в тесте.

«Голышок»,— улыбнулся Чубасов, представляя себе самоуверенного юношу в фетровой шляпе.

А «голышок» в это время шел заводским двором. Нежданно попав вечером на завод, он задержался в

цветной литейной. В открытом котле плавился алюминий, похожий на жидкое серебро, подсвеченное изнутри красным. Мысль о переводе моделей на кокильное литье все сильнее овладевала Сережей. Он не торопился домой. На заводе, где он вырос, где аллея почета открывалась его портретом, он чувствовал себя дома, так же как у себя в квартире.

У него было такое ощущение, что «в гостях» на заводе могли быть Вальган и Чубасов, Луков и Иващенко, но он, Сережа, всегда есть и будет на заводе — у себя дома.

С беспечной самоуверенностью юности он не задумывался над этим ощущением, а наслаждался им, проходя под своим портретом меж кустами, остро пахнущими корой, почками, весной.

Глава X

ЗНАЧИТ, ЭТО БЫВАЕТ?

В промытых стеклах цехов отражалась голубизна и дробилось утреннее солнце. Земля под ногами была влажной. Почки на деревьях аллеи почета набухли.

Бахирев смотрел на них со страхом: раскроются почки, зазеленеют деревья, вернется Вальган... До его возвращения надо перестроить работу моторного, инструментального, а главное, чугунолитейного цехов. Вот она, чугунка... Чад, разноголосый грохот, плавный полет крана... Бахирев пошел навстречу крану, и сверху раздался предупреждающий, отрывистый звук колокола: дон!.. дон!..

«Дайте дорогу! Дайте дорогу!..» — перевел Бахирев на человеческий язык. Он взглянул на часы и отметил: «Девять ноль пять. В девять я хотел быть в земледельном.— И он заторопился и тут же с досадой подумал: — Чего спешишь, дурень? Ведь сам себе назначил срок! — И тотчас возразил себе: — Не выполнять чужие решения еще возможно! Но своих не выполнять, значит, и человеком не быть...»

Рославлев однажды шутя сказал ему: «Машине потребно работать согласно проектной мощности». И Бахирев подумал, что когда машину пускают на полную мощность, она должна быть счастлива своим особым, машинным счастьем. На полных оборотах лучше прирабатываются детали, сглаживаются шероховатости, мотор идет плавно, без дрожи и тряски. Сейчас он переживал состояние, подобное этому машинному счастью. Число оборотов

нарастало, подключались резервные мощности, движение становилось быстрее и ровнее. И все отчетливее понимал он, что и быстрота, и равномерность движения, и это его новое счастье целиком зависят от людей.

Теперь стал ценен и интересен каждый заводской человек, от начальников цехов и отделов до подсобных рабочих. Он узнавал людей, а люди постепенно узнавали его.

У Бахирева появилось новое прозвище, данное по его любимой присказке: «Как часы».

Известны стали его привычки и его чудачества.

Все уже знали, что утром, с половины девятого до девяти, главный инженер запирается в своем кабинете, не отвечает на звонки, никого не впускает.

— Что у тебя за священнодействие по утрам?— раздраженно спросил Чубасов.— Звонил, звонил... Какому аллаху молишься?

— Молюсь господу плану. Если с утра, на свежую голову, не скорректировать того, что с вечера намечено,— занесет текучкой. Знаешь, говорят: «У дурной головы ногам покою нет».

В девять ноль-ноль «как часы» появлялся в чугунолитейном, а в десять тридцать — в моторном. Сегодня он опаздывал в земледелку и сердился на себя.

Недавно новый начальник цеха Сагуров сам вместе с работником техснаба съездил на карьер и на железную дорогу. Завоз песка и глины наладился. Вчера поставили дозаторы. Бахирев хотел посмотреть на их работу. Как всегда, в огромных котлах торопливо и мерно ходили бегуны. Грязные с ног до головы женщины стояли в пыли и чаду. Привычных ведер уже не было. Нажимом кнопки подавалось нужное количество песка, глины. Однако состав перемешивался плохо. «Кто тут будет зачинщиком? Которая из этих женщин пойдет впереди?» — думал он.

Теперь в каждой из них виделась ему возможная союзница и соратница. С тем новым интересом к людям, который появился в нем недавно, он вглядывался в серое лицо той беззубой земледельщицы, которая запомнилась ему с первых дней.

— Хотел я к вам в гости идти, да раздумал,— полушутливо сказал он ей.— Кашей угостить не сумеете! По котлу вижу, вся соль в одном месте, крупа комьями!

— Было б для кого кашу варить, так и сварила б,— вяло отвечала женщина.

«Сама как эта глина. И на таких земледелка, основа производства! Но есть же, должен быть в ней живой дух рабочий!» На вид ей было больше пятидесяти. Подглазни-

цы от пыли казались черными и глубокими, как у покойницы.

— Так уж и не для кого кашу варить?—спросил он.

Женщина не отвечала. Он помог ей отрегулировать ход бегунов. Лопасти кружились затрудненно, но ритмично, «замешивая» начало производства. Мозг тупел от этого бесконечного, тяжелого и мерного кружения пропеллера, засаженного в болото. Бахирев приказал механику усилить вентиляцию, сам осмотрел вентиляционные трубы, и только тогда женщина ответила ему такими медленными, тяжелыми фразами, будто мысли ее ворочались в вязком ритме бегунов:

— Для кого варивала, те в землю легли. Как они в земле, так и меня все в землю тянет. В земле работаю, в земле и живу.

— Как в земле живете?

— Обыкновенно. В подвале.

— Давно работаете на заводе?

— Десятый год.

— Что же не добивались, чтоб переселили! Многих устроили за это время!

— А чего ее бояться... земли-то? Все в нее уйдем! Всех моих забрала, а меня позабыла... Лежу вот в подвале по ночам да стучу ей в стенку: может, мол, вспомнишь?

Сагуров появился в земледельном с запозданием.

— Девять двадцать,—коротко упрекнул его Бахирев.

Молодой инженер был одним из первых бахиревских завоеваний, он смотрел на Бахирева с таким же полным всяческих надежд интересом, с каким Бахирев смотрел на него, и так же был увлечен перестройкой чугунолитейного цеха.

— У тебя тут земледельщица с десятилетним стажем,—сказал ему Бахирев.—Философия у нее что тебе у шекспировских могильщиков, а мы ей—новую технику. Хотя бы из подвала вывезти человека...

То, что главный инженер лично занимается таким отделением, как земледелка, многим казалось нелепым и неверным.

— Дмитрий Алексеевич,—напрямик спросил Сагуров,—я понимаю, почему я торчу здесь часами... Ну, а вы?..

Бахирев шевельнул бровями и ответил с косноязычной краткостью:

— Главное во главе. Попутное попутно. Что такое мышление? Способность отделять существенное от несущественного...

— Непонятно!

— Что непонятного? Надо начать с основ — отработать, как часы, земледелку.

— Но почему вы сами? На меня не надеетесь?

— Вы начинающий начальник самого тяжелого цеха.— Бахирев подвигал торчащей изо рта трубкой, что означало у него улыбку.— Вы цех отрабатываете, а я хочу вас отработать. Хочу приучить к необходимой производству доскональности. Ведь нам вместе работать годы.

«Не собирается уходить,— удивился Сагуров.— Не понимает, что Вальган все равно снимет? Или не хочет сдаваться? Упорен!»

— Вот, женщины, какое вам нынче придается значение!— сказал он земледельщицам.— Сам главный инженер с утра первым делом в земледелку!

— На земле завод стоит. Глупому это невдомек, а умный понимает,— с обычной вялостью отозвалась старая земледельщица, а соседка улыбнулась Бахиреву.

После обхода цеха Бахирев спросил Сагурова:

— Вы обдумали переход на комплектную сдачу деталей?

— Не бывало такого на заводе...

— Будет. Хватит нам считать, сколько у вас блоков, гильз, мостов. Будете сдавать нужное количество комплектов в сутки, и точка. Вне комплекта детали у цеха принимать не будем.

Сагуров взмолился:

— Для перехода на комплектную сдачу нужен запас деталей, задел. Как думать о заделе, когда цех каждый день с дефицитом? Получится ли?

Обычно уравновешенный, главный вскипел:

— «Выйдет не выйдет», «будет не будет». Тоже мне... Гамлет!— Он так выразительно сказал это, что Сагуров почувствовал, что своими длинными тонкими ногами и узким лицом действительно до отвращения похож на Гамлета.

Сагуров пошел к Чубасову. Вопрос о комплектной сдаче обсудили на партбюро цеха. На стендах появились призывы: «Каждый рабочий в течение месяца должен создать свой НЗ...»

Как ни тяжело было с деталями, Бахирев железной рукой отчислял в фонд НЗ то, что лучшие рабочие создавали сверх нормы. Это еще усложнило работу и усилило перебои с деталями, идущими на конвейер.

Сагуров отчаивался:

— Не получается же ничего. День ото дня не лучше, а хуже.

— Опять гамлетовщину разводите!— сердился Бахирев.— Переход на комплектную сдачу деталей надо начи-

нать с борьбы за повседневный ритм. Надо вводить жесткий почасовой график.

В цехе повесили доску почасового графика всех отделений. С десяти ноль-ноль и через каждые три часа с точностью автомата главный звонил Сагурову:

— Как выполняете часовой график?

График выполняли плохо, мастера «нажимали» на конец смены. Бахирев заведомо знал это, его методические вопросы бесили Сагурова.

— Никак не выполняем,—сжав зубы, скрипел в трубку начальник цеха.

— Когда начнете выполнять?—не меняя тона, спрашивал Бахирев.

— Когда звонить перестанут! Звонят, звонят целый день!

Сагуров ждал ответного взрыва, но Бахирев молча положил трубку. Он позвонил снова, уже в конце дня.

— Как, выполнили часовой график?

Ни график, ни программа не были выполнены.

Главный опять ничего не сказал Сагурову, но на следующий день сам пришел в цех, дал нагоняй ремонтникам и техснабу, полдня пробыл в формовке, добился того, что цех встал на почасовой график, и ушел, так и не сказав ни слова Сагурову.

На другой день график опять срывался. Около десяти Сагуров с ненавистью и страхом смотрел на телефон.

Ровно в десять прозвучал монотонный вопрос:

— Как выполняете часовой график?

«Под пресс, чертяка, работает! Выжимает и выжимает...»—думал Сагуров.

Он переносил нажим на мастеров. А доска все нагляднее выявляла тех, кто не знал и не любил машину, тех, кто начинал с запозданием, тех, кто задерживался на перекурах.

Теперь уже не существовало «вообще» рабочих, работающих неритмично, и «вообще» неритмичного рабочего дня. Существовали отдельные люди, чаще других нарушавшие график, и отдельные часы наибольшего нарушения графика.

— Вот теперь вам пора вплотную браться за ритмичность,—сказал Бахирев.—Нужны не ваши митинговые речи, а разговор с точно определенными людьми о точно определенных часах.

Но все усилия воли не могли удержать колеблющуюся кривую. Едва взглянув на висевший у входа общецеховой график, каждый видел, что хотя и уменьшились размахи колебаний, но все еще бьет цех та же беспощадная лихорадка.

И снова Сагуров тосковал:

— Не получится!

И снова Бахирев коротко обрывал его:

— Давайте без гамлетов!

Не удавалось соблюдать график, не удавалось и снизить брак. Бахирев вместе с Сагуровым приходили на браковочную площадку, собирали на ней начальников отделений, но и это не помогало.

Бракованные детали возвышались холмом: громоздились друг на друга огромные блоки цилиндров, похожие на чугунные чемоданы, головки цилиндров, подобные крышкам замысловатой формы, муфтообразные гильзы, массивные задние мосты...

Все они были поражены недугами — их рассекали темные трещины; их разъедали раковины разных родов: и газовые, округлые, гладкие, такие невинные на вид, и темные, земляные; на их закоптелых боках белели пролысины; их поражали кособокость и деформация. В их изъянах, в их беспорядочном смешении, в их небрежном навале было что-то и оскорбительное и тревожное.

На взгляд Бахирева, это скопище было живым свидетелем человеческого бесчестья.

— Что холм могильный нам готовит? — сказал Бахирев, подходя к браковочной площадке.

Несколько инженеров и мастеров уже копались в этой свалке.

Белобрысенький технолог Пуговкин сидел в самой гуще. Личико у него было маленькое, а узкие глазки под сморщенными веками имели странную форму равнобедренных треугольников, обращенных основаниями к переносице и остриями к вискам. Он раскатывал ногами гильзы, извлекал блоки и ворчал:

— И что это ОТК голову морочит? «На гезе[1], на гезе!» А зачем им гезе, зачем им горячая заделка, когда они годны на холодную?

Бахирев напомнил Сагурову:

— В те доисторические времена, когда ты был моторщиком, ты кричал: «Дайте мне блок, а остальное я сам достану!»

— Бывало такое дело,— уныло согласился Сагуров.

— Вот что значит превращаться из ездового в кобылу! Почему опять брак по блоку?

— Не можем добиться причины. В моторном была мне райская жизнь! Бывало, если брак, размеры замерим — и причины и виновники налицо. А тут преступление — вот оно, а в чем вина, где виновник, кто виновник — ищи-

---

[1] Гезе — горячая заварка. Специфический заводской термин.

свищи! Тут и земля, тут и стержни, тут и чугуны. Все скрыто от глаз — в вагранках, в опоках, в земле, в сушилках. Мы, литейщики, должны быть еще и Шерлок Холмсами!

— Что ты мне произносишь оправдательные речи! — нахмурился Бахирев.— Говори: что ты думаешь делать?

Сагуров отвел Бахирева в сторону и сказал:

— Уберите вы от меня этого Пуговкина!

— Этого с треугольными глазками?

— Его! Уберите его и дайте мне Карамыш.

— А она сможет?

— Э! — Сагуров зажмурился, как пьяница перед рюмкой.— Это такая женщина! Она что хочет, то и сможет... Я же ее еще по институту знаю.

Бахиреву не понравились зажмуренные глаза и лирический тон.

— Красивая, кажется,— поморщился он. Он не любил красивых девушек: они казались ему куклоподобными.

Сагуров не разделял его точки зрения:

— Вот и хорошо, что красивая!

— Плохо! — отрезал Бахирев.— Человек формуется, как деталь. Иная красотка, может, и родилась с умишком, а как пойдут ей смолоду забивать голову ерундой, глядишь, и заформовали дуру! Брак! Хватятся на гезе переделывать, да уже поздно! Заформована и отлита дура дурой. Никакое гезе ее не спасет.

— Карамыш — умница! — с прежним лиризмом упорствовал Сагуров.— Бывают врачи с природным чутьем: придет, посмотрит и определит. И технологи такие бывают. Вот и Карамыш из таких.

— А она пойдет?

— Ставит свои условия. Но уговорим. Труднее будет с Пуговкиным. Он у нас неубиенный. Весь завод знает, что он лодырь, но он до того верткий, что нет законных оснований для увольнения. Два раза снимали — восстановили по суду.

— Это не страшно! Если настаиваешь на Карамыш — бери...

Через два дня после назначения нового технолога вызвали в кабинет начальника цеха. Карамыш вошла в синем халате и все в тех же маленьких туфлях школьницы — без каблука, с хлястиками на пуговках. Бахирев и Сагуров ждали ее.

Бахирев смотрел на ее яркие глаза, тонкие брови, смугло-розовую тонкую кожу с великой подозрительностью: не стоит ли перед ним одна из тех заформованных и

отлитых дур? В уме мелькало то хорошее, что знал о ней. Докладная о кокиле. Выступление на рапорте в защиту Василия Васильевича. Факты все случайные, не определяющие. Простенькие туфли на пуговках — утешительно, но тоже ничего не определяют. На похвалу Сагурова целиком положиться нельзя: человек увлекающийся.

— Так вы согласились перейти в чугунолитейный?

Ответ удивил его краткостью, ультимативностью:

— Только на время. Пока не начнется организация кокильного участка.

Он смягчился. Кокиль! Значит, была на заводе еще одна душа, страдающая по кокилю.

— Что вас привлекло?

— Сидишь в отделе. Строчишь бумажки. А здесь каждый процент брака — это тонны металла.

Бахирев продолжал вглядываться. Многое в ней вызывало его недоверие. Слишком свободная, женская и домашняя поза. Слишком спокойный взгляд, словно на все смотрит она откуда-то из недосягаемого далека. Слишком узкая, изнеженная, беспомощная ладонь. «Тысячи тонн металла на такую белоручку... Не потянет!»

— С чего вы начали?

Она неторопливо подняла на него глаза.

— Вот с этого.

На белом листе аккуратно и красиво вычерченная диаграмма-круг.

— Я сделала анализ брака за полгода. Большую половину круга занимает блок. Потом гильза и маховик.

— Это все, что вы успели сделать? — насторожился Сагуров.

Бахиреву близок был цифровой подход к делу. Он ясно представлял, сколько пришлось ей перерыть документов, сколько сделать расчетов. Но она и глазом не сморгнула на упрек Сагурова.

— Да. Все.

Невозмутимая девочка? Или равнодушная? Бахирев все же решил защитить ее:

— Обмозговали для начала? Это правильно! — Он повторил одну из своих любимых пословиц: — У худой головы ногам покою нет... Не спринтеры и не велосипедисты. Ногами немного наработаем. Чем теперь думаете заняться?

— Блоком.

— Вопросов к нам нет?

— Нет.

«Однако она немногословна!» Он улыбнулся ей.

— Ни пуха вам ни пера...

Тина прошла на браковочную площадку. Грудой лежали огромные, черные, рассеченные трещинами блоки. Несколько дней они шли без брака, и вдруг со вчерашнего дня, как здесь говорили, «выскочил» брак. В механических цехах брак появляется прямо на глазах, а в литейных он именно «выскакивает»; таинственно и злорадно выскакивает откуда-то из глуби земли, из замкнутых квадратов опок, из бушующего пламени вагранок. Тина присела на корточки и стала с усилием поворачивать тяжелые детали. Трещины то короткие, то длинные и разветвленные. Если коленчатый вал — сердце трактора, то блок — его грудная клетка. Что за сила ранила эту грудь?

— Тина Борисовна, вы теперь заведуете браком? Почему пошли трещать блоки? — спросил ее мастер.

Она не ответила. Она не знала.

Почему они трещали? Чего бы им и в самом деле трещать — огромным, массивным, тяжелым? Какая сила разрывает чугун?

Тина постучала по стенкам. Звук был нормальный, не слишком высокий, не слишком низкий, значит, толщина стенок нормальная. Не доверяя себе, промерила приборами. Нет, она не ошиблась. Ни пригаров, ни пролысин. Очевидно, с прогревом нормально. Почему же на эту деталь падает такое количество брака?

С помощью мастера Тина извлекала блоки из груды брака. Один, другой, третий, четвертый... Изгибы стенок то плавные, то крутые. Почти у всех трещина на крутом изгибе. Детали уязвимы в изгибах. Слегка изменить форму, сгладить крутые переходы. Это было первое, что она предложила Сагурову.

Сагуров распорядился срочно сгладить форму, и сразу после этого снизился брак по блоку.

Сагуров многословно изливался в чувствах:

— Вот, говорят моряки, на корабле женщины приносят несчастье. А в цех женщина принесла счастье! — Он взял ее за руку. — Вот уж у кого действительно легкая рука!

Рославлев при встрече прогудел:

— Говорят, пришла в чугунку и как рукой сняла все трещины блока. Спасибо от моторщиков!

Она жила в ежедневной тревоге, но молчала. Стоило ли выкладывать им свои сомнения? И только когда Бахирев тоже поздравил ее, она сердито возразила:

— Но ведь причина не найдена! Форма была одинакова в течение многих лет, а брак то появлялся, то исчезал! Как не сообразить? Крутые переходы — это еще не причина! Это лишь место, на котором выявляются причины.

Она сказала это и подумала: «Почему я сказала это ему одному? Разве только с ним и можно говорить, как с равным? Ведь и остальные не дети!»

И все же никого другого Тина не посвятила в свои тревоги.

В ночь на третьи сутки ей позвонил цеховой диспетчер:

— Тина Борисовна! Пошел брак!

— Блок?

— Нет, маховики.

Она поехала на завод. Маховики лежали, пораженные раковинами, как проказой. Не отдельные раковины, а чудовищные скопления их гнездились на поверхности.

Она всю ночь возилась с маховиками, меняя то слишком густой мазут, то влажный песок, то загрязненную облицовку. В ожидании «вылеченных» ею маховиков она уселась у конвейера.

Сероватый рассвет сочился сквозь грязные стекла. Утренняя смена занимала места. Тине было зябко от бессонницы и волнения, и она грела руки над горячим литьем. Наконец они появились — огненно-красные, тяжелые диски.

— Ровно темнеет...— сказал Сагуров.— Хорош! Мне кажется, испытание маховиком ты выдержала. Пойди умойся и позавтракай, не то ты не хуже маховика покроешься проказой.

Тина не успела дойти до столовой.

— Тина Борисовна! Тина Борисовна!

Услышав за спиной крик, она сразу подумала: «Только бы не блок!..»

— Тина Борисовна! Выскочила трещина блока!

Несколько блоков, черно-красные, еще горячие, лежали на полу. Трещины змеились на перегибах. Они рассекали сглаженные, пологие перегибы точно так же, как несколько дней назад рассекали крутые...

Ее позвали к телефону. Она думала, что это начальство, но услышала голос мужа:

— Тина, когда же ты теперь будешь отсыпаться?

— Ах, оставь!

— У тебя опять что-нибудь выскочило?

— Опять она. Трещина блока.

— Тина, этак не на блоке, а на самой жизни выскочит трещина! Когда ты будешь спать?

Она повесила трубку. По люфт-конвейеру выплывали новые блоки. Огромные, красные, подвешенные на крючки, они походили издали на туши в мясном ряду. Она бросилась им навстречу. Сагуров уже стоял возле них.

— Нет? Есть? Нет? — кричала она на ходу.

— Есть...

Надо было снова начать поиски. Но где и как искать? В земледелке она провела всю ночь и осмотрела все. Надо идти последовательно в стержневое. Трещины могли возникать от излишней крепости стержней. В стержневом синеглазая курносая девочка ходила за Тиной и смотрела на нее испуганными глазами.

— Ты что? Это твои стержни?

— Нет.

— Так что же ты за мной ходишь?

— Так я ж новая постовая...—Девочка приободрилась:—Постовая комсомольского штаба... Меня Дашей зовут.

— Ну, Даша, раз ты постовая, будем делать стержни. Помогай.

Тина вместе со стерженщицей принялась делать стержни с различной дозировкой крепителя. Отлили экспериментальные блоки. Как назло, не оказалось ни одной трещины даже там, где крепость стержней была вдвое больше нормы.

А в следующей партии опять затрещали блоки.

— Тина Борисовна, ведь обед уже! Может, вы яичко покушаете?—сказала девчонка.

— Ты еще тут? — удивилась Тина. — Не хочу яичко...

— Тина Борисовна, это не по нашему, стержневому, трещат?

— Нет, не по вашему!

— Слава тебе господи! Куда же вы теперь? Я пойду вам подсоблять.

— Не надо. Иди домой. Я в литейное!

— Да как же я вас покину?!

Тина невольно улыбнулась и в первый раз внимательно взглянула в лицо своей сопровождающей. Само чистосердечие смотрело черными точками зрачков. Она все же отослала девочку. Ей мешали посторонние. Только бы не растеряться, не утратить последовательность.

С той же кропотливостью она занялась литейным. Может быть, на блоки влияет температура заливки?

Тщательно записывала она номера блоков и температуру каждой заливки. Заставляла заливать полуостывшим металлом, заставляла лить при высокой температуре. Трещина то обнаруживалась, то не обнаруживалась, независимо от температуры.

И вдруг трещина исчезла. Она исчезла так же необъяснимо, как появилась. Тогда только Тина заметила, что уже вечер.

Когда она добрела до дома, Володя взглянул на ее грязное, осунувшееся лицо.

— Так... значит, вторая «брачная ночь»? Сколько еще будет таких брачных ночей в нашей семейной жизни?

Утром ее вызвали Сагуров и Бахирев: блоки снова трещали.

Бахирев ругал ее жестоко. Сагуров попытался смягчить его:

— Тина Борисовна около полутора суток не выходила из цеха, обошла все отделения.

Бахирев не умилостивился:

— Я же говорю, что у дурной головы ногам покоя нет. Перестаньте бегать по цеху. Возьмите голову в руки! Думайте! Химанализы чугунов смотрели?

— В норме.

— Что будете делать?

— Возьму голову в руки и буду думать.— Легкая, грустная ирония мелькнула в словах.

Он внимательно взглянул на нее. Куда делся ее смуглый румянец, блеск ее синих глаз, отлив блестящих волос! Бледная, покрытая копотью, усталая, с погасшим взглядом и свинцовыми тенями под глазами, она, видимо, едва стояла на ногах и не находила силы улыбнуться. Так вот куда уходит девичья красота таких умниц! Они своей красы не щадят. Гробят ее в чугун, в землю, в вагранки!.. Такая, замученная и бледная, она была ближе ему, и жалость вдруг теплой волной прилила к сердцу.

— Не теряйтесь. Я зайду вечером. Главное, не теряйте логики и последовательности.

Он сказал: «Возьмите голову в руки». Она выполнила это буквально — села в комнате технологов, облокотилась на стол и стиснула виски ладонями. Что еще можно сделать? Земледельное, стержневое, формовочное, литейное, вагранки, шихта, анализы... Все проверено своими руками, своими глазами. Везде и все нормально. А блоки трещат!..

Бракованные блоки накапливались. Конвейер два раза «стоял по блокам». Выработка падала, и рабочие нервничали. Диспетчеры, надрываясь, кричали в трубки. Прибегали из моторного, из сборки, из дирекции, из комсомольской рейдовой бригады.

Рославлев из своей бочки гудел в лицо Сагурову:

— Кто громче всех кричал на рапортах: «Дайте мне блоки, остальное я сам достану»?! Ты кричал! А пришел в чугунку, сам запорол блоки! Гони блоки, злодей!

Тина «по второму заходу» обошла цех, осмотрела все от песка до чугунов и опять ничего не нашла. А блоки продолжали «трещать».

Кончился рабочий день. Опустела комната технологов. Зажглись огни. Тина не могла уйти домой. Она снова села

за стол, снова сжала виски ладонями, собралась с мыслями. Трещина блоков идет не первый раз. Такие периоды в жизни завода повторялись. Трещина нападала на блоки, как чес. Какой-то период блоки упорно «трещали», и конвейер «стоял по блокам». Потом все приходило в норму. И каждый раз трещину блоков приписывали разным причинам: то слишком крепкие стержни, то слишком горячая заливка, то крутизна переходов и изгибов. Тина исключила все эти причины. Форму изменили. Опыты с температурой литья и с крепителем убедили, что блок и к тому и к другому относится вполне терпимо. Тайна блоков осталась тайной... Тина думала. Что же делать? Может быть, взять химические анализы за шесть месяцев, вычертить кривые состава чугунов и сравнить с кривой брака по трещинам блока?

Она взяла прошлогодние, покрытые пылью папки с анализами, раскрыла их, и с первого же взгляда ей стала очевидна бесперспективность работы. Анализы ни разу не вышли из пределов нормы. Иногда те или другие составные части чугунов то опускались до нижней границы норм, то поднимались до верхней, но норма ни разу не была перейдена. Бесполезно тратить на это время. Она отложила папки. Уже стемнело. Володя сидит, ждет и волнуется. Собирались пойти в кино. Какое там кино! Блоки продолжают трещать, конвейер может встать каждую минуту, и теперь остановившийся конвейер всей своей тяжестью навалится на ее плечи. Что же все-таки делать? Где и как искать? Ведь где-то здесь, рядом, существует же эта неуловимая причина! Где она может скрываться?

«Возьмите голову в руки!» Какой путь поисков упущен? Нет, я не упустила ни одного пути — отделения цеха, составы, документы... Но если ни один путь не упущен, значит, по какому-то из них я не дошла до конца? Вот взялась чертить график и не довела до конца! Бесполезно? Нет! Полезно! Дойти до конца пути и не отыскать — значит до конца исключить этот путь! Это уже полезно!» Папка с ежедневными сводками брака, папка с ежедневными анализами чугунов.

Она кропотливо выписала полустертые цифры с пожелтевших бумажек. Аккуратно вычертила кривую брака за полгода. Все время высокий брак с частыми высоченными пиками, с редкими спадами.

Кончив с кривой брака, Тина повела под ней кривые отдельных составных частей чугуна. Еще одна ночь бесполезного труда! «Ну что ж! — утешала она себя. — Ведь это и есть поиск... Когда находится сразу, то и искать незачем».

Она дошла до содержания в чугуне кремния. Кривая первых месяцев сразу поразила ее. В середине декабря содержание кремния в чугуне поднялось до верхних границ нормы, и как раз в декабре кривая брака взлетела кверху. В начале января резко упал кремний и так же резко упал брак. Тина заволновалась. Может быть, это только случайное совпадение? «Возьмите голову в руки!» Что покажут февраль, март, апрель? Торопливо искала она цифры в истрепанных бумажках, спеша, продолжала кривую. В конце февраля наибольшее количество кремния в чугуне, и сразу наибольший пик, настоящий Монблан в кривой брака... Не ясно ли? Нет, еще не ясно! Вдруг все-таки совпадение, случай? От цифры к цифре, от недели к неделе кропотливо и тщательно вела она свою диаграмму. И счастьем стало видеть, как точно совпадают друг с другом кривая брака и кривая содержания в чугуне кремния.

Последний пик в кривой кремния случился несколько дней назад. В шихту поступили чугуны с кремнием на верхней границе нормы, и сразу «выскочил» брак по блоку — те трещины, что мучили ее все эти дни! Зависимость трещин от кремния была наглядна. Очевидно, особенности заводской технологии, большие размеры и сложность конфигурации блоков делали их особо чувствительными к кремнию. Она любовалась своими кривыми, наслаждалась ими. Бывали дни, когда она увлекалась рисованием, но даже самые удачные картины не приносили ей такого наслаждения.

Она сидела одна в большой опустевшей комнате технологов и смеялась от радости. Теперь ясны причины брака в прошлом. Теперь ясно, как избежать его в будущем. Держать кремний на средних границах нормы... Самый большой брак по заводу — это трещина блока... Тонны бракованных блоков... Голос диспетчера: «Конвейер встал по блоку». Падение заработков у рабочих... Нервная лихорадка на заводе... Неужели ей удалось вот сейчас, вот здесь покончить с этим? Да, удалось!...

И сразу сказалась накопленная сутками усталость. Ее охватило непреодолимое желание спать. Не двигаться, не шевелиться, опустить голову на эти великолепные кривые и сладко заснуть здесь, рядом с ними.

В дверь, не стучась, вошел Бахирев.

— Вы еще здесь?

В прокуренной, пустынной и грязноватой комнате технологов она сидела в полном одиночестве и улыбалась сонной счастливой улыбкой.

На старых столах темнели пятна, стояли простенькие, «с бору да с сосенки» чернильницы. Рядом была кузница,

и от ее ударов пол в комнате мерно дрожал, как палуба плывущего парохода. Женщина была одна в этой плывущей комнате; зеленый отсвет сукна, покрывавшего стол, ложился на ее лицо. На лбу темнело чернильное пятно. Счастливая, тихая улыбка на ее усталом лице показалась ему трогательной.

— Ну как?—спросил он мягко.—Требуется помочь?

— Нет.

— Разобрались в блоке?

Она молча протянула ему кривые. Он сразу оценил и способ, и логику, и результаты. На этот раз не там, в отделениях цеха, и не на браковочной площадке, а здесь, в кропотливом анализе цифр и линий, была найдена разгадка трещин блока. Умница! Какая все-таки умница! Вряд ли кто-нибудь, кроме нее, проследил бы так цепко, так методично. Он уловил сходство меж ней и собой и живо припомнил счастливые минуты собственных ночных бдений и ночных открытий. Она стала странно близка ему, и ощущение этой внутренней близости было новым, внезапным и волнующим. Ему захотелось, как ребенка, погладить ее по голове и пожать ей руку, как товарищу, и, как милой, усталой и родной женщине, сказать ободряющие мужские слова.

— Можно считать, что трещину блока вы ликвидировали...—медленно проговорил он не своим, глуховатым, взволнованным голосом.

Она молчала, продолжая сонно и счастливо улыбаться, совсем девочка, школьница, в школьных туфельках, с чернильным пятном на лбу. Но погладить ее по голове нельзя! Он вынул чистый платок.

— Пятно... Дайте я вам сотру.

Она тихонько сидела, пока он оттирал ей лоб.

— А теперь идите-ка спать. И отсыпайтесь завтра сколько захочется.

Она вышла усталыми, заплетающимися шагами, у двери оглянулась, с усилием приподняв покрасневшие, опухшие веки, и улыбнулась ему все той же счастливой, застенчивой и сонной улыбкой.

А он остался один со смешанным ощущением досады на себя и запоздалой грусти. Словно миновала дорогая минута, ушел, не раскрывшись ему, близкий человек. Вот именно с ней, именно сейчас и поговорить бы обо всем, что накопилось, а он не сумел...

Через несколько дней, выходя с завода, Бахирев увидел у проходной технолога Карамыш. На ней было серебристо-серое свободное пальто и маленькая шапочка. Свежее и отдохнувшее лицо ее опять было угрожающе

красиво, но теперь, когда Бахирев видел, как беспощадно относится она к своей красоте, красота эта уже не отталкивала его, а казалась особенно трогательной и оттого особенно необычной.

Кукольно-красивые, выхоленные лица не производили на него впечатления. Он помнил, как отец его говорил собутыльнику: «Нацепи на швабру фасонную юбчонку — и мозгляки вроде тебя готовы! Настоящего мужика тряпками не обманешь! Он под семью сермягами почует, какая есть баба и чего она стоит...»

Видно, от отца сыну передалось это пренебрежение к сделанной, старательной красоте. Но в красоте технолога Карамыш не было сделанности. Не было в лице ее и того неведения, непонимания своей женской силы, которое бывает у очень молодых девушек. Но сквозило в этом необычном лице спокойное пренебрежение к редчайшей своей прелести. И Бахиреву вдруг стало жаль этих глаз, что нередко меркнут от усталости, этой кожи, что сереет от копоти. Ему надо было идти к машине, а он стоял и смотрел на Тину. В руках у технолога была ракетка.

— Уже играть? — спросила ее белокурая, похожая на Рославлева девушка.— Ведь мокро еще.

— Нет, корт совсем сухой! Рука наскучалась по ракетке! — Она повертела ракеткой в воздухе.

Бахирев внимательно посмотрел на маленькую руку в тонкой перчатке.

— Пойдем! — позвала девушка.

— Я мужа жду. Вон он! Володя, Володя! Идем к нему! — Она махнула ракеткой и быстро пошла к площади.

«Какие у таких женщин бывают мужья?» — спросил себя Бахирев.

Через площадь широким, спортивным шагом шел высокий, улыбающийся, красивый юноша. У него были широкие плечи и тонкая талия, перехваченная поясом макинтоша. В руке у него тоже была ракетка. Они поздоровались за руку так весело, будто были не мужем и женой, а близкими друзьями, которые долго не виделись и наконец встретились.

«Да, вот такой и должен быть у нее муж...» — подумал Бахирев.

Они шли, взявшись за руки, и нельзя было не оглянуться на них. И Бахирев вдруг остро позавидовал красоте, юности, беспечности, легкости походки, стройности тела, а главное — тому веселому товариществу, которое видно было даже по их спинам. Что-то незнакомое и небывалое чудилось ему в самостоятельности, легкости и спокойствии этой женщины.

«Молодежь!— сказал он себе.— Вот какая пошла у нас молодежь». И сам себе показался старым и неуклюжим.

Он привык к тому, что жена молчаливое добавление к нему самому. Но вот женщина, прошедшая мимо, не могла быть ничьим добавлением. Она всегда будет равной... Может быть, первой... Было в отношениях этих двух что-то недоступное ему и Кате. И, словно обидевшись за жену, он торопливо подумал:«У нас свое. У них свое. Всяк по-своему».

— Ох-хо-хо!— сказал он шоферу, садясь в машину.— Вот уж верно говорят: старость не радость. Уже и в машину трудно втиснуться...

— Вам, верно, смолоду нелегко было втискиваться!— улыбнулся шофер на его массивную фигуру.

— Слава богу, извлек я тебя наконец с завода!— говорил Тине муж.— Этот ваш новый главный совсем вас с Сагуровым замучил.

— Не он замучил. Блоки замучили. А ты знаешь, он хороший, по-моему. Почему легче думать плохое, чем хорошее? Если смотреть с плохой стороны и по мелочам, его поступки кажутся плохими и непонятными. А если посмотреть по-крупному и все вместе, то хорошо и понятно. Я не люблю, когда не понимаю...

— Да уж тебе все необходимо понимать!— засмеялся муж.

Дочь Рославлева, тоненькая, белоголовая девушка, вступила в разговор:

— А у нас была его жена. Она говорила маме, что он уже во второй раз так, с премиями. Она говорит, что ему самому должны были дать премию за танки, а он все равно возражал.

— Вот видишь, видишь!— в волнении сказала Карамыш.— Ведь я же правильно думаю!

— Может, и правильно. Но я не понимаю, чего ты волнуешься?

— Не понимаешь, потому что ты не видел. А я видела! Он стоит спокойный, а директор смотрит на него, как тигр. И, главное... он даже не сказал, что это во второй раз... что он не из зависти, а принципиально! Ах, Володя, я не хочу, чтобы он уходил с завода!

— К сожалению, никто не спросит технолога Карамыш, хочет она этого или не хочет.

— А я сама скажу. Пойду к Вальгану, или нет, к Чубасову, к Чубасову еще лучше. Пойду и скажу.

...Карамыш передала слова Рославлевой.

«Чудачина он,— думал Чубасов.— Почему сам не сказал?» Чубасов еще не встречал человека, вызывающего такие противоречивые толки и мнения. Для одних Бахирев

был образцом скромности, других раздражало его зазнайство. Одни восхищались его решительностью, другие считали, что он ничего не решает. Одних удивляла быстрота его ориентировки, другим казалось, что они не видели большего тугодума.

Чем ближе узнавал Бахирева сам Чубасов, тем больше поражало его полное несоответствие главного разговорам заводских слухачей. Сперва он не мог понять причины этого явления, потом нашел, что оно закономерно.

Бахирев был необычным явлением на заводе: его нежданное появление в качестве каприза Вальгана, его резкие столкновения с директором, неизбежность его ухода, очевидная многим, его положение калифа на час, его поведение в этом положении — все было необычно и все вызывало любопытство. Любопытствовали все — знали немногие.

Домыслы незнающих обычно идут проторенными путями. Поэтому явления необычные обязательно будут издали толковаться ложно. Чем необычнее явление, чем ярче оно, тем больше вызовет кривотолков. Нужны или острота ума, или близкое знание для того, чтобы понять подлинную сущность необычного.

Чем ближе узнавал Чубасов Бахирева, тем естественнее казалось ему многое, на первый взгляд представлявшееся странным.

Некоторых удивляло то, что, пустив на самотек другие дела, Бахирев дни и ночи проводит в чугунолитейном. Чубасов понимал, что главный инженер начинает с фундамента производства. Кое-кто вышучивал безрезультатность бахиревских бдений в ЧЛЦ. Но Чубасов знал, что главный взял курс на коренную перестройку производства, результаты которой скажутся не сразу. Многие находили мероприятия Бахирева случайными, но Чубасов видел их место в бахиревском плане общей перестройки производства. Начатая главным инженером борьба за переход на комплектную сдачу деталей, за создание задела, за почасовой график все больше увлекала Чубасова и все больше сближала его с Бахиревым. Он часто вспоминал фразу Бахирева: «Я живу идеей технического первенства страны».

«Для него это не слова. Для него это реальность, это и задача и пафос его жизни»,— думал Чубасов. Однажды вечером Чубасову позвонили из ЦК. После обычных вопросов о программе, о браке, о ритмичности его спросили:

— Как ваш новый главный?

Чубасов насторожился. Был ли это попутный вопрос или в нем и заключался смысл звонка?

— Ничего... Работает...— сказал он сдержанно.

— Что у них там с директором?

«Ага!— понял Чубасов.— Значит, Вальган действует».

Ему стало ясно, что сейчас каждое слово будет иметь особый вес для Бахирева, для Вальгана, для всего завода. С той быстротой соображения, которая приходила к нему в решительные минуты, он мгновенно взвесил все. «Хочет ли Бахирев работать? Да. Может ли работать? Да. Нужен ли на заводе именно такой инженер? Возможно, да. Сработаются ли они с Вальганом? Если надо, должны сработаться! Не лучше ли расстаться с ним, взять нового? Нет. Надо дать поработать, дать выявить себя».

Все эти мысли мелькнули в долю секунды. Полушутливым тоном Чубасов постарался снизить значительность разногласий:

— Что ж? У обоих характеры! Надо время, чтобы притерлись.

— Ты так расцениваешь?

— Так.

В трубке помолчали, потом осторожно спросили:

— А что он там натворил с выдвижением на премию?

— Два года назад, когда он сам был выдвинут на премию, он вел такую же линию. Можно осуждать эту линию, можно говорить о принципиальных ошибках, но о личных, корыстных мотивах здесь говорить нельзя...

— Постой... припоминаю. Это с танками? Был такой чудила. Значит, тот самый! Ну, а как он там с коллективом?

— Были ошибки. Сейчас выправляет.

— Не получится у вас история двух медведей в одной берлоге?

— Не два медведя в одной берлоге. Два коммуниста на одном заводе.

— Ты считаешь, дело пойдет?

— Должно пойти. Во всяком случае, надо дать ему время и возможность выявить себя.

«Значит, Семен Петрович действует вовсю»,— сказал себе Чубасов. Однако и он не представлял всей значимости этого разговора.

Вопрос о переводе Бахирева на другой завод был уже почти решен. Дело дошло до первого заместителя министра.

Грузный старик Бочкарев встретил Вальгана холодно:

— Снимать человека как несправившегося — я понимаю. Но в данном случае для этого нет оснований, да и не могут они накопиться за такой короткий срок. Освободить по собственному желанию — это я тоже понимаю. Так он же не хочет освобождаться! Перевести на другой завод?

Как, что, зачем, почему?! Маневр... Что ни говори, а маневр! Сам твоего Бахирева не знаю, но в ЦК знают. Посоветуемся.

Бочкарев тоже был против выдвижения тракторостроителей на Сталинскую премию, и Вальган мгновенно сообразил, что заявление Бахирева о премии дошло до Бочкарева и что теперь любые доводы Вальгана приобретут личную окраску.

Вальган знал, что из министерства звонили в ЦК, а из ЦК звонили Чубасову. После звонка к намерениям Вальгана стали относиться еще настороженнее. Теперь стало невозможно настаивать на немедленном удалении Бахирева. Надо было менять всю тактику. Надо было выжидать.

Чубасов, не зная частностей, понял главное: понял, что попытки Вальгана встречают отпор.

На другой день Бахирев вошел в кабинет Чубасова. Поговорив о делах, Чубасов, как бы между делом, сказал:

— А история с лауреатством у тебя, оказывается, не новая. Ты, говорят, и на том заводе отличился.

— Я не отличился. Я только сказал, что о качествах боевой машины нельзя судить, пока она не проверена боем.

— Все-таки надо было и нам объяснить, что все это не случайная для тебя линия.

— Зачем объяснять?..

— Чтобы не было кривотолков.

— Глупо доказывать, что ты не верблюд. У кого есть глаза, сам увидит. А безглазым доказывай не доказывай...— Он махнул рукой.

— А как по-твоему,— улыбнулся Чубасов,— я с глазами или без глаз? А ведь я всяко прикидывал. Люди разные бывают... Тебя не знал. Скажи спасибо технологу Карамыш. Она рассказала.

— Значит, если б не технолог Карамыш, я бы так и ходил в верблюдах?

«Значит, от Карамыш пошло...»— Бахирев был тронут, но виду не подал.

— А вот я по другим соображениям сужу о людях.

— Именно?

— Сказали бы мне: вот, мол, человек, для которого цель жизни — наше техническое первенство, и я бы ответил: «Это же для меня лучший друг». Ну да ладно,— оборвал он себя,— я пришел проинформировать о том, что к перестройке первых линий и переходу на комплектную подачу деталей производство подготовлено. Через три дня начнем.

Чубасов чуть улыбнулся: «новый» был верен себе. Он

пришел не за советом, не за помощью, он пришел проинформировать для приличия.

— Пришел проинформировать — и на том, конечно, спасибо! — сказал Чубасов с легкой иронией.— Хотел бы я уточнить только, что ты включаешь в понятие «производство»?

— Как что? Машины, конечно,— удивился вопросу Бахирев.

— А людей? Загляни в Маркса, освежи понятие о производительных силах...

Усмешка в серых глазах парторга рассердила Бахирева:

— Я с тобой о насущном.

— И я тоже. Техника подготовлена, а люди? С людьми еще мало поработали. И, кроме того, за время перестройки обязательно сорвем программу, как раз к Первому мая! Погоди, подготовимся получше, а с первых чисел мая — на полный ход!

— Лишь бы отрапортовать! — ярился Бахирев.— Обидно смотреть, как заедает хорошего человека рапортовая психология. Рапорта тебя беспокоят!

— И рапорта меня беспокоят,— спокойно согласился Чубасов.— И, главное, то меня беспокоит, что люди не подготовлены. Еще до отъезда Вальгана предлагал я тебе: обсудим твои планы с коммунистами.

— Не хотел я обсуждать то, что еще не созрело: может сбить, повредить задуманному.

— Э! — Чубасов махнул рукой.— Никто тебе не навредит столько, сколько ты сам себе навредил!

«В твоих же ведь интересах действую,— думал он.— Если к Первому мая сорвем план,— это козырь против тебя! Не было на заводе такого случая, и нельзя его допустить! Помимо всего прочего, я тебя же, зверя, оберегаю от неприятностей, а ты на меня же кидаешься».

Но он не говорил этого Бахиреву.

Он терпеливо сносил яростные и подчас обидные нападки и, только когда Бахирев стал переходить границы, улыбнулся своей непобедимой улыбкой и спокойно сказал:

— Ты что, хочешь со мной поссориться? Не выйдет! Не буду я с тобой ссориться! — Он развел руками и снова улыбнулся.— Вот не буду ссориться, и все тут! Нам надо делом заниматься. А если ты меня не понимаешь, поставим на парткоме. Что я не смог объяснить, партком объяснит.

Бахирева раздражала и по-девичьи красивая улыбка парторга, и ласковая невозмутимость его темно-серых глаз. «Что он тут расточает свое личное обаяние? Я ему

не баба, чтоб меня покорять взглядами». Но нерешительный Чубасов показал, что может быть непреклонным, и Бахирев сдался. Пришлось перенести начало переорганизации на послепраздничные дни. Бахирев оказался в положении человека, который приготовился к прыжку и вынужден замереть в неудобной позе — ни распрямиться, ни прыгнуть. Как школьник перед каникулами, считал он дни до Первого мая и думал: «Только бы не приехал Вальган!»

Вальган, на его счастье, задерживался.

Тридцатого апреля Бахирев пошел на заводской первомайский вечер.

Осевшие сугробы еще дотаивали в тенистых закоулках, а закат был по-весеннему теплым. Гремели ручьи, и синева отражалась в тревожных струях. Деревья стояли, удивленно вскинув ветви; все кругом дышало радостным испугом ранней весны.

«Еще два дня — и я начну».

Он шагал по сухому асфальту, прыгал через ручьи, ступал на обмытый ручьями булыжник так торопливо, как будто каждый шаг приближал его к радости.

Огненный силуэт трактора над входом во Дворец культуры, трибуна под гроздью знамен и лица людей — все радовало его в этот вечер. Когда получали праздничные премии, он радовался за каждого. Многие уже были для него своими и дорогими людьми. Все в них и интересовало и трогало его: и светлая блузка земледельщицы Ольги Семеновны («в первый раз светлая»,— думал он), и новый, узкий в груди пиджак Рославлева («найди попробуй пиджак на такую грудищу!»), и необычная прическа Сагурова («оказывается, кудрявый!»), и трогательное старание Василия Васильевича прикрыть седой прядью розоватую, как анисовка, лысину («наверно, сноха помогала фиксатуаром»).

Бахирев обещал после торжественной части поехать за женой и детьми на школьный первомайский вечер, но ему не хотелось уходить, и он задержался в буфетной президиума. На сцене шел концерт самодеятельности. Концертный зал не вмещал всех, и часть людей разошлась по другим залам и буфетам.

— Внимание! — оповестил конферансье по радио.— По настойчивому желанию публики русская пляска в исполнении...— конферансье сделал интригующую паузу,— в исполнении начальника ОТК Демьянова под аккомпанемент инструментальщика Вити Синенького!

И сразу все тронулись из буфетной.

— Наш начальник ОТК пляшет? — удивился Бахирев.

— Не то интересно, что начальник ОТК, а то, как он

пляшет! — сказал Рославлев.— Такого ты в Большом театре не увидишь!

На галерку, в ложи, на балконы со всех сторон спешили люди. Толпа с бутербродами и пирожками в руках, с лентами серпантина в волосах сметала билетерш и вливалась в зал. Те, кто не мог войти, располагались в фойе, у распахнутых настежь дверей. В толпе выделялись головы официанток в кружевных наколках и форменные фуражки швейцаров. «Однако какая популярность!» — подумал Бахирев. Он вошел в одну из лож, уже наполненную сидящими и стоящими плечом к плечу людьми.

Маленький, сутулый Демьянов в красной рубашке, шароварах и сапогах вышел своей раскорячистой, неуклюжей походкой. Ему аплодировали все. Он слушал аплодисменты не кланяясь, с обычным сердитым и смущенным выражением. Когда ему надоело стоять и слушать, он махнул рукой, и худощавый светловолосый балалаечник начал необыкновенно искусно, тихо, но отчетливо «выговаривать» на балалайке:

Я в ле-су дро-ва ру-би-ла,
Ру-ка-вицы поза-была,
Топор, рукавицы, рукавицы и топор...

Балалайка выговаривала, а Демьянов стоял и прислушивался, равнодушный к затаившим дыхание зрителям. Потом он шевельнул плечами и пошел обыкновенной, неуклюжей походкой, только не прямо, а по кругу. Бахирев стоял близко, и ему видно было лицо Демьянова, некрасивое, безразличное и в то же время сосредоточенное. Он ритмично шел по кругу и как будто внимательно прислушивался к чему-то внутри себя.

Несмотря на то что и походка и лицо были самые обыкновенные, глаз уже нельзя было отвести. Постепенно ритм все убыстрялся, и каблуки все отчетливее выстукивали дробь, как бы совершенно независимо от тела, по-прежнему сутулого, и от головы, по-прежнему вяло склоненной вниз и набок. Круги становились все меньше и наконец сошлись к самому центру. Тогда Демьянов остановился, посмотрел на пол, словно решал: «А стоит ли?» И вдруг взлетел в воздух в высоком прыжке и с высоты боком и грудью ринулся наземь. Невольный вздох «а-ах!» пронесся по залу. Бахирев тоже думал, что Демьянов сорвался и сейчас со всего маху ударится грудью о пол, но одно неуловимое движение — и красная, как огонь, рубаха уже снова реяла в воздухе.

Это была присядка, но такая присядка, какой не случалось Бахиреву видеть ни до, ни после. Жар-птица билась на сцене, то взлетая, то кидаясь грудью на землю.

И каждый раз, когда она падала вниз, сердце замирало от предчувствия, что на этот раз все, на этот раз не встанет, на этот раз обязательно разобьется!.. И каждый раз оказывалось, что это не падение, что этот отчаянно смелый бросок на землю точно рассчитан и нужен лишь для того, чтобы взлететь еще выше... И уже не видно было ни сутулых плеч, ни ног колесом, ни серого, губастого, некрасивого лица. Само олицетворение удальства было перед глазами. Что-то непередаваемое, лихое, русское, народное жило в этой пляске и хватало за сердце. Вдруг мгновенно изменилось все. Плясун уже снова шел по кругу, нехотя, ленивой, раскорячистой, небрежной походкой. Но сейчас уже казалось, что нет ничего лучше его сутулой фигуры и сердитого лица. И не нужно ему было никакой красоты. Если бы он был красивым, слабее было бы ощущение явленного чуда — таланта...

— Еще! Еще!! Еще!! — в неистовстве кричали люди.

Демьянов остановился не кланяясь, посмотрел в зал, неторопливо, будто был один у себя дома, вытер лоб и шею платком.

— Еще! Еще!! Еще!! Просим!! Бис! Браво!!

Он снова махнул рукой. И снова зажила на сцене птица, которая, не щадя себя, в кровь ударялась о землю грудью для того, чтоб подняться как можно выше.

«Так вот ты какой!» — боясь шевельнуться, думал Бахирев. Пляска помогла ему лучше понять и Демьянова, и его поведение в случае с вкладышами.

— А-ах! Как хорошо! Смотрите, смотрите! — торопливо сказал рядом с Бахиревым девичий голос.

Он узнал: впереди него стояла технолог Карамыш.

— Смотрите же, смотрите! — опять повторила она, забывшись, тронула его рукав, оглянулась, смутилась и засмеялась.— Простите! Ах, как пляшет!..

На миг он близко увидел ее чистый лоб, широко поставленные светлые глаза с этим непонятно знакомым и прозрачным и затаенным взглядом.

Она снова стала смотреть на сцену.

Плечи и головы мешали ей, она поднималась на цыпочки и вытягивала шею.

С высоты своего роста Бахирев увидел справа от нее прогалину меж людьми.

— Сюда... Немного правее...— тихо сказал он. Она не поняла. Тогда он положил ладони ей на плечи и осторожно подвинул ее вправо.

— Так виднее.

Он подвинул ее и не убрал ладоней. Сначала он сделал это безотчетно. Не осознанное им самим теплое чувство к

девочке с чернильным пятном на лбу побудило его позаботиться о ней. Он ощутил, как крепки и горячи ее плечи, как пахнут ее волосы речной свежестью. Он тотчас спохватился. «Что же я так стою и держу ее?.. Нехорошо». И все-таки не убрал ладоней.

Чувство внутренней близости с ней, охватившее его однажды в комнате технологов, сейчас с пугающей естественностью перелилось, превратилось в потребность физической близости, в радость прикосновения. Ему вдруг представилось, что он стоит так по праву, что рядом с ним его женщина, что по всем земным законам ему принадлежат эти тонкие плечи, этот невиданно прозрачный взгляд. И музыка, прежде скользившая по поверхности, грянула проникновеннее, зазвучала внутри. Люстры опустились, повисли низкими гроздьями, льдисто поблескивая в полумраке. Балконы приобрели палубную плавучесть и легкость. Он впервые увидел красоту зала, в котором бывал столько раз. Всей кожей он почувствовал, что там, за стенами, звезды, ветер, влажно-черное весеннее небо, полное бесконечной и таинственной жизни. Вещи раскрывались перед ним, отдавая ему свою глубинную красоту, и весь мир существовал и жил сейчас лишь для двоих — для него и для нее.

«Что со мной? Надо же принять руки...» — подумал он. И не пошевелился. И уже не было в мире никого, кроме этой непонятно близкой и необходимой девочки. Это длилось секунды, незаметные для других. Ему они показались длинными. Наконец она обернулась, и он увидел прямо перед собой широко открытые глаза, полные изумления.

— Простите...— пробормотал он и отнял руки.

Как только Демьянов кончил плясать, Бахирев быстро повернулся и пошел из Дворца культуры.

Ему было стыдно. Не было для него мужской породы противнее, чем порода женолюбов. Он называл их мышиными жеребчиками и испытывал к ним органическое отвращение.

«И как она посмотрела! — кривясь от стыда, вспоминал он.— Не сердито, не гневно, не испуганно, а именно изумленно. Чтобы рассердиться и испугаться, надо было понять. А она даже не поняла ничего! Девчонка же. Только изумилась!»

Он опоздал на школьный вечер и застал жену и детей дома. Жена кормила мальчиков ужином, а дочь в длинном, как у взрослой, халатике заплетала на ночь тонкие косицы. Он увидел себя в зеркале шифоньера и строго сказал себе: «Это еще что такое? Этой гадости я за тобой, старик, никогда не замечал!» Он показался себе неуклю-

жим и старым и обрадовался успокоительной старости.

— Ну как, старушка?—тихо и ласково сказал он жене, погладил ее по голове и кивком указал на дочь.—А ведь у нас с тобой дочь скоро невеста. Идет жизнь-то... Еще два-три года—глядишь, каблучки, ленты-бантики, и уж кто-то глаз не сводит. Надо бы ей ракетку купить. Пусть играет в теннис. Красивая игра. И красиво, когда девушка с ракеткой... Ох!—преувеличенно покряхтел он.—Тяжеловато мне становится к вечеру поворачиваться! Пойдем-ка мы с тобой, старушка, на покой.

Жена, обрадованная его редкой лаской, прильнула к нему. Повеяло родным, испытанным, и он вздохнул с облегчением.

Тина Карамыш медленно шагала по темным улицам и спрашивала себя:

«Что это было? Ничего не было? Нет, было! Было такое, чего я никогда не знала».

Бахирев запомнился Тине с того рапорта, который он провел так необычно. И его горькое положение временного на заводе человека, и его непоколебимое, прямолинейное упорство—все будило ее любопытство.

Чем пристальнее наблюдала она его, тем яснее ощущала тот дух борьбы, который звучал в рассказах о дедушке Карамыше, которым дышала память об отце и матери. Но она еще не ясно понимала, за что он борется. Может быть, просто во имя честолюбия? Тогда это неинтересно.

На ее глазах он читал Вальгану докладную о Сталинских премиях, и она думала: «Так мог поступить только или очень подлый, или очень хороший человек. Какой же он?» То, что он поступал так и раньше, утвердило ее во втором. Он действовал честно, но ходил оклеветанный и, презирая клевету, не пытаясь оправдаться, упорно шел к цели. Все это перекликалось с пережитым Тиной, будило в ней невольный, но глубокий отклик. Теперь, приходя на собрания или совещания, она прежде всего искала глазами его массивную фигуру, крупное, твердое лицо: «Он здесь? Значит, мне будет интересно».

Она вникала в его планы, следила за его действиями, огорчалась его ошибкам, радовалась его удачам. Ее собственная работа, прежде покойная, становилась все напряженнее и увлекательнее, и это напряжение внутренней невидимой связью все тесней связывало Тину с Бахиревым. Тина знала: уйди он с завода—и сразу из ее собственной борьбы уйдут острота и радость, контроль и поддержка, тревога и уверенность. Незаметно пришла особая насыщенность жизни. Она была не только зрите-

лем и болельщиком, она сама действовала, сама была участницей борьбы, возглавленной им.

Когда в первомайский вечер на трибуне усаживался президиум, Тина сразу подумала: «Будет ли Бахирев? И какой он будет на праздничном вечере?» Он пришел парадный и улыбающийся наивной, странной на его лице улыбкой. Тина еще не видела его таким. «Словно ждет чего-то очень хорошего»,— тотчас поняла она.

После заседания она пошла танцевать, но, когда услышала, что будет плясать Демьянов, бросилась вместе со всеми в зал и протискалась в ложу.

Пляска захватила ее; забывшись, она дернула кого-то за руку, крикнула: «Хорошо! Смотрите, смотрите!» Тут же она спохватилась, обернулась, чтобы извиниться, и увидела Бахирева. В первый раз она увидела его так близко. Она заметила, что глаза у него большие, но кажутся маленькими, узкими, потому что прячутся за тяжелыми веками и сидят глубоко. Она заметила выпуклости его нависающего лба. Она отвернулась и вдруг почувствовала его руки на своих плечах. Он подвинул ее немного, но не убрал рук. Он стоял, чуть прикасаясь к ее плечам. «Что ж он так стоит? Неудобно же!»

И вдруг ей стало хорошо. Малиновые портьеры ложи, красная рубашка, метавшаяся по сцене, ожили, загорелись.

«Стой так. Не шевелись,— мысленно просила она его.— Хорошо смотреть и слушать, когда ты рядом. Чтобы ты, и только ты... Но что это? Что это такое?»

«Что это такое?» — спрашивала она себя и не могла найти ответа...

«Я не знаю что... Только мне ничего больше не надо... Лишь бы рядом...»

Ей вспомнилось, как часто слышала она эти слова от Володи, считая их чем-то вроде проявления супружеской вежливости.

«Значит, это на самом деле? Значит, это бывает?!»

Она повернулась к нему и взглянула на него глазами, полными изумления.

Он опустил руки.

Тина не могла оставаться на концерте. Она пошла домой.

«Что случилось? Ничего не случилось!» — говорила она себе и знала, что говорит неправду. Открытием для нее была не сила незнакомой ей радости,— открытием было то, что эта радость существует на свете.

Если ее не существовало, если все, что говорили и писали о ней,— лишь красивый вымысел, вроде стихов или песен, то вся Тинина жизнь была правильна. Так она

считала всегда. Но если это на самом деле приходит к людям, то надо ждать этого, ждать, сколько бы ни пришлось. Если этого не бывает, то она была одной из самых счастливых женщин. А если бывает?.. Значит, другие женщины знают это? Значит, жизнь пронесла ее над чем-то прекрасным, неизвестным ей, но понятным другим людям? Она хочет быть как другие! Она хочет понять, пережить такое же! Она сама испугалась этой пробудившейся жажды. «О чем я? Какой стыд! Не сметь думать!»

Она шла пешком. Влажный ветер касался лба, мысли становились яснее, ритмичность шага передавалась им. Она вспомнила прожитое. Короткое, но безоблачное счастье в доме отца и матери. Сиротство в годы войны. Возвращение отца, его смерть от чьей-то страшной руки, притаившейся здесь, рядом. И сама она, раздавленная несправедливостью этой гибели, как та женщина на трамвайных рельсах. Омертвение сердца и Володя с его любовью и радостью.

«Почему у одних жизнь идет тихо? Солнце, которое светит над страной, и бури, которые пролетают над ней, мало касаются их? Почему и хорошее и плохое, что было в стране, все должно было пройти через меня?»

И, спохватившись, она в страхе опровергала и кляла себя:

«Глупости! Какие глупости! Разве я несчастлива? Володя, прости! Я не смею и не буду больше так думать! Я бегу к тебе! Ты видишь, я бегу к тебе бегом!»

Когда она добежала до дома, мужа не было. Она обрадовалась тому, что все вещи на своих местах, что царит все та же уютная тишина и тот же домашний запах ванили от первомайских пирогов стоит в комнатах. «Все по-старому! Все отлично! А мне мерещится какая-то ерунда! Вот мой милый дом, и я так счастлива дома!»

Она позвонила мужу в институт, и когда он приехал, сияющий, с розовым и холодным от ветра лицом, она обрадовалась, что он такой же, как раньше, родной, хороший, красивый, и кинулась к нему:

— Ой, Володя, до чего же ты у меня симпатичный! Я хочу, чтоб ты всегда был рядом. Никогда не будем больше разлучаться ни на час, ни на секунду без самой крайней необходимости! Не уходи никуда! Сейчас уже поздно, но все равно мне захотелось кончить праздник с тобой вдвоем. Давай полуночничать вдвоем, с тобой на пару доконаем вино и пироги!

Он охотно подчинился ей. Он был рад подчиниться ей во всем.

Глава XI

ДАШИНО ОТКРЫТИЕ

Дашу выделили в постовые комсомольской рейдовой бригады и пригласили на заседание штаба. С опаской и волнением поднималась она в комсомольский комитет. Зеленая ковровая дорожка тянулась во всю ширину коридора.

«Половик краше одеяла!.. А ноги грязные... И сама не одета как следует... Поймут, наверно, что после смены».

Заседание уже началось, и она скромно примостилась у двери.

На главном месте за столом сидел Сугробин. Здесь, в одной с ней комнате, Сугробин был так же недостижим, как на портрете, как на берегу, когда он приманивал птицу, а Даша смотрела на него издали. Так же была откинута голова, так же, словно нарисованные, лежали высокие брови. «От какой матери такие родятся?— подумала Даша.— И отчего это в городах все красивые? Сугробин, конечно, всех наилучше, но этот, который выступает, тоже красивый. Кудри зыбью, а на галстуке змий. К чему это змиев вышивать на галстуке? Может, есть примета такая?»

Когда оратор кончил, Сугробин сурово сказал:

— Аспирант, а позорите работу поста! И ведь легко было устранить брак.

— Видите ли, я представлял...

— И чего было представлять?—перебил Сугробин.— Надо было пройти в цех и посмотреть!

— Я смотрел. И когда я посмотрел, то мне представилось...

Сугробин выслушал непонятные Даше рассуждения и сказал с таким пренебрежением, что Даша вчуже похолодела:

— Соображать надо! А вы воображаете! Эх вы... горемыка!

Парень опешил:

— То есть почему именно «горемыка»?

Даша тоже удивилась. Из всех присутствующих этот нарядный красавец меньше всех походил на горемыку.

— Воображать легко,— объяснил Сугробин.— Психи в психиатричке и те воображают. А вот соображать трудно. А у вас одно воображение и никакого соображения!

Парень сидел уничтоженный. Даша подумала: «Вот уж действительно горемыка! Надел галстук со змием, а соображать не может!»

— Наш Сережа дает жару профессорским сынкам!— прошептала девушка позади Даши.

А другая, строгая, с длинными косами, отозвалась:

— Есть очень плохо воспитанные! Ни в чем нельзя положиться.

— Товарищи студенты-практиканты и аспиранты,— сказал Сугробин,— вы работаете на комсомольском посту хуже, чем мы ожидали. Лишних рассуждений у вас очень много.

— А я не студент и не аспирант, а тоже плохо работаю...— сказал худой, длиннорукий, как обезьяна, парень.— И совсем не стану работать...

— Почему?— обратился к нему Сугробин.

— «Штаб», «штаб», «бригада», «бригада», а кто нас слушает? Ты, Сережа, сперва взялся! Гремела по заводу наша рейдовая! А теперь чего? Ты либо в президиуме заседаешь, либо уткнешься в свою центрифугу. От твоей центрифуги всей рейдовой бригаде настоящая центрифуга.

Парень ругал Сугробина. Остальные не возражали, но на Сугробина смотрели сочувственно. Сам он не обижался и не спорил, а только погрустнел.

Наконец очередь дошла до Даши. Сугробин объяснил ей обязанности — бороться с простоями и браком в своей смене. Даша испугалась:

— Да как же я сама-то с собой буду бороться?

Кругом засмеялись.

— Так ты же теперь брак не делаешь?— сказал Сугробин.

— А норму все еще не выполняю.

— Я считаю, преждевременно ее выбирать, да еще в такой тяжелый цех,— сказала красивая девушка с косами. И другая поддержала ее:

— И вообще ЧЛЦ сейчас в центре внимания. Надо туда поопытнее.

Даша покраснела: «Конечно, преждевременно, конечно, неопытная...»

Но Сугробин возразил:

— Мы поручаем не весь цех, а только пост в стержневом отделении. Брака она не делает, а норму выполнять скоро научится. И у нее отличная характеристика.

Сугробин прочитал характеристику. В колхозе эта характеристика Даше не нравилась, потому что комсомольцы написали ее неформенными словами: «И на поле и в клубе была первой заводиловкой. Такая комсомолка, что жалко отпускать». Но эти слова убедили даже строгую девушку.

В задушевный час перед сном Даша в тревоге говорила Вере:

— Одного боюсь, уж очень я все на себя воспринимаю! Кто чего скажет, тому я сейчас же и доверяюсь. Другой наперекор скажет, а я опять доверяюсь! Ну как с таким характером на руководящей работе?!

Через день у Даши был выходной, она нарядилась и отправилась с Верой на занятия балетного кружка. Проходя мимо завода, Даша сказала:

— Неспокойна я за Прасковью Ивановну. Новенькая, второй день у станка. Забегу поглядеть.

Она прошла в стержневое, постояла две минуты возле новой стерженщицы и всплеснула руками. Она увидела все свои, так хорошо знакомые ей огрехи.

— Тетенька Прасковья Ивановна,— жалобно сказала она пожилой полной стерженщице,— что же вы это делаете? Ведь это же все сплошной, чистый брак!

Она накинула на свое нарядное платье фартук Прасковьи Ивановны и встала возле нее.

— Что меня затрудняло, то я вам сейчас первым долгом покажу.

Она горела желанием передать вновь приобретенные познания.

— Не так вы уминаете! Я тоже сперва все по краю давила. Вот как надо! Самое главное — набивайте плотнее! За это вас обработчики будут уважать до безграничности!— объясняла она с воодушевлением.

«Пора уж на кружок, да ведь как уйти? Как отойду, так погонит брак!— с огорчением подумала она.— Только вчера назначили меня на пост, а сегодня столько браку!» Ей вспомнились слова Сережи: «Соображать надо, а не воображать! Эх вы, горемыка!» Она вздохнула: «Нет, уж лучше постою возле нее, чем потом ходить в горемыках...»

Василий Васильевич мимоходом сказал им:

— Что это вы у станка спаровались, две новенькие?

— Чтоб ваши старые так обучали, как эта новенькая!— сказала Прасковья Ивановна.— Такая удалая девчонка попалась!

В полночь пришел Сережа.

— Кто так выходит на работу?— строго сказал он Даше.— Ленты в косах, туфли на каблучках! Расфорсилась! Ведь у станка стоишь.

Даша тотчас почувствовала себя виноватой.

— Так ведь я выходная,— сказала она робко.

— Почему же ты ночью в цехе?

— Так ведь я работаю...

— Ничего не понимаю! То ты выходная, то ты работаешь...

— Так ведь я как постовая...— окончательно смутилась Даша.

Когда Сережа понял, что она до полуночи простояла возле новенькой, чтобы не допустить брака на своем комсомольском посту, он тихо свистнул:

— Вот это комсомольская ответственность!

Сережа шел к выходу, а лупоглазенькая стерженщица стояла в памяти, как живой укор. «Почему мало таких в бригаде? Не сумел как надо поднять комсомольцев? Может, сам стал не такой, как надо?»

Даша не подозревала о тревоге, которую внесла в мысли начальника штаба. Она собиралась идти домой, когда Сугробин снова появился у ее станка.

— Устала, наверное? Пойдем, я тебя отвезу домой. Я на машине.

Машина, ожидавшая Сугробина, была маленькая, кургузенькая, невиданных очертаний.

— Самоделка! — объяснил он.— Мы с дедом сами собирали с бору да с сосенки. Смешная, а ходит что твой ЗИС.

Но Даша не находила ее смешной. Она впервые в жизни ехала на легковой машине. Она села рядом с Сугробиным, и машина помчалась по пустынным ночным улицам. Только что прошел дождь, и огни фонарей празднично отражались в мокром асфальте. Ночами к заводам усиленно гнали составы с грузами, и влажный ветер, врывавшийся в кабину, пахнул паровозным дымом.

— Ты давно из колхоза?

— Два месяца.

— Нравится тебе?

— Ах, очень!..

— Чугунолитейный нравится?—В голосе его слышалось удивление.

— Конечно, нравится.

— Чем?

— Всего много... металл течет густо, ровно сметана... Конвейеры кружат... Автокарки трусят... Литье все чугунное, тяжеленное, и все, самое главное, для колхоза.— Она подумала и важно добавила: — И вообще ЧЛЦ в центре внимания.

Она вошла в комнату тихо, бесшумно разделась, юркнула к Веруше под одеяло и только тогда шепнула ей на ухо:

— Верунь!.. А Верунь! А ведь я приехала на легковой машине!

— На попутную подсадили?

— Нет. Меня, знаешь, кто привез? Меня Сережа Сугробин привез до дому на своей, на личной машине!

— Врешь!— сказала Веруша и села от неожиданности.

— Ей-богу, я не вру!

Веруша закивала в темноте головой:

— Ну, вот... Я тебе, Дашка, всегда говорила... С тобой обязательно должно что-нибудь такое случаться. Ведь и всего-то два месяца на заводе!..

На другой день на стенде в бюллетене комсомольской рейдовой бригады была отмечена работа постовой стержневого отделения ЧЛЦ Даши Лужковой. Проходя мимо стенда, Даша увидела главного инженера. Раньше он ходил в одиночку, шагал медленно, словно потерянный, а последнее время всегда был в гуще людей, ходить стал быстро и с таким занятым видом, что Даша не решалась поздороваться с ним. Впервые за много дней увидев его в одиночестве, Даша со всех ног кинулась к нему. Подбежав, она оробела. Он повернулся и удивленно взглянул на нее.

— А ведь это про меня написано!..— сказала Даша, сияя.— Ведь это я Лужкова.

— И чего выставляется? Чего выставляется?— прошептала девушка у стенда.

Но Бахирев посмотрел в счастливые глаза Даши и понял, что в чистосердечном ее порыве была лишь признательность к человеку, который помог ей. Разрумянившееся лицо ее говорило: «Вот, смотри, ведь недаром ты тогда подсобил мне».

— Я же сразу видел, что ты молодец,— сказал он.— Ты ведь у меня вроде крестницы! Не подведешь меня?

Даша зажмурилась и затрясла головой от горячего желания заверить:

— Ни-ког-да, товарищ главный инженер. Ни-ког-да!!

Вечером она торопливо писала матери:

«Цех наш вообще сейчас в центре внимания, и скоро его будут перестраивать. За хорошую работу на посту меня уже повесили в бюллетене, а ночью, когда я дежурила, то домой меня вез на собственной машине Сережа Сугробин, которого самый главный портрет в аллее почета. Василий Васильевич переменил обо мне свое мнение. А сам главный инженер, самый руководящий человек, не в дирекции, а на самом заводе, сказал, что я ему за крестницу и чтоб я его не подводила. И я его не подведу никогда!»

Таков был взлет Дашиного счастья, и Даша наслаждалась каждым его мигом, как наслаждается жаждущий каждым глотком воды.

Надежды и радости помогали ей выносить многие невзгоды.

Она до сих пор не имела законного пристанища. Мест в общежитии не было. Дашу из жалости временно прописала к себе Прасковья Ивановна, но жить у нее было негде, и Даша зайцем ночевала в комнате Веруши. В мае началось великое переселение чугунолитейщиков в новое общежитие. Но и здесь места давали только лучшим производственникам, а Даша все еще не выполняла нормы. В новое общежитие она перекочевала на прежнем заячьем положении—ночевала то вместе с Верушей, то на постели соседки, работавшей в ночную смену, и тряслась при каждом появлении коменданта.

— Как ты норму дотянешь, так мы пойдем выпрашивать место,—говорила Веруша.

Даша никак не могла дотянуть недостающие до нормы десять стержней, но на общей выработке отделения это не сказывалось, так как многие опытные стерженщицы перевыполняли нормы. Все знали, что Даша новенькая и старательная, поэтому никто не корил ее за недовыполнение. Но вскоре к Дашиным бедствиям прибавилось еще одно: в цехе появились доски почасового графика. С Василия Васильевича спрашивали теперь за каждый час, и каждый час Даша чувствовала, что она-то и есть главное зло стержневого отделения. Доска висела прямо против ее столика, и на доске вся Дашина работа выглядела сплошным, ежечасным злодеянием. Даша страшилась поднять на нее глаза, как больной страшится взглянуть на свои язвы.

Однажды, к довершению бедствий, Даша увидела перед часовым графиком своего «крестного». Первым ее побуждением было убежать, но Бахирев, Сагуров и Василий Васильевич загородили проход.

Когда Даша поняла, что убежать от Бахирева не удается, она загорелась надеждой: «Не заметит! Пройдет мимо!»

Но он кончил разговоры с Василием Васильевичем и пошел прямо в ее сторону. Тогда Даша уцепилась за последнюю надежду: «Не припомнит! Хоть бы не припомнил!»

Но он неуклонно приближался к ее станку и беспощадно с первого взмаха ударил по самому больному месту:

— Эх, Даша ты, Даша!—Он пальцем показал на доску.—Хуже всех в смене. А говорила: «Не подведу!» Говорила: «Ни-ког-да!!»

Он не только припомнил слова, он запомнил выражение и в точности передразнил ее. Даша все ниже склоняла голову. «Вот оно, позорище мое!»

Он что-то говорил ей и Василию Васильевичу про передачу опыта. Но Даша уже не слушала и не понимала.

Слезы набежали ей на глаза, лица людей, станки, стены двоились, у лампочек вырастали длинные лучи, они то укорачивались, то удлинялись и все время мерцали и тоже двоились. Даша была занята лишь тем, чтобы уберечь остатки своего достоинства в этом двоящемся, мерцающем, зыбком мире, чтобы не расплакаться здесь же, у станка. «Конец! — решила она.— Надо возвращаться в колхоз. К чему не способна, за то и браться незачем. Хватит с меня позорища! Вот и конец...»

Одеревенев от горя, она отработала смену и побрела в свой незаконный дом. Возле остановки такси ей встретился аспирант в галстуке со змеем. Даша машинально поздоровалась, но он посмотрел удивленно, не узнал, хоть и работали они оба в комсомольской бригаде. Он махал кому-то рукой, звал такси и говорил своей спутнице:

— Какая нам разница, ЗИС или «Победа»?

А девушка с черно-бурой лисой через плечо щурила похожие на лучи ресницы.

— Через два дня дома. Москва, Красная площадь, Охотный ряд! Ах, уж скорее бы!

Они сели в такси ЗИС и обогнали Дашу. Даша была не завистлива, а тут горько позавидовала. В комнату она вошла с неподвижным лицом и сухими глазами.

— Дашенька, какую я кашу наварила! Гречневую с подкорочкой! — Веруша стала собирать на стол.— Поешь нынче с новой тарелки с синим краешком.

««Заюлила моя лиса-лисонька! — грустно подумала Даша.— Чувствует, что беда надо мной».

— Да уйди уж, уйди! — сказала она сурово, боясь расплакаться, но, когда Вера обняла ее, Даша не выдержала и заплакала.

— Что, Дашура, Дашунюшка? Да что ж ты? Да не пугай, сердце не терпит, скажи, что?

— Конец, Верунька, конец! — твердила Даша.— Уеду от позора! Я тут мучаюсь, мама там! Приеду, обрадуется-то! Уж кто к чему приспособлен! Я в колхозе родилась, мне и жить в колхозе.

— Почему? Что? Да ты хоть расскажи, что случилось.

Даша выплакала первые слезы и заговорила спокойно:

— Десять недодаю!.. Не могу сдвинуться! Ведь бьюсь, бьюсь!.. Хоть бы на одну прибавить! И повесили еще эту доску! Висит она надо мной, как злодеяние! Василия Васильевича подзывала к себе: «Все, говорит, правильно делаешь, да быстроты не имеешь». А сегодня... он... товарищ Бахирев... «Эх, Даша ты, Даша! — говорит.— Наихудшая в смене...» Это я-то! Ах, Веруша, Веруша! — В отчаянии Даша прижала темные кулачки к сердцу.— Нету у меня радости в жизни! Ведь я эти ленты каждую ночь

во сне вижу! Как засну, так сразу арматуру вкладываю. До того она в меня въелась. И гоню, и гоню каждую ночь. И во сне одно — только бы норму! Ах, только бы получилось!

— Хоть во сне-то получается? — чуть не плача, спрашивала Веруша.

— И во сне у меня не получается. Нигде у меня ничего не получается.

Так они и не поели Верушиной каши. Прикорнули рядом на кровати, погасили огонь, и Даша, захлебываясь, выкладывала все горькие обиды, нанесенные судьбой:

— Иду, вижу — едет этот профессорский сын в галстуке со змием. Работу на посту провалил, в штабе им недовольны, всем пренебрег. А у него и такси, и Москва, и девушка с лисой. Отчего же это так, Верунька? Для него все — учись, галстуки носи, девушек катай! Сегодня у него завод, завтра — Москва. А у тебя одно только желание — еще десять штук стержней! Ты из-за этого рада ночами не спать, руки в кровь отбить рада! И нету!

Земледельщица Ольга Семеновна пришла с работы и, не зажигая огня, чтоб не будить девушек, укладывалась спать. Даша притихла, но когда соседка уснула, Даша снова тихо заговорила:

— А как мы с тобой в войну жили, Веруня? Лебеду заваривали... Маленькая была, нанималась к соседям гусей стеречь, да и то заработанное не себе, маме. Был бы отец, не допустил бы до этого. Отца фашисты убили, дом сожгли. За что ж это они? Сколько еще бесправия на земле! Сколько бесправия! Ведь мы еще молоденькие, а сколько горя приняли через них! И теперь... Ну, чего я прошу, о чем мечтаю? Еще бы десять лент сделать! И даже это мне не дается!

И вдруг из другого угла комнаты раздались всхлипывания. Земледельщица Ольга Семеновна села на кровати. Она была мрачной и молчаливой, говорили, что она «не в себе», девушки жалели ее, но, услышав ее всхлипывания, испугались и притихли.

— Господи! — раздался в темноте голос Ольги Семеновны.— Бросят вот такого кутенка в реку, а он весь трепыхается, весь трепыхается! Утонет либо всплывет? Утонет либо всплывет? Лапчонки-то ведь еще махонькие, куда бы им!..

Она подошла, ощупью нашла Дашину голову и погладила ее.

— А ты полно плакать! Ни у кого сразу не получается. Все у тебя будет ладно. Только очень уж ты восприимчива. Гляди, как все жилочки у тебя напружинены! Ты ослабься. Ослабься, ляг на спину. Я тебя потеплей

укрою. Слушай меня. Ведь я, поди, три твоих жизни отстукала.

Даша легла на спину и расслабила мышцы.

— Не с чего тебе отчаиваться! — заговорила Веруша, обрадованная поддержкой Ольги Семеновны. — Сама же говоришь, лента — тонкий ажурный стержень. Помнишь, как брак шел, тоже думала, не одолеешь. А как одолела! И «молния» про тебя была. И как все тебя полюбили! И Василий Васильевич, и девчата тоже, и Сережа подвез на машине!

Слезы снова покатились из Дашиных глаз.

— Только и было тогда моей радости! Василий Васильевич, Сережа, товарищ Бахирев. Ох, Веруня!

— Перетрудила ты себя, — сказала Ольга Семеновна. — Тебе бы еще у мамина подола прятаться, а ты мать собой хочешь укрыть... Одна... место новое... Долго ли так и сорвать сердце? Все ладно будет. Поспи.

Даша успокоилась, полежала тихо, потом снова заговорила:

— Как оторваться? Другие говорят — грязь, шум, копоть! А для меня нет лучшего места! И девчата, и Василий Васильевич, и штаб бригады! Как от всего этого оторваться?

— Да никто же тебя и не гонит! — сказала Веруня. — Отоспись, а вечером пойди опять, постой возле Людки Игоревой. И какой она такой секрет знает, что гонит двести процентов?

— Она людей не обучает, только славу пускает, — сказала Ольга Семеновна. — Ей выгодно, что одна такая.

Даша заснула. Проснулась измученная, но решительная. «В последний раз попытаюсь. Неделю проработаю, не научусь — домой поеду, — посмотрела на часы. — Людке Игоревой как раз смену заступать... Пойду глядеть».

Игорева, тоненькая, строгая, до начала смены ходила по цеху: проверила пески, увидела, что кран испорчен, пошла к мастеру требовать, чтобы исправили кран. Проверила температуру печи, сходила за арматурой. Она держалась гордо и на Дашины слова только бровями повела:

— Ходи. Учись.

Даша, готовая на любое унижение и посмеяние, тенью следовала за ней: «Глядят на меня — пусть! Смеяться станут — пусть! Мне бы только понять ее секреты! Какой контроль произвела! Не хуже мастера».

Ровно по гудку Игорева взялась за первую ленту. Даша много раз стояла возле нее. Но раньше она училась последовательности движений и приемов. Теперь они были ясны и сходны с Дашиными. Почему же Люда давала вдвое больше? «Все углядеть! Проникнуть в секрет! —

думала Даша.— Если не проникну, мне здесь не жить». Игорева почти не смотрела на руки. Она о чем-то думала, перебрасывалась то с тем, то с другим отдельными словами, а пальцы ее скользили, чуть прикасаясь к арматуре, вкладышам, лопаточке, и сами собой делали все, что надо. Вот она легким движением засыпала состав, и Даша подумала: «Я всем кулаком, а она краем ладошки!» Вот, не глядя, протянула руку к вкладышам, взяла их тремя пальцами, мягко положила на место. И Даша сказала себе: «Я не беру, а хватаю, не кладу, а втискиваю!»

Арматура, казалось, сама, когда надо, прилипает к Людиным пальцам, когда надо, отклеивается,— так легко прикасалась она к проволоке. «А я, дурочка, арматуру держу, как мотыгу»,— поругала себя Даша.

Иногда, в ответственные моменты, Игорева прищуривалась, словно глаза мешали рукам. Даша забыла про самое Люду Игореву, загляделась, залюбовалась ее пальцами. «Какие же вы умнята! Вынули, подправили, обдули, опять положили!.. Ах, хорошо! А мои, мои так сумеют?» Она поглядела на свои пальцы — тоненькие, не хуже Людиных. Пошевелила ими, сперва медленно, потом быстрее и вдруг открыла в них незнакомую прежде гибкость и быстроту и поверила в них — сумеют!

В колхозе Даше приходилось делать грубую работу — мотыжить, копать, косить. Старательная, она привыкла вкладывать в каждое движение рук всю свою силу, и теперь привычная старательность губила ее. Когда она поняла это, то спрятала руки под платок и повторила легкие, скользящие движения Люды. Пальцы шевелились все быстрее, они уже шевелились быстрей, чем она могла скомандовать им. И она удивилась своему открытию: «Батюшки! Могут! Смогут еще быстрей, чем у Люды!»

В первом часу ночи Вера вернулась из клуба, тихонько, чтобы не будить подругу, открыла дверь в комнату и в страхе замерла на пороге. Посреди комнаты стояла Даша, красная, потная, с плотно зажмуренными глазами. Перед ней на столе возвышался пустой ящик от прикроватной тумбочки. Рядом с ящиком виднелась тарелка с гречневой крупой и лежали головные шпильки. Даша, не раскрывая глаз, брала то гречку, то шпильки, сыпала их в ящик, делала в ящике сумасшедшие, быстрые движения пальцами. При этом она не раскрывала зажмуренных глаз и тихонько смеялась.

— «Помешалась! — в ужасе подумала Вера.— Помешалась, горькая, на стержнях!»

— Дашенька!..— сказала она жалостным полушепотом

и подумала: «Господи! Не слышит! Кто их знает, как с ними, психами, разговаривать!» — Дашуня моя родная!

Даша открыла глаза, рассмеялась и бросилась обнимать Веру.

— Дашенька, да что же ты это делала? — все еще опасливо отстранялась от нее Вера.

— Стержни! Стержни училась формовать! Не глядя! Как Игорева! Веруня, ведь я сумею!

Даша усадила подругу и, торопясь, перебивая себя, рассказала ей об открытии сегодняшнего дня.

— Ведь сколько раз глядела, а не понимала. А сегодня решила: не уйду, пока не пойму секрета! Не пойму секрета — значит, и не жить здесь. И поняла я ее главный секрет! Она на свои руки доверяется, а я не доверяюсь! Я глазам доверяюсь! Вот выложу модель — и давай глядеть, куда чего класть. А пальчата-умнята сами понимают! Я над ними надзираю, не даю им расшевелиться, а они вон какие! — Она быстро зашевелила пальцами перед Вериными глазами.— Им только дай волю! Ты так можешь?

Веруша тоже подняла руку и пошевелила пальцами. У нее пальцы двигались медленнее.

— Моим твоих не догнать.

— Как я там, в цехе, пошевелила под фартуком, так и открылось, что они у меня ужас какие шевелючие! Только я и сама за ними не подозревала! Это у меня оттого, что я мнимая. Мне мнимость моя препятствовала...

Даша посмотрела на свои вновь открытые тоненькие, гибкие, хоть и загрубевшие пальцы, потом таинственно наклонилась к Вере:

— Веруша, я тебе что скажу... Только это секрет!.. Никогда никому!

Вера приложила руки к груди.

— Когда из нашей комнаты что выходило? Все лишь промеж нас!

— Веруша, я теперь каждый день буду дома тренироваться. Чтобы никто не знал. Я знаешь как натренируюсь!

Утром Даша пошла в цех за полчаса до смены. Переоделась в старенькое платьишко, затянула волосы косынкой туго, чтоб ни одна прядка не выпала, подпоясалась передничком, сняла чулки — жарко близ печи,— надела старые, легкие тапочки и сразу почувствовала себя ловкой, легкой как перышко.

Одевшись, пошла по цеху. Она не могла и не хотела командовать, как Игорева, но попробовала и состав, и крепитель, добавила в ящик арматуры, проверила подачу воздуха, подумала и притащила ящик, поставила под ноги, чтобы было выше и удобнее. Она и прежде нередко приходила рано, но до гудка стояла зрителем и к станку

подходила ученицей, старательной и несмелой. А сегодня сразу подошла хозяйкой. Пока сменщица освобождала место, Даша спрятала руки под передник — они просились к станку, даже озноб, покалывание пошло по кончикам пальцев от нетерпения. Наконец встала у станка и с высоты ящика окинула цех глазами. Женщины переговаривались о том, что в магазине продают постное масло. Учетчица вписывала в часовой график последние цифры прошлой смены. Никто не глядел на Дашу, никто не подозревал, какой у нее важный и решительный день и какие у нее открылись на все способные, шевелючие пальчата. А Даша замерла от предчувствия необычных событий, разместила все как надо, еще раз оглядела и сказала себе: «Ну, начали!»

Передернула плечами и чуть небрежно прищурила глаза, как Люда Игорева. Не старательными усилиями, а легко, играючи набрала состав, не глядя бросила, потом на миг заглянула — легло на место! Получилось! Взяла арматуру и прищурилась уже не из подражания Люде, а чтоб глаза не мешали пальцам. Вставила, опять взглянула мгновенным взглядом — опять правильно. Тогда она осмелела. Пальцы работали, как летали. Несколько раз она сбилась. Оба раза пришлось перекладывать арматуру. Но все это ничего не значило перед тем чувством освобождения, которое охватило ее, как только она доверилась пальцам, перед той радостью, которую сегодня доставила ей работа. «Вот она, я-то,— думала она.— А я и сама не знала!»

Первые часы она шла в графике и только перед самым перерывом сбилась, недоделала двух лент: устала.

Василий Васильевич первый заметил ее успехи. Взглянул на доску, потом подошел к Даше, постоял, поглядел, удивился:

— Ну, ну, ну!

В перерыв в столовую, запыхавшись, прибежала Веруша, обняла подругу за шею.

— Ну как, Даша, как?

Даша засмеялась и заговорила быстро и тихо, чтоб рядом не поняли:

— Началось! Словно сама себе руки расковала! Как пришла, стою, дожидаюсь, держу руки под фартуком, а они так и просятся, так и просятся! Доверилась я им! И чуткость какая-то начала в них проявляться!

— Я тебе всегда говорила, а ты плакала!

— Я сейчас сама на себя удивляюсь! От старательности беру, бывало, вкладыш, словно в нем пуд веса. А ведь он как перышко!.. Притронься пальцем — сам держится.

— Норму сделаешь?

— Не знаю. Еще, конечно, будут неприятности. Еще и в арматуре стала сбиваться от быстроты. А то летают они, смело летают, да вдруг испугаюсь я за них, и опять они отяжелеют, как раньше бывало. Но главное — я теперь дорогу знаю. А то топчусь на месте, дороги не вижу. Я еще натренируюсь!.. Только ты про это никому!..

— Я да ты! Я да ты! Вдвоем будем знать. Да еще тете Оле скажем. Когда из нашей комнаты что выходило?

В перерыв они не успели наговориться. Даша уже шла к станку, а Веруша все семенила рядом.

После перерыва дело пошло хуже. Даша часто путалась, выбивалась из графика и сделала одну бракованную ленту. И все же в этот день она перешагнула недоступный рубеж — добилась еще четырех лент. До нормы осталось уже не десять, а шесть.

Глава XII

ПОД ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ

Из Москвы сообщили, что у Вальгана был приступ аппендицита и его оперировали. Бахирев бесстыдно радовался:

«Помереть не помрет, здоров, а пролежит еще недели две — счет в мою пользу».

Он по-прежнему занимался чугунолитейным, моторным и инструментальным цехами, а в других цехах его мало знали и еще меньше им интересовались. Уханову, а от него и другим было известно, что Вальган настаивал в министерстве на переводе Бахирева и только болезнь помешала директору довести дело до конца.

Поэтому вызывало насмешку и даже сожаление то, что «новый» держался властно, действовал решительно, вид имел довольный, временами даже счастливый.

Уханов говорил о нем со снисходительной иронией:

— Наш «калиф на час» не понимает своего положения!

— Не понимать такого положения может только дурак,— возражал Шатров.— По-моему, он не глуп.

— Чем же ты тогда объясняешь всю его линию?

Шатров нерешительно покачал головой и высказал предположение:

— Дурак не дурак, но, может, маньяк?

— Ну, хрен редьки не слаще,— засмеялся Уханов.

Бахирев видел насмешку одних и сожаление других и понимал и то и другое.

Он не понимал Чубасова. Чубасов поддерживал начинания Бахирева, но в то же время все чаще упоминал

Вальгана: «Вот приедет Семен Петрович, как он взглянет?», «Подождем Вальгана с этим вопросом».

Казалось, он один на всем заводе не видел неприязни Вальгана к Бахиреву или не желал брать ее в расчет и не понимал положения Бахирева. Это было тем странней, что сам Бахирев отлично понимал: Вальган не из тех, кто даст одолеть себя какому-нибудь червеобразному отростку! Поправится, прилетит (такие на поездах не ездят!) и вот-вот появится, на радость всему заводу. А через пару дней придет приказ: «Главного инженера т. Бахирева отозвать для использования по специальности в танкостроительной промышленности». Два месяца назад Бахирев был бы счастлив таким решением, но теперь... Ведь любят же особой любовью трудновоспитуемых детей, любят особой любовью врачи самых тяжелых больных! Почему не может главный инженер полюбить трудный завод?

Но дамоклов меч был занесен над этой любовью.

«Пока есть время для борьбы — поборемся! — подбадривал себя Бахирев.— Есть такой термин, неведомый в тракторостроении,— боеспособность!»

Но как ни бодрился Бахирев, он работал под дамокловым мечом, и это заставляло его спешить, начинать преждевременно и комкать начатое.

Захлебывался чугунолитейный цех с его новым руководством, с разломанной стеной и полом. Долгожданная комплектная подача деталей налаживалась с трудом.

Бахирев требовал расчетно-технического нормирования: слухи об этом поползли по заводу и волновали рабочих.

Новый начальник моторного цеха Рославлев оказался человеком, недоступным для Бахирева. Во имя дела, ценой ломки собственного характера, Бахиреву удалось завоевать многих — от Шатрова и Сагурова до Василия Васильевича и Ольги Семеновны. Только Рославлев попрежнему мрачно поглядывал на Бахирева из-под ощетиненных бровей и не скрывал своего нежелания с ним разговаривать. Он накрепко запомнил и неудачный рапорт Бахирева, и обиду, нанесенную Василию Васильевичу, и другие ошибки «одиннадцатого главного», и Бахирев, кляня в душе Рославлева и ломая себя, кротко переносил его резкости и хрипел от старания говорить с ним сладчайшим, просительным голосом. Но Рославлев не поддавался ни на кротость, ни на просящие интонации. Дело он двигал осторожно и на все подстегивания главного инженера небрежно отмахивался:

— Погодите, разберусь...

Бахиреву некогда было «годить». Верный своему при-

страстию к цифровой точности, он решил провести в моторном цехе хронометраж. Он знал, однако, что Рославлев не выносит вмешательства во внутрицеховые дела. Как подчинить своей воле и своим планам этого непокорного человека, который независимо и грубовато гудел даже на самого Вальгана? Раздумывая над этой загадкой, Бахирев утром шагал в моторный цех. У входа он обогнал группу рабочих.

— Валета в цех прислали!—говорил один.— Валет теперь пойдет дуги гнуть!

— Валентин Корнеевич—валет не простой, а козырной!—ответил ему другой.—Этот валет тузов бьет!

Рославлев сам понимал, что он «валет козырной». Он едва поздоровался с Бахиревым движением зубных щеток-бровей и продолжал говорить со старым мастером Малютиным.

«Да, это не Сагуров! Отнюдь не Сагуров!»—вздохнул про себя Бахирев и тихонько присел к столу.

— Восемьсот бракованных коленвалов накопили! Чей брак?

— Как его определить? Брак давний!—вздохнул всегда хмельной мастер с вихляющимся телом, с быстрыми, но неверными, как у летучей мыши, движениями.

— Кто у вас групорг?—спрашивал Рославлев.

— Василенку выбирали. Или это в том году был Василенко? Не припомню...

— А кто комсорг?

— Да все они у нас комсорги! Что безусый, то распоряжается! Что безусый, то и комсорг!

— Так кто же, прах вас возьми, у вас в активистах?— освирепел Рославлев.— На кого опираетесь? На стойку вы опираетесь, вон там, на углу, в распивочной... На стойку! Вот на кого!

Когда мастер ушел, Рославлев, не меняя презрительно-враждебного тона и избегая обращаться к Бахиреву, буркнул куда-то в сторону:

— Не моторный цех, а вотчина князя Малютина... Кто ему норму водки не поставит, тому он норму выработки не выставит...

— Пишите рапорт,—кратко сказал Бахирев.—Я дам приказ об увольнении.

— Восстановят. Увольняли уже. Суд восстановил.

Однако обещание несколько смягчило Рославлева, и, пользуясь этим, Бахирев заговорил о хронометраже:

— Нам надо спешить. Цифры помогут в два дня выявить всю картину.

Рославлев отрезал:

— Я привык ориентироваться по людям у станков, а

не по цифрам на бумаге. Сверхспешки не люблю и нужды в ней не вижу.

«Этого не перегрубишь,— понял Бахирев.— Если бы и я не видел нужды в сверхспешке». Но дамоклов меч висел над ним. Он помолчал, потом покряхтел, потом что было силы дернул себя за вихор и наконец произнес мягким, скрипуче-сладким голосом:

— Я вижу нужду, Валентин Корнеевич.

— Вы и проводите, коли вы видите.— Рославлев как ни в чем не бывало занялся бумагами.

«Ну, зверь!» — подумал Бахирев, но стерпел и это.

— Хорошо. Договорились. Я проведу.

Он чувствовал себя оплеванным.

Со следующего утра технолог и активисты комсомольцы встали на основных линиях с хронометражными бланками в руках.

Данные хронометража получились доказательными, надо было обсудить их с Рославлевым.

«Вызвать его? Еще и не придет на вызов! Пойти самому? Опять оплюет с ног до головы. Черт с ним, пусть плюется, верблюжина, делал бы дело! Пойду завтра с утра, растолкую, как и что получилось! Авось дойдет!»

Но еще вечером Бахирев случайно столкнулся с Рославлевым у Чубасова.

С Чубасовым Рославлев разговаривал без мрачной грубости, знакомой Бахиреву, а уважительно и даже по-дружески шутливо:

— Разрешите доложить, товарищ парторг! Коленвал не подчиняется решениям партии, потому что он беспартийный. Примите коленвал в партию!

— Коммунистов просишь? — понял Чубасов.

— На линии коленвала, у сердца мотора, ни одного коммуниста и комсомольца.

— Придется помочь,— согласился Чубасов.

— Придется. Всю работу линии коленвала надо переорганизовать. Есть у нас тут одна стоящая бумажонка! — Маленькие глазки метнули из-под зубных щеток мгновенный, но дружелюбный взгляд на Бахирева. Огромные ладони неуклюже разгладили бланки бахиревского хронометража.— Вот глядите,— объяснял Рославлев Чубасову.— Первые станки линии коленвала включились в работу на полную мощность сразу, средние раскачались через час, а последние начинают нормально работать через два часа. Последние станки ждут, пока деталь пройдет все предыдущие операции и подойдет к ним. Убедительно? Нам, как и чугунщикам, срочно необходим страховой запасный задел!

Бахирев почувствовал, как губы его сами собой растягиваются в довольную улыбку.

И этот неприступный бастион наконец дрогнул...

В воскресенье Бахирев решил поработать дома, но с утра, садясь за письменный стол, уже тосковал по заводу.

Катя только что отправила детей вместе с жившей у Бахиревых родственницей на детский утренник и теперь одна заканчивала прерванный завтрак. Обычно Бахирев уходил из дома, когда все еще спали, возвращался поздно вечером и давно выключился из течения повседневной домашней жизни. Неубранная столовая, утренняя Катя, в халате, с распущенной по-девичьи косой, сборы домашней работницы на базар — все было внове для него. По контрасту с бурной и деятельной заводской жизнью все здесь представлялось монотонным, нарочито замедленным, как на заторможенной киноленте. Он невольно пожалел Катю: «Мне и дня не обойтись без завода, а она год за годом в четырех стенах».

В нем всегда жило подспудное чувство вины перед женой за то, что целое десятилетие она по необходимости была замкнута в узком семейном кругу. Правда, уже несколько лет назад эта необходимость отпала. Он зарабатывал достаточно для того, чтобы держать домашнюю работницу. С ними постоянно жила одна из двух Катиных теток. Однако это ничего не изменило в жизни Кати. Она собиралась поступить на курсы садоводства, но так и не поступила. Начала заниматься музыкой, но бросила. Месяца два назад при заводе открылись курсы иностранных языков. Бахирев обрадовался:

— Курсы для инженеров и техников, но я попрошу сделать для тебя исключение. Как здорово все складывается! Ты будешь переводить новейшую техническую литературу, овладеешь интересной профессией. Будем вместе работать, ты будешь помогать мне, я — тебе!

Катя сперва увлеклась его затеей, но вскоре стала пропускать занятия и на вопросы мужа отвечала:

— Ах, до курсов ли мне сейчас? На людей глядеть тяжело!

Теперь отношения Бахирева с заводскими людьми стали налаживаться, и он осторожно спросил:

— Катя, ты так и не ходишь на курсы? Ведь сейчас нет той враждебности, что раньше.

— Ты, кажется, забываешь, что я мать троих детей! — Болезненное раздражение прозвучало в голосе. — Мне же вздохнуть некогда.

«Трое детей, — думал он. — Трудно, конечно! Но как же

жены Рославлева и Шатрова и сотни других заводских женщин? И детей растят, и работают, да еще успевают и учиться, и нести общественные нагрузки, и участвовать во всяких самодеятельностях...»

Говорить об этом с женой — значило вызвать новый поток обиды. Он решил в домашней обстановке применить любимый производственный метод — хронометраж. Он положил перед собой часы и, занимаясь, краем глаза следил сквозь раскрытую дверь за Катей.

Она неторопливо мыла ножи и вилки. Каждую вилку она неспешно поворачивала своими большими белыми руками, смотрела на свет, не осталось ли жира между зубцами, и тщательно, как драгоценность, укладывала в буфет. Потом прошла в прихожую и долго протирала там зеркало. Покончив с прихожей, снова вернулась в столовую и принялась носить в кухню грязную посуду — сперва чашки и блюдца, потом тарелки, потом хлебницу, судки с подливой, солонку, масленку...

Шел двенадцатый час, Катя все утро топталась, а в квартире даже не было убрано. Бахиреву, привыкшему выжимать все возможное из каждого мгновения, подобная трата «человеко-часов» казалась святотатством. Когда Катя сделала шестой рейс от кухни до столовой, Бахирев не выдержал:

— Теперь я понимаю, почему ты не успеваешь! У тебя же полное отсутствие самой примитивной организации труда! Ты то берешься за столовую, то идешь в прихожую, то снова возвращаешься к столу, и топчешься, и топчешься.

Он ринулся внедрять передовые методы в семейные сферы, не замечая разницы между женой и поточной линией. Катины полные, всегда слегка приоткрытые губы задрожали.

— Топчусь! — задыхаясь от обиды, сказала Катя.— Да, я топчусь целые дни! Обвиняй меня в этом! Обвиняй!

Он сбился с тона и попробовал пошутить:

— Я не обвиняю. Но ведь ты пренебрегаешь даже таким мощным средством механизации, как поднос!

— При чем тут поднос?

— Вместо того чтобы полчаса ходить из кухни в столовую, можно быстро, на одном подносе... Но почему ты так смотришь? Я же только хочу понять, почему сотни заводских женщин успевают и детей растить, и работать, и учиться. Даже наша домашняя работница ходит на какие-то курсы шитья...

Он тут же понял, что этого нельзя было говорить.

— Я вижу... тебе уже домработница и та милее меня! — Катины глаза наполнились слезами.

— Да нет же, Катя! Я просто хочу, чтоб ты могла учиться и работать!

— Ты хочешь!—перебила его Катя.—А я не хочу! И не могу! Тебе мало, что я родила тебе троих детей! Я мать! Я должна по-матерински заниматься детьми!

— Но для того чтобы по-матерински заниматься детьми, мать сама должна что-то уметь и что-то знать!

— Что же, по-твоему, если женщина неученая, то она и не мать? А работницы с твоего завода?! А колхозницы?!

— Любая хорошая колхозница может научить своих детей множеству умений. Она может научить жизни!

— Значит, я хуже любой колхозницы?!

— Пойми меня,—упорствовал он.—Когда ты была одна с малышами, и кормила, и стряпала, и нянчила, ты могла научить главному в жизни—самоотверженному труду. Ты была святая святых семьи! Но если в семье на трех детей три женщины, занятые только домом, а в квартире до полдня не убрано, пойми—детям уже нечему учиться!

— Ну что тебе надо от меня?—Катя тихо плакала.— Почему ты хочешь, чтобы я непременно носилась по дому с какими-то подносами? А я так радовалась, что выходной и что ты дома...

Неподдельное горе звучало в ее словах. Почему на каждую попытку поговорить о ее ученье она отвечала с болезненной нетерпимостью?

Когда-то в молодые годы Бахирев отдыхал в санатории вместе с милой, кроткой девушкой, у которой была одна особенность—она всегда ходила в темных очках и болезненно раздражалась, если ее просили их снять.

— У нее нет глаза,—по секрету объяснил санаторный врач.—Она носит искусственный глаз и скрывает это.

У той не было глаза. Но чего нет у Кати? Какой изъян ума и сердца скрывает она с болезненной настороженностью? Отсутствие душевной энергии? Внутреннюю пассивность? Когда народ живет в борьбе и напряжении, пассивность натуры превращается в постыдный изъян, который надо скрывать.

Большими, красивыми руками она скатывала в кучку хлебные крошки. Розовые пальцы, сложенные щепоткой, машинальным, тупым движением «склевывали» со скатерти крошку за крошкой, крошку за крошкой... Его раздражало это куриное движение. Он любил Катины руки в молодости. Он помнил пятна ягодного сока на белой коже... Что же случилось?

Катя тихо жаловалась:

— Почему ты все хочешь, чтобы я обязательно куда-то спешила и бегала? Ты сидел, а я возилась и

возилась себе, делала домашние дела... и мне было хорошо. А ты вскочил и напустился на меня: зачем я не бегаю бегом с подносами?!

Сделав над собой усилие, он увидел случившееся ее глазами. Действительно, с ее точки зрения он представлялся извергом, который требует от нее невесть чего. «Ей было хорошо, а я налетел на нее...» В чем была его ошибка? Он не понимал главного — не понимал, что ей было хорошо! Он судил по себе и думал, что вот такое томительное топтание в мире, ограниченном спальней, столовой и кухней,— это жертва, на которую человек пойдет лишь во имя большой любви.

Всю жизнь он считал себя в долгу перед Катей за эту принесенную ему жертву. Но, может быть, никакой жертвы и не было? Может быть, это неторопливое топтание за его спиной и есть предел ее желаний? Он торопливо отвел это предположение: «Нет! Это только привычка, многолетняя привычка!»

Но тут же он вспомнил Катину юность. Семнадцать лет — тот возраст, когда стремятся строить Комсомольск-на-Амуре, рвутся на целину, мечтают о покорении Волги и Ангары... Сам он в семнадцать лет днем работал, а ночь напролет просиживал над учебниками. Кате не надо было учиться по ночам. Она была единственной дочерью разумного отца. Она могла бы учиться в любом институте, работать в любой области. Но и тогда ее, юную, цветущую, свободную, удовлетворяла работа кассирши и возня с кастрюлями. Склад характера, потребность натуры? Но почему он не видел этого раньше?! — спрашивал он себя. И раньше она так же смотрела и так же двигалась. И раньше была у нее привычка складывать белые пальцы щепоточкой и собирать со скатерти крошки этими мелкими, клюющими, куриными движениями. И раньше она скучала, когда он говорил с ней о главном — о своей работе. Но никогда прежде он не работал с такой страстью, с таким напряжением. Никогда прежде не шел на такой риск, не знал таких опасностей, не рвался к таким перспективам. И никогда прежде так остро не нуждался в товариществе. Он стал другим. А Катя? Она тоже изменилась. В молодости ее сильное, цветущее тело само просило движения. Она не знала физической лености, она с удовольствием мыла, варила, стирала. Потребность энергичной физической деятельности до поры до времени скрывала леность души. Теперь наступило время, когда тело утратило молодой избыток сил и инстинктивную потребность действия. Наступили зрелые годы, когда на смену инстинктам приходит воля, когда энергию тела будит энергия души. И вот... бездумная медлительность,

сонный взгляд, что-то мелко-куриное в жестах... «Перестань! — чуть не крикнул он себе полным голосом.— С кем же ты прожил всю жизнь?!»

Он сам испугался своих выводов, устыдился своих мыслей и сам от себя стал торопливо защищать Катю: «Она родила и вырастила троих детей. Роды, страдания, грудница, бессонные ночи... Пусть ум ее не отличается остротой, зато в нем ни одной мысли о самой себе, только обо мне и о детях! Я же знаю это. Прости, Катя!»

Он спешил бежать от нахлынувших разоблачений, как бегут от нежданной опасности.

А Катя уже смотрела на него с обычной кроткой преданностью.

— Живи, как тебе хочется, Катюша,— сказал он,— хозяйничай быстро или медленно, с подносами или без подносов — как тебе нравится! Я ведь об одном стараюсь — чтоб тебе же было лучше...

Она ободрилась:

— Вот ты все упрекаешь: «Трое женщин в доме». Разве я просила? И зачем мне тетя Маня? Она не помощница. Еще когда у нас живет Нюра...

— Ну, вызывай тетю Нюру! Я ведь не хотел упрекать! Я думал только посоветовать, как сэкономить время... Ты то в столовой, то в прихожей...

— А знаешь, почему я пошла в прихожую? — застенчиво улыбнулась она сквозь слезы.— В зеркало видно было тебя... Я совсем мало тебя вижу. Я долго протирала зеркало в прихожей и все смотрела... Мне виден был твой профиль и что ты делаешь... Мне хорошо было...

Он быстро притянул ее к себе, обезоруженный ее преданностью, такой глубокой и такой пассивной...

Шел весенний ремонт заводоуправления, и директорскую столовую временно перенесли во Дворец культуры, в комнату под буфетной. В первом этаже помещались пионерские комнаты Дворца — частое местопребывание Ани и Рыжика.

В первый же день, ровно в семь, в час бахиревского обеда, дверь приоткрылась, и осторожно заглянули рожицы Ани и Рыжика. Бахирев напоил детей чаем с пирожками из буфета.

— Мы будем каждый день приходить сюда! — заявил Рыжик.— Дома тебя или нету, или ты читаешь.

Утром детей горячо поддержала жена.

После неудачной попытки домашнего хронометража Бахирев старался быть внимательнее к жене: он выписал

ей в помощь желанную тетю Нюру, привез в подарок флакон духов и даже выкроил полтора часа, чтобы сходить в кино. Он со страхом вспоминал тот поток разоблачений, который чуть было не подточил все его семейное благополучие. Семья была его глубоким тылом, и он знал: чем напряженнее борьба, тем нужнее надежный тыл.

И Катя, ободренная его вниманием, обрела былое мягкое спокойствие. Они оба дорожили укреплением пошатнувшегося было семейного благополучия. Кате хотелось, чтоб муж как можно чаще бывал с детьми, и она обрадовалась маленькой новой возможности.

— Пусть хоть полчаса в день посидят с отцом! Это так важно для всех нас!

Для детей этот час стал праздником, а для Бахирева — единственным часом дневного отдыха. Рядом, в конце коридора, была угловая полукруглая, со всех сторон застекленная, запертая на замок веранда. Бахирев попросил открыть ее и поставить там стол:

— Хоть полчаса подышать воздухом!..

Войдя в первый раз в это стеклянное, повисшее в воздухе гнездо, он на миг забыл все свои тревоги: так просторен и ясен был вид, открывавшийся отсюда.

Солнце слепило и сияло со всех сторон. Прямые, как стрелы, аллеи, с яркой зеленью деревьев, с пестротой весенних клумб, убегали к реке. Вдалеке реку пересекал мост, повисший в голубизне, как тончайшее кружево.

Возле окна на подрамнике стояла незаконченная картина. Художник изобразил то, что сейчас видел Бахирев. Картина была странной: мужская точность и сила линий сочетались в ней с детской яркостью красок. Художник не знал полутонов. Небо голубело, как эмаль, кирпичные трубы отдавали кумачом, зелень была густоизумрудного цвета. «Завод после хорошей автоматической мойки под давлением»,— подумал Бахирев.

— Это наши заводские художники готовят выставку к двадцатипятилетию завода,— объяснила заведующая столовой.— Здесь рисует Карамыш.

«Карамыш? Значит, она рисует? Не надо, чтоб она приходила сюда». Он несколько раз встречал Карамыш после майского вечера. Сперва ему было неловко, потом неловкость прошла, мгновенное ощущение, испытанное в ложе, он старался забыть, как стараются забыть нечаянный, но постыдный поступок.

— Переселить ее?— спросила заведующая.— Хотя такого вида нет ниоткуда. И приходит-то она на часок после работы.

Ему не хотелось ее видеть, но он не мог прогнать ее с облюбованного места.

— Куда же денешься? Пусть приходит.

На этот раз он задержался в цехе и, спеша к детям, жалел о том, что лишится той короткой близости с ними, которая так освежала его. Но когда он пришел к себе в «фонарик», круглый стол был уже накрыт, Рыжик, Аня и Бутуз сидели возле Карамыш.

— Ну, еще про форсунку! Тетя Тина, давайте еще! — просил Рыжик.— А какая это вспышка? На что похоже?

— Ну, как тебе сказать...— Она увидела чайник на столе.— Немножко похоже, как пар из носика.

Только тут дети увидели Бахирева.

— Папа!—в ажиотаже закричал Рыжик.— Нам тетя Тина рассказывала о форсунке. Трактор, такой большущий и все время в грязи, а внутрь не допускает даже пылинки! Одна пылинка—и форсунка уже не будет работать!

Карамыш поднялась и хотела уйти.

— Выпейте с нами чаю,—предложил Рыжик.

Она взглянула с подкупающей застенчивостью, и Бахирев невольно поддержал сына. Дети усадили ее.

— Бутуз, мыть руки!—скомандовала Аня.

Бутуз заревел. Он обладал способностью плакать часами упорным, нудным плачем. У него не было ни деловитости Ани, ни живости Рыжика, плач был его единственной возможностью стать центром общества. И чем больше его успокаивали, тем самозабвеннее он гудел.

— Не хочу мыться-а-а!—выводил он густую, похожую на гудок ноту.

— Вот я тебя стукну!—пригрозил Рыжик.

Бутуз тотчас взял тоном выше.

— Вот мы его сейчас выпроводим отсюда,—сказал Бахирев.

Бутуз начал захлебываться.

— А трактор не пускают на конвейер, пока он не умоется,—спокойно сказала Карамыш.—Ты знаешь, как трактор умывается? Вот выходит блок цилиндров—это первый кусочек трактора—из моторного цеха. И весь-то он черный, страшный, еще грязнее, чем твои ладошки. И катится он прямиком купаться! Только он не гудит, как ты, а идет себе тихонько-тихонько...

Бутуз гудел теперь тоном ниже, желая одновременно и гудеть и слушать.

— Есть у него своя душевая комната, называется моечная камера. Когда ты совсем перестанешь гудеть, тогда я тебе дальше расскажу.—Бутуз спустил еще

полтона.— Поведут его в душевую, закупорят одного да как дадут со всех сторон кипяток!

Бутуз постепенно затихал.

— Вылезет он и просит рабочих: «А ну, проверьте, все ли мои дырочки вы промыли?» И вот рабочий берет лампочку и шомпол — это такая палочка — и начинает светить все щели и дырочки. Потом трактор просит: «А ну, обдуйте меня!» И начинают его обдувать! Вот обдуют его, обсушат,— продолжала Карамыш,— и только тогда отправляется он на конвейер. Ну, поехали в душевую!

Она взяла Бутуза за руку, и он покорно пошел к умывальнику. Он вполне вошел в роль трактора, позволил вымыть не только лицо, но и «дырочки» — нос, уши,— а когда его умыли, потребовал:

— А ну, обдуйте меня!

Его обдули, обтерли и благополучно усадили за стол.

Рыжик с видом знатока сообщил:

— А в чугунолитейном сегодня выскочил брак. Вроде вредного чертика. Выскакивает прямо из земли! А тетя Тина его загнала обратно.

Слушая разговоры детей и Карамыш, Бахирев думал, что в ее словах мир кажется таким же ясным и ярким, немного детским, как в ее картине. И в то же время в словах ее, как и в рисунке, сквозила недетская точность. Привычные вещи казались увиденными впервые. Разговаривать с ней было легко, и после разговора он почувствовал себя освеженным, словно походил на лыжах.

На прощание дети решили еще раз посмотреть на завод из «фонарика».

— А где тракторы купают? А где делают моторы?— спрашивал Рыжик.

Но Карамыш вдруг перестала отвечать.

Удивленный ее молчанием, Бахирев взглянул на нее.

— Смотрите.— Она указывала на окно. Закатное солнце плавилось в стеклах цехов, дробилось в речной зыби.

— Да, красиво,— согласился Бахирев.

— Нет. Я о детях.

Рыжик лег грудью на окно. Повернув голову, он смотрел на отца и Тину круглыми, горячими глазами, словно приглашая их удивляться и радоваться тому, что виднелось за окном. Его огненная голова горела, как отсвет солнца. Аня облокотилась на подоконник, и лицо ее было сосредоточенным и пытливым.

— Вот так и нарисовать...— говорила Карамыш.— Дмитрий Алексеевич, вы позволите? Хотя бы два-три сеанса!

По отдельности все было красиво, но он не находил внутреннего смысла в этом сочетании окна, завода, реки и детских лиц. Картина будет странной. Но Карамыш смотрела с мольбой и волнением. Он пожал плечами:

— Пожалуйста! Хоть десять сеансов.

В чугунолитейном и моторном дело сдвинулось, хотя и со скрипом, инструментальный же и модельный по-прежнему были вальгановским «обменным фондом». Здесь выручали железнодорожников — делали для железнодорожных мастерских станки, с тем чтобы те, в свою очередь, выручили внеочередными перевозками, здесь выполняли сверхплановые заказы министерства, здесь срочно делали оборудование для металлургического завода, чтобы досрочно получать оттуда металл.

«Хватит блатмейстерства! — думал Бахирев.— Собственный станочный парк завода катастрофически запущен, а мы внепланово ремонтируем станки чужим дядям. Пора смелее переходить к расчетно-техническим нормам, а это опять-таки потребует обновления техники и загрузки инструментального».

Бахирев понимал, что для этих процессов необходима тщательная подготовка, но дамоклов меч опускался все ниже, и под его угрозой Бахирев изменял самому себе. Его привычка к последовательности комкалась недостатком времени, его методичность уступала азарту, его пристрастие к доскональной кропотливости меркло перед желанием размахнуться как можно шире до приезда Вальгана.

«Посоветоваться с Чубасовым? — думал он.— Наперед знаю все, что скажет,— потребует отложить до партактива. Будет осторожничать и сдерживать. На какие-то случаи жизни дано же единоначалие?! Издать приказ о прекращении работ на заказчиков, о форсировании подготовки к переходу на расчетно-техническое нормирование? Решить эти вопросы, пользуясь полновластием «калифа на час»? Изобьют меня за это? Да, изобьют! А дальше?.. Когда вернется Вальган, все будет в разгаре. Хочешь не хочешь, придется ему доводить до конца начатое мной... Катастрофическое положение со станочным парком замалчивается. Умолчание — это конь на шахматной доске Вальгана: перешагивает опасности и прикрывает уязвимые места. Снять с доски фигуру умолчания! Так и начать приказ: «Поскольку станочный парк находится в катастрофическом положении...» Что тут будет! От одних этих слов что тут будет!»

Он усмехнулся. Он рассчитал сроки и подписал приказ

в четверг, зная, что в пятницу и субботу Чубасов будет на пленуме обкома, а в воскресенье уедет за город.

В понедельник с утра Чубасов был занят с людьми и только вечером взялся за папку с приказами. Он не сразу поверил глазам. Вопросы, которые требовали напряжения всего коллектива, Бахирев опять решал в одиночку. Чубасов знал, чем это чревато.

«Месячная программа и так летит ко всем чертям, а он!..— Чубасов непривычно выругался про себя.— Он зарвался, а я потерял контроль, передоверил, как дурак. Дураков бьют — мне поделом. Но завод?»

Его вызвал к телефону Бликин, поговорил об очередных делах и спросил:

— Как там ваш «врид директора»?

Чубасов прочел ему приказы Бахирева. Никогда еще голос Бликина не звучал так раздраженно:

— Он ваш завод довел до развала, теперь взялся за смежников! А ты куда смотришь? Распоясались без Вальгана! Производство расползается, а парторг ЦК благодушествует!

Чубасов молчал. Оправданий не было. Он стал разыскивать Бахирева. Ему сказали, что тот только что вышел в столовую. В столовой было пусто, но рядом, в «фонарике», Чубасов застал идиллию: Бахирев сидел за столом в окружении троих детей.

— Выйдем. Нужно поговорить...

Бахирев покорно поднялся.

— Куда?

— А хоть бы сюда...

Чубасов толкнул дверь в заводскую изостудию. Здесь стояли мраморные торсы, висели безглазые алебастровые маски с ехидными полуулыбками.

Темные веки главного чуть приподнялись. Он кротко вздохнул.

— Это ты по поводу моих двух приказов?

— Это, по-твоему, называется два приказа? Это две трещины черепа, два ножа в спину!..

Бахирев покрутил головой, подергал вихор на затылке, потом начал старательно совать мизинец в полуоткрытый рот маски.

— Почему два ножа в спину? — спросил он наконец.

— Ты на котором курсе проходил основы марксизма-ленинизма?

— На первом.

— Читал такую фразу: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой»? «Овладевшая массами»! Понимаешь?

Бахиреву хотелось ответить со всей горечью: «Но я же лишен возможности ждать, пока моя идея овладеет массами. Меня вот-вот выгонят с завода». Но он не смог говорить об этом. Он начал с силой колотить рукой обо что-то гипсовое, холодное, выпуклое.

— Мы ставим в катастрофическое положение смежные заводы,— говорил Чубасов.

— А мы сами не в катастрофическом положении?— обозлился Бахирев.— Вот в чем главная разница между тобой и мной. На твой взгляд, у нас на заводе нет катастрофического положения, на мой — есть!— Он с такой силой ударил о гипс кулаком, что ушиб руку, и, взглянув, обнаружил, что колотит грудь Венеры. Как ужаленный, он отдернул руку и продолжал: — Вы с Вальганом умалчиваете об этом. А я не буду умалчивать!

— Никто ни о чем не умалчивает. А к катастрофе ведешь завод ты! Если мы откажем в заказе железной дороге, они откажут нам в сверхплановых грузах. Когда Вальган говорит, что мы возим грузы на хороших отношениях с железной дорогой, он прав!

— Ты парторг, а ратуешь за блатмейстерство!

— Не блатмейстерство, а взаимные обязательства, согласованные где надо.

Бахирев внезапно успокоился.

— Вот, видишь, как хорошо! Приедет Вальган и скажет: «Это не завод, это не я, это без меня главный инженер напортачил! Я этого главного инженера выгоню». Все на мою голову! И отношения не пострадают, и инструментальный разгрузится.— Он говорил обычным монотонным голосом, но когда он поднял веки, острый, дерзкий, смеющийся взгляд блеснул из-под них.

Чубасов выпрямился.

— Хорошо. Если не отменишь приказов, будем обсуждать на парткоме. Сообщу в ЦК. Подумай.

Он пошел к двери.

Бахирев видел огромные возможности завода с такой же реальностью, с какой художник видит еще не написанную, но уже во всех деталях обдуманную картину. И как художник не может рассказать, не написав, так и Бахирев не умел рассказать, не создав того, о чем думал. Он боялся лишь, что эти возможности пролежат под спудом, и думал, тоскуя: «Пусть завтра меня выгонят, но сегодня я уже сдвинул с мертвой точки».

Он смотрел на приподнятые, обострившиеся плечи парторга и понимал, что теряет друга. Хотел сказать какое-то новое слово, найти какое-то новое решение и не сумел ни того, ни другого.

Дверь за Чубасовым закрылась.

Бахирев остался один. Приказы были подписаны без обсуждения с коллективом, без предварительной подготовки,— ошибка была допущена, и он понимал это.

Но в характере Бахирева было, раз ступив на дорогу, во что бы то ни стало идти до конца,— идти до конца во всем, даже в ошибках. Как конь, закусив удила, несется грудью на изгородь, видя и зная, что изранится в кровь, но уже не может остановиться, так и Бахирев не мог остановиться.

Он вернулся в «фонарик». Дети ждали его. Он опорожнил бутылку боржома, говорил с детьми и с нетерпением смотрел на дверь. «А где же она?»

Тина запаздывала, и он ходил по кабинету с таким беспокойством, словно важное дело делается не вовремя.

Наконец раздался стук, она вошла. Он увидел ее серо-голубое, в цвет глазам, платье, ее гладко причесанные волосы и почувствовал, что вещи становятся на свои места.

Ее вечерняя работа в «фонарике» и их чаепития стали привычными для обоих.

Тина каждое утро просыпалась с предчувствием радости. Непонятное ей самой возрождение утраченного происходило в ней. В Бахиреве она увидела человека, живущего в полную меру душевных сил, и его безбоязненная борьба и пугала, и захватывала ее.

По утрам, еще не раскрыв сонных век, она уже думала о том, что вечером в «фонарике» ждет ее дружба с человеком, подобной которой она не знала, и привязанность детей, неведомая ей прежде. Ей было хорошо, и, не задумываясь о причине и природе своей радости, она отдавалась ей. Она говорила Володе:

— Это человек, который всегда делает интересное, и поэтому с ним всегда интересно.

О странном чувстве, испытанном ею однажды, в ложе Дворца культуры, и своем испуге она запретила себе вспоминать. Ей ничем не хотелось портить спокойной, радостной и дорогой ей дружбы.

Картина прежде была для нее такой же забавой, как теннис и плавание. А сейчас ее преследовала голова Рыжика в широком квадрате распахнутого окна. Панорама завода стала приветливой и теплой, как дом. В расплывчатых ребячьих чертах Рыжика она искала его будущее бахиревское мужество. Долго не могла она поймать на полотно линии, которая соединяла бы в себе сыновнее веселье и отцовскую решимость. Сегодня на площадке брака, в контуре газовой раковины, ей померещилась эта неуловимая линия. Тина нагнулась ниже.

Линия раковины была изогнута круто. «У меня на рисунке линия губ слишком мягкая, покатая»,— поняла Тина.

Здороваясь с Бахиревым, она прежде всего посмотрела на линию губ Рыжика и губ Бахирева. «Ну, конечно же, изгиб гораздо круче! У меня на картине сглажено, потому теряется выражение силы». Она поспешила к полотну, но Бахирев строго, словно речь шла о ее служебных обязанностях, спросил:

— Почему опоздали на полчаса?

Она засмеялась от радости. «Значит, тоже ждал этого часа».

Она накрывала на стол и смотрела то на Бахирева, то на Рыжика, то на свою картину.

— Чего вы нас разглядываете?— спросил Бахирев.

— Когда я смотрю на Рыжика, он напоминает мне вас. А сейчас смотрю на вас, и вы напоминаете Рыжика! Улыбаетесь вы совсем как Рыжик. И вот тут... у вас даже веснушки.— На темной коже Бахирева весной выступало несколько веснушек.— Вы знаете,— продолжала Тина,— мне кажется, что в детстве вы тоже были рыжим.

— Представьте, да! Я родился морковного цвета, но очень быстро потемнел.

Тина взглянула на него внимательно.

— А по-моему, где-то внутри вы и сейчас рыжий.

Он опять засмеялся.

— И это верно. Я сам иногда чувствую себя рыжим. Особенно когда говорю с Ухановым.

В каком бы настроении он ни был, но возле нее его всегда охватывало желание шутить.

Розовый свет лежал на белой скатерти. С дальнобережья тянуло прохладой. Смех успокоил Бахирева. В часы, когда он был с ней и с детьми, все представлялось ему проще.

— Тина Борисовна, что бы вы сказали, если бы кто-нибудь взял и одним махом выкинул из инструментального и модельного цехов все заказы со стороны и загрузил бы их оснасткой и прочими внутризаводскими делами?

— Я бы сказала: «И откуда это берутся такие смельчаки?» И еще,— тревога мелькнула в ее взгляде,— еще я бы сказала: «Ох, и не поздоровится же этому смельчаку!»

— А заводу... поздоровится?— Он спрашивал тихо, но с прорывающимся весельем. В узких, прищуренных глазах была лихость.

Она ответила ему весело и безбоязненно:

— Заводу? Заводу в конечном счете поздоровится!

«Почему всего этого нельзя взять домой?— вдруг подумал Бахирев.— Как хорошо, если б и дома были эта

легкость и уверенность в том, что все поймут с полуслова и ответят полусловом. Но каким ободряющим и точным полусловом!»

Ему надо было просмотреть новые технические журналы, но не хотелось уходить из «фонарика».

— Это в наказание за опоздание! — указал он на журналы Тине. — Придется вам сидеть тихо, пока я не просмотрю.

Она смирно уселась у полотна. Рыжик и Аня приняли свои позы. Бутуз дремал в кресле.

Бахирев разбирал бумаги, вслушиваясь в шепот, долетавший из «фонарика».

— Вы работайте! Работайте! Зачем вы все время останавливаетесь? — шептал Рыжик.

— Я же думаю... — также шепотом ответила Тина.

— О чем вы думаете?

— Думаю о том, почему у тебя плохие отметки по немецкому языку.

— Скучный язык!

— Тсс. Мы мешаем папе.

Она продолжала так тихо, что Бахирев не мог разобрать и сказал:

— Говорите, пожалуйста, громче, а то я устаю прислушиваться.

Она улыбнулась и заговорила громче:

— Совсем не скучный язык, а умный и торжественный. Вот послушай!

Über allen Gipfeln
  Ist Ruh',
In allen Wipfeln
  Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Она читала медленно, и стихи на чужом языке звучали как приглушенная песня.

— Ну? Красиво? А теперь давай переводить. Ну?

— Над всеми вершинами, — подсказал Бахирев.

— Спокойствие, — неуверенно продолжал Рыжик.

— Правильно... Дальше.

Рыжик переводил с помощью отца и Тины.

— Вот мы и перевели... А теперь послушай, как стихи Гете перевел Лермонтов:

Горные вершины
Спят во тьме ночной...

«Такая тоненькая, а голос грудной, низкий, — думал

Бахирев.— Почему раньше я считал, что это печальные стихи об усталости?»

Она читала негромко, но в голосе ее была полнота чувств и звуков, и мягкость, и сдержанная сила, и радость, такая глубокая, что ее страшно всколыхнуть.

Нет, в ее чтении стихи рассказывали не об усталости, а о том драгоценном спокойствии, что приходит с полнотой и ясностью жизни:

Тихие долины
Полны свежей мглой...

Далеко в городе, на том берегу, мелькнули первые, еще бледные огни. Закат угасал, небо сделалось светлее и выше, и, отражая его, река посветлела. Маленькое кучевое облако на плоском синеватом донце лежало в вышине, а рядом с ним обозначился серп месяца, светлый, подобный облаку. Ночь спускалась не как полог над постелью усталого, но как тихая завеса над счастьем.

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...—

тихим, счастливым голосом читала Тина.

Она при всех обстоятельствах овладевала его вниманием. И разговор с ней, и стихи ослабили то напряжение, с которым он только что колотил гипсовую грудь Венеры. Обычная уравновешенность упорства вернулась к нему. Когда Тина кончила читать, он молчал, смотрел на нее и думал о ней. Она обернулась к Рыжику:

— Ну? А ты говоришь — скучный язык... Только,— она снова беспечно засмеялась,— только «нихт» я терпеть не могу. Берешь немецкую техническую статью. Фразы длиннущие, чуть не в страницу! Читаешь: «У нас изобрели то-то, и то-то, и то-то!!» Читаешь и радуешься: наконец-то изобрели! Доберешься до конца фразы — и вдруг нá тебе: «нихт»! — Она опять засмеялась, и все засмеялись с ней.— Оказывается, автор хочет сказать, что ничего этого еще не изобрели. Такая возьмет досада!

«Вот и о немецком языке она говорит так, что весело слушать»,— подумал Бахирев.

Он уже знал в ней это свойство: чего бы она ни касалась, она со всего сдувала пыль.

Теперь он понимал, как появился, словно омытый дождем, завод на ее картине. Это был мир, увиденный глазами детей. А может быть, мир, увиденный человеком, выздоравливающим от тяжелой болезни, в тот миг, когда оживают и обретают новую силу потухшие краски? Бахиреву представилось, как в детстве, после скарлатины, впервые выйдя на свет из больничного коридора, он вдруг

остановился, пошатнувшись, задыхаясь и жмурясь: ударил в глаза голубой, зеленый, оранжевый мир!

Бутуз проснулся и стал тыкаться сонной мордашкой в шею отцу — целовать отца.

— Пойди поцелуй тетю Тину,— тихо сказал Бахирев.

В странном волнении смотрел он, как прилежно потопал Бутуз короткими ножками, как потянулся к Тине и, когда она наклонилась, обнял за шею и поцеловал в щеку.

Его ребенок, его посланец, его запретная нежность... Сердце ударило гулко.

Она подняла глаза, встретилась взглядом с Бахиревым, и стремительная темная краска залила ее лицо. Поняла ли она его безотчетный порыв и его волнение? И понял ли он их сам?

С несвойственной ей резкостью она оттолкнула Бутуза:

— Не надо! Ты мне мешаешь...

Лицо ее стало испуганным и виноватым.

Они не сразу овладели собой. Тина заторопилась и кончила работать раньше, чем обычно. Но, прощаясь, она сказала с затаенной тревогой:

— Я раньше часто ходила на стадион «Динамо», не пропускала ни одного футбольного матча... А теперь! — Она махнула рукой.

— Теперь не ходите?

— У нас на заводе свой матч. Куда там стадион «Динамо»!

— Любите наблюдать драки?

— Я активный болельщик. Я люблю, чтобы выигрывала моя команда.

И вот она ушла. С шофером он отправил детей. Только картина осталась в «фонарике». Завод, словно вымытый майским дождем. Золотые краски зари над рекой. Нет, ясность осталась не только на картине... После беглого разговора с Карамыш на душе у него стало легче. Принятое решение уже не представлялось таким трагическим. «Я люблю, чтобы выигрывала моя команда...»

Глава XIII

«БУДАРЬ»

Мокропогодье липло к мутным оконцам фермы. Капли падали сквозь щелястую крышу на костлявые коровьи хребты. Анна еще раз сжала вялый сосок Бодухи. Корова

повернула голову, покосилась укоризненным взглядом: «Что теребишь попусту?»

Она давно перестала быть Бодухой, и на рогах у нее, как на замшелом дереве, от старости выросли шершавые наросты.

Анна опустила отяжелевшие кисти рук и с минуту посидела, передыхая, слушая, как шелестит по крыше нудная морось. «Вот и уснуть бы этак». Пересилив дрему, она встала и позвала товарку:

— Эй, Воробьиха!.. Поехали по воду!

— Мокрота же.

— Пока ситом сеет... Дождешься, ведром польет...

Не уговорив товарку, Анна пошла мыть кладовую. В оконце за туманной пеленой, по-звериному выгибая спины, лежали холмы, и шерстью щетинилось на них чернолесье. Там в детстве Анна собирала малину, в юности невестилась с Яшей. На полжизни те годы зарядили радостью. Когда ждала мужа с фронта, верила, что и встретит, и обласкает, и погордится дочками. Оплакала мужа и стала ждать возвращения в осиротевший, но родной дом. Вернулась, оплакала спаленное село и стала ждать того часа, когда поднимет на старом месте новые стены. Пока строила дом, опять ожила сердцем, мечтала, как через несколько лет приедет к любимой дочке Даше в большую и новую горницу человек, похожий на Яшу. Но колхоз оскудевал. В «Дашину» горницу пришлось пустить квартирантов, а Дашу оторвало от дома, унесло, закружило. Когда поняла, что не удалось наделить дочь счастливой юностью, сникла и перестала жить ожиданием. И прошлое уже не светило издалека, погасло, отгородилось мутной, как этот дождь, пеленой. Часто теперь нападало на нее странное безмыслие: руки и ноги привычно работали, а мысли останавливались.

Анна мыла столы и скамьи и вдруг поймала себя на том, что давно скоблит в забытьи по одному месту и доскоблила дожелта. Вспомнила, как Даша, убравшись дома, радовалась: «Отмыла, отскоблила, стали белые, аж медовые». Про себя улыбнулась: «Медовые». Это про скамьи-то! Скажет же дочушка!» Первое Дашино письмо было длинное, веселое, второе—коротенькое, со скрытой меж строками тревогой. «Где-то бьется крыльями о чужие стены...—Привычная тоска сдавила сердце.—Другие матери и вырастят, и выходят, и выучат... А я для своих дочек ничем не припаслась...»

Она помогла Сене-возчику погрузить бидоны с молоком, а из последнего сплеснула немного сливок себе и Сене в маленькие бидончики.

В таких бидончиках все доярки носили молоко, положенное на трудодни, а к нему привычно «приплескивали».

Закончив мыть, она села подшивать марлевые занавески. Шаги и голоса вывели ее из полузабытья. «Опять вчерашний... опять морось эта»,— подумала она. Вчера весь день торчал на ферме маленький, аккуратненький и неотвязный, как морось, человечек. Но в кладовую вместе с зоотехником Ритой и председателем колхоза Мытниковым вошел не вчерашний, а тот, что однажды по пути подсадил ее в машину. В ту встречу он растревожил и исчез. Вспомнив, она удивилась тогдашней своей тревоге: «И чем тогда обнадежилась? Обрадовалась, будто молодая».

В апреле укрупнялись районы. Курганов принимал новые колхозы и ездил по ним с утра до вечера. Район был не из сильных. Дожди заливали землю и угрожали и севу, и будущему района. Вернувшись в райком, озябнувший, мокрый, голодный, по-воробьиному взъерошенный, Курганов встретился с Воструховым.

Вострухов только что приехал из колхоза «Искра» и принес пространный, тщательно подготовленный материал — справку, докладную и проект решения.

Курганов пробежал листки докладной: «Председатель Мытников безответственно относится... не осуществляет контроля... неглубоко вникает...» Потом запестрели строки проекта решения: «Обязать контролировать... Глубоко вникать... принять меры...»

Курганов прикрыл глаза веками, чтобы не видеть Вострухова и взять себя в руки. «Справка, проект, решение... справка, проект, решение»,— повторял он про себя.

Он преодолел раздражение и взглянул на Вострухова.

— Игорь Львович, какое у тебя отношение к математике?

— К математике?—удивился Вострухов.—То есть как?

— Я вот хочу задать тебе одну задачу. Чисто математическую. Сколько ты лет на партийной работе?

— Девятнадцать лет.

— Ого! Девятнадцать лет! В году триста шестьдесят пять дней, не считая високосного. За день ты исписываешь около двадцати листков бумаги. Бумагу мы получаем с Балахнинского бумкомбината. Вот я и хочу попросить тебя, подсчитай расход бумаги и переведи в тонно-километраж.

Вострухов не принял шутки.

— Необходимость заставляет,— натянуто улыбнулся он.— Трудностей много. Я подготовил вопрос к срочному обсуждению на бюро. Старался дать материал исчерпывающий... Что же еще я мог сделать?

— Добиться на месте, чтоб отпала необходимость в срочном обсуждении. Я думаю, что в ближайшее время в райкоме вообще не будет обсуждений.

— Как так?

— А так! Не будет — и все тут! Если надо обсудить, обсуждай на месте. Тяни туда всех, кого надо: райисполком, Заготзерно, Заготскот...

— Но в колхозе всесторонний упадок. Позорно низкая продуктивность — и урожайность, и удойность, и яйценоскость...

— Вот, вот! — сказал Курганов.— Надо поднимать. Для этого самого ты туда и ездишь.

Вострухов улыбнулся и пожал плечами:

— Вы хотите, чтоб с моим появлением поднимались урожайность, удойность, яйценоскость?

— Хочу! Вот именно! Наконец-то ты меня понял!

Вострухов встал.

— Я секретарь райкома, а не председатель колхоза, не агроном, не зоотехник и, простите меня, не бык, не петух, не аммиачная селитра. И хотел бы о серьезном разговаривать серьезно. Может быть, у меня за девятнадцать лет сложилось неправильное представление о партийной работе?

— Да. Неправильное.

Вострухов опять развел руками:

— Научите.

«Не учить надо, а переучивать. Это труднее»,— подумал Курганов. Он видел, что слова отскакивают от Вострухова, как пули от хорошо бронированного танка. «Словами его не пробьешь. Надо делом. Да, в трудных случаях лучшее убеждение — личный пример».

— Я поеду сам в этот колхоз.

Когда Вострухов уходил из комнаты, Курганову бросился в глаза его затылок. В затылке, в шее, в плечах была странная окаменелость. Вся спина говорила о том, что удаляется человек ответственный, которому не пристало без толку вертеть туда-сюда затылком...

И вот Курганов в деревушке, захлебнувшейся дождями, в дырявой, как решето, ферме. Перед ним лысоватый председатель и кудрявая зоотехник Сомова.

О председателе колхозники говорили так: «Прежний сам воровал, а другим не давал, а этот сам зазря не берет, зато те, кому не лень, тянут...»

Зоотехник Сомова три раза проваливалась на экзаме-

нах в техникуме, а когда наконец сдала, все хорошие колхозы были распределены, а ей достался наихудший...

— Ну, давайте попробуем вместе разобраться...— услышала Анна бодрый голос приезжего. Он говорил громко и мешал ей вслушиваться в шум дождя. Что мог сказать ей приезжий? А дождь, порывисто и наискось хлеставший в оконце, говорил ей, что ветер стал переменчив и летит больше с ведренной стороны, что к ночи, даст бог, отгонит тучи, что завтра, может, выдастся парной день.

Изредка доходили до сознания обрывки фраз:

— Вы зоотехник, и вы считаете план нереальным? Зачем же вы так планируете?

— А как я иначе могу планировать? Спущена же нам цифра две тысячи литров!

— Надо не уважать себя как специалиста, чтобы так...

«Морось... морось...—думала Анна.—И вчерашний о том же. И позавчерашний то же самое... А ведь светлеет на улице. Опогодилось бы завтра, поспели бы еще с яровым».

— Зоотехник в кормушку не ляжет!—громко сказала Рита.

— Этого и не надо. Но чем меньше кормов, тем умнее надо их расходовать. Нельзя же всем поровну! Скажите, какая корова отелилась последней?

— Ох, забыла! В журнале записано.

«Красуля отелилась»,—подумала Анна.

— Сколько она дала молока?

— Кто же ее знает...

— Именно вы, зоотехник, и должны знать. Я вам казуистических вопросов не задаю.

Непонятные слова опять зажужжали, и Анна снова перестала слушать. Однако настойчивый мужской голос то и дело пробивался сквозь дрему и мешал ей.

«И чего он жужжит? Чего добивается?.. Как муха об стекло... бьется... бьется...»

Зашелестели страницы журнала.

— А вот эта Бодуха? Да ведь она меньше козы доит.

Услышав про Бодуху, Анна подняла голову.

— Видно, на запуск идет,—объяснила Рита.

— С какого числа в запуск?

— При нашем зоотехнике никто не знает, не ведает, когда коровам в запуск идти, когда телиться,—сказал председатель.

— Как же так?—обратился Курганов к Рите.

Рита вздохнула:

— У нас бык больно бравый парень. Как завидит

коров, все загородки порушит! Сколько раз говорила председателю: «Угороди крепче!»

Зоотехник и председатель стали ругаться. Анна не любила ругани и, чтоб успокоить их, хотела сказать: «Да и не огулена Бодуха вовсе, и не в запуск ей. От старости пропадает!»

Но зазвучали слова: «Опыт передовых... Выполнение плана...» И Анне снова стало казаться, что бьется о стекло беспокойная муха.

Она очнулась, когда приезжий обратился прямо к ней:

— Скажите, а вы ездили на фермы колхоза «Крепость социализма»?

Анну вместе с другими доярками недавно возили в знаменитый колхоз, но фермы не произвели на нее впечатления. Уж очень все там было непохоже на свое, кровное, недостижимо.

Она вяло ответила:

— Возили нас.

— Что ты нехотя отвечаешь? Или не понравилось тебе?—сказал председатель.

Ей не хотелось говорить, но все ждали ответа.

Она ответила не глядя, не подняв головы:

— Звóнки бубны за горами...

Она взяла свой бидончик и двинулась к двери.

Посылая доярок в колхоз «Крепость социализма», Курганов старался, чтобы там было как можно великолепнее,—сам помог раздобыть для доильного зала керамические плитки и белые плафоны. Ходил по ферме, любовался и радовался: «Приезжай, учись, вдохновляйся!»

«Вот тебе и вдохновились!—Он привычно иронизировал над собой.—Только «бубны», да еще и «за горами». Послать отсюда туда—все равно что из первого класса прямиком в десятый! А как иначе? Не открывать же животноводческую ферму первой ступени и животноводческую ферму второй ступени? Или сюда привезти оттуда лучших? Да! Ту же Лизавету. Коммунистка. Умница. Пусть покажет, что можно сделать с этим скотом в этих условиях».

Когда Анна навозила воды и собралась домой, те трое опять появились на ферме и направились к ней.

«Опять идет неотвязный. И чего жужжат пустое?»

— Вот она... Бодуха...—сказала Анна в досаде.—Вы про нее гадаете: «Огулена, не огулена». Смех слушать! Перестарок же! От нее поносу больше, чем молока...

— Для чего же держать такую корову?

— И давно бы забили, когда б она коровой была. Так ведь она не корова, она «поголовье»!..

— Что ты несешь несуразное? — сказал председатель.

— Зоотехник же объяснила: «Поголовье забивать законом запрещено!» Мы так и понимаем: коров для молока держат, поголовье — для законных хвостов!

Щеки Анны пылали желтоватым румянцем. Курганов видел, что она раздражена, но ее раздражение было лучше, чем дремотное безразличие.

— Все на зоотехника, все на зоотехника! — накинулась Рита на Анну.— А кто тебе мешает своими коровами распоряжаться? Дала бы одной поболе, другой помене.

Рита кипятилась. Презрительно поглядев на нее, Анна подумала: «Не дал бог свинье рогов, а бодуща была б!»

Курганов нечаянно толкнул ногой бидончик, припрятанный у стены, меж ведрами. Густые желтовато-белые сливки медленно потекли по грязи прохода.

— Видали? — сказала Рита Курганову.— Еще и не стемнело, а уже припаслись тащить! С таким народом работать! А все на зоотехника! Чей бидон?

На разгоревшихся щеках Анны появились два белых пятна. «Как морозом прихватило!» — подумал Курганов и понял, что сливки украла она.

— Я дознаюсь, чей это бидон! — сказала Рита.

— Мой.

Анна подняла бидон и пошла с фермы, втаптывая сливки в грязь прохода.

Она сказалась больной и попросила соседку заменить ее на вечерней дойке. Спать легла рано, но не могла заснуть. Слушала, как верезжит ветер за окном, и думала:

«Вот и к лучшему, что нет рядом Дашуни. Подальше от материного стыда.— Сбросила с лица жаркие, колючие волосы, замотала головой по подушке.— Нечего мне стыдиться, нечего! Воробьиха литрами в темноте тащит. На базар носит. А я полкружки на глазах, не таясь, взяла для дочек. Кружку сливок все увидели, а того, что по четыреста трудодней который год вырабатываю за колы да нолики, не видят. Этого не видят! В трудоднях моя совесть, а не в бидоне! А все ж таки зазорно. Ох, нехорошо! Совесть как лихая болесть! А все он, головастый. Уйти бы домой до сроку! Все в сон клонило, а теперь и ночью не в силах заснуть. Разбередил, растревожил, варяг неотступный».

Утро наступило умытое дождями, с синими разводьями на полях, с жирным, сытым блеском намокшей земли.

Анна думала, что ее вызовут к председателю, станут стыдить и наказывать. Приготовившись к худому, пришла на ферму.

Никто не вызывал ее, но доярки были встревожены. Анне рассказали, что вчера заседало правление и Сеня заявил, что она уносит меньше других, а для Риты берут молоко большими бидонами. Рита плакала и говорила, что берут не для нее, а для трактористов. На правлении дояркам решили начислять трудодни не с коровы, а с надоя и спустили «покоровный» план удойности. Кто перевыполнит, тому будут давать дополнительно один литр из шести сверхплановых. Молоко на трудодни постановили выдавать в определенные дни. В остальные дни не велели носить на ферму бидоны. Коров-перестарок постановили забить, а корма давать с весу. На птицеферму на три дня послали общественных контролеров. Новостей было так много, что Анна не могла разобраться в них.

— Пошла изба по горнице, сени по полатям! Чистый содом!—сказала она, но про себя позлорадствовала: «Не торговать Воробьихе и Устинье на базаре крадеными молоком да яйцами. Кончилась безгрозица.—Но тут же огорчилась:—И мне своих девчонок не баловать! Скорей бы телилась моя Жданка!»

Она еще не успела разобраться, что к добру и что к худу, когда председатель привел по-городски одетую женщину.

Анна так привыкла к «представителям», что не обратила на нее внимания. Но когда гостья скинула пальто, надела халат, Анна узнала в ней доярку из колхоза «Крепость социализма».

Она была черноглазая, полная, но двигалась легко и, казалось, радовалась и своему дородству, и легкости.

Расправляя складки халата, она пошевелила крутыми плечами, улыбнулась и сказала звучным, катящимся говорком:

— Здравствуйте, женщины! Это, видно, и есть ваша рекордсменка Красуля? Слышала от людей, слышала!

Ловко подхватила соседнюю скамеечку и села возле Красули рядом с Воробьихой.

Анне бросилось в глаза, что гостья все делает «в аппетит»: и халат надевает, и шевелит плечами, и ходит, и разговаривает.

Доярки столпились возле гостьи, а она, не смущаясь этим, весело говорила:

— Стадо у вас холмогорской основы, и бык-холмогорец вовсе хорош. Породность—это, конечно, бо-оль-шой-колоссальный вопрос!—При словах «большой-колоссальный» она для убедительности прижмурила темные глаза, качнула головой и так нажала на букву «о», что слова выкатились на этих «о», как на колесах.—Ваше

стадо не так худое, как запущенное. Кормов не хватает? Луга болотисты? Знаю, знаю. Сырость, ландыши. Сама девчонкой за ландышами бегала, букетами в городе торговала. В городе, бывало, ахают: «Ах, ландыш! Ах, запах! Ах, переживание!» У нас в колхозе болота теперь осушены, сырости меньше стало и ландышей поменьше. А у вас, видно, по сию пору ландышам кланяются: «Ландыш милый, спаси!»

«Бойчится,— подумала Анна.— Они, загорные, все речисты». А руки приезжей уже тянулись к вымени Красули.

— Только что подоена? Какой метод массажа применяете? Не делаете? Неужто ж вам не объясняли? Как же без массажа? Работа с выменем играет бо-ольшую-колоссальную роль!

Слова «работа с выменем» удивили Анну. А гостья деловито продолжала:

— Вот, глядите-ка, бабы... Круговое движение, вот этак... Поперечное — этак... Раз за разом... Раз за разом... А теперь в глубину... Самая жирность там, в глубине.

— Что ни гоняй, соски пустые,— усомнилась Воробьиха.

— А вот поглядим.— Закончив массаж, она потребовала: — А ну-ка, давайте сюда дойницу!

К общему удивлению, только что выдоенная корова свободно дала еще почти стакан.

Приезжая доярка переходила от стойла к стойлу. Анна, насмотревшись, сама заторопилась к своим коровам, сама начала массировать вымя и выдаивать остатки.

— Правильно! — одобрила ее говорливая гостья.— В глубину мягче бери, но сильней проникай. А ты гораздая! Быстро усвоила. Будто век массируешь. Тебя как зовут? Анна? А меня Лизавета... Худущие твои коровы. После войны пригнали нам с эвакуации стадо еще хуже вашего,— рассказывала она, поудобнее устроившись на скамеечке.— На ногах не держатся, титьки обморожены, кости аж кожу перетирают. На водопой погоню — вниз с берега сойдут, а наверх вернуться — сила не берет. На лошади подвозили. И кормов нету. Ну, как тут быть?

Доярки, сбившись в кучу, слушали.

— Ну, как же ты? — поторопила Лизавету Анна.

— Картошка у нас была... Дай, думаю, попытаюсь! Сперва и не сказалась никому. Боялась... Гляжу — едят! Поносов нету. На ноги начали подыматься. Мычат как взаправдашные... А то ведь и не мычали!

Анна вспомнила доильный зал и забросала Лизавету вопросами:

— И за сколько же лет достигли вы теперешнего вашего положения? С чего начали, как добивались?

Вечером дома Анна приготовляла для своих коров картошку, а Лизавета помогала ей. Комната казалась наряднее от черных Лизаветиных глаз, румяных щек и веселого говора. Нюша и Луша льнули к ней и щупали ее волосы, плечи, кофту.

— Что это как захудал колхоз ваш? — спрашивала Лизавета.— Ну, председатель худ, а сами?

— Что сами? Известно...— Анна невесело засмеялась.— В гору семеро едва тянут, а под гору и один столкнет...

— А строитесь, однако, неплохо. Как ехала по нагорью, глядела — цельная улица новеньких домов. Строительная бригада работает или другим методом сорганизовали строительство?

Анна опять засмеялась отрывистым, сухим смешком:

— Председателя каждый год меняем, вот и весь метод. Выберем председателя, он с делом не справляется, а избу себе справит! Мы другого выберем. И он так же! За шесть лет шесть председателей — глядишь, новых домов цельная улица!

Лизавете, видимо, не понравился невеселый смех Анны. Она нахмурилась. Рядом на птицеферме сразу в несколько голосов вперебой заголосили петухи.

— Что это у вас петухи какие истошные?

— Комиссию опевают...— неохотно отозвалась Анна.

Через полчаса пришла усталая, разрумянившаяся Гапа, ее, как окончившую курсы птицеводства, выдвинули в куриную комиссию. Она возбужденно рассказывала:

— Изо дня в день, изо дня в день не больше, як семьдесят яиц. А мы — двери на замок и под контроль. Сто десять яиц, пожалуйста! Як же ж? Гнизда грязни, все не по правилу... Сама весь день с плотниками гнизда правила... Птицу жалеть надо...

— Нет, я коров люблю... Люблю я коров, что ты хочешь делай,— охотно отозвалась Лизавета.— Коровы — это бо-о-ольшой-колоссальный вопрос.

Анна слушала веселые голоса женщин и грустнела.

Когда Гапа ушла к себе, Лизавета удобно устроилась за столом, подперла голову обеими полными руками и серьезно сказала:

— Смотрю я на тебя... и вглядчива ты... и горазда... Да...— Она остановилась.

— Что? Договаривай.

— Да так как-то...— Она глянула в самые зрачки Анны.— Не к месту печальна, не к добру весела. Беды, видно, хватила?

— Хватила беды с победушками,— согласилась Анна.— Беду-то снесла. Победушки с ног сбили...

— Это бывает,— подтвердила Лизавета,— это бывает...

Обе помолчали. Анна вздохнула.

— А тебе, видно, бабушка ворожит.

— Всяко приходилось. Приехали с эвакуации — на селе тычка не было. Я тощей тебя была. А при мне дети. Четверо у меня. Поголосила... Не без этого. Отголосилась — что ж, думаю, теперь делать? В угол забиться — вконец пропадешь! Пошла по бабам. Сбила баб округ себя. Где один горюет, там артель воюет! Фермы кое-как обстроили первым делом, а вторым — пошли воевать подходящего председателя... Отвоевали наилучшего из всех. Вместе с ним в землянках перебились, а фермы, овощехранилище воздвигнули. Со второго года стали дома воздвигать. Мало-помалу и добились жизни...

— Зато теперь машины доят, машины моют! Какие тебе заботы!

Лизавета всплеснула руками:

— Еще какие заботы-то, Аннушка! Ведь месячного плану я не выполнила! А я член партийного бюро. Обо мне в газетах писано. Каково моей совести план не выполнять?

— Как же уж ты это?

— Через экскурсии. Ведь к нам в эту весну со всего району едут! Толпами ходят! Люди тушуются, а коровы тем более. Я причину понимаю и то беспокоюсь. А корова причины не уясняет. Почему, отчего кругом суета,— ей словами не объяснишь. Не дает той прибавки, что постановлено взять. А я глаза на людей совещусь поднять. А третьего дня повалило ветром столбы, порушило провода, вся наша механизация встала. Садиться руками доить — брыкается. Поим из ведра — не берут: культурные стали! Подавай вакуум, дай автопоилки! Только наладили проводку — другая беда: американцы приехали. Доильный зал показываешь — не фотографируют. Электромойку не снимают. Доярки все у нас ходят чисто, ни одну не сфотографировали. А тут, на беду, от дождей возле фермы лужа, и возчик один непутевый споткнулся, да и встал на четвереньки. Так его сразу в два аппарата защелкали. Хоть плачь! Надо сказать, и свои корреспонденты тоже попадаются вредные. Ты фермы хоть языком вылижи — ему без интереса. Он в углу разыщет малый непорядок — и ну строчить! В заслугу себе ставит, что отыскал. Вот, мол, я какой умный! Ну, у нас один плох, так другие порядочные! А как эти американцы кинулись грязь фотографировать — до того обидно! Ославят перед всеми трудящимися американцами — вот, мол, какие

наилучшие колхозы в Советском Союзе. Уж такая обида!

Анна стала собирать ужин, а Лизавета учила девочек плести кружева.

Когда отужинали и уложили девочек спать, Лизавета стала разбирать на ночь темные волосы.

В доме все стихло. Спали за стеной Михаил с Гапой, давно похрапывал дед на печи, мирно дышали девочки. Лампа горела неярко, густые тени копились по углам, ложились на немолодое лицо Лизаветы, подчеркивая все его складки. За печью зачирикал сверчок. Лизавета улыбнулась, и белые зубы сверкнули молодо.

— Сверчок у тебя? Вот люблю!

— Специально у соседей раздобыла. Без сверчка и дом не в дом...— отозвалась Анна, помолчала и спросила: — А велики ли у тебя дети?

Она увидела, как напряглось лицо Лизаветы и сжались губы.

— Невесты уже...— Оглянувшись на девочек, Лизавета наклонилась к Анне и сказала тихо, но с твердым осуждением: — Мне бы дочек выдавать, а я сама замуж собралась. Вот ведь беда-то где!

— Отчего ж беда?

— А как не беда? И от дочек совестно. И моложе-то он меня. Сама понимаю: людям на смех. Два года крепилась. Думала, отстанет. Нет! Гонится и гонится! Словно нету ему молодых девок. Ах ты господи! — Анна с удивлением увидела, как на темные Лизаветины ресницы крупными дождинами навернулись слезы.— А ведь я тоже... не из глины сделана... Живая живу!..

Глаза ее глядели не с бабьей, а с какой-то девичьей жалобой. Плакала она так же вкусно, как говорила и двигалась. Анне вдруг захотелось таких же слез, и она опять про себя удивилась: «На слезы позавидовала!»

Вторую ночь Анна не спала.

Она чувствовала начало перемен и не могла разобраться, к добру они или к худу. Ее пугали строгости на фермах, «покоровное» планирование, интересовала дополнительная оплата и радовало то, что будет двукратная дойка.

Лизавета вздыхала во сне, видно, печалилась своими печалями. Анна слушала ее вздохи и думала: «Таких же лет, такая же вдова, а вся жизнь другая! О чем печалится? О том, что колхоз ославят перед американцами! Отчего плачет? Оттого, что мужик за ней гонится неотступно, как за молоденькой! Да будь хоть я на месте мужика, ни одну б молодую с ней не сравняла. Счастлива баба родилась».

Анне хотелось думать, что все зависит от судьбы, а думалось другое. «Я только мечтала, как бы выбиться, как бы свой дом воздвигнуть. А Лизавета? С первого дня пошла баб сбирать. «Один, говорит, горюет, артель воюет»... Я как мертвая, а она про себя: «Живая живу». Это уж кому что на роду написано».

Но как ни силилась Анна, она не могла представить себе Лизавету в роли одинокой горюхи. Недовольная собой, она резко повернулась в постели и подосадовала: «И что за наваждение? Бывало, сон морил, а теперь бессонь одолевает! Все с него, с головастого, началось! Петухи и те через него переполошились. Он бидон опрокинул, он «покоровные» планы надумал, он Лизавету привез. От него другую ночь мысли голову зудят! Бударь головастый!»

Но, и досадуя, она уже не называла его «варягом».

Курганов в эту минуту стоял возле дома, где квартировали трактористы, смотрел в чистое, черное, посыпанное звездами, как зернами, небо и слушал перебранку хозяйки с председателем.

— По твоей причине трактористы разбежались по своим деревням!—укорял председатель.—С утра как раз сев начинать, а где их теперь соберешь? Кругом распутица—не пройдешь, не проедешь!

— На-кося! По моей причине!—кричала невидимая в полутьме хозяйка.—Я и так им плотничье молоко скормила! Пришла на ферму, говорят, молоко в больницу отрядили. Мне черт с ними, с больными. Трактористы здоровущие! Они есть просят! А где я возьму? Я не корова...

— Ко мне бы пришла,—сказал председатель, отворачиваясь от Курганова. Он выпил под забитую Бодуху и теперь боялся дохнуть на секретаря райкома.

— За тобой ходишь, ходишь да отступишься. Раньше хоть Рита, зоотехник, входила в положение. А тут прихожу, ревет девка, говорить не хочет! Ты в третью бригаду укатил. На птицеферму кинулась—думала, выстрадаю трактористам на яишницу! На птицеферме комиссия ходит, куры сигают через изгородь! Взбаламутили весь колхоз... А теперь, на-кось, я виновата!

— Я тебе говорю...—невнятно начал председатель, но хозяйка перебила его:

— А я тебе говорю, не будет у тебя порядочный тракторист работать! Один Медведев по тебе. Он здешний, при нем его Гапка. Из «Зари» с птицефермы тебе в кредит птицу продавали. Почто не взял?

— Они доходящих петухов подсовывали...

— В «Заре» трактористам курятину варят, а в «Крепости» на полевом стане аж котлеты лепят!

— Полную меню, городскую меню, мы, конечно, составить не в состоянии,— сказал председатель.

«Ох, снимать, снимать его надо!—подумал Курганов.— Немногого, немногого я добился. В курятнике переполох, зоотехник плачет, трактористы разбежались! Организовал, называется!»

— Ну, вот что,— обратился он к председателю.— «Городскую меню» с тебя не спрашивают, а к утру чтоб были для трактористов щи из Бодухи и мясо с картошкой. Холодец чтоб весь на поле, в тракторную бригаду! А то бывает: кости трактористам на поле, а мясо да выварок кой-кому на стол под водку! Сейчас садись на мой вездеход, поезжай за трактористами!

С утра Курганов поехал в МТС и по пути хотел заглянуть в слабый колхоз «Ударник». Райком советовал присоединить этот колхоз к соседнему — «Крепость социализма». Колхозники «Ударника» совсем было решили объединиться, но на последнем собрании по непонятным соображениям постановили отложить объединение. Курганов хотел выяснить причину. Подняв стекла вездехода, он всей грудью вдыхал весну, жадно глядя в окно.

Высокий день. Жаворонок повис в зените. Крыльев не видно, только два маленьких сияния с обеих сторон, словно крутятся два маленьких пропеллера. И песня такая ликующая, какую и сам Курганов пропел бы, если б сумел подскочить вот так, до зенита.

«Каждому свое,— подумал он.— А мое счастье — вот эти поля. С детства, что ли, входит это в кровь?»

В городе ему жилось спокойней, удобней и легче, но не бывало того ощущения счастья и той безудержной мальчишеской удали, которая в детстве заставляла в такие минуты стремглав взлетать на горы, качаться на вершинах самых высоких сосен, плыть навстречу стремнине. И сейчас его так и подмывало выскочить из машины, своими руками перещупать всю эту землю на подсыхающих взгорьях и в полных весенней влаги ложбинах. Он уже видел эту землю буйно поросшей золотой пшеницей, медоносной гречихой, голубым льном. Он видел груды овощей, плодов в овощехранилищах, на грузовиках, у паромов и перевозов.

«Morbus optimisticus chronicus» [1],— вспомнил он опреде-

---

[1] Болезнь — хронический оптимизм.

ление жены. Она говорила это с горестно-терпеливым выражением.— И впрямь неизлечимый оптимизм,— весело подумал он.— Сколько раз стукала меня жизнь по затылку, а все не впрок! Сколько раз еще стукнет! И опять впрок не пойдет!»

А радоваться действительно было нечему. Запоздалая весна после дождей сразу ударила солнцепеком. Район со своими увалами и ухабами, с лесами и полянами обладал десятками «микроклиматов». Когда по сухой земле южных склонов начинали змеиться трещины, на севере, в ложбинах, в тенистых поймах, синие разводья еще лежали впремежку с черными топями.

Курганов сказал парторгу лесозавода Борину, которого повез с собой с тайной целью переквалифицировать в председателя колхоза:

— Район такой, что каждому уклону и каждому ухабу подавай персональное внимание. На южном склоне— Полтавщина, перевалишь через гребень, глядишь— Кировская область. Обком микроклиматов не признает и каждый день твердит одно: «Сеять, сеять, сеять»,— а директор МТС — мужик упрямый, гнет свою линию: «Рано, рано, рано».

— Какое же рано здесь? — отозвался Борин и высунулся в окно. У него было молодое, крепкое, красивое лицо и лысая, как яйцо, голова.— Вон и жаворонок сигналит!

— Жаворонок свое, а директор свое: «Грязновато». Он свои проценты за экономию горючего выжимает. Урожай либо будет, либо нет, а экономия горючего — вот она. А, дуй его горой! Стой!

Курганов не удержался, соскочил с машины, присел и принялся мять в ладонях еще прохладную, но уже полную весеннего дыхания, живую землю.

«Ну, поплатишься ты мне! За это поле тебе голову снять!» — мысленно ругал он директора МТС.

В ответ на призывную песню жаворонка издали донеслось чуть слышное знакомое и радостное стрекотание.

— Тракторы! Тракторы идут! — сказал Борин, вертя сверкающей на солнце лысиной.

Через два часа они въехали на южный склон. Здесь начинались поля колхоза «Ударник».

Поле покрыто было свежими бороздами, и посредине стоял урчащий, окруженный людьми трактор.

Курганов и Борин пошли полем, увязая в рыхлой и липкой земле.

В центре группы людей Курганов увидел Самосуда. Неделю назад Самосуд сидел на больничной койке и жаловался Курганову:

— Вели ты им меня выпустить. Сердце новое все одно не вставят, а если помирать, так уж как добрый конь — в борозде, под жаворонками.

Курганов заторопился к Самосуду. На отекшем лице Самосуда воинственно блестели выпуклые глаза.

— Кто тебя из больницы выпустил?

— Убегом,— засмеялся Самосуд.— Пока лежал — хворал, как вышел — поправился. Вредное это дело — в больнице лежать. Вот прямо с постели к ним. Договорились объединиться — и вдруг отказ.

— Что же это вы, товарищи? Почему? — спросил Курганов.

Колхозники замялись.

— Или богатого трудодня не хотите?

Одна женщина уклончиво улыбнулась:

— Им работать легче. У них матрасы пружинные. Они крепче нашего высыпаются.

— Хоть улыбаться у Самосуда научились,— пошутил Курганов.— А то приедешь к вам, все — глаза вниз...

Курганов так и не мог понять, почему колхозники плохого колхоза не хотят объединяться с лучшим. Он решил поехать в правление, к председателю. У машины его остановила дряхлая старуха, которая пришла в поле в день первого сева, видимо, по привычке.

— У меня до тебя секретный разговор.— Когда они отошли в сторону, старуха зашептала: — И колхоз хорош, и Иван Терентьевич сильно хороший человек. Одного боимся... помрет скоро...

— Что ты, бабка! Он еще дольше своего проживет.

— Больно хорош человек, такие-то долго не живут. Я в себя живу, а он — из себя,— с полным убеждением сказала бабка.— Ты с виду прикинь. Я, гляди, в кость ухожу, ссыхаюсь, все в себя да в себя. А у него сама организма такая, что из себя выступает, как река из берегу. Утечно живет. Опасаемся — помрет скоро. На кого мы тогда останемся в чужом-то колхозе?

Надо было знать весь ход мыслей колхозников, чтоб предвидеть неожиданное влияние болезни Самосуда на объединение колхозов. Курганова кольнула совесть: «Колхозники видят, что «утечно», себя не жалея, живет дорогой для района человек. А секретарь райкома об этом не заботится».

Он посадил Самосуда рядом с собой в машину и сказал:

— Скоро сам тебя погружу под расписку в Кисловодск.

Самосуд отмахнулся.

— Во время посевной все одно ж помирать некогда. А

как отсеюсь — согласен, поеду. Чтобы только уговор: без меня колхоз не обижать. Только слег в больницу, гляжу, уж ты меня обошел с аммиачной селитрой.

— Вот те на! С больной головы да на здоровую,— засмеялся Курганов.— Это ты меня обошел.

Пользуясь своим положением Героя Труда, Самосуд повадился обращаться, минуя район, в область с разными просьбами; область отпускала, а потом уведомляла район: «Отпущено в счет вашего лимита». Такая история произошла с аммиачной селитрой. Когда ее привезли, Воструxов велел до выяснения задержать ее на складе.

— Так ведь я эту селитру для них же раздобыл, для «Ударника»,— с обычным энергическим оживлением заговорил Самосуд.— У них земля как запущенная хвороба. Аммиачная селитра такой земле — чистый пенициллин.

— Вижу, вижу: переимчив,— засмеялся Курганов.— Полежал в больнице неделю — уже весь докторский арсенал взял на вооружение. Этот пенициллин и другим колхозам нужен. Опять у тебя с Воструховым неприятность!

— Это у нас с картофельной истории началось. В том году, как стал прибаливать наш прежний первый, Воструxов шибко надеялся на его место. Выступал он на областном совещании и дал по картофелю завышенное обязательство: себя показать хотелось.— Курганов знал эту историю, но хотел слышать ее в изложении Самосуда.— Ну, и я тогда же выступил. Сказал, что невыполнимо. Приписали мне демобилизационные настроения. Однако и половины обещанного не собрали. Ему бы признать ошибку, да гонор не позволяет. Давай жать на колхозы. Обобрали семенной фонд. Все НЗ повытряхивали, а все равно не выполнили обязательства. Ко мне тоже он присылал. Однако я семенного фонда не отдал: и так горю-прогораю! «Если, говорю, есть ваше право ломать замки в овощехранилище,— ломайте». До чего дошел Воструxов — прислал овощехранилище опечатать. Весна пришла — район без картошки, сажать-то нечего. А тут опять в области совещание. Из ЦК приехали. Ну, выступил я, значит, и назвал его «картофельным погорельцем». Сказал, что ему свой гонор дороже колхозного благополучия. Факты налицо. Товарищи из ЦК меня поддержали. Осудили воструховскую практику. В аккурат тогда и решался вопрос о первом секретаре. Отпала его кандидатура, а вскорости выбрали тебя. Однако он меня с тех пор все прижимает. Ни в чем не дает доверия!

— Тебе, пожалуй, доверишь,— сказал Курганов, вспоминая, как обманул его Самосуд зимой.— Ты у меня под носом свиней забиваешь, а говоришь, что они поросятся.

— Так та свинья ногу повихнула. А тебя я тогда еще не знал. Не знал, что ты есть за человек. Думаешь, я уродился такой? Дело заставляет. Вот у твоего Мытникова, к примеру, осенью хлеб осыпался, а трактора стояли из-за баббита. Его иначе как слева не достанешь. Мытников на риск не идет, он не левачит, он честь и спокой оберегает. А моя честь в том, чтобы колхозные труды не пропадали. Я левачу, я баббит достаю. И со скотом этак же. Я ж тебе тогда все как есть объяснял. Тот же Вострухов наобещался жмыхов и концентратов. Для меня слово — дело! — Я из этого расчета спланировал стадо. А после совещания обиделся он и отказал в концентратах. Он же нас и подвел! А тут еще и засуха. Все стадо сохранить — кормов не хватит, лучшие головы загубим. Кому выгода?

— Поговорил бы в райкоме.

— Тебя я еще не знал, а с ним какой разговор? Я его спрашиваю: «Тебе что надо: мясо, сало, молоко либо хвосты?» — «Мясо, сало, молоко»,— отвечает. «Так вы мясо, сало, молоко и планируйте!» Не дает согласия.

— И с яровыми опять хитрил,— уличал Курганов.

— И с яровыми хитрил,— согласился Самосуд.— Не родит у нас яровая. Я ее, яровой, больше в сводках придерживался...

— То-то!

— А отчего? От честности! Честность требует так руководить, чтобы государству и колхозникам выгода! А планирование иной раз прямо против выгоды. Вот и получается: бесчестный, к делу равнодушный — он себя бережет, он не ловчится. А ты баббит слева достаешь, и яровые только в сводках пишешь, и поголовье у тебя в сводках одно, в стойлах другое. И Вострухов кругом честит тебя: «Жулик, вор, обманщик! Судить его, бить его, снять с него голову!» И понимать он того не может, что мне колхоз своей головы дороже...

— Законные дороги есть,— сказал Курганов.— Райком обманывать — самому себе в лицо плевать.

— Тебя я не обманывал и не обману теперь. А с Воструховым мне нельзя иначе. Ведь как он поступает? Умный секретарь позвал бы меня, выяснил, обругал бы, если надо. А этот? Фермы хотел опечатать, комиссию послал скот пересчитывать! Не по закону! По закону я должен один раз счет государству сдавать. И с этой селитрой опять же. Я для себя ее припасал? Я об отстающем, об «Ударнике», беспокоился. Умный секретарь меня бы вызвал, разобрался бы. Поругал, коли надо. А этот запретил отпускать со склада, и баста!

— Поговорить надо было,— согласился Курганов.

— Об этом и я говорю. Ну, я ему не уноровил! Но должно же уважать такого человека, который имеет свою линию поведения? Я таких уважаю! А он с той картофельной истории допекает меня и допекает. Ведь сердце он мне ухайдакал. Легко ли, когда у тебя овощехранилище опечатывают? Ну ладно, дело прошлое. Зачем же опять теперь с селитрой? Я так рассуждаю: ты из меня кровь пил? Пил! Авторитет мой подрывал? Подрывал! Давай теперь поднимай авторитет! Давай аммиачную селитру!

Курганов расхохотался над неожиданным заключением, но тут же оборвал смех.

Самосуд говорил о самом больном и тревожном. Ошибки планирования и скованность инициативы заставляли инициативных и рьяных к делу людей хитрить и изворачиваться.

«Противоречия классового общества изучались веками и разрешались кровавым путем,—подумал он.—У социализма есть свои противоречия, они устраняются мирно, путем познания. Задача в том, чтобы познать, изучить их как можно раньше, глубже и точнее».

Самосуд на перекрестке простился и пересел в свою машину.

Курганов нагнулся, тронул за плечо Борина, сидевшего рядом с шофером:

— Видел? Пять тысяч человек привел к богатству. И еще не одну тысячу приведет.

Упрямое лицо Борина не дрогнуло.

«Упрется? Не даст согласия?—подумал Курганов.— Нет. Не так воспитан человек...»

Два дня провел он на колесах, и за эти два дня неузнаваемо изменилась земля. Меж тонкими зелеными строчками озимой уже не синели разводья. Пообсохли и ложбины, и только в тенистых ухабах сохранились голубые озерца. Запоздалая, но жаркая весна заставляла торопиться. Сев шел и днем и ночью. Ночами работали хуже, но все же ночной весенний стрекот тракторов на полях стал так же привычен, как летом бывает привычен стрекот кузнечиков.

Ночью Курганов подъезжал к колхозу «Искра». В полуночные часы трактористы встречали секретаря райкома радостно, и короткие разговоры под фарами трактора в полупустынном поле получались особенно памятными.

Средь скудных земель колхоза «Искра» было одно доброе поле, защищенное с севера холмами. Сюда весной стекали воды с холмов, здесь зимой нарастали снежные глубины, и почва здесь была жирней, чем на соседних полях. Половина, отрезанная дорогой, многие годы использовалась как выгон. Отсюда Курганов ждал особенно

высоких урожаев. От этого поля во многом зависело благосостояние колхоза, и Курганов шутя называл его «Мыс доброй надежды». Сюда направил он новенький трактор с опытным трактористом Медведевым.

Под черным чистым небом с умытыми звездами, прикорнув к холмам, спали беззвучные деревеньки, а на полях шла жизнь: ползали неторопливые огни, и деловитый стрекот доносился с разных сторон. Запах влажной земли и прелых листьев проникал в кабину, смешивался с запахами бензина, щекотал ноздри. Стрекот слышался и с «Мыса надежды», и Курганов думал: «За ночь кончат пахать, а с утра пойдут сеялки. Отборное сортовое зерно, полученное в обмен на некачественное, протравлено, приготовлено и ждет своего часа».

Курганову не терпелось, он торопил шофера.

— Последняя лужа!—сообщил Костя.

В глубоком ухабе на вязкой дороге еще стояла вода и, как в озерце, ложилась блеклая месячная дорожка. Машина, урча и разбрызгивая грязь и воду, выбралась из ухаба и помчалась пологим подъемом. Живой, движущийся свет фар поднялся навстречу из-за дальних кустов, и стал отчетлив рисунок голых сучьев.

Прозвучали неясные мужские голоса, грубоватый смех, и вдруг непонятный грохот и крик прорезали тишину. Фары за кустами погасли, и купы кустов нырнули в темноту. Трактор захлебнулся и стих.

Поля погрузились в тишину и мрак. Ошалелый конь выскочил на дорогу. Через минуту раздался мужской отчаянный голос:

— Сюда! Сюда! Помогите!..

Мужчина выбежал из-за кустов и встал посредине, крестом раскинул руки.

— Стойте!

Курганов высунулся из машины.

— Что? Что случилось?

— Человека убило...

— Когда? Чем?.. Как?..

— Сейчас... Чем—сам не пойму. Трактор взорвался...

— Кого убило?

— Тракториста Медведева.

Курганов узнал в говорившем бригадира тракторной бригады Веселова и побежал, проваливаясь в ухабинах, увязая в топкой земле. Ветви кустов царапали лицо, цеплялись за полы пальто. В черноте поля ничего не было видно.

— Фары!—крикнул Курганов шоферу.—Свети фарами!

Машина приблизилась, стала поворачиваться, прощу-

пывая поле фарами. Наконец у края загонки обозначился темный силуэт трактора. Тракториста они увидели, только когда подошли вплотную. Он лежал на самом краю поля возле камня, разбросав руки. Курганов просунул руку под ватник.

— Сердце бьется. Оглушило его. Упал. Головой на камень. Отчего упал? Приподнимите. Тихо!..

Когда его стали поднимать, с плеча его упала тяжелая металлическая лепешка на ноги Курганову. Курганов ощупывал странные линии этой лепешки, ее гладкие края.

— Смотрите...— передал лепешку Веселову.— Не пойму, что...

— Противовес...— сказал Веселов. Только тут Курганов понял: так же, как зимой, сорвался противовес. Зажигая спички, он повернулся к трактору. Те же рваные края пробоины, тот же лоснистый блеск вытекающего масла.

— Гапа! — раздалось в темноте. Мужской низкий голос говорил с детской жалобой.— Ох, Гапка же! — Прозвучала привычно сочная ругань.

Медведев приходил в себя. Он не мог шевельнуть рукой, стонал, ругался, звал Гапу, клял ночной сев, трактор и начальников. Его усадили в машину и повезли домой. По дороге Веселов рассказывал:

— Он как чуял. Не хотел в ночную смену. Упирался. И Гапка его раззвонилась. Ну, я обещал, что сам сменю его с полночи. Приехал на поле. Он только-только кончил старую пашню и переехал через дорогу на целину, на выгон. Здесь земля непаханая, тяжелая... Чувствую, звук неладный. Однако ничего. Поговорили. Простились. Пошел он, да забыл свое курево в кабине. Берет на ходу. Я еще посмеялся: как ты, мол, голову свою не позабыл! А он и ответить не поспел. Треснуло, крякнуло, я и понять ничего не в силах. Гляжу — темно, трактор встал, Михаил на земле лежит.

Михаила привезли домой, чтоб оглядеть при свете. Рука у него повисла, плечо вздулось.

— Убили! Убивци вы окаянни! — закричала Гапа.

Пока шофер ездил за доктором, она то замирала на груди Медведева, то металась по комнате с криками и проклятьями. На крик вышли соседи, испуганные лица прильнули к окну. Увидев их, Гапа кинулась к ним на улицу, и уже оттуда раздался ее истошный крик:

— Изувечили Михаила мого! Як знала, не видпускала, як чуяла! Та будь воны распрокляты со своими ночными севами... На пагубу людей шлют, лиходеи! Загубили мого наикращего!

Утром Курганову сообщили, что сорвался еще один

противовес, и опять на залежных участках, на которые колхозники возлагали особые надежды. И этот обрыв произошел ночью. Несколько бригад отказались от ночных работ.

МТС отправила акты на завод, а Курганов дал срочную телефонограмму в обком: «В течение трех последних месяцев произошло три обрыва противовесов на вновь полученных тракторах №№ 2051, 2999, 3751. Выбиты блоки двигателя, сломаны распредвалы. Сорвавшимся противовесом переломлена ключица у тракториста Медведева. Аварии отрицательно влияют на ход весеннего сева. Прошу принять меры».

День прошел тревожно. Те новые тракторы, которые, как особую честь, вручали трактористам, работающим на самых трудных, залежных землях, стали пугалом. Некоторые трактористы отказывались работать на новых тракторах, другие не хотели пахать залежные земли, считая их причиной беды, третьи боялись работать в ночную смену.

А солнце, наверстывая упущенное, грело почти по-летнему. Южный ветер был тепел, но так силен, что гнул деревья и срывал шапки. Уже кое-где на дорогах закружилась пыль. В конце дня Курганов вернулся в райком. Алый закат на почти безоблачном небе предвещал знойный и ветреный день. В окно видно было, как оброненная кем-то газета, переворачиваясь, носится по площади. Женщины, выходя из соседнего магазина, придерживали руками юбки.

«Чертова весна...— подумал Курганов.— То мочит, то сушит что есть силы. Закончить сев максимум в пять дней! Полный размах ночных работ во что бы то ни стало!»

Позвонили из обкома. Вызывал Бликин.

«Получил мою телефонограмму»,— подумал Курганов, взял трубку и услышал знакомый твердый баритон:

— Товарищ Курганов? Как идет сев?

— Большие трудности, Сергей Васильевич.

— Трудностей у вас не больше, чем в других районах, а сев закончили все, кроме вас. Вам это известно?

Начальственные интонации, к которым Курганов не привык, хлестнули его. Тотчас вспомнились почему-то институт, кафедра, ряды книг в шкафах красного дерева. «Я не ниже тебя по уму, по партийной принципиальности, по человеческому достоинству,— говорило это воспоминание.— Мог бы профессорствовать, приехал сюда по партийному долгу. И работаю не хуже, чем ты работал бы...»

На холодно-начальственный тон можно было ответить только еще более холодным тоном.

— Возможно,— сказал Курганов ледяным, академическим голосом.— Если вы знаете область, то знаете, что наш район северный и единственный по рельефу — с него начинается горный кряж. Именно у нас наибольшее количество осадков и наибольшая сила вихрей.

В трубке молчали. Очевидно, Бликин не привык, чтоб секретари райкома говорили с ним в таком тоне. Наконец он ответил:

— В прошлом году ваш «единственный по рельефу» район закончил сев одновременно с другими районами.

— В прошлом году пришлось пересевать треть ярового клина. Я не хочу повторять ошибок прошлого года.

— Кто дал вам право уменьшать посевную площадь?

— Мы не уменьшаем площади... Мы уменьшаем цифру в сводках.

— Как так?

— В сводках пять тысяч гектаров неосвоенной земли числились как освоенные. В действительности мы только приступаем к освоению залежей.

— Мы не можем допускать снижения посевных площадей.

— Я уже сказал, что у нас происходит не снижение площадей, а прекращение очковтирательства. Посевные площади фактически увеличиваются...

Курганов чувствовал, как кровь пульсирует в висках. «Что за разговор с секретарем обкома? Что за разговор?» — думал он.

— Обком с площадями разберется. Но, повторяю, мы не можем допустить снижения. То, что не освоено, надо освоить...

«Понимаю,— подумал Курганов.— Обкому нельзя уменьшить цифру и сознаться перед вышестоящими в своем вольном и невольном очковтирательстве».

— Товарищ Курганов, мне непонятна также ваша линия в животноводстве. В районе производится забой скота, вводится двукратная дойка и невиданная система дополнительной оплаты. Из шести литров сверхплановой — один литр доярке? Это с вашей санкции?

— Да. И даже по моей инициативе.

— Устанавливать такие нормы выдачи — значит культивировать рваческие настроения! — резко сказал Бликин.— Идете по линии дешевого авторитета.

Курганов стискивал зубы, боясь в досаде наговорить необдуманных слов.

— Дополнительная оплата «один из шести» касается одного, и наихудшего, колхоза,— сказал он наконец и не узнал своего голоса.

— Очевидно, придется вас вызвать и заслушать...

Чувствуя, что разговор идет к концу, Курганов заторопился спросить о главном:

— Сергей Васильевич, вы получили мою телефонограмму? — В голосе его неожиданно прозвучали жалкие, просящие ноты, и он выругал себя: «Голосишко трусливый, подхалимский...»

— Получили. Выслал людей. Разберемся. Вы тут телеграфируете, что три противовеса сказываются на ходе сева. Я вижу стремление слабую работу райкома прикрыть то «единственным рельефом», то тремя противовесами. Несостоятельная попытка.

— Я не прикрываюсь ни рельефом, ни противовесами. Я сигнализирую о неблагополучии на заводе.

— Почему на заводе, а не в районе? Возможно, причина в неправильности эксплуатации. В Кудринской МТС умудрились просто снять один из противовесов. Гирь на складе не хватало...

— Значит, были еще случаи?

— Причины крылись в эксплуатации, и процент обрыва к общему выпуску ничтожен. Работники завода завтра будут у вас.

Разговор закончился. Курганов долго сидел, прижав к уху беззвучную трубку.

«Процент ничтожен... Да, там это выглядит как «ничтожный процент»...

Он понимал, что оттуда не видно ни Медведева, лежавшего, раскинув руки, в ночном недопаханном поле, ни «Мыса доброй надежды», куда с любовью посылали самый лучший, самый новый трактор, ни этого трактора, истекающего маслом. Оттуда не слышно воплей Гапы и разговоров трактористов, которые после небывалой и опасной аварии теряют доверие к новым тракторам, к ночным работам, к залежам...

Там весь этот сложный жизненный переплет превращается в «ничтожный процент», ни в ком не вызывающий тревоги.

Глава XIV

ЭТО БЫВАЕТ

Поднимаясь в комнату технологов, Тина мельком взглянула в зеркало и не узнала себя — так блестели светлые глаза на смугловатом лице, так легко лежали задумчивые брови. Она всегда была равнодушна к своей внешности. Сперва была слишком юна, чтобы думать о

ней, потом была слишком любима другим, чтобы самой любоваться собой. В тяжелые дни собственное лицо интересовало ее лишь как маска, которой надлежало скрывать ту боль, что внутри. Сегодня она почему-то обрадовалась своей красоте.

Володя уехал на год в Москву, в институт, где готовил к защите диссертацию. Дома было пустынно. Вся жизнь Тины сосредоточилась в цехе и в «фонарике».

Перестройка цехов, начатая Бахиревым, шла полным ходом; с каждым днем увеличивалось количество и сторонников ее, и противников. Сторонниками были те, кто все больше убеждался в ее необходимости и ждал ее результатов. Противниками были те, кто не видел нужды в ней, зато видел, как падает и выработка и заработок, как горит план и расшатывается дисциплина. Борьба вокруг Бахирева разгоралась. Каждый день был напряженным и острым.

Тина была захвачена этой борьбой, ее несло бурным потоком бахиревской жизни. С утра до ночи она сидела в чугунолитейном, пытаясь в общем разгроме сохранить какое-то подобие выполнения плана, удержать в каких-то границах снова подскочившие цифры брака.

В короткие минуты встреч в «фонарике» она старалась быть бодрой и веселой, старалась дать подобие отдыха этому человеку, на плечи которого ежедневно обрушивались тонны необработанного и испорченного металла. Она часто писала Володе о заводских делах и о Бахиреве. Когда он в письме шутливо упрекнул ее за частое упоминание главного инженера, она ответила: «Если бы он был женщиной, я подружилась бы с ним (или с ней) еще ближе. Ты пойми — никогда еще не было на заводе так трудно и так интересно. Если бы это сделала женщина, это, может быть, стало бы еще удивительнее. Но и Бахиреву нельзя не удивляться. И нельзя ему не помогать».

Она была вполне искренна, но безотчетно и незаметно она все больше свыкалась не только с ним самим, но даже с его детьми.

Сагуров пришел к ней в комнату поговорить о делах и шутя пригрозил:

— Переведу я тебя на другую работу! Мастера брак делают, лишь бы ходить на браковочную площадку, глядеть на тебя. Что с тобой сегодня? Праздник, что ли?

— У меня сегодня день рождения.

Сегодня действительно был день ее рождения. Дома было пусто, и она решила отпраздновать его с детьми и Бахиревым. Встала с солнцем, на рассвете, испекла каждому по булочке в виде птицы. С увлечением лепила

из теста хвосты и крылья, мастерила изюмные глаза, украшала перья разноцветным цукатом. В одну из птиц запекла на счастье горячий уголек — кому достанется? Хоть чем-то на минутку развлечь и позабавить человека, не знающего отдыха... Хоть улыбнется.

Корзину с пирогами она поставила в шкаф технологов. Позвонил телефон, она взяла трубку и услышала голос Рыжика. Рыжик сообщал, что получил сейчас пятерку по немецкому языку. Она так обрадовалась, что, сияя, сказала Сагурову:

— Это Рыжик звонил. У него пятерка по немецкому.

— Какой Рыжик?

— Бахиревский.

— А ты тут при чем?

Она смутилась:

— Так я же его рисую... Во время сеансов говорю с ним по-немецки.— Она не могла не добавить:— Такой отличный, одаренный, добрый и смелый мальчишка!

— А я пришел тебя огорчить.

— Что?

— Суд восстановил «неубиенного»! Пуговкин явился в цех...

— А как же теперь я? — Она засмеялась: ничто не могло омрачить ее праздничности.— Повисла в воздухе между ЧЛЦ и отделом главного металлурга?

— Как-нибудь устроится.

— Я тоже так думаю...

Бахирев шел разгромленным чугунолитейным цехом. Стена и пол были проломлены. Установка конвейера затягивалась: не хватало то одного, то другого. Одна вагранка была остановлена на внеплановый ремонт. Она все равно простаивала из-за нехватки металла. Как только инструментальный цех прекратил работу над станками для железнодорожных мастерских, стали срываться внеплановые погрузки, обещанные ранее. Заводу грозил металлургический голод. Бахирев решил использовать перебой с металлом для ремонта печей и вагранок. Печи ремонтировались, но программа «горела», рабочие не выполняли норм, и заработки их падали. Даже здесь, в чугунолитейном, где Бахирева знали и любили больше, чем в других цехах, он все отчетливее чувствовал и скрытое недоброжелательство, и открытую вражду отдельных людей.

Высоченный парень в рубахе, расстегнутой на груди, загородил ему дорогу:

— Товарищ главный инженер! Как же это на заводе поступают с рабочим классом?

Бахирев вспомнил, что видел этого парня раньше у конвейера и слышал его разговор с Сугробиным.

— Это с кем же конкретно?—спросил он, не убавляя шагу.

— А хотя бы со мной.

— А еще с кем? Ни с кем? Значит, вы есть весь рабочий класс?

— А кто же я, по-вашему? Приходишь на работу— тебя не допускают... Безобразничают...

— Вы прогуляли? Значит, не безобразничают, а выполняют мое распоряжение—прогульщиков к работе не допускать.

— Под рабочих копаете? Что ж нам, рабочим, голодать?

Он говорил громко, с явным намерением привлечь внимание окружающих.

— Рабочий класс не прогуливает и не хулиганит на производстве,— отчетливо сказал Бахирев.— В ближайшие дни кончится перестройка цеха, и заработки будут больше прежних.

Один из рабочих отодвинул парня.

— Какой ты, Евстигешка, рабочий?

Потом спокойно сказал в лицо Бахиреву:

— А что касается посулов, то много вы нам сулите, товарищ главный инженер. Говорите: «Прогрессивка, прогрессивка!» А вон она.— Он поднял руку и показал пальцем в потолок, словно там летело что-то.— Вон она, лови ее!

Недовольство нарастало и в других цехах. В моторном цехе приступили к работе со сменным заделом. Огромное количество обезличенного брака заставило прибегнуть к этой временной мере, несмотря на протесты Бахирева.

Была выделена специальная площадка, куда рабочие каждой смены складывали незаконченные детали. На этой площадке Бахирев увидел щуплую фигурку с неприятно знакомыми легкими неверными движениями летучей мыши. «Князь Малютин»! Действительно, это был он. Вызывающе вскинув дряблое лицо, он смотрел на Бахирева.

— Вы здесь?

— Сперва заимейте свою фабрику, а потом увольняйте!—нарочито громко сказал «князь».— Нас с товарищем Пуговкиным по суду восстановили. А вам взыскание за беззаконие. Кадровиков разгонять да производство доводить до ручки не позволят! Рабочие сидят без заработка.

И в глазах у некоторых рабочих снова прочел Бахирев молчаливое согласие с нападками Малютина.

На площадке задела, где вчера еще лежала груда деталей, сейчас было пусто. Башней высился Рославлев.

— Кто растащил сменный задел?.. Кто, я спрашиваю?—громыхал он, перекрывая шум станков.

Одни уклончиво отвечали:

— Не мы...

— Может, другая смена... попользовалась...

Другие открыто говорили:

— Взяли. Простаивали, не подали нам детали, а тут лежат рядом недоработанные. Ну и взяли!

Третьи сомневались:

— Мероприятие непривычное. Пока от него одно затруднение.

Малютин подстрекал недовольство:

— Я упреждал. Работать на сменных заделах—дело гиблое... Если на заводе трехсменка, то и неоконченные детали должны передаваться от одной смены другой!

— Я знаю, за что ты ратуешь!—напустился на него Рославлев.—Чтобы свой брак можно было передать другой смене! Тебе обезличка выгоднее, прах твою душу! А нам необходимо выявить бракоделов. Брака—страшное количество, а кто сделал, не докопаешься.

Бахирев не одобрял сменных заделов, но знал, что еще не завоевал достаточного авторитета у Рославлева и что Рославлев неавторитетного человека не станет слушать. «Этого зверя званием главного инженера не прошибешь. Сам убедится в своей ошибке».

— Надо бы сменное клеймо,—сказал он.

Рославлев не пожелал ответить, но бровями-щетками указал на Малютина, ходившего вдоль линии коленвала с подчеркнутой развязностью, и сказал:

— Одолел нас князь Малютин. Умнее надо было действовать. Хитрей...

Бессилие перед Пуговкиным и Малютиным уязвило Бахирева.

Сорвалось с Малютиным и Пуговкиным, не вышло с вентиляторами, нарушены сроки установки конвейера и сроки переорганизации моторного цеха. Срывалось многое из задуманного. Выполнение дневного плана было наименьшим за последние два года. И все же Бахирев не терял уверенности. Он видел: еще одна-две тяжкие недели—и войдут в строй новый конвейер в ЧЛЦ, новые поточные линии в моторном, отработаются навыки комплектной сдачи деталей. Важно было продержаться эти две-три недели.

Он жил на предельном напряжении, которое немного ослабевало лишь в те минуты, которые он проводил с детьми и Тиной. В конце дня он уже начинал ждать этих минут, как ждет работающий в чаду человек того мгновения, когда можно будет глотнуть свежего воздуха.

Ровно в семь он сидел в «фонарике», и все было так, как хотела Тина.

Мягкий вечерний свет падал на стол, убранный цветами. Дети щебетали вокруг нее. Бахирев улыбался ей той улыбкой, которой она ждала.

Она сидела в центре застолья и угощала булочками.

— Тетя Тина, это какая птица? Это птица-воробей?—допытывался Бутуз.

— У воробьев хвосты узенькие,—возражала Аня.

— Это жар-птица!—установил Рыжик.—У нее разноцветные перья...

— Почему вы не предупредили, что у вас день рождения?—укорял Бахирев.—Мы приготовили бы подарки. Теперь придется дарить завтра, задним числом.

— А завтра я сюда не приду. Завтра политучеба. А послезавтра заводской вечер.

— Я принесу подарок на вечер.

— Вы мне подарите первый танец,—улыбнулась Тина.—Я хочу видеть вас веселым.

— Ладно. В честь такого дня я согласен веселиться. И там мы с вами выпьем по бокалу шампанского или, на худой конец, портвейна в честь этого дня. У вас там не осталось еще одной жар-птицы? Я свою уже съел нечаянно!

Когда открылась дверь и на пороге показалась высокая женщина в синем платье, Тина сперва не узнала ее, хотя не раз встречала прежде. Только увидев обернувшееся к двери, внезапно застывшее, багровое лицо Бахирева, она поняла, кто это. Женщина вошла так просто и властно, как действительность входит в сон. Дети с криком побежали навстречу матери. Простым, домашним голосом она сказала Бахиреву:

— Митя, от Нюры телеграмма. Она приезжает с восьмичасовым. Надо ехать встречать. Я тебе звонила, но никто не подошел к телефону.

— Тетя Нюра приезжает?!—закричали разом Рыжик и Аня.

А женщина приветливо обратилась к Тине:

— Вы, наверное, и есть «тетя Тина»? Я уже столько слышала о вас и о вашей картине! Это она? Можно взглянуть?

— Нет, еще рано, не готово!—Тина поспешно повернула мольберт к стене.

Бахирев торопливо говорил:

— Садись, Катя. Нет, сюда. Сейчас я позвоню в гараж. Сейчас машину.

Он суетился возле нее, дети льнули к ней, а она сидела

среди них, спокойная, яснолицая, сложив на коленях крупные, добрые руки, и говорила Бахиреву:

— Ты ведь знаешь нашу Нюру! Боится беспокоить, а только больше хлопот. Ну что бы предупредить заранее! Теперь надо мчаться как на пожар, и не знаю, успеем ли к поезду!—Спокойным, хозяйским движением она поправила пояс на Рыжике.

Тина собирала краски и кисти, не в силах ни уйти, ни вступить в разговор. Она не поднимала глаз и видела только большие белые руки на темном платье—руки его жены, руки матери его детей. Не глядя на Бахирева, она все время мучительно ощущала его суетливость, растерянность и неловкость.

Он вызвал машину, и, занятые своими семейными делами, они торопливо ушли, наспех простившись с Тиной.

Она, сжавшись, сидела у мольберта. На столе недопитый чай и недоеденные «жар-птицы». Горячий уголек счастья так и остался необнаруженным в одной из них.

Что произошло? Ничего! Ничего. За ним зашла жена, и они поехали встречать родственницу. Никакого «происшествия»! Все просто. Почему же такая боль в сердце? И такой стыд?

Она оглянулась в растерянности, ища ответа и помощи. Было пусто и тихо. Недоеденные «жар-птицы» безмолвно смотрели изюмными глазами. «Каким достоинством и уверенностью веяло от этой женщины! Одно мановение ее белых рук—и рухнуло все веселье этого застолья, вся радость последних дней. И как суетился он, словно нашкодивший мальчик, как был неловок и угодлив перед ней с ее большими, спокойными руками! И хоть бы извинился, уходя. Вскользь брошенное сквозь зубы «до свиданья». За что?!»

Все в той же растерянности она наскоро убрала «фонарик», перенесла мольберт в другую комнату и пошла домой. Но и дома она продолжала думать: «Что все-таки произошло? Неловко было не только ему. Я сама не знала, куда деваться! Точно эта женщина своими большими руками коснулась чего-то очень глубоко спрятанного в нас. Но, значит, было это спрятанное? Если не в нем, то во мне?»

Она вспомнила непонятное острое чувство, охватившее ее в ложе, и покраснела сама перед собой.

«Нет! Нет! Нет! То прошло, изгнано, позабыто! У меня есть мой Володя! Если бы Бахирев был дряхлым стариком, уродом, женщиной, но воевал на заводе так же, как сейчас воюет, я отнеслась бы к нему с такой же

дружбой. Но, может быть, он подумал, что я... ищу другого? Нет! Он не смеет так думать! Может быть, он испугался, что жена так подумает? Я должна понять... Послезавтра на вечере... он подойдет ко мне».

Где бы Бахирев ни видел Тину—в цехах, в заводоуправлении, на собрании,—он всегда подходил к ней с радостью. «Он подойдет и на вечере. И я шутя скажу ему: «Что это за «тетя Нюра», при одном упоминании о которой вы становитесь неузнаваемы и утрачиваете даже простую вежливость?» Нет, не надо выламываться. Я скажу прямо: «Вы так простились со мной вчера, что мне стало больно». Нет. И так нельзя говорить! Я посмотрю на него и все пойму. Я должна понять, что происходит»,— повторяла Тина.

Но она не спрашивала себя, почему ей так необходимо это понять...

На нее за что-то сердился Сагуров, ей постоянно грубил Пуговкин, Демьянов говорил ей иногда странные слова и с десятками других людей в многотысячном заводском коллективе случались у нее столкновения, неувязки и недоговоренности, но она тут же забывала о них. Почему она не могла заснуть от одного неловкого слова, сказанного Бахиревым? Почему стало невозможно жить и дышать, пока узкие бахиревские глаза не взглянут на нее с прежней лаской и радостью? Об этом она даже не спрашивала себя в своем смятении...

И Бахирева весь вечер и ночь не покидало чувство стыда. Дела и заботы загоняли это чувство в глубину, но стоило ему на минуту отвлечься мыслью от заводских трудностей, как всплывало в памяти Катино внезапное появление, своя отвратительная растерянность и свой блудливо-угодливый тон. Он морщился и старался скорее думать о другом.

Утром ему позвонили. Он взял трубку и не сразу узнал бархатный, ласкающий голос. Ему звонил начальник МВД Корилов. Бахирев из Москвы ехал в одном вагоне с ним и с Вальганом. Они познакомились, выпили, заговорили на «ты». После этого раза два встречались на областных совещаниях.

Корилов спросил запросто, почти дружественно:

— Что у тебя там творится на заводе? Гробится программа?

— Идет переорганизация.

— А что с противовесами? Летят противовесы?

— Противовесы? Не знаю.

— Ты не знаешь, а я знаю. У тебя там на дворе два трактора с пробоинами. Почему систематически задерживаете подачу деталей на конвейер?

— Я не задерживаю детали, а ввожу комплектную сдачу деталей. Считаю это необходимым.

— А выполнение программы ты не считаешь необходимым?

Бахирев молчал.

— Так вот что,— тем же весело-дружественным тоном продолжал Корилов,— ты скажи... ты там сидишь или стоишь?

— А что?

— Смотри, как бы тебе не сесть!

Бахирев с силой опустил трубку на рычаг. Немедленно раздался звонок, и снова прозвучал бархатный голос Корилова:

— Нас разъединили?

— Нет. Я повесил трубку.

— Почему?

— С арестантом не разговаривают.

Бахирев снова повесил трубку. Он слышал, как сердце тяжело ворочается в груди.

«Надо взять себя в руки... Не испугался же я? Надо делать свое дело... Что там он говорил о противовесах?»

Он вышел из кабинета. На заводском дворе действительно стояли два трактора с зияющими пробоинами. Такая пробоина уже поразила его однажды, напомнив военные годы и танки, пробитые вражескими снарядами. Вальган сказал тогда, что рекламация снята, потому что причина в грубом нарушении эксплуатации. На местах противовесы снимались, использовались как гири на складе... Один такой случай возможен. Но еще два? Он просмотрел документы. Тракторы были последнего выпуска. Несколько недель назад их отгрузили с завода. Он ощупал зазубренные края. Чугун был прорван, словно картон. Какая сила рвала металл? Загадочные противовесы лежали здесь же.

Бахирев ломал голову над новой задачей, когда радостный Уханов сообщил ему, что получена телеграмма от Вальгана — он приезжает завтра. Бахирев выпустил из рук противовесы. Значит, все.

«Калиф на час» отжил свой час».

Ему захотелось еще раз окинуть взглядом все то, что он успел сделать. Мало. Гораздо меньше, чем он надеялся сделать. Его потянуло еще раз окунуться в разгром чугунолитейного, в сумбур моторного, пройти к инструментальщикам.

Он брел цехами. К нему вернулись медлительная походка и рассеянно-сосредоточенный взгляд первых дней. Каждый шаг убеждал его в ничтожности достигнутого. Вот вкладыши. Они стали качественными. Но разве

решена проблема вкладышей — проблема биметаллической ленты, изготовленной на специализированных заводах? Вот гильза... Гильза идет без овала. Но еще велика ее стоимость. Надо переводить гильзу на кокиль. Но в его ли это силах сегодня? Где средства, где оборудование, где, наконец, разрешение главка? Вот злополучные втулки. Он недавно принял нового инженера, специалиста по металлокерамике, и поручил ему освоить производство втулок. Но разве это выход из положения? Завод сам изготовляет все — от втулок до кабины, от форсунок до гусениц. Разве это современный завод!

Когда Сагуров наткнулся на Бахирева, он поразился «гамлетовским» выражением, с которым оглядывал станки и линии главный инженер.

— Что вы там увидели, Дмитрий Алексеевич?

Бахирев поднял голову.

— ...Гильзу на кокиль... Трак на кокиль... Это все.— Он указал на стены.— Долой! Долой... долой... долой!— забывшись, твердил он.

— Что долой, Дмитрий Алексеевич?

— Первобытно-общинный строй долой! Мотор делаем. Топливную аппаратуру делаем. Втулки делаем. Скоро сами для себя гвозди начнем делать. Какая производительность труда была при первобытно-общинном строе? Пятиклассники знают. А министерство не знает? Госплан не знает?

«Все здесь, как во времена НАТИка,— думал он.— Вот оно, единство противоположностей! Поточно-массовое производство — самое прогрессивное, но оно и самое консервативное в условиях недостаточной массовости. Предположим, к примеру, что при данной массовости дорогая оснастка сработается за десять лет. Что это значит? Это значит, что все десять лет придется дорожить ею и бояться всяких изменений в ней. Она будет тормозить развитие. Но если увеличить выпуск в десять раз? Тогда оснастка сработается не в десять лет, а в один год. Ежегодно она будет требовать замены. А если уж менять, то, естественно, менять на более совершенную. В условиях максимальной массовости ничто не будет тормозить, но все будет подгонять, и только в этих условиях поточно-массовое производство раскроет всю свою прогрессивную силу. Поток требует максимальной массовости. Каждая крыса тащит за собою свой хвост. У поточного производства есть свой хвост — максимальная массовость. Возможно добиться ее здесь? Да, да, да! Моторы передать специализированным заводам. Освободившиеся площади и мощности — на расширение производства! Но это решает Госплан... Поток требует массовости. Массовость требует

специализации заводов, унификации узлов. Общегосударственная плановая унификация узлов невозможна при капитализме. У нас она возможна! Какой огромный взлет производительности дала бы она! Взлет не за счет безработицы и разорения миллионов, как там, в странах капитала, а за счет планирования. Да, был бы я верующим, молился бы Госплану: «Госплан, Госплан, яви свое могущество!»

Подплывал мостовой кран, и сверху, перекрывая цеховой грохот, властно и требовательно неслись отрывистые звуки его колокола: дон!.. дон!..

«Дайте дорогу! Дайте дорогу» — по привычке перевел Бахирев. Он любил этот короткий и непреклонный, как приказ, звук, что рождался вверху, в движении, все устраняя с пути, и, как удар ножа, рассекал заводскую разноголосицу. Этот звук был сродни сердцу Бахирева.

«Дайте дорогу! Дайте дорогу!» — просили чугун и сталь, литье и поковки, узлы и детали. «Дайте дорогу! Дайте дорогу!» — просило все производство голосами мостовых кранов.

Сагуров молчал, дивясь словам и виду главного инженера. Тот стоял в странной неподвижности, приподняв голову, шевеля губами.

Кран проплывал над ним, распластав крылья. Отсветы металла, лившегося из ближней вагранки, ползли по закоптелому потному лицу Бахирева. Он повернулся к Сагурову, широким жестом указал на окружающее, и начальник цеха услышал странные, насыщенные горечью, иронией, страстью и похожие на мольбу слова главного инженера:

— Госплан, Госплан, яви свое могущество!..

На следующий день был традиционный заводской праздник «первого трактора». Ежегодно в тот день, когда с конвейера сошел первый трактор, во Дворце культуры устраивали торжественное заседание, бал, выставку. В этом году день «первого трактора» праздновали особенно торжественно: этот праздник по плану, предрешенному Вальганом, был как бы репетицией следующего, юбилейного года. В будущем году собирались праздновать юбилей завода, и Вальган задумал отпраздновать эту дату с размахом — с премиями, с орденами, со статьями в газете.

Уже в этом году на заводе по приглашению Вальгана работала группа художников, писателей, журналистов. Создавался заводской альбом, готовилась и роскошно иллюстрированная книга о заводе — все делалось по-вальгановски широко, парадно и щедро.

Тина была полна таким тревожным и напряженным ожиданием, словно судьба ее решалась в этот вечер. Минутами она спохватывалась и сама недоумевала: «Ну, чего же я жду? И чего хочу?—И отвечала:—Ясности! Только ясности! И чтоб все опять стало так, как до позавчерашнего вечера!—Она сама ловила себя:—Но почему мне так необходима и ясность, и чтоб все было как прежде?—И сама безотчетно ускользала от себя:— Но у меня же один такой друг...—И пыталась привычно улыбнуться над собой:—Он же «моя лучшая подруга». Разве не встревожила бы меня размолвка с «моей лучшей подругой»?»

Не для лучшей ли подруги одевалась она с особой тщательностью?

Платье ее любимого, серо-голубого, под цвет глазам, тона, без единой лишней складки, простое, облегающее и по-весеннему открытое, простой бирюзовый браслет на руке и бирюза на шее, легкие туфли из черной замши.

Когда она вошла во Дворец культуры, ей стало неловко: разговоры затихали при ее приближении, и головы поворачивались ей вслед. Даже грубоватый Рославлев, повстречав ее на лестнице, склонился в шутливом поклоне.

— Вы не идете, вы шествуете! Перед вами расступаются.

Алексеев был здесь же. Он должен был выступать на заводском концерте. Он оглядел Тину восхищенно.

— Первый класс! Вы невероятная женщина! Вы можете все, что захотите. Даже стать первоклассной красавицей, когда вам захочется. Познакомьтесь.

Он представил Тине журналиста и двух художников. Журналист Шапонин был одутловатый, большой человек, похожий на Алексеева лихорадочным взглядом больших глаз. Столичного художника Дунаева, худого, тихого, с костистым лбом, Тина видела впервые, а второго, местного художника Вирина, плюгавенького, весноватенького, с носиком пуговкой, она знала. У него был маленький подбородок и маленький рот с синими губами, стянутыми кисетом. Когда подбородок шевелился и рот открывался, казалось, что из него, как из куриной гузки, вот-вот выпадет яйцо. Вирин пришел с женой, известной в городе красоткой Зиной, ради которой недавно бросил жену и детей.

— О-го!—сказал Шапонин.—Художница еще лучше, чем ее картина.

Ее картина была выставлена вместе с работами заводских художников и приглашенных Вальганом профессионалов.

— Вы знаете, настоящая удача!— радостно подтвердил Дунаев.— Во всяком случае, зрители толпятся возле вашей картины.

Он, видимо, радовался Тининому успеху и смотрел на нее испытующим и греющим взглядом, и она не могла не заметить этого.

— Вы смотрите, словно спрашиваете меня. О чем?

— Я спрашиваю себя. Удача или... талант?

— А что такое талант?

— Когда перед тобой подлинное искусство, ты еще не успеешь разобраться, что, как, почему, а уже чувствуешь неповторимость. У таланта всегда свое лицо, и поэтому талант часто спорен. Бесспорна посредственность.

Этому человеку с мягким и взыскательным взором хотелось говорить с Тиной об искусстве. В другое время она слушала бы его с интересом, но сегодня она могла думать только об одном: «Здесь ли он?» И, не дослушав Дунаева, не замечая своей невежливости, она пошла дальше.

Ее окружили, а она смотрела через головы и плечи все с той же мыслью: «Где же он?» Его не было. Тогда она, с трудом выскользнув из окружения, прошла в артистическую— там обычно до заседания сидели члены президиума. Его не было, но здесь на вешалке висело его тяжелое темно-синее пальто с оттянутыми прорезными карманами. Очевидно, он налегке, другим ходом прошел на завод.

Во время заседания Бахирев сидел в президиуме.

После заседания Тина уселась в фойе так, чтобы видеть выход из артистической. Ее звали танцевать— она не шла. Ее тянули в буфет— она отказывалась. Наконец он появился в фойе. Она быстро встала, сделала шаг навстречу. Он прошел рядом. Его взгляд безучастно скользнул по ее лицу. Она даже не поняла, увидел ли он ее. Она знала его способность, сосредоточившись, не замечать окружающего. Но, значит, он совсем забыл и о ней, и о нанесенной ей обиде, и о своем обещании танцевать с ней? Он не оглядывался, не искал в толпе, не ждал, не помнил! Тогда она заметалась по комнатам Дворца культуры. Только бы он увидел ее! Он всегда подходил. А сегодня... Ни один сегодня не прошел равнодушно мимо. Даже Василий Васильевич, увидев ее, крякнул и развел руками:

— Ну, Тина Борисовна! Ничего не скажешь! Глянь— и помирай!

Она металась по Дворцу культуры, как мечется птица, залетевшая в комнату, и хвост ее поклонников метался за ней, бунтуя и удивляясь ее беспокойным прихотям. Бахирева не было нигде. Она снова кинулась в артистиче-

скую. Пальто висело. Значит, он другим ходом опять прошел на завод. Она прикоснулась к оттянутой посредине кромке еще влажного от дождя кармана. Он должен вернуться за пальто. Теперь она караулила его пальто. Темно-синее пальто с оттопыренными карманами, словно носившими след сжатых кулаков.

Заиграли вальс. Тот самый первый вальс, о котором она думала этой ночью. Танцевали в зале, в фойе, в коридорах. Мелькали разгоряченные лица, слышались голоса. Все было полуреально и далеко. В мире существовали сейчас две реальные вещи — тяжелая дверь артистической и там, за дверью, его пальто. Тину поминутно звали танцевать. Она устала говорить «нет» и наконец пошла с Шапониным.

— Только здесь! Только в этом коридоре! Здесь прохладнее...

От двери в артистическую, мимо лож, до входа в буфет, и снова все к той же двери в артистическую.

Должен же он прийти за пальто!

В голове у нее мутилось от этого однообразного и почти судорожного кружения. «Пляска смерти вокруг синего пальто!» — сама над собой подшучивала Тина.

Шапонин твердил ей:

— Вы не только самая красивая... Вы особенная...

Ей было больно слушать. «Зачем? Зачем мне быть самой красивой?»

— Но что за фантазия танцевать здесь? — Голос Шапонина доносился издалека.— В зале гораздо лучше!

— Нет. Только здесь.

Она кружилась, как на привязи, накрепко прикованная невидимой цепью к одной точке — к темно-синему пальто с карманами, хранившими отпечаток больших кулаков.

Наконец Бахирев прошел в артистическую, попрежнему не подняв глаз и не заметив ее.

Она резко остановилась.

«Я сама пойду туда! Прямо к нему. Ведь были же мы друзьями. Ведь не приснилось же мне, не ошиблась же я!.. Я пойду к нему. Как отвязаться от Шапонина?»

Она приказала:

— Пойдите принесите мне мороженого.

— Сюда? Тина Борисовна! Смилуйтесь! Пойдемте же в буфет, в гостиную, в зимний сад, куда угодно! Но зачем в коридоре?!

— Я хочу сюда!

Едва отправив его, она, не дыша, прошла в артистическую. «Сама. Недостойно? Унизительно? Все равно».

В артистической никого не было. Угол, в котором висело пальто, зиял пустотой. Очевидно, Бахирев, одев-

шись, ушел через сцену. В трюмо она увидела себя во весь рост. На голубоватой ткани платья бессильно брошенные смуглые и гибкие руки с бирюзовым браслетом на тонком запястье. И глаза, блестящие, как бирюза.

Никогда она не была такой и, наверное, никогда не будет. Все женское, копившееся годами, вдруг вырвалось, расцвело, раскрылось в дрожи тенистых ресниц, в блеске глаз, в новом изгибе приоткрытых губ. Она протянула руки к самой себе, к своему отражению, и коснулась холодного стекла. Ей стало жаль не себя, но красоты, которая цвела за тонким стеклом так щедро и безрадостно. Его нет. Он дважды прошел рядом и даже не оглянулся.

«За что такой беспощадный переход от дружбы к презрительному безразличию? Разве я сделала что-нибудь плохое? Разве я хотела чего-нибудь тайного и недостойного?» И кто-то внутри насмешливо и грозно спросил: «А разве ты не хотела и не хочешь сейчас, чтоб он подошел и, как тогда, в ложе, взял тебя за плечи?..» Ей стало страшно: войдут, увидят... Она торопливо погасила свет в артистической, как будто по лицу ее можно было прочесть тайну, которую она до этой минуты скрывала от самой себя. Она сжалась в комок в углу, возле свернутого задника. «Что же это? Бред? Лихорадка? Любовь? Любовь? Почему один нужнее всех для меня?»

Беспомощная и придавленная своим открытием, сидела она одна в темной артистической.

Шапонин искал ее с мороженым. Ткнулся в дверь, но не догадался зажечь огня. Он ушел, не прикрыв дверь, и в трюмо отражался теперь кусок коридора, вход в буфетную, возникали и исчезали танцующие пары.

Тина пыталась овладеть собой.

«Ну, хорошо,—думала она,—если уж приспичило мне такое... то почему он?» Она перебирала всех, кого знала когда-либо, и не могла ни найти, ни придумать никого, кто мог бы разбудить хоть тень чувства.

В трюмо мелькнул Чубасов.

«Хороший, умный, добрый, но разве есть в нем эта безудержная решимость?—думала Тина.—Рославлев? Отличный, но разве он может так видеть будущее завода и так бороться? Вальган? Нет, нет. В нем все ложно, все напоказ! Да что думать? Он, он один».

В смятении она поднялась и быстро выбежала из артистической. Ей хотелось бежать от своих мыслей, от своего открытия, от той Тины Карамыш, что жила в большом зеркале.

Она прошла в буфет: ее звали чуть не к каждому столику. Уханов усадил ее с собой.

— Вы всегда нравились мне. Но я не знал, что вы такая.

Ей захотелось вина. Она выпила два бокала. Все стало зыбким и неверным. Она лихорадочно кружилась то с одним, то с другим. Уханов все вертелся около нее и просил о чем-то. Он наскучил ей, она хотела уйти, но он не пускал:

— Я отвезу вас домой.

— Я еще не хочу домой! Мне незачем домой!

— Но когда вы захотите домой, я отвезу вас.

— Все равно.

— В двенадцать мы едем. Что бы ни случилось, помните: в двенадцать я жду вас с машиной у входа.

С ней рядом оказался Сагуров.

— Тина, я все хожу за тобой. Ты сегодня такая красивая, что страшно подойти.

Она притянула его и тотчас отстранила.

— Ты уходи, Женечка... Ты хороший...

Потом Алексеев усадил ее за свой столик и твердил ей:

— В вас сегодня влюблен весь завод! Но за мной стаж — пятилетка молчаливой любви.

За этим же столиком сидели Вирины.

Со странным ей самой любопытством она вглядывалась в них. «Такие оба поганые, а счастливые... Ах, я не лучше, не лучше их сегодня, только и разница, что несчастна!»

Вирин написал два портрета Бликина и писал портреты всех часто сменявшихся председателей облисполкома. Не лишенные уверенности и таланта, портреты эти претили Тине помпезностью и деревянностью. Однако Вирин шел в гору, жил в обкомовском доме, отстроил богатую дачу, и ему заказывались картины ко всем торжественным и юбилейным дням.

Жена его была, несомненно, красива выхоленной, сделанной профессиональной красотой.

«Такая красотка — и он!» — думала Тина. Сегодня ее как никогда остро интересовало все, что касалось любви. Известная всему городу жизнь Зины заключалась в неутомимой, напряженной погоне за богатым мужчиной. Ей на редкость не везло. У нее было много и мужей и любовников, но ей не удалось заполучить напрочно ни одного настоящего мужчину, и даже ни одного богатого, ни одного из тех, кого без специальных стараний получали многие из простых, собравшихся здесь женщин. Завладев наконец долгожданным мужем с дачей и автомобилем, она, очевидно, была горда и счастлива. Покой, умиротворение и взаимное довольство осеняли эту пару.

Алексеев повел Тину танцевать. Она шла в ленивом ритме бостона.

— По-вашему, он талантливый художник?

Алексеев засмеялся.

— Талантлив Дунаев! Давно, когда я еще не был алкоголиком, я тоже был талантлив. А Вирин?.. Вчера ему платили за победоносные картины, и он рисовал омоложенного секретаря обкома и председателя облисполкома на фоне первомайского парада. Сегодня хотят правды жизни и конфликтов. Он рисует того же председателя облисполкома, но с бородавкой на носу и на фоне испорченных опок. Если завтра будут платить за изображение дамской туалетной в Московском университете, он будет рисовать дамскую туалетную.

Пары скользили, а Тина все пыталась разгадать не занимавший ее прежде закон тяготения. Что заставляет среди миллионов именно этих двух тянуться друг к другу?

— Но эти Вирины — счастливая пара? — спросила она.

— Еще бы! Отлично спаровались! Проститут от искусства и проститутка обыкновенная. Можно сказать, обрели друг друга!

— Но он плюгавенький, пошленький, весь гаденький! А она настоящая красотка! Посмотрите на жен Чубасова, Рославлева, Вальгана. Обыкновенные. А она же красавица! И всю жизнь она занята только тем, что ищет мужчину. Почему же ей достается... такое?

— Закон.

Тина даже приостановилась:

— Какой закон? В чем закон? Говорите: в чем закон?

— На таких, как она, у нас потребители ограниченного контингента и невысокого качества.

— Почему?

— Ну, сами подумайте. Таких, которым нужна жена как витрина для драгоценностей, у нас, прямо сказать, маловато! Красоток для развлечения им хватает, а особенно после войны. За пару ласковых слов и флакон духов... Печально, но факт... Словом, красотка не проблема! Мужчина ищет подругу жизни. Если он человек, он ищет в подруге человека. Если он из хапуг, то он ищет в подруге жизни умелую, но, заметьте, преданную хапугу. Красота в большинстве случаев довесок. Весьма приятный, но довесок!

— Я думала, у Вальгана жена должна быть красавицей. Почему у него такая обыкновенная?

— Потому, что Вальган умный человек. Красоток при желании он будет иметь на стороне в любом количестве. Он же неотразим, когда хочет. А дома ему нужны преданность и комфорт. Его Маргарита — гений домашне-

го благоустройства, она — Вальган в семейном масштабе. Она ездит в Одессу за отрезами на костюм, в Ригу за мебелью и летит в Тбилиси, потому что муж захотел к завтраку свежего винограда. Супружеский сервис первой категории. Вальган знал, на ком жениться! Они пара!

Тина взглянула на красавца Чубасова, кружившего худенькую кудрявую женщину.

— А что связало их?

— Он, бедняга, всю жизнь всех воспитывает. Ему это до того надоело, что он обрадовался, когда кто-то принялся за его воспитание. Заметьте: она воспитывала простодушно, но в должном направлении.

— А наш «новый главный» и его жена?..— с болью и с брезгливостью к себе самой спросила Тина.

— Тоже пара! В обоих такая тяжеловесность и тупой фанатизм, в нем — направленные на завод, в ней — на семью.

«Он не тупой, он честный,— думала Тина, уже не слушая Алексеева.— Поэтому он и не хочет смотреть на меня. Он все понял прежде меня».

— И когда я буду подыхать под забором,— голос Алексеева зазвучал громче, перебил мысли,— а я обязательно подохну под забором,— последнюю минуту мне скрасит гордость. Я буду гордиться двумя вещами: тем, что воевал за великую родину... и тем, что любил великолепную женщину...

Она поспешила уйти от него.

Шапонин снова подошел к ней и усадил ее за столик.

— Вы не слушаете меня. О чем вы думаете?

— Алексеев сейчас говорил мне о законах, по которым мужчины выбирают подруг. Я думаю о том, по каким законам выбирают женщины.

— Ну, и по каким?

— По тем же самым!

— Объясните: по каким? — настаивал Шапонин.

— Если у женщины сердце подруги художника, она залюбуется игрой красок и будет искать того, кто нанес их на полотно. Продажная, услышав о том, кто выгоднее других продает свои способности, прилепится к нему и станет врать ему о любви. А если...

Чтобы скрыть глаза от Шапонина, подняла бокал вина.

— Что «если»? Ну, договаривайте!

— Если женщина рождена подругой бойца, она услышит однажды бряцание лат, увидит, как он шагает, нагнув голову, равно готовый и к смерти, и к победе в бою, не замечая ее... не глядя... не глядя... не глядя ни на кого. Не глядя на нее... И она встанет и пойдет следом за ним... Даже если он идет не оглядываясь...

Она поставила бокал. «Что я говорю? Зачем я говорю? Влюбилась, как безвольная, как ничтожная, растерялась, разболталась. Какой стыд!»

Ей захотелось выйти на воздух, побыть одной. Она едва простилась с Шапониным, бегом спустилась по лестнице, набросила жакетку и выбежала на улицу. Ночь была теплой, сырой и ветреной. Редкие капли падали наискось. Платье билось о ноги. Ей захотелось движения, свежести, здоровья. Она нырнула в темный боковой переулок и побежала. Она почувствовала, как трезвеет голова, как бившая ее лихорадка сменяется спортивной собранностью и ритмом. Она уже привычно следила за дыханием. Она очутилась далеко в конце поселка, у трамвайной линии. Остановилась, отерла с лица и с волос дождевые капли. Все мышцы горели от бега и пружинили. Она обрадовалась их силе. Издалека ночным, стремительным ходом приближался трамвай. Он мчался в парк. «А ну, на полном ходу!—сказала она себе.—И не во второй вагон, а обязательно в первый!» Ей хотелось испытать свое умение преодолеть опасность, пересилить инерцию движения. Нацелилась и под грохот колес одним броском очутилась на ступеньке. Ее рвануло, ветер ударил плотно, как парусина, но она уже стояла твердо, радуясь своему освобождению, крепости своих мышц и точности своего расчета. «Слава богу, я еще человек!»

Она вошла в свой чистый и милый дом, разделась, подальше отбросила бирюзу и платье и в халате села у открытого окна, стараясь обдумать случившееся. Она заново пережила и свое открытие, и смятение, и позор. Она ждала от этого вечера ясности. Ясность и пришла! Лихорадочное кружение вокруг синего пальто, бесстыдная погоня за женатым человеком, который прошел, даже не оглянувшись на нее,—куда уж яснее! И правильно он сделал, что не оглянулся!.. На таких и не надо оглядываться! Такие безвольные и бесчестные не стоят даже взгляда, даже мимолетной приятельской улыбки. Унижая себя, она унизила и свой милый дом, и своего Володю. Правда, никто, кроме нее самой, не знает об этом, но она-то знает! Как загладить вину перед Володей? А загладить необходимо, и она сумеет загладить. Как хорошо, что это прошло! Но что же это было?

Она и сейчас до конца не понимала, что нахлынуло на нее и закружило ее в эту ночь, но все еще слышался ей тихий посвист опасности—словно пуля пролетела у виска.

Вся эта ночь с ее лихорадкой была насыщена чуждым и опасным—метанием, унижением, поминутной ложью. И, едва ступив на чуждую ей тропу, Тина оказалась окруженной чуждыми ей людьми. Шапонин, Уханов,

Алексеев. Она и сама хотела быть с ними сегодня. Переполненная тайным, тем, о чем ни на миг нельзя позабыть и о чем никому нельзя рассказать, она избегала своих друзей — Рославлева и Сагурова, Демьянова и Василия Васильевича. Она могла быть сегодня лишь с такими, которых не замечала, не видела, не слышала, ни во что не ставила.

И, перебирая в памяти длинные, как годы, часы минувшей ночи, она снова спрашивала себя: «Что же это было со мной?» И снова радовалась: «Как хорошо, что эта ночь позади!»

На исходе ночь стала еще сырее и еще холоднее. Тина легла в постель, но и под одеялом не могла согреть застывших ног.

В конце следующего дня Бахиреву сообщили, что Вальган уже приехал и в шесть часов просит его к себе. До шести оставалось полтора часа. Ни Тины, ни мольберта в «фонарике» не было. Рыжик теребил его:

— Почему нет тети Тины? Она обиделась?..

«Обиделась,— думал Бахирев,— я обидел ее. Я виноват. Думал черт знает о чем! Но она? Девочка. Ничего от нее, кроме хорошего. За что ж она? Пойти как-то извиниться».

Он знал, что она часто задерживается в комнате технологов, и пошел прямо туда. Она действительно была там. Его поразил ее измученный вид. Она была бледнее, моложе и беспомощнее, чем когда-либо. Внезапно увидев его на пороге, она встала и стояла, держась за спинку стула, не поднимая глаз.

— Тина Борисовна... что же вы... даже не попрощавшись?..— неловко заговорил он и увидел, как губы ее дрогнули.

Она молчала, но когда подняла веки, на ресницах нависли слезы.

Она не ждала его. Если бы она ждала, она приготовилась бы. Если б она была искушена в любви, она быстро нашлась бы. Если б она умела притворяться, она притворилась бы. Но она не ждала его, она не была искушена в любви и не умела притворяться. Он, измучивший и унизивший ее, появился внезапно, стоял рядом, она смотрела на него и с отчаянием чувствовала, что только он нужен и мил ей — весь мил, от тупых носков ботинок до смешного вихра на затылке. Растерянная, ошеломленная, беспомощная, она подняла полные слез глаза. И вдруг он улыбнулся. Он улыбнулся невероятной и жестокой улыбкой. Почему? Он понял, что она любит его, и

невольно засмеялся над ней. Еще одно унижение? Но он все с той же улыбкой спросил:

— Вы любите меня?

Его руки охватили ее плечи, его дыхание коснулось ее лица.

Бахирев глушил в себе тягу к ней, стыдясь, считая, что Тина не может отвечать тем же. Она иногда представлялась ему девочкой, старшей сестрой Ани и Рыжика. Волевой, привыкший к сдержанности, захваченный вихрем заводских дел, он легко загнал глубоко внутрь чувство, вызванное Тиной. Если б она ожидала его, была искушенной и способной притворяться, они поговорили бы обыденно, сдержанно и разошлись. Но когда он увидел, что она плачет, когда по лицу, по взгляду прелестных, издавна родных и непонятных глаз понял, что она плачет от любви к нему, он рванулся к ней. Он не знал бурных увлечений молодости и в свои сорок лет был так же неопытен в любви, как в шестнадцать. Его толкнул к Тине юношеский порыв, запоздавший на четверть века, но ошеломивший своей новизной и безотчетный, как у подростка.

Отпустив ее, он встретил уже знакомый изумленный взгляд.

— Так это бывает?—Пальцами она провела по его лбу, бровям.—Значит, это в самом деле бывает?..

— В чем будем известь гасить?—громко сказал за дверями маляр, беливший коридоры.

Кто-то тяжело протопал за стеной. Рядом ходили, каждую минуту могли войти в незапертую дверь. Человек, который целовал ее, был женат и имел детей, а ей, такой брезгливой ко всякой лжи и фальши, было все равно.

— Значит, любишь?—твердил он.

— Вы так ушли тогда... Хоть бы слово... хоть бы извинились...—еще страдая, жаловалась она ему.

— Перед тобой? Разве я был виноват перед тобой? Я был виноват перед ней. Ведь я хотел тогда одного. Я хотел... чтоб она ушла. Хотел, чтоб ее не было. Она—мать моих детей. Я виноват перед ней, а не перед тобой. Мы виноваты перед ней.

«Мы...» Одно это слово сделало ее счастливой.

— Ну, вот и все...—Она быстро, как слепая, ощупала его лицо.—Никогда больше... Но ведь это было необходимо... Необходимо знать... Но мы никогда больше... ни говорить, ни напоминать. Несколько дней нам совсем не надо видеться. Пока не пройдет, не уляжется... Идите.

А сама прижалась к его щеке, и он стоял, боясь пошевелиться. Часы пробили половину седьмого.

— Вальган приехал,— сказал он.— Он ждет меня в шесть.

Она оторвалась.

— Приехал? Значит, начинается? Вы считаете, что все делали правильно?

— Да. У меня не было другого выхода.

— Ну, идите же!

— Черт с ним! Подождет!

— Нет, иди, иди, дорогой! Прощай. Ведь все равно нам прощаться. Я скажу вам только одно: будьте самим собой.

Когда он вошел в кабинет разъяренного Вальгана, он был спокоен, почти безразличен ко всему, что тот может сказать и сделать.

Тина вернулась в свой тихий дом. Тщательно и любовно прибрала комнаты. Теперь, когда она знала, что в смятении последних дней виноваты не бред и не блажь, а неповторимая встреча с человеком, который мог бы стать ее судьбою, не осталось ни унижения, ни стыда. Жизнь сложилась так, что он не будет ее судьбой. И все же она рада была, что встретила этого человека, смотрела в его узкие глаза, участвовала в его борьбе и узнала его дружбу. Пусть никогда не повторится пережитое в этот вечер, оно останется в ней как слишком поздний и все же щедрый дар великолепной жизни. Ни на минуту не приходила ей в голову мысль об измене мужу. Она должна остаться самой собою, верной женой Володи,— это было непреложно, она знала это, не рассуждая, не размышляя, так же как знает птица свой путь — через океаны в свое гнездо. Другие могут поступать как хотят — она могла поступить только так.

С Володей ее связал не случай, не расчет, не постель. Володя не любовник, не покровитель, не содержатель: он товарищ и спутник.

Было время, когда она сама с открытыми глазами выбрала свой путь и своего спутника; он ни в чем не обманул ее ожиданий; наоборот, любя и всеми силами стараясь удержать ее любовь, он с каждым годом становился все лучше, все ближе к тому, каким ей хотелось его видеть. Она не могла ни предать, ни обмануть, ни покинуть.

Она убрала комнаты, спустилась в сад и принялась полоть клумбы.

Только что прошел дождь, тот вечерний, теплый, желанный дождь, от которого хорошеет земля. Он не растекается бурными ручьями, не оставляет луж, не размывает дорог. Спорый и трудолюбивый, он глубоко уходит в землю и долго живет у самых корней, заботливо

питая их в сухие, скудные дни. «Дождь-кормилец, радельный дождичек!» — так говорила о нем когда-то бабушка. Омытые и напоенные им, деревья расправили посвежевшие ветви, тихо отдыхали во влажном безветрии и щедро отдаривали запахами.

Крутой, бодрящий настой мокрого смородинника был так крепок в воздухе, что хоть бери его губами, как грозди крупных, темно-блестящих ягод. Сладостный и острый аромат тополя, чуть банное дыхание березы и робкий запах молодой травы — все смешивалось в живительном воздухе. Каждый вдох становился радостью. Щедрая зелень на влажной земле всегда напоминала Тине детство, отца, те слова его о родине, о судьбе, о справедливости, которые она впервые услышала от него в одно ясное горное утро на бабкином огороде.

Чем дорожила она в жизни? Тем, чего не передать словами, как не передать ими этого живительного и бодрящего запаха напоенного дождем смородинника. Чистотой помыслов, отвагой поступков? Высотой цели и цельностью души? Слова не передавали. То, чем она дорожила больше всего, что впервые приоткрыл ей отец у морковной грядки бабкиного огорода, потом полнее и ярче всего воплотилось для нее в самом отце. Оно было в людях, окружавших Тину, оно было и в ней. Оно исключало фальшь и измену. Измена Володе для Тины значила бы потерю самой себя, лучшего в себе. Она знала, что такой же потерей была бы измена и для Бахирева. Он не из тех, что бросают семью и детей. Ее никогда и не потянуло бы к нему, будь он из той легковесной, чуждой ей породы.

«Когда-нибудь, когда мы будем старенькие, я все расскажу Володе, — думала она. — Человек не виноват, если солнце выглянуло слишком внезапно и ослепило на минуту. Ведь я отвернулась сразу! Когда-нибудь я расскажу Володе о том удивительном, что я пересилила ради него и себя... и ради «него»... Ради всех троих».

Даже от самой себя запрятала она пережитое в глубь памяти. Но и оттуда, из глубины, оно поило ее радостью.

Глава XV

ЛЕТАЮЩИЕ ПРОТИВОВЕСЫ

— Развал! Разгром! — твердил Вальган, стоя и нагибаясь к дубовому столу Бликина. — Месячную программу так завалили, что и домкратами не вытянуть. Чугуноли-

тейный разворочен. В моторном столпотворение. В инструментальном чехарда. Вдобавок ко всему противовесы летят неслыханно, летят как снаряды! Если б мне сказали, что за несколько недель можно так измордовать завод, я бы не поверил. Не человек — водородная бомба. И черт меня попутал везти его!

— Сядь! — Бликин указал на кресло своей узкой, неторопливой рукой.— С Чубасовым уже говорил?

— Что Чубасов? Чубасов растерялся. Видит, понимает, а в ЦК отстоять не может. Я сам вчера звонил в ЦК. Говорят: «Не спешите с оргвыводами. Определите мнение коллектива. Подождите». А чего еще ждать? Пока он крышу снесет с завода?

— ЦК интересуется мнением коллектива? — прежним ровным, тихим голосом, так разнившимся от горячей стремительной речи Вальгана, спросил Бликин.— Значит, надо дать коллективу высказаться! К слову сказать, я определил твоего главного с одного взгляда и подивился тебе. Он же из породы овцебыков. Думают по-овечьи, прут, извини за выражение, по-бычьи. И что ты в нем нашел?

— Черт, черт меня попутал!

После этого разговора Бликин вызвал Чубасова. Чубасов был, как всегда, подтянут, и только подглазницы да помятая кожа век выдавали напряжение последних недель. Бликин знал о звонке Чубасову из ЦК и был возмущен недальновидностью и мягкотелостью парторга.

— Что у вас творится? — начал с ледяной резкостью.— Развалили тут завод без Вальгана, загробили месячный план, а перед Москвой молчок? Как это назвать? Боитесь ответственности?

Слова были оскорбительны, но Чубасов стерпел их, считая себя виновным. За время отсутствия Вальгана завод оказался в небывалом прорыве. Защищал главного инженера перед ЦК не кто другой, как Чубасов. Он нес как бы двойную ответственность: как парторг ЦК и как человек, защищавший Бахирева. Поэтому на оскорбления Бликина Чубасов ответил лишь двумя словами:

— В Москве все знают.

— Если б знали, не дали б установки выяснить мнение коллектива. Разве не ясно, как настроен коллектив? А если ЦК нужно обоснованное, подкрепленное документами мнение, дадим. Срочно готовь заседание парткома и также срочно готовь партийно-хозяйственный актив.

Бахирев понимал, что и партком и партактив — лишь подготовка к его снятию. Но опасность только усиливала его упорство. Его план-максимум, посланный в министерство, застрял в министерских архивах, но отголосок его

однажды прозвучал в телефонной трубке. Бахиреву нежданно позвонил Зимин, его старый приятель по вечернему техникуму. Кудрявый, веселый, живой, как ртуть, по характеру он был противоположностью Бахиреву. Однако энергия и способность увлекаться делом сблизили их. В свое время Зимин работал начальником цеха на соседнем заводе и готовил диссертацию, потом Бахирев потерял его из виду и случайно встретил в годы войны. Бахирев был командирован в Москву и, загнанный тревогой в бомбоубежище, заметил в полумраке странную пару. Маленький кудрявый полковник и миловидная женщина сидели на чемодане и разговаривали с таким оживлением, словно были наедине и вражеские самолеты не витали над ними. Прислушиваясь, Бахирев понял, что кудрявый полковник только что с поезда, встретился с женой и сейчас с жаром объясняет ей преимущества нового угла наклона танковой брони. Так поступать мог только Костя Зимин. Это действительно был он. Больше им не случалось видеться, но Бахирев знал, что Зимин стал парторгом ЦК на крупнейшем заводе страны.

Бахирев обрадовался веселому голосу Кости.

— Ко мне тут попали твой план-максимум и соображения относительно тракторов...— говорил Костя.

— Куда к тебе? На завод?

— Нет. С заводом мне пришлось проститься. Не сработался с начальством. Ну, об этом после. Я сейчас заведую кафедрой и одновременно веду отдел в журнале «Машиностроение». Вот для журнала я и прошу тебя развить свои соображения.

— Но они в некотором роде субъективные... Идут вразрез с утвердившимися на заводе...

— Ну так что ж? Спорь, утверждай свои взгляды! Обосновывай их своим опытом в танкостроении. Это же интересно!

— Моим опытом? А не истолкуют как нескромность?

— Э, дорогой! Возможно, найдутся и такие, что истолкуют. Но нельзя же писать в расчете на дураков.

— Но нельзя и совсем сбрасывать их со счета. Ведь они тоже объективная реальность.

— Марксистская диалектика учит брать вещи в соотношении и развитии. Учти, что соотношение меж умными и глупыми развивается не в пользу последних!—шутил Костя.—Так напишешь?

Долго звучал в ушах Бахирева деловитый и веселый голос, который нежданно донесся из Москвы в ответ на бахиревский план-максимум, с горечью похороненный им самим.

«Может, и план-максимум не в пропажу,— думал он.— Теплится еще».

А план-минимум постепенно приобретал реальные очертания.

Первая опроба нового конвейера, первая пескодувка, первый станок-дублер, первые дни комплектной сдачи деталей и точного почасового графика — все это были лишь ежеминутно готовые порваться нити будущего, но Бахирев уже чувствовал, как трепещут эти нити в его пальцах. «Продержаться еще две-три недели — и начнется отдача сделанного. Увидят. Не смогут не увидеть»,— думал он, и, наперекор всему, возрастала его счастливая уверенность. А где-то рядом по заводу ходило в своих туфельках школьницы лучшее из земных созданий.

Первые дни она избегала его, и каждый раз, издали встретив ее взгляд, одновременно и любящий, и испуганный, и улыбающийся, он думал: «Вот она, моя умница!»

Он знал, что в последнюю встречу в пустой комнате он потерял власть над собой и лишь от нее зависело, в какую сторону повернуть отношения. Тот запоздалый юношеский порыв миновал, и взяла свое зрелость человека устоявшегося, до конца поглощенного делом, раз навсегда определившего свою судьбу. И все же его тянуло к Тине, и будь на ее месте другая женщина, ищущая, настойчивая, лишенная чистоты и сдержанности, все могло бы сложиться иначе. Безболезненно это не прошло бы. Легкий флирт, поверхностный романчик для него не имели цены и ничего, кроме брезгливости, в нем не вызывали. Из-за мелочи не стоило пачкаться! А та незнакомая им прежде и нежданная сила, с которой их толкнуло друг другу,— к чему она могла привести? Что ждало их на этом пути? Семейная трагедия, сломанная жизнь детей и Кати? Или тайная измена, во всем ложь, фальшь, путаница? Как чуждо это было ему! Как осложнило бы и без того сложную жизнь! В той напряженной борьбе, которую он вел, у него просто не хватило бы физических и душевных сил еще и на это. Чтобы победить в битве, начатой им на заводе, он весь должен сосредоточиться и мобилизоваться на одном! Другая не поняла бы его предельной поглощенности борьбой, потянула бы в ненужную сторону. Эта поняла все. И каждый раз, думая о ней, он с нежностью повторял: «Умница моя!»

Через несколько дней она при встрече не убежала, а подошла к нему, слегка покраснев, но не отводя взгляда.

Он сжал ее ладонь, улыбаясь заглянул в глаза.

— Ну что, улеглось, успокоилось? Можно теперь разговаривать?

Она ответила с лукавой строгостью:

— Смотря о чем. О заводе можно...

Оба засмеялись и пошли вместе, ни словом больше не намекая на случившееся. Им стало вместе легче, чем прежде. Исчезла неясность, а вместе с нею минуты неловкости и смятения. Они знали, что многие на их месте, поддавшись порыву, пошли бы иным путем; невольно и тайно они гордились друг другом, взаимной сдержанностью, строгой чистотой отношений.

Бахирев любил, зайдя в цех, остановиться и издали наблюдать за Тиной. Его радовало уважение, которым она пользовалась на заводе, точность ее движений, ласковая насмешливость взгляда, умение по-деловому твердо и по-женски мягко говорить со всеми, от Вальгана до стерженщицы Даши.

— Вы существо без тени! — шутливо говорил он ей.

— Почему?

— Когда вы приближаетесь ко мне, я думаю: «Вот существо, которое несет с собой только свет и никаких теней».

Ни тревоги, ни смятения, ни фальши не приносило ее приближение. Девичью чистоту, юношеское товарищество, умную и безбоязненную иронию зрелого человека несла она с собой.

Он привык обсуждать с ней свои планы и действия. В обеденные часы они вместе бродили цехами, в переплете рельсов, в завале металла говорили о будущем завода, намечали контуры нового ЧЛЦ, нового цеха точного литья. Они верили в близкое осуществление своих замыслов и были счастливы этой уверенностью и своей дружбой. Их привыкли видеть вместе, но это не вызывало ни слухов, ни подозрений — так явно и горячо были они оба захвачены одним делом — перестройкой заводской металлургии, так естественно и открыто было все в их поведении.

Только раз Бахирев увидел Тину замкнутой. Поздним звездным вечером они вместе вышли из цеха и пошли по тенистой аллее. Они говорили о склоке, поднятой Пуговкиным против Бахирева и Сагурова.

— Ну его к черту! Тиночка, посмотрите наверх. Сколько миров над нами, сколько миллиардов лет! Засмотришься — и поверишь во влияние звезд на людские судьбы, в гороскопы и прочую чертовщину.

— Однажды звезды без всякой чертовщины погубили одного человека.

Слова сорвались приглушенно и быстро.

— Кого?

Но она пожалела о сказанном. Говорить о Гейзмане — значило говорить и об отце. Она не захотела отягощать и

без того нелегкие дни Бахирева своим непроходящим горем.

— Я говорю об одном звездочете,— отвечала она неопределенно.

— Звезды настраивают вас на печальный лад?

— Это было раньше. Теперь наоборот.— Она поспешила шуткой отвести разговор: — Миры и тысячелетия, а мы крохотные букашки и живем мгновение. Очень глупо на фоне галактики волноваться из-за Пуговкина.

Бахирев любил ее способность самый серьезный разговор освежить шуткой. Он сжал ее пальцы.

— Дан миг, и важно прожить его как можно лучше.

— Но важно знать, «что такое хорошо», как писал Маяковский. Что такое хорошо, по-вашему? Что такое счастье?

— Счастье — это честность и верность себе. Я хочу сказать — верность коммунистическим принципам. И еще...

— Что еще?

— Для счастья еще важно... необходимо найти верный отзвук в другом, в близком.— Он заглянул в ее глаза, светлые даже в темноте, сильнее сжал ее руку.

Она тотчас освободила руку.

— А знаете, что такое несчастье? Когда твой звук извращается.— Она уже шутила.— Надежда на отзвук гибнет на ходу!

Он засмеялся и снова подумал, что права и умна она, не позволяя ни на шаг переступать границу.

Перед заседанием парткома она встретилась ему в коридоре. Он понял, что она ждала его. Как всегда, лицо ее поразило его тонкой прелестью черт и выражений. Он не прочел в этом лице ни жалости, ни уныния, ни страха.

— Наш последний и решительный? — улыбнулась она.

Он знал, что за него она боялась больше, чем за себя, больше, чем за кого-либо. Что же дало ей эту закаленность сердца, эту смесь иронии, задора и нежности, прозвучавшую в ее вопросе?

— Нет! Это еще прелюдия. Последний, решительный будет на партактиве.

— А в исходе сегодняшнего вы уверены?

— Еще бы! Ведь кто из членов парткома знает меня? Вальган, Чубасов, Уханов, Шатров. Сегодня обеспечен строгач.

Она снова улыбнулась.

— При всех обстоятельствах... помните о галактике.

Он рассмеялся.

— Хорошо, что я вас встретил сейчас.

— Почему?

— С точки зрения галактики легче пережить то, что мне предстоит...

Он вошел в партком в том состоянии боевого, ироничеcкого и чуть горьковатого равновесия, которое часто оставалось после разговора с Тиной.

Чубасов был немногословен.

— Дмитрий Алексеевич любит цифры,— сказал он.— Так вот, цифры говорят сами за себя.— Он прочитал цифры выполнения плана и закончил: — В этих цифрах вопиет беспринципная работа главного инженера и его нежелание считаться с коллективом.

Нападки Вальгана и Уханова отскакивали от Бахирева. Но Чубасов не мог не знать, что торопливая переорганизация вызвала временный спад выпуска, не мог не знать и того, чем вызвана излишняя торопливость Бахирева. В час их первой резкой схватки там, в комнате художника, когда Бахирев до боли в кулаках колотил в гипсовую грудь Венеры, ему не было так горько, как сейчас.

«И ты испугался? — думал Бахирев.— А ведь все понимаешь лучше других! Были дни, когда я видел в тебе друга! И ты в трудную минуту...»

Нет, тут не помогала галактика! С чувством своей правоты Бахирев поднялся и сказал, глядя в предательски привлекательное лицо Чубасова:

— Вы знаете, что иные производственные победы невозможны без стратегических отступлений. Вы же сами говорили мне об этом!

Чубасов не поднимал глаз от стола.

— Я считал возможным стратегическое отступление, как вы говорите. Но последние два приказа вы постарались засекретить от меня. А я считаю их недопустимыми. Недопустимо добиваться малых побед большой кровью...

— Смотря что считать малой и что большой победой и что большой, что малой кровью,— начал контратаку Бахирев.

— Одну минуту! — Вальган наклонился к микрофону: — Возьмите там с окна... И принесите сюда...

Секретарша внесла два противовеса и положила их на стол — две трехкилограммовые красноватые скобы с обломанными болтами.

— Апрельского выпуска,— сказал Вальган, обернулся к Бахиреву и указал на противовесы.— А это, по-вашему, большая или малая кровь? Вот наглядный результат дезорганизации производства. За всю историю завода никто не видел подобного.

Бахирев молчал. Тяжелые скобы противовесов свалились на его голову, сбили с мысли, заставили пригнуться.

Теперь он молча опустился на стул, а Вальган встал прямо против него и заговорил непривычно тихо:

— Та анархия производства, которой вы явились застрельщиком, не может не олицетворяться в продукции.— Тихий голос Вальгана придавал особый вес обвинениям.— Таковы законы производства. Вот оно, это олицетворение. Сорванный с тысячи двухсот оборотов, трехкилограммовый противовес летит за сотню метров. Трактор превращен в пулемет,—добавил он с едкой иронией.—Вот достижения этих недель.

Партком единогласно объявил Бахиреву выговор.

И как ни страшно было это постановление, еще страшнее казались два противовеса с оборванными болтами. Пока разбирались следующие вопросы, Бахирев разглядывал болты. Ничто не раскрывало причины обрывов. Незначительная разболтанность отверстий, в которые вставлены болты? Может быть, лишняя сглаженность линии разрыва болтов? Он не знал причины, но перед лицом этих мирных противовесов, вдруг получивших опасную бронебойную силу, превращалось в ничто все достигнутое им и меркла спасительная сила галактики! Когда он вернулся к окружающему, то понял, что ругают Шатрова.

— Вы и не пытались заняться технологичностью конструкций этих узлов!—говорил Вальган.

Бархатные глаза конструктора забегали, и снова взгляд его напомнил Бахиреву взгляд той обезьяны, что и боится, и ищет выхода из клетки, и таится от посторонних.

— Я занимался,—как всегда вяло, заговорил Шатров.—Но видите ли... мне пришла идея принципиально новой конструкции двух узлов.

— Вы конструктор-производственник. Производству нужны не беспочвенные полеты фантазий, а выполнение производственных задач. Нас бьют за себестоимость.

— Какой я производственник!—кротко вздохнул Шатров.—Я давно вас прошу: отпустите в институт...

— Отпустить не смогу. Но, может быть, стоит подумать о переводе в экспериментальную лабораторию. Тогда сможете, при желании, совмещать с институтом.

Шатрову записали предупреждение, но Вальган говорил с Шатровым мягко, даже нежно, и Бахирев не мог понять эту мягкость, несвойственную Вальгану.

Он все еще разглядывал противовесы, когда Вальган начал с оттенком торжественной таинственности:

— Теперь, товарищи, вести, так сказать, с верхов... Вы уже знаете, что намечается широчайшее развитие производства предметов народного потребления.

Бахирев, как и многие, слышал об этом и радовался: «Перестанут наконец быть проблемой калоши, валенки и штаны для ребят!» Но следующая фраза Вальгана заставила Бахирева забыть о калошах, о Рыжике, обо всем, кроме завода.

— Наш завод,— продолжал Вальган,— включается в общенародное дело. Мы организуем дополнительные цехи ширпотреба — будем выпускать кровати, сковороды, печные заслонки...

Бахирев слушал Вальгана, и им овладела горечь. Специализация заводов, кооперирование, унификация узлов — все те принципы, в которых он видел основу прогресса, сметались этим. Кровати, сковороды, печные заслонки...

— А ухваты? — сказал он.— Ухваты мы не будем выпускать?

— Если понадобится народу, будем выпускать и ухваты! — повернулся к нему Вальган.— Мы не белоручки, возьмемся и за ухваты, если потребует народ. Вы опять будете возражать?

Бахирев понимал бесплодность возражений. Сперва его сбили с ног противовесы, а теперь из-под ног уходила почва.

— Я не могу спокойно смотреть, как из такого завода делают универмаг. Говорить об этом долго. Тут я изложил мою точку зрения.

Он подал статью, приготовленную для Кости. Обсуждение продолжалось. Намечали место для цеха кроватей, намечали людей. Когда обсуждение подходило к концу, кто-то слабо пискнул в углу. Это прокашливался Шатров. Прокашлявшись, он заговорил ломким голосом:

— Я не могу согласиться... Ведь у нас в программе гусеничные тракторы, колесные тракторы, гусеничные тягачи, топливная аппаратура, двигатели внутреннего сгорания! И все, от втулок до моторов, мы делаем сами.— Он дернул шеей, словно пытаясь освободиться от воротника.— А вы еще ширпотреб! Ну, я слаб, я не смогу. Ну, придет другой, сильный конструктор. Тут Леонардо да Винчи и тот не сможет...

Сбивчивую и запоздалую речь его не слушали, и только Бахирев удивился: «Отважился возражать?» Уже поднимались, двигали стульями, а Шатров говорил:

— Нет у меня абсолютного спокойствия насчет конструкции противовесов... Торопили нас, Семен Петрович... Надо бы еще поэкспериментировать в лаборатории...

Вальган рассмеялся:

— Узнаю я вашу терзаемую самоанализом душу! Жизнь поставила такой эксперимент, какой не поставить

ни в какой лаборатории! Конструкция на двух заводах одинакова, а летят противовесы только у нас. У них ни одного случая обрыва. Значит, дело не в конструктивном решении, а в дезорганизации производства, которую тут развели. Понятно?

— Вполне,— вздохнул Шатров.

— То-то! У вас душа, специально отпускаемая экспериментаторам,— вечные сомнения. Вам необходим как раз такой директор, как злодей Вальган! Иначе вы весь век будете колебаться, экспериментировать и не сдвинетесь с точки!

После парткома Бахирев долго бродил по темным улицам под мелкой моросью. Его грандиозные планы — максимум и минимум — только «мечты, мечты», по определению Вальгана. А противовесы с оборванными болтами — это действительность. Он бродил по улицам, а улицы, как заговоренные, кружась и изгибаясь, приводили его снова к проходной завода. Он шел в цехи и в разгроме любимых чугунки и моторного уже не видел будущего совершенства; сорванные противовесы и тракторы с пробоинами маячили в глубине пролетов. Он шел домой, но и дома не находил покоя, и опять сплетение улиц приводило его к заводу.

Утром он шагал заводским двором, нагнув голову и не поднимая глаз. Ему думалось, что все встречные смотрят на него с укоризной и насмешкой: «Доработался до летающих противовесов!»

Где-то рядом прозвучали голоса:

— Смотри, смотри, сам Корней Рославлев с рославлятами!

— Это он двинул на противовесы.

Бахирев поднял голову. Через заводскую площадь шла группа людей. Бахирев узнал Рославлева, его сестру, лаборантку заводской лаборатории, его меньшого брата, недавно окончившего институт инженера-электрика, его дочь, молодого мастера автоматного цеха. Все они были необыкновенно высоки ростом, широкоплечи и белобровы. Но в центре общего внимания были не они, а седоголовый старик, казавшийся крохотным среди этого отряда великанов.

Когда Бахирев поравнялся с ними, Рославлев представил:

— Вот. Батя наш. Корней Корнеевич. Разволновался противовесами. Попросил у директора разрешения на месяц встать на контроль затяжки болтов противовесов.

Старик молча подал руку. Из-под рославлевских зубных щеток пытливо взглянули светлые глаза.

«Так вот он какой, дед Корень. Мужичок с ноготок»,— удивился Бахирев. По рассказам он представлял себе деда Корнея состарившимся великаном, а перед ним стоял маленький, кривоногий, узкогрудый человечек. Но голова его, не по росту крупная, была хороша и гордо посажена на узких плечах. Густые, волнистые волосы, мужественные черты лица и смелое, даже отважное выражение. Лицо как бы бросало вызов щупленькому телу и кривым ногам, как бы говорило: «Вот ведь я какой есть молодец на самом-то деле. А руки-ноги — это так, одна видимость, случай, ошибка природы». Глаза смотрели с фамильным рославлевским воззванием к совести, и наивным и беспощадным. В посадке головы, в выражении лица и глаз чувствовалась внутренняя сила, которая почему-то не смогла развернуться в полную меру в старике, но, вырвавшись на волю, раскрылась во весь мах в его детях и внуках, в этой плеяде белобровых великанов. Бахирев разглядывал старика, а старик строго и в упор разглядывал Бахирева.

— Ходил — глядел пробоины... Не видал, не видал такого...— Он двинулся дальше, но обернулся и, видимо желая смягчить строгость, добавил: — Сынишку вашего знаю. Молодец растет. Пусть зайдет вечером...

«Рать Рославлевых двинулась на противовесы,— подумал Бахирев.— В такой семьище и горе в полгоря. А ведь еще лет пяток — и я, пожалуй, пройду вот так же с Рыжиком и Аней».

Он представил, как идет он заводской площадью со взрослыми детьми. «Только Корнеем Рославлевым дети гордятся. Им весь завод гордится... А мною...— Он вспомнил затекший и плачущий глаз сына.— От меня пока сынишке синяки да слезы».

Днем тревога загнала его в кабинет Шатрова. Шатров на парткоме высказал мгновенное сомнение в конструкции противовесов. Бахирев хотел подробнее расспросить об этих сомнениях.

Шатров собирался в отпуск.

За окном сыпал спорый дождь. Дымы заводских труб стлались низко, и в открытую форточку тянуло влагой и гарью. Кипы бумаг лежали на столах, на стульях, на подоконниках. Увидев Бахирева, Шатров попытался закрыть лежавшие на столе бумаги другими, но улыбнулся и махнул рукой:

— Что уж теперь скрываться!.. Садитесь...

Он походил на школьника, отпущенного на каникулы. Движения были легки, глаза утратили загнанное выражение.

— Вот дела сдаю. Потом отдыхать. Три года не

отдыхал. Три месяца отпуска, потом в Москву, может быть, за границу в командировку, а там видно будет. Если и вернусь, то в экспериментальную лабораторию.

Бахирев не отрываясь смотрел на чертеж, который Шатров в первую минуту попытался закрыть.

На кальке вычерчен был смешной маленький трактор. Навесные орудия спереди и сзади уравновешивали друг друга. Бахирев развернул кальку, положил поверх других бумаг.

— Эскизы... Мои незаконнорожденные! Лягушонок...—Сказал Шатров, видимо и любуясь и стесняясь.— Легкий. Может двигаться и вперед и назад. Тракторист тоже может пересаживаться, вести в любом направлении и управлять орудиями.

— Вес? Мощность? Расход горючего?—быстро спрашивал Бахирев и, выслушав ответы, разразился бранью.

Трактор бахиревской мечты, легкий, экономичный, маневренный, с навесными орудиями, освобождавший миллионную армию прицепщиков, смотрел с кальки, и Бахирев узнал о его существовании в день ухода главного конструктора.

— Что же вы молчали, прах вас побери? Сидит! Бормочет! Прикрывает! Да ведь это же остроумно! И этим вы занимались украдкой?

— Отступником себя чувствовал,—кротко вздохнул Шатров и, видя удивление Бахирева, объяснил:—Семен Петрович твердил, что, отвлекаясь от неотложных нужд производства, предаю завод. Черчу, бывало, а сам думаю: не дай бог, Вальган узнает... Опять, мол, ловите журавлей в небе?

Тракторы, о которых Бахирев мечтал, уже воплощенные в линии и цифры, лежали в углу растрескавшегося шкафа, и он не знал об этом. Он не мог простить себе, что не разглядел своего единомышленника в этом человеке с глазами загнанной в угол обезьяны...

— Ах, прах тебя побери!—все повторял Бахирев, ходил вокруг Шатрова и, как чудо, рассматривал его костлявую спину, заплетающиеся ноги, маленькую лобастую голову. Он стал говорить Шатрову «ты», словно будущий трактор сразу и навсегда породнил Бахирева с конструктором.

Кончив ругаться, Бахирев уселся и сказал:

— Ну, рассказывай же по порядку! Как такое могло случиться?

— Обыкновенно,—пожал плечами Шатров.—Не со мной же одним. Над заводами тяготеет программа. За программу и экономические показатели директора отвечают и партбилетом и зарплатой. А за создание конструкций

отвечают декларативно. Если завод выполнит программу, но не разработает новых конструкций, директора пожурят: «Ай-яй-яй, как нехорошо!» — но тут же дадут и премии, и награды, и красные знамена. А попробуй увлекись директор новыми конструкциями и хоть на полпроцента упусти месячную программу! Спасения нет!

Бахирев все это знал и даже писал «о недостатках конструкторской работы на заводах». Но сейчас эти общие положения как бы конкретизировались в судьбе Шатрова и новых конструкций, запиханных в дальние ящики старого шкафа.

— Когда ты начал работу над «лягушонком»?

— Тяну пятый год, а все еще только эскиз. Решения принципиально новые, работа большая, а времени мало, конструкторы заняты другим,— под нудный шум дождя лилась монотонная речь ко всему притерпевшегося главного конструктора.— Лидер наш, ведущий тракторный, заканчивал разработку конструкции. А мне не интересно было идти по их линии: модификация старых узлов. Моя работа затягивается, а их трактор вот-вот выйдет на массовый выпуск, на премию. Ну, вызывает меня Вальган... «Предаете, говорит, интересы коллектива. Если вы мобилизуете ваши способности и быстро внесете коренные усовершенствования в ряд узлов, у новой марки будут два автора: и «лидеры» и мы! А ваш трактор с навесными орудиями и новыми принципами — это журавль в небе. Приказываю отставить журавля. Мобилизуйтесь на синице, а от нее и успех, и премия, и все такое...»

Бахиреву стало ясно, почему Вальган, постоянно ругая Шатрова, не хочет выпускать его из рук: возникнет надобность срочно блеснуть — и окажется под рукой человек даровитый и покорный. Какое по-чиновничьи жестокое, по существу бесхозяйственное отношение к таланту! Бахирев про себя крепко выругал Вальгана и положил ладонь на худое плечо конструктора.

— Грустная история...

Шатров с женской непосредственностью ответил на ласку.

— Я жестоко страдаю...— Он поднял бархатные жалобные глаза.— У меня дед водил паровозы. Я с семи лет знаю, как работает двигатель. Я машину не только вижу на чертеже. Это ж ведь женская специальность — чертить. Я машину ощущаю физически. Я черчу конструкцию, а сам звук ее слушаю: ритм, тембр, резкость. А складываю в шкаф! Просился у директора много раз. Не отпускает! Время такое... Партийный долг... Делаю, что велят... А страдаю жестоко!

Лишь в конце разговора Бахирев вспомнил о том, что привело его к Шатрову:

— Ты вчера сказал, что не уверен в конструкции противовесов?

— Действительно, не уверен. Я же рассказал, как мы спешили. Но Вальган прав: жизнь поставила за нас такой эксперимент, какого не поставишь ни в одной лаборатории. Конструкция одинакова на двух заводах, а противовесы летят на одном, тут уж ничего не скажешь!

Шатров не снял с бахиревских плеч груза противовесов, и все же Бахирев и рад был этому прощальному разговору, и горько сожалел, что открыл главного конструктора и его «лягушонка» лишь в день прощания.

На другой день, встретив Тину, Бахирев спросил:

— Почему вы так поздно и так мельком сказали мне о Шатрове?

Она удивилась: «Требует, как на службе! Разве я должна?» И сама себе ответила: «Должна. Все, чтоб ему помочь». Даже обрадовалась тому, что он требует,— значит, он не отделяет себя от нее, своих дел от ее дел. Ответила ему спокойно, с обычной легкой иронией:

— Впредь таких ошибок не допущу.

В этот день поступила еще одна рекламация на обрыв противовеса. Днем Бахирев сам позвонил на ведущий завод, справлялся, есть ли у них случаи обрыва противовеса. Ответ подтвердил слова Вальгана: «Ни одного».

Подозрение на ошибки в расчетах отметалось. То, что обрывы противовесов появились лишь на одном заводе и в последние месяцы, подтверждало вину Бахирева.

У него на столе лежали уже пять оборвавшихся противовесов.

«Так вот что меня доконает,—думал он, глядя на них.—Сбит с ног, контужен, выведен из строя летающими противовесами».

Он вспоминал апрель, предмайские дни, пляску Демьянова. Теперь то трудное время казалось ему счастливым. Сколько было надежд! Какая уверенность, какая жажда действия! Тогда он думал: «Несколько недель энергичной работы, работы с развязанными руками—и дело сдвинется! И всем станет яснее ясного моя бесспорная правота». Эти несколько недель прошли. И самый наглядный, самый бесспорный их результат—летающие противовесы, покалеченные ими тракторы.

Он шел домой сгорбившись, словно все килограммы сорвавшегося металла лежали на его спине. Дети занимались, и Аня с Рыжиком привычно ссорились. Катя шила,

сидя возле репродуктора. Рассказать ей? Он представил ее тревогу, смятение. Нет, она узнает последней. Если б он мог прийти к Тине!.. Она умеет твердо и безбоязненно смотреть в лицо вещам. Если бы сейчас была рядом эта улыбчивая, волевая и все понимающая... женщина. Нет, ему не хотелось называть ее «женщиной». В ней была девичья ясность и строгость. Позвонить ей? Отсюда, из дома? А почему бы и нет? Им нечего прятать и нечего стыдиться. Он может звонить ей из спальни своей жены, из детской своих детей — откуда угодно...

Он набрал номер ее домашнего телефона. Голос прозвучал, как ручей:

— Я вас слушаю.

— Это говорит Бахирев.— Он все же почему-то избегал называть ее по имени.— Я несколько обеспокоен противовесами. Нуждаюсь в вашей консультации.

— Понимаю,— прожурчало в трубке.— Я слышала о противовесах. Вы очень встревожены?

— Да.— С ней он мог быть откровенным, и какое облегчение было в этом! — Очень. Больше, чем вы можете представить.

Катя слушала разговор что-то слишком внимательно, опустила на колени шитье, замерла, смотрит в упор. Никогда она не проявляла такого острого интереса к его телефонным разговорам. Почему? Может быть, его выдает лицо? Он повернулся спиной к ней и, чтобы успокоить ее, стал уснащать разговор техническими терминами.

— Я вызывал инженеров. Белокуров пересчитал конструкцию и утверждает, что нет центробежных сил, способных оборвать болт. Мы испытали болты на разрывной машине. Испытание на разрыв показало нормальную прочность. Болт выдерживает пятнадцать тонн, противовес весит три килограмма.

Кажется, Катя успокоилась — зашевелилась, защелкала ножницами.

— Что вы предприняли?

— Ставим контроль на затяжке болтов. На затяжке стоял неопытный и недобросовестный человек. Теперь на контроль встал сам старик Рославлев. Болты — штука тонкая: не дотянешь — будут разбалтываться, перетянешь — будут лопаться.

— Значит, все будет хорошо.

— Но те тракторы, которые уже в поле...

В трубке помолчали. Потом тот же свежий, не омраченный страхом голос сказал:

— Я не понимаю, почему вы считаете себя главным виновником аварий. Я понимаю, почему Вальган хочет раздуть историю и свалить на ваши плечи. Но вы сами?!

— А я в этом вопросе как раз согласен с Вальганом. Надо быть честным с самим собой. Я спешил что есть силы. Я спешкой вызвал временную дезорганизацию производства. Значит, именно я и отвечаю за все последствия этой дезорганизации и за все вызванные ею огрехи. Да... Как ни вертись, противовесы летят в мою голову.

Голос в телефоне не утратил свежести, но стал еще мягче:

— Подождите казниться! Кажется, вам надо лечь спать, а на днях, может быть, стоит поехать на место.

— В МТС?

— Да. Мы еще подумаем. Во всяком случае, прежде чем увлекаться самобичеванием, надо действовать.

Когда он положил трубку, Катя спросила:

— С кем ты говорил?

Он подивился женской проницательности. Он говорил по телефону сотни раз, и никогда она не задавала ему таких вопросов.

— С инженером. Почему ты заинтересовалась разговором?

— Так... Тебя что-то волнует?

— А!—Он махнул рукой.—Очередные технические неполадки. Не тревожься. Сколько раз я тебе говорил: пока дети здоровы, ты не гневи бога и не волнуйся. Дети—это единственное, ради чего тебе стоит беспокоиться.

Игла летала над шитьем. По радио Козловский пел:

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Бахирев закрыл глаза, и тотчас из темноты выплыли тяжелые металлические скобы окрашенных в темно-красный цвет противовесов.

Глава XVI

ДОН-КИХОТ ИЗ МОДЕЛЬНОГО...

Нетерпение владело Сережей. Он работал без обеда. За полтора часа до смены отложил очередные детали и взялся за свой чугунный кокиль. Только бы не отрывали! Сегодня кончить обработку кокиля и впервые залить алюминий не в земляную, а в чугунную форму...

Когда подошел Гуров, Сережа не услышал, а почувствовал его хребтом и обернулся, как оборачивается

собака, ощерившись и сильнее сжимая драгоценную кость.

— Опять ты за свое?—сказал Гуров.

— Я выполнил норму,—соврал Сережа.

Он кончил до прихода деда Мефодича, которого выбрал в сменщики за аккуратность и опытность. Ему Сережа сознался:

— Две не дотянул до нормы.

— Ладно. Доделаю за тебя.

В пересменке Витя Синенький закончил слесарную доводку, и они потащили тяжелый кокиль в цветную литейную.

В открытом тигле плавился алюминий. Он казался Сереже красивее и праздничнее обычного расплавленного металла. Живое серебро, подвижное и текучее, подсвечено изнутри розовым—так взволнованная кровь, просвечивая изнутри, румянит лицо.

В черный, мертвый чугун кокиля потекла живая струя.

— Раз... два... три... четыре...—считал Сережа.— Пятнадцать!

Пятнадцать секунд вместо многих часов! Когда легкая, чистая модель выпала на земляной пол, Сережа не видел, плохая она или хорошая. Он видел одно: это была модель трака со всею ее сложной конфигурацией.

Они принесли ее в цех, измерили штангенциркулем.

Витя выглядел разочарованным. Сергей был счастлив.

— Ни один размер не совпал, кромки не вышли,— сказал Витя.

— Но какая она легкая!

— Вмятины, раковины—чего только на ней нету!

— Пятнадцать секунд на заливку. Сколько можно отлить в один кокиль в сутки!

Синенький засмеялся.

— Ты, ей-богу, как сестра Наташка! Принесла Лешку, моего племяша, из родильного и не налюбуется: и красавец-то, и разумный-то... А у него весь ум—пеленки марать. Я тебе, конечно, не отказываюсь помогать, только... ох, и возни здесь еще!

Сережа не мог объяснить, почему чувствовал жизнь в кипении серебряно-розового металла, в легкости послушной отливки. Такая быстрая, веселая должна жить!

Синенький заторопился в парк, на свидание к невесте. Сереже надо было готовиться к экзаменам, но мысли о первой отливке вытесняли все. Он пошел с Витей. Он свистел по привычке и думал о том, что надо сделать специальный инструмент для изготовления нового точного кокиля. Витя дернул его за рукав.

— Ходишь как психованный со своим кокилем. Я ему долблю, долблю, а он и не слушает.

Зелень еще не скрывала ветвей, окутывала их дымкой. Острые травы покрыли газоны. Как всегда в ясные весенние вечера, в парке было людно. Молодые папаши несли малышей; детвора кишела в аллеях; пожилые работницы дремали на площадке гамаков; молодежь плясала на танцплощадках и на асфальтированной набережной. Ребята тянули Сережу в пивной киоск, девушки — на танцы, но все мешало ему сегодня и все раздражало; ему хотелось тишины и простора для мыслей о своем. Он обрадовался, увидев радостно-вопросительные глаза Даши. С тех пор как он ночью довез ее до дома, он относился к ней с покровительственной симпатией и часто заговаривал, встречаясь на заводе, в парке. С ней можно было говорить обо всем, как с травой, как с цветком, как с речной волной: так затихала она, превращаясь в слух, так внимала каждому слову, тая дыхание.

Сегодня на Даше было новое платье, белое в синий горошек, такая же косыночка и глаза, как две синие горошины. Платьем она уже не отличалась от других работниц, и только в лице было еще что-то удивленно-радостное, как Сережа определил — «колхозное».

— Даша! — окликнул он ее.— Побежали вниз!

Она радостно и послушно устремилась вслед за ним.

Узкая тропка вилась меж кустами. Скользя, Сережа хватался за кусты. Липкие листья зеленили пальцы. Внизу, вдоль подножия откоса, бежала широкая, прорастающая молодой травой тропинка. Тут можно было идти в тишине и спокойно говорить о кокиле.

— А как мы модели делаем? — говорил Сережа.— Как деды делали, так и мы. А что такое модель? По нашим моделям литейщики отливают тысячи траков в смену, а мы одну модель делаем несколько смен.

— Как ее делают?

Широко распахнутые глаза смотрели с жадным интересом. Сережа стал рассказывать.

— Ну, делают деревянную промодель, ее формуют в земле. Потом в земляную форму заливают металл. Отливка получается громадная, нечистая — одно слово, земляная! Идет она к нам, и начинаем мы над ней потеть. А кокиль — значит постоянная металлическая форма. Кокильное литье точное, легкое. Ни механической доработки, ни отходов металла... и тысячи экономии.

— Для такого дела и себя не жалко! — решительно сказала Даша.

Он обрадовался и решительности тона, и словам. И

Мефодич и Синенький помогали, жалея его. А жалко ли себя?

— Не жалко! Не жалко! — подтвердил Сережа.

Сережа ждал, что она просто хорошая слушательница, безмолвная и покорная. Но слова ее были твердыми, и глаза смотрели непреклонно с ее девчоночьего лица.

Они еще посидели, следя, как разгораются огни за рекой, как проступают на небе первые звезды.

В Люде, в Нине, во многих других девушках Сережа чувствовал темное, настороженное, зыбкое. В Даше все было открыто ему, все ясно и все надежно.

Когда они поднялись в парк, под деревьями уже загустели тени и фонари горели ярко.

Из кино выходили люди.

— Как раз сеанс начинается. Пойдем? — предложил Сережа.

— Вдвоем?

— Ну так что же?

— Совестно.

— Чудачка! Ведь мы не воровать идем!

Когда он взял билеты, она стала совать ему трешницу.

— Что у меня, своих денег нету?

— Смешная ты. Неужели никогда не ходила в кино с ребятами?

— Я в компании ходила.

— Какая разница?!

Но разница была. В полутьме лицо и глаза с робким, взволнованным взглядом светлели у его плеча. «Увидят знакомые ребята — станут подшучивать. Она и отшутиться не сумеет: совсем еще молоденькая». Он забеспокоился о ней, но не отодвинулся, а наперекор этому беспокойству наклонился и взял ее за руку. Деревянная ладошка осталась лежать у него в руке. Он поглаживал шершавые пальцы и заметил, как испуганно дышат полураскрытые губы. Ему захотелось поцеловать ее в ямку возле губ; он низко наклонился, она не шевельнулась, но глаза ее взглянули с таким страхом, так затрепетали ресницы, что он отстранился. Страх ее был так же понятен ему, как и все в ней. Он перестал гладить руку и дружески сжал, чтоб успокоить... Даша стала дышать ровнее, но когда кончился сеанс, то же испуганное, женственное выражение увидел он в потемневших глазах, и румянец ее был пугливым: то гас, то разгорался.

Даша не захотела идти с ним под руку, но держалась спокойно и говорила с той же наивной, но разумной твердостью, которая и удивляла его, и нравилась ему.

Прощаясь, он опять задержал ее негнущуюся ладош-

ку. Ему снова захотелось поцеловать Дашу, но он пожалел ее.

— Хорошая ты девчонка, Даша. Давай с тобой встречаться. Пойдем на концерт в субботу? Договорились? Пойдем?

— Я не знаю...

— Чего не знаешь?

— В какую смену, не знаю.

— Ну, сговоримся на неделе.

«Славная девчонка!» — думал Сережа. Он чувствовал себя отдохнувшим и уже нетерпеливо ждал того часа, когда примется за новый, исправленный кокиль.

Даша вошла в комнату на цыпочках. Она боялась разбудить Верушу, боялась ее вопросов, боялась самой себя. Но как ни тихо она раздевалась, Веруша проснулась, села в постели и протянула:

— Ой, гулёна, гулёна! И где же ты была допоздна? Я тебя в парке искала.

Даша поспешила погасить огонь, чтоб Веруша не увидела ее лица, и нырнула в постель к Веруше. Подруга обняла ее.

— Сознавайся, где ты была?

— В кино.

— С кем?

— С Сережей.

— С каким Сережей? — догадываясь и не веря, спросила Веруша.

— С ним... с Сугробиным...

— Ой! И весь вечер с ним?

— С ним.

— Про что ж вы разговаривали?

— Про кокиль он мне рассказывал. Ах, Верунька, он такое сделает, что и министр не в силах! Я всегда знала: хороший, ну, прямо всех лучше! Это и все знают. Но он такой... Я тебе даже выразить не могу!

— А кроме кокиля-то, про что говорили вы? — с жарким любопытством допытывалась Веруша.

— Мы потом в кино сидели. — Даша до шепота понизила голос: — А как прощались, он говорит: «Давай с тобой встречаться». Он на концерт приглашал в субботу...

Она замолчала. Молчала и Веруша, обдумывая и понимая важность происходящего.

— Что ж теперь будет, Веруша? — Даша откинулась на подушки. — Что ж теперь будет?..

— Ты постой! Ты скажи мне... как это все у вас? Спроста или неспроста?

— Ой, не знаю я, как он думает! Не знаю, не знаю!

— А ты-то? Ты-то сама как?.. Ты спроста или нет?

Даша ткнулась в шею подруге горячим лицом, прижалась к ней тоненьким, беспомощным телом. И, видя Дашину небывалую растерянность, Веруша забеспокоилась, заговорила непривычно властно:

— Ну, говори! Говори, Дашка, я тебя спрашиваю!

— Неспроста я...—в ухо подруге дохнула Даша.

— Батюшки!—Веруша притянула ее к себе.— Влюбилась, Дашка? И в кого! Батюшки!

— Верунь, ведь он...

— Ну? Ну, говори же!

— Ведь он меня... за руку держал... в кино...

— А ты?

— А я сижу и сижу!—Отчаяние прозвучало в Дашином голосе.—Сперва вроде совестно было убрать руку. Уберу—будто в худом заподозрю. За что ж мне его обижать? А потом... Вроде уж поздно убирать-то. Сижу— и шелохнуться не в силах.

Опять обе замолчали, и Вера слышала, как в самый бок ей стучится Дашино сердце.

— Веруша,—сказала Даша и решительно села в постели,—ведь я ему так... для времяпрепровождения? Разве я не понимаю! Нет равенства между нами. Надсмеется ведь он надо мной!

— Надсмеяться не надсмеется, он парень порядочный.

— Так он не нарочно! Уже так само получится. Ведь вон он какой! Он все книги про кокиль прочитал, какие и инженеры не читают. Он все поспевает. И учится, и работает, и для государства изобретает. Что я перед ним? Для времяпрепровождения, к случаю, в кино пригласить. А я? Обдумай ты за меня со всей ответственностью. Я и мысли растеряла.

— Надсмеяться он не надсмеется,—повторила Веруша.—Только ведь он так со многими... В кино или куда. И с Людкой ходил, и с Нинкой. Он серьезу не придает. Он для времяпрепровождения.

— Вот и у меня такое мнение,—тихо отозвалась Даша.

— Ну и что ж?—быстро заговорила Веруша.—Разве с таким парнем худо в кино сходить? Ползавода обзавидуется!

— Что ж он мне, для форсу нужен? И какая в том гордость, что походит да перестанет?

— А вдруг не перестанет?

— Нет, перестанет. Я уж знаю. Наскучаю я ему. Сколько он одних книг перечитал! Какой у него разговор! Я ведь только слушать могу, ни пособить, ни присоветовать. Походит. Наскучает. С другой пойдет. А я ведь даже и повинить не могу. Понимаю, что по справедливости!

Они опять помолчали.

— Думная ты очень!—сердито сказала Веруша.—Ты ходи и не думай!

— Это с ним-то ходить, не думая? С другим еще, может, и смогла бы. А с ним... Да ни с кем ходить я не буду! Будем с тобой двоечкой да двоечкой.

Они еще долго шептались, наконец Веруша уснула, и Даша перебралась в другую постель, но уснуть не могла. Она не сказала Веруше главного—того, что Сережа чуть не поцеловал ее в кино. И она и Веруша никогда по-взрослому не гуляли и не целовались с ребятами. Сегодня Дашу чуть не поцеловали в первый раз в жизни, и хотя этого не случилось, говорить об этом было невозможно. Но и не думать об этом Даша не могла. Она закрыла глаза и представила себе, что Сережа целует ее в кино или, еще лучше, прощаясь, возле дома. Кровь обожгла щеки, и Даша уткнулась в подушку. «Ой, как хорошо! О чем я, бессовестная? О чем, безразумная? А почему б ему не полюбить меня? Вот так и ходили бы вместе да вместе. Уж я бы его любила! Да ведь он-то не любит!.. Образумься!..—уговаривала она себя.—Не любит и не полюбит никогда. А я? Если бы насмелилась, еще тогда б полюбила, когда он в парке птицу приманивал».

Она вспомнила, как стоял Сережа на набережной, как поднял он руку и высокая птица стала спускаться.

«Я еще тогда подумала: такой поманит—от солнца отзовет. Вот и поманил! Ах, будь что будет, пусть наскучит мной, пусть побросает! Пусть! Хоть день да порадуюсь! Похожу с ним, побуду возле него... и за руку будет держать, и... Ой, о чем я?»

И тут же она возражала себе: «Так ведь он же меня уважать не станет! Перед кем унижусь? Перед ним перед первым! Да перед собой. Если я сама себя унижу, если сама себя не уважаю, как же он меня станет уважать? Обдумать, обдумать... Нежданно-негаданно, а вот она пришла, решительность в моей жизни. Не терять разума!»

Она вертелась в постели, сбивая простыни, переворачивая горячую подушку на прохладную нижнюю сторону. То ей представлялось, как она гуляет с Сережей вечерами, и лицо его наклоняется все ближе и ближе, и твердые, красивые губы, как сегодня, у самых ее губ. Она прикладывала ладони к щекам: «Вот она, любовь-то!» То, взывая к своему разуму, представляла она, как все скучнее и скучнее ему с нею. И вот уже он разочаровался, и скучает с ней, и веселеет, увидев других девушек—тех, кто учится с ним вместе: техников, инженеров. «Ведь такому каждая обрадуется!» Представляла, как отлюбил, оставил ее и вот уж ходит с другой, со своей ровней, а

она, Даша, не может ни обвинить его, ни обидеться... «Предусмотреть все должна была! Сама себя унизила. Если имеешь свое достоинство, все предусмотреть надо, не лишаться разума. Которые без разума, те и брошенки! И поделом тебе, что тебя покинули!» — упрекала она ту Дашу, брошенную, разлюбленную. И с облегчением спохватывалась: «Ведь не случилось еще ничего! Конечно, один он, он всех лучше, и, кроме него, никого не надо! Что ж! Буду одна жить. Учиться стану. Со временем добьюсь комнаты, маму с близнецами выпишу».

До света металась Даша в постели. Побыла и любимой, и разлюбленной, и счастливой, и опозоренной. За ночь пережила полжизни, а утром встала бледная, печальная, гладко причесала волосы, надела темное платьице — не то вдова, не то монашка.

Веруша проснулась и не узнала подруги.

— Ну что, Дашута? Что ты какая? На что решилась?

— Не след мне встречаться с ним. Будем мы с тобой двоечки.— Обняла Верушу, прижалась холодной, бледной щекой.— Учиться поступим с осени. Будем добиваться самостоятельной жизни. Придет срок, выпишем маму, тогда уж нам вовсе станет хорошо.

На следующий день Сережа снова наспех в обеденный перерыв перекусил у станка, но Витя Синенький с независимым видом пошел обедать.

— Вить, фрезу ж и шарошку надо делать! — окликнул Сережа.

— Какие фрезы-шарошки?

— Для обработки кокиля. Вчера же договорились! Ты что, позабыл?

— А!.. — Лукавые глаза забегали, потом глянули прямо.— Ладно. Давай начистоту. Я тебя, Сугроб, люблю и помогал по дружбе и по-комсомольски. И вперед не отказываюсь. Только брюхо своего просит! Смотри, какой я тощий! Мне нельзя третий день без обеда! Ты бери в оборот Кондрашку. Вон он какой боров! Кондраш, а Кондраш,— оперативно обернулся Витя к Кондрату,— сделай для Сугроба шарошку.

— Какую еще шарошку?

— Он тебе скажет, какую. Кокиль отрабатывать. Специальную. А то «друг», «друг»! Как ты друга уважил?

— А ты?

— Вона! Я два дня не обедал, гулять не ходил! На меня Тоська ругается!

Сергей оскорбился:

— Хватит вам торговаться. Обойдусь!

Кондрат неожиданно оборвал Синенького:

— Ну и сделаю ему шарошку! Без твоего звона!

Они остались после работы и дотемна провозились с новой фрезой и шарошкой. Когда Сергей брал из своего шкафа инструмент, Мефодич сказал ему:

— Шел бы ты, Серега, домой.

Он говорил ласково, но в последнее время появилась у Сергея болезненная обидчивость.

— Что гонишь? Мешаю я тебе?

— Взвился! Не мешаешь ты мне, а жалко тебя. Глядел я вчера на твою отливку. Пустая это занятия! Когда ты головку или фрезу делал, разве я худое говорил? Что фреза, что головка — это наше коренное. А тут за что взялся? В кокиль лить! Да разве ты литейщик? Инженеры-литейщики и то не берутся одолеть модель.

— Потерпи еще малость! — попросил Сережа.

— Сколько ж еще?

— Теперь вот-вот... Скоро...

Пришло разоблачение, которого боялся Сережа. Нельзя уже спрятаться за две-три детали, подкинутые Мефодичем. Сережа едва вытягивал норму. Когда он слышал за спиной шаги Гурова, Ивушкина или кого-либо из мастеров, он думал: «Расти у меня на хребте волосы, они б дыбом вставали».

В пятницу утром в цехе записывали желающих ехать в город на концерт.

В перерыв Сережа прошел в чугунолитейный: решил спросить Дашу, пойдет ли она. Перерыв еще не кончился, а она уже стояла у станка, побледневшая, гладенько причесанная. Увидев его, она посмотрела дико и поздоровалась коротким кивком.

— Что ты так смотришь, словно я у тебя три копейки украл? — удивился Сережа.— Записывают на концерт ехать. Поедем?

Даша печально покачала головой.

— Нет, не поеду.

— Почему? В вечерней смене?

— Нет. Не в вечерней я. Только все равно не поеду.

— Случилось что-нибудь? Да выйди ты из-за станка на полминуты! Ведь перерыв!

Она прошла с ним к выходу, где было тише.

— В театр не пойдешь, а в парк в воскресенье? — не понимая ее отказа, допытывался Сережа.

Даша тихо вздохнула.

— Не стану я с тобой ходить!

— Это вдруг почему же?

— А что ж ходить мне с тобой? Ведь ты то с одной, то с другой!

— Вот те на! — удивился Сережа.— Что ж, по-твоему, я с одной с тобой должен ходить?

Даша покраснела.

— Ой, что ты! Я совсем не к тому. Только у меня свое есть понятие. Я с Верушей стану ходить или уж в общей компании. Когда девушка то с одним, то с другим... ни к чему это.

— Отчего ни к чему? Объясни!

— Так что ж... ходить попусту? Походили — перестали. Зачем это?

— А что, по-твоему, как зарядили ходить в кино, так уж и ходи до самой смерти? — засмеялся Сережа.— Или, может, по-твоему, как сходил в кино, так и женись?

Даша еще пуще покраснела.

— Так ты ж ведь еще и за руку берешь!

Сережа еще веселее спросил:

— А по-твоему, раз за руку взял, так обязан жениться?

— А как же?!

В словах была такая наивная убежденность, что Сережа откровенно расхохотался в ответ.

Даша сперва растерялась, но тут же пересилила себя и ответила с достоинством и даже с гордостью:

— Не так ты понимаешь. Не оттого жениться, что взял за руку. А наоборот! Если всерьез не думаешь, так зачем и за руку брать? Я ведь не о себе! Я о жизни. Что ж, по-твоему, девушка должна с каждым в кино ходить и с каждым держаться за руку! Я о жизни иначе понимаю. Не стану я с тобой ходить.

— Жениха, значит, будешь дожидаться?

— Зачем мне это? — ответила она печально.— Я никогда и замуж не пойду.

— Так и будешь одна вековать?

— А я и не одна вовсе! У меня мать, сестренки, подруги. И в цехе все ко мне с добром. Я еще мало ученая. Учиться мне надо. Еще и некогда мне по кино разгуливать.— Она закончила строго, нагнула голову, сделала шаг от Сережи, потом оглянулась; в глазах, похожих на распахнутые окошки, блеснула печаль, и голос прозвучал жалобой: — Прощай, Сереженька...

Она уходила от него, тоненькая, прямая, с русыми, туго приглаженными волосами.

«Ну и смешная девчонка! — подумал Сережа.— Если на ней не женишься, так и за руку не держи! Скажите, какая недотрога! — И вдруг ему стало грустно, захотелось, чтоб она, именно она, была рядом.— Испугал... Не надо, не надо было такую за руку-то держать».

Но ему некогда было раздумывать о Даше.

Отливка в новый кокиль была не лучше прежних. Кромки стали острее, но размеры не совпадали, а ужими-

ны и раковины стали больше прежнего. Он забросил комсомольские дела и нахватал троек в техникуме. Возиться с кокилем одному было трудно, а ребята помогали день ото дня неохотнее и нетерпеливо спрашивали:

— Долго ль еще тебе возиться?

— Вот-вот... — отвечал Сережа. — Последняя отливка.

Они перестали верить этому «вот-вот».

Синенький сочинил про него песню с припевом:

В цехе свой Дон-Кихот
По прозванию «Вот-вот».

Однажды вечером, покидая Сергея, он сказал:

— Серега, я же, как ни говори, жених! У тебя дед, а у меня невеста! Ты хоть и очумел от кокиля, но пойми разницу: деда в театр не водить, в буфете не угощать. Он еще и сам тебя подкормит. А у меня Тоська! Нам комнату снимать, обзаводиться, и все такое. Я эти полмесяца без заработка. Жить надо и жениться, брат, мне тоже надо. А тут... с твоим кокилем еще либо будет, либо нет. Так что, Серега... — маленькая сильная рука Вити Синенького сжала безответную ладонь Сергея. — Прощай, «Дон-Кихот — вот-вот»!

Сережа хотел беспечно улыбнуться, но губы скривились беспомощно.

Заводская жизнь его начиналась неслыханно счастливо: через три года после прихода в цех он уже был передовиком, через четыре — портрет его укрепился первым в аллее почета. Ребята любили его, комсомольцы выдвигали и выбирали, и сам Вальган всячески отмечал и поощрял. Сереже его жизнь порой представлялась стремительной, как птичий полет. А теперь?

Вчера еще и Мефодич слушал Сережу больше, чем мастера, и Витя Синенький тенью ходил за Сугробом, и, когда Сережа затевал новое, не было отбоя от желающих помочь. А сегодня жалость Мефодича и Витино ироническое: «Дон-Кихот — вот-вот», и он один со своим кокилем. Словно шел привычным, широко открытым проходом и вдруг ударился лбом о непонятное. И губы растерянно кривились, когда он пытался улыбнуться.

Все придирчивее становились мастера и яростнее Гуров. В царствование Бахирева в инструментальном и модельном цехах прекратили работу на посторонних заказчиков и перестроили все мощности на внутризаводские нужды. С приездом Вальгана началось обратное. От двойной перестройки цех лихорадило. За это время накопились посторонние, как их называли в цехе —

«министерские» заказы. В прежнее время Сергей даже любил такие горячие и острые периоды цеховой жизни. Он брал наиболее сложные детали, несколько дней мудрил, приспосабливая фрезы из своего тысячного набора, обдумывал технологию обработки и добивался одного из тех знаменитых взлетов, которые выводили весь цех из кризиса. Тогда о нем писали в многотиражке, его осаждали корреспонденты, его благодарил Вальган. Сейчас все было иначе. Он действительно очумел от кокиля, а обманчивое «вот-вот» все время держало его в положении бегуна, подходящего к финишу после тяжкой дистанции: «Остался последний рывок. Дайте добежать!»

В эти трудные дни Сергей не вспоминал о Даше, но несколько раз встречался с ней в цехе, в поселке, на собраниях. Она была тихонькая, здоровалась сдержанно, вскидывала и тут же опускала ресницы над печальными глазами. «Все с девчатами,— отметил Сережа.— Никого из ребят не подпускает». Почему-то приятно было думать, что живет на свете и работает здесь, на заводе, смешная, тихая, милая девушка Даша, недотрога, которую нельзя даже подержать за руку, если не собираешься на ней жениться.

Он вспомнил, как она говорила: «Боюся, ты чего важного не знаешь, что инженерам известно».

«Может, и в самом деле не предусмотрел чего-нибудь? Пойти в отдел главного металлурга — кто у них там понимает в кокиле?»

Когда к Тине в комнату технолога пришел самоуверенный, красивый и, как говорили на заводе, забалованный Вальганом Сергей Сугробин, она отнеслась к нему настороженно. Она слышала, что у Вальганова любимца закружилась голова от славы, что он грубит мастерам и начальнику цеха, забросил комсомольскую работу, не выполняет норм, берется за многое и ничего не доводит до конца. Не понравилось ей и плакатно задорное лицо Сережи, и слишком свободная манера, и фетровая шляпа, и модный макинтош, который он надел из желания расположить к себе.

— Подождите немного. И прошу вас снять шляпу,— сказала она и обернулась к Сагурову.

Сережа покраснел, снял шляпу и терпеливо сел у входа.

Закончив разговор с Сагуровым, Тина обратилась к Сергею:

— Так что вас интересует в кокиле, товарищ Сугробин?

Без шляпы лицо его стало проще и мальчишестее.

— Усадка алюминия меня интересует...

— Усадка алюминия — полтора процента.

— Знаю. Из этого и веду расчет. Да не получаются размеры.

— Какие размеры?

— Размеры модели при отливке в кокиль.

— У кого не получаются? Кто делает отливку модели в кокиль?

— Да я же и делаю!

Тина внимательней взглянула на него. Желтоватые, щенячьи глаза, веснушки на переносье, самонадеянно вздернутый нос, фетровая шляпа в руках. Форсящий мальчик, Вальганов любимец — и такое серьезное, заветное, как литье в кокиль? Непонятно.

— Пойдемте. Посмотрим.

Сережа неохотно пошел за красоткой с холодными глазами: «Пустое дело!.. Надо бы к мужчине». Так же неохотно показал ей свой кокиль и свои первые неудачные отливки.

Тина провела ладонью по артистически сделанному кокилю. Потрогала отливки — одну, другую. Еще не доверяя себе и волнуясь, спросила:

— Это кто? Это вы? Это вы сделали?

— Я с ребятами.

— С кем?

— Наши комсомольцы... И Кондрат и Синенький. Да и многие помогали.

Она стояла неподвижно, скользя ладонями по отливкам, но он видел, как потемнели ее и без того смуглые щеки. Она думала: «Пока мы разрабатывали мероприятия, строчили докладные, испытывали бумагу, он делал своими руками. Этот мальчик, с которым мне даже не хотелось разговаривать!»

Его удивил ее изменившийся, материнский голос, когда она сказала:

— Дорогой мой! Но ведь это же здорово! А что касается усадки, так полтора процента на первосортный алюминий, а у вас идет сработанный. И кокиль, видно, мало прогреваете вначале...

С этого же вечера она стала и его наставницей, и его подручной.

Перерасчет усадки металла приблизил следующий кокиль к заданным размерам, но необходимой точности не получалось. Сереже приходилось опытным путем, измеряя одну отливку за другой, постепенно стачивая кокиль, приближаться к дозволенным допускам. Мешал воздух, остающийся в кокиле, и они не знали, как выпустить воздух, не выпуская металла. Однажды Тина пришла к нему радостная:

— Я придумала, Сереженька!

— Воздух?—сразу догадался он.

— Да, воздух! Смотри, вот пробки с пескодувной машины. Они пропускают воздух и не пропускают песок. Смотри!—На ладони у нее лежали золотистые, в ноготь величиной, металлические пробки с тончайшими прорезями.—Поставить такие в крышку кокиля—воздух уйдет, а металла они не выпустят.

Находка была радостью, и Сережа, отложив все, принялся мастерить такие же пробки для кокиля.

Третий день Бахирев не видел Тины. У него уже вошло в привычку, не сговариваясь, встречаться с ней ежедневно в цехах, в дирекции, в заводском дворе. Иногда они вместе ходили по цехам, иногда перебрасывались несколькими фразами. Он ждал этих встреч, радовался им и все же не понимал их значимости для себя, пока они не прекратились. «Случилось что-нибудь? Не хочет меня видеть? Женщина же! Как у них все скользит поверху!»

На третий вечер он не выдержал и спросил Сагурова:

— Куда девалась ваша Карамыш?

— Кажется, у модельщиков. Она там что-то мастерит с Сугробиным.

«Куда я иду?—думал Дмитрий.—Школьник я—бегать за ней?! Ведь знает, что тяжело, что летят противовесы. Женщины не любят неудачников. Забыла, не хочет! Может, и к лучшему».

А ноги сами несли его в модельный цех.

Мастер пожаловался ему на срыв программы, на завал заказами со стороны, на то, что рабочие разбаловались, а такие, как Сугробин, дезорганизуют цех. Ни Сугробина, ни Тины не было. На всякий случай он открыл дверь в кабинет начальника цеха. Они сидели там вдвоем, прижавшись плечом к плечу. Ее темные прямые волосы смешались с его светлыми и волнистыми. Когда они подняли головы, он увидел на их лицах одно и то же разделенное волнение. Один у обоих был блеск глаз, один у обоих был румянец, одна у обоих была молодость.

Бахирев не знал и не думал, что мгновенный взгляд на женщину может причинить физическое страдание.

«Радуется! Счастлива! С этим, с мальчиком, с красавчиком! А я? Неудачник, старый, мрачный, женатый. Помешал. Ясно, помешал».

— Виноват!—прохрипел он и хотел уйти.

— Пробки!—На узкой ладони она протянула ему маленькие золотистые пробки.—Подождите! Кокиль... пробки...

Она торопилась что-то объяснить. Смесь и смена радости, любви, тревоги, вины, страдания и сострадания в ее лице и взгляде не успокоили, а ожесточили его. «Засуетилась, смутилась. Виновата? Может, они только что... А... Прочь, прочь, прочь!»

— Какой кокиль?—грубо сказал он и обратился к Сугробину:—Жалуются на вас мастера. Передовик, а срываете программу, грубите руководству!

Все было ненавистно в Сугробине: юношеская нежность кожи, изгиб улыбчивых губ и, главное, это общее с ней счастливо-взволнованное выражение. Если бы можно было, как щенка, за шиворот—в ночь, в грязь, в лужу! Он плохо понимал, что сказал ему Сережа, прохрипел невнятно в ответ и вышел.

«Вот и все.—Сила горя и оскорбления поразила его самого.—Неужели я так любил ее? Да... Так.—Даже то, что было в ней некрасиво,—ее прямые, небрежно причесанные волосы,—было желанным...—Но так бросить, так втоптать в грязь мужское чувство! Ради молокососа... Да, молод, весел, красив. А я? Хохлатый бегемот, неудачник!..»

Дела перехватили его по дороге, и он рад был заняться ими, не ехать домой.

В начале двенадцатого он спустился к своей машине и неподалеку от нее увидел Тину. Не подняв головы, он решительно шагнул к машине.

— Товарищ Бахирев!—отчаянным голосом сказала Тина.—Извините. Я должна вас видеть немедленно. Выскочил брак. Необходимо ваше вмешательство.

Укрывшись с ним за колоннами входа, она взяла его за руки и зашептала:

— Дмитрий Алексеевич, дорогой, что, что? Почему вы так смотрели? Что вы подумали?

Он наслаждался ее страданием.

— Ничего я не подумал! В чем дело?

Тогда она топнула ногой по каменной ступени.

— Я жду вас здесь два часа не для того, чтоб вы ушли так! Пойдемте со мной в ваш кабинет, в аллею—куда угодно, где можно разговаривать.

Он поартачился, но пошел за ней, довольный.

В кабинете она усадила его, взглянула на злое, упрямо склоненное лицо: «Ревнует! Сумасшедший! Глупый! Значит, любит. Значит, сильно!» Она была и счастлива этим проявлением любви, и жалела его, и не могла не смеяться над его нелепыми страданиями. Услышав ее смех, он встал, двинул кресло так, что оно ударилось о стену, и шагнул к двери.

Она опередила его, загородила дверь спиной.

— Не пущу! Вы подумали страшно глупое. Для меня все одинаковы: Сережа, Вальган, уборщица, которая моет коридор. Но вы знаете, что делает этот мальчик? То, о чем мы думаем, мечтаем, пишем, он, этот мальчик, слов пустых не говоря, делает! И я ему помогаю. Кокиль... Вот пробки. Я сегодня вам звонила и в час, и в три, и в пять часов, и мне уже неловко было звонить. А секретарша сказала, что вы в горкоме.

Он прикинул в уме: «Час, три, пять часов. Действительно, меня не было». Тяжесть сползала с плеч. Он нерешительно улыбнулся. На минуту закрыл глаза. Открыв их, он увидел маленькие золотистые пробки, раскатившиеся по всему столу, и блаженно улыбнулся.

— С пескодувки?

Теперь он мог говорить о кокиле.

Он возвращался домой и думал: «Ко всем моим прочим качествам я еще и ревнивый, оказывается! Вот не ожидал! Что бы сейчас было, если б не она? Все рушилось... Дождалась, заставила говорить, вернула к разуму. Да, с характером! И любит! Любит!»

На другой день Бахирев снова пришел в модельный цех. Его поразил шкаф Сережи. Около тысячи фрез стояло в отверстиях полок, как пробирки в штативе. Они были классифицированы, снабжены номерами, и на внутренней стороне дверок висел список—картотека фрез. И все это было сделано руками молодого фрезеровщика из старых, сработанных сверл. Какая любовь к своему мастерству, какое трудолюбие, какой дар!

В этот же вечер Бахирев говорил о Сугробине с Вальганом и Ухановым:

— Сугробин талантлив, настойчив и увлечен идеей кокильного литья. Надо на время освободить его от всех заданий и дать одно задание—обеспечить перевод моделей на кокиль. Надо потеснить подсобные помещения и организовать при модельном свою маленькую литейную.

Вальган слушал с той непроницаемой вежливостью, которая стала обычной в его разговорах с главным инженером. Он не ответил, а обратился к Уханову:

— Что скажет главный технолог?

— Модельный цех в жестоком прорыве.

Бахирев перебил:

— Вот я и предлагаю рациональный способ вывести его из прорыва.

— Я против эмпирики в таком важном деле,— продолжал Уханов.— Вопросы кокиля надо ставить организованно. С будущего года через министерство запланируем фонды. Запросим институт специалистов. Ведь и специалисты в специальных институтах не льют в кокиль

моделей! А тут мальчик без специальной подготовки. С фрезой у него тоже ничего не вышло.

— Фреза хорошая,— опроверг Бахирев.— К фрезе мы подошли бюрократически.

Уханов развел руками.

— Если нас и можно обвинить в бюрократизме, то тут рабочий класс сказал свое веское слово. Рабочие фрезу не приняли.

Бахирев возразил:

— Вспомните. Раньше выбивали траки кувалдой. Мы поставили пресс. Тоже не все сразу приняли поначалу. Это естественно: привыкли к кувалде. Сагурову приходилось прятать кувалды. А теперь? Сломается пресс — ждут, чинят, а кувалды никто и в руки не возьмет.

Вальган поднял яркие глаза.

— Вы хотите сказать, что и рабочий класс заражен бюрократизмом и косностью?

— Сугробин — тоже рабочий класс! Я хочу сказать: рабочий класс тоже надо равнять на лучших, растить и воспитывать.

— Вот именно! — Вальган встал.— Надо воспитывать. Сугробин — виртуоз фрезы. По молодости лет он разбрасывается, хватается за все. Фреза, головка, центрифуга, теперь еще кокиль. А нормы летят, и цех в прорыве. Скоро будем принимать Сугробина в партию. Я сам рекомендовал его. Я сам и поговорю с ним.

— Вопросы кокиля надо решать в принципе! — не отступал Бахирев.

— В принципе я против этой... скоропалительности. Скоропалительность принесла нам достаточно вреда. До сих пор за нее расплачиваемся.

«Противовесы»,— сжался Бахирев.

В этот же вечер Сережу вызвали к Вальгану.

«Дошло до самого директора. Видно, рассказали Тина Борисовна и товарищ Бахирев. Ну, теперь развернемся».

— Все растешь? И красивый же малый стал! — весело встретил его Вальган.— Девчата сохнут? Сознавайся.

— Которые сохнут, а которые и нет,— улыбнулся Сережа.

— Ну, садись, садись.— Усадив Сережу против себя, Вальган спросил: — Что такое? Почему голодает мой лучший фрезеровщик? Семьсот рублей в месяц. Это что за заработок? Рассказывай.

Сережа рассказал о кокиле. Директор то ходил по кабинету, то останавливался, поглядывая веселыми, горячими глазами.

— Не выходит, значит, у тебя с кокилем? И с фрезой тоже не совсем получилось? А за центрифугу ты брался?

Бросил? А что-то такое мудрил насчет шестерен? Тоже не получилось?

Сережа покраснел. Вальган похлопал его по плечу.

— Смущаться не надо. Дело твое молодое. Я тоже в твои годы за все хватался. Думал: все одолею. Но ведь вот дело-то какое. Идут важные министерские заказы. Я когда брал их, по совести говоря, на тебя рассчитывал. Знаю, что виртуоз фрезы у меня в модельном. Десять раз выручал завод и в одиннадцатый выручит. И что вижу? Едва выполняешь программу! Вон, взгляни в окно! Твой портрет впереди всех. По тебе равняем. Это понимать надо. Я за тебя в партию поручился. Что же это? Себе вредишь, завод подводишь и меня подводишь? Кокиль — дело доброе, но всему свое время. Дай срок, возьмемся и за кокиль организованно! Этого дела, брат, кустарным способом, в одиночку не одолеешь. Так вот, прошу тебя: помогай! Выручай завод!

Сережа уходил, обласканный директором, расхваленный и смятенный. Ясно было одно: надо вплотную браться за министерские заказы. А кокиль?.. Кокиль отодвигается на неопределенное время. «Не брошу,— думал Сережа.— Не отступлюсь! Ведь теперь уж вот-вот...— Он вспомнил свое прозвище.— Ну что ж, пускай «Дон-Кихот — вот-вот». Нельзя мне бросить. Но когда? Ночью? Стало быть, ночью. А учиться? А рейдовая бригада? Скоро прием в партию. Как быть? Все равно кокиль не брошу. Но теперь еще труднее будет. В сто раз труднее! Выдержу? Даша сказала: для такого дела себя не жалко. Не жалеть себя! Ночью так ночью!..»

Глава XVII

СУД КОЛЛЕКТИВА

В день партийно-хозяйственного актива Бахиреву подали телеграмму из района. Он развернул ее торопливыми, неуклюжими пальцами. «Из района!.. Неужели опять они, противовесы?..— Он сразу увидел слово «противовесы», и сразу бросилось ему в глаза слово «ранение». Он прикрыл веки.— Вот оно! — С усилием открыл глаза.— Какое ранение? Где?» Стертые буквы не сразу складывались в слова. «Такое же, как ранение»,— прочел он, но не мог понять смысла телеграммы. Только при третьем чтении он понял, что слова «ранение» нет. В телеграмме стояло слово «ранее». Из района сообщали, что опять оборвался противовес и нанес трактору повреждение, «такое же, как ранее

описанное». Бахирев чертыхнулся на самого себя, на составителя телеграммы, на телеграф. «Ранения» не было, однако был еще один обрыв противовеса, и опять из последней партии. Противовесы летели с тех пор, как началась возглавленная им торопливая перестройка производства. Все были против этой торопливости, все предупреждали, что она не пройдет даром: Чубасов, Рославлев, Сагуров и многие другие, не говоря о Вальгане. Он предвидел все, кроме летающих противовесов. Он не послушал никого. Он не мог не торопиться. Он предвидел это трудное время, когда разломаны полы и стены, когда чаще прежнего останавливается конвейер, когда проваливается программа, когда падают заработки у рабочих. Он шел на трудности, думая, что они изживутся и пройдут бесследно. Но тракторы, уходя с завода, несли на себе след этих тяжелых дней: летающие противовесы. «Летят в мою голову,— думал он.— Добивают. Хотя что меня добивать? Уже добит. Партактив подкрепит решение парткома. И точка».

У входа в ЧЛЦ он встретил Тину. Как всегда, наяву она оказывалась еще красивее, нежнее и спокойнее, чем в его воображении. За распахнутым халатом виднелось нарядное серо-голубое платье. Нитка бирюзы обвивала шею. Он еще не видел ее такой нарядной. Она отошла в тень акации, улыбнулась ему холодноватыми глазами.

— Сегодня в семь тридцать?

— Да. Последнее собрание на тракторном.

— Этого нельзя допустить. Вы знаете, я хочу выступить... Нет, нет, не о вас! О делах ЧЛЦ.

— Защита, замаскированная из жалости? Если вы не хотите совсем сбить меня с нарезки, сидите и молчите.

Она поняла, что ее защита ударит по его мужскому самолюбию. Понимала она и то, что не сможет изменить уже всем ясного решения.

— Хорошо. Буду сидеть и молчать. Но вам я могу напомнить одну пословицу: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Если вы и ошиблись больше некоторых, то лишь потому, что сделали больше многих.

У нее было особое свойство — находить самые нужные и самые ободряющие слова из тысяч человеческих слов.

— Если бы не противовесы! Сегодня еще один.

— Дмитрий Алексеевич!— Голос был спокоен, легок, немного ироничен.— Мы еще успеем рвать рубашку на груди и всенародно каяться на площади. Я вижу, вам уж очень этого хочется! А потом...— Она улыбнулась с печальной, но явной насмешкой над ним.— Почему все же вас так волнуют именно эти несколько противовесов? Ведь вы наворотили дел покрупнее! Срыв программы,

падение заработков у сотен рабочих... Ведь противовесы—это лишь точка пересечения многих линий вашего поведения.

— Чему же вы улыбаетесь?!—возмутился он.

— Разве вы не знали, на что шли?

— Знал. Такое запущенное производство не перестроишь безболезненно.

— Так что же теперь? Ведь летящие противовесы— это одна из тех болезней перестройки, которые вы предвидели и на которые шли?

Ни сожаления, ни тревоги на тонком лице. Она говорила с ним, как взрослая с ребенком. Не в первый раз он спросил себя: легко ли дается вот такая ироничная безбоязненность? Что должна была пережить эта юная женщина, его избранница, по сравнению с чем его тревоги могут казаться детскими? Она никогда не рассказывала ему о себе.

— Если бы я был уверен, что дело идет о пяти-шести противовесах... Меня тревожит... Но скажите, Тина, как плавится и формуется такое спокойствие, как ваше?

— Нужны природные задатки. Богатая ферромарганцем шихта и высокая температура плавки. Но вы не договорили, что вас тревожит.

Он подумал.

— Овеществленность и опасность ошибки. Относительно всего другого—перестройки моторного, ЧЛЦ, загрузки инструментального—можно спорить: верно—не верно, рискованно—не рискованно... Оборванный противовес бесспорен и опасен.

— Меня удивляет то, что ни одного случая из первых партий.

— Один был.—Он рассказал о первом случае.—Тогда трактористы сами сознались в своей вине. Рекламация была ими снята.

— Попросту она была погашена.

Он не понял ее слов, и она напустилась на него:

— Дмитрий Алексеевич, вы иногда напоминаете ребенка! Это же делается часто и на других заводах. Вальган умеет это лучше других. Он многое умеет лучше других! МТС остро нуждается в запасных частях, и директор пользуется этим. Привезли рекламацию. Директор предлагает: случай сомнительный, и чем разбираться в кляузах, давайте полюбовно. Вы снимете рекламацию, а мы вам и трактор отремонтируем бесплатно, и дадим по себестоимости вволю запасных частей. В МТС, конечно, рады такой редкой удаче. Они снимают рекламацию и берут запчасти! Все счастливы и довольны! Вам надо съездить на место.

— Не успею до партактива... Но сейчас и не в этом

суть. Хотелось бы, чтобы разговор шел о главном. Сейчас я заглянул в партком. Сидит там Дронов, секретарь горкома по промышленности, читает мою тетрадь. Все исчерчено красным карандашом.

— Это хорошо. Значит, спор пойдет по главным вопросам.

— Вам не противно будет меня видеть избитым?

— Каким угодно, только не испуганным.

Она оглядела его смятый костюм, закоптелое лицо, запыленные ботинки и брезгливо поморщилась.

— Почему вы сегодня так одеты? Пойдите побрейтесь, переоденьтесь. И чтобы была отутюженная сорочка. И вообще вы весь с ног до головы... отутюжьтесь...

Он понял, почему надела она бирюзу, серо-голубое платье. Перед решающим и опасным сражением надевают ордена и чистое белье.

После работы он заехал домой переодеться и, бреясь в напряженной тишине квартиры, избегал смотреть в преданные и испуганные глаза жены. Ему вспомнилась легкая, брезгливая гримаса и слова: «...с ног до головы... отутюжьтесь!»

Собрание партийно-хозяйственного актива всегда было на заводе не только деловым, но праздничным событием. Вальган любил праздничность и умел создавать ее.

Дворец культуры сиял огнями, цветы украшали трибуны, в фойе звучала музыка, в буфете шла бойкая торговля фруктовыми водами и мороженым. Бахирев был единственной мрачной фигурой среди общего оживления. Ему было трудно ходить по залам дворца. Никто не приближался к нему, не заговаривал с ним. Срыв программы, лишение премиального фонда, волновавшая завод история с противовесами — все связывалось с его именем. В нем видели виновника и носителя бед.

Где-то мелькала Тина, нежная, веселая. Он уловил ее дружеский и испытующий взгляд, захотел подойти к ней, но не подошел.

Тина видела его, вспоминала, как металась она однажды в этом же платье по этим же залам и коридорам. «Танец смерти вокруг синего пальто!» — усмехнулась она про себя. Как мечтала тогда о едином взгляде, о едином слове, как пыталась убежать от любви, мчась под дождем по темным улицам!

Сейчас она была счастлива наперекор всей вселенной. Она получила больше, чем мечтала: его повседневную тягу к ней, его нежность. С тайным чувством собственности смотрела она на его широкие плечи. Но как он был сейчас одинок и жалок в своем новом, отутюженном костюме, с этими смешными волосами, старательно раз-

глаженными спереди, нелепо торчащими на макушке! Как тяжело кружится он по этим переполненным залам! Тоже «танец смерти»? Она охотно вернула бы себе отчаяние того вечера, только бы увидеть его счастливее! «Подойти к нему? Если б можно было обнять! Если подойду, поймет, что жалею, и ему станет еще хуже. Не показать жалости. Смотреть как ни в чем не бывало».

Тяжеловесно и одиноко кружил Бахирев по залам. В одной из комнат собралась молодежь. В рабочем поселке живучи были деревенские частушки. Девушки обступили ребят и, приплясывая под баян, пели новую, очевидно только что рожденную в тревогах дня частушку:

Были вы наладчики,
Были вы молодчики,
Стали вы кроватчики,
Стали сковородчики.

Раздался смех, аплодисменты. Витя Синенький с двумя комсомольцами, отбивая чечетку, уже пел на мотив «Я в лесу дрова рубила»:

В Чеэлцэ вагон грузили,
Сковородку позабыли,
Ухват, сковородку,
Сковородку и ухват...

Бахирев не смог не улыбнуться. Метко! Рабочая молодежь стихийно и лихо высмеивала новое, «кроватно-сковородное» направление тракторного. Какую оценку даст этому направлению официальное решение партийно-хозяйственного актива?

Бахирев улыбался, но увидел в витрине заводского «Крокодила» самого себя, и улыбка исчезла. Он был нарисован в виде грустного бегемота с хохлом на макушке. Над хохлом летели противовесы с крылышками амуров. Дырявые тракторы утирали слезы гусеницами. «Подытожили, значит, мою деятельность! Тоже метко».

Партийно-хозяйственный актив начался. Доклад о состоянии производства делал Вальган. Вел собрание Чубасов.

Видя, как Бахирев, наверное, в последний раз, занимает место в президиуме, Чубасов снова прикинул в уме уже внутренне принятое решение: «Жаль, но надо. Не контролировать его нельзя: зарывается. Контроля он не перенесет. С Вальганом не сработается. Неурядицы между директором и главным инженером приведут завод к «катаклизмам». Это проверено горьким опытом. Тракторы, стреляющие противовесами,— следствие этих неурядиц. Дальше тянуть нельзя. И так преступно затянули!

Решение хоть вынужденное, но единственно возможное. Нужно для завода. Нужно и для самого Бахирева. Иначе, как таким крепким и коллективным уроком, его не выучишь».

— Начали?—бросил он Вальгану.

— Что ж, все на местах...

Тина знала, как трудно будет Бахиреву видеть ее в час своего позора, и села в последнем ряду. Вальган на трибуне был, как всегда, победоносен. Даже первое сопоставление искрометного Вальгана и хохлатого, понурого Бахирева с его набрякшими веками было не в пользу последнего. Он был жалок. «Зачем посоветовала отутюжиться? Отутюженный костюм только подчеркивает помятое лицо. Пришибленный он сегодня. Зачем не подошла в фойе? Надо было подойти»,—мучилась Тина.

— Коллектив завода воспитан в безусловном уважении к государственному плану,—так начал Вальган свой доклад.

То подходя к рампе, то отступая от нее, он взмахами смуглых рук, поворотами шеи, всеми своими мягкими, пластичными движениями, всей игрой яркого лица как бы подчеркивал каждое слово, и Бахирев вновь и вновь удивлялся его способности обычные, стертые повторением слова возрождать заново. Всех опять покорил, наверное.

Бахирев осторожно приподнял веки и из-под ресниц скользнул взглядом по рядам. Красивое, молодое, восторженно-внимательное лицо Уханова. Может быть, он и станет главным инженером? Такое же восторженное внимание на многих лицах. Голова Рославлева возвышается над всеми. Бахирев вспомнил, как Рославлев закончил воззванием к совести свою речь на рапорте: «Должна же быть у чугунолитейного, помимо всего прочего, еще и совесть». Рославлев внимательно слушал Вальгана, а из-под зубных щеток-бровей два синих глаза смотрели наивно и взыскательно, словно опять взывая к человеческой совести и настойчиво требуя ее.

По-юношески приоткрытый красивый рот Сагурова — видно, что увлечен горячей речью Вальгана. Василий Васильевич склонил голову набок и слушает, словно привычно прикидывает в уме, что так, что не так. Рядом с ним Сережа. Побледнел. В лице уже не беспечный вызов, а твердость, самостоятельность. Растут, взрослеют люди. Рядом еще какие-то лица, то увлеченные, то вдумчивые, то сосредоточенные. «Неужели в последний раз я вместе с ними?—подумал Бахирев.—И кто я для них сейчас? Подсудимый? Осужденный? Тот, что на карикатуре,— бегемот, окруженный изувеченными тракторами и амурами-противовесами?»

Вальган говорил о достижениях завода, о непрерывном росте выпуска, о создании и освоении новой марки тракторов, в зале вспыхивали летучие аплодисменты, и Бахирев начинал чувствовать себя критиканом и злопыхателем.

Особый раздел доклада Вальган посвятил открытию цехов ширпотреба.

«О производстве печных вьюшек говорит, как о штурме осажденного Сталинграда! Мастак!» — подумал Бахирев.

Но вот Вальган глотнул воды, провел рукой по блестящей зыби волос, склонил разом отяжелевшую голову и другим, низким, глухим, но кипящим от гнева голосом сказал:

— Теперь, товарищи, я должен перейти к горьким дням в жизни нашего завода... к положению, создавшемуся в настоящее время.

В зале пронесся мгновенный шелест, и сразу наступила недобрая, глубокая тишина. Бахиреву вспомнился лес перед грозой: промчится порыв ветра, дрогнут, дружно зашелестят деревья — и все замрет, затаится в ожидании. «Сейчас обо мне,— понял он.— Зачем я пришел? Уйти! Уйти бы!»

Вальган говорил о провале месячного плана, случившемся на заводе впервые за десятилетие.

— От графика остались рожки да ножки. За это отвечает в первую очередь тот, кто в это время руководил заводом. С первых же дней главный инженер занял беспринципную позицию по отношению к плану: он самоустранился от повседневной работы над программой.

— Не мое дело проталкивать детали на конвейер...— сказал Бахирев.

Чубасов позвонил, а Бахирев сжал губы. «Зачем говорю? Ослаб? Не могу сдержаться?»

— В результате сумбура, воцарившегося на производстве, мы имеем брак, невиданный в истории тракторостроения. Противовесы срываются на полных оборотах и, как бумагу, разрывают металл. Характерно то, что противовесы обрываются у тракторов, сошедших с конвейера в дни царствования товарища Бахирева. Характерно то, что товарищу Рославлеву со дня прихода в моторный цех прежде всего пришлось заняться противовесами. Беспринципность главного инженера проявляется также и в отрицании успехов отечественного машиностроения, проявляется она и в личном зазнайстве, в пренебрежении к коллективу, в барстве.

— В хамстве! — раздался выкрик с места.

«Кто кричит? — насторожился Бахирев и узнал го-

лос: — Пьянчужка и бездарь Пуговкин! Все в порядке! Так и быть должно».

— Беспринципна сама производственная позиция главного инженера. Товарищ Бахирев возражает не только против производства у нас на заводе необходимых народу предметов широкого потребления, но и против... дизелей! Дизели он тоже хочет передать другим заводам, не учитывая ни той зависимости, в которую встанет завод, ни огромной наценки на перевозки.

Вальган перечислил ошибки Бахирева и закончил словами:

— Мы обязаны сказать со всей прямотой, что главный инженер занял беспринципную позицию.

— Принципиален тот, кто верно понимает свою роль в социалистическом строительстве! — снова не выдержал Бахирев, но его даже не услышали.

Вальган закончил под аплодисменты. Бледное, каменное лицо Бахирева с опущенными веками походило на безглазую гипсовую маску. Тон собранию был задан докладом Вальгана, и главный удар был нанесен им. Посыпались удары, не столь сокрушительные, но еще более болезненные.

«Кто будет за меня? — думал Бахирев. — Вальган против. Чубасов против. Рославлев против. Сагуров молод, увлечен речью Вальгана, смолчит. Демьянов всегда молчит. Гринин?» До этого ему ни разу не случалось видеть второго секретаря обкома. Когда бы ни пришел Бахирев в обком, Гринин оказывался в командировке. У него было широкое, спокойное лицо, неторопливый и твердый взгляд. Лицо это ничего не открывало Бахиреву. Дронов? Лицо добродушное, в руках бахиревская тетрадь с подчеркнутыми красным карандашом строками. «Этот продумал главное. Если и будет нападать, то по принципиальным вопросам».

На трибуне стоял секретарь цехового бюро цеха шасси. Честный и умный человек этот, прошедший сходный с Бахиревым путь — от чернорабочего до инженера, — нравился Бахиреву. Не было меж ними тех личных стычек, что так осложнили отношения главного с директором.

— Товарищ главный инженер держится вельможно, пренебрегает рабочими, — говорил он. — Вы бы, товарищ Бахирев, как-нибудь пришли к нам в цех и держали хоть бы такую речь: вот, мол, я и есть главный инженер этого завода, и зовут, мол, меня так-то и так-то. Кстати сказать, я и сам не знаю, как вас зовут... Вот полетели у нас противовесы. Случайность ли это? Где такое видано? Разве противовесам положено летать? Нигде они не

летают, а в такой чехарде, какая была в цехах последнее время, и противовесы полетят, и тракторы начнут вставать дыбом.

Выступали оратор за оратором, и гневные речи гремели над головой Бахирева. Уничтоженный, виновный и бессильный, он сам ощущал сейчас: грандиозные замыслы его беспочвенны, бесплодны и смехотворны. «Знал, что будет худо,—думал он,—но чтобы так... Хотя чего я мог ждать? Начал с планов-максимум, кончил летающими противовесами!»

— Слово предоставляется секретарю партбюро автоматно-серийного цеха товарищу Ивину!—возгласил Чубасов.

— Да он три дня как болеет!—крикнули с мест.

Раздался смех. Чубасов покраснел. «Черт, как неловко вышло!» О выступлении он договорился с Ивиным три дня назад. Среди десятков записавшихся был и секретарь модельного цеха Ивушкин. Чубасов не ждал от него интересного выступления, но, спасая положение, выкрутился:

— Я ошибся, товарищи. Записался не Ивин, а Ивушкин, секретарь партбюро модельного.

Ивушкин вышел на трибуну, пригладил седые волосы, вытер платком подбородок.

— Мы, товарищи, отстающий участок,—заговорил он тихо и жалостливо,—и нам от этого прискорбно. Очень прискорбно. Семен Петрович тут нас обвинял за неправильную линию и развал работы. Надо сказать, товарищи, что мы не самовольничаем. Нам дадут линию—мы ее проводим. А получается нехорошо. Очень нехорошо. А коллектив у нас хороший. Очень хороший!

— Почему же плохо работаете?—раздалось в зале.

— Сами удивляемся...—развел руками Ивушкин.

В зале дружно захохотали.

Чубасов досадовал на себя: «Зачем я его выпустил? Почему он вообще руководит партбюро? Хороший человек, но ведь выстарелся».

Как во время концерта видит дирижер каждый промах подготовки, так и Чубасов, дирижируя собранием, обнаруживал изъяны и промахи в своей работе.

Неудача с Ивиным и Ивушкиным нарушила строй собрания. Надо было на ходу выправлять положение. Чубасов мгновенно переменил очередность выступавших и тихо бросил сидевшему рядом с ним секретарю горкома по промышленности Дронову: «Выступишь сейчас».

Когда Дронов вышел, Бахирев повернулся к нему всем телом. В большинстве выступлений не затрагивались вопросы, определяющие ход всего производства. «Ну,

ладно,— думал Бахирев,— Бахирев виновен — и бейте его в хвост и в гриву! Но зачем отнимать для этого время у тысячи людей? Его можно снять — и дело с концом! Почему же молчат о технологической отсталости завода, о неправильных принципах построения производства, об отсутствии технормирования? Это важнее сотни Бахиревых!»

Когда Дронов вышел, держа в руках бахиревскую тетрадь, исчерченную красным карандашом, Бахирев поднял голову.

«Сейчас начнется разговор по существу».

За одно это подчеркивание, за внимание, с которым Дронов прочел тетрадь, Бахирев уже испытывал к нему симпатию. Дронов начал издалека. Он повторил слова Вальгана о прошлых достижениях завода, потом перешел к провалу программы, поговорил о политучебе и о том, что горячий цех плохо снабжают газированной водой. Наконец он перешел к Бахиреву. Он ругал главного инженера за грубость, зазнайство и ячество. «Когда же пойдет разговор по главным, принципиальным, производственным вопросам? — про себя нетерпеливо спрашивал Бахирев.— Ведь исчеркал всю мою тетрадь, где изложены основные принципы. Ага! Открыл тетрадь! Отыскал подчеркнутые места. Вот сейчас начнется большой разговор».

— Товарищи! — Дронов поднял тетрадь.— Говоря о ячестве главного инженера, я не хочу быть голословным. Вот у меня в руках его труд — не то эмбриональная газетная статья, не то докладная. Последняя часть этой статьи вся пестрит местоимениями. «Я полагаю», «моя точка зрения», «на мой взгляд»... «Я, моя, мое» — на каждой странице. Я подчеркнул красным, подсчитал количество местоимений «я» на этих страницах. Двадцать восемь «я», товарищи! Вот перед вами страница, видите, она испещрена красным!

Он поднял развернутую тетрадь Бахирева, и Бахирев увидел, что красным были подчеркнуты не принципиальные положения, а буква «я». Краска гнева ударила в лицо. Дронов не заинтересовался ни одним из положений, определяющих развитие производства. А на то, чтобы сосчитать слово «я», у него хватило интереса и времени. «Если б ты был домашней хозяйкой, я сказал бы: «Черт с тобой!» — мысленно обращался к нему Бахирев.— Но под твоим руководством десятки заводов. Так кто же ты, если, видя завод в прорыве, в катастрофе, не задумался о причинах и конкретных мерах, а сидел и считал букву «я»?.. Эх, Костя, Костя! — горько вспомнил Бахирев Зимина.— А ты, оптимист, говорил, что дураков не берут

в расчет. Подставил меня под удар и небось не придешь на выручку!»

Мелочность нападок успокоила его. Можно ли брать всерьез людей, не способных к серьезному разговору? Он уже не слушал. Его вина и его судьба были уже решены, а по принципиальным производственным вопросам никто не говорил.

«Вот и все,—думал Бахирев.—Ничего я не сумел. Даже вызвать на большой разговор не сумел. Подсчитают количество «я» и выгонят с завода. И чем вспомнят? Летающими противовесами? Ничего не сумел, ничего не смог...»

Когда Дронов считал местоимения, Тина, сжавшись в последнем ряду и склонив горящее лицо, думала о Дронове словами Бахирева: «Ой, как же стыдно! И что же он за человек? Слепой, совсем не может видеть, или глаза запорошило, пыль в глазах? Рассеется пыль—он поймет, увидит!.. Как хочется, чтобы был человеком! Митя,—она впервые мысленно назвала так Бахирева,—Митя, бедный! Когда тебя бьют по-вальгановски, крупно, сильно, все же легче, чем когда так кусают, по-блошиному».

— Да что ж это?! Оговор же, батюшки!—услышала она у самого уха встревоженный голос. Рядом с ней сидела беззубая женщина с огромными подглазницами. Тина узнала земледельщицу Ольгу Семеновну, которая с недавнего времени числилась в передовых и впервые присутствовала на партийно-хозяйственном активе.

— Товарищ Бахирев зазнайски и пренебрежительно относится к рабочим...—продолжал Дронов.

— Да что же это зря человека оговаривать?—обратилась Ольга Семеновна к Тине.—Может, насчет плану он и плох, этого я определить не могу. А насчет рабочих—да ведь я же самолично его знаю! Да разве я одна! Спросите кого хотите из чугунщиков.

Тина обернулась к ней:

— Если вы знаете, то скажите! Что же не вступитесь? Боитесь?

Ольга Семеновна обиделась:

— Мои боялки тогда перебоялись, когда вас еще и на свете не было...

— Так пойдите скажите вот так же просто, как вы мне говорите. Надо сказать!

Тина и внушала, и просила, и требовала. Всю любовь к Бахиреву, всю жалость вкладывала она в эти слова.

— А как же мне и не сказать!—с неожиданной простотой согласилась земледельщица.—Я и у себя в земледелке кому хочешь все выкладываю... Я этой нес-

праведливости не выношу. Только ведь мне скоро заступать в смену, не поспею.

Дронов кончил. Тина понимала, что наступила решительная минута. Сейчас в руках у нее была единственная возможность помочь Бахиреву, и, набравшись духу, она громко, на весь зал, крикнула:

— Работница чугунолитейного цеха Потапова просит слово вне очереди: ей надо идти в смену! Просим дать слово.

Рабочих пока выступало всего двое, и это Чубасова тревожило. Он поддержал перед собранием просьбу Потаповой:

— Что ж, товарищи, дадим внеочередное слово передовой работнице чугунолитейного!

Ольга Семеновна в парадном ситцевом платье, стиснув сморщенные, провалившиеся губы, твердо прошла через весь зал к трибуне.

— Кто это?—спросил Вальган, когда она поднималась.

Она услышала и на ходу ответила:

— Земледельщица я... Осьмой год в земледельном.

В неожиданности и срочности выступления этой старой женщины с измученным лицом было что-то, сразу заставившее всех насторожиться. Она не растерялась на трибуне. Видно было, что ей все равно, где выступать—в стержневом или здесь, перед чужими или перед знакомыми. Не повышая голоса, она обернулась к Дронову и сказала домашним тоном старухи, поучающей провинившегося молодого:

— Хорошо ль это зря-то человека оговаривать? Что касаемо процентов, в это я не вмешиваюсь, это вам виднее. А что касаемо рабочих, так у нас в цехе каждый скажет, что еще и не видали такого начальства! Вы вот, товарищ директор, спросили про меня: кто, мол, это? И мудрено вам меня знать: я вас только за красным сукном и вижу. А ведь я осьмой год на заводе, и бывает, тоже и по две смены подряд выстаиваю, и нормы перевыполняю. Таких, как я, у нас из ста девяносто. А товарищ Бахирев вот несколько месяцев на заводе, а спросите наших рабочих, он не через красное сукно глядит, он, почитай, на каждом рабочем месте постоял. Отчего я стала двести процентов выполнять, в передовики вышла? Дозаторы нам поставили, пневматику подвели. Землю подвозят качественную. А ведь на нашей земледелке и завод стоит! А сколько нам, чугунщикам, сделал облегчения жизни!

— Правильно! Верно!—крикнули сразу несколько человек.

А Ольга Семеновна продолжала:

— Общежитие отвел для чугунщиков. У нас цех вдвое тяжелее против других, значит, и заботы надо вдвое. Вы, товарищ директор, до того не додумались за все годы, а товарищ Бахирев — с первых месяцев. Сейчас в цехе, конечно, разгром. Так вот хоть меня взять. Переезжала я из подвала в общежитие — тоже ведь разгром учинился! А и барахлишка у меня один сундучок. Если за план критиковать, я не в курсе и возражать не могу. Но если об зазнайстве, то грех вам человека зря оговаривать перед людьми,— внушительно обратилась Ольга Семеновна прямо к Дронову.— У нас бабы в пересменку зазря болтают, так и то нехорошо. А вы, видно, в больших начальниках, вам грех зря человека оговаривать, да еще перед всем заводским народом.

Безыскусственный, домашний тон Ольги Семеновны и выговор, который она, ничем не смущаясь, учинила секретарю горкома на глазах у всего собрания, произвели то замешательство, которое производит неожиданно открытая истина. На миг растерялся даже Чубасов: «Почему лишь о зазнайстве и говорят? О другом, о другом надо! И почему так от души вступилась за него земледельщица? О тех, кто страдает зазнайством и ячеством, рабочие так душевно не говорят».

А Ольга Семеновна уже шла с трибуны, и аплодировали ей так, как не аплодировали Вальгану.

Бахирев был взволнован. Аплодировали сейчас не только Ольге Семеновне, но и тому, что сделал он в чугунолитейном. «Заступилась и убедила. Кто бы подумал? Вот тебе и «могильщица»! Как встала на защиту, живая душа!»

Следующим выступал Сугробин. После неприятных для Вальгана слов земледельщицы надо было выправлять положение, и Вальган надеялся на своего выдвиженца и любимца. Сережа заранее приготовил речь о работе рейдовой бригады, но после выступления Ольги Семеновны невозможно стало говорить казенными фразами. Захотелось сказать так же запросто и от души.

— Я поддерживаю предыдущего оратора,— решительно начал он.— Тут говорили, что рабочие не любят главного инженера. Это смотря какие рабочие. Бывают у нас, к примеру, такие случаи: удерживает начальник цеха с бригады за брак и говорит: «Вот, ребята, товарищ Бахирев велел с вас удержать!» — По рядам пробежал сочувственный смех.— Это же факт! Однако это, товарищи, частный вопрос. А теперь перейду к главному. Глушат у нас на заводе разговор о техотсталости. Взять, к примеру, кокиль. Кто отстаивает переход моделей на кокиль? Главный инженер. Начальник цеха

говорит, что негде организовать свою литейную. А у нас вся площадь возле лестницы пустует. Там и печь и тигель хорошо разместятся — я все метром вымерял. И расходы невелики. Делать надо. Главный инженер настаивает, а кто ему мешает?

Тон, заданный докладом Вальгана, был сбит, собрание отклонялось от заранее намеченного направления, а Чубасов не чувствовал той убежденности, которая всегда помогала ему овладевать положением. И чем меньше было внутренней ясности, тем внимательнее он прислушивался к выступающим.

На трибуне стоял знатный инструментальщик Осин. Чубасов уважал этого худого человека с большими руками рабочего и с тонким лицом интеллигента, с острым умом и язвительным языком.

— Завод, конечно, переживает позорные дни,— начал Осин.— Не знаю, как главный инженер, а я, когда прохожу мимо развороченных противовесами тракторов, глаза отвожу. Это позор, и первая вина в этом товарища Бахирева. Но вот что касается инструментального цеха, то, по-моему, линия главного инженера самая правильная. На заводе каждый станок моих рук просит, все запущены, а я обслуживаю то железную дорогу, то «Красный Октябрь», то еще кого-нибудь. Читал я планы — максимум и минимум — и хочу сказать относительно специализации завода: никаких минимумов в этом вопросе! В этом вопросе я согласен не с директором, а с главным инженером. Да, разгрузить не только от кроватей и сковород, но и от втулок, от топливных насосов, от самих дизелей! Это и есть принципиальная партийная линия. И почему наш партком за нее не борется? Вообще о работе цеховых партбюро. Мало у нас молодых инициативных секретарей. Был у нас хоть раз такой случай, чтоб начальник цеха или директор завода выбежал из партбюро с красными ушами? На заводе всюду повешены плакаты. Но не хватает, по-моему, нам одного плаката. Надо в парткоме повесить плакат: «Партия — это руководящая сила в строительстве коммунизма».

Чем неожиданнее были слова выступавших, тем больше нервничал Вальган. Беззубая земледельщица и Сугробин повернули ход собрания, а Чубасов словно не замечал этого и не пытался вернуть его в нужное русло.

— Хватит. Пора кончать прения...— шепнул Вальган.

— Выбери еще двух нужных ораторов и кончай самотек,— шептал с другой стороны Дронов.

Но Чубасов с непонятным упорством отвечал и тому и другому:

— Пусть люди выскажутся.

Непонятно вел себя и Гринин: он молчал и не пытался направить ход собрания.

Бахирев ожил. Уши у него горели так, как желал того Осин, но земля возвращалась под ноги. Его планы, которые час назад самому ему казались беспочвенными, обретали точку опоры. Слова Ольги Семеновны, Сугробина, Осина, а за ними и других возвращали бахиревским планам дыхание. «Переливание крови»,—думал он. Как в бездыханное, ослабевшее тело по каплям льется живая, горячая кровь, так слова земледельщицы, модельщика, инструментальщика возвращали жизнь и силу бахиревским планам. И сам Бахирев, измятый, придавленный, ослабевший, поднимал голову, распрямлял спину и уже не прятал глаз, а все пристальнее вглядывался в лица людей, заполнивших зал.

Одним из последних выступил Рославлев. Его любили на заводе.

— Что он скажет, то и правильно!—сказала сидевшая впереди Тины девушка.

— Прямой, как топор!—подтвердил мужчина.

В той борьбе мыслей, в тех колебаниях, что царили на собрании, слово Рославлева было одним из самых решающих. Огромный, краснолицый, белобровый, он вырос на трибуне и загудел горячим, густым басом:

— Даже тот, кто насквозь пропитался землей, прокалился жаром вагранок, чья заскорузлая душа покрыта ржавчиной и окалиной, не сможет пройти спокойно мимо тракторов, израненных, развороченных летающими противовесами! Летающие противовесы—«техническое новшество нашего тракторостроения»!—Желчь и горечь звучали в словах Рославлева.—Мне пришлось принять цех, обремененный грузом этих летающих противовесов. С первых же дней мы сняли с работы пьяницу, стоявшего на затяжке болтов. Поставили затяжку болтов под контроль. Но все же, когда я думаю, кончились ли эти позорные полеты и кто виноват в этом позоре, я называю не пьяницу, занятого затяжкой болтов. Нет!—Рославлев обратился к Бахиреву:—Однажды вы сами сказали мне, что, когда проигрывается сражение, честный полководец не говорит, что виновата армия. Он скажет: «Виноват я». Это ваши слова.

Как ни был избит Бахирев, но удары, нанесенные Рославлевым, были самыми тяжелыми.

— До сих пор противовесы летели в вашу голову,— продолжал Рославлев,—но если они полетят дальше, они полетят уже и в меня! И прямо говорю: я боюсь этого. И прямо спрашиваю: как вы довели до этого? Почему вы не советовались с коллективом? Если бы вы посоветовались

с нами, мы бы сказали вам, что нельзя единым махом, без подготовки, перестраивать ряд зависимых друг от друга и запущенных цехов. В какое положение поставили вы нас, моторщиков? Сегодня у меня прорыв потому, что переорганизация у нас самих. Завтра мы с трудом выбиваемся из беды и готовы подняться. Но назавтра нас гробит ЧЛЦ, который тоже перестраивается! Простои наслаиваются на простои, выработка падает, заработки моторной группы падают, это вызывает отсев рабочих. Приходится ставить новых или случайных людей. Они рвут болты. И противовесы летят! Вот цепь, сплетенная вами. Вместо того чтоб последовательно, продуманно, по нитке распутывать клубок, вы потянули разом со всех концов и не распутали клубок, а затянули его в узел. Вот что вы сделали! Вы послали меня в моторный. Я до сих пор не могу опробовать цех. Я не знаю, на что способны люди, не знаю, на что способны станки. Мы ни разу не имели возможности пустить цех на максимальную мощность!

Рославлева слушали не шевелясь.

— Этот доломает хребет главному...— услышала Тина чей-то шепот.

А Бахирев снова сидел, как должен сидеть человек с поломанным хребтом, обрюзгнув, опустившись, постарев.

— Заканчиваю, товарищи...— гудел Рославлев.— Я считаю, что главный инженер виновен в целом ряде крупных, как говорится, ошибок.

Рославлев вынул из кармана огромный, под стать ему самому, платок, вытер им красное, потное лицо и стер с него всю воинственность.

— Что же касается основного направления, взятого в последнее время,— продолжал он совсем иным, миролюбивым голосом, словно счел, что отгрохотал положенное и может говорить обычными словами,— то надо сказать — я это направление приветствую!

Ни от одного из сегодняшних поношений Бахирев не вздрагивал, но от этого внезапно обрушившегося на него приветствия он и вздрогнул, и вытянулся, и взглянул во всю ширину глаз. Под зубными щетками теплился дружеский и сочувственный взгляд.

— На основании сегодняшнего положения можно говорить о неразумной торопливости главного инженера, но нельзя опорочить его основную линию. Отдача проведенных мероприятий начнется недели через две. Моторный цех в будущем месяце уже с лихвой перекроет недостачу минувшего. Относительно планов максимум и минимум я согласен с товарищем Осиным. Добиваться максимальной специализации и массовости. И никаких минимумов по принципиальным вопросам!— Снова сошлись над глазами

зубные щетки, и снова голос гудел, как колокол, и бахиревский план-максимум, возрожденный из мертвых громовержцем Рославлевым, приобретал живую плоть.— Всеми мерами добиваться передачи производства дизелей специальному заводу, а за счет дизельного цеха расширить соседний цех шасси.

Предложение следовало за предложением, и Бахирев слушал их, забыв о том, что его ругают, что его должны прогнать с завода. Рославлев закончил, повторив слова, звучавшие на слух Бахирева как музыка:

— Никаких минимумов по принципиальным вопросам! Только максимум! Здесь предлагали в решении отметить ошибки главного инженера. Согласен! Но надо также записать и правильность намеченной им основной линии развития производства, и энергию главного инженера, и его техническую подкованность, и редкое умение его быстро ориентироваться в новом производстве.

Бахирев, пряча лицо, все ниже наклонялся к столу. Щипало веки. Слезы, что ли? Ерунда какая! Рославлев понял его состояние и пожалел от души:

— Если товарищ Бахирев окажется способен преодолеть свои ошибки, он может принести заводу большую пользу. А что касается меня, то я при указанном условии лучшего главного инженера не желаю. Мне с товарищем Бахиревым работать интересно.

Бахирев не хотел выступать.

— Нельзя вам молчать,—твердо сказал Гринин.

Измордованный, брошенный об землю и снова поднятый, доплелся Бахирев до трибуны и заговорил, едва выдавливая слова:

— За науку спасибо... Ошибки свои вижу... Если предоставят возможность, буду исправлять. Счастлив тем, что, как выяснилось сегодня, многие разделяют мою точку зрения на будущее завода. С некоторыми положениями доклада и выступлений не согласен... Товарищ директор говорил об уважении к плану. Мне кажется, уважение к плану иной раз перерастает в лозунг: «План любой ценой». Но такая линия приводит к потере заводом технического лица. Ширпотреб на заводе приветствовать не могу. Буду еще упорнее настаивать на прямо противоположном процессе—на уменьшении номенклатуры, на передаче ряда деталей и узлов, в том числе и дизелей, специализированным заводам. Массовое поточное производство в средних масштабах консервативно. Спасение одно—увеличить массовость. Увеличение массовости за счет специализации заводов и унификации деталей. Таков, на мой взгляд, единственный принципиальный выход из трудностей поточного производства... Я опять говорю «на

мой взгляд»,— обернулся он к Дронову,— не из зазнайства, а потому, что имею свой взгляд, который расходится со взглядами некоторых и который я отстаиваю и буду отстаивать.

Сухие, короткие фразы Бахирева отчетливо раздавались в тишине. «Почему его так слушают? — думал Чубасов.— Ни кашля, ни шороха... А ведь бубнит монотонно. И о чем? Номенклатура, массовость, унификация... А как слушают!»

За часы прений Чубасов увидел Бахирева глазами сотен людей, и то, что открылось ему, было неожиданно. Почему его сухую речь, лишенную и намека на ораторское искусство, слушали с таким жадным вниманием? Почему об этом мрачном, грубоватом, не ищущем ничьих симпатий человеке многие, даже ругая его, говорили с таким сердечным волнением? И кто говорил? Самые различные люди. Старая земледельщица, молодой новатор, резкий Осин, неподкупная душа Рославлев. Чем он привлек их? Главным. Боевой партийной направленностью. И, нападая на частности, они сплоченно защищали это главное. «Не ожидал такого? — спрашивал себя Чубасов.— Не ожидал. Если не ожидал, значит, чего-то важного в жизни коллектива недоглядел, недооценил, недопонял. Недопонял того, что поняли стерженщица, фрезеровщик, инструментальщик. Хотел, чтоб собрание стало уроком для Бахирева. Оно стало уроком прежде всего для меня».

— Веди же собрание! — услышал он гневный шепот Вальгана.

Бахирев уже сидел на своем месте, и аплодисменты стихали.

— Твое слово,— сказал Чубасов Гринину.

— Я не буду выступать.

Спокойное лицо Гринина было непроницаемо. Почему молчал второй секретарь обкома? Понимал, что собрание так далеко отклонилось от заданного направления, что уже нельзя исправить?

Оставался один оратор — сам Чубасов. Впервые за всю свою партийную работу он был в таком сложном положении. Он упустил из рук собрание, и не захотел, и не смог его вести по заранее намеченному направлению. Его заранее обдуманная речь была сметена потоком выступлений. «Что сказать? Поблагодарить за науку, подобно Бахиреву? Отказаться от выступления? Сказать все то, о чем передумал, сидя здесь? Сразу не соберешь мыслей. Лучше Рославлева не скажешь».

В своем коротком выступлении он поддержал Рославлева.

Решение, принятое на партактиве, резко критиковало ошибки Бахирева, но одобрило работу, проделанную в ЧЛЦ, в моторном цехе, отмечало верное направление основных мероприятий и значительность проделанного. По предложению Рославлева записали обязательства перекрыть невыполнение плана в будущем месяце, когда начнется отдача проводимой работы.

Это было совсем не то решение, на которое рассчитывал Вальган. Перед собранием он не сомневался в успехе. Все было подготовлено, согласовано и так гладко шло вначале. Доклад он закончил под аплодисменты, и первые выступления подхватили его мысли. И вдруг партийно-хозяйственный актив повернул все шиворот-навыворот. «С чего начался поворот?—думал Вальган.—С этой земледельщицы? Или с Сугробина? Нет, дело не в них. Чубасов—вот кто выпустил из рук вожжи, пустил партактив на самотек. Слаб, вял, бесхарактерен! Да еще из обкома прислали Гринина».

Гринин не ладил ни с Вальганом, ни с Бликиным. Он много ездил по области и месяцами жил на новых периферийных заводах. Бликин поощрял его любовь к разъездам и умело пользовался ею, чтобы держать Гринина по возможности в стороне от обкома. Вальган думал, что и на этот раз Гринин будет в отъезде. Он приехал нежданно, некстати, и Вальган понимал его молчание. Гринин был не согласен с установкой обкома, но был не вправе возражать обкому здесь, на партийно-хозяйственном активе. Он молчал, молчал тогда, когда установку обкома проваливали, когда он обязан был говорить. Вальган ушел, не простившись ни с Грининым, ни с Чубасовым. Бахирев напоминал теперь Вальгану одного из тех лесных клещей, что в детстве присасывались к рукам и шее,—чем сильнее такого клеща отдирать от себя и раскачивать, тем крепче он впивается в тело.

Когда Бахирев пришел домой, Катя, увидев его потное, красное, распаренное, словно после бани, лицо, со страхом кинулась к нему:

— Ну, как?

Он ответил:

— Измордовали...

Но губы его морщились улыбкой.

«Никаких минимумов по принципиальным вопросам. Только максимум!»—вспоминал он слова Рославлева.— Прав, прав, и правильно подсказал—расширить цех шасси за счет дизельного. И Сугробин прав—литейную для модельщиков там, где лестница. И окна, и вентиляция, и проводка—все готово. Отгораживай, ставь печь и лей!— Он вспоминал начало собрания и свое одинокое кружение

по залам. Как же он был слаб, беспомощен и противен! А сейчас? Избитый, изруганный, измученный и... счастливый! Никогда еще так твердо не стоял на земле обеими ногами, никогда собственные планы не представлялись такой реальностью. Чубасов давно говорил: «Обсудим на активе». Почему отказывался? Не придавал значения? Не умел работать? Да. Не умел руководить? Да. Ведь, кажется, уже понял, что без людей ни шагу. Почему же план замышлял с размахом, а в работе с людьми не хватало ни размаха, ни настойчивости? Сработали силы собственной инерции, не принятые в расчет? А до дела не доходило. Так получай по заслугам! Исхлестали, исполосовали, теперь дошло? Слова не понимали, мордобой пронял? Вколотили в меня, кажется, понял, дошло».

Не ужиная и не читая газет, он разделся и лег. В мыслях теснилось только что пережитое — громовержец Рославлев, Дронов с поднятой тетрадью в руках, пантерья повадка Вальгана и переломный, нежданный выход на трибуну беззубой земледельщицы. «Ох, Ольга Семеновна, друг Ольга Семеновна! — повторял Бахирев.— Кто бы, кто бы мог ожидать?..» Последним, возникшим в полузабытьи желанием было желание взять узкую, прохладную руку Тины и положить ее себе под горящую щеку. «Или хоть бы ходила здесь где-то... рядом»,— подумал он и уснул глубоким сном человека, перенесшего тяжелый кризис.

Чубасов так и не заснул в эту ночь. Он вспоминал совет Осина повесить в парткоме плакат: «Партия — это руководящая сила в строительстве коммунизма». Если дошло до таких советов, значит, партком плохо руководил строительством коммунизма. А ведь вкладывал все силы ума и души. Почему же ошибки? Ошибки в подборе секретарей цеховых бюро, ошибки в производственных вопросах, ошибки в оценке людей, ошибки даже в подготовке этого так неожиданно повернувшегося собрания. Он давно знал о многих ошибках, почему же мирился с ними? Не хватало боевого духа? Нередко ограничивался привычными формальностями — проведено столько-то бесед, лекций, собраний — и не вникал в существо дела. Поэтому и устраивали такие секретари, как Ивушкин, тихие, добрые, исполнительные? Поэтому и недооценивал Бахирева, главное достоинство которого — партийный, боевой дух? «Не знаю, многому ли научит собрание Бахирева, но меня оно должно научить,— думал он.— Сколько книг пишут у нас о мастерстве! Изучают мастерство фрезеровщиков и кузнецов, поэтов и художников. Но достаточно ли изучаем мы высочайшее искусство конкретного партийного руководства, мастерство лучших

парторгов, секретарей райкомов, горкомов, обкомов? Процесс овладения этим мастерством подчас мучителен».

Чубасов вспомнил сидевшего рядом с ним в президиуме Гринина. Тоже, видно, волновался, сидел и в щепки крошил карандаши. А прощаясь, сказал лишь одну фразу: «Нашей главной задачей было выяснить мнение коллектива. Мы эту задачу выполнили!» Как это понять? Значит, он тоже не согласен с Бликиным? Это хорошо. Будет союзником. Если исправлять ошибки, придется воевать с Бликиным. Вальган, наверное, уже звонил ему.

Чубасов не ошибся. Утром его вызвали в обком. Он вошел невыспавшийся, угрюмый и готовый к сопротивлению. Зажав зябнувшие руки меж коленями, он слушал хлесткие слова Бликина:

— Опытный партийный работник растерялся на собрании, не обеспечил партийной линии. Я предусмотрительно заранее послал на подмогу Дронова. Но так провалили, что и Дронов не смог вытянуть.— Бликин широкими шагами ходил по кабинету, и Чубасов видел то его бледное приподнятое лицо, то маленький, но величественно неподвижный, словно обремененный сугубою ответственностью, затылок.— Я вам расскажу случай из своей практики. Я был сопляком, только начинал работать в обкоме инструктором. И вот, помню, в первый раз в жизни послали меня в район. На выборы секретаря.

Жесткий голос Бликина впервые заиграл переливами чувств. В окаменевшем затылке и напряженной спине появилась несвойственная им подвижность. Быстрее стали взмахи длинных рук, живее взгляд. Чубасову приоткрылся тот, давний Бликин, не стареющий секретарь обкома, а юноша, вновь назначенный инструктором. «Юность, юность!—подумал Чубасов.—У каждого она была—своя юность, своя поэзия. «Истоки души»,—так говорила Люба о раннем детстве. Не вернее ли сказать так о юности?»

— Так вот,—продолжал Бликин помолодевшим, играющим голосом.—Послали меня в район, на выборы секретаря райкома. Обком дал кандидатуру, а на месте своя кандидатура! Чуть не полрайона против обкомовской. «Не знаем, говорят, вашего привозного»,—да и только! «Если хороший, так пусть, говорят, сперва у нас председателем в колхозе поработает». Сложная обстановка!.. Так вот, я, мальчишка, юнец, в первый же свой выезд сумел овладеть положением. Выявил главных смутьянов. Изолировал их морально. Создал вокруг них необходимое мнение. С более сговорчивыми поговорил в индивидуальном порядке. Я не допустил провала кандидатуры обкома. А ведь был мальчишка, юнец!

«О чем? О чем говорит он?—не веря себе, спрашивал Чубасов.— А я-то думал о «поэзии юности». Истоки души! В чем они? В чем? В том, чтобы умело обойти большинство коммунистов района? И этим он гордится как своей первой заслугой перед партией, как своею первой победой! Так чего, чего же можно ждать от этого человека?!»

В сквозном свете десятилетий ясно, как под рентгеном, раскрылось Чубасову самое «нутро» Бликина—его антидемократическая сущность.

— И ваша кандидатура оказалась лучше, чем та, которую выдвигал районный партийный актив?—спросил Чубасов и не узнал своего голоса. В нем звучали вызов и насмешка, горечь и осуждение.

— Что?!—Бликин резко обернулся: опустилась его приподнятая рука, затылок и спина обрели обычную окаменелость.— Вы что, сговорились вчера с Грининым? «Ясно, Гринин заодно со мной!»—обрадовался Чубасов.

— Вы понимаете, что вы с ним вчера натворили?— продолжал Бликин.— Вы провалили на совещании линию обкома и линию ЦК.

— Я не проваливал линии ЦК.

— Вы противопоставляете обком Центральному Комитету?—В тоне послышалась холодная угроза, она не взволновала Чубасова. Сегодня, после партийно-хозяйственного актива и после рассказа, приоткрывшего юность Бликина, он уже был для Чубасова не тем, что вчера.

Чубасов ответил спокойно:

— Мне кажется, что это вы противопоставляете свою линию линии ЦК. В ЦК мне сказали ясно: разберитесь в настроении коллектива. Это я и сделал.

— Когда парторг идет на поводу и в хвосте у масс, он может потерять свое лицо.

— Когда парторг внимательно прислушивается к голосу партийной организации, он обретает свое лицо.

Бликин сел.

— Если завод теряет лицо, то теряет или обретает лицо парторг? Как по-вашему?

Спокойным, даже небрежным жестом он подал Чубасову телеграмму.

«Сев в ряде колхозов под угрозой срыва. Летят противовесы, и новые тракторы с тяжелыми повреждениями выходят из строя. Считаю положение на заводе неблагополучным. Прошу вашего личного вмешательства. Секретарь райкома Курганов».

— Лицо завода не только теряется,—сказал Бликин.— Завод шлепается лицом в грязь... Как по-вашему, что тогда происходит с лицом парторга?

Глава XVIII

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Грозное пожарное лето. Под небом, раскаленным до белесого, алюминиевого блеска, скудные нивы. Серая земля сквозит меж низкими стеблями. «Почему именно здесь?» — думал Бахирев, оглядывая из окна машины однообразную и изменчивую холмистую землю. Он приехал в этот район, потому что здесь было наибольшее количество аварий. «Тракторы подрываются на противовесах»,— телеграфировал из МТС какой-то Петрушечкин. «Подрываться» можно на минах. Но на противовесах?.. Фраза отдавала катастрофой и паникой. Четыре изуродованных трактора из последней партии. Были сигналы из нескольких других районов, но там по одному, а здесь четыре. Плохая МТС? Плохие кадры? Нарушены условия эксплуатации? Понять, почему именно здесь четыре,— значит наполовину разгадать загадку летающих противовесов. Телеграмма о четвертой аварии пришла вчера в конце дня. Бахирев в ответ телеграфировал, чтоб поврежденный трактор не трогали, и с рассветом выехал. «Люди мне доверили,— думал он,— а я до сих пор не могу обезопасить завод от аварий».

Новый главный конструктор Белокуров, узколицый, педантичный человек, заново проверил все расчеты и подтвердил надежность конструкции. Тайна противовесов оставалась тайной, и Бахирев ждал, что поездка на место происшествия поможет проникнуть в нее.

Чем дальше, тем круче опаленные солнцем холмы и глубже тенистые ложбины. На взгорьях все блекло и сухо, а в ложбинах и вдоль пойм свежая и сильная зелень. Что расскажет о противовесах эта холмистая земля? Он смотрел так, словно ждал увидеть в ближнем поле тяжелую красную скобу противовеса. В ухабе тряхнуло, и на плечо Бахиреву съехал лежавший у заднего стекла сверток, перевязанный розовым конфетным бантиком. Бахирев досадливо шевельнул плечом: «Еще мне эти бантики... Накачал на свою голову крестницу...»

Вчера он наткнулся на Дашу. Как всегда, завидев его, она остановилась в ожидании, чтоб, сияя, сказать ему «здравствуйте». Смешная девчонка приняла всерьез брошенное им вскользь слово «крестница» и при каждой встрече обдавала молчаливым потоком родственных чувств. И вчера он не сумел пройти мимо улыбки и глаз, источавших радость и преданность. Он спросил мимоходом:

— Как жизнь, Даша?

Она тотчас выпалила:

— Я вчера норму перевыполнила.— И честно уточнила: — На одну ленту.

Он пошутил на свою голову:

— Ну, спасибо, обрадовала перед отъездом.

Прозрачное лицо ее, на котором все чувства отражались, как облака на озерной глади, мгновенно вытянулось, губы в испуге полуоткрылись, глаза распахнулись во всю ширь.

— Уезжаете?! А как же... цех?! Как же...

«Как же я?» — вертелось у нее на языке, но она не посмела договорить.

«Сирота, наверно»,— подумал он. В сиротах военного времени случалось ему замечать такую приверженность приласкавшему их мужчине. Невольно голос его прозвучал мягче, чем обычно:

— Я ненадолго, Даша. В Ухабинский район. Слыхала?

— К нам?! — выговорила девчонка одним дыханием.— Батюшки! К нам! Вы в самое Ухабино?

— В МТС, в райком.

— Ну, значит, в Ухабино! Так вам же мимо Чухтырок, мимо нашего колхоза «Искра»! Как проедете деревянный мост над оврагом, так наш колхоз! Может, и дом... дом наш увидите! Он крайний, в конце деревни, глядит прямо на новое шоссе, стоит под двумя сосенками. Только возле нашего дома такие сосны. Таких нигде больше нету. И местечко такое нарядное, веселое — лужок, сосенки. Может, и мама промелькнется...

— Отца-то нет?

— Нет... Извещение в шкатулке лежит с сорок третьего.

«Так оно и есть,— подумал Бахирев.— Вместо отца извещение в шкатулке».

— Ладно,— сказал он.— Готовь письмо и подарок.

Она метнулась, как птица, даже поблагодарить сообразила не сразу.

Так появился в машине этот сверток, тщательно перевязанный розовой ленточкой. Падая, он порвался, и Бахирев увидел синий с белыми цветочками ситчик. Такие ситчики не перевязывают лентами. Лента и старательный бантик были явно Дашиного изобретения.

Бахирев отодвинул сверток и мысленно попрекнул себя: «Крестницами обзаводись, вози бантики, а противовесы будут летать».

Больше всего тревожила эта последняя авария — обрыв противовеса произошел у трактора последней серии. Затяжка болтов была уже взята под специальный контроль, и все же... И почему опять именно здесь, в этом районе?

Он вытер платком мокрое лицо и шею. Зной ли давил на голову или мысли о противовесах? Или укачала восьмичасовая дорога с бесконечными увалами? Машина затряслась и затарахтела по горбылям. Деревянный мост через овраг. А за оврагом, на склоне, какие-то строения. Должно быть, это и есть Дашины Чухтырки.

— Поезжай потише!—сказал он шоферу.

Безлюдная деревушка с двумя рядами бревенчатых изб. Неподвижные овцы спрятались от солнца в тени домов и плетней. Только куцые овечьи хвосты задрожали, затрепыхались, когда машина проехала вплотную. Истекающий слюною пес хрипло тявкнул, сделал два шага и снова лег, обессиленный зноем. Вспугнутые, ошалелые от солнечного блеска куры бросились врассыпную, припадая к земле и распластав крылья. Вот уже виден и конец деревушки.

Две тощие сосны протянули небогатые, пыльные ветви над низким домом. Так это и есть знаменитые Дашины сосенки, «каких нигде нету». Нечего сказать, веселое и нарядное местечко! Надо вылезать, шагать по пылище, тащить «бантики».

Он велел шоферу остановиться и с трудом выбрался из машины. Зной обжег голову. «Пышет, как из вагранки». Бахирев, разминаясь, переступал по дороге, пухлой от пыли, затекшими, окаменевшими в машине ногами. Подошел огненный петух, скособочил голову, нацелился и нахально клюнул в пуговицу туфли. Липкий пот тек за шиворот, ноги не слушались, улица была пустынна. Облако пыли, поднятое машиной, замерло над дорогой. «Ну взялся за гуж...»—подумал Бахирев и уныло потянулся к свертку. Сверток прорвался и помялся в дороге, но бантик торчал победоносно. Бахирев просунул палец в розовую петлю и заплетающимися шагами пошел к дому.

Из-за невысокой изгороди выглянула дочерна загорелая худая женщина.

— Мне бы Лужкову...—сказал Бахирев.

Женщина посмотрела очумелыми глазами.

— Я Лужкова.

— Я к вам от Даши, от вашей дочери.

— Что?!—сказала женщина ужасным голосом и всей грудью повалилась на изгородь.—Что с ней? Да что случилось-то?!

Анна полола огород, когда увидела черную с серебром длинную машину. Она удивилась: «Этакие к нам не заезжали. Большое начальство, видно». Из машины вылез огромный человек в богатом сером костюме и серых туфлях. На голове у человека торчал вихор, а лицо было мрачным и недовольным. Человек с этим мрачным,

каменным лицом начал непонятно топтаться у машины. Гапкин петух Кузя подошел и клюнул приезжего в туфлю. Анне стало неловко от петушиной дерзости. «Туфлю не попортил бы!» — подумала она, хотела встать, шикнуть на Кузю, но уж слишком важным было каменное лицо приезжего. Анна продолжала сидеть у грядки и следить сквозь изгородь. Человек сунул руку в машину, вынул прорванный сверток, брезгливо поглядел на него, сунул палец в розовую петлю и двинулся прямо к Аннину дому. Он шел косолапо и нехотя, словно такому, как он, и переступать-то противно было по пыльной, худой дороге. Огромный, он казался еще больше в светлом костюме, с плечами, широкими и твердыми, как коромысло. Лицо у него было важное, брезгливое, а на пальце, некстати и не к лицу, покачивался дырявый сверток с розовым бантиком.

«Верно, хочет расспросить дорогу»,— подумала Анна и подошла к изгороди.

Ей и в голову не пришло, что этот мрачный человек с черно-серебряной машиной и свертком на пальце может иметь какое-то отношение к ней, к Анне.

Когда он, не поднимая тяжелых век, скрипучим, замогильным голосом спросил Лужкову, Анна оробела.

«Быть худу...» Но когда он произнес имя Даши, все тревоги Анны, все ее ночные страхи рванулись наружу. Такой человек в такой машине мог приехать от Даши либо с большой бедой, либо с большой радостью. Но радостью и не пахло ни от лица этого человека, ни от последних известий о Даше. Веселым строкам Дашиных писем Анна не верила, понимала, что Даша обманывает, жалея мать, а из Верушиных писем к тетке Анна знала, что Даша никак не может освоить машины. Анна стала со страхом думать о машине, с которой не может совладать даже такая ко всему способная девушка, как Даша.

Когда замогильный голос диковинного приезжего возвестил Дашино имя, в растревоженном мозгу Анны мелькнуло: «Машиной изувечило...» — и, наваливаясь на изгородь, она произнесла:

— Что? Что с ней? Да что случилось-то?!

Приезжий поднял веки, и она увидела, что глаза смотрят не сердито и не мрачно, а обыкновенно и даже участливо.

— Ничего не случилось. Вот! — сказал он тем же скрипучим голосом и ткнул в изгородь пальцем, на котором болтался сверток.

Анна шарахнулась от свертка.

— Посылку она вам прислала. Зацепилось...— совсем

уже миролюбиво закончил гость и стал неловко раскручивать сбившуюся у пальца розовую ленту.

Все еще не веря, Анна взяла сверток и письмо, заложенное под ленту. Торопясь, разорвала конверт, узнала Дашины строчки: «Родимая моя мама, занесет вам мое письмо по дороге главный инженер товарищ Бахирев, о котором я вам писала, что он признал меня за крестницу...»

Едва Анна поняла, что диковинный приезжий в машине и вправду от Даши, и вправду с добром, как слезы хлынули из глаз. Не поспевая вытирать их, она жадно читала дальше: «Посылаю вам посылку. Скоро еще пришлю, потому что раньше я нормы не выполняла, о чем не хотела вас беспокоить, но теперь даже перевыполняю...»

Худая, усталая, выпачканная землей женщина сперва ничем не напомнила Бахиреву Дашу, но хлынувшие рекой радостные слезы смывали и годы и усталость, и на глазах Бахирева произошло чудо. Тот же трепет на кротком лице, те же переливы чувств — горя, тревоги, надежды и радости,— тот же распахнутый взгляд посиневших от слез и волнения глаз. Дашина юность отраженным светом осветила это омытое слезами и порозовевшее от радости лицо. Женщина уронила сверток, нагнулась за ним, уронила письмо, торопливо подняла и то и другое и прижала к горлу, к тому месту, где меж платком и кофтой виднелся кусок темной кожи. «Мать»,— подумал Бахирев.

— Что же я?! — воскликнула Анна, метнулась к дому, потом снова к изгороди.— Войдите же! Прошу я вас, войдите!

Бахирев, нагибаясь, прошел через грязную кухню в чистую горницу.

— Помыться? Напиться? Перекусить? Как она там? — спрашивала Анна, а сама все тянулась к письму, разглаживала листок, осторожно трогала строки пальцами.

— Одна дочка? — спросил Бахирев.

— Нет, еще две есть, младшенькие. Так ведь она у нас с детства в доме за старшую. И с меньшими, и в огороде, и в колхозе — везде поспевала. Восьми лет была — гусей пасти нанималась за хлеб. И хлеба, бывало, не съест, домой принесет. А чуть подросла — всей семье голова. В работе сноровистее меня, а как пригрустишь, так еще и ободрит. Вся поддержка от нее,— неудержимо рассказывала Анна.

Бахиреву дико было и подумать, что этот птенец, курносая девчушка из стержневого, была поддержкой и «головой» семьи.

— Когда же вы Дашуню видели? Как она там? Тут подружка ее писала, что не совладает она с машиной. Сама она этого не описывала, доказывает, что все хорошо. Весело пишет. А я и понять не могу. Может, она, жалеючи меня, не пишет, да ведь она до всего способная!

И Бахирев понял, сколько надо было и отваги и мужества, чтоб, еще не оперившись, ринуться в самую гущу незнакомой жизни, ни словом не обмолвиться матери о горьких своих неудачах, но и ободрять, и обманывать, и писать веселые письма.

— Как она там?—допытывалась Анна.

— Очень хорошо. Конечно, сразу все не освоишь. У нас бывает, что по году осваивают. А ваша дочка молодцом! С первых месяцев пошло у нее дело,—с неожиданной легкостью соврал Бахирев.

— Справляется, значит?

— Справляется преотлично. И в комсомоле тоже работает.

Он силился вспомнить все, что знал о стерженщице. В память лезла только карикатура со змеиным языком. Об этом нельзя было говорить матери. Но ей и немногих бахиревских слов было достаточно для того, чтобы расцвести от радости.

— Она ведь здесь молодежью верховодила. Что ребята, что девчата—все, бывало: «Дашуня да Дашуня». Ох, да что же я это все стою? Умыться? Молочка? Яиц? Курочку сварить? Кваску холодного?

— Кваску бы мы с водителем выпили. А задерживаться мне некогда: тороплюсь в райком.

— Да ведь секретарь-то, Трофим Демидович, у нас в правлении. Собрание проходит насчет неблагополучного сенокоса. Мне, как доярке, необязательно, мы косить не ходим. Вон и машина его!—Бахирев увидел вдалеке, на взгорке, дом с вывеской, а возле него вездеход лягушиного цвета.—Еще только начали заседать. Перекусите, а там я вас отведу. Квасок холодный, в колодец от жары спускаю.

Она принесла бутыль ледяного квасу, густой сметаны, огурцов, яиц, луку, готовила окрошку и быстро говорила молодым, певучим голосом:

— Девчонки мои по ягоды ушли. Вот бы догадались поспеть! Угостить бы вас лесной земляникой со сливками. Дашунькино любимое лакомство. Она ведь и ягоду брать мастерица. У меня—пол-лукошка, а у нее—цельное.

Когда окрошка была готова, Анна застелила стол чистой клеенкой и застеснялась своей кофты.

— Я и не переоденусь! Скружилась от радости!

Она ушла в кухню. Бахирев видел, как мелькали за

дверью какие-то тряпки. Видно, Анне не во что было принарядиться, потому что вошла она в кофте того самого синенького ситчика, что виднелся в свертке, в новом, топорщившемся на голове синем платке и смущенно сказала:

— Вот и дочушкины гостинцы. Обновила для гостей.

Милое и мягкое достоинство появилось в ее движениях и в голосе. Она и гордилась дочкой, ради которой приехали в дом такие небывалые гости, и была безмерно счастлива, и изо всех сил старалась не уронить перед гостями себя самое, Дашину мать. И Бахиреву казалось, что никогда еще не пробовал он такой окрошки, освежающей, острой, сладко пахнущей свежим хлебом и свежей зеленью.

Ребятишки уже столпились у машины, женщины несколько раз заглядывали в окно и в кухню, и Бахирев слышал, как Анна объясняла:

— Это от Дашуни моей, из городу, с завода, с гостинцем.

И каждый раз голос ее вздрагивал и срывался от радости.

— Как колхоз?—спросил Бахирев.

Анна часто и зло ругала колхоз, но сейчас она чувствовала себя прежде всего матерью Даши. Дашу уважает завод, посланцем от нее приехал в машине сам главный инженер, и за дочь она застыдилась и своей и колхозной захудалости.

«Приедет он на завод, расскажет: у такой, мол, девушки да вдруг мать-никчемуха из захудалого колхоза». Ей захотелось, чтоб о Даше говорили: «Хорошая девушка, из хорошей семьи, из порядочного колхоза».

Впервые ей жадно захотелось похвалиться колхозом, и она обрадовалась тому, что можно от души похвалиться новым председателем:

— Председатель у нас теперь золотой—товарищ Борин. Как пришел, коней и машину пустил в извоз, дояркам пошел навстречу. Надаивать стали больше, а молоко на базар возим. Завелись в колхозе деньжата, и тут же он аванс на трудодни! И каждые десять дней приходит прямо в бригаду, отчитывается, что за десять дён выполнено, что намечается. Такой редкостный попался председатель!

Но как сделать, чтоб Бахирев понял—Дашина мать не пустой, а уважаемый в колхозе человек? Она пыталась отыскать, но не находила ни одного стоящего внимания поступка. Разве про пастьбу рассказать? «Расскажу хоть про пастьбу»,—решила она.

— Удои мы с весны хорошо поднимали, а по жаре

дело ухудшилось. Пауты не дают пастись стаду. Наш новый зоотехник да и Лизавета, приятельница моя, знаменитого колхоза доярка, советуют ночную пастьбу. Пастухи попробовали ночью пасти — говорят, не пасутся потемну коровы. Дай, думаю, сама опробую, чья правда? Всех коров не погнала — одной и не упасти их с непривычки,— а своих закрепленных сама выгнала на пастьбу. Часов до двух, верно, дремали, а с двух как возьмутся! Я еще и мешок соли притащила, по Лизаветину совету. Присаливать траву-то надо в аккурат к утру, по росе! Коровы едят да едят! Наелись, напились, удой сразу подскочил. Теперь все стадо этак выгоняем.

Бахирев, коренной горожанин, никогда не интересовался удойностью; ему не приходило в голову, что траву для коров можно присаливать да еще в «аккурат по росе». Однако он слушал Анну не без интереса.

Накормив гостей, Анна вместе с ними села в машину и поехала в правление. Если бы машина была послана ради самой Анны, Анна не гордилась бы так, как сейчас, когда везли ее ради дочери.

На руках она держала узел, завязанный в серый платок.

Правление помещалось в тесной, старой, почти пустой избе.

Люди сидели на скамьях и на полу на корточках вдоль грязных стен.

Когда Бахирев вошел, все повернулись к нему, а однозубый дед, приняв его за крупное начальство, засуетился, стал освобождать место.

— Сюда садитесь. Тесновато, правда. Надо бы скамьев приобрести. Стулья на клею нехозяйственно покупать, а скамьев надо бы.

— Я с завода... Я подожду...— сказал Бахирев и сел на край скамьи.

Он сотни раз бывал на всяческих городских собраниях, но впервые видел собрание людей, которые кормили его и для которых он делал тракторы.

Он с любопытством оглядывался. Молодежи среди колхозников не было, щетинистые старики да пожилые женщины. Председательствовал человек с коричневым моложавым лицом и незагорающей зеркальной лысиной. Лицо его, крепко слепленное и большеглазое, понравилось Бахиреву. От носа по середине верхней губы тянулся глубокий желобок, он как бы перекидывался на раздвоенный энергичный подбородок и заканчивался ямкой. Белоснежная, отутюженная спортивная рубашка с короткими рукавами и открытым воротом оттеняла бронзовую кожу рук и шеи.

Анна указала на него и шепнула Бахиреву:

— Председатель наш, товарищ Борин, Николай Николаевич. Рядом, на скамье, секретарь райкома товарищ Курганов, а у окна тоже из райкома, товарищ Вострухов.

Маленький головастый секретарь райкома посмотрел на Бахирева сбоку круглым глазом, поздоровался кивком и продолжал слушать выступавшего. Человек, сидевший у окна, повернулся к Бахиреву всем телом, не сгибая очень прямой спины, окинул быстрым взглядом с ног до головы, любезно улыбнулся и поклонился.

Пожилая женщина заканчивала выступление:

— Не идет народ на косьбу. Лесную луговину кое-как все же застоговали. Два стога подняли.

После нее никто не хотел говорить, и слово взял сам председатель.

— Всю луговину застоговали, а сколько в тех двух стогах сена? В два раза меньше того, что полагалось... Я ничего худого не хочу сказать... Я и подумать не хочу ничего худого... Но мне становится странно и несколько удивительно... Что касается Медведева и некоторых других, то неаккуратно поступили товарищи. Очень неаккуратно! Стали самочинно косить для себя. Это по первой бригаде. В других бригадах, как нам известно по личной проверке и по сообщениям с мест, к сенокосу еще не приступили.

Бахирев заметил, что при словах «по сообщениям с мест» по лицу секретаря райкома скользнула улыбка, быстрая, но скорее одобрительная, чем насмешливая. Курганову нравилось стремление Борина здесь, в захудалом колхозе, ни в чем не опуститься и не изменить привычных навыков. Это стремление видел Курганов и в белоснежной рубашке, и в свежевыбритом лице, и в той подчеркнутой вежливости, с которой Борин говорил с колхозниками, всех называя на «вы» и ни на кого не повышая голоса, и в этих, на первый взгляд смешных, но привычных для него оборотах речи.

«Внедряет свой стиль работы. Это хорошо. Поставил сам себя под ежедекадный контроль колхозных бригад. Тоже хорошо».

Курганов не спускал глаз с Борина и не смотрел на Бахирева. Заводские инженеры безрезультатно приезжали в район не в первый раз, и Курганов не ждал ничего интересного от нового посещения. Поведение Борина и колхозников горячо интересовало Курганова и было не совсем понятно ему. После того как Борина выбрали председателем и сколотили в колхозе партийную организацию из Борина, Мытникова, нового зоотехника и учите-

ля, дело сдвинулось, и Курганов снова передал колхоз в ведение Вострухова. Борина в колхозе полюбили, работа налаживалась, но вчера вечером Вострухов сообщил по телефону, что колхозники саботируют сенокос. Встревоженный Курганов приехал в колхоз и попал на собрание. Ему бросились в глаза гнев Вострухова, уклончивое молчание колхозников и напряженная, бо́льшая, чем обычно, вежливость и осторожность Борина.

— Дай мне слово,— тихо сказал Вострухов, но Борин, будто не расслышав, обратился к колхозникам:

— Товарищи колхозники, так как же ваше мнение?

Все молчали.

«Побывали бы они на заводских собраниях!— подумал Бахирев.— Или уж о сенокосе так и полагается разговаривать: зной, луга, тишина, мухи жужжат. Спокойствие. Вяло протекает собрание. И секретарь не реагирует».

— Бригадир первой бригады, желательно вас послушать,— сказал председатель.

Встал тот однозубый старик, что суетился возле Бахирева. Он помялся и начал с дипломатии:

— Перемены в колхозе крупные... Прямо сказать, хорошие перемены. Молоко стали надаивать по планам и хорошо выдавать по дополнительной. Аванс опять же выдали. Председатель ведет себя строго. Правильно ведет себя председатель по всем вида́м! Настроения поднялась благоприятная.— Дед посмотрел хитро и дернул бороденкой.— А какая будет настроения после сенокоса, нам не известно. Мы от колхоза ничем не довольствовались, кроме сена. Получали мы, конечно, покос на корню. А нынче идут люди косить туго... туго... туго... Покосу на корню не дают. Вот и весь дефект.

Когда дед кончил, Вострухов поднялся, не ожидая разрешения Борина.

— Довольно, товарищи, либеральничать! Товарищ Борин — молодой председатель, а я вас насквозь вижу Думаете, останутся луга не кошены, доведем до крайности — и тогда пойдут на все ваши условия. А для чего вам получать сено не в конце сенокоса, не из стогов, а сейчас, на корню? Да для того, чтобы под видом своих делянок косить где ни попадя и самоснабжаться! Ради этого вы и саботируете.

«Ого,— подумал Бахирев,— крепко закручено!»

Борин с шумом задвигал счетами, а Вострухов продолжал:

— Саботажа, воровства, жульничества мы не допустим. Откуда у Медведева сено и у других тоже? Какое это сено? Ворованное?

Маленькая черноглазая женщина поднялась с места и громко заговорила:

— Ворами людей обзывают! Доработалися мы до названия! Мы з Михайлом эти делянки третий год косим. Мой Михайло, поврежденный на производстве, ходит на работу, а ты честишь ворами да жуликами. Ты вот, мабуть, поболе тысячи получаешь за один месяц. А за що? За то, що по колхозам кататься да народ обзывать? Разве ты работник? Ты и есть самый настоящий жулик! Чи довго ще нам переносить твои поношения! Пошли отсюдова, товарищи колхозники!

Она решительно пошла к двери, а вслед за ней двинулись и другие. Поднялся шум.

«Сорвала бабенка собрание! Вот тебе и спокойствие!» — подумал Бахирев.

Вострухов стучал счетами по столу и кричал:

— Недопустимо!

Лысина Борина приняла синевато-красный, свекольный цвет, но лицо не изменилось. Он отобрал у Вострухова счеты и громко, даже весело сказал:

— Устали, видно, товарищи колхозники? Что ж, выйдем на перекурку. Только я вас прошу не расходиться.

Он торопливо вышел из-за стола и смешался с гурьбой колхозников.

«Ну и порядки! — удивился Бахирев.— И секретарь райкома никак не прореагировал. Или у них все это не в диво?! Дела районные!» Он видел, как Вострухов подошел к Курганову и что-то быстро и горячо говорил. Курганов ответил одним словом:

— Уезжай.

— Дискредитация райкома! Недопустимо! — услышал Бахирев слова Вострухова, и снова прозвучал ответ Курганова:

— Садись в мою машину и уезжай.

Вострухов пошел. Бахирев в дверях увидел его одеревенелый затылок, скованную спину и подумал: «У кого еще я видел такой затылок? Ага! У Бликина! Один секретарь райкома ушел, другой сидит, молчит, глаза щурит».

«Молодец! — думал Курганов о Борине.— Не допустил срыва собрания. Нашелся. Превратил демонстративный уход колхозников в очередную перекурку. Вон сидит на бревне под ивой, шутит, разговаривает. Нет, крепкий мужик. Интересно, как он повернет дело дальше?»

— Это товарищ Курганов, наш секретарь,— услышал он певучий и громкий голос Анны.— А это товарищ Бахирев, с завода, от дочки моей, Даши, посланец.

Анна знала, что совсем не из-за Даши приехал Бахирев, но она так давно ничем не гордилась и ничему не радовалась! Она не смогла пересилить жадного желания погордиться дочкой, которую уважают важные заводские люди. Она глядела то на Бахирева, то на Курганова, сияя, и как бы хотела сказать: «Вот какие посланцы ездят от моей Даши».

«Что с ней сегодня?—спросил себя Курганов.— Похожа на ту, давнюю, и голос похож».

Из деликатности Анна вышла, оставив Курганова с Бахиревым.

До сих пор инженеры, приезжавшие с завода, пытались оправдать завод и объяснить аварии неправильностями эксплуатации. «Опять пойдет валить на нашу голову»,—подумал Курганов и спросил:

— Вы относительно противовесов?

— Да. Я хочу посмотреть трактор на месте аварии и съездить в МТС.

— Поедете с провожатым или еще с полчаса подождете меня?

— Подожду.

Они вместе вышли на улицу, подсели на бревно к колхозникам.

— Разве я похож на обманщика?—спрашивал Борин.

Сразу отозвалось несколько голосов:

— Нет! Что и говорить! Не посульщик! Не обманщик! Да ведь уж веры людям нету!

— А отчего нету веры?—сказала Анна, и Курганов подивился тому, как твердо и охотно вступила она в разговор.—От тебя, товарищ Мытников, да от таких, как ты! Кому ты щедрился и сеном, и молоком, и дровишками? Тем, у кого ножки с подходом, ручки с подносом, голова с поклоном, сердце с покором да язык с приговором. А кто к тебе без покорства, тот и без сена. Справедливости не было. Ну, и повадились все, как один, сами для себя косить где попало, под тем прикрытием, что, мол, накосили на своей делянке!

— Вот!—сказала Гапа.—Справедливости не было! Да я лучше, чем перед тобой покорствовать, своей рукой возьму вровень с твоими поклонщиками. А нас ворами?

— Однако этак ведь тоже нам не подняться!—сказала Анна. Она красовалась в своей новой кофте, и колхозники, недоумевая, смотрели на обновку, надетую в будний день, на розовое, как из бани, лицо, на новую, бойкую повадку. Анна продолжала, не смущаясь недоуменными взглядами:—Ведь что получается? На дворах сена завались, а колхозные коровы на единой соломе. А если сейчас раздать делянки, если опять все почнут косить да

возить, так ведь опять не будет справедливости! У кого совесть есть, увезет, что положено, а у кого совести нету, тот прихватит втрое.

— Ладно,— сказал Борин.— Делянки делить не будем, а если вы потеряли веру в обещаловку, сразу заскирдуем отдельно сено для раздачи по трудодням. Ходите, глядите, щупайте! В протокол будем заносить или так договоримся, по-доброму,— с зарей все выйдем да возьмемся за косы?

— Договоримся обоюдно,— сказала Анна.— Пусть меня на ферме подменят. Я лучше мужиков кашивала. А у нас и мужиков-то настоящих не осталось.

— А мы на что? — возразил Борин.— Пойдем всем правлением. А ну, бригадир, давай косу!

Ему принесли косу, и он пошел по обочине дороги, напружинив мышцы, широко и точно подсекая низкорослые травы.

— Вот как председатели косят...— засмеялась Анна, и Курганов снова подивился ее молодому, счастливому голосу.— А теперь поглядите, как колхозницы.

Она приняла косу, и коса сразу стала легка, как перышко. Не Анна махала ею, а коса сама собой летела перед женщиной, блестя на солнце, увлекая ее за собой. Анна шла, красуясь своей сноровкой и своей обновой и гордясь своей с давних, молодых лет забытой ролью «колхозной заводиловки».

— Ну, поедем! — улыбаясь своим мыслям, сказал Курганов Бахиреву.

Они уселись в машину Бахирева. Когда Борин подошел к машине прощаться, секретарь сказал:

— Стройматериалы получил? Смотри, три крытых тока! А то в «Дружбе» сунули мне в зубы один ток на все бригады, абы секретарь отвязался!

Подбородок Борина дрогнул, и белые зубы приоткрылись в улыбке. Казалось, улыбка у него зарождается в глубокой ямке подбородка, а оттуда растекается по всему лицу. Курганов тотчас засмеялся и погрозил ему пальцем:

— Знаю, наперед знаю, что ты хочешь сказать: «Опять секретарь пошел «токовать». Знаю, как про меня говорят: «Зной знай сушит, а секретарь знай токует». А я все равно твержу: «Тока, тока и тока!» Я же тебе все объяснил!

— Я все понял,— коротко ответил Борин.— Строим.

Анна заглянула в машину и стала совать Бахиреву свой узел. Бахирев сторонился и растерянно оглядывался, не понимая.

— Даше моей гостинцы,— радостно объяснила Анна.—

Как бы что не повредилось дорогой. Огурчики тут, да яички свежие, да сметанка.

Бахирев представил себе, во что превратятся эти яички и сметанка на дорожных ухабах, и шарахнулся от узла. Приметливый секретарь засмеялся глазами и сказал:

— Давай, давай, Анна! Отвезут все, что надо, твоей дочке. Вон какие у нее посланцы! Держите, товарищ Бахирев! Укрепляйте смычку между городом и деревней.

Он взял узел, все откровеннее смеясь глазами, и собрался водрузить его на бахиревские колени. «Мальчишка!» — ругнулся про себя Бахирев и молча положил узел на сиденье подальше от себя.

Снова машина ныряла с увала на увал, снова полуденное небо истекало зноем, и пыль поднималась над дорогой, над тощими нивами. Бахирев то с опаской косился на Дашины яички, то поглядывал на секретаря.

«Чего ради он сидел на собрании? Чтоб «потоковать» о токах? Хлеб сохнет, а он о токах! Сидит молчит, головой вертит, улыбается. Чего, собственно, ему улыбаться? Неурожай, саботаж, собрание едва не сорвалось, второго секретаря обозвали жуликом! Есть от чего улыбаться! И улыбка дурацкая. У такого секретаря и в МТС, наверное, черт-те что. И тракторы используются как придется. И противовесы летят».

Не вынимая изо рта трубки, он буркнул:

— Любопытно, чего ради, собственно, приезжали вы на это собрание?

— Вот то-то и здорово, что незачем мне было приезжать, совершенно незачем! — с бессмысленным удовольствием заявил секретарь.

«Большеголовый, а из малоумков»,— заключил Бахирев и перестал обращать на секретаря внимание.

«Ведь это самое главное — подобрать таких людей, чтоб работали без подсказки. Если б таких да во все колхозы!» — вертелось на языке у Курганова, но он смолчал, не захотел объяснять свое поведение набычившемуся молчаливому человеку с сонными веками и вихром на затылке. Курганов возмущался стремлением заводских инженеров замазать историю с противовесами и отыскать виновников в районе. Он считал, что надутый главный инженер и есть инициатор нечестной линии поведения завода, и не желал преждевременно вступать с ним в разговоры. Он думал о Борине. Он вспоминал, как упорно отказывался Борин идти работать в колхоз, и радовался про себя: «Нет, не ошибся! Не ошибся я в человеке. Все, как я предполагал. Отказываться отказывался, а уж взялся так взялся! Не будет ронять своего партийного достоинства. Не так воспитан человек. С

деньгами обернулся, авансишко выдал, поставил себя под повседневный контроль колхозников, семью перевез, девчонки его на прополку ходят вместе с колхозницами. И сегодня правильно обернул дело. Выйдут завтра косари на работу. Поднимет он колхоз, поведет за собой колхозников. Мне теперь можно сюда заезжать пореже. Вострухова убрать надо отсюда. А куда я его уберу, Вострухова?»

Дорога шла глубокими, сырыми ложбинами. В обычные годы земля здесь родила плохо, а в это знойное лето в парной тени, насыщенной запахами влаги и трав, все разрослось буйно, как в тропиках. Близ пойменных лугов и в начале покатых склонов набирала колос пшеница небывалого травостоя, и литой массив овса залил подножия холма.

— Овес-то, овес!—не удержался Курганов.— Слитный, чистый, аж голубой. Если на чем и продержимся в эту засуху, так только на рельефе и микроклимате.

В ответ раздалось нечленораздельное посапывание.

«Не желаешь разговаривать—и черт с тобой! Все равно не позволю замазывать безобразие с противовесами»,—подумал Курганов и уткнулся в окно.

Дорога снова поднялась на холм. Солнцепек вместо спасительной тени у ложбины, низкорослые хлеба и травы вместо буйного травостоя. «По пять-шесть центнеров с гектара,—невесело прикинул в уме Курганов.—У лесной кромки на залежи и все десять. Эх, хоть бы собрать то, что вырастили! По прогнозам, с августа дожди».

Машину тряхнуло. Углубленный в мысли о противовесах, Бахирев почувствовал мокроту у колена. «Яйца!»— подумал он в страхе и отодвинул узелок. Но было уже поздно. Пятно наподобие детского поноса разлилось вдоль бедра по брюкам. Курганов очищал пятно носовым платком и откровенно хохотал. Растертые на сером трико желтки блестели на солнце, а белки тянулись и стекали каплями.

«Черт!—про себя ругался Бахирев.—Не хватало мне яичницы на брюках! На самом видном месте! Мокро! Насквозь просочилось. Будь они распрокляты, эти яйца!.. Эти мне крестницы с посылками!.. Эти мне дороги с ухабами!.. Хохочет! Мальчишка! У таких вот секретарей одни ухабы в районе. Чем хохотать, следил бы за дорогами».

С помощью шофера они бензином кое-как оттерли пятно и двинулись дальше.

Открытая солнцу усадьба МТС с утрамбованной машинами голой землей дышала зноем. Поставленные рядом сеялки обжигали ладонь. Курганова сразу окружили люди, а Бахирев решил взглянуть на мастерские.

В недостроенном просторном кирпичном здании еще не было ни дверей, ни окон. Гуляли легкие сквозняки, веяло прохладой и сыростью, пахло известью и мазутом. В сборочной ремонтировались два комбайна и трактор. В свежеоштукатуренных комнатах уже работали станки. Возле одного из станков стояли три человека. Высоченный, белокожий и румяный, как девушка, парень, уставив голубые безмятежные глаза в окно, лениво говорил:

— Ну и что? Ну и поставил.

Другой, маленький, худенький, остроносенький, наскакивал на него:

— Какой ты мне радиатор поставил? Зараза! На свой трактор нипочем не хотел ставить! Твердил: «Не годится». А на мой трактор этот радиатор у тебя вдруг сгодился!..

— Этот ваш узловой метод — одно самодурство,— не отрывая глаз от окна, сказал высокий.— Отремонтировал я свой трактор, и говорите мне спасибо! Еще чужие тракторы им ремонтируй! Да еще они станут кричать за радиаторы!

Он повернулся и неторопливо двинулся к двери.

— Так куда ж ты, зараза? — крикнул маленький.

Его поддержал худощавый, по-городскому одетый человек:

— Медведев, стой!

Медведев нехотя остановился.

— Ну есть в тебе, Медведев, капля сознательности? — говорил худощавый человек, и на впалых щеках его выступил кирпичный румянец.— Ведь нет наконец возможности с тобой работать. Ведь половины не сделал.

— Всего не переделаешь.— Медведев не спеша перевел миролюбивый, невозмутимый взгляд на худощавого.— Ты бы лучше платил как следовает, чем зевать-то.

— Так я, что ли, расценки устанавливаю? Хоть деталь доделай! Хоть станок прибери! Ты погляди, у тебя станок изо всех грязней.

Медведев так же неторопливо перевел взгляд на станок. Грязный, засыпанный стружкой и клочками пакли, станок так резко выделялся среди других, что лицо Медведева отразило мгновенные колебания. Он вздохнул, шевельнул ноздрями, нерешительно приподнял одну ногу, но тут же передумал и опустил ее.

— Чего ты надо мной командуешь? Я колхозник.— Он выпятил грудь, с гордостью заключил: — Я больной! — И посмотрел так, как будто болезнь была орден, выданный за особые заслуги.

Он двинулся к двери.

— Вот, видали?—сказал худощавый, обращаясь к Бахиреву.— Вы, наверно, с тракторного, относительно противовесов?

— Да, я с тракторного.

Услышав эти слова, Медведев остановился и вперил в Бахирева свой младенчески ясный взгляд.

— Я получил вашу телеграмму. Моя фамилия Петрушечкин,—представился худощавый.—Ну что ж, пошли.

Бахирев пошел за ним, на ходу оглядывая МТС.

— Не тесновато вам будет?

— Что вы! Такие хоромы! Это вы заводскими масштабами меряете. Я ведь тоже с тракторного. Заболел легкими, посоветовали в район. Воздух здесь подходящий. Но работа! Не приведи бог! Когда приехал, назначили меня заведовать мастерскими, привели в амбар и говорят: «Стены есть? Вот и прибивайся. Вот тебе еще и печать». Так и принял стены, да печать, да сверлильный станок. Сейчас отстраиваемся, но с людьми вот трудно. Взять этого же Медведева. Тракторист опытный и способный к технике. Но вот беда: одной ногой стоит в МТС, другой еще куда-то шагает. И никак не вкоренить в него рабочую психологию. На свой трактор задний мост соберет— залюбуешься. А на чужой как придется! Работает, работает, вдруг здрасте! Взял да пошел.

— Так я же больной,—раздался сзади густой голос Медведева.

Бахирев обернулся, Медведев шел по пятам. Он прочно уперся взглядом в лоб Бахиреву и коротко пригрозил ему:

— Давайте платите мне как следовает по больничному. Не то мы с Гапкой по судам затаскаем.

Бахирев чуть не выронил изо рта трубку.

— Какая еще Гапка?

— Известно, какая,—сказал тракторист с тем беспощадным добродушием, с каким медведь опускает лапу на муравья.—Как я ее кликну, она напустится—всю эмтээсу мигом разгонит! Чисто́ здесь будет.

— Михайло, товарищ приехал не по тому вопросу,— сказал Петрушечкин.

— Знаю я, по каким они вопросам ездют! Колхоз по больничным не платит, эмтээс не платит. Мне все должны платить! Ихние тракторы стреляют, они больше всех должны платить.

— Тебе, Михайло, уплатили сколько положено,— возразил Петрушечкин.

Но тракторист не слушал его.

— Я ото всех должен получать, а ни от кого не получаю. А я на производстве подстреленный противове-

сом. Вона плечо-то еще худо подымается.— Медведев двинул широченным плечом и снова наступил на Бахирева: — Платите лучше добром.

Как только Бахирев понял, что Медведева ушибло противовесом, он втянул голову в плечи.

— Есть законы. Мы разберемся. Будет сделано, как надо по закону,— пробормотал он и, весь сжавшись, быстро пошел к правлению МТС. Медведев шел следом.

— Гапка вам объяснит, какие такие законы. Мы с Гапкой до городу достигнем! Увечить увечат, а платить не платят.

Бахирев сутулился и все сильнее втягивал голову — старался по мере возможности уменьшиться в размере. Рука его невольно тянулась к карману: он рад был бы отдать всю свою наличность, лишь бы отвязаться от тракториста. Но как отдашь? Что скажешь? «Вот скверное, сквернейшее положение!» — повторял он про себя и все ускорял шаг. Но Медведев шел за ним неотступно, а маленький секретарь райкома стоял на крыльце, смотрел на них и улыбался. «Прочувствуй, прочувствуй, как нам здесь достаются твои противовесы,— думал Курганов.— Еще бы на тебя Гапку. Таких только Гапкой и проймешь!»

Лишь скрывшись в кабинет директора, Бахирев облегченно передохнул. Здесь было жарко и пустынно. Письменный стол, на нем чернильницы с пересохшими чернилами и графин мутно-розового стекла. Ряд стульев у стены. За большими окнами на выбитой и утрамбованной машинами земле ряды сеялок и плугов, а за ними беспредельная холмистая равнина с далекой кромкой чернолесья. Тяжелый зной и тяжелая тишина. Даже грохот чугунолитейного показался сейчас Бахиреву легче, чем безмолвие и недвижность глинистой земли и сухих трав. Чужды были и безлюдный раскаленный простор, и унылая душная комната, и Петрушечкин с горячечным румянцем на впалых щеках, и головастенький секретарь с его мальчишескими улыбочками. «Понятно, почему здесь больше, чем где-либо, летят противовесы,— думал Бахирев.— Плохие организаторы, плохая организация, плохие кадры, плохое использование техники. Уточнить, где, когда, при каких условиях происходили аварии, и скорее уехать. Хотя что здесь можно уточнить? Разве тут знают, что такое точность?»

Однако секретарь сказал деловито:

— Вы просили сведения о том, где, когда, при каких условиях происходили аварии. Директора МТС нет, но документы приготовлены. Трактор стоит на месте аварии, и мы туда подъедем. Вы хотели побеседовать с трактористами, работавшими на подорвавшихся тракторах. С од-

ним из них вы, кажется, уже набеседовались.— На лице секретаря опять мелькнула улыбка.

Бахирев покосился в окно. Под окнами по раскаленному пустырю, неторопливо поднимая журавлиные ноги, прохаживался Медведев. «Гапку ждет»,— подумал Бахирев и поспешно отошел от окна.

Документы были составлены толково. Бахирева удивила большая выработка на трактор: «Работали несколько месяцев, а выработка такая, что иные не дают и за полгода».

— С кем бы я мог подробнее побеседовать?— спросил он.

— Со мной,— ответил секретарь.— Я сам разбирался в этих авариях. На заводе да и в обкоме, к сожалению, считают меня паникером. А почему я волнуюсь, почему долблю телефонограммы? У нас так организовано дело, что новый трактор для тракториста — и награда, и боевое задание. Новую технику даем самым опытным трактористам и на самые ответственные участки.

— Что вы называете ответственными участками?

— Залежные и порослевые земли. Мы за землю сражаемся с лесом.

— Леса одолевают!— вставил Петрушечкин.— Год землю не вспаши — на другой год, глядишь, все порастает. Не пашня, а лесопитомник. Это на взгорье. А в низинах топи наступают.

Секретарь вышел на середину комнаты и остановился против Бахирева.

— Порешили мы в этом году отбирать обратно отданное!— Он развел руки и с силой притянул к себе, будто хотел заграбастать все окружающее.— Работать на залежах, да еще поросших лесной мелкотой, трудно. Трактористы не вырабатывают этих, будь они неладны, гектаров мягкой пахоты. Посылаем на залежи самых опытных, вооружаем их лучшей техникой.

— Мы создали у людей подъем,— сказал Петрушечкин.— Тракторист берет новый трактор как премию, а вдруг бац — противовес!!

«Выходит, здесь много аварий с противовесами не от плохой организации, а как раз наоборот, от хорошей,— подумал Бахирев.— Первые февральские партии тракторов шли главным образом на Украину, на легкие земли. А здесь тяжелые земли и интенсивное использование. Здесь и летят противовесы».

Причина прояснялась.

Бахирев начинал поглядывать с интересом на головастенького секретаря, однако мальчишеская улыбка, то и

дело скользившая по губам, вызывала недоверие. «Несолидный секретарь».

Словно прочитав его мысли, Курганов сказал:

— Ругает меня товарищ Бликин: «Плохо наладили эксплуатацию. Почему в соседних районах не летят противовесы?»

Румянец на щеках Петрушечкина стал ярче.

— Обидно слушать,— перебил он Курганова.— Ведь дернина разная! У них степь, чернозем. Горы и лес начинаются в нашем районе да в Холмогорском. Так в Холмогорах залежами не занимаются, болота не сушат, пашут себе по паханому! И разве у них такая выработка на трактор, как у нас? А нас критикуют и паникерами и аварильщиками. Обком, а не понимает! Обком все должен понимать.

«Если сегодня противовесы летят здесь, где интенсивное использование тракторов, на тяжелых землях, значит, завтра и послезавтра они полетят и на легких землях. Это мне уже ясно,— думал Бахирев.— Но в чем причина: в конструкции или в технологии? Первый случай... Тогда обрыв произошел на тракторе февральской серии... Меня еще и на заводе не было».

— Послушайте,— сказал Бахирев.— Тут у вас по документам первый обрыв противовеса был по вашей вине. Один противовес отвинтили и использовали как гирю. Вы сняли рекламацию.

— Честно говоря, все через баббит,— вздохнул Петрушечкин.

— Как через баббит?

— Никаких противовесов мы не отвинчивали. Приняли на себя вину потому, что зарез с ремонтными материалами. Директор завода предложил: «Давайте полюбовно. Вы берете на себя вину, снимаете рекламацию, а мы за это и трактор отремонтируем, и отпустим материалов, каких ваша душа пожелает».

Тина была права! Бахирев шумно втянул воздух всей грудью. Один противовес, один факт, но как изменил он всю картину! Так иногда один минус или один плюс меняют весь ход решения уравнения со многими неизвестными. Груз противовесов медленно сползал с него. Ведь если хоть один противовес оборвался на тех, добахиревских тракторах, значит, дело не в главном инженере, не в «анархии производства», вызванной им, а, вернее всего, в конструкции.

Новыми глазами он огляделся вокруг. И зной не зной, и пыль не пыль, и Медведев не так страшен, и даже угроза Гапкиного появления не пугает. А Петрушечкин? Петрушечкин — честняга, работяга, всю душу, видно, вло-

жил в эту МТС. А секретарь? Несерьезный, но тоже, видно, с Бликиным не в ладах. Ничего, ребята помогут разобраться в истории с противовесами. Тина давно торопила поехать. И снова Тина права. Бахирев заулыбался, дернул себя за вихор и встал.

— Последняя авария на вспашке заболоченного луга? Что ж, поехали на место аварии.

Солнце сползло с зенита, тени удлинились, и зной был мягче. Миновав взгорье, они снова спустились в лощину. Здесь малоезженая дорога поросла травой, и настилы из тонких бревен говорили, что не так давно была непролазная грязь. С каждым поворотом все гуще и выше становились травы, все непроходимее заросли кустарника. Змея, как лезвие, блеснула в траве. Все больше становилось неизвестных Бахиреву нежных, пышных желтовато-белых цветов. Казалось, земля в глубине пенится влагой и сгустки легкой пены, вырываясь на поверхность, свисают над лугом. Ни кочек, ни топей еще не было, но близость болота чувствовалась в этом парном и пряном, как дурман, воздухе, в ядовитой яркости зелени, и в этих белопенных цветах, и в этой заколдованной неподвижности. Ни одна тропа не была проторена, ни одна ветка не вздрогнула, ни одна травинка не шевельнулась. Казалось, здесь заповедный змеиный стан, и кусты, и деревья, и травы, издавна переговорив и перешумев обо всем, связаны тесной порукой и тайным договором — не пускать никого в эту сонную и влажную тишь.

— Вот, вот, смотрите, начинается,— сказал Курганов.

Здесь начиналась вспаханная земля. Разрасталась бекманния, густо и высоко поднимался лиловоголовый люпин.

— Люпин-то, люпин! Смотрите-ка! Джунгли! — по-мальчишески радовался секретарь, и радость его представлялась Бахиреву легкомысленной. «Посреди засухи несколько добрых полей, а он в восхищении».

— А что мы тут сделаем в будущем году! — говорил Курганов.— Луга сеяных трав! Видите, тут дренаж, тут запашка земли и кустарника под луга будущего года. Я тут...— Он увидел сонные веки приезжего, осекся и закончил совсем иным тоном: — А вон и ваш трактор.

Трактор стоял в полном одиночестве посреди поля. С одной стороны расстилалась распаханная, еще влажная земля, с другой стороны поднимались болотные травы и низкий кустарник. От пустоты этого недопаханного поля, от одиночества брошенного средь борозды трактора веяло бедой. Пробоина смотрела как глаз, полный укоризны.

Бахирев исследовал повреждение, поднял красневший в траве противовес с оборванными болтами. На щеках у

противовеса темнели вмятины. Поверхность разрыва болтов была сглаженной, словно отполированной. Особенности, примеченные Бахиревым и раньше, на этом противовесе выражены отчетливее. «Почему?—спросил он себя.— Потому ли, что слишком злые земли в этих полузарослях-полутопях? Болотные силы упорно сопротивлялись и оставили этот отчетливый след на противовесе? Или просто с той минуты, когда чувство собственной вины перестало угнетать, взгляд стал зорче?» Противовес, поднятый из болотной поросли, подтвердил Бахиреву, что отрыв произошел не сразу, что ему предшествовало длительное раскачивание. Усталостный излом. Болото утомило металл.

— Подводит нас ваш завод!—резко сказал Курганов.— Безобразная история! И нельзя ее замазывать.

— Согласен,— ответил Бахирев.

Курганов удивился. Он не понимал молчаливого человека с прокуренной трубкой в углу плотно сжатых губ. Чего он ищет? Повода для того, чтоб переложить вину на чужие плечи? Способа замять неприятную для завода историю? Тогда откуда же это «согласен»?

Из-за кустов показалась голова с тенистым венком из веток. Раздвигая кусты, вынырнул бронзовый торс.

— Васек?—обрадовался Курганов.— Откуда ты вылез, как болотный дух? Один из наших лучших трактористов,— пояснил он Бахиреву.

— Начал тут за поворотом топь обрабатывать, да вот опять загораю. Плюну я на этот колхоз, честное слово!

— А что?

— Так прицепщиков же не успеваю обучать. Только обучишь, потрясется, потрясется на прицепе, да и уйдет. Пока обедаешь, глядь, у тебя опять другой на прицепе. А то и вовсе никого! Вот пошел к бригадиру, увидел машину. Думаю, не с МТС ли?

Когда ушел тракторист, Курганов опять атаковал Бахирева:

— И этот простой на вашу голову! Прицепщики— позор для тракторостроения! Я твержу об этом, пишу об этом на завод, в обком, в Москву.

— Позор,— согласился Бахирев, закурил и сел на кучу хвороста.— Превратили мощную машину в извозчика с баранкой вместо вожжей. Твердите, и пишите, и требуйте. Я тоже твержу и требую. Чем нас, таких, будет больше, тем скорее сдвинем сообща!

Бахирев сидел. Курганов стоял рядом, склонив голову набок, и недоуменно разглядывал человека, похожего на глыбу, с вихром на макушке и с надменными веками. Веки приподнялись, удлиненные темные глаза смотрели не

надменно, а печально. Курганов впервые заметил его брови, стянутые к переносью и взлетевшие к вискам,— чуткие брови человека, который всегда начеку, всегда готов к действию.

— Инерция привычки,—произнес Бахирев.—Привыкли к тому, что так есть, и думают, что так надо. Нельзя привыкать.

Курганов сел рядом. Они повернулись друг к другу, и оба посмотрели в упор.

— А почему тока?—спросил Бахирев.

Он понял, почему именно в этом районе усиленно летели противовесы. Понял, что за внешне случайными и даже легкомысленными поступками секретаря райкома кроются какая-то своя планомерность и своя линия. Ему захотелось лучше понять маленького, головастого, улыбчивого человека.

— Почему тока?—переспросил он.

Курганов не удивился вопросу. С редкой легкостью понимал он и отрывистые речи Бахирева, и то подспудное течение мыслей, которое их диктовало.

— А вот почему тока,—сказал он.—На перевозку, сушку и сортировку зерна трудодней тратится больше, чем на посев, выращивание и уборку. Осень здесь, как правило, дождливая. На уборке теряли четверть урожая. Вот почему я «токую да токую». Крытые и механизированные тока, кажется, частность, а по существу—первостепенный вопрос. Производство зерна массовое, требуется поточно-комплексная механизация, а поток рвется в самом конце. И за счет этого обрыва потери неисчислимые!

«Массовое производство», «поточно-комплексная механизация...». Бахирев никак не ожидал услышать здесь свои излюбленные слова.

Задумавшись, он коснулся травы: она была жестка, остра, и длинный порез остался на пальце. Он перекусил странный бледный стебель. Выступил молочно-белый сок, и на губах след, как от ожога. К щеке льнул белопенный цветок. Прикосновение было влажным, липким; тонкий дурманящий запах проникал в ноздри, и от него тяжелела голова. Все в этом преддверии болота было отмечено предательством. А с противоположной стороны к самому трактору подкатывали волны вспаханной земли. Она отдыхала от зарослей и духоты. За ней вдалеке синел люпин.

Солнце спустилось ниже, тени в лощине загустели, и все далекое поле люпина потемнело, приобрело тот глубокий лиловый оттенок, в котором и свежесть, и теплота, и бодрость, и спокойствие. Таким лиловатым

бывает тихое море в предвечерние часы знойного дня.

— Да давайте вы нам поменьше этих ваших танкоподобных, тяжелых тракторов! Побольше легких, быстрых, с набором разнообразных навесных орудий,— говорил Курганов.— Надо побольше самосвалов, зернопогрузчиков, механизмов для токов. Когда вы создаете поточную линию на производстве, вы планируете ее как целое с начала и до конца! Почему же механизация массового производства зерна не планируется как целое? За последние годы вдвое возросла мощность тракторного парка, а урожаи все те же. А почему? Механизацию планируем в отрыве от организации. Ведь миллиарды теряет страна из-за непродуманного планирования.

Волнение Курганова прорвало панцирь сдержанности, окружавший Бахирева, и исторгло из самых глубин бахиревского сердца его заповедные слова, горькие, иронические и страстные:

— Госплан, Госплан, яви свое могущество!

И Бахирев сам слушал, как необычно звучат эти слова над полупокоренным болотом. Но Курганов не удивился и этим словам.

— Да, да!! Чем больше размах производства, тем больше значения приобретает Госплан! И тем сложнее становится планирование. Самые пронзительные умы, самые непримиримые души нашего столетия — в Госплан!

— Значит, и тебя это гвоздит! — сказал Бахирев и не заметил, что перешел на «ты».— Трудно все предусмотреть. Но надо! Надо обобщенный опыт народа довести до технологического закона.— Бахирев говорил с обычной косноязычностью, и снова Курганов мгновенно понял его.

— Необходимо. Плохо еще планируем. И плохо выполняем основные законы социализма. Извращаем закон «каждому по труду». В основе оплаты не основной показатель, не прибавочный продукт, не рост производительности труда, а десятки побочных показателей. Для тракториста в основе оплаты не урожаи, а гектары мягкой пахоты, для директора МТС — выполнение планов и экономия горючего, и чего-чего только нет! Вот и культивируют с весны до осени, надо — не надо. Накручивают гектары мягкой пахоты. Абы цифры!

— И у нас такое бывает... «абы дать программу».

— Трудно, конечно, разработать действие общего закона применительно к миллионам частностей. В хороших колхозах активно ищут новых форм оплаты. Каждый ищет по-своему, а по существу цель одна — строить систему оплаты труда в соответствии с производительностью, с его общественной полезностью. Полнее воплотить основной закон социализма!

Курганов обрывал вокруг себя пенистые цветы, ощипывал их, и белая пыльца ложилась на колени. Где-то недалеко лягушки открыли вечерний концерт. Они урчали и квакали, и казалось, сама потревоженная болотная влага урчит и чавкает в глубине.

— Тоже возражает болотина,— сказал Бахирев.— Не желает отступать! Сколько еще всяких трудностей!

— И трудностей и противоречий у нас немало. Не то опасно, что они есть, а то, что мы иной раз боимся их видеть. А ведь вся сила-то наша как раз в том, что мы можем изучать их и устранять сознательно.— Он отшвырнул растерзанные цветы.— Понимаешь? Знать противоречия, но самое главное — понимать, изучать, использовать все способы и силы их преодоления! Вот в чем наше величие, вот в чем наше могущество.

Бахирев посмотрел на маленького головастого человечка.

— Скажи мне, кто ты есть?

Курганов рассмеялся.

— Я есть член Коммунистической партии.

— Откуда ты взялся?

— Да вот отсюда же. Родился в деревне, полжизни проработал в деревне, потом учился в городе, потом воевал, потом писал диссертацию.

— О чем?

— Да вот об этом самом. О противоречиях социалистического общества, а прежде всего, и самое главное, о способах и силах их сознательного преодоления.

— Решил, значит, изучать и устранять противоречия не в теории, а на практике?

— Вот именно. Поехали дальше?

Они сели в машину, уже не отворачиваясь друг от друга.

Когда они проезжали мимо люпина, Курганов снова высунулся в окно.

— Смотри! Сверхранний! Свой районный сорт. Свои агрономы вывели. Джунгли! А в прошлом году было болото.

«Вкладыши»,— внезапно подумал Бахирев и вспомнил, как держал на ладони сверкающий полуцилиндр. Пусть первый, пусть малый вкладыш, но вкладыш в большое дело.

— Великолепный люпин! Действительно джунгли,— похвалил он, хотя сегодня видел люпин первый раз в жизни.

Он перебирал в уме впечатления поездки: разговор с Дашиной матерью, Анной, колхозное собрание, и председателя колхоза Борина с его улыбкой, зарождавшейся в

ямке на подбородке, и косой в крепких руках, историю того февральского противовеса, и Петрушечкина, открывшего истину об этом противовесе, и разговор с секретарем райкома на полупокоренном болоте. Он уже был уверен в том, что не виновен в противоестественных полетах, свершаемых противовесами, и от этого ему дышалось легче. «Ошибка в конструкции. Надо срочно искать ошибку в конструкции,— повторил он про себя, взглянул на лиловые джунгли люпина, на розовеющее облако, почувствовал дружеское прикосновение плеча Курганова и подумал:— Счастливая поездка. Счастливый вечер счастливого дня».

Глава XIX

«БОЖЬЯ КОРОВКА»

Июльская ночь была душной. Корпуса завода дышали жаром и сушью хорошо протопленных печей. Запахи заводской гари смешивались с медовым, знойным дыханием резеды, щедро разросшейся в заводских аллеях. Отяжеленные деревья замерли в злом безветрии. Бахирев, Рославлев и молодой конструктор Зябликов заперлись в бахиревском кабинете и, сняв пиджаки и рубашки, заново рассчитывали конструкцию крепления противовесов. Полуголые тела их лоснились от пота. Бутылки с боржомом выстроились у стены. В тарелке плавали неправдоподобно холодные куски льда, голубоватые, с оплывающими гранями. Четыре противовеса с оборванными болтами лежали рядом. Рославлев плеснул на полотенце ледяной водой из тарелки, вытер мокрое и пористое, как губка, лицо. Часы пробили двенадцать, и тотчас раздался звонок диспетчера.

Бахирев слушал и повторял цифры для Рославлева:

— Дневной общезаводской — сто пятнадцать процентов. А по моторному — сто восемьдесят два процента? Слышишь? А по чугунолитейному? Сто семь процентов?— Он положил трубку.— Твой моторный ставит рекорды.

— Я говорил... отдача пойдет... Да, брат, все это было в другом веке — восемьсот бракованных коленвалов, мой батька на контроле противовесов, сменные заделы... К черту сменные заделы!

— Я ж тебе говорил, что ты сгоряча затеял. А давно ли ты за них ратовал?

— По-твоему, я и не человек? Мне и ошибаться не

положено? А бракоделов выявить они помогли! Смотри — каплешь на чертеж.

Бахирев вытер пот, струившийся со лба, высунул голову в окно, шевельнул широченной спиной.

— Идем к рекордной выработке. А радоваться ли? Если вся работа на «перепуск» и на возврат? Если все тракторы, которые мы спускаем сегодня с конвейера, вернутся с пробитыми боками?

— Ну, ну! — успокоительно и в то же время испуганно прогудел Рославлев. — Не рвутся же на ведущем тракторном заводе!

— Будут рваться.

— Мрачный ты человек! А вот преемник Шатрова, инженер Белокуров, утверждает.

— Что Белокуров? Белокуров — арифмометр, а не конструктор, — сказал Бахирев, забыв о присутствии безмолвного Зябликова. — Белокуров правильно рассчитает действие одной силы и не заметит десяти других. А правильно найти действующие силы — это главное!

Лабораторные анализы подтвердили предположения Бахирева, которые возникли на полупокоренном болоте, когда он взял в руки противовес с вмятиной на щеках, с гладкой, словно отполированной поверхностью болтов. Лаборатория указала на отсутствие нормальной зернистости металла, на то, что начальное разрушение находится всегда на одном месте. Это был не разрыв, вызванный центробежной силой. Это был усталостный излом, вызванный вибрацией, колебанием противовеса. Бахирев отдал приказ вместо обычной нарезной резьбы применить болты с накатной, противоусталостной, выносливой к переменным нагрузкам резьбой. Однако он был уверен, что такая резьба не прекратит, а лишь отсрочит обрывы противовесов, вызванные ошибкой в конструкции. Он написал Шатрову, и тот ответил пространной телеграммой и письмом, смысл которых сводился к одному — надо срочно делать перерасчет усилий, воздействующих на болты, и особенно сил инерции. Белокуров настаивал на правильности прежних расчетов.

Неожиданно против нового главного конструктора восстал юнец Зябликов. Он был неопытен и неавторитетен, но Бахирев обрадовался и такой поддержке. Торопясь, тревожась, считая, что каждый день с конвейера сходят десятки обреченных на аварию тракторов, Бахирев сам стал помогать Зябликову. Незаметно к ним подключился Рославлев.

Дни были насыщены другими делами, на долю противовесов оставались поздние часы. Сегодня они засиделись до ночи. Зябликов был доволен и ответственным задани-

ем, и необычайностью обстановки. Он отличался молчаливостью. Бахирев минутами забывал о его присутствии и вспоминал только тогда, когда Зябликов протягивал лист с расчетами или с грохотом ронял что-нибудь.

— Шатров прав,— говорил Бахирев, глядя в окно на цехи, опоясанные сплошными лентами освещенных окон.— Противовес вращается со скоростью двух тысяч шестисот оборотов в минуту. Что противодействует? Противодействуют силы инерции. Недостаточно учтены силы инерции в работающем дизеле.

Он сам вслушивался в свои слова. Ночные составы, перекликаясь, шли по заводским путям. Грузили шихту, и с грохотом падали вдали тяжелые сгустки металла. Как всегда, глухим аккомпанементом к заводской разноголосице было мерное уханье кузницы.

— Развивающиеся силы инерции не приняты в расчет, и металл летит, как снаряд, металл рвется, как паутина.— Рославлев чувствовал, что Бахирев придает этим словам второй смысл.— Опасность не в том, что силы инерции чрезмерно велики,— раздельно и раздумчиво продолжал Бахирев.— Опасность в том, что их не взяли в расчет. Ты понимаешь? Если брать в расчет, то нетрудно их обезвредить, но, если не брать их в расчет, они грозят бедствием. Мы сейчас стоим на пороге нового взлета. И если бы меня спросили, что сейчас опаснее всего, я бы ответил: опаснее всего силы инерции, не принятые в расчет.

Еще не до конца ясная ему самому мысль расширялась. Стремление к большим обобщениям и точным формулировкам уводило далеко от противовесов. Социалистическая система открыла огромный простор производительным силам. Они растут с невиданной быстротой, а мы подчас не поспеваем за ними, и тогда рост их наталкивается на недоучтенные нами силы инерции, таящиеся и в формах организации, и нередко в глубинах человеческих душ.

Он задумался. Рославлев понимал второй смысл в словах главного инженера, но он был человеком конкретных действий.

— Слыхал, Зяблик, какие тут закручены рассуждения?— сказал он. В ответ с грохотом упало пресс-папье.— Ты бы, друг, как-нибудь научился словами отвечать!— посоветовал Рославлев и укорил Бахирева:— От твоих высоких рассуждений у парня все из рук валится. Ты уж снизойди... Конкретизируй.

Бахирев встряхнулся и засмеялся.

— Так Зябликов же кругом прав! Для того чтобы обезвредить эти самые силы инерции, надо приблизить опорные площадки к центру тяжести, уменьшить плечо

рычага. Тогда уменьшатся колебания. И надо сделать это скорее. Пока мы считаем аварии единицами, а не сотнями. Скорей, скорей, скорей! Промедление смерти подобно!

— Я же говорю, мрачная ты личность. Мыслишь загробными категориями. Сам не пойму, чего я к тебе пришвартовался?—Щетинистые брови поползли вверх, глаза девственной голубизны любовно и любопытно оглядели Бахирева.—Таран!—заключил Рославлев свое обозрение.—И черт с ней, с твоей загробностью! Простим его, Зяблик, поскольку он таран и правильно преломляет.

— Что я преломляю?—полюбопытствовал Бахирев.

— Идеи... Чудачина Чубасов укоряет, почему я в институте марксизма получил четверку, отстал от Уханова. Так Уханов чешет формулировками, а не преломляет!

— Ну, а что я преломляю?—допытывался Бахирев.

— Два десятка лет назад был в стране один тракторный заводишко да один автомобильный. Мы ими похвалялись и радовались. И как не радоваться: они же наши первенцы. В ту пору один процент брака—это, к примеру сказать, десять тракторов в месяц. Теперь много заводов, и один месячный процент брака исчисляется уже сотнями машин. Несколько месяцев министерской волокиты грозят тысячами бракованных тракторов. Мощности возросли в тысячи раз,— значит, и организация должна стать гибче тысячекратно! А у нас этого в умах не преломляют. А ты преломляешь. Ты старые формы организации таранишь. За это мы с Зябликом тебя и прощаем, загробный дух! Правда, Зяблик?

Зябликов поводил круглыми, недоуменными глазами, но Бахирев заволновался и принялся дергать вихор:

— Дело не только в их гибкости. Необходимы и специализация заводов, и их кооперирование, и унификация узлов. Когда в стране был один тракторный, эти проблемы не возникали, а сейчас они решают будущее.

Зябликов затих, слушая речи обычно немногословного нового главного. Рославлев поглядывал из-под бровей, а Бахирев оседлал своего конька, разошелся и даже встал в позу заядлого оратора.

— Я же говорил вам, производительные силы страны находятся накануне колоссального взлета! Им тесно, они бьются в старых формах организации, и мы с вами вот бьемся вместе с ними!

Зябликов от напряжения неловко двинул локтем и уронил стул.

— Объясни: ты стулья роняешь в знак одобрения или протеста?—осведомился Рославлев.

Гудящий бас его, как по трубе, прокатился по узкой, длинной комнате и отрезвил Бахирева.

С недавних пор бас этот стал для него так же неотделим от завода, как вездесущий ритм кузницы. Завод уже был немыслимым без рославлевского и отрезвляющего и мобилизующего гудения, без его насупленных бровей, без его глаз, взывающих к глубинам человеческой совести.

Они продолжали работать до очередного грохота—это Зябликов с трудом извлекал из-под стола длинные ноги. Он двинулся из своего угла и протянул сделанный вчерне набросок. Бахирев сперва посмотрел мельком, потом нагнулся ниже, стал вглядываться в цифры и линии. Умело и точно набросанная схема вызывала у него непередаваемое ощущение здоровья, жизнеспособности, естественности. Она привлекала простотой, прочностью.

— Смотри-ка ты!—Бахирев удивленно взглянул на Зябликова и передал листок Рославлеву. Они быстро разобрались в расчетах.

— Крепко! Вот тебе и Зяблик!—пробасил Рославлев.—Противовес сидит ладно, как шляпка на грибе. Гриб боровик!

— Да, да, да!—обрадовался Бахирев.—Вот именно гриб боровик. Усадистое, здоровое...

Мысли Шатрова, Бахирева, Рославлева молчаливый Зябликов реализовал удачней всех. Оставалось доработать детали. Они не заметили, как наступило утро воскресного дня. Потянуло первой прохладой. Рославлев надел рубашку и покачал головой.

— Мрачный—еще полбеды! Ты, Алексеич, к тому же и въедливый, скажу я тебе! С тобой, с чертом, ни разу за лето на рыбалку не съездишь. Поедем, а?

— Рыбачь за двоих.

Рославлев ушел. Бахирев вместе с Зябликовым перечертил схему начисто и уже один написал письмо «О конструктивных просчетах в расчете противовесов» и краткое обоснование новой конструкции. Только после этого он пошел спать в пустую квартиру. Катя, как обычно, на месяц увезла детей в Евпаторию. Он спал недолго и проснулся ярким утром, невыспавшийся, но счастливый. Позвонил на завод. Несмотря на воскресный день, работа шла нормально. На столе лежало его письмо. Он перечитал, посмотрел чертеж и снова обрадовался простоте найденного решения. «Да, гриб, гриб боровик. Рославлев точно определил. Молодчага Зяблик! Сидел, молчал, стулья ломал—и вдруг на тебе! Надо рассказать Тине».

Ему бросился в глаза заголовок в воскресной областной газете: «Антимеханизатор из Ухабина». В статье громили Курганова за отказ от принципа механизации, за

теоретическую безграмотность и деляческий практицизм в работе. Его обвиняли в том, что он призывает убирать зерновые с помощью серпов, а картофель — с помощью свиней. Статья была написана хлестко и убедительно. Если бы Бахирев не знал Курганова, он посмеялся бы над его загибами. Но он вспомнил секретаря райкома, такого простецкого на поверхностный взгляд и такого вдумчивого, целеустремленного в действительности. «Залежные земли, тока, молчание на колхозном собрании — все это и мне казалось легковесным, поверхностным, пока не разобрался. А разобрался и увидел, что как раз наоборот — ничто у него не случайно, все планомерно, все нацелено. Умен, а не умничает! Эти писаки,— подумал Бахирев об авторе статьи,— ищут «вумного вида» да «вумных фраз», а в его делах разобраться не способны. Наверно, у него серпы и хавроньи тоже не попусту, в них тоже есть и цель и смысл. «Антимеханизатор»... Вряд ли во многих районах механизация проводится так продуманно. А ведь не побывай я сам в этом районе, не разберись на деле, поверил бы статье... Вот и обо мне, может быть, создавалось у людей такое же превратное суждение. План при мне срывался, заработки у рабочих падали, противовесы стали лететь... Ну, теперь недолго! План перевыполнили, заработки поднялись, и противовесы не сегодня завтра встанут на место. Гриб боровик найден!»

Как всегда в минуту душевного подъема Бахирев особенно остро затосковал по Тине. Она живет, она ходит где-то там, на другом конце города. Он отчетливо увидел ее смуглые руки, ее крепкую и нежную шею. Нет, она не плод воображения. Она живая женщина.

Захмелевший от бессонных ночей и удачи, Бахирев не мог и не хотел ни размышлять, ни обдумывать, он был полон одним желанием: к Тине! Немедленно! Видеть ее не в цехе, не во время работы, не на людях. Быть с ней вдвоем на солнце, на воздухе. Прийти к ней не сраженным, не поверженным, впервые прийти к ней с победой. У него родилось опасение: «К чему это может привести? — И тут же он рассердился на себя: — К бесу осторожность, к бесу лишние размышления! Я хочу и могу ее видеть».

Он знал адрес Тины, взял такси и через полчаса сквозь зелень сада увидел ее тонкую фигуру. В голубом сарафане и смешном маленьком переднике она присела на корточки меж грядами.

Бахирев, не вылезая, высунулся из машины.

— Тина Борисовна!

Он видел, как она растерянно оглянулась и бегом побежала к машине.

— Что? Что случилось?

Руки у нее были в земле, первый еще розовый загар лежал на лице и открытых плечах, глаза сияли и синели так, что ему больно было смотреть в них. Каждый раз при встрече она казалась ему новой и краше, чем прежде, но никогда еще не была так юна и так мила ему.

— Мы нашли новую конструкцию противовеса. Из этого Зяблика будет толк... Поедем за город!—быстро и безо всякой последовательности сказал он.

— Сейчас.. переоденусь.

— Нет... так.

— Руки!—Она протянула розовые пальцы, вымазанные в земле.

Он вытер их своим платком.

— Вы помните, как я вытирал вам пятно на лбу?

Так, в тапках на босу ногу, с немытыми руками, она села рядом с ним в машину.

Он говорил ей о противовесах, о силах инерции, которые грозят бедствием, если не брать их в расчет; она слушала, как всегда понимая с полуслова, но когда они въехали в лес, он думал уже только о ней. Они отпустили машину и пошли по тропе, усыпанной хвоей и шишками. Сосны замерли от зноя, только смолы стекали по стволам и сохли, белея, будто засахариваясь, да шелушилась кора, и сухие, прозрачные чешуйки медленно падали на хвойный настил. Стоглазое и сияющее небо смотрело сквозь ветки. В смолистой тишине растворились и потонули противовесы, завод, программа. Только Тина была рядом, и вся она сливалась с хвойным лесом: так же как синева меж ветвями, лучились ее глаза, так же как сосны, тонки, стройны, золотисто-коричневы были ее руки, ноги, шея и даже так же чуть шелушилась кожа. Тина была ему роднее всех и понятнее всех на земле. Все в ней—от хрупких, по девичьи выступающих ключиц до голубой жилки на лодыжке—казалось извека родным и единственно желанным. И в то же время он знал, что не смеет и никогда не посмеет прикоснуться к ней. Эта раздвоенность чувств создавала такое острое напряжение, что он не мог говорить. Впервые в жизни испытывал он такую тяжелую, все вытесняющую жажду.

Ей вспомнились и темная ложа в клубе на первомайском вечере, и пахнущее краской окно в комнате технологов.

«Если б хоть взял за руку...» Но когда он протянул руку, она в страхе отстранилась.

Она пыталась говорить что-то, он не отвечал, даже не слушал.

— Вы не слушаете? О чем вы думаете?..

Губы его были запечатаны. Он не смел говорить о том,

о чем думал, и не мог сказать ничего другого. Умолкла и Тина. Она думала о том, в чем сама себе не сознавалась все эти месяцы. «Я люблю его. Я думала, что только могла бы полюбить. Но я давно люблю».

Тропинка привела их к заводскому дачному поселку. Зеленый забор с запертой калиткой стоял за пересохшей, превратившейся в ручей речкой.

— Там моя дача,— с трудом разомкнув губы, проговорил Бахирев.

Случайно или сознательно привел он ее сюда? Они остановились у берега. Солнце и синева отражались в ручье. Белые облака проплывали у самых ног. Ива окунала в воду тонколистые ветки. В траве золотились лютики. Две желтые бабочки вились над травой, над ручьем, над цветами. Их полет был беспечен и прихотлив, они подчинялись лишь зову солнца, трав, ручья. Бахирев топтался на берегу. Медленно и глухо спросил:

— Может быть, войдем?

Он ждал. Она знала, что ответ ее решит все. Шагнуть через этот ручей — значило перешагнуть через то, чем она дорожила последние годы. Отвернуться? Уйти? Но это значит: никогда... Она с завистью смотрела на двух желтых бабочек. Почему судьба отказала ей в том, чем счастливы даже такие создания? Испытать это хоть раз в жизни. Он молча следил за ее взглядом, читал каждую ее мысль, но не сказал ни слова, не пошевелился. Она смотрела в глубину ручья. Солнце спокойно лежало в плавном и ровном течении. Перешагнуть?.. Тонкий посвист опасности — словно пуля над ухом. Такое было однажды. Тогда оно ее миновало. А теперь? Мгновенно отчетливо ощутила: «Если это случится, все, что было до этого, обесценится и исчезнет. Если бы я любила его хоть немного меньше, можно было бы после забыть, не думать, уйти от памяти. Но я люблю. Перешагнуть — значит, от всего, чем жила, уйти к тоске, которая все выжжет».

Она предвидела все, но будущее было далеко, а он был рядом. Рядом были сильные плечи, любимое, окаменевшее от напряжения лицо. И хитрый мозг уже вел ее туда, куда ей хотелось, уже подсказывал ей: «Только раз в жизни... Кому от этого будет плохо? Только тебе? Но ты не побоялась бы и умереть за него. Почему же ты так боишься этого?»

Она оглянулась на Бахирева, и решилась, и снова взглянула в ручей. Небо посмотрело на нее из глубины. Она перешагнула через него. Под ногами мелькнуло опрокинутое солнце.

Они молча садом прошли в полупустую комнату. В комнате стояли плетеное кресло, тахта, и у тахты пара ночных вышитых туфель. Туфли были вышиты руками той женщины.

Тина распахнула раму и встала к окну. Тяжелый шмель влетел в комнату.

Дмитрия не было слышно. Он не двигался. Потом она услышала его хриплый голос:

— Я никогда ни одной женщины не любил, кроме тебя. Я никого никогда, кроме тебя, не полюблю. Но я... никогда... не брошу семью.

Она невольно и горько улыбнулась. Как она знала его! Как она понимала эту потребность в честности! Даже сейчас, в этом насквозь ложном положении, он пытался как-то соблюсти честность.

«Максимум из возможного минимума честности...» — подумала она. Она любила его даже за эту нелепую попытку.

— Я знаю это. Разве я полюбила б тебя, если бы ты был из тех, что бросают детей? — сказала она. — Не терзай себя. Наше счастье такое короткое... Так пусть оно будет полным!

Она услышала его шаги за спиной. Как тяжело, как медленно он шагал! Но руки его были нетерпеливыми, а губы пересохшими от многолетней жажды. Она поняла, что вся ее жизнь была лишь ожиданием его прикосновения.

Обратно они возвращались по белевшей среди ночного леса дороге.

— До станции или прямо до города? — спросил он.

Станция была рядом, а до города больше десяти километров.

— Как ты хочешь?

— Пойдем. Я понесу тебя.

Когда он нес ее, звезды, ветви, луна, весь мир качались в такт его шагам.

«Зачем нужны заводы, города, квартиры? — думала она. — Пусть лес, небо, трава, пещеры, звериная шкура — все, что угодно, только бы с ним!»

— Ты устал.

— Нисколько. Когда я несу тебя, мне легче идти.

Он не обманывал. Он не чувствовал ее тяжести. Не веря этому, она просила отпустить ее. Но, опустив ее на землю, он пугался:

— Зачем ты так далеко? Иди ко мне!

И снова подхватывал ее на руки.

— Усни вот так. Нет, не спи. Думай вместе со мной.

Иногда, поставив ее на дорогу, он вдруг начинал пристально разглядывать ее, гладить ее лицо, плечи. Ему то приходило в голову украсить ее волосы рябиновой веткой, то он рвал при лунном свете ромашки, чтобы приколоть к ее платью. Она поражалась той неистраченной наивности чувств, которую обнаруживал этот массивный, тяжеловатый отец троих детей. Глубокая мужская нежность — это было то немногое, в чем ей везло в жизни. Но такой до неуклюжести робкой и щедрой нежности и такой жадной потребности в ней Тина не видела.

Когда Тина перебирала волосы Бахирева, он останавливался, закрывал глаза и просил:

— Еще...

Он стоял не шевелясь. Так, замерев от счастья, стоит собака под рукой хозяина.

— Митя, можно подумать, что тебя никогда не любили.

— Не всякая любовь дает счастье. Все хотят быть любимыми, но мало кто умеет любить. Моя мать умела любить. Я вот только сейчас понял, на кого ты похожа. Ты похожа на ее портрет, что в детстве висел над моей кроватью.

Он гладил и рассматривал ее лицо. Днем яркость красок лица, синева глаз, золотистая смуглость щек мешала уловить сходство. Но сейчас краски смягчились, превратились в тени и полутени, и омытое лунным светом лицо казалось ему возвращенным из полузабытой и кровной дали. Та же тонкость черт, те же удлиненные глаза и, главное, тот же взгляд, ясный, безмятежный, но затаивший в глубине не то решимость, не то какое-то большое знание, не то готовность к подвигу.

Перед ним отчетливо встало воплощение всего лучшего, что он знал в мире, прибежище и отрада его раннего детства — портрет матери.

— Что бы было, если б мы разминулись? — сказал он.— Ведь мы могли никогда не встретиться! Так никогда и не узнали бы, что такое любовь.

Все пережитое в прошлые годы казалось до жалости односторонним и скудным. Оба подумали о том, что многие люди живут, принимая за любовь признательность и уважение, влечение и случай, привычку и удобство. Обоим стало страшно, что и они могли до конца жизни разделять эту нищенскую участь — так легко разминуться в огромном мире.

Тяжелая от звезд ночь была полна жизни. Кузнечики неумолчно стрекотали на лугу, ветви кустов вздрагивали от чьих-то движений, светлячки горели в траве, старый

пень в овраге светился голубоватым светом, и звезды падали наискось.

От скошенного луга пахло не сеном, но той сладкой, влажной прелью, которой отдают только что сваленные, прогретые солнцем травы.

На грудь Тины с размаху прыгнул кузнечик. Бахирев осторожно, двумя пальцами, взял его за ногу. Тот принялся сгибать и разгибать ноги, силясь вырваться.

— Пружинящее шасси для взлета и посадки.

— Ты его придавишь.

— Сегодня?.. Ни одной козявки не поврежу сегодня. Скачи, голенастый!

Кузнечик прыгнул и скрылся в темноте.

Бахирев сорвал крупную ромашку у дороги и удивился прохладе упругих серебристых листьев, бархатистой, как шмель, сердцевине. Ему хотелось сказать об этом Тине, но он не нашел слов и только положил ей цветок на ладонь и взглянул, словно спрашивая о чем-то.

И Тине представился маленький и, как Бахирев, вихрастый мальчик, который однажды вот так же впервые увидит ромашку, удивится и, не умея высказать, так же принесет и положит ей на ладонь белую звезду. И, как ребенка, она спросила Бахирева:

— Что?.. Ну, что?

А он по-прежнему не находил слов.

Странен и чуден был этот мир, где кузнечики прыгали на грудь, неторопливо и наискось падали звезды и Тина неслышно шагала рядом.

С небольшого взгорья открылся город. У склона тянулись палисадники пригорода, а дальше — цепи фонарей и огненная нить моста, брошенная через реку. Они остановились, прижались друг к другу. Город спал. Только они двое не спали. Сонный город принадлежал им.

Все, от запаха присушенной солнцем травы и стрекота кузнечиков до изогнутой огненной нитки моста, проникало не в мозг, а куда-то в кровь, в плоть, в глубину существа.

— Однажды юноша... может быть, еще мальчик,— тихо сказала Тина,— увидит ночь, луну, фонари над рекой, почувствует запах сена, услышит кузнечиков и поймет, что все это он видел тысячу лет назад. И будет спрашивать: когда, где? Он будет наш сын или наш внук. И это все мы с тобой видели в ночь, когда любили друг друга... Это все в нас навсегда.

Дорога казалась им мягкой и мгновенной. Тинин дом выглядывал из ветвей. Они простились у кустов: Тина боялась, чтобы их не увидели в окна. Но когда она уже поднялась на крыльцо, Бахирев подошел и прижался лицом к ее пыльной ноге. Она почувствовала его горячую

щеку. Ресницы, трепетавшие у ее колена, показались ей влажными.

Она сразу прошла в ванную, чтобы смыть пыль далекой дороги. Но кожа еще хранила ощущение его щеки и ресниц. Тогда она села на борт ванны, оберегая это место. Она не зажгла огня, и в окно видны были звезды и листья.

«Пройдет тысяча лет,—думала она,—и все, что мы сделали на земле, станет не важно. Есть одно важное, незабываемое, как эти звезды: все лучшее, все любимое, что есть в мире, выпестовать, вырастить, сделать, чтобы никогда не исчезло».

Она жаждала от него ребенка с такой силой, что жажда превращалась в уверенность, желаемое в осуществленное. Она была уверена, что у нее будет сын, что он уже есть, что мальчик чудесен, как эта ночь, пережитая вместе с его отцом.

«Я так люблю, что передам все, даже веки, даже брови, даже вихор на макушке. И ничего мне больше не надо от этой земли! Он будет лучше Рыжика. Разве она, та женщина, умела так понимать и так любить, разве она могла родить и взрастить ему такого сына?»

Она знала, что вся ее и Володи прошлая жизнь разом рухнула в эту ночь, что много тяжелого ждет впереди, и не боялась ничего. Только бы с ней был ее сын.

Она не верила в бога, но она так хотела сына, что просила на всякий случай: «Бог, или аллах, или кто бы то ни был, но все, что есть на земле доброго и могущественного, сделай, чтобы был мальчик, сын, совсем такой же, как Митя!»

Выйдя из ванны, она вытерлась бережно, словно уже не была сама по себе, а стала лишь сосудом, уготовленным и предназначенным для того, чтобы взрастить и вскормить его сына. Мысленно она просила прощения у Володи: «Я обманывалась сама, но не обманывала тебя. То, чего я не могла дать, я старалась возместить всем, чем могла. Несколько лет ты был моим большим ребенком, но вот приходит мой маленький сын, и я не могу не уйти к нему от тебя».

Сесть и написать. Она присела к столу, взяла бумагу. Нет, написать нельзя! Об этом можно только сказать. Поехать к нему! Как можно скорее. Завтра же. Каждый час лжи был пыткой. Скорее! Но как же он? Сейчас, перед самой защитой диссертации, сказать Володе обо всем случившемся—значило сорвать защиту. Дождаться, пока он защитит, вернется домой? Неужели уже началось то самое, чего она боялась,—жизнь во лжи и смятении? Но так велико было счастье этой ночи, что оно отодвига-

ло и смывало все: «Я потом обдумаю. Я сделаю, чтобы все было хорошо».

Она не знала, как это сделать, но знала, что сможет все: и родить необыкновенного сына, похожего на Дмитрия, и каким-то непостижимым образом осчастливить сразу всех — и сына, и Митю, и Володю, и даже жену, и детей Бахирева. В эту минуту она и не пыталась представить, как ухитрится она осуществить этот непостижимый замысел. Она просто чувствовала, что переполнена счастьем и что счастье должно исходить из нее на окружающих, как свет исходит от солнца. Ее изголодавшемуся по материнству сердцу мерещилось, что появление ее удивительного сына должно каким-то образом осчастливить сразу всех, в том числе и Володю, и семью Бахирева. Она боялась анализировать это блаженное, но зыбкое убеждение и, едва добравшись до подушки, заснула.

И во сне не покидало ее ощущение счастья.

•

Бахирев осторожно вошел в квартиру. Домашняя работница спала.

В комнатах все было по-старому, но мир стал иным. Запах скошенных трав, серебряная звезда, ромашка на Тининой ладони, голенастый кузнечик на ее груди... Все прежде ненужное, незаметное обрело смысл и значение. На столе в блокноте, куда записывали важные телефонные звонки, корявым почерком домашней работницы было написано: «Звонили, что прислали еще противовесы».

«Противовесы? — Он не сразу вспомнил, что в этом слове прежде так волновало его. — Противовесы, израненные тракторы, бесчестие завода. Мое бесчестие! Как нам любить друг друга, если бесчестие?!»

Лишь перекинув этот мысленный мостик от Тины, от ромашки, кузнечиков и звезд к противовесам, он смог восстановить в уме их прежнюю значимость. Он позвонил на завод.

— Какого выпуска тракторы?

— Февральского...

Он даже не удивился, что пришло еще одно подтверждение его невиновности. Эта ночь была счастливой. Тина, новая конструкция противовесов, наконец, эта весть о срыве февральских, «добахиревских», противовесов.

Он не спал и не хотел спать. Он следил, как медленно разгоралась заря, и продолжал говорить с Тиной: «Она разгорается и над тобой. Спишь ты сейчас или думаешь обо мне? Позвонить и сказать одну фразу: «Как хорошо, что ты живешь на земле!»

Он побоялся ее разбудить. Неторопливо и тщательно собирался он на работу. Выбрился, наодеколонился, бумажка к бумажке уложил расчеты новой конструкции и письмо. Давно не было у него ощущения такого спокойствия и силы. Он ни на одну минуту не переставал чувствовать, что ходит по земле, где есть Тина, гда пахнет скошенной травой, где ромашки по ночам светятся, как звезды, и кузнечики слушают, как бьются сердца у людей, где самые запутанные истории с противовесами разрешаются просто и счастливо.

В ранний час он пошел к Вальгану. В утреннем рассвете обращенный на северо-восток кабинет Вальгана весь полыхал розовым отсветом. Заря дрожала в стеклах распахнутых окон, в зеркалах у вешалки, розовели кремовые панели и гладкая, как у младенца, кожа Вальгана.

Вальган поднял голову:

— Что так рано сегодня? Прошу садиться!

После партактива между ними установился сдержанный, корректный тон. Повседневная сдержанность была не в привычках Вальгана. Он уничтожал или возвышал, был дружествен или враждебен, весел или гневен; он изливал чувства так, как ему хотелось, и без необходимости не тратил усилий на выдержку. Неожиданный исход партактива насторожил директора. Вальган почуял в Бахиреве силу бо́льшую, чем можно было предполагать. Нужно было выяснить истоки этой силы и ее изъяны. Возникла необходимость в сдержанности. Бахирев увидел перед собой нового Вальгана. Не было ни мягких шагов, ни быстрых рысьих глаз, ни мгновенной смены поз, выражений, интонаций, свойственных директору. Доселе не известный Бахиреву сдержанно-корректный, скупой на слова и жесты Вальган приветствовал его из-за директорского стола.

Вальган также мгновенно заметил новый и необычный вид Бахирева. Не было прежней угрюмой напряженности. Оттого, что осунулось лицо и веки не ленились подниматься, глаза словно выросли, и взгляд их был ясен и спокоен.

«Что случилось с «бегемотом»? Похудел, помолодел... Что он нынче таким именинником?»

— Семен Петрович, вам известно о срывах противовесов февральской партии?

Ни одна черта не дрогнула в изменчивом лице Вальгана. Тем же спокойно-корректным тоном он ответил:

— Знаю.

Оба молчали. Бахирев еще не мог привыкнуть к этому немногословному, непроницаемому Вальгану. Вальган выжидал, что скажет Бахирев.

— Значит, дело не в нарушениях технологии, вызванных моими мероприятиями,— сказал Бахирев.

— «Детские болезни» бывают при освоении каждой марки. В норме они излечиваются тут же. При отсутствии нормы они прогрессируют. Не кажется ли вам, что у нас на заводе разыгрывается второй вариант?

— Нет... Не кажется. Дело не в освоении технологии. Дело в конструкции. Конструкция создавалась торопливо, испытывалась недостаточно.— Бахирев выложил чертежи и расчеты.— При расчетах недоисследована кинематика, не выявлены усилия, которые воздействуют на болты. Не учтены силы инерции.

Вальган слушал, не произнося ни слова, но Бахирев, продолжая говорить, видел, как в глазах и в лице директора зажигается то выражение просветления и понимания, которое бывает у человека, постигающего сложную задачу. «Доходит до него. Воспринимает»,— обрадовался Бахирев.

Вальган воспринимал по-своему:

«Маневр главного проясняется... Обвиняя во всем конструкцию, он тем самым пытается перекачать ответственность за противовесы со своей головы на мою. Как говорится, ход королевой!»

По-своему поняв поведение Бахирева, он тут же уяснил и его безопасность для себя, и свой «королевский контрход» — с помощью этих самых летающих противовесов наглядно доказать ЦК и министерству беспомощность главного. Поэтому и появилось на его лице обрадовавшее Бахирева выражение понимания.

На миг у Вальгана шевельнулась мысль: «А не таится ли действительно огрех в самой конструкции? — И тут же он опроверг подозрение: — На одноименном заводе при той же самой конструкции противовесы превосходно работают».

Массовый эксперимент, широко поставленный самою жизнью, был убедительным для всякого. Усомниться в нем мог лишь человек, одаренный особым конструкторским чутьем и досконально-въедливый. Вальган же привык к своей непогрешимости, был удачлив и не склонен к сомнениям. Определив для себя поведение Бахирева и собственный контрход, он был спокоен, уверен и хотел представить себе будущие действия Бахирева.

— Что же вы предлагаете практически? — спросил он.

— Срочно менять конструкцию. Зябликов предложил интересное решение. А пока надо остановить производство.

«Ого! Хватил! Перехватил!» — подумал Вальган, и бархатные брови его поднялись.

— Остановить производство?

— Мы с каждым днем выпускаем все большее количество негодных тракторов. Завод работает на перепуск, на возврат.

— Вы все это изложили письменно?

— Да.

— Оставьте.

Вальган говорил доброжелательно, и лицо его сохраняло выражение человека, удачно решившего сложную задачу.

И Бахирев ушел обнадеженный.

Проводив его просветленным, понимающим взглядом, Вальган с нетерпением ждал, когда погаснет алый отсвет на стенах кабинета. Едва минули законные десять часов, Вальган позвонил Бликину.

Люди лучше всего понимают подобных себе. По пословице «рыбак рыбака видит издалека», по каким-то неопределенным признакам смелый издали отличает смелого, одаренный — одаренного, честный — честного. Бликин не был даровит и не оценил даровитости Бахирева; он не был смел — и не почувствовал смелости главного инженера; он не знал страстного увлечения делом — и не понял этой страсти «хохлатого бегемота».

С Вальганом Бликина сближало многое.

Бликин считал себя преданным исполнителем высшей воли партии, олицетворенной для него в воле одного человека. Смысл и цель этой воли он видел в создании величественных сооружений эпохи социализма, и люди были для него лишь руками, воздвигающими монументы.

Воле и власти одного умудренного и избранного приписывал он все свершения, и невольно эта власть приобретала в его глазах ореол непостижимости и загадочности.

Преклонение перед мнившимся ему таинством власти стало и одной из его черт, и поэзией его жизни.

Он считал, что власть сильна до тех пор, пока потрясает и поражает. Поэтому помпезность и секретность представлялись ему ее неотъемлемыми качествами. Он по мере возможности засекречивал и собственные побуждения, и решения бюро обкома, и собственный быт, и некоторые особенности в жизни области.

Никогда, даже в мыслях, не употреблял он таких слов, как «преклонение перед властью» или «таинство власти»: живя этими понятиями, он засекречивал их даже от самого себя.

Бликин употреблял обыденные фразы. «Или выполнишь в указанный срок, или партбилет на стол»,— говорил он, давая трудное задание, и наслаждался: он мог влиять на то, что для коммуниста является самым святым в жизни.

В психике Бликина причудливо сплетались искренность и приспособляемость. Величие дел, воздухом которых он дышал, не могло не захватить его, и его приверженность им была искренней. И в то же время он, лишенный даровитости, смелости и широты мысли, не мог стать во главе этих дел по праву творчества. Талантливого во главе дела ставит талант, умного — ум, для Бликина же путь послушного исполнения могущественной воли был единственным путем к желанной цели.

Многие считали его человеком сильным. И действительно, он обладал немалой волей, а ум его, лишенный глубины и широты, отличался гибкостью и своеобразной тонкостью. Бликин мог бы стать незаурядным работником, если бы его качества развивались в ином направлении. Но преклонение Бликина перед властью отбрасывало на его сознание две неизбежные тени. Первая из них — страх. Приписывая всем свою жажду могущества, Бликин во всех видел тайных недоброжелателей. Он равно опасался многолюдья и одиночества, льстивой вражды и требовательной дружбы, но пуще всего боялся он чистосердечной откровенности и людской близости. Его пугало то своеобразное и нежданное, что открывалось в людях одаренных и рьяных к делу, то, что могло расходиться с его представлениями. Спокойнее он был среди безвольных и безликих и среди тех, кто подобен ему. От всех других он старательно отгораживался дымовой завесой таинственности. Он старался, чтобы каждое его движение казалось исполненным особого значения, чтобы сама его нарочитая простота представлялась загадочной и чтобы весь его облик соответствовал тем историческим делам, вершителем которых он чувствовал себя.

Второй неизбежной тенью бликинского преклонения перед властью была приспособляемость мышления, доведенная до автоматизма. Юношей он работал в селе и был рьяным ревнителем стопроцентной коллективизации во что бы то ни стало. После появления статьи «Головокружение от успехов» он стал первым громителем своего вчерашнего принципа. У иных ошибавшихся, подобно ему, этот поворот проходил с внутренней борьбой. Бликин не знал таких несовершенств в своем приспособительном аппарате.

«Так поступали все»,— решил он. Ему хотелось уравнять себя со всеми и забыть о том, что вчера он гордился

как раз своим отличием от всех — своей особой рьяностью. Вопрос о горьких последствиях своей беспримерной рьяности мгновенно и автоматически выключился из мозга. Бликин с такой же убежденностью стал громить «рьяных», с какой до нее призывал к «рьяности».

Все эти качества Бликина также заставили его издали заметить и приблизить к себе Вальгана, обликом и поведением напоминавшего ему человека его породы. Они же заставили его инстинктивно насторожиться при первой встрече с Бахиревым. И бахиревская простота, доходящая до неуклюжести, и его стремление «прощупать своими руками» истину для того, чтобы, прощупав, сохранить верность ей, были чужды Бликину. Бахирев представлялся ему тупым и вредоносным. Это инстинктивное ощущение чужой и опасной породы подкреплялось и лихорадкой на заводе, которая началась с приходом Бахирева, и невиданными в истории тракторостроения летающими противовесами.

В той неожиданной поддержке, которую получил Бахирев на партактиве, Бликин чуял опасность. Примиренческое, на его взгляд, отношение отдельных работников обкома к главному инженеру он объяснял поддержкой Чубасова и еще какой-то неизвестной ему «руки».

Когда Вальган, полуиронизируя, полунегодуя, рассказал Бликину о предложении Бахирева приостановить производство до изменения конструкции противовесов, Бликин спросил:

— Он эту чушь документировал?

— Письмо у меня.

— Что ж... Обсудим на бюро обкома. Пора вокруг этого молодчика накалить обстановку.— Он начал спокойно, но не мог сдержать досадливого удивления.— И кой дьявол вез ты это лихо к себе с того края света?!

Вальган обладал даровитостью и способностью увлекаться делом. Сходные черты, интуитивно угаданные им, и подкупили его в Бахиреве, но он не сумел и не захотел объяснить этого и сказал Бликину:

— Его называют «первой ошибкой Вальгана».

Бликин и Вальган оставались спокойны, потому что им ясен был исход истории главного инженера и истории противовесов — главинж слетит, технология отладится, и противовесы летать перестанут.

Бахирев оставался спокоен, потому что было найдено конструктивное решение, потому что не знал замыслов Вальгана и радовался тихому счастью Тины, жившей мыслями о ребенке.

Потерял спокойствие один Чубасов. Предложение Бахирева прекратить выпуск тракторов до внедрения новой

конструкции противовесов было, на взгляд Чубасова, одной из тех крайностей, которыми грешил главный инженер.

«Полемика, увлечение борьбой уводят его от истины!—думал Чубасов.—Истина в том, что у нас летят, а на одноименном заводе при той же конструкции не летят. Он утверждает, что еще полетят. Ерунда, ерунда! А вдруг?..»

Вспомнилась ему та лихорадочная поспешность, с которой Вальган в погоне за Сталинской премией переключал конструкторов с работы над самостоятельной, но еще далекой от реализации конструкцией на доработку конструкции, задуманной на ведущем заводе. Вспоминалось сопротивление Шатрова, тосковавшего по своему кровному детищу. Было в этой спешке Вальгана что-то нездоровое, но так надежно прикрытое лозунгами о творческом сотрудничестве двух заводов, что Чубасов неясно и не сразу почувствовал нездоровый дух. «Беда в том, что я не инженер!—думал он.—Но если б я был инженером, все равно не решил бы всех технических вопросов. На заводе тысячи специальностей и сотни тысяч специфических сложностей. К технической проблеме я должен найти партийный подход. Если проблема серьезная и спорная, если ее не могут решить внутри завода, надо вынести на широкое обсуждение специалистов. Пусть обсудят министерство и ведущее конструкторское бюро».

Вальган и Бликин воспротивились такому решению.

— Подожди до решения бюро обкома,—сказал по телефону Бликин.

Но Бликин уже не был авторитетом для Чубасова. И с решительностью, удивившей секретаря обкома, Чубасов заявил:

— Ждать нельзя! Затягивать техническую консультацию тоже нельзя. И в конце концов дело авторов новой конструкции—ставить или не ставить в Москве вопрос о ее внедрении!

За несколько дней до бюро обкома Бахирев, войдя в заводоуправление, столкнулся с Малютиным. Движения «летучей мыши» были, как всегда, неверны, но размашистее, чем обычно. Бахиреву показалось, что «князь» не случайно, а с наглым умыслом толкнул его плечом. Оглянувшись, Бахирев увидел, что с истасканного, сморщенного личика сочится торжество, и полунасмешливо подумал: «Ну, не к добру!»

В тот день он узнал, что летающими противовесами заинтересовались следственные органы. Следователь МВД опрашивал многих и Малютина опросил одним из первых.

Вечером этого же дня на завод приехал Корилов, долго сидел в кабинете Вальгана. Встретившись в коридоре с Бахиревым, Корилов дружески задержал его: поговорил о погоде, об охоте, а потом, словно мельком, со своей быстрой усмешкой спросил:

— Так говоришь, надо производство останавливать?

— Летят же противовесы...— пробурчал Бахирев.

Корилов неторопливо оглядел его с ног до головы, словно оценивая, и с той же усмешкой проговорил:

— Так, так... Здорово летают твои противовесы!

Следователь опросил многих, но Бахирева не опрашивал. Откладывали его опрос, как особо важный, напоследок? Или он был обвинен заранее и потому не мог свидетельствовать? Бахирев был бы встревожен, если б не ощущение правоты, если б не счастливо найденная новая конструкция, если б не то тихое и блаженное состояние, которое давала ему любовь.

Все плохое казалось ему случайным и преходящим. Мир был прекрасен, добро, счастье торжествовали, и он спокойно ждал решения бюро обкома, спокойно ждал будущего.

Тина, наглухо замкнув в себе все тревоги, жила в таком же покойном и счастливом состоянии самой себе на диво. Усилием воли она отодвигала мысли о неизбежном объяснении с Володей, как до поры до времени больной отодвигает мысли о тяжелой, неизбежной, но еще далекой операции.

Вечером она лежала в постели с книгой; радио звучало в комнате, но она не читала и не слушала. Она перебирала подробности последней встречи с Бахиревым и думала о будущем сыне. Это маленькое будущее существо уже стало ее защитой, опорой и оправданием. Ради него стоило идти на все. Лишь бы он появился на свет. Завтра ей предстоял внеочередной выходной день в компенсацию за ночное дежурство, и она собиралась походить по магазинам, посмотреть детские вещи. Пока только посмотреть на все эти чепчики, распашоночки, башмачки...

Внезапно в комнате прозвучало имя: «Берия». Тина вздрогнула. С тех пор как она десятки раз называла это имя в безответных письмах, оно вошло в ее жизнь неразрешимой, чудовищной загадкой. Она не знала, затерялись ли ее письма или он не внял им. Тяжесть неразрешенного и неприемлемого ушла в глубину, но была неразлучна с Тиной, как вторая тень. К этой тяжести можно было привыкнуть, как привыкают горбатые к горбу, но о ней нельзя было забыть. Имя Берия напоминало о прошлом. Она хотела выключить радио. Но прозвучали слова: «Преступные, антипартийные, антигосудар-

ственные действия Берия». Тина села на кровати. Сорочка сползла с плеч, и ночной ветер холодил шею и грудь, но она не закрывалась, не шевелилась. Сообщение кончилось, а она все сидела, словно ослепленная внезапным и резким светом. Закрытая машина. У входа в нее — крупная львиная голова на широких плечах...

«Отец! Значит, он убил тебя! Мы прогнали фашистов и думали, что нет больше в стране ни врагов, ни битв... А враг был у самого сердца...»

Она вспомнила слова отца: «Как бы хитер и опасен ни был внутренний враг, он единичен. И он будет уничтожен. Это дело времени». Отец был прав во всем и всегда. Добрый и твердый взгляд родных слезящихся глаз. Влажный вечер. Седая прядь возле портрета матери и еще молодой голос: «Мы из рода Карамыша. Полюбив, верны до гроба...»

«Если б ты был со мной, ты бы понял. Женщине нельзя без ребенка! Мы бы вдвоем воспитали моего сына». Она пыталась оправдаться перед памятью отца, а слезы заливали лицо. Она плакала в эту ночь так, как не плакала в дни его смерти. И слезы были не такие безысходные, как в тот год,—они размягчали горе, закаменевшее с годами, они вымывали накопившееся, они приносили облегчение. Снято пятно с дорогой памяти. Отец поднят над чудовищной клеветой, омыт от нее, оплакан и отомщен.

То ощущение ясности и справедливости окружающего, в котором она выросла, которое было ей нужнее воды и хлеба, постепенно возвращалось к ней. И хотя она жаждала этого возврата, он был запоздалым и неполным.

В уме вставали упрямые вопросы: «Как же мог Берия творить свои злодеянья на глазах у него... у Сталина?.. И столько лет?..» От этих мыслей становилось жутко, мир снова представлялся опасным и сложным. И Тина инстинктивно отгоняла их: «Не надо об этом! Не надо... Когда все ясно, то легче...»

Сейчас, когда она жила, ожидая ребенка, ее многолетняя тоска по утраченной ясности и душевном равновесии особенно обострилась.

Ей хотелось вздохнуть облегченно и целиком отдаться блаженным мыслям о сыне.

Она заснула к утру, и ей приснилось давно забытое.

В детстве Тина вместе с бабкой ездила в горы за хмелем. Хмель свалили зеленой кучей в комнате, где спала Тина. Ребята, играя, бросали в кучу хмеля веселого щенка. Вдруг щенок завизжал, закружился и через час сдох. Все решили, что щенка ушибли. Через день так же с визгом подох поросенок, рывшийся в хмеле. Соседи

сказали, что с хмелем завезли в дом лесовика, но пришел доктор, разворошил кучу вилами, и оттуда черной стрелой выскочила змея. Доктор убил ее. Тина плакала, а доктор успокаивал:

— Чего ж ты сегодня плачешь? Ты бы вчера плакала, когда жила с гадюкой в одной комнате. А теперь тебе радоваться!—Он шевелил палкой дохлую гадюку.

Хмель разобрали и вынесли во двор, но, проходя мимо него, Тина все поджимала пальцы ног от гадливости.

Забытая куча хмеля с черной притаившейся гадюкой мучила ее до утра. Тина проснулась, когда высокое солнце уже залило комнату и пчела жужжала где-то над ухом. Еще в полусне Тина вытянулась в постели и подумала: «Можно совсем выпрямиться! Ушло страшное. Гадюка уничтожена. Гадюка в хмеле.—Она открыла глаза.—Папа оправдан... Посмертно, но хоть память, хоть память о нем чиста. И не надо, не надо больше тревожных мыслей о том, что, как, почему... У меня будет мальчик. Будет! Он уже есть! Это главное...»

Пчела, тяжелая, с мохнатым, обвисшим брюшком, вилась над розой, стоявшей в стакане на прикроватной тумбочке. Роза была снежной, тяжелой; в гранях стакана играла радуга. Вещей в комнате было много, и все они, даже простые стулья и бутылка из-под боржома, отличались пропорциональностью, чистотой и гармонией линий. «Как люди красиво делают вещи!.. Он есть, есть на свете, этот простой, милый мир, где раскрывают самые хитрые преступления, где рано или поздно уничтожают самых коварных преступников, где, наперекор всему злому и чудовищному, делают так, чтоб хорошо и красиво жили хорошие, красивые люди».

Она не раз думала о вступлении в партию. «Но с чего начну рассказ о себе? Начну с того, что отец мой, лучший из лучших, замучен, как враг народа, что я не понимаю: как могло безнаказанно случиться такое в нашей стране? Я не могу, вступая в ленинскую партию, не сказать об этом».

Ушла двойственность, так долго калечившая ее жизнь. Ей остро захотелось распрямиться во весь рост, вздохнуть во всю грудь, точно до этого под тайным своим гнетом она все делала вполовину. И слезы об отце уже не мешали этому желанию.

Обсуждения в обкоме Тина ждала с таким же спокойствием, как Бахирев. Они договорились, что он придет к ней прямо из обкома, и она ждала его в безлюдной тенистой аллее на набережной. Он быстро шел по песчаной дорожке. В своем новом светло-сером костюме он напоминал ей кроткого ребенка, которого ради праздника

нарядили, вымыли, причесали, и вот он ходит теперь, тихий, наивно-радостный и неуклюжий от непривычки и боязни нарушить эту праздничность.

— Ну, как?—спросила Тина.

— Все хорошо.

— Ну, слава богу! Сядь... Расскажи.

Он сел с тем кротко-послушным видом, который появлялся у него только наедине с ней.

— Родная...

— Говори же!

— Что ж тебе рассказывать? Чубасов—хороший человек... И секретарь обкома по промышленности Гринин—отличный человек... Они были против...

— Против чего?

— Против решения обкома.

— Ничего не понимаю! Митя, какое же обком принял решение?

— Выговор как не оправдавшему доверие.

Тина всплеснула руками:

— Так что тут хорошего?

— Решение все равно отменят. А ты ждешь меня... любишь меня.

— Сумасшедший мой человек! А противовесы?

— Мы же нашли решение! Пакет уже три дня как в Москве. Министр обещал рассмотреть срочно. Завтра-послезавтра дадут заключение.

— И ты уверен, что заключение будет такое, как надо?

— А как может быть иначе? Противовесы же летят! И мы установили причину, нашли решение, будем проверять на усталостной вибрационной машине. Наша конструкция и надежна и проста... Все будет хорошо.

Тина пальцами прикоснулась к его ресницам.

— Оптимизм в таком количестве, как у нас с тобой, пагубен. Расскажи сейчас же подробно, что говорили на бюро обкома.

— Говорили, что я сумел дезорганизовать производство, но не в силах его наладить. Говорили, что я самый счастливый человек на земле...

— Митя, я серьезно.

— И я серьезно. Говорили, что летающие противовесы—свидетельство моей технической немощи... Что за время отсутствия Вальгана продукция упала на одну треть, а с тех пор как он приехал, план перевыполняется, как никогда... Что ты, Тина, лучшая женщина во всей вселенной...

— И неужели никто не сказал, что это перевыполнение плана—результат той работы, которую проделал ты?

— Это сказали Чубасов и Гринин. Отличнейшие люди. Записали их особое мнение... Ты знаешь, что закончили нашу первую пескодувную машину и завтра начнем в ЧЛЦ опробовать?.. Смотри, какой жук прилетел!

— Это не жук, глупый ребенок! Это божья коровка. Не трогай! Она полезная...

— И все ты у меня понимаешь! Тина, почему ты все понимаешь?—Он обнял ее, прижал к себе.—Тина, Тина, ведь у нас с тобой целый мир! Вот и противовесы, и пескодувки, и облака на небе, и разные жуки. Все нам интересно, когда мы вместе, и обо всем мы с тобой рассуждаем, как два дурачка! А ты говоришь «плохо». Пока ты меня любишь, все хорошо! Почему у тебя слезы на ресницах?

— Это от счастья... и от страха!—Она засмеялась.—Я боюсь, что я тебя совсем погубила! Из мрачного, скептического «хохлатого бегемота» сделала божью коровку!

Они не стали говорить ни о противовесах, ни о взволновавшем страну деле Берия. Им хотелось покоя и счастья. Бахирев охранял от тревог и себя и ее. Он знал, что с приездом Кати и Тининого мужа все осложнится. Тревожило его и будущее ребенка, о котором она говорила со странной, необоснованной уверенностью. «Она ждет и счастлива этой мыслью. Такая мать заменит десяток иных семейных пар! И я буду любить, делать все, что в силах. И все же... все же... Как все это трудно!»

Бахирев старался сделать так, чтобы каждый день ее был праздником, и сам удивлялся тому, что впервые в жизни заказывал в магазинах корзины цветов, покупал духи и женское белье. Раньше он не знал радости дарить: он просто отдавал жене всю зарплату и не интересовался тем, как она ее тратит. Теперь его обуяло неизменное желание—все красивые вещи, которые он видел на витринах, тащить Тине. Она одинаково радовалась десятикопеечному букетику ромашек и дорогим туфлям. Когда Тина упрекала его за расточительность, он отвечал:

— Пусть у нас будет один месяц праздника.

Через десять дней из Москвы передали заключение. Бахирев узнал об этом в цехе и быстро пошел к себе. «Телефонограмма. Это хорошо... Значит, согласны, что конструкцию надо срочно менять. Если бы не видели срочности, зачем телефонограмма?»

Он нетерпеливо схватил лист. «Принятая на заводах конструкция в номинале работоспособна, что доказывается отсутствием рекламации на одноименном заводе... Задача технического руководства, и в первую очередь главного инженера, не допускать отклонений».

За аварии с противовесами Бахиреву, Рославлеву и на-

чальнику ОТК Демьянову министерство объявило выговор.

Но Бахирев даже не заметил выговора. Страшно то, что о новой конструкции не говорилось ни слова, как будто ее не существовало.

Праздничность июльских вечеров наедине с Тиной, кротость божьей коровки — все разом хрустнуло под грузом тонкого листа бумаги. Бахирев тотчас пошел к Вальгану: директор завода был связан с министерством прямым проводом.

— Я хочу говорить с Бочкаревым.

Новый, сдержанный Вальган корректным жестом указал на телефон. Правая рука привычно оглаживала и ласкала выпирающий подбородок. Бахирев не представлял раньше, что жест может вызвать такое доходящее до тошноты отвращение.

Секретарь заместителя министра ответила, что Бочкарева вызвали в Совет Министров, а летающими противовесами занимается не он, а главк. После долгих мытарств Бахирев дозвонился до человека, которому поручено было разобраться в его заявлении.

Торопливый басок дословно повторил в трубку фразу из заключения:

— Конструкция в номинале работоспособна, но чувствительна к отклонениям. Не допускайте отклонений!

— Любая конструкция в номинале работоспособна! — с тихим бешенством ответил Бахирев. — Хорошие конструкции отличаются от плохих прежде всего тем, что хорошие малочувствительны к отклонениям!..

— Товарищ Бахирев! — Басок в телефоне ответил с возмущением. — Вы что, первый день на заводе? Кто же вводит в массовое производство непроверенную конструкцию? Это же просто несерьезный разговор! Необходимы длительные и массовые испытания. Это же общий для всех закон!

— Но поймите, у нас исключительное, а не общее положение! Мы каждый день выпускаем негодные тракторы.

Но на том конце провода не понимали этого.

— Прекратите безобразия на заводе! Довели технологический процесс до полного безобразия и, вместо того чтобы отвечать за это, прячетесь за взятые с потолка новые конструкции! Несерьезно же все это, несерьезно! — В голосе дрогнуло то самое отвращение, которым был переполнен сам Бахирев. — Белыми же нитками все это шито! За кого вы нас принимаете, в самом-то деле? Мы же тут стреляные воробьи! Понимаем, когда справляются с работой, когда не справляются. Этого за конструкцию не спрячешь.

Бахирев только теперь понял, в каком свете представляется в министерстве его фигура,— человек, проваливший производство и пытающийся спрятаться от неизбежной ответственности за проектами и бумагами. Но такого инженера надо снимать. Что же этот разговор? Прелюдия к изгнанию? Он хотел сказать: «Не смейте говорить со мной, как с мошенником!» Слова застряли в горле. Он повесил трубку и пошел к двери, опустив веки, стараясь не видеть Вальгана. Но пронзительный подбородок Вальгана и торопливо ласкающая его рука проникали под ресницы, лезли в глаза.

Придя к себе, он залпом выпил стакан воды. «Значит, все? Значит, и в Москве думают так же, как в обкоме? Что же делать? Пока я еще главный инженер, надо испытывать, документировать новую конструкцию».

Он вызвал Рославлева и Зябликова и тотчас позвонил Тине: ему хотелось услышать ее голос.

— Что?— В этом коротком звуке было столько нежности, бодрости, тревоги и понимания!

— Ничего.— Боясь быть услышанными, оба говорили осторожно.— Ничего. Я только хотел услышать вас... и сказать, что божья коровка умерла. У них, у божьих коровок, недолог век.

Тина помедлила.

— Я бы хотела, чтоб осталось хоть крылышко. Для меня. Я так ее любила...

— Оставлю все, что вы любили.

— В общем... этот мир не для божьих коровок! И я за нее беспокоилась.

— За бегемота вы спокойнее?

В голосе прозвучала улыбка:

— Я вижу льва.

— Для льва малость туговат в суставах.— Он вздохнул.— Не те темпы.

— Ничего подобного! Львы ходят медленно. Быстро скачут блохи. Они вынуждены прыгать все время, потому что ни разу не могут прыгнуть как следует. Львы ходят медленно, потому что знают: если уж им вздумается прыгнуть, так это будет такой прыжок, какого не сделают и тысячи блох.

Тина, как всегда, пыталась шутить, шутка получилась тяжелой, по одному этому он понял, как она взволнована, и спросил:

— Вы знаете о телефонограмме из Москвы?

— Да. Мне сказал Демьянов, в общих чертах.

— Ну и что?

— Надо готовиться к прыжку. А что вы думаете делать?

— Обосновывать и испытывать свою конструкцию.

— Да. И снова писать во все места.

— Вы знаете манеру гладить подбородок?

Она тотчас поняла, о чем и о ком он говорит.

— Это всегда казалось мне отвратительным.

Рославлев уже входил в комнату.

— Всего доброго. Вечером, как обычно, буду ждать.— Бахирев повесил трубку.

— Что ты разглядываешь?—спросил Рославлев.— Вымазался я, что ли?

— Подбородок!—засмеялся Бахирев.—Говорят, самое важное в лице—глаза. Ерунда! Все дело в подбородке! Можно персонально возненавидеть человеческий подбородок!

Рославлев рассердился:

— Ты меня, прах твою душу, вызвал из цеха для того, чтоб поговорить о подбородке?

Бахирев подал ему телефонограмму.

Глава XX

ПОБОИЩЕ

Бахирев ждал «их» и, еще не увидев, ощутил их присутствие. На повороте, с которого открывалась предзаводская площадь, скапливались рабочие. Все смотрели в сторону запасной транспортной проходной, и даже по спинам угадывалось волнение.

«Они. И, наверно, много»,—понял Бахирев. На заводе не говорили: «Тракторы с пробоинами от сорвавшихся противовесов»,—а говорили: «Они». Так иногда говорят о тяжелой болезни—«она». Влажная от ночного дождя земля была исполосована следами тракторов.

Здесь, в стороне от проходной, заводские садовники устроили аллею, прозванную «Горячий цех». Георгины, оранжевые, как пламя, и сизо-багровые, как подернутое окалиной остывающее литье, гладиолусы, лиловые, как фитили над опоками, угольно-красный львиный зев расцветили землю... Цветы склонялись над лужами—следами ночного дождя,—и редкие палые листья плавали на синеватой глади. Все было исполнено утреннего солнца и ночной влаги, и все колыхалось под речным ветром. Тончайшая паутина, как сеть, брошенная в воздух, ловила лучи по-прощальному щедрого солнца.

Наконец он дошел до угла и невольно остановился, ошеломленный: «Тракторное побоище!» Площадка у

транспортных ворот и начало аллеи были заполнены изувеченными тракторами. Грязные, зияющие пробоинами, с бессильно брошенными на землю тросами, они стояли под ясным небом, в разливе цветущих георгинов и гладиолусов.

Среди этой радости и блеска только тракторы были черны, мертвы, искорежены, они одни стояли как жертвы и свидетели каких-то невидимых битв. Края их металлических ран были измяты и изуродованы, и масло из пробитых картеров сочилось, как кровь из рассеченных сосудов.

Бахирев стоял молча. В годы войны он видел скопища танков, изуродованных врагами. Раненные, они ползли с поля боя на прицепе у тягачей и вот так же десятками стояли у ремонтных баз. Было горько, но было ясно, кем, когда и почему нанесены раны.

Сейчас нет войны. Какая же сила и в каких беспощадных сражениях рвет чугун и сталь мирных тракторов на мирных пашнях?

Бахирев опустился на ближнюю скамью. Во что бы то ни стало найти ответ на этот вопрос, заданный изувеченным металлом! Понять самую сущность происходящего!

Техническая причина была ему ясна: металл разрывают силы инерции, не принятые в расчет конструкторами.

Но это лишь узкотехнический ответ. Открывшееся взгляду уводило мысли за пределы техники. Может быть, столь разрушительно действуют силы людской инерции, также не принятые в расчет? Ему вспомнился недавний разговор с Рославлевым. Да, было время, когда все мы радовались и гордились первенцами нашего машиностроения. Но теперь производственные мощности на пороге нового взлета, они требуют новых форм организации и задыхаются в старых. А мы не видим этого, мы все радуемся и все похваляемся. Но кто «мы»? Все? Нет! Такие, как Вальган, Бликин и иже с ними? Да, тем, кто ищет личного блеска, нужна атмосфера восхваления! Жажда личного успеха, личного благоденствия, личного блеска во что бы то ни стало — разве не приобретает она разрушительной силы, если ее заранее не предусмотреть и не обезвредить? Люди, не озабоченные жизнью народа, при каждом повороте истории во имя личных интересов будут славословить все и вся, будут угодливо забегать вперед и доводить до крайности, до своей прямой противоположности каждое благое начинание. Такие и превращают благо во зло, преимущество в изъян, естественную радость в порочную самоуспокоенность и законную гордость в преступное зазнайство. Он повторил привычную и точную формулировку: «Противоречие между нашим со-

циалистическим бытием и тем, что мы называем пережитками капитализма в сознании».

Марксисты за отдельными фактами умеют видеть внутренние, глубинные процессы общественного развития и определить линию действия коммунистов. Разве, поленински анализируя жизнь, мы не обязаны взглянуть в глубь вот этих пробоин на тракторах и определить и глубинные их причины, и линию партийного действия? Инертные силы старого — достаточно ли мы учитываем их и берем ли в расчет при решении конкретных народнохозяйственных задач? Но как взять в расчет и обезвредить силы людской инерции? Поставить Вальганов и Бликиных под повседневный контроль коллектива? Сманеврировать рублем так, чтобы их личная выгода встала в прямую зависимость от самого главного для народа — от роста производительности труда? Может быть, при таком расчете инертные силы старого в сознании людей будут обезврежены?

Машина Чубасова остановилась у аллеи. Он шагал по первым палым листьям, еще ярким и крылатым, молча кивнул и встал рядом с Бахиревым.

Сотни рабочих шли мимо живой могилы тракторов и оглядывались на тех двух, кто технически и политически отвечал за аварии, разразившиеся над заводом. Легкий, солнечно-желтый кленовый лист упал и осторожно, как пластырь, лег на край пробоины. «Пластырями не поможешь»,— подумал Бахирев, глядя на этот лист. Он поднялся со скамьи и тихо сказал Чубасову:

— Остановить производство.

Он твердил об этом второй месяц, и каждый раз ему самому было трудно выговаривать эту фразу. Остановить живую, пульсирующую жизнь завода, остановить полноводное движение конвейера, остановить эти потоки людей.

— Даже война не остановила производства,— ответил Чубасов.

— Остановить выпуск продукции,— уточнил Бахирев.— Делать все. И собирать на конвейере все, но не ставить противовесы на коленчатые валы.

Они сели на скамейку, словно перед лицом этих искореженных и обвиняющих тракторов вопрос становился и яснее и острее.

— Но все аварии — на тракторах весеннего выпуска,— сказал Чубасов,— все до противоусталостной резьбы. В тракторах последней серии не было обрывов.

— Один был. Будут еще.

— Но почему не летят на втором заводе?

— Будут лететь. У них технология выше, поэтому и

дефекты конструкции выявятся позднее. Но рано или поздно все-таки выявятся...

Чубасов смотрел на легкий кленовый лист, весь в переходах от зелени к золоту, от золота к багрянцу, весь в тончайших прожилках, и упорно думал. Бахирев идет против фактов. Против жизнью поставленного массового эксперимента. Что говорит в нем? Слепое упорство маньяка? А вдруг та проникновенность, что свойственна таланту? Эти две крайности внешне сходны. Как разобраться? А разобраться необходимо. Упорство маньяка — это ярчайшее проявление косности, место которому не на заводе, а в психиатрической больнице. Талант — это драгоценный двигатель, который партия направляет. За маниакальность говорит тупая, не подкрепленная фактами уверенность. За талант — и дотошность, и широта мысли, и трудолюбие, редкое даже на нашем заводе, заводе трудолюбцев. Разве в нашей промышленности нет редких талантов? А может, ты сидишь с таким талантом на одной скамейке и размышляешь о том, не засадить ли его в психиатрическую лечебницу? Что делать? Выжидать? Но ждать нельзя. Противовесы летят. Действовать? Но как действовать, когда еще нет ясности в основных причинах и возможных последствиях?

Чубасов задумался о сложнейшем искусстве партийного руководства. Каких противоречивых качеств требует оно от человека! Отвага и осторожность, доброта и беспощадность, железная личная убежденность и восприимчивость к мыслям тысяч людей, способность зорко видеть все вокруг и ни на секунду не терять из поля зрения основной цели — все это должно быть слито в один твердый, все одолевающий сплав. Как одолеть катастрофу с противовесами? Остановить производство? Бред. Но вдруг этот маньяк прав? Вдруг весь завод из-за просчета в конструкции противовесов работает на возврат, на эти вот пробоины?

— Послушай,— сказал он осторожно.— Предположим даже, что вы с Рославлевым правы. Предположим, надо менять конструкцию. Ну, а как быть с теми тысячами тракторов, которые уже вышли в поле и на которых, по твоему мнению, вот-вот полетят противовесы?

— Снять с них противовесы. Пусть работают без противовесов.

— Без противовесов износ больше.

— Пусть будет больше износ, но не будет непоправимых аварий. Из двух зол меньшее...

— Чтобы снять противовесы с тысячи тракторов, разбросанных по всей стране, надо вовлечь несколько министерств — наше министерство, Министерство сельско-

го хозяйства, Министерство совхозов. Нужно вмешательство Совета Министров.

— Нужно,— согласился Бахирев.— Необходимо добиться снятия противовесов. Иначе они все равно полетят. Я убежден в этом.

Бахирев впервые увидел, как наливается густой, темной кровью неизменно спокойное лицо Чубасова.

— Но если ты убежден, так какого рожна ты тут сидишь!— закричал Чубасов, и Бахирев впервые услышал, как Чубасов выругался.— Что ж ты думаешь, Совет Министров и три министерства так враз и запляшут по твоему слову? И в самом деле маньяк!

— Постой, постой! Что ты? Что, по-твоему, я должен делать?

— Экспериментируй, испытывай, убеждай, доказывай всеми способами. Послал ты на испытание хоть один трактор без противовеса? Нет! А хочешь предложить, чтобы на тысячах тракторов снимали противовесы!

Никогда еще он не смотрел на Бахирева с такой злостью, и никогда еще не чувствовал в нем Бахирев такого горячего соумышленника.

— Испытывать, доказывать — это же месяцы!

— А ты как думал. Если б ты был человеком, ты бы уже давно испытал и доказал! Вон они, месяцы, упали, и нет их!— показал он на опавшие листья.

— Как же я мог один? Ведь даже ты...

— Что я? Специалисты держатся прямо противоположных точек зрения. Я хочу знать истинное положение. И я требую: докажи, убеди! А что ты приносишь, кроме филькиных грамот? И предлагаешь, чтоб на основании этих грамот остановили массовое производство и сняли противовесы на тысячах готовых машин! А твоим бумажонкам противостоит жизнь! Целый завод, который работает на той же конструкции и не знает летающих противовесов,— это весомо? Так дай же ты такое, чтоб перевешивало! Убеди, если сам убежден!

Они спорили, а осенние листья, еще легкие и медлительные в полете, чуть слышно прикасались к их плечам и коленям.

— Срочно и широко обсудим на парткоме. Поможем тебе ускорить испытания. Как специалист, убедительно, весомо документируй свою точку зрения... Чтоб не филькина грамота. Чтоб было тебе с чем ехать в Москву, в министерство, в ЦК.

В этот день Бахирев отдал приказ: у десяти тракторов испытательной станции снять противовесы и регулярно вести точную проверку изнашиваемости параллельно с контрольной партией. В этот же день он отдал распоряже-

ние об изготовлении еще десяти опытных двигателей с новой конструкцией противовесов и о срочном испытании их в лаборатории и на испытательной станции. В этот же день он написал еще письма директору и в министерство, требуя немедленно прекратить производство тракторов с прежней конструкцией противовесов.

Вальган отменил его распоряжения.

Чубасов прошел к Вальгану. Всегда мягкий и осторожный, парторг едва поздоровался и начал с вопроса, поставленного в лоб:

— На каком основании ты отменил распоряжение о срочном и массовом испытании новой конструкции противовесов?

Так необычен был его жесткий тон, что Вальган встревожился: «Что с ним? Звонили из ЦК? Дали «команду»?»

Вальган мягко улыбнулся, пододвинул открытый портсигар.

— Закуривай. Ты советовался в ЦК?

— ЦК за тысячу километров. Там не видно всего того, что видим мы. Если я позвоню, они спросят совета у тех, кто видит.

«Ложная тревога»,— успокоился Вальган. Он дружески улыбнулся.

— Если нас спросят, скажем, как оно есть. Вся эта возня с конструкцией не больше чем маневр, с помощью которого Бахирев хочет уйти от ответственности.

Чубасов настаивал с непривычной непреклонностью. Вальган взял портсигар и захлопнул так энергично, что крышка щелкнула на всю комнату. Он сразу без промаха ударил по самому слабому месту парторга:

— Парторг ЦК не вправе подменять директора в вопросах технического руководства. Любой парторг не вправе, тем более ты. Ты не инженер.— Слова щелкнули сухо и резко, как крышка портсигара.

Уязвленный, Чубасов вскинул голову.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Развал производства, которому мы обязаны этими авариями, произошел в мое отсутствие. Ты присутствовал. Только твоя техническая неподготовленность тебя оправдывает.

Чубасов поднялся.

— Я высказал тебе точку зрения нескольких инженеров. Поставим вопрос на парткоме.

В парткоме Бахирева поддержали во всем, кроме предложения прекратить выпуск, и обязали Вальгана создать условия для испытания и проверки новых противовесов. Разлад в «треугольнике» завода стал еще ощути-

мее. Раздваивалась, распадалась на противоположные полюсы вся производственная жизнь. Никогда еще производство не развивалось столь противоречиво. С одной стороны, переорганизованные чугунолитейный и моторный цехи перестали быть узким местом завода, программа перевыполнялась, внутризаводской брак снизился, и в производстве ощущался перелом, за который Вальган слышал похвалы и получал премии. С другой стороны, страшный, невиданный брак, прозванный «летающие противовесы», нарастал с ужасающей быстротой — число рекламаций перевалило на пятую сотню. Казалось, две враждебные силы схватились в стенах завода в невидимой, но решающей схватке.

Вальган вел себя так, словно Бахирева уже не было на заводе. Главк и обком также не замечали главного инженера.

Бахирев случайно и стороной узнавал, что в кабинете директора происходят совещания с представителями обкома и министерства. Когда он требовал объяснений, Вальган уклончиво отвечал:

— Это же так... неофициально.

Бахирев чувствовал, что его упорно отстраняют от заводских дел. Это вселяло тревогу. Тракторов с пробоинами скапливалось то больше, то меньше, и каждое утро Бахирев просыпался с одной мыслью: «Сколько сегодня?!»

Дома он тоже не находил успокоения.

Под разными предлогами он задерживал Катю с детьми на юге до самой осени. Она вернулась цветущая и бесконечно далекая от всего, чем жил он. Оторвавшись за лето от заводских тревог и слухов, она думала, что бахиревские неурядицы улеглись со временем, и наслаждалась покоем своего обжитого, благоустроенного дома. Хорошие, здоровые дети, молчаливый, надежный, как сама земля, муж, отлаженный, устоявшийся быт, положение жены главного инженера крупнейшего завода — все было у Кати. Ее домашняя работница отличалась старательностью. Тетя Нюра была деятельной и умелой помощницей. Катя могла и дома сохранять замедленный, пляжно-курортный ритм. Она могла и поздно встать, и часами лежать на балконе с книгой. Бахиреву, считавшему секунды исполненной борьбы жизни, были чужды ее новые привычки.

Аня и Рыжик возмужали, стали еще воинственнее, и у обоих появилось новое, снисходительно-ласковое отношение к матери. К шуму сражений Ани и Рыжика теперь присоединился беспорядок, производимый Бутузом. Он

гудел по-прежнему, но голос у него стал зычным, и прежний гуд по сравнению с теперешним казался кротким мышиным попискиванием. Кроме того, у Бутуза появилась тихая, но неуемная шкодливость. Аня и Рыжик воспитывали его совместными усилиями, лишь иногда, для виду, взывая к матери.

— Мама, мама! Ты посмотри, что он натворил в ванной!—кричала Аня.

Бахирев вместе с женой заглядывал в ванную. И умывальник, и пол, и стены, и сам Бутуз были залиты красными и фиолетовыми чернилами.

— Что ты тут делал?

— А-а-а! Я хотел красивые мыльные пузырики!.. У-у-у! Красненькие и синенькие! А-а-а!

— Вот я тебе покажу пузырики,—шлепала его Аня.— Вот тебе красненькие! Вот тебе синенькие!

Рыжик действовал спокойнее. Под мощное гудение Бутуза он появлялся на пороге террасы и ломающимся баском, новым, усвоенным за лето снисходительным тоном бросал лежащей в шезлонге матери:

— Мама, прими вертикальное положение! Пойди и помажь его йодом!

— Что, он опять кричит? Что ты с ним сделал?

— Я дал ему раза ремнем и оцарапал пряжкой.

— Так можно изуродовать ребенка!

— А ты пойди и посмотри, что этот ребенок делает. Он сидит и стрижет твою чернобурку.

Катя вбежала в столовую. Бутуз сидел на полу и гудел с присущей ему старательностью. Рядом с ним лежали ножницы, валялись комки шерсти, и на ручке висела чернобурая лиса с пролысинами. Катя схватилась за голову:

— Что ты наделал?! Что ты наделал?!

— Я хотел, чтоб гуще выросло!.. А-а-а! Ты же мне все лето стригла волосы, чтоб гуще росли!.. У-у-у! Я старался как лучше! А он меня пряжкой! А-а-а! У-у-у!

Чем больше выходили дети из-под влияния матери, тем сильнее они тянулись к отцу. Если он походя касался рукой одной головы, две другие замирали в ожидании такой же ласки. Если он позволял кому-нибудь одному зайти к нему в кабинет, двое других вырастали как из-под земли. Если он находил для них полчаса времени, то и маленький Бутуз, и взрослые Аня с Рыжиком спорили, кому сесть ближе, и что есть силы жались к нему теплыми маленькими телами.

У Рыжика появилась манера перебивать самого себя вопросом «да?», как будто он и говорил, и сам себя проверял, и что-то обдумывал во время разговора.

— Пап! В Китае есть коммунисты, да? И в то же время там держат капиталистов, да?.. Как же так можно?

— Папа, Чехословакия и Польша похожи по размерам, по климату, и демократические, и все такое,— говорила Аня.— А Витин дядя ездил за границу и говорит, что в Польше гораздо труднее, чем в Чехословакии. Почему это, папа?

Не успевал он ответить дочери, как сын уже спрашивал о своем:

— Пап, мы хотели организовать союз изобретателей, да? А Анна Васильевна говорит: «Организуйтесь в пределах пионерской и комсомольской организаций». А у нас в пионерах скучно... Какой интерес, да? Всех принимают! И плохих и хороших! Надо принимать тех, кто может изобрести интересное, да? Вот это было бы здорово!

— Папа,— перебивала Аня,— скажи, пожалуйста, почему стыдно, когда мальчик и девочка переписываются?

— Это ты о Вите? Зачем вам переписываться? Он живет через дом. Пусть приходит, разговаривайте сколько хотите.

— Он приходил, а тетя Нюра говорит: «Рано еще женихов приваживать». На той неделе он пришел, а Бутуз как заорет: «Жених пришел!» Мне так стало некрасиво!

— Зачем же ты орешь по-дурацки!— упрекнул Бахирев Бутуза.

— Я обрадовался очень.

— Чему же ты обрадовался?

— К нам еще никогда женихи не приходили.

Стоило Бахиреву полчаса посидеть с детьми, как они притихали на весь вечер, словно сами начинали стыдиться ссор и криков. «Они же хорошие дети!— думал он.— Только все, как это говорится, с ярко выраженной индивидуальностью. И никто этих индивидуальностей не направляет...»

Когда они были маленькими, Катя отлично ухаживала за ними — мыла, одевала, кормила. Теперь они сами умеют есть, мыться и одеваться. Они становятся маленькими гражданами. Им уже надо знать, почему в новом Китае «держат» капиталистов, почему в Польше живется труднее, чем в Чехословакии, почему скучно в пионерском отряде. И ни с одним из этих вопросов они не могут прийти к матери.

— Катя,— говорил он,— взялась бы ты за детей. Ведь в детском доме, где триста человек, не бывает такого бедлама, как в нашем от нашей троицы.

— Ну что я могу с ними сделать?

И он понимал: она действительно ничего не может.

Она не могла ни занять детей, ни ответить на их

вопросы, ни стать для них авторитетом, ни вызвать их доверие.

— У нас на заводе читают лекции о воспитании детей. Ходила бы хоть на лекции!

Она покорно, но без интереса согласилась:

— Хорошо, я буду ходить на лекции.

Под предлогом переутомления и бессонницы он ночевал в кабинете и неприязненно дергался каждый раз, когда она входила. Ему тяжело было говорить с ней, потому что приходилось старательно молчать как раз о том, что его заполняло: о «побоище» и о любви к Тине. И любой разговор с Катей становился ложью.

С возвращением семьи встречи с Тиной также утратили тот свет и покой, которыми они были наполнены. Тинины надежды на рождение сына оказались напрасными. Она сникла, погрустнела, стала замкнутее и молчаливее. А он уже не мог не видеть ее. Угасло душевное потрясение первой близости, но тем обнаженнее становилась физическая тоска. Бахирев вспоминал теперь не кузнечика и не ромашку, а то чувство, которое впервые захватило его с такой остротой и которое, едва открыв ему, отняли у него.

После приезда Кати Тина настойчиво порывалась прекратить тайные встречи. А его оскорбляло то, что она легко отказывается от них. Часы свиданий стали тревожными и полными обид. Любовь не прошла, но прошел ее праздник, начинались ее жестокие будни. Вдобавок осень брала свое, и сентябрь, как бы вознаграждая себя за ясные дни, по вечерам громоздил тучи и лил дожди.

У Тины и Дмитрия не было пристанища, и дождливыми вечерами, досадуя и страдая, они, как подростки, скитались по чужим парадным и лестницам.

Среди десятков лестниц, обследованных ими, подошли только три. В одной было малолюдно, полутемно и имелся подоконник, удобный для сидения. Но эту лестничную клетку портили звонкоголосые фокстерьеры, жившие во втором этаже. Стоило неосторожно пошевелиться или повысить голос, как фоксы заливались лаем, дверь открывалась и через цепочку высовывалась голова с козлиной бородкой. Человек смотрел поверх очков и для этого нагибал голову так, словно собирался бодаться. Под лай охрипших от злости фоксов козлобородый человек спрашивал Тину и Бахирева:

— Что вы тут опять делаете, молодые люди?

Краснея, они пускались в бегство.

В другом парадном не было фоксов, но зато не было и подоконников, и разговаривать приходилось стоя.

В квартирах, выходивших на третье парадное, жило несметное количество тощих кошек, которых то впускали, то выпускали. Кроме кошек, в этом подъезде жил управдом в образе юной, но строгой особы, которая ходила взад и вперед и каждый раз сообщала, что посторонним стоять в чужих парадных воспрещается.

Придя на очередное свидание, мокрый от нудного вечернего дождя, Бахирев чертыхнулся.

— Черт побери! Мне не пятнадцать лет, чтобы шнырять по чужим парадным! Да и в мои пятнадцать не шнырял я по парадным.

— Ну, кончим, Митя,— страдающим голосом сказала Тина.— Кончим, родной, разве я не вижу, как тебе тяжело?

— Скажи другое. Скажи, что тебе тяжело.

— Ах, нет, я не о себе!

— Ну как же не о себе! Я рвусь к тебе. Вру. Бросаю самые неотложные дела. Тащусь по грязи в этот вонючий кошачий подъезд. И для чего? Для того, чтобы услышать: «Зачем ты пришел?»

— Митя, для меня даже такие наши встречи, даже в вонючем подъезде,— счастье. Но я не в силах видеть, как ты мучаешься.

Очередная кошка с шипением ворвалась с улицы и стала царапаться в дверь к управдому. Не дожидаясь появления управдома, Тина и Дмитрий быстро нырнули в темноту и под дождем перебежали из кошачьего парадного в собачье. Здесь надо было шевелиться осторожно и разговаривать как можно тише.

— Любовь должна приносить радость,— поглядывая на опасную «собачью» дверь, шептала Тина.— А для тебя...

— Почему ты не хочешь, чтобы я где-нибудь нашел комнату?

— Но где? Как? Ах, и не в этом дело! Митя, к чему это приведет? Мы и так слишком привязались друг к другу. А если еще...

Тина боялась, что близость слишком захватит обоих.

— Ну, что «если»?— гневно спросил Бахирев, неосторожно повысив голос.

— Гав!— предостерегающе раздалось за дверью.

Они замерли, уповая на милость фоксов. Но фоксы были неумолимы, через минуту они уже вовсю лаяли в два голоса.

— Будь они прокляты!— сказал Бахирев, увлекая Тину из парадного.

На улице под каплями мелкого дождя он остановился и продолжал:

— Ну, что «если»? По крайней мере, сможем спокойно разговаривать.

Ему приходило в голову, что будь у него только Аня и Бутуз, он оставил бы их. Предать Рыжика он не мог. Но его оскорбляло то, что Тина не только ни разу не заговорила с ним о совместной жизни, но обрывала начатые разговоры на эту тему. Если бы она плакала, умоляла, просила, упрекала, кляла, все ему было бы легче, чем это казавшееся холодным молчание.

— Ты не любишь меня!—жестоко говорил он, не чувствуя, как дождь стекает по лицу.— Очевидно, для тебя это просто: вот так сблизиться, потом отшвырнуть!

— Тебя? Отшвырнуть? Такого, как ты? Боже мой!

— Если бы я тоже был из таких! Но я... У тебя даже мысли не возникло о том, чтобы быть вместе. Ты не хочешь этого.

— Не хочу...—Он услышал, как она сглотнула рыдание.—Да, не хочу. Разве я не знаю, разве я не понимаю тебя! Сейчас ты живешь с ними и тоскуешь обо мне. Но если ты будешь жить со мной, ты каждую минуту будешь тосковать о... о Рыжике. Митя, Митя, разве я не знаю тебя?

Она заплакала. Она плакала при нем впервые, и слезы ее сразу смягчили Бахирева. Он обнял ее.

— Ну, не плачь, ну, прости! Я скоро сам начну плакать от этой собачье-кошачьей жизни!

А у нее уже ничего, кроме такой жизни, не было. Ни сына, ни мужа, ни дома, ни чистой совести, ни былого спокойствия, ни прежней себя.

Только любимое лицо, которое она даже разглядеть не могла, только жадно ощупывала в темноте. Только непрерывное ожидание: вот она соберется с силами, вот он образумится, вот приедет Володя—и все будет кончено. Она останется одна. Она и мысли не допускала о том, чтоб увести его от семьи и обречь троих его детей на сиротство, испытанное ею самой. Она знала: если б даже она пошла на это, он сам не найдет ни покоя, ни счастья вдали от Рыжика. Слишком сильны были все его привязанности, слишком глубоко вкоренилось в него чувство ответственности за судьбу тех, кого он вызвал к жизни.

А видеть его рядом с собой неспокойным, несчастливым, тоскующим о других—этого не позволяли ей ни ее гордость, ни ее любовь. Она знала с самых первых минут—им не быть вместе. Ей суждено одиночество. И пока неизбежное не наступило, она жадно впитывала прощальные минуты короткой близости. Можно было хоть обнять его, хоть услышать его горячие, сбивчивые, несправедливые упреки. Скоро не будет и этого.

Он раздражался, тосковал, ревновал неведомо к кому, мучился сам и мучил ее, но он по-мужски по-прежнему жил своей работой со всею силой страстей и мыслей. В ней слишком сильно было женское начало. В дни своей женской катастрофы она не могла думать ни о чем другом. Перестройка завода, ЧЛЦ, кокиль — все то, что недавно захватывало их обоих, что дало первый толчок их дружбе и высокое, полное звучание их первому, еще чистому чувству, все отошло от нее, все стало ей безразлично. Только в силу природной добросовестности продолжала она старательно работать на заводе. Успехи не приносили ей прежней живой радости, так же как неудачи не приносили прежних огорчений.

В эти прощальные дни подлинная жизнь ее сосредоточилась не в цехах и не дома, а в чужих парадных и на перекрестках дождливых осенних улиц.

Тревожные встречи с Тиной, ложь и пустота в собственном доме, скопление изувеченных тракторов на заводе — все это тройным гнетом ложилось на его плечи. Отрадой было лишь то, что план-максимум месяц от месяца становился все реальнее. Он пробивался отдельными и немногими ростками — пескодувной машиной в стержневом, конвейером мелкого литья в литейном, новыми станками в моторном, первыми на заводе участками металлокерамики и точного литья.

Эти первые и редкие ростки еще не оказывали большого влияния на все производство, но они существовали, росли, и пестовать их было счастьем Бахирева. Он понимал непрочность и этого своего счастья, и все же удар был нанесен неожиданно.

Этот день поразил его простотой, как поражают своей обыденностью часы и минуты, предшествующие большим катастрофам.

Он спозаранку пошел на завод и прежде всего заглянул на площадку, где стояли «они». «Их» было пять, пробоины их зияли, но в этом уже не было необычного. С площадки он, как всегда, заторопился в экспериментальный цех. В просторном цехе-лаборатории привычно гудели моторы на испытательных стендах и привычно спорили инженеры о тепловом процессе, над которым работали.

— Как противовесы? — спросил Бахирев, но инженеры даже не услышали его.

— Непосредственное впрыскивание экономичнее вихревого смесеобразования. А экономичность — это основа всего! — говорил один.

— Экономичнее, но капризнее в эксплуатации! —

горячась, возразил другой.— В Америке же сплошь вихревое.

— Америка нефтью богата,— не мог не вмешаться Бахирев.— У них другой гвоздь — себестоимость. Им лишь бы подешевле, лишь бы выбить конкурентов с мирового рынка. А в Англии топливо привозное, у них весь парк на непосредственном. Оно экономичнее и, значит, в конечном счете прогрессивнее.— И, оборвав себя, он спросил о том, ради чего пришел.— Как противовесы?

Инженеры неохотно перешли от темы, занимавшей их и имевшей мировое значение, к противовесам. На машине, недавно приспособленной для проверки усталостной прочности, первый раз испытывались старая и новая конструкция крепления противовесов.

— Полюбуйтесь,— скучая, один из инженеров подал Бахиреву старый противовес.— Не выдерживает пульсирующей нагрузки.

Бахирев оглядел тяжелую скобу: те же самые вмятины на щеках противовесов, та же сглаженность на поверхности обрыва болтов. Противовес новой конструкции не оборвался. Шляпки «гриба боровика» сидели на коленчатом валу так же незыблемо, как в первый день.

— Видали? — обрадовался Бахирев.— Если и дальше все испытания пойдут так же, то через несколько месяцев все будет доказано. Недооцениваете вы этой работы!

Но инженеры уже вернулись к прерванному разговору. Противовесы были для них лишь досадной прихотью главного.

«Что с них возьмешь, с тепловиков?» — усмехнулся Бахирев и заторопился к себе.

В кабинете его дожидалась женщина — специалист по металлокерамике. В манерах и костюме ее проглядывало странное сочетание комсомолки тридцатых годов и старой девы. Она жаловалась на то, что директор отменил распоряжение Бахирева о выделении помещения для цеха металлокерамики. Он позвонил Вальгану.

— Ничего, разместятся в бывшей цеховой кухне,— сказал Вальган и оборвал разговор.

В этой отрывистой фразе подчеркнуто корректного в последние дни Вальгана послышался первый сигнал бедствия. Вечером пришел Чубасов, и Бахирев, не поздоровавшись, радостно сказал:

— Я тебе звоню весь день! Ты где был? Ты знаешь, первые испытания «гриба боровика»...— Он взглянул на бледное, каменное лицо парторга и осекся.

— Митя...— сказал Чубасов: никогда прежде не называл он Бахирева полуименем.— Митя, два часа назад в министерстве подписан приказ о твоем снятии.

Бахирев не успел ни удивиться, ни возмутиться — так мгновенно наступило ощущение конца.

— Я сделал все, что мог,— продолжал Чубасов.— Отстаивал, послал протест. Пока я бессилен. Завтра вылетаю в Москву.

— Мотивировка? — глухо спросил Бахирев.

— Оказывается, сразу после бюро обкома Вальган написал в министерство. Он ставил вопрос ребром: он или ты! Письмо Вальгана, решение бюро обкома... Это весит. Но с этим я бы еще потягался. Не это главное. Главное — «они»...— Чубасов кивком указал на стену.

Площадка, где скапливались изувеченные тракторы, не видна была за стеной, но Бахирев понял парторга. Он представил себе прорванный металл, брошенные на землю тросы, лепешки противовесов с вмятинами на щеках, с оборванными болтами.

— Кто-то должен за них отвечать,— продолжал Чубасов.— Слишком много фактов против тебя.

«Добит... Добит противовесами!»

Бахирев не помнил, как прошли три следующих дня. На четвертый пришел письменный приказ и вернулся из Москвы Чубасов. Он, не заходя к себе, прошел к Бахиреву, и по сумрачному лицу его Бахирев догадался: «Не смог». Он не смог перетянуть груз сотен противовесов, не смог оправдать урона, которому не было оправдания.

Бахирев и сам понимал: кто-то должен ответить. Он не предвидел, что этим «кто-то» окажется он сам. Как будто все было справедливо — он, главный инженер, отвечал за все происходящее на заводе, он не сумел ни предотвратить, ни приостановить бедствия. Значит, он виноват, и ему надлежало терпеливо принять заслуженную кару. И все же он знал, что он не виноват. Вальган и Бликин были стеной, о которую разбивались все его усилия. Эта стена силою обстоятельств имела основательный фундамент — то, что на одноименном заводе при такой же конструкции крепления не сорвался ни один противовес.

Время перестало существовать как единое целое. В памяти сохранялись лишь обрывки дней. Он помнил собрания, на которых его имя склонялось Вальганом как имя преступника. Он помнил слезы и просьбы Кати: «Уедем. Скорее уедем! Обратно в Сибирь или куда угодно, только скорее отсюда!» Он помнил теплые тела притихших детей, сбившихся возле него табунком, и уверенность Рыжика: «Ты не виноват, папа, ты все равно докажешь». Он помнил нежные и холодные глаза Тины, ее слова: «Только не теряйся. Я видела людей в худшем положении, и они не теряли достоинства. Не торопись с решением. Обдумай спокойно». Запомнил он рассвет над

искалеченными тракторами. Его пригнала туда бессонница. Солнце еще не взошло, и мир с уснувшими красками был одноцветен. Под пепельным небом серели посыпанные песком дорожки. Одинаково темнели и отцветающие георгины, и стоявшие возле них изувеченные тракторы. «Разбомбили нас с вами,— мысленно разговаривал он с тракторами.— Я уеду. А вы?» Черные тросы на сером песке тянулись к нему, как руки.

К тому часу, когда огнем вспыхнуло первое, самое высокое облако, Бахирев принял решение, самое мучительное из всех возможных: «Остаться. На любой должности. В любом качестве. Лишь бы закончить испытания. Пусть в неурочное время. Просить Вальгана? Просить смиренно, как побежденный победителя? — Вся унизительность этой просьбы встала перед ним. Он отмахнулся: — Какое мне дело до Вальгана? Какое мне дело до самого себя? Завод. Тракторы».

Утром он пришел к Вальгану. Как обычно, с утра кабинет директора был полон людьми. Вальган на минуту оторвался от оживленного разговора с инженерами.

— Дмитрий Алексеевич, вы уже знаете? Все необходимое за неделю передадите Уханову. И прошу приступить к сдаче незамедлительно.

Вальган говорил, не глядя, не видя, не замечая Бахирева, как говорят слуге, пустоте, ничтожеству. Едва закончив, он уже весело обернулся к окружавшим его:

— Как это они не сделают? Заставим — и сделают.

Бахирев уже не существовал для него. Только Вальган умел превратить человека в прах фразой или взглядом. Бахирев сел. Терпеливо и безропотно ждал он той минуты, когда можно будет вставить слово в бивший ключом разговор. Но говорили все оживленнее. Вальган не видел его, а остальные смотрели с недоумением. Наконец он потерял терпение.

— Семен Петрович...— Все умолкли и обернулись к нему.— Семен Петрович... У меня к тебе... к вам разговор.

— Вы видите, я занят. Зайдите позднее.

Как он знал этот ледяной звон в тоне Вальгана! Зайти позднее? Еще день-два томиться в неизвестности? Еще раз пережить это унижение?!

— Я должен сейчас... Я прошу оставить меня на заводе... В любом качестве...

В кабинете воцарилась тишина. Даже Вальган умолк на мгновение — обдумывал неожиданную просьбу.

— Не считаю целесообразным, Дмитрий Алексеевич. Ни для себя, ни для вас.— Он говорил почти дружественно, очевидно, не хотел никаких осложнений.— Да и в качестве кого я вас могу оставить? Вы же сами знаете — у

нас вакантна только должность сменного. Не сменным же инженером мне вас назначить?!

— Пусть сменным...

Все, кто был в комнате, затаив дыхание слушали, как бывший главный умоляет директора. Вальган, почуя новые неприятности, нахмурился.

— Не понимаю! Зачем вам это? Вы можете вернуться в Сибирь, куда вы так стремились год назад! Вы можете наконец устроиться на любом заводе в нашей области! Но остаться здесь!..— Он высоко вскинул красивую голову, бросил сквозь зубы: — Есть же у вас самолюбие!

«Как объяснить, что есть вещи, которые выше самолюбия?» — в тоске думал Бахирев.

— Если я виновен, я не могу уйти, пока не исправлю сделанного.— Он при всех признавал свою вину, он шел и на это унижение.— Я не могу уйти, пока не прекратятся аварии.

— Аварий не было до вас... не будет и после вас...

Вальган наносил пощечину за пощечиной, беззлобно, нехотя, как бы говоря: «Не стал бы связываться, да ты сам набиваешься». Он не снисходил до того, чтоб наслаждаться победой. Он сбросил Бахирева щелчком и уже не хотел думать о нем. Чтобы прекратить ненужную сцену, он сказал:

— Я не люблю половинчатых решений. Уханов ждет вас... Пройдите к нему...

Отказ был полный и безоговорочный. Медленно шел Бахирев по знакомой дорожке. В коридоре он столкнулся с Чубасовым. Неверная, не бахиревская походка, бледное лицо с осевшими щеками испугали Чубасова.

— Дмитрий Алексеевич, ты что?

Впервые бахиревские тяжелые, всегда полуопущенные веки поднялись. Глаза оказались большими, беспомощными в своей неприкрытой тоске.

— Я не могу уйти с завода... Я должен хотя бы доработать конструкцию. Я был у Вальгана... просил оставить меня здесь...

— Кем?

— Хотя бы сменным.

— Ты готов пойти сменным?

— Кем угодно.

— Неужели он?..

— Отказал...

Чубасов тихо, но грубо выругался. Потом он повернулся, бережно, как больного, повел Бахирева в свой кабинет, усадил его за стол, подал газеты. Раздавленный собственным унижением, Бахирев не прекословил.

Он сел за стол и взял в руки газету.

— Ты завтракал?—почти весело спросил Чубасов.— Маруся,—крикнул он секретарше,—принесите Дмитрию Алексеевичу завтрак из буфета!

Быстро и с особым оживлением, насвистывая и улыбаясь, он сделал какие-то свои дела—разобрал почту, позвонил по телефону. Бахиреву показалось, что он даже веселее, чем обычно. Когда секретарша принесла завтрак, Чубасов сам подал его Бахиреву.

— Ты сыр любишь? Швейцарский, с острецой... К ветчине горчица... Ну, сиди, ешь, пей, читай газеты! Не смей отсюда никуда выходить! Жди меня тут. Понял? Чтоб с места не вставал.

Он вышел и сказал секретарше:

— В кабинет ни души не впускайте—там занимаются.

Секретарша, издавна знавшая Чубасова, удивилась: он смотрел отсутствующим взглядом, беспечно насвистывал в рабочее время и все поддергивал кверху рукава пиджака, будто освобождая руки.

Чубасов двинулся к Вальгану с тем самым чувством, с каким в давние времена он выходил на ринг.

— Срочное дело,—сказал он Вальгану таким тоном, что тот поторопился отпустить всех.

Ожидая, Чубасов не шевелился и не поднимал ресниц—боялся утратить частицу запала, с которым вошел.

Вальган посмотрел на девичьи длинные, опущенные ресницы парторга.

— Я тебя слушаю, Николай Александрович.

— Бахирев хотел остаться на заводе хотя бы в качестве сменного. Ты отказал. Почему?

Вальган пожал плечами.

— Мы с ним не сработаемся ни в каких качествах. Разве тебе не ясно?

Темные ресницы дрогнули, но не поднялись. Чубасов упорно смотрел вниз.

— Мне ясно, что, кроме тебя и его, есть еще завод. Интересы завода. Он это понимает, ты—нет.

Тон был открыто осуждающий, непримиримый. Вальган не привык, чтоб с ним разговаривали таким тоном. Он вспыхнул:

— Интересы завода требуют спокойной, рабочей атмосферы. Я не желаю терпеть на заводе человека, который точит нож на весь коллектив!

Ресницы медленно поднялись. Цепкий, прицеливающийся взгляд, сжатые губы, напряженные ноздри. Вальган никогда не видел парторга таким.

— Можно не сработаться,—тихо сказал парторг.— Можно ошибиться. Но по ошибке не увидеть того, что он заканчивает необходимое для завода дело,—нельзя. Не

увидеть этого можно, только если сознательно закрыть на это глаза. Только если наплевать на интересы завода.

Это было слишком. Вальган почти с радостью почувствовал приближение одной из тех гневных вспышек, о которых долго потом шептались на заводе. Лицо наливалось огнем. Руки отяжелели.

— Ну... хватит...— Слова падали глухо в тишине большого пустынного кабинета.— У меня тоже есть нервы... С его помощью они достаточно истрепались... Дайте мне работать спокойно!

— Он будет тихо делать свое дело. Дело нужное.

— Хватит!— Кулак Вальгана опустился на край стола, голос загремел.— Директор здесь я, и мне инженер Бахирев не нужен!

Вальган не злоупотреблял громовыми раскатами, потому что знал их действие: тот, на кого они обрушивались, обращался в ничто, а за дверями замирала секретарша, затихали посетители в приемной, уборщицы начинали говорить шепотом. Но Чубасов, казалось, только и ждал этого раската и возможности ответить на него. Кулак его опустился на толстое стекло с такой силой, что оно треснуло.

— Тебе не нужен инженер Бахирев, а партийной организации нужен коммунист Бахирев! И с партийного учета я его не сниму!

Ответный крик и треснувшее стекло мигом отрезвили Вальгана. Дело оборачивалось серьезно. Еще одно обсуждение в парткоме, в райкоме, в обкоме и черт знает где. Его нежелание оставить Бахирева сменным никто не поддержит. Серьезные дела Вальган всегда решал трезво. С присущей ему приспособляемостью и самообладанием он немедленно погасил свою запальчивость и засмеялся.

— Ну, стоило из-за этого стекла бить! Пусть идет сменным, если ты мне гарантируешь, чтоб никакой закулисной возни, никаких подвохов. Я же одного хочу — нормализовать обстановку. Ну где такое стекло достанешь?— укоризненно вздохнул он, будто сломанное стекло было самым главным из случившегося, а остальное не стоило упоминаний.

Когда Чубасов вернулся к себе, Бахирев сидел над нетронутыми бутербродами, сложив руки на коленях, в позе пай-мальчика.

— Останешься на заводе. С первого пойдешь сменным. В моторный цех,— сказал ему Чубасов.

Бахирев поднял голову.

— Ты договорился с Вальганом?

— Договорился...— Чубасов потер ушибленный кулак о колено.

Сменные инженеры обслуживали вечерние и ночные смены, заменяли отпускников и заболевших — на эту должность назначались или самые молодые, или самые неспособные люди.

В эти дни унижения Бахирев чувствовал себя человеком только возле Тины. Но и она, казалось, не знала к нему пощады:

— Еще раз увижу такого жалкого — разлюблю!

И он улавливал в ее словах реальность угрозы. Она удивлялась:

— Не понимаю — чего ты раскисаешь? Ты сам поверил в свою виновность? Ты так дорожишь званием главного? У тебя отняли руки, ноги, голову? Ты знаешь, что не виноват, и твоя голова при тебе. Не понимаю — зачем раскисать?

Постепенно ему самому начинало представляться, что ничего катастрофического не произошло.

В холод и ненастье осенних вечеров он нес к ней свое горе и у нее искал утешения. Слепо, упрямо, неизменно он, опальный и изгнанный, топал к ней пустынными переулками, чтобы полчаса постоять возле нее под покровом чужих парадных. Она не могла видеть его таким бесприютным и неприкаянным. Однажды, уже потеряв надежду, он уныло твердил ей:

— Я хочу наконец разговаривать с тобой под нормальной человеческой крышей.

Она ответила:

— Хорошо...

Она и жалела его, и подсознательно искала для себя оправдания в этой жалости. Она говорила себе: «Все вокруг него сейчас рушится. Как я могу хоть в чем-то отказать ему в эти дни? Пока ему плохо, я буду с ним. Все равно моя семейная жизнь кончена».

А самой ей казалось пределом счастья быть возле него, не пугаясь прохожих, не таясь по темным углам.

У него был обдуманный заранее план. В рабочем поселке соседнего завода жил отчим его товарища по Сибири, тяжко раненного на войне и недавно умершего от последствий ранения. Бахирев все время помогал другу, а после его смерти помогал и старику.

Простившись с Тиной, Дмитрий поехал прямо к старику. Сперва он попробовал соврать, сказал, что снимает комнату для женщины-инженера. Потом увидел, что вранье не получилось, и махнул рукой.

— Если можешь, дед, не спрашивай. Скажу тебе одно: это не баловство. Ты меня знаешь. А я и мальчишкой бабами не баловался. Если поможешь, считай, что я тебе обязан жизнью.

Старик молча провел его во вторую, заднюю половину дома. Закоптевшие и отсыревшие стены потеряли цвет, и открытки, украшавшие их, были оплетены паутиной.

Зато здесь был отдельный ход с заднего двора и рядом надежный одинокий человек. Где еще отыщешь такое убежище?

Он купил в комиссионном магазине кое-какие вещи. Сам вместе со стариком сорвал портреты и обмел паутину.

Впервые он ввел сюда Тину со страхом: как-то отнесется она и к комнате, и к его стараниям? Она не заметила ни того, ни другого. Она узнала незнакомое счастье: жалеть любимого, видеть его, сильного, в часы слабости, стать его опорою и отрадой, чувствовать себя необходимой ему, как дыхание.

— Пусть это временно,— говорила она ему.— Все равно это самое счастливое время моей жизни. Даже горе оборачивается счастьем. Если б тебе не было так трудно, я не смогла бы стать такой нужной тебе...

Он снова поражался тому, какой разной она может быть.

— Я боюсь тебя,— сказал он ей.— Боюсь потому, что ты не насыщаешь. Все всегда считали меня неразговорчивым. А с тобой я никак не могу наговориться... Я не любил путаться с бабами. Брезговал и бабниками, и всем этим... А от тебя вот не могу оторваться. Я всегда считал, что работа — это главное, а женщины — дело десятое. И вот с тобой забываю обо всем.

«Что бы потом ни случилось с нами обоими, пусть хоть будет что вспомнить,— думала Тина,— и пусть он забудется хоть на час».

Он уходил от нее, больше чем когда-либо потрясенный и прикованный ее любовью.

Наступил день, когда он впервые пошел на завод в качестве сменного инженера. Издали этот день казался легче. Но пришел срок идти на завод в толпе тех, кто вчера знал его главным, кто был свидетелем его поражения и позора, кто смотрел на него как на заслуженно смещенного виновника бедствий, и он, сжавшись и усилием воли выравнивая шаги, шел как на казнь. «Кто я и что я для этих людей? — размышлял он.— Тот, что на карикатуре,— вихрастый бегемот с амурами-противовесами над головой, с тракторным ломом за плечами». Он шагал так, словно волок за собой тысячетонный груз изувеченного металла.

Впервые ему предстояло идти не через директорскую, а через общую проходную. Ему не повезло. Когда он подходил к заводоуправлению, подъехали две машины. Из

одной вышел Вальган, а из другой «врид главного» Уханов. Они весело взбежали по широким ступеням директорского входа, и оба оглянулись. «Медленнее,— говорил себе Бахирев,— не торопиться. Ровнее шаг. Раз, два. Раз, два. Прямее спину».

— В четыре!— крикнул Уханов шоферу, поднял гибкую руку и растопырил четыре пальца.— Ты понял? В четыре! За полчаса довезешь до горкома?

— Плохо посыпают песком,— услышал Бахирев бархатный баритон Вальгана. Директор смотрел на цветник перед заводской площадью.— Я говорил, чтоб взяли другой песок. Этот, серый, не создает впечатления.

Они стояли на высоких ступенях, а Бахирев шел мимо. Странно было слышать ему их простые слова — попрежнему шли совещания в горкоме, по-прежнему посыпали песком аллеи, а он уже не имел к этому никакого отношения, и ничто не изменилось после его ухода. Если бы покойники могли слышать и чувствовать, они испытывали бы точно такое же чувство скорбного недоумения от собственного бессилия. «Раз, два,— отсчитывал он шаги, чтоб не бежать,— раз, два».

Любопытные взгляды сторожили его повсюду, и он не поднимал глаз. Не глядя, подал он пропуск вахтеру и вошел в заводской двор. Еще одна неудача — Малютин. Тот пробежал, не поздоровавшись, не взглянув. Бахирев усмехнулся: «Не удостаивает даже торжествовать победу».

За спиной раздался голос:

— Дмитрий Алексеевич, одну минутку!— Его нагонял Василий Васильевич.

Старик поздоровался как ни в чем не бывало и озабоченно сказал:

— Как мы с вами намечали ставить вторую пескодувку, то правильно ли будет? Если по сегодняшнему дню, то как нельзя удобнее! Но если предполагать, что со временем встанет пескодувная линия, то у меня другое соображение.

«Не знает он, что ли?» — подумал Бахирев и проговорил:

— Ведь я больше не главный инженер, Василий Васильевич.

— Так ведь я и не по званию, Дмитрий Алексеевич. Я в соображении дела. Вместе же с вами начинали... Может, зайдете в цех?

— Я думаю, это будет не совсем удобно.

— Эх, Дмитрий Алексеевич! Неудобно портки через голову надевать. Вы тут остались не потому, что вам здесь больно удобно оставаться. По соображениям дела

вы тут остались. Мы так понимаем. А коли так, то и действовать надо по этой линии!

Дружеская твердость этого упрека заставила Бахирева остановиться и посмотреть в лицо старика. «Добрейшие усы. И это лицо я когда-то принял за лицо вора. Эх,убить, убить убить меня мало!» Он с трудом выдавил:

— Я вам позвоню. После работы...

Он подходил к моторному цеху. Надо явиться к своему новому начальству, Рославлеву. Ему вспомнилось, как он впервые вошел в кабинет Рославлева и краснолицый грубый мужчина даже головы не повернул, едва пошевелил щетинистыми бровями в ответ на приветствие главного инженера. А сейчас в этот кабинет приходится входить уже не главным, а изгнанным, из милости оставленным в сменных. Зык Рославлева доносился из-за двери.

«Мужик отличный,— думал Бахирев,— но рубака, жёсток, требователен, без всяких душевных тонкостей. Как у нас теперь получится?» Волнуясь, он взялся за дверную ручку.

В комнате было много людей. Рославлев сидел за столом, лицо его было налито кровью, он распекал кого-то. Увидев Бахирева, он оборвал себя на полуслове, усиленно заморгал и встал навстречу.

— Дмитрий Алексеевич! Проходи. Садись. У нас тут разговор относительно шестишпиндельного.

Не прекращая говорить, он пододвинул свой стул Бахиреву, а сам сел с краю. Когда Вальган приходил в цехи, он обычно садился на место начальника цеха, Бахирев же и будучи главным инженером не имел этой привычки. Тронутый жестом Рославлева, еще не понимая, как держаться, Бахирев неловко сел.

— Тут вот какое есть предложение,— продолжал начальник цеха.— Заменить одношпиндельную головку шестишпиндельной вот таким манером. Или таким...

Он набрасывал схемы, а Бахирев понимал: Рославлев дает ему время оправиться, незаметно и мягко помогает войти в круг новой жизни.

— Я полагаю, по второй схеме лучше,— негромко произнес Бахирев.

— Так вот, ребята,— решительно сказал Рославлев рабочим,— Дмитрий Алексеевич считает, что по второй схеме лучше. Так и будем делать, как он советует.

И снова мгновенно вспомнилось Бахиреву его первое появление в этой комнате. «Если вы считаете, что так нужно, то вы и делайте»,— не задумываясь, обрезал тогда Рославлев главного инженера.

Бахирев не был склонен к нежностям, но сейчас ему хотелось обхватить и стиснуть до боли краснолицего,

щетинистобрового великана со звероподобным, зычным голосом.

Шло обычное цеховое совещание, но за каждым словом Бахирев чувствовал — не один Рославлев, но и другие твердо и спокойно подчеркивают свое к нему уважение и стараются незаметно облегчить этот трудный для него час.

Совещание закончилось, и Бахирев с Рославлевым остались вдвоем.

— Я для тебя тут оборудовал,— сказал Рославлев, и Бахирев заметил в углу стол, которого раньше не было.

Бахирева позвали к телефону.

— Дмитрий Алексеевич? — Он узнал голос Сагурова.— Мы тут беспокоимся насчет пескодувки. Хотелось бы посоветоваться. Когда к нам заглянете?

— Так ведь я теперь не главный инженер.

— От всего, что прогрессивно, ниточки к вам тянутся. Вы в этом отношении для нас главней главного.

Никогда прежде Сагуров не говорил ему таких откровенно лестных слов и таким ласкающим голосом. Можно было подумать: льстит. Но зачем льстить изгнанному, снятому?

Едва повесил трубку Сагуров, как позвонила инженер по металлокерамике:

— Дмитрий Алексеевич, с трудом разыскала вас! Как же без вас металлокерамика? Порошок прислали некачественный. Надо посоветоваться.

Простые слова о керамическом порошке и не соответствующая им горячая сердечность в голосе. Положив трубку, он встретил улыбающийся взгляд Рославлева.

— Видишь? — назидательно и даже с непонятным торжеством сказал начальник цеха.— Главный инженер — это не звание! Это авторитет!

Ровно в девять ему позвонил Чубасов и бодро пошутил:

— Как ты там? Начальник цеха создает тебе условия?.. Даже стол поставил? Скажи ему, чтобы был на высоте. В конце смены приду проверить.

Телефон не умолкал. Молодой басок Зябликова, срывающийся на дискант, проговорил:

— Можно еще укоротить плечо рычага в креплении противовеса. Я сделал набросок. Когда принести вам, Дмитрий Алексеевич?

Разговор о противовесах и рычагах, а в баске, перемежающемся с дискантом, непонятная взволнованность. И Бахирев в ответ уже с горькой сладостью повторил:

— Ведь я же теперь не главный инженер.

Когда Зябликов повесил трубку, Бахирев растерянно оглянулся на Рославлева:

— Я не понимаю... Чего они мне звонят?

— Балбесина ты вихрастая!—зыкнул на него Рославлев.—И самом деле не стоило бы с тобой так разговаривать, коли ты не понимаешь! Ты возьми в толк, что раньше не все тебя знали так, как я, к примеру. А теперь ты показываешь коллективу, чего ты стоишь. Все знают, что легче бы тебе уйти, что и место сыскал бы, и должность поинтереснее сменного инженера. Шкодливый пес бежит с того места, где нашкодил. Ты не побежал. Ты остался. Ты на все лихо пошел, лишь бы остаться! Значит, заводом дорожишь, делом дорожишь, значит, либо чувствуешь правоту, либо хочешь честно исправить ошибку. Понимают. Переживают за тебя. Люди ж ведь!

Бахирев стиснул железные рославлевские плечи.

— Митя, ты скажи, что тебе еще тут устроить? Ведь ты теперь вроде как бы подпольный главный инженер. А у меня вроде твоя подпольная штаб-квартира. Валяй предъявляй ко мне свои жесткие требования!—Рославлев басил, улыбался, шагал по кабинету, делая вид, что новая ситуация доставляет ему великое удовольствие.

Бахирев расчувствовался, молчал и смотрел на него влюбленно.

— Ну, что ты, право, Митя?—сказал Рославлев, смущаясь от его взгляда.—Ведь это—дело временное. Мы так это и понимаем. И я тебя серьезно прошу: предъявляй требования, говори, что тебе от меня надо для пользы дела.

— Я у тебя в кабинете рассиживаться не собираюсь,— улыбнулся Бахирев.—Ты забываешь, что я сменный инженер.

— Ну, ну, ну!—пробасил Рославлев.—В общем, я тебе скажу: ты парень правильный.

Он ушел. Бахирев, взволнованный, стоял у окна, пытаясь вникнуть в неожиданности этого утра. Из сборочного выползали тракторы. Он вспомнил свои первые дни на заводе и себя, одинокого, угрюмого, беседующего с трактором. Как он был противен тогда—мрачный, зазнавшийся! И какая ложь—одиночество! Тот, кто борется стойко, борется за нужное для народа дело, тот не может остаться одиноким! Наоборот. Только тот и познает дружбу. Даже на заводе, где он проработал полжизни, он не ощущал так, как сегодня, чистоты немногословного, почти фронтового товарищества. Это и понятно. Там не приходилось так бороться.

Освеженный, ободренный, спустился он в цех. Ему

предстояла еще одна задача — стать образцовым сменным инженером.

Это оказалось труднее, чем он предполагал.

Слабость вспомогательных служб, о которой он знал и раньше, теперь всей тяжестью легла на его плечи, выпачканные машинным маслом и копотью. Когда в разгаре работы останавливались станки и конвейеры и механики на многие часы затягивали ремонт, он сам вместе с ними лез под пол или под станки, корчась, чувствуя, как грязный пот течет по лицу, и свирепо ругаясь. Но если ему удавалось отремонтировать станок лучше, чем механики, или провести свою смену лучше других смен, он радовался от души и замечал, что радостей на долю сменного инженера отпущено гораздо больше, чем на долю главного.

Катя тупела от недоумения, когда ее муж, низвергнутый и опозоренный, появлялся с довольным лицом и сообщал об отремонтированном станке как о значительном событии. Он зарабатывал меньше, чем когда-либо. Он не брал никаких сверхурочных и дополнительных работ, потому что все свободное время проводил в экспериментальном цехе.

Работы над испытанием противовесов были негласно прекращены Вальганом.

— Я не возражаю, пусть работают в свободное время,— говорил директор и загружал инженеров-экспериментаторов так, что у них не оставалось свободной минуты.

Дело осложнялось тем, что вечерами и ночами был занят Бахирев, а днем чаще всего были заняты испытательные стенды. Ему приходилось дожидаться часами, а зачастую самому и подготовлять многочасовые испытания, и вести их, и записывать результаты. Он проводил на заводе дни и ночи и приносил домой шестьсот рублей в месяц.

— Митя, невозможно прожить впятером на шестьсот рублей,— говорила Катя.

— Придется, пока я не окончу испытаний.

— У нас нет мяса.

— Свари кашу.

— Нету молока.

— Ну, уж на молоко-то я зарабатываю,— пробовал он отшутиться.

— Но нет также масла!

— Нехай будет маргарин!

Он не воспринимал ее паники, и Катя металась в одиночестве. Работать она не могла: у нее не было ни

специальности, ни способностей, ни физических сил — ничего, что бы помогло получить место с хорошим заработком. Она отпустила домашнюю работницу и была бессильна справиться и с хозяйством и с детьми, которые ходили в разные школы, в разное время, всегда торопились, всегда ссорились и всегда были заняты неотложными делами.

— Митя, я не могу с ними,— жаловалась она мужу.

Обычно он пытался терпеливо успокоить ее, но однажды, сорвавшись, сказал с горечью:

— А что ты можешь? Что ты вообще можешь, Катя? — Он помолчал.— Потерпи два-три месяца. Вот только кончим испытания, и все мало-помалу встанет на свои места.

Но она не могла успокоиться. Оба они чувствовали, что она сама держит испытание и не выдерживает его.

А его по-прежнему тянуло к Тине, к ее веселому холодку и к тому забвению, которое он находил в минуты близости.

— Рассказывай: что ты делал? — спрашивала она.

— Лежал под станком. Черт бы побрал этого бывшего главного инженера! Год протирал штаны на заводе и не смог наладить ремонтных служб.

Тина смеялась:

— Вот проработаешь полгода сменным, тогда из тебя получится настоящий главный.

— Пожалуй, что и так,— соглашался он.— Бились, бились сегодня с балансировочным станком. Наладили. Такое удовольствие, ты и не представляешь! Все-таки лучше всего быть рабочим. Свои руки, своя голова, свой станок, и сам в ответе за свое дело. Одно слово — рабочий класс!

— Когда ты обедал, «рабочий класс»?

Он был голоден, но не сознавался; он не мог есть пироги, которые она ему приносила, потому что в эти дни забыли о пирогах его дети.

Особым способом она быстро оттирала пятна на его рубашке. Он любил людей-умельцев и спрашивал ее:

— Скажи мне, Тина, почему ты все умеешь? Вот и пятно вывела в две минуты, и пироги у тебя какие-то особые на вид.

— Глупый, что тут мудреного?

Но он уже не слушал ее объяснений. Чем труднее ему приходилось, тем острее становилась его потребность в счастье и в том, что олицетворяло для него счастье,— в Тине.

Допылал необычный сентябрь. Оттого что солнечные дни все время перемежались с дождями, деревья в этом году умирали царственно. Они золотились и покрывались багрянцем, не теряя листьев. Золотые березы были по-весеннему густолиственны и полношумны. Листья вишенника алели ярче ягод, и ни один листок не упал с веток. Дубы стояли, словно целиком вырезанные из красной меди. Только нежные клены роняли листья, и казалось, что роняют они их не по законам отцветания, а просто для украшения земли.

— Какое время!—удивилась Тина.—Свежесть весны и многокрасочность осени!

Наконец грянули первые заморозки, и два дня стояла золотая метель.

Елки, что скромно прятались в роскоши лиственных деревьев, теперь выступили вперед и протянули ветки, подставили их под осыпь, приняли и поддерживали последний наряд берез. Ветер сдул листья и с елок. Совсем недавно листья были бесшумны, легки и летучи. Теперь стали шуршать и скрестись о землю, словно прося убежища, и с каждым днем все больше темнели, все сильнее ежились от холода и, как зверьки, все круче выгибали спинки с выпирающей тонкой хребтиной.

На земле стало сурово и студено, но по утрам выпадал иней, будто чья-то радетельная рука присолила впрок твердую землю, чтоб не портилась она, чтоб в глубине сохранила свою ядреную силу до новой весны.

С осени количество летающих противовесов начало резко уменьшаться, но побоище у транспортных ворот жило в памяти Бахирева.

— Тракторы встали на ремонт. С началом новой посевной противовесы опять полетят,—упрямо твердил Бахирев на очередном совещании у Вальгана.

— Не в этом суть,—отмахивался Вальган.—Тысячи тракторов работают и будут работать всю зиму. Те противовесы, что были обречены на срыв нарушением технологии, уже сорвались. А те, что делаются по нормализованной технологии, с противоусталостной резьбой, срываться не будут. Тогда наконец и вы убедитесь, чего стоило ваше требование остановить производство.

Случаи обрывов противовесов стали единичными, на заводе наступило успокоение. Правота Вальгана становилась все нагляднее. Однако Чубасов по-прежнему следил за ходом бахиревских испытаний. Он похудел, осунулся, стал молчалив. Однажды Рославлев сказал о нем Бахиреву:

— Жалко парня. Гробят... Вчера на бюро обкома, по настоянию Бликина, записали ему «развал партийно-

массовой работы» и подмену партийных вопросов техническими.

— Почему?—удивился Бахирев.

— Партийно-массовая работа не трактор. Развалилась она или нет—глазом не видно. Если в обкоме считают, что она развалилась, то поди доказывай! Ты хоть знаешь, за что его молотят?

— За что?

— За тебя.

«За меня?»—повторил про себя Бахирев, уже расставшись с Рославлевым. Он знал о повседневной помощи Чубасова и был благодарен другу. И все же слова Рославлева осветили ее по-новому. Чубасов не только помогал ему, но и расплачивался за эту помощь.

Бахирев восстановил в памяти и собрал воедино многие события этой осени. Вспомнил он то, что коммунисты моторного цеха на закрытом партийном собрании единогласно признали безупречной технологию крепления противовесов. Вспомнил и то, что после этого собрания его вызвал следователь и говорил с ним дружественно. Вспомнил он и учащающиеся нелады Чубасова с Бликиным и интерес ЦК к испытаниям новой конструкции. Вспомнил и замкнутое лицо Вальгана, явно охладевшего к парторгу.

Вспомнив и собрав то многое, что было закрыто трудными и кипучими делами повседневности и любовью к Тине, Бахирев понял, что Чубасов принял на себя главный огонь, чтобы дать ему возможность накопить силы для нового наступления.

Глава XXI

ПЕРВЫЙ СНЕГ

«Сколько снега еще упадет за зиму, но такого уже не будет»,—думал Сережа.

Еще вчера на дорогах чернела и чавкала липкая грязь, а сейчас повсюду сиял молодой снег. Голубоватый рассвет поднимался из этого молодого снега. Обновленный, белый с просинью мир был пышен и тих. Мохнатые снежинки кружились медленно и садились осторожно. На влажных, розовых, улыбчивых лицах прохожих белели крохотные снежные звезды.

«Первый снег, первый день, первый снег»,—в такт шагам повторял Сережа. Первый день его работы на кокиле совпал с днем первого снега. Вчера он опробовал кокиль—отлил и отработал пять моделей. ОТК принял

все пять. С вечера он отлил и приготовил к обработке еще двадцать четыре модели. Этот нетронутый снег невольно напоминал их: так же были они чисты, так же легки, так же мягко и матово сияли в полусвете.

Кончилась аллея, свалка металлолома прикрыта пышной снежной пеленой. Вдали, в самом углу заводского двора, показался модельный цех, для других просто неприглядное здание, для Сережи и дом и судьба.

Снег повалил гуще.

— Серега! Сугроб!—окликнули его сзади.

Его нагоняли Кондрат и Синенький.

— Ну, как?—спросил Синенький.—Мефодич говорит, пять отливок, говорит, здорово хороши.

— Вот такие вот!—Сережа указал на снег.—Легкие, чистые, сами светятся.

Втроем напрямик, через пустырь, они побежали к цеху цветного литья. Двадцать четыре отливки лежали у стены. Синенький присел возле них на корточки и тихо свистнул. Пальцы его побежали по граням, плоскостям, переходам, лукавые глаза сощурились от удовольствия. Посыпался короткий, как от щекотки, смешок:

— Ну, Сугроб, ты уж не Дон-Кихот, ты уж теперь Дон... Дон... Дон—Черт Знает Что! Тут нам, фрезеровщикам и слесарям, и работы не осталось. Кокиль за нас сработал.

Кондрат подкинул отливку на ладони:

— Сколько весу?

— Четыре с половиной килограмма,—ответил Сережа.

— Это вместо тринадцати! Будет заливать-то!

— Пух-перо!—засмеялся Синенький.—Ах, Серега, не женись, не женись! Кабы не Тоська, я бы от тебя тогда не отступился. Дня за четыре одолеешь?

— За один! Сегодня сделаю!

— Вот это дает!—восхищенно сказал Синенький.— Ведь тут больше месячной нормы.

Они нагрузились отливками и заторопились к модельному. Синенький оглядывался, смеялся, торопил:

— Что вы, два бугая, отстаете от меня, от махонького? Торопись, Серега. Не терпится!

«Зря я обижался на них,—растрогался Сережа.—Меж своими чего не бывает!»

Общая радость перекрыла неурядицы, как этот молодой снег покрыл и слякоть и мусор и заставил сиять всю землю чистой, нетронутой белизной.

Тина несколько дней не видела Сережи и нарочно пришла на час раньше, чтоб до работы заглянуть в модельный.

Тина вышла из цеха и увидела трех друзей. Нагруженные алюминиевыми отливками, они гуськом шли прямиком через снежный пустырь; видно было, что идти им трудно, но их влажные от снега, розовые лица были так веселы, что Тина побежала навстречу.

— Что, ребята? Что?

— Сергунька сегодня дает рекорд! Больше месячной нормы за один день! — сказал Синенький и неосторожно повернулся.

Несколько отливок выскользнули из рук. Он остановился, Кондрат наткнулся на него и разом уронил все отливки. Сережа рассмеялся и тоже уронил половину груза.

Они присели на корточки, собирали в пушистом снегу алюминиевые отливки.

— За один день? Сразу? — сыпала вопросами Тина.— А ты опробовал?

— Уже, Тина Борисовна,— ответил Сережа.— Грузите мне еще пару.

— Когда успел? — Тина положила две отливки под самый Сережин подбородок.

— Холодные,— засмеялся он, прижимаясь к ним щекой.— Вчера вечером.

Ребята уже поднялись и шли с грузом, а Тина бежала рядом с Сережей и спрашивала:

— ОТК отштамповало? Ты уверен, что сумеешь все это обработать за день?

Он придерживал отливки розовой щекой и, не поворачивая лица, косил на Тину веселый желудевый глаз.

— Все рассчитал... Точно будет.

Она побежала к Гурову:

— У вас же в цехе событие. Начинаем кокильное литье. Больше месячной нормы за один день! Такого не бывало. Почему никто не знает? Надо в многотиражку...

Тяжелые губы с трудом расклеились:

— Ли то работать, ли то шуметь... Еще ничего не известно, а вже шум.

Тина, не отвечая, уселась прямо против Гурова, весело и зло глядя в узенькие глаза, принялась звонить по телефону:

— Отдел труда? Ну чем вы там занимаетесь? У вас тут модельный начали переводить на кокильное литье, а вы и не знаете! Шлите срочно хронометражистов.

Прежде чем Гуров успел понять, что происходит, она позвонила в редакцию газеты и в отдел главного металлурга. Наконец Гуров опомнился и рассвирепел:

— Вы чей тут ынженер? У нас тут свои ходют ынженеры.

— Заводской, заводской я «ынженер»,— передразнила Тина, засмеялась и выскользнула из кабинета. Ей хотелось посмотреть, как Сережа будет работать, но близилось начало смены, и пора было бежать в свою «чугунку». На минуту она все-таки подошла к Сереже. Рабочие теснились вокруг него. Отливки лежали в строгом порядке, на заранее приготовленных местах.

По его радостной, но застывшей улыбке, по взгляду, просветленному и сосредоточенному, угадала Тина тот самый счастливый холодок, который охватил ее, когда, сидя в пустой комнате технологов, следила она за кривой кремния и когда впервые угадала будущую картину, увидев Рыжика на окне «фонарика».

«То же самое сейчас у Сережи. Только у него гораздо сильнее,— позавидовала Тина,— Разве мне удавалось сделать такое?» Ей хотелось остаться, но пора было в свой цех.

Сережа включил свой станок точно по гудку. У его станка толпились мастера, рабочие других смен, хронометражисты, работники редакции. Неразличимая от быстроты вращения фреза послушно снимала металл на переходах. Бился под ней тонкий фонтан серебряной стружки. Стол подавал модели стремительным потоком. Станок откликался на каждое движение, казалось, что он откликается на самую мысль. Сережа ничего не замечал, кроме отливок, но ощущение необычного, радостного дня не покидало его. Свежесть мыслей и мышц. Точность расчетов и движений. Ободряющие глаза ребят. И молодой, белый-белый день за окнами. Ему представлялось сейчас, что все это и было его судьбой. Он взял первую отфрезерованную серебристую модель, на миг вспомнил птицу, что кружилась над ледоходом и летела — не долетела до его руки.

«Вот и приманил»,— подумал он.

По заводу разнесся слух, что целый комплект моделей сделан за половину рабочего дня. В перерыве кто-то поздравлял, кто-то спрашивал, кто-то угощал. Его просили остаться после работы для беседы с корреспондентом и для киносъемки. Ему было досадно слушать, говорить, есть — хотелось снова зажить в точном и четком ритме.

В конце первой смены Чубасову позвонил Ивушкин:

— Тут у нас в модельном история... Сугробин что вытворяет. Выгоняет четыре с половиной тысячи...

Так растерянно и с оттенком восхищения говорят об ураганах, наводнениях и других стихийных бедствиях. Чубасов не понял слов, но встревожился тоном Ивушкина:

— Кого выгоняет Сугробин?

— Проценты выгоняет! Четыре с половиной тысячи процентов дневной нормы.

— Что, что? Фантастика! Каким способом? Что применил?

— Кокиль применил... Что же теперь делать-то будем?

— Что делать, что делать,— рассердился Чубасов.— Говоришь так, будто вам крыша валится на голову. Четыре с половиной! Ошибки нет? А качество проверено?

— С утра пришли с хронометражем. ОТК клеймит. Как теперь требуется поступать?

— Поздравлять теперь требуется Сугробина. Поддерживать и пропагандировать требуется, если все, что ты сказал, правильно. Такой выработки, такого рывка не было не только на заводе, но и во всей нашей области! Молнии заготовили? В пересменке организуем митинг.

Когда Чубасов вошел в цех, в проходе толпились люди.

Сережа фрезеровал, не поднимая головы, виден был только его розовый лоб. Модели одна за другой цепью пролетали под фрезой. Слышался характерный короткий звук: вжиг... вжиг... вжиг... Сережа нажимом кнопки остановил станок, не глядя протянул руку к шкафу, безошибочно взял нужную фрезу. Мгновенная смена фрез — и снова стремительный, жгучий звук скоростного фрезерования: вжиг... вжиг... вжиг...

Люди смотрели, не дыша и не шевелясь. Так смотрят на аттракцион под куполом цирка и на сложнейший пируэт балерины.

— Ух! — тихо ухнули рядом.

Чубасов увидел Синенького.

— Почему не работаешь?

— Пропадаю через Сережу, товарищ парторг! Глядеть завидно.— Синенький указал взглядом на свой станок и махнул рукой.— Разве это работа? Собес!

Все рабочие цеха были взволнованы, оглядывались, отрывались, подходили к толпе, заполнившей проход. Только Кондрат оставался верен себе. От гудка до гудка вселенная не существовала для него.

Толстогубый, мешковатый Гуров по знаку Чубасова вышел вслед за ним, в коридоре остановился, умно сверкнул острыми глазками и заключил коротко:

— От, дает по мордам!

— Кому дает по мордам?

— Та опять нам же...

Чубасов криво усмехнулся:

— Трезво оцениваешь положение.

— А чего ж я теперь буду выступать на митинге?

— А ты еще собираешься выступать на митинге?

— Я ж начальник своему цеху.

— Вот так и выступи: «От, надавал нам по мордам!» — зло посоветовал Чубасов.

Договорившись о порядке митинга, он позвонил Вальгану.

— Ты знаешь, Семен Петрович, какое у нас сегодня событие? Кокиль берет свое! Сугробин рванул на кокиле четыре с половиной тысячи процентов.

— Четыреста пятьдесят, ты хочешь сказать?

— Нет. Я хочу сказать четыре с половиной тысячи. Между сменами собирается митинг. Кинохроника приедет снимать. Ты придешь?

Вальган ответил не сразу. Мысли понеслись стремительно: «Четыре с половиной тысячи! Любой производственник улыбнется: «Ну и нормочка на этом заводе! Липа!» Я бы первый расхохотался. Обнародовать это — значит расписаться и в заниженных нормах, и в технической отсталости».

Положение усугублялось тем, что и нормы, и технологическая отсталость, и кокильное литье, и судьба Сугробина — все эти вопросы были полем боя Вальгана с Бахиревым. У Бахирева объявилась поддержка в обкоме — Гринин. Сережин кокильный рекорд давал оружие людям из лагеря Гринин — Бахирев. «Не преминут воспользоваться! — решил Вальган.— Начнут говорить: «Вальган тормозил». Разыграют спектакль на тему «Отсталый директор и передовик рабочий». А главное, начнется возня: станут повышать и нормы и программу. Обнародовать сугробинские четыре с половиной — значит самому себя выпороть».

Он подумал обо всем, но не сказал ни о чем. Чубасов заметил лишь затянувшуюся паузу.

— Ать-два — и уж митинги, молнии, киношники! — наконец укоризненно прозвучало в трубке.— Вот так и портим молодых рабочих. Допускаем ошибку.

— Мы допускали ошибку по отношению к Сугробину. Сейчас нужно исправлять. И дело не в рекорде, а в том, что Сугробин неопровержимо доказал и ценность и доступность для завода прогрессивных методов.

— Никто же этого и не отрицал!

— На словах. А на деле Сугробин первый открыл кокилю дорогу на завод. Я просто по-человечески не могу не сказать парню спасибо.

— Ну и говори по-человечески! Зачем же митинги? Давно осужденная партией практика показного рекордсменства. Я решительно против всяких митингов.

Вчерашний Чубасов не пошел бы наперекор директору

и стал бы искать осторожных, средних решений, а сегодняшний спокойно заявил:

— А ты приди и посмотри, что тут творится. Рабочие сами идут сюда. Идут из разных цехов. Интерес законный. И животворный интерес! Похоже, рабочие лучше тебя понимают, что здесь не показное рекордсменство, а рождение новой, прогрессивной технологии. Митинг начнем через полчаса.

«Митинг состоится,— тревожась и досадуя, понял Вальган.— Но никаких киношников, никаких репортеров... Этого я не допущу». Он позвонил на киностудию.

Сережа закончил последнюю фрезерную операцию и положил в штабель последнюю, двадцать четвертую, легкую и чистую деталь трака.

Не враз, а с трудом и с болью он распрямил занемевшую спину и, словно пробужденный, огляделся еще не понимающим, но уже счастливым взглядом.

Митинг собрался на пустыре возле модельного цеха. Крыльцо заменило трибуну. Одним из первых выступил Гуров:

— Мы должны тебя прыветствовать...

Сереже стало смешно: «Хочешь не хочешь, а пришлось тебе «прыветствовать».

Когда Гуров сказал, что Сережа дал четыре с половиной тысячи процентов и заработал за смену тысячу сто рублей, вокруг заахали, зашептались:

— Вот это да!..

Скользя взглядом по дружеским лицам, Сережа невольно отшатнулся. Пара глаз смотрела из-за голов, словно жалила: «Евстигешка».

Несколько лет назад они вместе впервые пришли в модельный цех — паренек-заморыш Сережа и бравый, хорошо одетый Евстигней, сын продавца, арестованного за спекуляцию.

— Буду себе зарабатывать социальное положение. В институт надо поступать,— заявил он Сереже.

Его исключили из комсомола за пьянство, он перешел на другой завод, был осужден за хищение и освобожден по амнистии. Зная прошлое Евстигнея, его неохотно брали на работу, и вот он, опустившийся и обозленный, появился в чугунолитейном, где всегда не хватало людей. К этому времени Сережа уже стал одним из лучших передовиков, и портрет его возвышался на заводской площади. Евстигней следил за Сережей с жадным и злобным любопытством.

«Что его принесло сегодня? — удивился Сережа.— Из злости притащился?»

Странно было думать, что и в этот светлый день живет, дышит рядом чья-то ненависть. Сережа отвернулся. Два широко открытых глаза издали обдали его теплом. «Дашунька! Пришла, значит!»

Сережа понял, что этих двух глаз и не хватало ему сегодня. Чья-то душа должна была сейчас беззаветно и бескорыстно радоваться его радости. До этой минуты Сережа и на митинг, и на ораторов, и на переходящее цеховое знамя смотрел как бы со стороны. Два Дашиных глаза сказали ему: «Это ж все — и люди, и речи, и снег — для тебя, ради тебя, твое».

«Беленькая стала. Повзрослела. И как глядит!» — думал Сережа.

А Даша пользовалась случаем, чтобы, затаившись в толпе, наглядеться на это единственное для нее лицо. И больно ей было и сладко следить, как светло и беспечно смотрят ореховые глаза, как улыбаются те самые губы, как садятся снежинки на русые Сережины брови. Когда митинг кончился, Даша вместе с другими задержалась у входа в модельный. К ней подошел Евстигней. Она давно замечала, что он старается заговорить с ней.

— Думают, мы не знаем, зачем это делается,— сказал Евстигней.— Это ж ему все учетчики подстроили, чтоб увеличить нормы. Знаем мы эту механику! Не маленькие. Теперь как бабахнут нормочки! За эти его рекорды рабочие модельного еще наплачутся!

— И все ты врешь! — накинулась на него Даша.— И никто не наплачется. Облегчается работа от его кокиля. И спроси кого хочешь, как Сугробин работает! Никакие не учетчики, а у самого голова золотая да руки золотые, да себя для завода не жалеет. А ты пьешь да врешь! Пьешь да врешь!

— Гляди, как «детский сад» разошлась! — удивился Евстигней.— Тиха, тиха, а нá вот тебе... Слежу я за тобой, никак не выслежу: с кем ты, тихоня, гуляешь? Уж не с Сугробом ли?..

— Да он и не глядит на меня! — возмутилась Даша.— Нужна я ему!

— И то верно! Что ему глядеть на тебя? Он жмет за самой Игоревой!

«Значит, правда... Знала я, знала, что ему не до меня!» — отчаялась Даша, но ответила мужественно:

— Ну и что ж?! И не твое дело глядеть, за кем он ходит. Глядел бы лучше, как работает. А ты-то что за мной ходишь? Отступись ты от меня!

«А вдруг он услышит? — подумала она и тут же шестым чувством почуяла: — Он слышал. Он здесь».

Сережа и в самом деле слышал. Он шагнул через порог и подошел к Евстигнею:

— Ты чего тут обижаешь маленьких? Давай катись!

Евстигней был один, а за спиной Сережи стояли товарищи и маячила медвежья фигура Кондрата.

— А чего мне тут делать?—И, поплевывая, чтобы доказать свою независимость, Евстигней поплелся из цеха.

— Рабочий называется!—сказал вдогонку Сережа.— Не уходите, ребята. Из кинохроники придут, просили дождаться.

— Сережа, а нас возле тебя снимут?

Девушки окружили Сережу. Даша не поднимала ресниц. И не глядя, видела она его губы—те самые губы, что чуть не коснулись ее губ. И, не глядя, видела его руки, те самые руки, что однажды ласкали и гладили ее ладони. «Неужели и вправду он с Игоревой? Нет, быть не может! А отчего не может? Красивая, знаменитая, гордая...»

Даша избегала встречаться с Сережей, но думала о нем непрерывно, и мысли все разрастались, и в мыслях он уже был необыкновенно красивым, совсем взрослым, единственным, заполнившим весь мир. И вот он здесь— худее, строже, меньше ростом, но еще лучше, еще особеннее. Чужой и близкий, он стоит рядом, и нет на свете желаннее. Она подумала, что он услышит ее мысли, так же как услышал ее слова, что поймет, как жадно хочется ей смотреть на него, помертвела от стыда и сбежала с крыльца. Она шла не дорогой, а напрямик, по нетоптаному снегу, лишь бы скорей дойти до деревьев и скрыться с глаз.

— Даша!—услышала она его голос.— Куда ты, Даша?

В два шага он очутился рядом с нею.

«Не растеряться перед ним! Не унизиться!» Она нашла в себе силу остановиться, посмотреть в лицо, спокойно спросить:

— Что, Сереженька?

— И не поздравила меня!

— Как не поздравила? От наших, от чугунщиков, поздравляли... Значит, и я...

Он смотрел на ее лицо: юное и бледное, оно все светилось, как нетронутый снег. На черном платке белые звезды снежинок. Он поднял руку, стряхнул снежинку. Даша отодвинулась. Он засмеялся.

— От чугунщиков поздравляли, а у самой-то у тебя поздравить рука отвалится?

Она, опустив ресницы, не глядя, протянула руку. Лицо было неподвижно, только губы полуоткрылись да ноздри

вздрагивали. Были в ней и страх, и доверие, и детская беспомощность.

— Даша...— сказал Сережа, жалея ее и радуясь своей власти над ней.— А ну, погляди на меня.

Глаза не умели врать — недаром она прятала их; на один миг взглянула на него — синими, испуганными — и сразу отдала себя.

«Любит, любит!» — понял Сережа.

Но она вскинула голову, повернулась и быстро пошла дальше.

— Даша, куда же ты? — Сережа остановил ее за руку.— В кино не ходила, в театр не ходила. Может, на каток сходим?

Она посмотрела с тем строгим достоинством, которое так удивляло и привлекало его к ней.

«Как повзрослела! Другая совсем. И все та же. Я же знал, знал, что будет такая! Только стала еще лучше, чем ждал и думал».

— Некогда мне по каткам ходить. Я ведь и в десятилетке вечерней, и в школе передовиков. До свидания, Сереженька.— Она пошла еще быстрее. Следы были маленькие и чуть косолапые, как у ребенка.

Это соединение детской беспомощности и женского гордого достоинства так хорошо было, что Сережа замер, глядя ей вслед.

«Что же я думал? Чего ждал? Она здесь, рядом, ходит, дышит, любит! И может вот так совсем уйти из гордости. Только вот и останутся следочки!»

Ему захотелось снова догнать, остановить, сказать сразу обо всем, но она уже поравнялась с гурьбой женщин и пошла с ними.

«Хорошо как!» Сережа не мог понять, что именно так хорошо и что вдруг случилось.

Утром тоже было хорошо. Утром был кокиль, и новенькие отливки, и снег, и ребята, и все было само по себе, а славная девушка Даша жила и ходила где-то рядом, но в стороне. И вдруг Даша лучше всего и в центре всего, вдруг и снег, и кокиль, и его успех — все лишь для Даши!

«И любовь выпадает, как снег, вдруг, разом»,— думал Сережа, и все смотрел Даше вслед, и все удивлялся. Девушки бегали за ним. Случалось, резкого голоса, плохо причесанной головы, некрасивой шляпки было достаточно, чтобы ему расхотелось видеть девушку. А тут дешевый черный платок на голове — мило. Пальтишко старенькое, короткое — тоже почему-то милее милого. Ноги на ходу косолапит, как ребенок,— еще милее и трогательнее. «Почему уходит? — затосковал Сережа.—

Другие и не любят, а сами набиваются. А эта... ведь так поглядела... ведь любит! А уходит! Характер такой в ней? Гордость такая? Эх, упустил! Догнать, уговорить. Да ведь не пойдет... Отказ тебе, Серега, отказ! Хоть бы поглядела, оглянулась! Нет!»

— Сережа! Тебя Гуров ищет!—крикнул Синенький.

Гуров сидел в своем расписном бонбаньерочном кабинете и мял в руках бумаги.

— Так что, Сергуня, у меня вот какой к тебе разговор... Так что, ты сам понимаешь, последние дни месяца... А ты тут, понимаешь, рванул на тысячу! Ну, откуда я тебе возьму? Перерасход же фонда зарплаты. Цех премиальных лишится. Ребята обидятся. И все такое... Давай я тебе распишу эту тысячу на несколько месяцев.

— Ну что ж,—легко согласился Сережа.—Мне лишь бы к лету... Толика надо в Крым на все лето.

— К лету можно,—с облегчением вздохнул Гуров.— К лету все выпишем... Ли то у нас, ли то в сберкассе, тебе все одно. Тебе даже лучше. И рабочим не так обидно... Ведь нормы-то теперь хочешь не хочешь, а пересматривай! И все ведь через тебя. Обида, конечно, у рабочих. А тут еще перерасход фондов. Цех премии лишится—и опять же через тебя!

Сереже не приходило в голову смотреть на дело с этой точки зрения. «Пересмотр норм, перерасход фондов. На обиде рабочих спекулирует. А не на тебя ли рабочие обижаются?» Он заторопился:

— Я же соглашаюсь.

— А еще я хотел тебе сказать,—ободрился Гуров,— киношники хотели прийти. Так они не придут. Не жди.

— Я их не звал!—слегка обиделся Сережа.—Я их сам отклонял. Мне время дорого. Только что же это они: то просят, уговаривают—жди, приедем,—то вдруг не надо?

— Шуму, шуму поменьше!—наставительно и строго сказал Гуров.—Зряшная все это шумиха.

Дома Сережу встретили торжественным пирогом.

— Ну как, дед, признал ты меня теперь за человека?—спросил Сережа.

Василий Васильевич молча налил заветной наливки, настоянной на вишнях своего сада.

Одну модель Сережа принес показать Толику:

— Ну, гляди! Ты все допытывался, какая. В этой модели, если хочешь знать, твое здоровье! Заработаю тебе на Крым. Поедешь теперь на все лето с матерью.

Приходили знакомые, поздравляли, но к вечеру сказалось напряжение дня. Охмелевший от работы, от удачи, от поздравлений и вина, Сережа ушел в заднюю комнату, где спал вместе с дедом, и спозаранок улегся в постель.

Как только он смежил веки, в памяти всплыли молодой, легкий, сияющий снег, и такие же легкие, сияющие отливки, и над всем этим кроткое и гордое лицо Даши.

«Хорошо, все хорошо»,— подумал он и вспомнил, что обещал этот вечер провести с Игоревой. Месяц назад он пришел к ней, стал целовать ее, потому что она этого ждала, а ему хотелось чувствовать себя взрослым. Сперва он снова испытал то разочарование, которое пережил весной, и снова сказал про себя: «Холодная штамповка». Потом Игорева прижалась к нему тонким, умелым телом. После этого он ночевал у нее еще несколько раз. Он и гордился тем, что он уже мужчина, и досадовал на себя, и минутами брезговал и собой и ею. «Идти к ней сегодня? Нет». Ее подкрашенные губы и короткие смешки никак не помещались в этом снежном и белом дне. «Зачем я все это затеял? — упрекнул он себя.— Перед ней я не виноват. Не первый я у нее и не добивался ее, сама она за мной гонялась. Хорошо, что не обещал ничего и ни разу не обмолвился про любовь.— Неприятное ощущение все же не проходило.— Перед кем виноватюсь? Перед собой? Перед ней... перед Дашей? Вины нет, а думать нехорошо. Ну, и не буду думать. Было и прошло!»

Он с наслаждением вытянулся на кровати и снова, уже в полудреме, увидел отливки, и белый снег, и маленькие следы на белом снегу. И вдруг представилось ему, что не Игоревой, а Даше однажды запрокинет он назад голову. Сердце сразу забилось сильно, словно заглянул в глубину. С Игоревой никогда этого не испытывал. У той и глубины-то нет никакой!.. А Даша? За руку ее взять — сердце забьется. В глаза поглядеть, как сегодня,— и то забьется...

Вспомнил, как шла, как убегала от него,— пугливая, милая, своя,— как печатала следки на снегу. Стало трудно дышать от радости, приложил руку к сердцу, сам удивился, как бьется. «Отпечатала, отпечатала следок... И ступать-то еще не научилась, а уже сколько гордости, сколько характера! Высоко понимает о жизни! Бежит от меня. Все равно я ее настигну. Настигну! — Уже засыпая, теряя нить мыслей, подумал: — Что же, что такое отличное есть на свете? Даша, снег, отливки».

Сережа засыпал, а в эту минуту Гуров разговаривал по телефону с Вальганом:

— Как же теперь быть-то, Семен Петрович? Уговорил я его нонешнюю тыщу расписать на несколько месяцев. А если он завтра опять тыщу оторвет? Ведь по закону мы ему шесть месяцев должны платить по теперешним расценкам. Говорят, Гуров — консырватор, говорят, Гуров косный, а как я должен теперь поступать, если он у меня

будет рвать в день по тысяче? Ли то рекорды, ли то фонд зарплаты!

— Постой, постой,— одернул его Вальган.— Что ты паникуешь?

— Так ведь тут Карамыш бегает. Говорит, самим давно надо было организованно внедрять кокыль. Не очутились бы, говорит, в таком положении! Так ведь разве я был против этого кокылю? А как я его буду внедрять, когда у меня ни фондов, ни планов — ничего нету! А теперь я, выхожу, консырватор! А что же я, консырватор, должен делать, если он начнет отрывать на этих моделях в день по тыще?

— Ты что, приклеил Сугробина к моделям траков?— спокойно спросил Вальган.— У нас сложный министерский заказ по литейному оборудованию. Перебрось Сугробина на этот заказ. Рваческих настроений поощрять не будем. Так и...

Он оборвал на полуслове — позвонили по ВЧ.

— Тут газетчики возмущаются,— узнал он голос Гринина.— Говорят, у вас там чудеса в модельном, молодой рабочий внедряет кокиль. Кокиль дает невероятный скачок в производительности. Это ж дело принципиальное, а ты против широкого показа и опубликования. Что за дикая линия?

— У меня дикая линия? Любят у нас разводить шумиху! Ну, отлили в кокиль два десятка моделей! Нельзя же, не проверив, ать-два, делать из этого мировое событие. Людей же портим. Показное рекордсменство осуждено партией.

— Ты на партии не спекулируй!— взорвался Гринин.

Вальган давно видел в Гринине недруга. Но сейчас, на судьбе Сугробина, впервые опробовалась и так резко прозвучала непримиримая враждебность.

— Я тебя не первый год знаю, Семен Петрович,— продолжал Гринин.— Кто-кто, а ты по пустякам умеешь нашуметь громче громкого. А когда рабочий тычет завод носом в косность, тебя вдруг скромность обуяла, замолчал.

— Я сам знаю, когда мне молчать, когда не молчать!

...Сережа засыпал блаженно и покойно, не подозревая, какие противодействующие силы ожесточенно скрещиваются в эту самую минуту над мирной его подушкой, над сонной его головой.

На мгновение мелькнуло в его памяти неприятное, тревожное, не совсем ясное — разговор с Гуровым о пересмотре норм, о перерасходе фондов, о чьих-то обидах.

Но уже посыпался перед глазами тихий чистый снег, и ощущение счастья, любви, полноты жизни охватило его, и уже в полусне подумалось: «Все равно все перекроет... белым, белым снегом».

Глава XXII

ПЕРЕД ТРЕТЬИМ ЗВОНКОМ

Многое изменилось в отношениях Тины и Бахирева с того времени, когда они впервые вошли в затхлую комнатушку. Исчезла та ясность, что когда-то позволяла им, ни от кого не таясь, вдвоем часами бродить по цехам, обдумывая перепланировку завода. Оба они не умели лгать, и вынужденная ложь заставляла их пугаться и чужого приметливого взгляда, и собственных, все выдающих лиц. Они договорились не встречаться на заводе. Для встреч оставались считанные минуты в хибаре. Но неумолимый стук маятника длинных, старых часов заставлял Дмитрия думать лишь о том, чтобы утолить жажду, которая делалась тем сильнее, чем больше он думал о ее утолении.

Они не были людьми односторонними, но односторонней становилась их любовь, лишенная возможности естественного развития. Тина повторяла себе: «Все скоро кончится. Переживутся тяжелые для него дни, и я прощусь с ним».

Она жила в ожидании, жила наготове, как человек, сидящий на вокзале,— близок час, раздастся третий звонок, и придет пора сказать «прощай» всему, что дорого. И, как человек на вокзале, она не видела, не замечала того, что происходит вокруг. Сутолока людей и вещей — какое это имеет значение в минуту прощания с любимым, перед третьим звонком?

О том, как повернется ее жизнь после разрыва и с Бахиревым и с Володей, она не думала. И страшно было думать, и уже не имели значения те или иные отдельные обстоятельства будущего: и так и так одиночество...

А он разрывался меж ночными сменами и дневными работами в лаборатории. Он шел к цели на предельном напряжении и боялся одного — как бы не сбиться с ритма, не сорваться.

— Сейчас не надо ничего менять. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Потерпи еще немного. Ведь завод перед катастрофой! Дай закончить с противовесами. Дай мне выбраться из этой петли! Тогда все выясним и все решим.

Но что он хотел выяснить и как решить?

Она видела одно решение — разрыв. Если даже она решится увести его от семьи, если даже он сам пойдет на это, где-то в глубине души он не простит Рыжика ни себе, ни ей — снова все о том же думала она. Он не из тех, кто легко перешагивает через судьбы близких. Он привязывается глубоко, и горе для таких, как он, когда две привязанности тянут в две противоположные стороны.

Она все понимала, но не могла весь этот сложный клубок судеб разматывать перед ним сейчас, когда он не знал ни покоя, ни отдыха.

Оставалось ждать и ловить считанные минуты затянувшегося прощания.

Приближался срок защиты Володиной диссертации. С его возвращением она должна уехать от него. Она хотела снять комнату, а пока с особым старанием приводила в порядок гнездо, которое собиралась покинуть. Побелила потолки, покрасила двери и подоконники. Перечинила белье и разложила его в шкафах в строгом порядке: чтоб все у него было под руками. Каждая салфетка в этом доме когда-то служила любви и радости, поэтому теперь каждая салфетка становилась утратой. Со страхом думала она о том часе, когда все скажет Володе, и оставит его одного, и сама останется одна. Он не писал ей около десяти дней, а потом телеграммой вызвал в Москву. Она нашла его в больнице. Володю подвел очередной «бугровский рывок». На состязаниях он выступал от имени того института, в котором работал над диссертацией. У него не было времени на тренировки и был избыток беспечной самоуверенности. Он неудачно прыгнул с шестом в высоту и в падении повредил позвоночник и тазобедренный сустав. Несколько месяцев предстояло ему вылежать, не вставая. Домой его внесли на носилках. Он лежал в постели, беспомощный, как младенец, но розовощекий, цветущий и озабоченный одним:

— Ты не будешь любить меня меньше оттого, что я заболел? Я поправлюсь. Доктор говорит, что через год и следа не останется. Только со спортом покончено. Ты не разлюбишь меня больного?

Страх за него, необходимость щадить и молчать обрушились на нее внезапно. Сейчас нельзя было ни сказать ему правды, ни оставить его. Она принялась нежно ухаживать за ним, и постепенно то, что вначале наполняло ее ужасом, стало ее отрадой. Само собою отсрочивалось то, к чему она приговорила и себя и мужа. Ей страшно было представить, как, расставшись с Бахиревым, она, никому не нужная и одинокая, изо дня в день будет входить в пустую комнату, где никто не ждет ее и никто не просияет ей навстречу. Болезнь Володи сделала

ее заботы необходимыми ему и в то же время исключила физическую близость меж ними. Он стал ее больным ребенком.

Все считали ее образцовой женой. И сама она еще недавно думала, что любит Володю со всей полнотой и самоотверженностью. Но только теперь она узнала, как отзываются на каждое движение любимого, как ловят каждое его желание, как тоскуют о нем каждую секунду разлуки. И только теперь она поняла, как обделяла и обижала Володю. И чем острее было ее чувство вины перед ним, тем самоотверженнее становились ее заботы. Она рада была готовить лечебное варево из сливок, меда и алоэ, кормить Володю с ложки и накладывать компрессы, делать массаж. Она рада была, встав до рассвета, стирать и мыть, доводя себя до изнурения, а квартиру до неправдоподобного, рождественского блеска. Она и казнила себя этими заботами, и безмолвно просила ими прощения у Володи.

Она становилась с ним нежнее, чем прежде, еще и потому, что теперь лучше понимала его. Раньше, когда он говорил ей: «Ничего в мире не надо, только бы ты была рядом»,— слова пролетали, не задевая ее. Теперь, когда он говорил это, она вспоминала, с каким переполненным сердцем она сама повторяла эти слова Бахиреву.

Володя поправлялся быстро, а она и желала ему выздоровления, и все боялась, что, когда исчезнут последние следы болезни, не будет причины для обмана и для молчания и придет тот час, когда надо сказать все и расстаться. Она боялась этого грозного часа, боялась студеного одиночества. Призрак давнего сиротства вставал перед ней.

А Володя дивился ее неустанной заботе и, счастливый, все повторял ей:

— Меня вылечивают не врачи, а твоя любовь.

Ее отношения с Бахиревым еще больше осложнились с приездом Володи.

Каждая встреча теперь покупалась прямою ложью, сказанной под доверчивым взглядом. Тина все реже приходила на свидания, и Дмитрий принимал это за охлаждение.

Любовь, начавшаяся счастьем, приносила все больше тягот и горя, но, казалось, сама горечь делала ее острее.

Запутавшись в клубке противоречивых чувств, Тина утратила прежний интерес к заводу. В те дни, когда все в ее жизни было ясным, здоровым, она вкладывала в работу страсть и энергию. Ей вспоминалась ночь в комнате технологов, над кривыми брака. Она была счастлива тогда оттого, что удалось наконец найти причину

трещин блоков. В те дни какие-то блоки могли сделать ее несчастной или счастливой! Что ей теперь до трещин блоков!.. Трещина теперь в ней самой и в судьбах двух самых близких ей людей... Равнодушно смотрела она на блоки, гильзы, маховики, и только привычная методичность избавляла ее от срывов и промахов в работе.

Тина сидела на скамеечке в боковой заводской аллее, смотрела на вечерний свет первого морозного дня, на розоватые дымы и ждала Бахирева — он должен был выйти из моторного цеха. Она хотела предупредить его, что опять не сможет прийти на очередное свидание.

Стоило Тине представить себе, как в конце этой заснеженной аллеи покажется он, как он улыбнется ей той особой, покорной, и радостной и жадной, только ей предназначенной улыбкой,— она забывала все сложности судьбы. Но он не показывался. За спиной она услышала юный певучий голос:

— Здравствуйте, Тина Борисовна!

— Даша!

С того дня, когда они вместе искали, откуда «выскакивает» брак, девочка из стержневого полюбилась Тине. От черного платка повзрослевшее личико казалось еще белее и чистосердечнее.

— Ты изменилась, Даша.

— Похудела?

— И похудела, и побледнела, и повзрослела... И стала милее.

— Ой, уж вы скажете! — Даша присела рядом.— Взрослеть-то мне уж пора бы. За разум пора взяться. Наши комсомольцы в мои-то годы в десятом классе, а я только к восьмому приступила.

Тина слушала Дашу и сквозь махровые от снега ветки кустов следила за поворотом главной аллеи, ждала Бахирева. В аллее показался Сережа Сугробин. Он шел, сосредоточенно глядя под ноги, потом поднял голову, и вдруг все лицо его изменилось необъяснимо. И жалость, и нежность, и торжество, и покорность, ту самую, так хорошо знакомую Тине покорность любящего, прочла она в его глазах.

Даша почувствовала взгляд, оглянулась. Краска разлилась по лицу; она пересилила себя, опустила ресницы, сжала губы и сидела не шевелясь.

«Так вот оно что! — повторила про себя Тина.— Но как все у них написано на лицах! Неужели и у нас с Митей так же?»

Сережа издали поздоровался и окликнул:

— Даша, можно тебя на минуту? Дело есть.

Даша встала чинно, не подняв ресниц, подошла к

Сереже, перемолвилась несколькими словами и так же чинно вернулась к Тине. Только когда Сережа ушел, она передохнула, зашевелилась.

— Ну что, Дашуня?—нежно спросила Тина.— Что ж ты мало с ним поговорила?

— Так ведь он... Он не про дело.

— Про что же он, Даша?

— Он в кино приглашал.— В тихом голосе прорывалось счастье.

— А ты?

— Не хожу я с ним. Ни с кем не хожу.

— Почему?

— Ведь он, Тина Борисовна, это просто так, для времяпрепровождения.

— А ты как?

Даше и хотелось открыться, и она не могла выговорить ни слова. Тина взяла ее за подбородок, приподняла Дашино лицо, заглянула в него.

— Дурочка моя! Так чего же ты бежишь от него? Ведь и он любит тебя.

Даша отодвинулась, в страхе замахала руками.

— Ой, нет, нет, нет! Ничего этого нет!

— Что ж ты испугалась? Я не зря говорю, Даша. Я вижу.

— Ой, и не говорите мне этого! Он с другой... из наших же, из стерженщиц. Я уж сейчас сама к себе применилась. Уж знаю, что не любит, уж так и хожу!

Она боялась слушать Тинины слова и вдруг притихла и сказала шепотом:

— Только он последнее-то время ни с ней, ни с кем из девчат... ни с кем никуда. Одну только меня приглашает и приглашает...

— Ну, вот видишь! Что ж ты бежишь от своего счастья?

— Если кто кого любит, то от этого не убежишь. Я правильно о любви понимаю?

— Нет, не правильно. Женщина должна воевать за любовь.

Даша решительно подняла голову.

— А разве ж я не воюю?

Тина удивилась:

— Как же ты, Дашуня, воюешь?

— Ой, уж просто всячески! Уж вот до чего дошла — маме денег не отослала! Раньше одно было мечтание: начну маме слать ежемесячно! А нынче... я нынче платье себе заказала к Новому году... Если б не он, разве бы я допустила это!

— Какое же ты платье шьешь себе, Даша?

— Электрик цвет шью. В ателье заказала. Там зеркало в три створки с полу доверху. Как глянешь, так даже со спинки все видать.

— Мама не рассердится. Она и сама тебе заказала бы платье для такого дня, если б могла.

— Платье — это так... Разве я не понимаю? Ведь сколько на заводе девушек — и фасонных и красивеньких! Который парень сам негодящий, он этим может обольститься. Поглядит на негодящего девчонка пофасоннее — он уж и рад до смерти. Сереже это все не в диковинку. За таким, как он, каждая гонится. О другом надо думать.

— О чем же надо думать? — спросила Тина, дивясь твердости суждений девушки с полудетским личиком.

Даша сказала секретно:

— Я о чем задумала? Может, и нехорошо, а скажу. Иногда лежу ночью и думаю... Хоть бы на портрете, да с ним, с Сережею, рядом. Я задумала Игореву обогнать. Я учиться хожу. Я его прямо всей своей жизнью завоевываю. Матери денег не отослала, вот до чего...

— Пойдешь ты в ателье — возьми меня, — сказала Тина. — Я посмотрю, чтобы ты всех лучше была на балу-маскараде. Платье у тебя синее, я б тебя васильком нарядила. Венок на голову. Васильки в цвет глаз, и колосья в цвет волос. Хочешь?

— Ой, как не хотеть! Да откуда же это все взять?

— Я сама тебя одену.

Тина представила Дашу на ее первом жданном балу, представила, как подходит к ней Сережа, потрясенный ее прелестью, и вспомнила все смятение своего жданного бала. Сравнила Дашину неприступность и свою искореженную любовь. И рядом с Дашиным близким счастьем отчетливо представился ей свой неизбежный крах. «Две дороги — и два конца!»

Сама не заметила, как вырвалось:

— Ты не осудишь меня, Даша?

Даша только тихо ахнула от неожиданности. И тонкое лицо Тины, и особенный нежный запах, и то, как уважительно и послушно говорят с ней и начальник цеха, и сам Бахирев, вызывало у Даши восхищение.

«Вот уж на кого хотела бы походить, — не раз думала Даша. — Да разве достигнешь?»

И вдруг... «не осудишь?»

— Батюшки, Тина Борисовна! Да за что же это? Ведь лучше-то вас нету женщины на всем заводе!

Тина очнулась.

— Сама не знаю, что мне подумалось. — Она поднялась. — Так насчет платья мы сговорились. — Улыбнулась измученной улыбкой. — Однажды мне не удался вот такой

же вечер. А он любит тебя. Слышишь? Я все в этом понимаю. Он еще больше будет любить, если ты всегда останешься вот такая.

Она сжала Дашину руку и ушла.

Даша сидела, пораженная, осчастливленная. «Если уж она сказала, значит, не брезжится мне это. Неужели сбудется, что она мне сказала?..»

Даже про себя она боялась произнести слово «любовь».

Тина плелась по аллее, завидуя и Даше, и Сереже, и домам, и деревьям — всему, кому не приходилось лгать.

За поворотом показался Бахирев. Он не ждал увидеть ее и, забывшись, поднял руку, чтобы обнять.

Тина отшатнулась.

— Митя, что ты! Увидят!

— Ну вот! Даже не обрадовалась...

— Я ждала... Но я испугалась.

— Все боишься?

— Как не бояться? Можно скрывать и обманывать год, ну три года! Но не всю жизнь. Я не могу больше!

— Подожди немного...

— Чего же ждать?! — Дашина юная, обращенная в счастливое будущее любовь подчеркнула тупик, в который зашло Тинино изломанное чувство. Слова рвались с губ: — Родной, пойми, нам нечего ждать. Расстаться тебе с семьей — четверых сделать несчастными и самим не найти счастья. Сказать им все и сохранить твою семью для виду, для детей? Превратить жизнь в пытку? Лгать? Невозможно лгать до бесконечности. Нам остается одно — разлука.

— Все, что хочешь, но не это. Я согласен на любую дьявольщину, лишь бы быть с тобой.

Она увидела, как потемнело его лицо, трогательно просиявшее при встрече.

«Зачем я испортила ему эту минуту?! У него так мало радости. И много ли таких минут у нас впереди?»

Он кротко спросил:

— Чего ты хочешь, Тина?

— Чтоб ты забыл сейчас все, что я сказала. Чтобы ты опять улыбнулся. У меня на этом свете одно желание: чтоб ты меня любил.

Улыбка, робкая, виноватая, любящая, возвращалась к нему медленно, и робость, несвойственная ему робость, появлявшаяся лишь возле Тины, как всегда, особенно взволновала ее.

«Любит!.. Мой. Кому я завидовала? Даше? Но ведь у нее только Сережа! Его жене Кате? Быть возле него и не

быть любимой — есть ли судьба несчастнее? Он любит меня, и нет большей радости на свете, и нет женщины счастливее меня».

...И уже не было ни колебаний, ни усталости.

Короткое свидание их все же состоялось в этот вечер. Торопливая нежность под угрозой неумолимой минутной стрелки не утешила, не успокоила.

Любовь их, оторванная от естественной почвы и втиснутая в четыре стены, задыхалась, слепла, горбилась и все же продолжала расти.

На другой день Тина обещала привести в гости к Володе его старую институтскую приятельницу Нину. Нина стала специалистом по металлокерамике и недавно поступила на завод. Тина зашла за ней после работы.

Нина жила в общежитии, в маленькой квадратной комнате. Кровать, накрытая белым, накрахмаленным до жестяной твердости покрывалом. Стопки книг, уложенные аккуратными пирамидками,— большие внизу, маленькие наверху. Флакончики духов, расставленные строго симметрично, по вершинам точнейшего равнобедренного треугольника. Все будто вымерено линейкой, угломером. И во всем какое-то жестокое геометрическое одиночество.

«Там, где люди любят, смеются, плачут, не может быть такой чертежной точности вещей! Но так же и у меня будет, когда расстанусь с Володей,— поняла Тина.— Как страшно, студено!»

Нина, неуклюжая, полногрудая, спокойная, густым голосом жаловалась на металлокерамические втулки:

— Что-то с ними невероятное. Посадишь в печь, а они вдруг примутся расти, словно пасхальные куличи. Припек выше всяких норм. До причины не докопаюсь, и посоветоваться не с кем: на заводе я одна знаю металлокерамику.

Когда они подъехали к Тининому дому, Нина странно заволновалась: стала поправлять воротник, пышные волосы, шапочку, умолкала на полуслове, не отвечала на Тинины вопросы.

Володя уже мог передвигаться по комнате в особом корсете, скрытом под одеждой. Здороваясь с ним, гостья раскраснелась, рассмеялась грудным, волнующим смехом.

— Ну, покажись, какой ты стал! Такой же, все такой же! А Тина говорит, болеешь.— И тут же властно обратилась к Тине: — Теперь показывай дом!

Она придирчиво осматривала несложное Тинино хозяйство.

— А ты все та же — бессменный староста курса!— смеялся Володя.— Такая же придира и неуступа! — Он

оживился, и в манерах его появилось что-то беспечное и балованное, что-то от прежнего любимца стадиона.

Увидев на окне цветы алоэ, Нина удивилась:

— Это ты разводишь? Сама? Для него? И сама делаешь ему питье? Не подумала бы про тебя.— Бесцеремонно открыла бельевой шкаф.— И носки все перечинены. А почему два чертежных стола?

— Я иногда помогаю Володе. Я же люблю чертить.

Закончив осмотр, гостья прошла вместе с Тиной в кухню, села на табуретку, устало прикрыла веками бесцветные глаза.

— Ну что ж... Ты стала ему хорошей женой.

«Весь этот осмотр нужен был, чтобы убедиться в том, какая я жена»,— поняла Тина.

— Теперь ты обязана его выходить,— строго заключила Нина.— Ведь он у нас был всех здоровее, всех веселее... И всех добрее... Один он у нас такой был.— Она тяжело поднялась.— Пошли к нему. Корми нас, пои чаем.

Пока Тина накрывала на стол, они сидели на диване и разговаривали.

И Нина снова разгорелась, развеселилась лихорадочным весельем, а Володя, казалось, чувствовал себя с ней свободнее, чем с женой. С Тиной он всегда был начеку, настороже, в напряжении, а тут развалился на диване баловнем. И Тина поняла, как неповторим, желанен и недостижим Володя с его красотой, добротой и счастьем для этой одинокой, обойденной любовью женщины. «Он для нее такой же единственный, как Митя для меня».

Слишком чистая и хорошая, чтобы выйти замуж без любви, слишком непривлекательная, чтобы вызвать чье-нибудь настойчивое чувство, Нина до сих пор хранила память о своей первой и, наверное, единственной любви.

А Володя бессознательно купался в волнах этой неутоленной женской привязанности и отдыхал от тревожного чувства к жене.

Тина, взволнованная, ушла в кухню.

Она готовила ужин и думала: «Может быть, ему лучше с ней, с той, которая его любит столько лет? Наступила та минута, когда нужно все сказать и уйти. Отдать Нине Володю и этот дом, а самой уйти в геометрическое одиночество Нининой кельи?»

В комнате звенел взволнованный женский смех,— так смеется любимому женщина, переполненная любовью и смятением. Так никогда не смеялись в этом доме!..

За ужином женщинам было неловко друг с другом, и лишь Володя оставался довольным и беспечным. Чтобы уйти от неловкости, Тина стала читать вслух только что

полученное письмо. Это был ответ на ее вопросы о технологии кокильного литья.

Месяц назад она написала в один из крупнейших сибирских научно-исследовательских институтов — спрашивала о некоторых деталях в технологии кокильного литья. Она ожидала официального ответа, но получила дружеское письмо. Кафедрой этого института теперь заведовал профессор, у которого Тина училась в студенческие годы.

«Я очень хорошо помню вас,— писал он ей.— Меня всегда удивляла ваша мужская хватка в работе в соединении с женской ажурностью исполнения. Пожалуй, это как раз то, что необходимо для кокильного литья и для разработки новейших методов металлургии. Я считаю, что в наше время таланты решают все, и соответственно этому принципу набираю сотрудников во вновь организованную лабораторию. Если бы вы захотели работать у меня, я был бы искренне рад. На первое время мы сумели бы предоставить комнату в общежитии».

— Значит, он считает, что ты талант! — сказала Нина.

— Конечно! — подтвердил Володя.— Еще в институте все знали, что Тина талантлива.

— Какой у меня талант!..

Но Тина задумалась. В институте ее называли «талантливой студенткой», на заводе — «талантливым инженером». И сама она жила с молчаливой, но неизменной уверенностью в том, что многое может сделать лучше, чем другие. Она могла самозабвенно увлекаться делом, знала вкус к точной и сложной работе, не терпела неумех, и слово «недотепа» было ее худшим приговором.

Почему же так мало сделано?.. Мальчик Сережа Сугробин сумел сделать для завода больше, чем она... Все делала не в полную силу... Почему?

Оледенение, охватившее ее после гибели отца, постепенно прошло, но оставался след, обмороженное место, рубец, сковывающий движения. Угнетало неразрешимое, разъедающее душу противоречие между смертью отца и жизнью, кипевшей вокруг. В тот день, когда этот гнет сняли с души, она думала: «Вот теперь заживу в полную силу!» Она вспомнила прилив энергии тех дней, радостное желание действовать, уверенность в том, что теперь для нее нет непосильного! Куда же ушло потом все это? Растерялось по чужим парадным, задохлось в тесноте хибары, запуталось в клубке лжи...

Вот разница между ней и Бахиревым, между способностями и талантом. Ничто не в силах отвлечь его от работы. Земля может гореть у него под ногами, и камни могут валиться ему на голову, а он будет неизменно

топать своей тяжеловесной поступью в одном и том же направлении — на завод.

— Профессор сказал, что Тинина институтская дипломная работа могла бы стать разделом диссертации. Вот какая у меня жена!

Они все еще говорили о ее «таланте».

— Ну что ты, Володя! Ну какой у меня талант! Для талантливых людей их дело прежде всего. Тарас Шевченко, оторванный от семьи, от родных, закованный в кандалы, все-таки пишет! Бетховен глохнет, но создает свои симфонии! Румынский художник Лукьян слепнет, но рисует! Вот что такое талант! А я? Я просто женщина... Тот же кокиль начала с увлечением, а как налетело...

— Что налетело? — удивился Володя.

«Проговорилась.— Тину покорежило от стыда.— Ложь, ложь, ложь... Даже невинный кокиль оборачивается ложью. Грязными руками что ни тронь...»

— Твоя болезнь налетела,— ответила она и, поспешно отвернувшись, переменила тему: — Хорошо я зажарила отбивную? А за маслинами я чуть не час простояла в очереди.

Она пыталась облегчить чувство вины хоть как-то, хоть чем-то и сама себя уличила: «Заглаживаю отбивными котлетами? Рада бы загладить всем, чем могу!»

Прощаясь с Тиной, Нина еще раз повторила:

— Да... Ты стала Володе хорошей женой.

Уходя из их теплого дома в комнатушку, где ее ждало застарелое одиночество, она обернулась с порога и улыбнулась Тине жалобной и благодарной улыбкой.

«Благодарность? — подумала Тина.— За что? За Володю? За то, что я забочусь о нем? За то, что ему хорошо со мной? Золотое Нинкино сердце!»

Нина ушла, и еще отчетливее стало Тинино ощущение, будто не по праву хозяйничает она в этом теплом доме. Она пыталась успокоить себя: «Все здесь сделано моими руками... Нет! Не сделано главного. Не ответила любовью на любовь, правдой на правду. Надо сказать. Не сегодня... завтра надо сказать и уйти. Этот срок наступил. Но как начать?»

Она перетирала посуду в кухне, а Володя по привычке уселся рядом на поставленной набок табуретке. Тина боялась взглянуть в его ясное лицо. Она низко нагнулась над блюдцем, знакомым, голубеньким, в белых цветочках. Но и на блюдце тоже было больно смотреть. И у блюдца ясное лицо?

— Нина очень хорошая, правда, Володя?

— Бессменный староста курса! — засмеялся он.— Разве у такого курса, как наш, мог быть плохой староста?

— Она тебе нравится?

— Конечно, нравится.

— Вы так весело разговаривали... Смеялись... Тебе хорошо с ней?

— Ты о чем?—Володя начал понимать, и его красивый рот приоткрылся от недоумения.—Да ты о чем?

— Мне показалось, что она могла бы тебе понравиться не только как староста.

— Сумасшедшая!—отрезал Володя.—Ты не знаешь, что в мире для меня есть только одна женщина?

— Ну, а если бы эта одна исчезла?

— Куда ты можешь исчезнуть?

— Если бы умерла, например?

— И я бы умер. Что тебе сегодня взбрело в голову?

— Мне кажется, тебе всегда немного трудно со мной. А с ней тебе легко и просто.

— А зачем мне легко и просто?—спросил Володя. Он притянул ее к себе и прижался головой к ее бедру.—Мне совсем не надо легко и просто. Мне надо вот так!

И снова Тина поняла его, прикинув его слова к себе и к Бахиреву. Ей тоже раньше было просто с Володей и всегда было трудно с Бахиревым. И разве колебалась она в выборе? Но как сказать об этом? Как бросить такие слова в глаза, сияющие счастьем и преданностью? «Не сегодня,—подумала она,—он еще болен». И, ища оправдания в заботах о нем, она заторопилась:

— Ты не принимал лекарство. Дай я тебе налью. Горькое?

— Чего бы я не выпил из твоих рук! Ты же знаешь, я лечусь не лекарством, а любовью.

Крупные лепные губы улыбались неудержимо и нежно. Глаза, слепые от любви, смотрели не мигая.

«Не сегодня,—решила она.—Нет, не сегодня!»

Она не в силах была отнять у него и то малое, что он имел. Пусть хоть еще немного поживет спокойно в своем призрачном, несуществующем счастье.

Глава XXIII

ДЕДЫ И ВНУКИ

Мутный рассвет пробивался сквозь снежное месиво. Снег бился в окна полутемного пригородного вагона. Продрогший Сережа дремал, затерявшись меж молочницами и зеленщицами, огромными от платков и полушубков. Он ездил на новый завод по приглашению рабочих,

рассказывал о своей фрезе и о кокиле. Было много молодежи, и слушали его жадно. На обратном пути поезд то и дело останавливался: метель заметала пути.

«Опоздаю в смену, опять будут коситься,— думал Сережа. Вчера вечером решался вопрос о вторичном пересмотре норм модельщиков.— Если увеличат, опять все на меня. А за что? Эх, остаться б на том, на новом заводе!»

Когда это началось, он и сам не мог бы сказать. Были и серебряный блеск кокильных отливок, и четыре тысячи процентов, и митинг, и первый, пушистый снег. Потом Гуров предложил растянуть заработок на несколько месяцев. В этом не было худого. Потом вызвал Вальган и попросил срочно переключиться на сложный министерский заказ. Кокильные отливки дали дорабатывать другим. В этом тоже не было худого. Надо же выручать завод, а на кого, как не на передовика и новатора, положиться директору!

За внедрение кокиля заплатили три тысячи. Тысячу Сережа отдал своему помощнику Синенькому, тысячу прогулял с ребятами, угощал и всех тех, кто помогал в дни поисков, тысячу отдал матери. О деньгах не беспокоился, думал: «Кончу возню с невыгодным министерским заказом, перейду на обработку кокильных моделей, подзаработаю свое законное». Несколько недель не делали моделей траков, и Сережа спокойно ждал, когда пойдет новая партия. Однажды вошел в цех и увидел груду кокильных моделей траков у Кондрата.

— Почему у тебя модели?

Кондрат медленно повернулся.

— А мне их надо?! Сколько отказывался! У них же теперь нормы по твоей фрезе и головке. Тебя ж хронометрировали! А я отдувайся!

Еще не понимая, Сережа пошел к начальнику цеха.

— Почему Лукову? Ведь это мои модели.

Губы Гурова сжались, блеснули узкие глазки.

— На мне мой пыджак,— для убедительности Гуров потянул себя за отворот пиджака.— Если я его дам тебе и получу триста, так это уже не мой, а твой пыджак. За кокыль тебе заплатили три тысячи. Теперь кому надо, тому и даю.

Сережа уже начал понимать, но еще не поверил и спросил растерянно:

— Как же? Ведь есть закон... По закону рационализатору шесть месяцев после изобретения платят по старым расценкам.

— Есть такой закон, но нету такого закону, чтоб именно тебе давать в обработку модели траков! Кому

хотим, тому и даем. Ты передовик, тебе честь оказывают, дают новое, ынтересное задание!

Только тут Сережа понял до конца: обвели вокруг пальца. Стали отливать модели в Сережин кокиль, а доработку отдали не ему, а другим рабочим. Другие не рационализаторы, им никто не обязан шесть месяцев платить по старым расценкам, им можно платить и по низкой стоимости кокильного литья.

Понял, но все еще растерянно, все еще жалко заговорил:

— Я же дал годные детали... И во много раз дешевле. Государство же в выигрыше... А мне... А я...— застыдился говорить о заработке.— Я ведь полгода бился с кокилем... Никто же не думает о тысячах. Хоть малость компенсировать то время... Законно же...— Он совсем замолк.

А Гуров только и ждал увидеть такого, пристыженного, виноватого.

— За что цех получает премию? За экономию фондов зарплаты. А что будет, если ты пойдешь гнать свой кокыль? Перерасход фондов, вот что будет! Другим из-за тебя лишаться премии, садиться на черный хлеб? Рваческие настроения будем прысекать... Передовык, новатор! Ты должен иметь государственную точку зрения.

Сережа взорвался:

— Сказали бы прямо: платить по закону не будем! Хоть честно было бы! А то: «Передовык! Высокая честь! Государственная точка зрения!» Жулики вы!

А в цехе волновались рабочие.

— Я тебя упреждал: не выскакивай!—ворчал Кондрат.— С твоего шуму начали пересматривать нормы.

Этот день запомнился. Первый стыд, первое разочарование—как первая любовь, памятны, не забудешь.

А сколько их было потом, таких дней? Стали еще чаще выбирать в разные организации, еще чаще вызывать на совещания и на другие заводы для обмена опытом. Отрывали от работы, а заказы давали самые сложные: как же, передовик, новатор! В прежние дни обдумал бы новые приспособления. А тут и мысли отшибло.

Вот и вышло: у кого наименьший в цехе заработок? У передовика и новатора. Стыдно получать у кассира двести рублей в полмесяца—меньше, чем ученик. Тяжело видеть удивленные взгляды, отвечать бодрым тоном на недоуменные вопросы. А всего обиднее вспоминать ту радость, с которой тащили из литейного первые отливки.

В прошлом месяце он не сдал наряды и не пошел за получкой.

Поезд дополз к десяти часам, и Сережа, не заходя домой, поехал на завод.

В заводские проходы, как в трубы, дула с реки, гудела метель.

Портрет над главной аллеей вздувался и парусил, зыбь пробегала по лицу. Казалось, назло всем метелям не сдержится, расхохочется дрожащий в улыбке рот. «Это я такой был,— подумал Сережа.— Чему, дурачок, улыбался?»

Он согнулся, пряча лицо от снега, и так, согнувшись, вошел в цех. Всюду били фонтаны опилок, стружки бежали ручьями, эмульсия падала водопадами, искры вспыхивали и гасли. Среди живого, пульсирующего металла лишь Сережин до блеска начищенный станок стоял одиноко и недвижимо в пустынном своем великолепии — не то музейный экспонат, не то надгробный памятник.

Сережа почувствовал, как скользят по лицу косые взгляды.

— С гастролей? — мимоходом со злой иронией спросил один из рабочих.

Синенький издали поздоровался без обычной улыбки. Кондрат едва кивнул. Сережа понял: «Еще увеличили нормы. Механизацию не дают, норму увеличивают. А я вроде без вины виноват: с меня началось».

На столе лежали наряды. Он бегло взглянул на них. Так и есть! Опять не дотянул за полмесяца до трехсот. Пойти к директору? Если узнает, возмутится, не допустит несправедливости.

Успокоительно, как всегда, зажужжала фреза. Покорный станок отзывался на жест, на мысль, на желание, словно хотел утешить. Если б еще настоящую работу! Сережа выполнял уникальный заказ со стороны, так называемый «министерский». Разметчики отказались делать сложную разметку. Ему тоже хотелось плюнуть: каждую неделю приблудные заказы — неведомо что и неведомо для кого! Сережа знал, что его называют «обменным рублем Вальгана», и чувствовал правду в этом прозвище. Ему и надоело быть «обменным рублем», и не мог он отказаться: доверие директора обязывало.

Внезапно из гула и грохота выпал самый привычный, самый неизменный звук. Сережа оглянулся. В разгаре смены остановился станок Кондрата. Казалось, что скорее сама земля перестанет вертеться, чем неутомимая фреза Лукова.

Не работало еще два станка. Луков говорил что-то Гурову и смотрел на Сережу. «Обо мне»,— понял Сережа и подошел к ним.

— Я свои две косых верняком брал,— бубнил Луков.—

У меня на вашем кокиле горит верняк. Сами с этим кокилем нашумели, сами и отрабатывайте.

— Ли то я шумел, ли то кто? — доверительно сказал Гуров и взял Кондрата за пуговицу. Увидев Сережу, он с укоризной обратился к нему: — Говорил я лично тебе: ли то об цехе думать, ли то шуметь об своем рекорде? Говорил я лично тебе: не спеши ты с этим кокылем! Сперва план, сперва фонды на внедрение, а после шум! Не послушали. Нашумели: «Кокыль! Кокыль!»

— Не в кокиле дело, а в том, что поступаете не по закону! — разозлился Сережа. — У нас в цехе нормы повышают, а технологию не совершенствуют. Был давнишний, бахиревский приказ: подвести воздух, обеспечить универсальными головками, специальными фрезами.

— Приказ есть, фондов нету, — упрямо повторял Гуров. — И самого Бахирева тоже нету. Он в одну сторону тянул, директор в другую, а мы тут рвись пополам!

Кондрат подумал и повернулся к Сереже:

— Ты заварил, тебе и расхлебывать. Опротестовывай! Ходи к своему директору.

— И пойду! — решился Сережа. — Ведь что делается? — обратился он к Гурову. — Мне кокиль не даете, фонд зарплаты экономите, а другим всучили, по моим нормам, но без моей оснастки! Этими безобразиями настроили рабочих против большого дела. Придется мне дойти до самого директора!

Гуров пришлепнул губами и затряс головой, засмеялся:

— Ли то смейся над тобой, ей-богу, ли то плачь! Ходи, ходи, жалуйся! Та сам я, что ли, это придумал? Семен Петрович лично мне приказал: рваческие настроения прысекать! Тогда еще приказал тебя посадить на уникальные, а кокыль другим. Ходи, ходи, жалуйся!

«Вранье?!» — не поверил Сережа.

Он не заметил, как вокруг столпились рабочие. Шныряя испуганными глазами, Гуров уже ораторствовал в защиту кокиля:

— Трудности и все такое — это дело временное. Кокыль — дело молодое, новаторское. Его необходимо срочно внедрять с государственной точки зрения.

— От злодей! На словах агитация, а на деле провокация! — зло пошутил Синенький. — Мы сперва, глядя на Серегу, сами задумали большое дело — менять всю оснастку на многомодельную кокильную. А теперь глядим, что творится, и думаем: лучше не берись!

Синенького поддержали. А Кондрат твердил свое:

— Сугроб заварил — ему и расхлебывать. Пусть идет к своему директору!

Сразу несколько человек запротестовали:

— Кого посылать? Директорова любимчика?

— Молод еще! Он не сумеет!

— Зови сюда директора!

Испуганный Гуров побежал звонить Вальгану:

— Работу побросали, сгрудились вокруг Сугробина. Отказываются от кокыля.

— Что-о-о?!

Гуров хорошо знал раскаты громового вальгановского «о». Торопливо пришлепывая губами, забормотал:

— Двадцать лет на заводе, не видал такого.— Надо было быстро отводить удар от себя.— Сугробин кругом мутит. Ссылается на бывшего главного. Требует того-сего, механизации по бахиревским приказам.

Сам бывший главный был низвергнут, уничтожен, но тень его все еще витала над заводом. Вальгану то и дело приходилось сражаться с этой тенью. Последнее сражение разыгралось вчера в обкоме.

По инициативе Бахирева в моторном цехе переорганизовали поток серийных деталей и свели к минимуму переналадку станков. Несколько старых станков приспособили в качестве дублеров. Со дня прихода Рославлева цех утроил производительность. Теперь одна смена справлялась с тем, что прежде делали в три смены. О моторном цехе заговорили в области. Рославлев при каждом удобном и неудобном случае гудел: «Несмотря на противодействие директора... По инициативе сменного инженера Бахирева...»

Вчера на бюро обкома Гринин бил Вальгана моторным цехом: «Моторный цех доказал, как велики неиспользованные возможности завода. Моторный цех показал, что можно сделать при умелом руководстве...»

За словами «моторный цех показал и доказал» Вальган слышал: «Рославлев и Бахирев показали и доказали».

Он вернулся из области раздраженный, и когда Сагуров пришел с жалобой на то, что карьер не выполняет бахиревских приказов и опять подводит чугунщиков, Вальган не стал сдерживаться. Он толкнул папку с приказами так, что бумаги разлетелись по полу, и закричал на Сагурова:

— На карьер! Самого на песок, на карьер! Если не справляетесь здесь, сидите на карьере!

К таким очистительным вспышкам он прибегал часто в годы войны, реже в послевоенное время, и обычно они действовали подобно грозовому очищающему разряду. На этот раз разрядки не произошло.

— Я бумаг поднимать не буду и кричать на себя не позволю!— Сагуров вызывающе хлопнул дверью.

Вальган не мог успокоиться и ходил по комнате, ступая прямо по рассыпанным бумагам. «Работаю в нечеловеческих условиях! Отсутствие настоящего главного. Близорукий парторг. Грининские подкопы в обкоме. Бахиревские подкопы здесь. И разболтанность коллектива — след прошлогодней анархии. Надо решительно брать в руки. Никаких послаблений!»

В эту минуту и позвонил ему Гуров.

Вальган вырос на пороге модельного цеха, стремительный, с застывшим лицом, с тем мелким трепетом в ресницах, ноздрях, губах, который бывает в листве притихшего леса в тяжелое предгрозье. С порога оглядел цех. Не работало четыре станка. Четким шагом он подошел к первому:

— Чей станок?

— Мой.

Он сам включил станок, взглянул в зрачки отвечавшему властным, парализующим волю взглядом.

— Становись к станку!

Так же быстро и твердо подошел к следующему.

— Чей станок? Становись к станку!

Ровный шум пущенного станка за спиной, в третий раз отчеканенная фраза:

— Чей станок?

В ответ медлительное, упрямое, будто сказанное вразвалку:

— Ну, мой станок...

— Становись к станку!

Широкоплечий парень неподвижно стоял, набычившись.

— Кокиль отрабатывать все одно не стану.

— Фамилия?

— Ну, Луков фамилия!

Вальган отчеканил Гурову:

— Лукова отстранить от работы! — Увидел рядом знакомого мастера и приказал: — До конца смены замените у станка отстраненного Лукова!

Он хотел идти дальше, но Луков, тяжело дыша, подошел вплотную.

— За что ударил? — Так, наливаясь гневом и обидой, спрашивает мальчишка, получивший незаслуженного тумака. — Я Луков... Я сто пятьдесят процентов нормы верняком, окромя кокиля. Нормы поднимают, технологии не дают! За что ударил?

Сережа подошел и, волнуясь, сказал срывающимся, петушиным голосом:

— И верно, Семен Петрович. Лукова вовсе не за что! Это я вроде без вины виноват. Мой кокиль, мои нормы.

Похудевший, осунувшийся, он вытягивал тонкую, цыплячью шею, таращил недоуменные ореховые глаза, воображал себя близким Вальгану, влиятельным человеком, на что-то надеялся.

«Тоже защитник!—подумал Вальган.—Перебаловали». Почему-то вспоминалась строка из куплета: «Цыпленок тоже хочет жить».

— Становись к станку! Немедленно!—приказал он Сереже еще резче, чем другим.

«Цыпленок» жалко растерялся. Ореховые глаза стали круглыми, совсем глупыми, но все чего-то ждали, просили о чем-то: «Не ты ли меня называл: «Мой лучший фрезеровщик», «Гордость завода»? Ты же... ты... Или прав Гуров?»

Бессмысленность упорного взгляда раздражала Вальгана.

— Разговаривать будете не в рабочее время. Понятно?

Гудок некстати поплыл над цехом.

— Вот оно и нерабочее время,—криво улыбнулся Сережа.

Рабочие подходили к директору.

— Нельзя же, Семен Петрович.

— Шумим с кокилем, второй раз пересматриваются нормы, а мероприятия по механизации не выполняются.

— Луков правильно требует!

Кольцо рабочих смыкалось вокруг Вальгана. Он оглянулся, быстро вынул портсигар, протянул его, улыбаясь непобедимой своей улыбкой.

— Ну, раз перерыв, так угощайтесь! Не узнаю, не узнаю я модельщиков! С механизацией трудно—нам фонды задержали. Не сегодня завтра отвоюю фонды. Это—дело дней! Из-за этого митинговать в разгар смены, ронять свое рабочее достоинство? Забыли, как мы с вами в войну заворачивали? В пургу, под брезентовыми крышами делали первоклассные машины!

Он спрятал портсигар и, продолжая говорить, быстрым взглядом скользнул по гурьбе рабочих, по проходу. Сережа понял: он хочет уйти от разговора. Кто же он? Тот заботливый, что, как друг, говорил с «лучшим фрезеровщиком»? Или тот, кто минуту назад цыкнул, не разбираясь: «Встать к станку!»? Или, еще хуже, тот, двуликий, кто в глаза «лучший фрезеровщик», а за глаза «рваческие настроения пресекать»? Оборотень? Вот и сейчас обернется и уйдет. И останется в цехе все по-старому. В уме звучали слова Кондрата: «Ты заварил, ты и расхлебывай». Что ж, не хватит смелости расхлебать?

Вальган продолжал:

— Патриотизм был. Гордость была рабочая. Что же теперь?

Сережа упрямо нагнул голову.

— И теперь есть и патриотизм и гордость. Только время теперь невоенное. Тогда надо было давать машины любыми средствами. Теперь время другое. Теперь одно средство — прогрессивная техника! Других средств нет!

Зазнавшийся юнец, поднятый директором, забыл свое место и осмеливался поучать директора. Вальган понял: «Гуров прав. Он здесь главный смутьян».

— Отбивают же охоту к рационализации,— сказал Синенький.

Вальган взглянул на щуплого паренька и вспомнил, что он лучший артист-комик и балалаечник заводской самодеятельности. Надо было сбить рабочих с тревожного тона.

— А, комик-балалаечник! — пошутил Вальган.— Краса и гордость самодеятельности! Он тоже изобретает?

Но Синенькому шутка не понравилась. Он нахмурился:

— Затеял, да бросил! Если у рабочих растет новаторский дух, так в руководителе этого духа должно быть в сто раз больше! Иначе что же получится?

— А то и получится, что у нас получилось,— подхватил Сугробин.— Прогрессивной техникой ведает главный инженер. Был товарищ Бахирев, он хоть как мог поддерживал. Он хоть переживал с нами. Одно у нас было стремление. А у товарища Уханова никакого внимания.

Вальган обернулся к нему:

— Берешься судить? Ты под стол бегал, когда мы с Ухановым и с твоими старшими товарищами отстраивали завод! Кто тебя поднял? Коллектив! Кто из тебя сделал носителя прогрессивной техники? Коллектив сделал! Ты берешь на себя смелость всех поучать, а как ты сам стал работать? Министерского важнейшего заказа не выполнил до сих пор.

— Ли то митинговать, ли то работать! — подбавил Гуров.— Раньше изобретал приспособления и не такие делал заказы! Теперь ты к работе потерял интерес.

— Да. Потерял интерес. Ни наперехват, ни напоказ не хочу работать! Я для всего цеха могу... Я больше могу...

— Больших заработков требует,— сказал Гуров.

— Слышал я, что ты наряды отказываешься подписывать,— проговорил Вальган.— Зарплату отказываешься получать.

«Значит, все знает! — убедился Сережа.— Он сам всему Гурова научил. А я к нему за справедливостью!»

— Харыкари...— ухмыльнулся Гуров.

«Что это «харькари»? — не понял Сережа.— А, это он про харакири. Это у японцев. От обиды сами себе ножом по животу».

Бархатный голос директора отозвался:

— Действительно харакири!

На лице у него Сережа увидел ухмылку Гурова. Вальган и Гуров — одно. Вальган умнее, но за словами, за рукопожатиями то же, то же самое равнодушие. Сережа вспомнил: «Обменный рубль Вальгана». «И верно. Привлекали, привечали, ласкали, пока был нужен на показуху или наперехват, на разовый уникальный заказ. А когда душа вложена в большое дело, когда и помощь нужна большая, когда производство перестраивать, тогда «цыц»! Тогда «знай сверчок свой шесток». Я мелочь, обменный рубль! А я не сверчок, не мелочь, не рубль! Во мне старания не на рубль, не на разовый заказ,— на весь цех, на всю жизнь».

— Тебя коллектив учил, а ты, видно, у самураев решил учиться,— говорил Вальган.— Самураева честь тебе потребовалась!

— У меня чести больше, чем у самураев.— Голос Сережи слегка дрожал.— Только она у меня другая. Вот она, моя честь. Во фрезе. В кокиле. В прогрессивной технике.

Перед Вальганом стоял уже не тот цыпленок с длинной шеей, который полчаса назад растерянно попискивал в защиту Лукова. Взрослый усталый человек с твердым и нервным лицом смотрел в глаза директору. Вальган тотчас отметил перемену и сам тотчас переменил тон.

— Ах ты... «харакири»! — тепло пошутил он.— Ты, Сережа, не забывай все-таки, кто тебя учил новаторскому отношению к прогрессивной технике. Коллектив тебя выучил. И те руководители, на которых ты сегодня нападаешь. Вот хотя бы мы с Гуровым!

Голос звучал отечески ласково, как в прежние дни, но Сережа уже видел: ложь, ложь! Ложь возмутила больше, чем грубость, больше, чем прямая несправедливость. Порвать ее! В клочья! Уничтожить!

На глаза попались бумаги. Цифра — двести восемьдесят рублей, наряды.

— Вот оно, ваше отношение к прогрессивной технике,— сказал Сережа и порвал наряды.

Вальган сразу стал тверд и спокоен.

— Ну вот что, Сугробин. Было время, мы по тебе равнялись, учились. Чему сейчас у тебя учиться? Зазнайству? Рвачеству? Давно говорили мне об этих твоих художествах. Давно говорили, что не место твоему пор-

трету в аллее почета. Я не слушал. Придется, очевидно, послушать.

Даша кружилась по метельным заводским аллеям, дожидалась, пока Сережа выйдет из модельного. Смена кончилась, а он все не шел. Она не видела его около двух недель, тревожилась и не понимала, что случилось. Не могло же оборваться то, что началось на новогоднем балу.

На бал ее наряжала Тина Борисовна. Заставила Дашу надеть под платье нижнюю юбку, накрахмаленную колоколом. Талию туго обтянула шелком. Сама подрезала и подшила ворот так, что открылись ключицы, и Даша застыдилась. Размочила Дашины локоны, завитые накануне в парикмахерской, гладко расчесала волосы на прямой пробор и туго-натуго заплела две косы. На голову положила тонкий венок из колосьев и в косы вплела колосья. Синее платье украсила васильками. Дома Даша еще не разобралась, хорошо или плохо. Очень уж непохоже было на маскарадные костюмы других девушек. Но когда увидела себя в больших зеркалах Дворца, сама ахнула. «Ой, да я ли это?» Из синей пышноты юбки выступала тонюсенькая белоплечая девушка с гладкою золотою головкой.

Счастье началось с первой минуты. Едва поднялась по лестнице, наткнулась на Сережу. Он сразу всех оставил, подошел прямо к Даше, и весь вечер они не разлучались. Лилась музыка, летали пестрые конфетти, качались воздушные шары, вокруг скользили девушки-цветы и девушки-звезды, кружились украинцы, черкесы, кудесники. Сережа был без маскарадного костюма. Да и зачем ему костюмироваться? Он был самим собою — прославленным передовиком, молодым красавцем, и что могло быть лучше этого? В конце бала он повел Дашу вниз, в зимний сад. Там стояли кадки с растениями. Сверху доносилась приглушенная и оттого особенно красивая музыка. Свет все время менялся: зажигались то красные, то зеленые, то оранжевые лампочки.

Сережино лицо то становилось таинственным, будто он смотрел из ночной глубины, то делалось хмельным и смелым от красного света, то золотилось, словно от солнца. В зеленоватом полусвете оно наклонилось к Даше, и прозвучали медленные, приглушенные слова:

— Так вот ты какая, Даша! — И тотчас лицо вспыхнуло дерзким, винным цветом, он засмеялся. — А ты знаешь, в который раз я повторяю про тебя эти слова? В четвертый. В первый раз сказал, когда ты ночью дежурила возле новой стерженщицы. Второй раз — когда ты не стала ходить со мной из-за того, что я тебя подержал за руку. В третий раз — когда ты убегала от меня по снегу.

И опять все залило зеленовато-голубой волной. Деревья поднимались будто с морского дна. Сережа наклонился еще ниже, сказал еще глуше и медленнее:

— А в четвертый раз повторяю сегодня: так вот ты какая, Даша — золотой колосок!..

После новогоднего бала они часто бывали вместе, но Даша все робела ходить вдвоем и всегда подбирала компанию. И вдруг Сережа словно забыл о ней. Сперва она объясняла это занятостью, потом забеспокоилась. Недавно она больше часа караулила его, а когда он вышел из проходной, сделала вид, словно повстречались случайно. Он обрадовался, подошел и сказал серьезно:

— Ты меня, Даша, ни в чем не подозревай. Закрутило меня: выступления, совещания, экзамены в техникуме. А главное — сам я сейчас не в себе... Я не я хожу... Обойдется — опять будем вместе.

Сказал — и снова исчез.

Даша тревожно кружилась аллеями, и так же тревожно кружились ее мысли: «Нет, видно, не любит, видно, не всерьез. Если я люблю, так и встала утром — о нем думаю и легла вечером — о нем! Не любит. Однако и не из тех он, чтобы бросаться словами. Что скажет, то и верно. А может, любил — разлюбил? То и случилось, чего я боялась? Что же мне делать?! Что же делать? Уяснить надо, понять! Как увижу его, затороплюсь, будто и не ждала! Остановит, скажу — проходила, мол, мимо. Заговорит — отвечать для началу стану сурово. Лишь бы не подумал, что набиваюсь».

Наконец она увидела Сережу. Он вышел, наклонив голову, пристально глядя себе под ноги. «Что же это! И ходить стал не по-своему! И сам на себя не похож!»

Даша забыла про свои намерения: не сделала независимого вида, не заторопилась, стояла и глядела во все глаза.

«Что же он шею-то не закутал! Ведь снегом обдувает. И шея-то не его — длинная да худущая. Как на газетном портрете».

Она вырезала из «Правды» Сережин портрет и хранила в потайном месте. На портрете Сережа был худой, длинношеий, улыбался на одну сторону и выглядел лет на тридцать.

Сейчас он шел, подергивая тонкой шеей, и улыбался про себя одним краем губ, горько, точь-в-точь как на портрете. Даша про себя ахнула: «Довели!.. Дофотографировали!» Хотела подойти к нему, но его нагнали рабочие. Издали увидела Синенького и кинулась:

— Говори, чего с Сережей?

— А трагедия с комедией,— второпях бросил Синенький.— Твой герой-любовник — харакири!

— Чего, чего?—побежала за ним Даша.

— Наряды порвал, схлестнулся с директором. Эх, обидно!

Синенький ушел, а Даша все топталась в аллее. «Зачем не подошла? Что ж теперь? Ждать? Сколько ждать? Пойти к нему домой! Ой, как же это?—Она бывала у Василия Васильевича, но тогда она не знала Сережу, и все было просто.—А теперь, ну, как войдешь? Что скажешь при моей-то гордости? Но что мне гордость, если над Сережей беда!»

И она решительно пошла к знакомому дому.

Она постучала несколько раз, но никто не ответил. Она осторожно вошла. В пустой кухне пахло горелым. Из большой кастрюли выползло перестоявшее, пузырчатое тесто и стекало на стол.

— Кто это, мама, вам позволил?—услышала Даша сердитый Сережин голос за дверной занавеской.—Вы не поденщица ходить на постирушки по чужим людям! Чтоб этого больше не было! Обойдемся.

— Так ведь как обойтись?—Даша узнала голос его матери.—Ты денег не приносишь. Мы картошкой обойдемся, а Толик? Ему без масла нельзя!

Потом стало тихо, только скрипнула дверца шкафа, и вдруг почти крик:

— Нате! Продайте! Все продавайте!—Даша вытянула голову и глянула в щель меж занавесками. Что-то коричневое пролетело и распласталось на кровати Толика. Даша подошла поближе к щели.—И это продавайте!

Сережа схватил из шифоньера и швырнул через всю комнату знакомое, красивое, светло-серое. Тот самый макинтош!

Сережина мать заплакала:

— Да что ж это ты? Кричишь! Швыряешь! Ты б лучше получку приносил.

— Все продам, а двести рублей не возьму. Даром буду работать!

Из своей комнаты вышел Василий Васильевич. Глаза его часто мигали, добродушное лицо было багровым, и усы от этого казались еще белее и больше.

«Выпивши»,—поняла Даша.

— Разбушевались,—успокоительно сказал Василий Васильевич, поднял Сережин макинтош, осторожно встряхнул и повесил обратно.—Ты, Настя, носом не хлюпай. Отрегулируется. А что внук денег не берет, то правильно. Не в деньгах дело. Такого фрезеровщика не ценят!.. Я б на его месте и сам не взял.

Запах горелого становился все удушливее. Даша кину-

лась к плите. Она вытащила кастрюлю с кашей и вошла в комнату.

— Я стучалась, да вы не слышали. Я вошла — гляжу, каша пригорела. Я ее вынула.

— Даша? — удивился Сережа и тут же нахмурился.— Ты все слышала?

— Считай, что не слышала, если я тебе посторонняя,— тихо, но решительно заявила Даша. Ей тяжело было видеть Сережино смущение, она обернулась к Настасье Петровне.— Я Толику завтра домашнего масла принесу из маминой посылки. И масло и яички отличные, свои, не базарные. Здесь такого не увидишь. На кухне тесто подошло. Подбивать или раскатывать?

Она помогала стряпать, чтоб дать и себе и Сереже успокоиться.

Не успела она раскатать тесто, как появились Кондрат и Синенький. Они были взволнованы, едва заметили Дашу, не удивились ее присутствию. Отодвинув занавеску, она смотрела и слушала разговоры.

Сережа сидел, пригнувшись к столу, и по привычке машинально чертил. Синенький беспокойным челноком сновал по комнате. Кондрат как встал у печки, так и врос в половицы. Василия Васильевича не было: видно, ушел в свою комнату. Даша слышала, как бубнил Кондрат:

— За что ударил? И кого? Меня! Я цех подводил? Я безотказно...

Синенький повернулся на одном каблуке и посыпал говорком:

— Э! Думаешь, он тебя знает? А меня, думаешь, знает? Кто я для него? Комик-балалаечник я! Что в концерты посылал — запомнил! А что я в кокиле помогал — без внимания!

— Полоснул! — бубнил свое Кондрат.— «Отстраню!» Кто ему позволит? Нашелся... Хо-зя-ин! — процедил он.— Захочу — останусь, захочу — сам уйду!.. Такого, как я, на любой завод возьмут, да еще и со спасибом!

— А ты что умолк, Сугроб? — спросил Синенький.

Даша услышала холодный, не Сережин, голос:

— А что говорить?.. Конец Сергею Сугробину... Весь вышел. Один Сережка Сугроб остался.

Синенький перестал сновать по комнате, остановился перед Сережей.

— Так и даешься?

— А что мне надо? Может, мне портрет надо? Да пускай их снимают. Может, деньги надо?.. Меня вот гастролером обзывают... Да если б я гастролировал, я бы больше всех зарабатывал. Я на любом заводе кем хочешь встану: и фрезеровщиком, и разметчиком, и шлифоваль-

щиком, и токарем, и слесарем. Я не гастролировал. Я думал для производства. То, что я делаю, никому не надо! Ну, а мне что, больше всех надо? Конец! Ничего изобретать не буду. Пойду в гастролеры!

— Поневоле плюнешь на все да пойдешь хоть в балалаечники, хоть в гастролеры,— поддержал Синенький.— Абы две косых!

— Ах вы сукины сыны!—неожиданно грянуло за стеной. В незнакомом зычном голосе слышалась старческая хрипотца.

Дверь из комнаты Василия Васильевича раскрылась. Мелькнули заветный графинчик, рюмки, тарелки. На пороге появился дед Рославлев. Щупленькое тело его совсем сжалось и ссохлось. На не по росту большом и выразительном лице вздрагивали белые брови.

Кондрат поднялся на цыпочки и заглянул через голову Рославлева.

— Деды, видно, малость выпили. А внукам осталось?

Но Рославлев плотно закрыл за собой дверь, повторил:

— Молчать, сукины вы сыны!—И обратился к Василию Васильевичу:—Дай, Васек, рассольцу!

Василий Васильевич подал рассол. Рославлев выпил, крякнул, крепко потер платком лицо, сел, поглядел на ребят и строго сказал:

— Разговор пойдет трезвый. Уйти с завода?! В гастролеры кинуться?! Да чей это завод? Вальганов завод? Мой завод!—Старик топнул худой, кривой ножкой.— Ваш этот завод, сукины вы дети! И вправду забаловали вас.—Он повернулся к Сереже, поднял щетинистые брови, оглядел его с ног до головы.—Ты мне скажи, откуда ты такой взялся?

— Какой такой?

— Такой-этакий! Вот, гляди, книжки инженерные читаешь. Чертежи, гляди, чертишь. Как профессор! А соображаешь ты, чем живешь, откуда берешь? В институт тебя с твоими фрезами на машине возят на консультацию, как цацу какую! Техникумы тебе пооткрывали при заводе! Ослеп, не видишь, с чьей тарелки лопаешь? Заелись!

Дед снова топнул ногой, и Синенький взмолился:

— Корней Корнеич! За что про что?

— Вы спросите, как нас учили?—не слушая, продолжал старик.—Мальчишкой на побегушках был. Пойдешь к слесарю, поглядишь с одной стороны—получишь затрещину, забежишь с другой стороны—вторую затрещину. Хоронишься, чтоб мастера не увидели. Чуть подрос—в тюрьму за непокорство. И пошло учение—от тюрьмы до ссылки, от ссылки до тюрьмы.

— А я по тюрьмам не сидел... Нет!—Василий Василь-

евич прижмурился, потряс головой.— Я полжизни покорствовал... Отца плавкой обожгло. Семья — семеро. Я старшой. Директор у нас был... Идешь, бывало, все голову вниз! Спину разогнул, голову поднял — и уже на примете! Непокорный — к увольчению! Одно было у меня, дурака, утешение — религия. Придешь в церковь, тут опять бьешь поклоны. Так полжизни прожил с поклонами. Зато уж как разогнулся!.. Я вот что тебе скажу...— Старик еще сильнее раскраснелся, и его небывалое волнение удивило Сережу.— Я вот что скажу: без хлеба, без воды, без гроша — на все соглашусь, лишь бы не кланяться. Ты, Сергей, в жизни головы не склонил и это счастье забыл ценить! Не снилось вам, пачкунам, такое! Во сне бы увидели, и то поумнели бы.

— Да что вы, деды, на нас навалились? — плачущим голосом произнес Синенький.— На заводе Вальган грозится, дома деды гремят! Куда нам теперь податься?

— Разве это гроза? — усмехнулся Василий Васильевич.— Лет пяток, по военному времени, Вальган, и верно, ходил грозой. Чуть чего: «Выгоню». А ныне не то! Крикнул вот Сагурову: «На карьер!» — да и осекся!

Даша давно забыла про стряпню и стояла у двери, боялась проронить слово. Рославлев тряхнул седой шевелюрой.

— Вот Вальган и тот чует, в какой год мы живем. Переломный год, оттого и трудный. А вы, молодежь, не чуете. Вальган и тот понимает: не отойдет от старого — совсем уйдет! А ты про него гудишь — «хо-зя-ин»,— передразнил он Кондрата.— Да ты знаешь, какое это есть слово? Сразу после революции, в Питере, сам Ленин привел рабочих на завод. «Принимайте, говорит, свое хозяйство! Вы теперь тут хозяева!» Вот как!.. А вы, комсомольцы, не сохраняете хозяйский дух. Вальган их обидел, так они нацелились с завода. На гастроли! Да какой он, Вальган, хозяин над народом? Он есть кто? — строго спросил старик и так же строго ответил: — Он есть доверенное лицо народа! Потерял доверие — и нет Вальгана! А кто есть ты? — обратился он к Сереже.— Ты есть передовик и новатор до той поры, пока ты с хозяйской душой к общему делу! Потеряешь хозяйский дух — и нет тебя, нет передовика! Один гастро-лер останется!

— Постойте, Корней Корнеевич,— сказал Сережа.— Я понять должен... Почему, отчего? Вот делал я уникальные заказы, и тот же Вальган вроде был моим первым другом. Я сделал большое дело для завода, и он же передо мной как стена! Бьюсь башкой и не прошибу! Одни шишки на мне. Почему?

Старики невесело пересмехнулись.

— На сто пять мы Вальгану хороши, на сто двадцать пять плохи! — сказал Василий Васильевич.

— Закрутили, деды, не понять! Растолкуйте,— попросил Синенький.

— За что почет, за что дают премии? — пояснил Василий Васильевич.— За перевыполнение плана! Перевыполнил завод годовую программу на сто пять — и тебе премии, и похвальба, и спокойствие. А если рвануть на сто двадцать пять? Сразу зачешутся в министерстве и начнут повышать план! Пойдет пертурбация на заводе, пойдет беспокойство! А чем план больше, тем труднее перевыполнить!

— Это всем известно,— перебил Синенький.— А что с этого?

Но Сережа понял деда.

— А все с этого! Если ты помогаешь вытянуть годовой план на сто пять, ты нужен, ты хорош на показуху и на премии. А двинешь разом целый цех на сто двадцать пять — ты бельмо в глазу! — Он бросил карандаш и заговорил еще желчнее: — Конечно, был бы человек с совестью, раскинул бы мозгами, нашел бы выход из положения всем на пользу. Да только... Я вот ходил к Ивушкину. Говорю ему: главное теперь — прогресс в технике. Правильно ли в главном деле полагаться на одну совесть? Ни у начальника цеха, ни у мастеров нет же материальной заинтересованности в прогрессе! Зачем, скажем, тому же Гурову возиться с нами да с кокилем? Он и так выполняет программу, получает премии. А начни он возиться с кокилем? И перерасход фондов, и хлопоты, и переживания. И никаких премий!

— Чего же Ивушкин тебе ответил? — спросил Василий Васильевич.

— Да что он ответил? «Действительно, говорит, есть отдельные неправильности в системе материальной заинтересованности». Для него отдельные неправильности в системе, а для меня... судьба...

— Если при отдельной неправильности да правильные люди, они выправят,— сказал Синенький.— А если на такую неправильность да и человек неправильный, бери пятки в руки, уноси ноги...

— Ну, ну! — опять застучал Рославлев.— Ишь нашелся: подай ему все сразу правильно! Вы небось кокиль отливали, и то десять раз перепробовали: там подфрезеровали, там подбавили? А тут дело огромное! Тут одну ошибку выправить, к примеру одну тарифную сетку изменить, и то один миллион людей ни за что ни про что обидеть, другой миллион ни за что ни про что наградить.

— А что ж теперь делать?

— Ты свое двигай! Вальган будет на сто пять, а ты наступай на все сто пятьдесят!

— Мы какое дело задумали — по нескольку моделей на плите! — солидно сказал Синенький.— Кокильные, многомодельные отливки мы задумали. Пробовали — не получилось. Земляная стенка тонкая, обвал, засор! Помощь нужна. Писал по начальству, говорил — не слушают!

— Так разве ты говоришь? — укорил его Рославлев.— Ты не говоришь, а пищишь чего-то там в одиночку. Попискиваешь. Много вас в цехе, а все пискуны! Собрались бы по-комсомольски, организацией... Грянули бы... Эх, забаловали вас!

Синенький вприщур взглянул на Сережу.

— А, Серега?..

— Не вожак, не вожак...— подзадорил Рославлев.— Был он, был молодежным вожаком. Откололся. А чего добился в одиночку? Ты на него не надейся. Ишь сидит молчит... Целится в гастролеры.

Сережа шевельнул плечами.

— Да ладно попрекать, Корней Корнеевич! Соберемся завтра. Позовем ребят из горкома. Пригласим Чубасова. Увидите еще, пискуны мы или кто...

Синенький воодушевился:

— Я ему еще покажу балалаечника! Я ему еще такое сыграю! Либо запляшет под нашу музыку, либо уйдет под похоронную! Чубасов не поможет, горком не поможет — дойдем до обкома! До самого ЦК!

— Хватил! — сказал Кондрат.

— А что ты думаешь? Думаешь, там на нас не поглядят? А я тебе скажу, там на письмо от рабочих еще ух как поглядят!

— Выпить бы под такое дело! — жалобно пробубнил Кондрат.— Ну, деды нынче пошли! Сами пьют — внукам не дают. Одно знай, ругаются!

Ребята и Рославлев собрались уходить. Даша тоже хотела идти, но Сережа задержал ее:

— Погоди, провожу.

Прощаясь, Рославлев кивнул на молодежь и сокрушенно обратился к Василию Васильевичу:

— Порастрясли хозяйский дух, пискуны! Внучка моя пишет сочинение про Обломова. Читаю я: «Обломов есть продукт эпохи». В другой раз про Маресьева пишет — и опять «продукт эпохи». Я на нее наступаю: «Подай мне главное различие!» — «Один, говорит, продукт феодализма, другой — социализма!» Я не поддаюсь: «Подавай мне главное различие в качествах!» То, се говорит, а главного

так и не добился. А в чем оно, главное? Обломов — он и верно беспомощный продукт эпохи. А Маресьев? Он не только «продукт», он своей эпохи законный и правомощный мастер. Вот и ты,— обратился старик к Сереже,— откуда ты взялся такой-этакий фрезеровщик, двадцати лет от роду, который весь цех целится перестраивать, для которого при заводе институтов пооткрывали, с которым директора и профессора здороваются рука за руку, разговаривают по имени-отчеству? Что тебя породило, это ты понимаешь. То, что ты худой ли, хороший ли продукт, а все продукт нашей социалистической эпохи,— это ты усвоил, а то, что ты ее правомощный мастер,— этого ты еще не постигаешь! — Старик снова сердито и обиженно задвигал густыми фамильными бровями и повторил: — Порастрясли, порастрясли хозяйский дух! Вы же, бодай вас дьявол, наша смена! Рабочая смена!..

— Зря вы на нас, Корней Корнеевич! — оправдывался Сережа.— Сгоряча, бывает, чего не брякнешь. Только ничего мы не растрясли.

— Докажи! — Старик выпрямился во весь свой невысокий росточек, а глаза из-под седых бровей глянули отважно, словно сказали: «Вот я какой есть молодец на самом-то деле... А руки-ноги — это так... Не стоит внимания».

Сережа проводил его глазами и, когда дверь закрылась, вздохнул:

— Хорош, деда, друг твой Корней Корнеевич!

— Высоконравственный человек! — с великой гордостью отозвался Василий Васильевич, поднял темный палец и повторил: — Высоконравственный!

Сережа проводил Дашу за калитку.

— Сядем!

Она послушно села на заметенную снегом скамеечку.

Скрипели под ветром деревья, скрипела калитка, где-то лязгало и скрежетало железо: верно, оборвалась, раскачивалась, била о стену водосточная труба. Они были одни на пустынной ветреной улице.

— Отчихвостили меня деды, и правильно! — думал вслух Сережа.— Конечно, разыгралось мое самолюбие.— Он словно оправдывался перед Дашей.— Ведь не в деньгах же дело! Если государству надо, я сам отдам! Если надо, на хлебе посижу и веселый буду! Мне ведь что обидно? Есть закон, самый главный в нашем обществе: «Каждому по труду». Неужто мой труд наихудший в цехе? Унизили же! И в чем унизили? Вот я в техникуме учусь, в футбол играю, с докладами выступаю. Ругай как хочешь: худой

ученик, худой докладчик, никудышный вратарь! Но за это место ты меня не тронь! В мою работу сколько вложено одной радости. Не об себе ведь я думал. Об цехе. За это место ты меня не тронь.— Он дернул головой так, что откинулся воротник, приоткрылась тонкая шея.

Верно, снова разыгрывалось самолюбие. Желчные слова его огорчили Дашу. Но он сам одернул себя:

— Опять я за свое. Зацепило — не отцеплю. Хотел бросить изобретать. А внутри зудит, зудит, зудит... Мы с Синеньким большое затеяли. Чтоб как в моторном — в три раза рвануть производительность! Не на сто пять, не на сто двадцать пять, а на все на триста!

Даша слушала и сквозь темноту ночи, сквозь снежную муть пыталась вглядеться в его лицо, пыталась вникнуть в его настоящее и будущее.

«Так вот ты какой будешь! — думала она.— Горячий. Нервный. Когда коснется до дела, обо всем будешь забывать. И обо мне тоже будешь забывать, как забыл обо мне в этот месяц из-за своего кокиля. И если б другую полюбил, все равно за делом забывал бы ее на многие дни. Такой уж ты. И дела у тебя такие, ради них можно и позабыть. Только как же мне к тебе, к такому, примениться?»

Сережа был в валенках. Даша для красоты надела Верины резиновые ботики, ноги у нее застыли до ломоты, но она и переступить боялась: как бы не пропустить хоть одно Сережино слово, не перебить его мыслей. «Хочу одной думой с ним думать. А смогу ли, если я не понимаю, как в нем все течет, возникает? Знала, видела веселого, а в нем вот кипит все».

— Нам сегодняшний день на пользу,— продолжал Сережа.— Гуров да Вальган — враги нашим замыслам. А враг — как наждак, он мысль точит!

Он задумался, палкой по снегу машинально чертил что-то. Даша знала в нем эту привычку,— чертить, задумавшись.

— Что это ты на снегу обозначил?

Он засмеялся.

— Ох, Дашунька! Возникла у меня еще одна идея. Если б удалось! — зазвучал голос прежнего Сережи.— Задумал я керамические резцы. Понимаешь? — Он повернулся, пальто еще сильнее распахнулось на груди. Даша хотела запахнуть, но постеснялась, а он и не заметил.— Ведь на керамическом бруске и сталь затачивается. Керамика — она дешевая и стойкая на стирание. Но она боится удара. Хрупкая. Значит, надо создать не ударную, а непрерывную работу резцов. Ты понимаешь принцип?

Увеличить количество зубьев. Ты гляди, я тебе начерчу. Вот тут, под фонарем, светлее!

Он чертил на снегу веткой, поземка вилась вокруг, заметая чертеж, и Сережа крикнул на нее, как на собаку:

— Куш ты!

Даша силилась понять и вдруг обрадовалась:

— Поняла!

— Вот так можно расположить резцы. Гляди, и так тоже можно. И так можно. Пять вариантов в уме! Руки горят испробовать!

Кипела поземка, ярясь, заметая Сережины чертежи, кипели Сережины мысли, Дашино лицо одновременно и горело и стыло.

Даше вспомнилась деревня и зыбкий высокий мостик над стремниной. Жутко и весело выбежать на середину и глядеть с высоты, как все внизу несется, бурлит, пенится.

Поглядела на гладкий лоб, показалось — проникла вглубь и почувствовала стремнину Сережиных мыслей, непрерывное их кипение, стало боязно. «Голова у него горит. Легко ли в таком напряжении! Вот и от меня отнесло его, захлестнуло. А я его все равно люблю. Еще и посильнее люблю такого-то! Только как же, как мне к нему примениться?»

— Придешь к нам завтра?

— Приду...— И тут же про себя Даша подумала: «Каждый день? Хорошо ли?» — Пришла бы, да ведь завтра мама приезжает,— поправилась она.— Маму на совещание животноводов вызвали.

— А вот ты с ней и приходи.

Даша не сразу собралась с ответом. «Для чего же это с ней? Об чем он подумал?» Мысли заметались, и губы неловко выговорили:

— Да ведь... Да ведь она и постесняется пойти.

— Как же это она постесняется пойти к твоему жениху? — тихо, просто, как само собой понятное, сказал Сережа.

Даша подняла руку, обороняясь.

«Неужели оно самое?»

Как она ждала этой минуты! Когда над рекой он приманивал птицу, еще не смела ни думать, ни ждать, только без мыслей, одним сердцем позавидовала той девушке, которой Сережа скажет такие слова. С новогоднего бала Даша тайно думала об этом часе. Ей представлялось, что Сережа, веселый и великолепный, опять уведет ее в зимний сад Дворца и под далекую музыку медленно будет говорить про любовь. А он не веселый, а

измученный, и сказал не под музыку, а под железный скрежет водосточной трубы, и не медленно, а словно бы мимоходом. Огорчилась бы, но тотчас не умом, а любовью поняла: «Да. Такой он человек». И тут же увидела всю свою жизнь с Сережей. Будут фрезы, кокиль, центрифуги, шестерни, будет кипеть стремительный поток Сережиных мыслей, а если она захочет встать поперек этого потока, он сметет ее. В этом кипении Сережина судьба. А ее судьба? Ее судьба — беречь кипучую дорогую голову. Он будет любить Дашу и будет нежен, но часто станет и забывать о ней. Вот и сейчас ни разу не спросил, не застыли ли Дашины ноги под тонкой резиной, не продрогли ли плечи под жидким пальтишком. Не из эгоизма не спросил, а потому, что голова перегружена. Если б подумал о том, что она замерзла, свое бы пальто отдал, свои бы валенки скинул на снегу. Если б подумал!.. Все поняла Даша. «Не испугаешься? Боишься стремнины — ищи тихой речки.— И сама себе безотчетно, бессловесно ответила: — Хочу такого». И, уже не думая о своих озябших ногах, молча протянула руки, бережно застегнула ворот Сережиного пальто, закутала похудевшую шею.

Этот жест все сказал ему.

Сереже трудно было в этот день оторваться от тревожных мыслей. Он знал, что не такими словами просят любимую стать женою. В другую минуту он нашел бы для Даши слова. «Неладно сказал. Обидится. Потребует, чтоб все как полагается». А она ничего не потребовала. И, может быть, от этого Сережа понял: «Родней не бывает». И сам удивился, как случилось.

Была лупоглазенькая постовая стержневого, удивившая его своей комсомольской добросовестностью. Потом была девчушка, с которой можно говорить, как с травой, как с речкой, как с самим собою. Потом появилась смешная, но уже чем-то милая беглянка. И уже приятно стало издали вспоминать, что ходит где-то близко «царевна-недотрога из стержневого», девушка, которую и за руку нельзя взять, если не хочешь на ней жениться. Потом пришла и все осветила белолицая, по-детски беззащитная перед ним, но по-женски недоступно гордая. Потом, на балу, даже не девушка, живой, небывалый цветок, такой нежный, что страшно прикоснуться. Но только сейчас, когда безмолвно она протянула руки, не для того, чтобы обнять, а для того, чтоб укрыть его от холода, он до конца понял и почему-то древним маминым словом подумал: «Суженая». Он взял ее за замерзшие руки, улыбнулся.

— Даша, теперь можно хоть за руку подержать? Помнишь, говорила: «Если не думаешь жениться, то и за

руку не бери».— Он нагнулся и сказал медленно, тем самым приглушенным голосом, которого ждала Даша: — Я хочу на тебе жениться. Я хоть завтра женюсь! Теперь можно подержать за руку?

Она подняла лицо. Он почувствовал жар ее дыхания. Ему случалось не раз целовать девушек не потому, что он искал и добивался их, а потому, что многие из них настойчиво искали и добивались его. И никогда не покидала его опаска: как бы не приняли всерьез. Впервые в жизни ни этой опаски, ни осторожности. Знал: любовь, жизнь, сердце — все можно доверить, ничего не уронит, не разобьет, не испачкает. Суженая! Все в нем открылось ей. И ушло все, кроме Даши...

И Даша поняла: не надо ни огней, ни музыки. Надо так, как сейчас. И метель, и скрежет водосточной трубы, и истоптанный чертеж фрезы в снегу под ногами, и Сережина усталость, и желчь его разочарований, и радостная жадность его поисков.

Глава XXIV

ДОВЕРИЕ

Бахирев отдежурил ночную смену и с семи утра пошел в экспериментальный цех. Он любил пустынный цех в этот утренний час, когда дремлют трудолюбивые машины и только «гриб боровик» интимно разговаривает с ним своим мерным, добрым урчанием. Лишь в этот час он оставался один на один с ней, с этой конструкцией, уже воплощенной в металл. «Семь часов — мой роковой час,— шутя говорил он Тине.— Семь утра — час свидания с конструкцией, семь вечера — час свидания с тобой». К обеим он спешил нетерпеливо. По утрам он осторожно, почти ласково прикасался к тяжелым, темно-красным металлическим скобам, к их скользким, холодным поверхностям. Когда с куском металла связано столько тревог, трудов и чаяний, он уподобляется живому и любимому существу. А вечерами он стискивал хрупкие плечи Тины. Любовь становится весомой и сверкающей, как сгусток обработанного металла, когда жизнь на полном ходу вонзает в нее свои резцы.

К девяти утра цех уже наполнялся людьми: приходилось освобождать испытательные стенды. Испытания радовали. Доработанная и усовершенствованная конструкция день за днем все убедительнее доказывала свое превосходство.

Взбодренный ее мерным шумом, Бахирев вышел из цеха. Морозное утро дымилось. Красный, без лучей диск солнца выплыл из-за дальнего берега. Розовые дымы шли прямо в небо, курились во славу утра. Плотные, почти объемные тени цвета стали отпечатались на твердом розоватом снегу. Колеи дороги отчетливо и резко синели. Сухой скрип непокорного и сильного снега раздавался при каждом шаге. Бахирев шел в чугунолитейный. Сагуров и Василий Васильевич просили зайти посмотреть на вторую пескодувную машину, которую никак не могли отладить, посоветоваться насчет новой многомодельной оснастки.

Бахирев около недели не был в чугунке, соскучился и сам удивился этому. Чужой цех! Нет, он не мог быть чужим. Крохотные корешки, вырастая, все сильнее опутывают, захватывают и держат комья земли и кусочки щебня. Бахирев сам казался себе опутанным и захваченным такими корешками нового, прорастающего здесь в чугунном цехе. Чугунщики тоже видели в нем своего, а не чужого. Ольга Семеновна пожаловалась:

— Что же это, Дмитрий Алексеевич, за порядки? Опять худые глины пошли! И дозаторы забиваются.

И он не мог не остановиться, не посоветовать насчет дозаторов. Сагуров встретил его радостно.

— Давно, давно ждем!—взмахом руки указал он на доски показателей.—Сто два к плану! Как работаем?

Он гордился и ждал похвалы, словно Бахирев по-прежнему был главным инженером.

— Я же теперь не в курсе общего положения,— улыбнулся Бахирев.—Я теперь могу сказать тебе одно: по деталям моторной группы чугунщики в ночную смену сработали крепко.

Но он говорил неправду. Он не мог смотреть на ЧЛЦ только с точки зрения «деталей моторной группы».

Когда они разобрались в пескодувке, к ним подошла Даша.

— Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Стерженщицы интересуются: по всему стержневому пойдут пескодувные машины?

Он опустил веки и представил себе строй пескодувных машин. Он уже не был главным и не отвечал за дела чугунолитейного. Почему же трудно сказать ей, что пока намечено всего две пескодувки? Но ведь это пока. А потом несомненно...

Он ответил, не подняв век:

— По всему цеху, Даша.

Но от нее нелегко было отделаться.

— А когда по всему цеху?

Оставалось улыбнуться:

— Скажи лучше, когда ты меня на свадьбу позовешь! Совсем взрослая стала! Жениха-то приглядела?

Она так вспыхнула, что и Бахирев, и Сагуров, и автокарщица, грузившая стержни, засмеялись.

Все еще смеясь, он оглянулся и увидел рядом, за станком, тонкую смуглую шею, прикрытую синим воротом халата. Тина. Он не понял, почему вдруг замолк смех. Тина повернулась и густо покраснела. Она делала головой и руками какие-то знаки. Он подошел к ней:

— Что?

— Митя, нет... зачем ты подошел?.. Нет, я только хотела сказать, чтоб ты отвернулся, не смотрел на меня.

— Почему?

— Милый, ну, ты смотришь... у тебя все на лице написано... Они все замолчали даже...

А сама не отрывала от него глаз.

— Ты похудел! Отчего?

Они не виделись два дня и, неожиданно встретившись в стержневом, сразу глотнули и счастья и горечи. Жадно вглядывались друг в друга. Вновь открывали друг в друге то лучшее, любимое, что столько раз представляли себе в часы разлуки. С тревогой отмечали каждое новое выражение — отпечаток этих дней. Оттого, что, разлучаясь, они не смели даже произнести имен друг друга и погружались в два разных, наглухо отгороженных мира, каждый час разлуки разрастался в вечность и каждая встреча казалась возвращением из опасного путешествия в другой мир.

Вплотную к ним подошел Чубасов и сказал Бахиреву:

— Зайди, Дмитрий Алексеевич. Есть добрая новость.

Чубасов ушел, и Бахирев, договорившись с Тиной о встрече, пошел следом.

«Какая может быть теперь для меня добрая новость?»

Встреча в чугунолитейном чем-то встревожила Чубасова. Уханов однажды полушутя сказал, что бывший главный ходит в ЧЛЦ из-за технолога Карамыш. Чубасов только поморщился, решив, что это одна из тех сплетен, которых немало вилось вокруг приметной фигуры Бахирева. Почему же сейчас сразу вспомнились слова Уханова?

«Что было? — думал он.— Ничего же не было. Ну, он держал ее за руку. Мало ли кого случается взять за руку! Но это выражение! Счастливое и... пьяное. И она! Как она смотрела на него! С испугом и с каким-то забвением, не то восхищением... Да нет, показалось мне! У него такие дети. Жена. Серьезный мужик. И, все говорят, отличный семьянин».

Когда Бахирев вошел своей обычной грузной и мерной походкой, когда взглянул узкими, глубоко посаженными глазами, когда заговорил с обычной деловитостью, Чуба-

сов вздохнул с облегчением. «Показалось! Показалось, конечно. Серьезный же мужик».

— Новость преотличная,— сказал он.— Через три дня едешь в Москву со своими противовесами.

Бахирев от неожиданности так повернулся, что скрипнуло тяжелое кресло.

— Я?! Я поеду?

— Ну да, ты.

— А как Вальган?

— Проглотил. Пришлось подчиниться большинству в парткоме.

— Может, вместе поедем, а? Все-таки бывший, снятый. Как они там...

— Ничего, не маленький! Послезавтра отчетно-выборное. И не надо бы тебя отпускать, да так совпало.

Бахирев догадался, чего стоило Чубасову добиться этой поездки для него, для снятого, для бывшего главного. Рука Бахирева принялась быстро дергать вихор. Чубасов улыбнулся:

— Давно хочу я спросить: что это у тебя обозначает? Скальпировать ты себя самого, что ли, собираешься за провинности? Или мозги подтягиваешь на высокий уровень?

— Мозги, мозги подтягиваю,— ответил Бахирев и тихо, от признательности, проскрипел: — Спасибо тебе.

Чубасов свел собольи брови.

— Чего спасибо? О тебе, что ли, забочусь? О заводе! Ты скажи, противовесы у тебя «подтянуты» до должного уровня? Сумеешь доказать в министерстве? Не завалишь?

— Конструкция отработана. Испытания доказательны. Преимущества ясны. Надо менять. До весны. До сева. Сейчас большинство тракторов на ремонте и с противовесами затишье. С весны они опять полетят. Все ясней ясного.

Они говорили о делах, но когда Бахирев собрался уходить, Чубасов опять взглянул на его гладко расчесанные спереди волосы с этим неожиданно торчащим на затылке вихром и, повинуясь неясной интуиции, внезапно даже для самого себя и как бы вскользь сказал:

— На спортбазу лыжи привезли. Тебе для ребятишек не надо? Кстати сказать, ты знаешь, как твои ребята помогают отцу в сложной ситуации?

— Ребята мне помогают? — удивился Бахирев.

— Еще как! Они в поселке в фаворе. Хорошие ребята. Тебя-то пока не все раскусили. Наши все еще присматриваются. А тут семьища — дай бог всякому. Вызывает доверие и располагает. Наши любят семейный дух...

Чубасов говорил просто, как бы к слову и между делом.

И вдруг левая бровь Бахирева поднялась, глаза блеснули остро и понимающе. Усмешка тронула губы.

— Ну, я думаю, коллектив не за одни семейные добродетели ценит инженеров!—Он сказал и сразу прервал разговор.—Я пойду в лабораторию. Займусь подготовкой документации.

Он ушел. Не прозвучало ни одного лишнего слова. А Чубасов ясно услышал такой безмолвный разговор:

«Предостерегаешь?..»

«Да... Предостерегаю...»

«А кто ты такой, чтоб предостерегать?»

«Показалось?—опять подумал он.—Ах, черт побери, с этим «хохлатым бегемотом» и до галлюцинаций недолго докатиться».

Бахирев готовил материалы к поездке до тех пор, пока от цифр не зарябило в глазах: сказывалась бессонная ночь.

Тогда он пошел домой и лег, но не заснул, а забылся на полчаса. Перевозбужденный мозг не мог успокоиться, и в мыслях мешались противовесы, Тина, Чубасов, Москва, ЧЛЦ. В комнате было полутемно и тихо. Катя в последнее время стала спокойнее. С того дня, как ее муж превратился из главного инженера в сменного, отношение соседей стало участливее и теплее. Ее привечали у Рославлевых, и она твердо усвоила их точку зрения на то, что падение Бахирева—дело временное. Теперь ее больше тревожила внутренняя отдаленность мужа. Его жизнь всегда протекала в стороне от нее, и долгое время ей казалось это естественным. Среди новых друзей она видела иные отношения: все, от дедов до внуков, жили заводом.

Рославлевы заставили ее по-новому взглянуть на Бахирева. Она считала, что он так же добросовестно работает на заводе, как она сама когда-то работала в кассе универмага. Это было просто и понятно. Но у Рославлевых говорили о его борьбе, о его смелости, даровитости, принципиальности.

Она верила Рославлевым и пугалась: за многие годы жизни она не увидела и не поняла в нем как раз того, за что ценили и любили его лучшие из друзей. Минутами ей начинало казаться, что она живет с незнакомым человеком. Она старалась успокоить себя: «Не обязательно, чтобы вся семья работала на заводе! Деловые мужчины любят как раз простых, домашних, но красивых и уютных женщин».

Она старалась быть как можно красивее и уютнее. Но это не производило впечатления на Бахирева. Или то, что годилось для иных, не годилось для него? Или и в этом она не понимала мужа, с которым прожила столько лет?

Услышав, что муж проснулся, она вошла, присела к нему на диван и взяла его ладонь.

— Что-то ты совсем не скучаешь обо мне...

Он отвернулся, сжал ее пальцы и тотчас отнял руку.

— Устаю очень, Катя... Ты же знаешь, какая работа...

Ему тяжела была и необходимость лгать, и невозможность говорить с ней о том, чем он жил, тяжело было даже самое присутствие ее.

Она посидела еще, вздохнула и пошла к двери — большая, душистая, в бархатном халате. Толстая коса струилась по сильной спине.

— Устал, так отдохни...— Она осторожно прикрыла дверь.

«Устал!» Сейчас он встанет и, таясь от людей, сугробами, в темноте, пешком потащится за два километра, в соседний поселок, чтобы яростно обнять худенькую, утомленную девочку с закопченной шеей и запахом металла и гари, застоявшимся в жестких стриженых волосах.

Бахиреву хотелось, чтоб Тина проводила его на вокзал, но Катя, искавшая сближения с мужем, решила устроить семейные проводы. Это оказалось кстати, с этим же поездом уезжала заводская делегация в Сталинград, и на перроне мелькали знакомые лица тракторозаводцев.

Вокзал невольно напомнил Бахиреву тот день, когда он впервые подъехал сюда с Вальганом и Кориловым. Неизвестностью веяло от каждого столба на перроне, от улиц и площадей, от улыбок Вальгана и Корилова. Что ж, неизвестности теперь нет. Как говорится, «обстановка прояснилась». Чем стал для него этот город? Городом Тины и летающих противовесов? Нет, не только! Он стал также городом многих испытанных друзей и немногих непримиримых врагов.

Бахирев поставил чемодан в купе и вышел на перрон вместе с женой и детьми. Знакомые и незнакомые оглядывались, да и нельзя было не оглянуться: так милы были дети. Тоненькая Аня, похожая на мать чертами и ясностью лица, в своей синей с беличьим воротничком шубке, с бантом, выглядывающим из-под пуховой шапочки, была в том возрасте, когда девочка вот-вот превратится в девушку. Бахирев смотрел на нее сегодня с молчаливой и тревожной любовью. Так нежность и красота цветка вызывают и радость, и печальные мысли о быстротеку-

щем времени. Рыжик, в его пыжиковой шапке, сером пальто, делавшем его шире и крупнее, до смешного напоминал Бахирева не столько отдельными чертами, сколько складом и выражением упрямого лица. Милее всех был Бутуз. Он топал между братом и сестрой в своем красном башлыке и теплых красных штанишках с таким сияющим и в то же время деловито-озабоченным лицом, что нельзя было не улыбнуться, глядя на него. Вся тройка шагала по перрону, дружно взявшись за руки, то и дело оглядываясь на родителей.

Катя держала Бахирева под руку, гордая тем, что тракторозаводцы видят во всем блеске их семейное благополучие.

— Ты там, в Москве, всем докажешь, да, папа?— говорил Рыжик своим новым, басовитым голосом.

— Бутуз, поправь башлык!—привычно командовала Аня.— Папа, пойдем туда: видишь, там танцуют.

В кругу молодежи Синенький отплясывал за девушку, смешно помахивая платочком. Бахирев посмотрел, нет ли среди провожающих Тины. Ее не было. Ему хотелось поговорить с ней о том, что волновало,— о предстоящей поездке, о министерстве, о противовесах, о дружбе и помощи Чубасова.

— Кого ты ищешь?—спросила Катя, проследив за его взглядом.

— Жаль, Чубасова нет...—солгал он.

— Уж очень он гордый. Вчера встретил, едва посмотрел. Уханов и тот всегда раскланяется.

Бахиреву захотелось тихонько скрипнуть зубами.

«Тина! Тина!—затосковал он.— Если б она была рядом!» До близости с ней все, что говорила Катя, казалось ему обычным, он не знал тоски по иному. Теперь от каждой попытки поговорить с Катей оставалось такое ощущение, словно у него песок меж зубами или приходится с трудом вытаскивать ноги из чего-то вязкого, липкого.

Какая-то мать, уговаривая капризничающего мальчика, указала ему:

— Смотри, какие хорошие идут детки!

— Вот если бы вы всегда были такими, как сегодня!— вздохнула Катя и неожиданно остановилась.— Аня, смотри, да ведь это твой Витя! Что с ним?!

По перрону бесцельными, заплетающимися шагами одиноко брел унылый и взъерошенный мальчик. Пуговицы были застегнуты криво, и пальто перекосилось. Черный шнурок ботинка развязался и волочился по снегу. Витя увидел Аню, но не поздоровался. Аня отвернулась.

— Вы поссорились?—удивилась Катя.

— Ну его... Не хочу я...

Бахирев внимательно взглянул на покрасневшее лицо дочери.

— Что случилось, Аня?

— Он весь стал какой-то такой... Противный. Задирается... Его папа бросил.

Она сказала об этом гневно и презрительно, словно он был уличен в чем-то позорном — во лжи или краже.

Все мышцы Бахирева напряглись, но он старался говорить как можно безразличнее:

— Ну и что, если бросил папа?

— Ах, ну как ты не видишь? Ходит мрачный, злющий, с развязанными шнурками... какой-то весь... разнесчастный...

— А если «разнесчастный», не надо, значит, здороваться? — допытывался Бахирев, дивясь детской жестокости.

— Если бы он был хорошим, никто бы его не побросал... — Аня вздернула подбородок, уверенная в непогрешимости своей логики.

— Раньше был ничего мальчишка, а теперь спсиховался, — поддержал ее Рыжик. — У них вся семья разнесчастная. Мать и бабушка целый день то кричат, то ревут хуже маленьких. Витька теперь тоже то с кулаками кидается, то весь трясется...

Детям, выросшим в здоровом воздухе бахиревского дома, ни разу не видевшим родительских ссор, чужая распадающаяся семья представлялась чудовищной.

Они и не подозревали, сколько раз за этот год они были на грани такого же «разнесчастья». Бахирев на миг представил себе, что было бы сейчас с ними, если бы он ушел к Тине. Обозленный, надломленный, брошенный Рыжик с развязанными шнурками, особенно жалкий, особенно отрешенный среди оживленных, благополучных людей... Даже подумать невозможно. Бахирев поправил на голове сына шапку. Рыжик почувствовал волнение отца и оглянулся:

— Что, папа?

— Нет, нет, все ладно, сынок. — Он опять коснулся шапки. — Вот так хорошо.

Рыжик покраснел под ласковой отцовской рукой. Бутуз закричал:

— И меня! И меня!

Даже сдержанная Аня слегка коснулась отцовского плеча заиндевевшим виском: позавидовала обласканному Рыжику.

Бахирев остро почувствовал свою вину перед этими существами. Разрушить их счастье ради своего? Да и

было ли бы оно, это свое счастье? Ухитриться быть счастливым, когда несчастны они?

— А ну, ребята, пойдемте все вместе в буфет пить чай с пирожными!

И радостно и стыдно было видеть, как осчастливлены могут быть четыре навсегда доверившихся и преданных ему существа одной его фразой.

Они едва успели выпить по чашке чая, как по радио объявили о начале посадки. Бахирев поднялся на ступеньку вагона. Жена и дети стояли рядом.

— Ты не волнуйся, папа! — говорил Рыжик. — У нас все будет в порядке. Ты там добивай свои противовесы.

С высоты вагона он казался маленьким, совсем беспомощным. Бросить эту троицу, теплую и беззащитную, в мороз, в гущу людей, торопливых, доверху заполненных чем-то своим?

«Разнесчастный» Витя прошел по перрону как предупреждение.

Поезд уже летел по чистому, снежному простору. Бахирев стоял у окна. Мохнатые снежные провода бежали по синеве неба. Нетронутые, чуть заслюденелые снега с их праздничным мирным блеском расстилались до горизонта. Красностволая сосенка стояла на холме, царила над серебром и синью, тянула к поезду рождественские ветки. Бахирев вспомнил Ухабинский район и позавидовал Курганову. С утра до ночи в этой чистоте, синеве. Жить этим миром и для этого мира. Что еще надо нам, бессеребреникам и работягам? Снег, небо, красностволые сосны на увале. И завод рядом. И Тина. Без нее — как без этой сосны. И снова мысли забегали меж двумя привычными и раздирающими пополам полюсами: Тина — Рыжик... И снова отчужденно-озлобленный взгляд мальчика на перроне, и черные шнурки ботинок на снегу...

Надломленная юность — уже не юность. И ему ли не знать это? Грязь, вонь, пьяный бред. Он впервые отчетливо понял, что горечь сегодняшнего дня была следом и отзвуком искалеченного детства. Выросший среди пьяных скандалов, со слезами, с руганью, с битой посудой и рваными, грязными тряпками, он, как к счастью, рванулся к обыкновенной, скучноватой тишине. Отсутствие слез и брани, целые тарелки и чистые салфетки представились редчайшими благами вселенной, а блюстительница этих благ — добрым гением. И вот прикован. Сейчас душа ищет того, для чего она создана, — не тишины, но грохота послушных цехов, не тарелок, не тряпок, но мощностей и площадей, на которых можно было бы наращивать эти мощности и ворочать ими. И вся судьба Бахирева в

безудержном движении, но он прикован к этой душной, салфеточной тишине. Где-то внутри, в душе, столкнулись силы прошлого и будущего, и он, зажатый ими, как тисками, кряхтит и корчится. Кого винить? Что спрашивать с двух безумных алкоголиков, которые сами были отрыжкой прошлого и калечили ребенка, не ведая, что творят? Но он знает, что делает. Он по себе знает, что изуродованное детство скажется так или иначе. Если у ребенка перебита нога, то человеку суждено хромать всю жизнь. Перебить обе ноги Рыжику?

В сотый раз обдумав, он в сотый раз понял, что не сможет обречь своих детей на утрату детства. Но он знал, что не сможет и не тосковать о Тине. До близости с ней семейная жизнь казалась ему обычной. Ребенку, рожденному в яранге, обычной кажется и жизнь за душным пологом, и спанье вповалку, и коптилка тюленьего жира, и то, что люди никогда не моются. Но вот он вырастает, учится в Московском университете, привыкает к читальным залам, к электрическому свету, к чистой постели, к мылу и горячей воде. Каково было бы опять вернуться на всю жизнь под душный звериный полог, в копоть тюленьего жира? Он вернется в селение для того, чтобы строить там новые дома, библиотеки, бани и электростанции. Он станет думать лишь о том, чтоб никому не пришлось вековать под звериной шкурой.

Бахирев уже не мыслил близости с женщиной без душевного проникновения, без стократного эха, которое каждую мысль и каждое чувство возвращает тебе обогащенными и делает мир щедрым и безграничным. Он не мог без этого и уже удивлялся тем, кто может. После близости с Тиной всякая иная близость казалась ему убогой и мерзкой в своем убожестве.

О противовесах он почти не думал в эти минуты. Там все уже было ясно и все доказательно. Он не сомневался в том, что в министерстве, ознакомившись с его доводами и материалами, убедятся в их бесспорности.

Через день Бахирев мчался в машине по метельным, еще темным улицам утренней столицы. В вестибюле гостиницы «Москва» уже толпились командировочные. Он не стал дожидаться очереди и вместе с чемоданчиком, чертежами, расчетами помчался в министерство.

«Может, и без гостиницы обойдусь. Подпись Бочкарева — и тотчас обратно на поезд. Если установится летная погода — лечу самолетом».

Заместитель министра Бочкарев, хорошо знакомый и танкостроителям и тракторостроителям, и на этот раз был в командировке. Бахиреву сказали, что вопрос решается в

главке. Главный конструктор направил Бахирева к начальнику главка, а секретарша начальника заявила, что вопрос передан в министерство.

Пройдя все эти инстанции, Бахирев добрался до приемной второго заместителя министра Беловодова.

На широком диване приемной сидели ожидающие. Сейчас, когда решение вопроса было в руках заместителя министра, каждый час промедления казался Бахиреву преступным: каждый час сходили с конвейера тракторы, обреченные на аварию. Однако он понимал, что там, где ждали месяцы, один час не меняет дела. Он открыл папку, еще раз просмотрел докладную и чертежи, и, как всегда, это успокоило его.

В этих чертежах была та особая простота конструкции, которую Бахирев воспринимал как «здоровье» «гриба боровика». Ощущение жизнеспособности узла возникало с первого взгляда, и это вселяло в Бахирева уверенность в исходе дела. Он не понимал, что подобное ощущение конструкции машины свойственно не всем. Необходимо особое чутье, особый дар, и тому, кто лишен этого дара, нельзя растолковать и этого ощущения, как нельзя человеку, лишенному музыкальности, объяснить, почему одно созвучие гармонично, а другое нет.

Бахиреву, от природы щедро одаренному конструкторским чутьем, оно представлялось естественным свойством каждого. Ему не приходило в голову, что другие могут не понять вещей, столь очевидных для него самого. Успокоенный лицезрением чертежей, он погрузился в полудремотное ожидание.

В небольшом, скромно обставленном кабинете сидел худой, маленький человек с отвисшей кожей лица и манерами толстяка. Он так поднимал сухую голову с острыми глазками и устало-брезгливым маленьким ртом, словно опустить ее мешали двойной подбородок и толстая шея.

Он разговаривал по телефону, не сразу кончил и неохотно переключил внимание на Бахирева.

— Ну?—сказал Беловодов, как бы спрашивая: «Рвался, письмами бомбардировал, добился своего, приехал. Чего тебе еще нужно?»

Бахирев сразу почувствовал эту интонацию, но он был занят раскладыванием чертежей. Он шел с козырного туза. Разложив чертежи, он так же односложно, как Беловодов, сказал:

— Вот.

— Это чего?

— Старая и новая конструкции. Здесь написано.

Пальцы заместителя министра пробежали по черте-

жам, полистали докладную. Полистав, он сделал странное движение плечом и рукой и, не повернув головы, как будто она с трудом поворачивалась, скосил остренькие глазки на Бахирева.

— Сколько часов испытывали?

С первого вопроса Бахирев почувствовал необъяснимую враждебность. Это, однако, не обеспокоило его. Он приехал не искать симпатии, но утверждать новую конструкцию. А несомненность этой конструкции была очевидна.

— Тысячу часов испытаний.

Беловодов сморщился, словно хотел сказать: «Ну, так я и знал». Он бегло взглянул на чертеж, зато пробуравил глазками самого Бахирева.

Беловодов много слышал о Бахиреве. Он знал, что это инженер, который начал свою работу на заводе скандально, с первого месяца завалил программу и так дезорганизовал производство, что завод до сих пор расплачивается противовесами. Срочно снятый с работы, он по какой-то странности остался на этом же заводе в качестве сменного и принялся бомбардировать всех письмами, требуя ни больше ни меньше как остановки производства до внедрения новой конструкции. Все это пахло авантюризмом. История с новой конструкцией была очевидной и несостоятельной попыткой свалить собственную вину на конструктивные ошибки и сухим выйти из воды. Так характеризовали Бахирева Вальган и другие близкие Беловодову люди.

Личное впечатление подтверждало рассказы. Сменный инженер, мрачный, вихрастый, помятый с дороги, ворвавшийся в кабинет со своими папками, такими же помятыми, как он сам, был странен. Его мрачная самоуверенность ни в какой степени не соответствовала ни его положению сменного инженера, ни его делам, ни его виду. «Выскочка. Авантюрист,— решил Беловодов.— Удалось один раз прорваться к должности главного, прогорел и вот опять ищет лазеек».

— Тысячу часов испытаний,— повторил он слова Бахирева.— А вам известен закон? Гарантийный срок, согласно закону, не меньше двух тысяч.

— Но практически это значит еще минимум три месяца напряженной работы.

— Я спрашиваю: вы закон знаете? Почему вы представляете данные, не проверенные как полагается?

— Конструкция говорит за себя... Взгляните. Вы даже не взглянули. Испытания показали, что эта конструкция в одиннадцать раз устойчивее той. Да ведь это видно с первого взгляда. Смотрите.

Приезжий был наглее, чем можно ждать. Беловодов понял возмущение Вальгана.

— Я спрашиваю, товарищ Бахирев: вы знаете закон? Кто дал вам право настаивать на внедрении в массовое производство конструкции, не прошедшей законного испытательного срока?

— Я вам второй раз отвечаю,— вспыхнул Бахирев,— что конструкция говорит за себя! Если все испытывать, то не надо быть инженером. Вахтером надо быть!

Грубость вызвала любопытство: очевидно, в этом кабинете грубили не часто.

— Это как же вахтером?

— После испытаний и вахтер отличит хорошее от плохого. Инженер должен чувствовать, понимать и рассчитывать конструкцию.

— Не знали, не знали!— Беловодов забавлялся.

Надо было взять себя в руки, попробовать убедить:

— Положение катастрофическое. Мы ежедневно гоним с конвейера на поле сотни негодных тракторов.

— Было катастрофическое положение. Согласен. Вы бедлам развели весной на заводе! Вас сняли! Сейчас технология изменена, и обрывов противовесов за последнее время нет. А вы все продолжаете будировать... С какой целью?

Он уличал? В чем?

— С какой целью?— переспросил Бахирев.— С единственной целью: предупредить массовые аварии. С этой или следующей посевной начнутся массовые обрывы противовесов! Необходимо немедленно изменить конструкцию на обоих заводах и снять все противовесы этой конструкции на тех тракторах, что уже выпущены на поле!

— Вы понимаете, что вы говорите?— тихо спросил Беловодов.— Остановить два завода! Снять противовесы на тысячах тракторов, разбросанных на полях всего Советского Союза! Для этого нужна совместная согласованная санкция нескольких министерств. И вы хотите, чтоб все это было сделано на основании вот этой вот... филькиной грамоты? Ведь у вас не выполнены элементарные условия испытаний.

— Но видно же! Видно!— страдая, указал Бахирев на чертеж.

— Что видно? Видна возмутительная небрежность. Видно, что даже вот корочки вашей папки изжеваны и измяты. Видны крайняя легковесность и поспешность... Я бы сказал больше: производственный авантюризм виден во всей этой истории.

Бахирев наконец понял, как он выглядит в глазах

Беловодова. Эти глаза видели докладные, письма, заявления Вальгана и его приближенных. Они не видели побоища тракторов у заводских ворот. Что же делать? Бахирев растерянно оглядывался, ища выхода и поддержки. Солидные шкафы с книгами, экспонатами. Застекленные фотографии на стенах. С точки зрения этого застекленного благополучия и сам Бахирев, и его спешка, и летающие над ним противовесы, и тракторы с пробоинами представляются странной авантюрой. Но разве можно судить с точки зрения стекла и бумаги? Разве втиснешь в шкаф жизнь со всей ее борьбой, сложностью?

Пока он раздумывал, Беловодов говорил по телефону. Звонил Сталинград. Сразу вслед за ним позвонил Челябинск.

«И с ними так же: бумага, стекло, телефон?» — спрашивал себя Бахирев. Сложная жизнь колоссально разросшегося производства явно не размещалась в этой комнате. Сюда доходило лишь ее бумажно-телефонное отражение!

— Я понимаю,— сказал Бахирев, когда Беловодов положил трубку,— отсюда обрывы противовесов кажутся крохотным эпизодом, а моя настойчивость — авантюризмом. Но если бы вы видели не бумаги, а сами потерпевшие тракторы так, как видел их я...

«Авантюрист» был опаснее, чем показался сначала. Он играл на самой выигрышной струне — на своей близости к жизни. Беловодов хорошо знал эту породу инженеров, ставивших себе в заслугу грязные руки и стоптанные сапоги. Их было много, людей, считавших министерский кабинет Беловодова чем-то вроде грыжи или аппендикса и в самих себе полагающих пуп земли. Беловодов считал, что они не могут не завидовать и кабинету, и машине, и всему обиходу министерско-московской жизни. За их критическим отношением к министерству он видел личную зависть. Предоставь любому из них даже не кресло в министерстве, а один подлокотничек,— и они усядутся с превеликой радостью и будут сидеть! А поскольку этой плеяде не предлагают даже подлокотничка, она пытается по возможности смести самое кресло.

— Понятно. Понятно все, что вы хотите сказать. «Министерство оторвано от заводов». Тезис не новый.

— Я хочу сказать, что заводов стало великое множество. Чтобы избежать бумажного руководства, работники министерства должны обладать многими качествами. Вас я не знаю. Но я знаю, что Бочкарев обладает как раз этими качествами. Я прошу, чтобы мой вопрос был передан ему, когда он вернется.

Бахирев совершил очередную бестактность. Беловодов

понял. приезжий из тех, кто будет ходить и жаловаться по всем возможным организациям и инстанциям. Надо было это в корне пресечь.

— Завод знает не только Бочкарев, но и другие! — Он встал.— В министерстве знают и понимают больше, чем вы думаете, товарищ Бахирев. Мы знаем, что вы провалили технологию, вовлекли завод в катастрофу и теперь хотите свалить все на конструкцию и уйти от ответственности.

Бахирев тоже встал.

— Я не ухожу от ответственности. Сочтите меня виновным за прошлое, судите и наказывайте. Я приехал говорить о будущем. О новой конструкции. Она технологичнее, дешевле, прочнее той, которая имеется.

— Я уже сказал, есть закон, который запрещает менять массовое производство без должного срока испытаний.

— Я пойду в ЦК! — взорвался Бахирев.

«Так я и знал,— убедился Беловодов.— Из сутяг и кляузников. Обрубить сразу».

— Ваше дело. Предупреждаю, однако, что ЦК мы уже информировали. У них есть заключение специалистов о том, что конструкция работоспособна и срывы зависят от технологической разболтанности завода. В ЦК известны также два решающих факта: первое — это то, что конструкция принята на двух заводах, а противовесы летят на одном — на вашем; второе — это то, что они летели главным образом в той серии, которая выпускалась во время болезни Вальгана, когда завод находился под вашим непосредственным руководством. Это не бумажка, товарищ Бахирев! — Он отодвинул бумаги Бахирева.— Это и есть жизнь! И ЦК об этой жизни знает. Кстати, я туда сейчас позвоню. Возьмите это.— Он отодвинул бумаги.— Советую с такими филькиными грамотами больше в министерство не показываться. А тем более в ЦК! Хотя это уж ваше дело!..

Он нажал кнопку и сказал секретарше:

— Просите следующего!

Бахирев едва выбрался из комнаты. Кожа лица опять стала горячей и тесной.

Он пошел в ЦК и позвонил в бюро пропусков. Ему ответил молодой торопливый голос:

— Товарищ Бахирев? Сменный инженер тракторного? По какому вопросу? О противовесах? Сейчас я уезжаю на завод до вечера. Давайте завтра!

Бахиреву, взволнованному и уязвленному, послышалась в словах излишняя жесткость и торопливость.

«Беловодов уже успел. Позвонил и обрисовал».

Он вышел и остановился у дверей. Машины стояли длинным строем возле заснеженного сквера. Толпы людей спешили по морозной улице. Никому не было дела до сменного инженера Бахирева с его летающими противовесами. Ждать до завтра? Зачем? Что будет завтра? Что сможет он противопоставить заключению специалистов и словам Беловодова? Кем войдет он в ЦК? Опозорившимся, изгнанным виновником аварий и обрывов? «Производственным авантюристом»? С чем войдет? С не доведенными до конца испытаниями и бездоказательными бумагами в смятых корочках? Он больше всего уповал на убедительность новой конструкции. Но здесь, в ЦК, он будет разговаривать не с конструктором-тракторостроителем, и этот его главный козырь не сыграет. Зачем идти? Не разумнее ли вернуться и как можно скорее накрутить недостающую законную тысячу испытаний, и тогда снова?.. Куда же сейчас ехать? В гостиницу «Москва» или на вокзал за обратным билетом?

Усталость от всего пережитого и от многих бессонных ночей сковала его. Отупевший, брел он по улицам, не чувствуя мороза, не видя людей, сам не зная куда. Замелькали машины, опоясанные шашечными клетками,— такси. Он открыл дверцу.

— Куда?—спросил шофер.

— На вокзал!

Он не телеграфировал домой о приезде. Он не мог говорить с Катей о том, что произошло, и не мог в час встречи притвориться, будто ничего не произошло. Он поехал на завод автобусом. Сойдя на остановке, наткнулся на Василия Васильевича и, боясь расспросов, попытался сделать вид, что не заметил его. Но старик пошел навстречу, сияя всем своим раскрасневшимся на морозе лицом. Он покрутил усы тем особым ухарским движением, которое появлялось у него в торжественных случаях.

— Ну, Дмитрий Алексеевич, поздравить можно!

«Так я и знал,—покривился Бахирев.—Ждут удачи, невесть чего».

Он нехотя выдавил:

— Не с чем поздравлять, Василий Васильевич.

Старик почему-то сразу переменился в лице:

— Как же это не с чем? С доверием! Этим пренебрегать не след! Это я вам прямо скажу, вы зря... Зря... Зря...—Он вдруг самым изысканным образом приподнял над головой шапку и даже слегка шаркнул по снегу подшитым валенком.—До свидания. Будьте здоровы.

Бахирев знал, что старик принимает «великосветский» вид только в минуты горькой обиды.

«Что-то неладное я сказал. Он меня не понял или я его? На что опять обиделся?»

— Василий Васильевич!

Старик остановился и поглядел с тем же горько-обиженным и укоризненным выражением.

— Может, я опять неладное сказал? Очумел от поездки. Прямо с поезда, вот с чемоданом. И поездка такая, не приведи бог, поздравлять не с чем.

— Так ведь я вас и не с поездкой... Или вы ничего не знаете?

— Ничего я не знаю... С вокзала.

Старик расплылся шире прежнего:

— От меня, значит, от первого? Хорошей вестью приятно встретить. На отчетно-перевыборном в партком вас избрали, Дмитрий Алексеевич.

Бахирев опустил чемодан, не сразу осмыслив неожиданное событие.

— С избранием! С доверием, значит.

— Меня? Ну, действительно... Хорошая весть! Спасибо.

Бахирев был взволнован, старик обрадовался этому и заторопился с рассказом:

— Что тут было! Два раза переголосовывали. Вы и того не знаете, что директора не выбрали?

— Вальгана не выбрали?! — Бахирев чуть не выронил изо рта трубку. — Расскажите: как, что?

Они сели на скамейку детского скверика.

— Что тут было-происходило! Сперва шло ничего, порядок порядком. В прениях интересуются рабочие, какое поступило в партком заявление на директора от комсомольцев модельного. Чубасов, конечно, читает это заявление относительно неправильного отношения к кокилю и к прогрессивной технике. Тогда берет слово Дронов, говорит про это письмо, что в нем, мол, звучат нездоровые настроения. Слушаю я и не могу с этим примириться. Громожусь я на трибуну. «Как же, говорю, нездоровые? Если бы комсомольцы молчали о безобразиях или бы зря кричали по углам, это были б действительно нездоровые настроения. А они прогрессу добиваются через партком! Через свои посты! Это и есть самое здоровое настроение». Поддержали меня Осипов и другие товарищи. Однако Дронов не соглашается. И пошла тут полная перепалка! Дронов опять хватается за письмо и говорит такие слова: мол, модельщики пишут про директора, что у него разговор, как у старорежимного хозяина. А у самих, мол, все письмо написано в развязном хозяйском тоне! Как дошел до этого, глядим, встает наш Корней Корнеич. Просит внеочередного слова. Тут, конечно, всеобщая

тишина. Не говорун, редко-редко когда выступит! А тут — внеочередное! И пошел разговор принципиальный об этом об самом слове — «хозяин». Корней Корнеевич доказывает: если хотите, чтоб молодежь по-хозяйски работала, не укоряйте ее и за хозяйские слова! Мы, мол, этим хозяйским духом и сильны! Словом, говорит про самое про основоположное. Весь зал рукоплещет! Выступает директор, ничего существенного изложить не может: «Я работал. Меня не оценили». Только усугубил положение. Приступили к выборам. Выдвигают тут и вашу кандидатуру. Были, конечно, и отводы. Опять повоевали. Поднялись тут и наши чугунщики, и моторщики, и модельщики присоединились. Надо сказать, Чубасов с Грининым поддержали. Проголосовали. Объявляют результат тайного голосования: Бахирев избран, Вальган нет! Как бомба разорвалась, ей-богу! Тут Уханов возражает: неправильное, мол, голосование. Два раза переголосовывали — один результат.

Бахирев грыз мундштук трубки. Вот, значит, как! Пока он там стоял у бюро пропусков, унылый, усталый, одинокий, здесь дрались за него и за его линию. И кто дрался? От мальчуганов из модельного до седоусых стариков, не считая таких людей, как Чубасов, Гринин. Если б он знал, не уехал бы из Москвы ни с чем. На минуту потерял чувство общности с этими людьми — и уже слабость, уже растерянность, уже промах.

«Эх, буду ли я когда-нибудь человеком?» Он встал:

— Спасибо, Василий Васильевич. Помните, я однажды пришел к вам домой за наукой? Мне еще не раз приходить. Одно у меня оправдание: ученик я хоть и тупой, да старательный.

Через полчаса он, сжавшись, сидел перед разъяренным Чубасовым и гневным Рославлевым.

— Кто ты? — говорил Чубасов.— Тебя послали как человека, как инженера, как коммуниста тебя послали! А ты? Ты съездил, как... как... и слов не найду!

Бахирев кротко пошевелил плечами, потянулся к вихру, но тут же опустил руку.

— Беловодова испугался! — продолжал Чубасов.— Вот уж действительно: страшнее кошки зверя нет. Трус!

— Я не Беловодова... Я доводов, логики... Ведь у него, понимаешь, доводы. У нас противовесы летят, а на одноименном заводе? Нет, не летят! Законный срок испытаний выдержан? Нет, не выдержан. У него, понимаешь, своя логика... А я для него авантюрист, ловкач, который ищет лазейку.

— Хорошо,— тихим от злости голосом сказал Чуба-

сов.— А ты, сам-то ты убежден в том, что ты не ловкач и не авантюрист? Или, может, ты сам не убежден в этом?

— Я убежден,— сказал Бахирев.

— Так почему же ты не стоишь на своем? Ведь дело-то не в тебе! Черт бы тебя взял, стали бы мы из-за тебя волноваться! Ты утверждаешь, что конструкция ошибочна, что рано или поздно начнется массовый обрыв противовесов.

— Утверждаю,— проговорил Бахирев и дернул свой вихор с такой силой, словно порешил во что бы то ни стало рано или поздно сам себя обезглавить и теперь примеривался.

Рославлев громыхнул кулаком по столу.

— Так что же ты...— Он закончил крутой бранью.

— Трус,— спокойно сказал Чубасов.— Трус. Вот ты кто.

— Плюнули ему в морду,— прогудел Рославлев,— так он до того перепугался, даже не вытирается! Он садится в поезд и везет плевки с собой на завод!

— Сколько надо дней, чтоб накрутить на моторе недостающую тысячу?— спросил Чубасов.

— Если работать так, как до сих пор, по три-четыре часа в сутки, то почти год.

— А кто тебе велел по три-четыре часа? Знал, что необходимо больше, пришел бы в партком, добивался бы! А если на двухсменную работу? А если по двадцать часов в сутки?

Бахирев кротко глядел в девичьи красивые, яростные глаза парторга.

— Тогда около двух месяцев.

Чубасов не желал бахиревских заглядываний. Он отвернулся, сказал:

— Значит, надо организовать по двадцать, а то и по двадцать четыре часа.

Чтобы успокоиться, он прошелся по комнате, встал у окна спиной к Бахиреву и произнес:

— Ты забыл о коллективе. А коллектив про тебя не забыл. Выбрали тебя в партком. Выступали люди, дрались, можно сказать, за тебя... Слыхал?

— Слыхал...

— Будешь по партийной линии двигать прогрессивную технику. Первая твоя партийная нагрузка. Сегодня вечером заседание парткома о планах работы.

— Но я еще не продумал, с чего начать.

— Зато я продумал. С того и начнем, что тебя надраим. Ясно?

— Ясно,— ответил Бахирев с прежней кротостью, глядя на длинную злую спину парторга.

Глава XXV
ЛЮБОВЬ НА ЗАДВОРКАХ

Окно выходило на задворки, и поверх занавески смутно темнел глухой забор и горбилась крыша курятника. Дмитрий поднялся и ударился головой все о ту же балку.

— О, черт! Строились же люди! Домишки до пупа, а заборищи до небес! Я люблю забор веселый, решетчатый, чтоб за ним гуси-птицы ходили...

— Мне очень интересно знать, какие ты любишь заборы,— с обычной иронией сказала Тина.

Он искоса взглянул на нее. Она лежала на спине, вытянув руки поверх одеяла. Он усмехнулся про себя: «Пионерка в тихий час в Артеке на веранде». «Лежите прямо, дышите ровно». И выражение школьно-пионерское. А ведь минуту назад... Они, женщины, это умеют...»

Теперь у него часто возникало ощущение, что она может мгновенно встать и уйти, не оглянувшись, не изменив этого отчужденно-спокойного выражения светлых глаз.

Он вырывал часы для свиданий с ней трудом и ложью. Он тайком, боясь встречных, пробирался в эту хибару и, придя, натыкался на отчужденность, подобную колкому и острому ноябрьскому льду.

Каждый раз нужно было начинать с того, чтоб расколоть этот лед своими руками, растопить своим теплом.

«Стоит на миг уменьшить мою «теплоотдачу», как снова вся обледенеет,— продолжал он думать.— Не умеет она любить, что ли?»

Их любовь, втиснутая в четыре стены, задыхалась. Размолвки вспыхивали то и дело сами собой, как электрические заряды в загустевшем, застоявшемся воздухе.

Она начала одеваться, не стыдясь его, но лицо у нее оставалось таким чужим, что ему неловко стало смотреть. А она, казалось, забыла о его присутствии.

О чем она думала? Какие не подвластные ему мысли текли своей чередой под этим чистым и выпуклым лбом?

Она вздохнула легко, обвела покойным, чуть печальным взглядом комнату, смятые подушки и сказала с оттенком насмешки:

— Кажется, у нас осталось только это...

Плечи ее были так смуглы, точно она только что пришла с пляжа.

Он всем корпусом повернулся к ней.

— А этого, по-твоему, мало?

— Конечно.

Чем одностороннее делалась их любовь, тем сильнее, острее и горше становилась эта единственная, непомерно разросшаяся сторона. Словно за свою слишком суровую юность теперь отквитывался он запоздалым избытком чувств. Он взглянул на часы — оставалось десять минут. Он сжал ее плечи.

— Глупыш! Привязанность, дружба и прочее — это лишь функция времени. А вот такая тяга друг к другу... это... это...— у него оборвалось дыхание.

— Ну? Что это? — с тем же оттенком насмешки и высокомерия спросила она.

Он отпустил ее плечи и сам с усилием засмеялся над своими словами, прежде чем выговорить их:

— Это, если хочешь знать, дар небес.

— Странные подарки делают тебе твои небеса.

— А тебе твои? Тебе твои никаких не делают. Скажи моим спасибо! Ты существуешь за счет моих. Кто увез тебя тогда на дачу? Кто ищет тебя по цехам? Кто отогревает эту ледышку? — Он шутя сжал ее горло.— Говори, рыбья кровь! Что подарили тебе твои небеса?

— Пусти... скажу...— Она освободилась от него.— Мои подарили мне вот это...— Ее ладони скользнули по его лицу.— Подарили мне тебя.

Такая глубокая нежность звучала в словах, что он затих, обескураженный. Она умела вот так, одной фразой перевернуть все внутри.

— Ты говоришь, что ищешь меня. А сегодня я полчаса ждала тебя в коридоре.

— Почему?

— Дверь была открыта, и я слышала, как ты спорил с Ухановым.

— Он говорит, что я под видом партийного контроля лезу не в свои функции.

— Что же тебе остается делать, если он не выполняет своих функций?

Он вспомнил, как жена уговаривала: «Митя, не вмешивайся! Пусть их...» Ему захотелось сказать Тине что-то очень хорошее.

Она открыла платяной шкаф, и оттуда пахнуло запахом захудалости и старья, которым был пронизан весь домишко. Ему стало неловко оттого, что он не мог найти лучшего места для их любви. Он попробовал спрятать стыд за иронией:

— Социалистическая эпоха не приспособлена для адюльтера! Возьмем капитализм: за деньги все к твоим услугам — гостиницы, частные дома, чужие языки и даже

чужие документы,— все можно купить. А попробуй организуйся в наше время: квартиры коммунальные, без управдома и без жилуправления — ни тпру ни ну. В гостиницах требуют командировочные и паспорта... Вот и крутись!

Она опустила руки, задумалась. Потом повернула к нему серьезное, усталое лицо.

— Социалистические люди не приспособлены для адюльтера. В частности, мы с тобой совсем не приспособлены... Ты знаешь это?

— Да...

Они оба сидели неподвижно и безмолвно, равнодушные к посвисту ветра и к скрипу ставней.

— Несколько лет назад,— продолжала Тина,— мой отец однажды говорил со мной об этом. Он говорил, что легкие романчики нам не нужны и не интересны. Они слишком дешевы для нас. Мы привыкли к бóльшим внутренним ценностям... Наша жизнь так осмысленна и так наполнена! А большое чувство... Большое всегда опасно, если у него нет возможности естественного развития. Если большому потоку закрыть естественное русло, он может стать губительным. Большое требует осторожности. И тот, кто утрачивает осторожность...— Она остановилась.

— Что тот? — поторопил он.

— Тот должен быть готов к расплате.

— Чем и как расплачиваться?

— Своею любовью.

— Как своею любовью?

— Ты вспомни, как мы полюбили друг друга? Сколько было большого, трудного, увлекательного, и все было вместе! Для большой любви нужно большое дыхание. Любовь на задворках — это не для нас. Теперь что ни слово у нас, то и обида. К чему мы пришли?

Оба задумались о том, что стало с их чувством.

По-прежнему большое, оно становилось день ото дня одностороннее и уродливее.

Тина любила Дмитрия за цельность натуры, но видела лишь в постоянном раздвоении. Она любила его неуклонную принципиальность, но каждая их встреча была отступлением от его принципов. Она любила его за честность, но видела лишь опутанным ложью. Она любила его за ту большую, кипучую жизнь, участницей которой была недавно, но все дальше отходила от этой жизни, отгораживаясь от нее стенами хибары.

Его пленяли ясность, смелость, деятельность ее натуры, освежающей, как родниковая вода, но он все чаще видел ее печальной, холодной и утомленной. Несмотря на свою выносливость, она все сильнее уставала. И работа, и

дом, и больной Володя, о котором нужно было заботиться, и эти тайные свидания выматывали ее физические силы. Но еще больше была ее душевная усталость. Душа, так же как тело, устает и немеет от неестественного, согнутого положения. Онемение усталости, которое Бахирев принимал за охлаждение, все чаще заглушало Тинину энергию, ее бодрящую иронию, ее живой интерес к окружающему.

Они день за днем теряли друг в друге как раз то, что любили.

Он пытался бодриться:

— Люди любят по-разному. Когда один из любящих слабее, он подчиняется другому, и любовь идет гладко и скучновато. А мы равны. Поэтому и любовь у нас такая. Идет через пень колоду, а все растет, наперекор стихиям.

Из-за пряди волос блеснул голубой лукавый глаз, и она сказала:

— Здорово... Интересно все-таки наблюдать, как происходит процесс очеловечивания орангутангов.

— Это ты к чему?

— Если не считать взлета наших первых дней, то только теперь ты научился довольно связно говорить о любви. Когда мне исполнится сто лет, ты сможешь даже написать мне что-то вроде стихов.

Она засмеялась. Смех был обидный, холодный и колкий, словно ледышки падали с высоты.

— Стихи, как и цветы, в тепле произрастают,— сказал Бахирев.— При твоей температуре произрастет один лишайник.

— Ну вот, мы опять поссорились. Знаешь, почему мы все время обижаем друг друга? Мы любовь обидели.

Наступило молчание.

Она подошла к нему, прижалась лбом к его плечу и постояла так минуту.

— Как «любовь обидели»?—глухо спросил он.

— Она у нас большая, а мы затолкали ее в хибару, прячем, как позорище.

Она подняла лицо и сказала без привычной иронии, печально и с той серьезной наивностью, которая когда-то так красила ее:

— Когда любовь обижают, она уходит. Митя, ты понимаешь? Лучше нам самим уйти друг от друга, прежде чем она уйдет от нас.

— Она не может уйти...

— Она может изуродоваться. Это еще хуже. Она — самое дорогое, что было в моей жизни, я не хочу видеть ее искалеченной. Прощай.

— Тина!—сказал он в отчаянии.— Ну как это мож-

но — повернуться и уйти после таких слов? Вынесла приговор — и хлоп дверью. Ты во многом права. Может быть, ты умнее меня, но откуда в тебе, в молодой и красивой, взялась вот такая жестокость? Откуда?

— Не знаю... Может, после гибели папы. Раньше я не была такая. Разве ты не знаешь? Все на заводе знают... Его расстреляли как врага народа. А я любила его больше всех... Тебе ничего не говорили?

— Кто же мне скажет, если ты молчишь? Но ты... ты почему никогда ни слова?

Она подумала.

— Зачем о таком печальном? Прощай.

Она поцеловала его и пошла к двери. Они никогда не выходили вместе, боясь встречи с заводскими, но сейчас ему захотелось пойти с ней.

— Тина!

Он еще раз увидел ее смуглое, диковатое лицо, чуть расширенные татарские скулы и русские, смелые, спокойные глаза. Ему вспомнилось, как Алексеев говорил о ней: «Русская с примесью татарского — вдвойне русская».

Она махнула рукой и скрылась.

Он сидел растерянный и сразу затосковал о ней. Так бывало часто: когда она приходила, его раздражала ее независимость, отчужденность; когда ее не было, он тосковал. Не смея выйти за Тиной, он кружился по комнате, натыкаясь на щербатые стулья. «Никогда ни ползвука, ни полслова...— думал он.— Меня изводят пробоины тракторов... А со мной рядом моя женщина... с пробоиной в сердце...»

Он понял эту смесь несоединимых качеств: доброты сердца и жесткости суждений, чистосердечия и скрытности, ясной доверчивости ребенка с холодноватой иронией человека, закаленного и все испытавшего.

За ее спокойствием увидел он сейчас необычную выносливость. Кто, кроме нее, мог, входя во все подробности его жизни, ни разу не потревожить своей печалью?

Кто, кроме нее, мог вот так встать в шесть часов утра, обиходить больного мужа, прийти в цех и работать до ночи, в темноте идти сюда, к нему, отвечать на его ласку, с нежной иронией понимания переносить его грубость, ничего от него не требовать и находить умение и силу для того, чтоб двумя словами перевернуть все в нем, поднять и облагородить происходившее? И добираться трамваями на другой конец города, и снова работать, и стряпать, и штопать, и лечь далеко за полночь, чтоб с рассветом начать то же самое. И остаться при этом мягкой, нежной, спокойной. Кто мог это? Тина могла.

Кто в мире любил его так беззаветно и бескорыстно? Жена? Но, едва сказав о своем чувстве, она уже потребовала его забот, брака, семьи, уюта. Он дал ей все, что мужчина должен дать женщине. Все, кроме любви. Сейчас она сидит в уютной квартире, среди детей, спокойная, обеспеченная. А Тина?.. Утомленная работой и его любовью, добирается она сейчас домой, морозным вечером, редкими трамваями. Он обвиняет ее в холодности, а она просто устала! Устала от забот, от трудов, от этих одиноких ночных дорог, от лжи, от притворства, от любви на задворках. Как она доберется сегодня домой, в метель, в холод? Может быть, она уходит навсегда? Уходит навсегда и уносит свою любовь, обиженную и искалеченную. В ее взгляде, в ее коротких словах, в последнем взмахе руки было скрытое прощание. Как он не услышал этого? Догнать!

Он выбежал за ней. Снежные вихри вились меж домишками, бились в закрытые ставни. Он вспомнил, как обидел ее сегодня, когда сказал ей «рыбья кровь».

— Тина...— сказал он вслух.— Рыбка моя!

Он говорил это, обращаясь к заборам, к сугробам.

Он остановил проезжавший грузовик, встал на подножку, сунул деньги шоферу.

— Гони к мосту! К трамвайной остановке... Скорей! Мне надо поймать одного человека, пока он не уехал. Скорей!

У остановки было пустынно. Два пьяных спорили о чем-то, да одинокая женская фигура таилась за деревьями — Тина!

Он подбежал к ней, увел в переулок. Она испугалась:

— Что с тобой? Что случилось?

— Ничего... Просто стало необходимо еще увидеть тебя. Иди сюда... Ко мне...— Он распахнул пальто, прижал ее к себе, закрыл полами.

— Что с тобой? Митя? Что с тобой?— Она ощупала его лицо.— У тебя лицо дрожит? Что случилось?

— Нет... А может быть, да... Я все бежал к тебе. Все хотел сказать...— Он говорил бессвязно и торопливо.

— Что хотел сказать?

— Что ты одна... Что, может, ты права была, когда говорила о процессе очеловечивания...

— Почему? Что?— Она пыталась и не могла проследить поток его мыслей.

— Я сейчас шел и говорил о тебе.

— Кому?

— Забору... Дереву...

— Что же ты говорил?

— Я говорил: «Тина, рыбка моя»...

Прижавшись друг к другу в темном переулке в морозную ночь, они стояли, не замечая времени.

— Я испугался, что все кончено, что ты уходишь совсем. Мы же должны быть вместе! Я не могу без тебя.

— Невозможно.

— Тина...

— Ты опять о том же, Митя... Я же знаю тебя! Если б нам отдали детей... Если бы она отдала их, если б у нас хватило жестокости отнять у нее или если бы они сами оставили ее ради нас... Три «если», и ни одно из них не осуществимо. Ты не из тех, кто бросает детей. Ты не оторвешься от них. Но я боюсь не за них — зачем притворяться? Я боюсь за себя и тебя. У меня хватило бы жестокости и эгоизма перешагнуть через их счастье, ради нашего... Но ты не будешь счастлив... А значит, и я... Я уже говорила тебе: сейчас ты живешь с ними, но рвешься ко мне и тоскуешь обо мне. А если ты будешь жить со мной, ты будешь тосковать о них и рваться к ним.

Он плотнее прижал ее.

— Это так. Но ведь я готов пойти на это... пойти на эту тоску.

— Я понимаю тебя лучше, чем ты сам. Ты будешь тосковать о них все сильнее. И придет такой час, когда тебе станет невтерпеж. И я буду видеть, как день ото дня гаснет твоя любовь. И однажды ты упрекнешь меня за себя и за них.

— Никогда!

— Не на словах. В душе. Но ведь я все равно услышу... И я не смогу этого вынести. Нет, Митя. У меня как в той сказке о распутье: быть твоей женой и не быть твоей любовью или быть твоей любовью, но не быть женой... Третьего выхода у меня нет. А из двух я выберу только второй! — И, сильнее прижавшись к нему, она тихо жаловалась: — Митя, любимый, я все вспоминаю нашу весну... Такой мягкий свет в «фонарике»... И липы цвели... И мы с тобой мечтали о новых цехах и все ходили вместе по заводу! И никого не боялись. Ни людей, ни самих себя. Ведь уже была любовь. Но какая счастливая, ясная... Когда и как эта весна ушла от нас?

Он хотел утешить ее.

— Она не ушла... Она с нами. Мы ссоримся потому, что оба переутомлены и перенапряжены. Дай мне еще немного времени. Я разрублю этот заводской узел, и тогда... Мы найдем выход! Нет безвыходных положений.

— У нас есть выход. И только один — разлука.

— Нет!

Он не сдавался. С железным упорством, столь харак-

терным для него, он твердил свое, наперекор обстоятельствам, наперекор разуму, наперекор самой жизни.

Прощальная мартовская метель наметала вокруг них сугробы, засыпала снегом плечи и головы. Стыли ноги, шли часы, а Дмитрий все стоял, прижав Тину, и не мог ни отпустить ее, ни увезти с собой...

Глава XXVI

НА УЛИЦЕ ИМЕНИ СТАЛЕВАРА ЧУБАСОВА

К обеду Бахирев, как обычно, кончил работу в лаборатории; скользя и спотыкаясь на бугристых тротуарах, он плелся домой поспать перед ночной сменой. Автобусы не ходили из-за наледи, и бесконечно длинным казался Бахиреву путь меж однообразными домами. Пронизывающий ветер проникал за поднятый воротник, рвал полы пальто и хлестал лицо холодной мокретью. Сизые тучи с резкими, вырезанными краями угрожающе низко громоздились на небе. Тусклый свет неприютного дня был сумрачен. Все неустройство холодной и равнодушной планеты являло себя. Бахирев плелся домой с одним желанием—спать. Он не ждал от дома ни уюта, ни отрады. Только голова Рыжика мелькнет огоньком в сумраке комнат.

В квартире все было так, как он представлял.

Сбитые половики в коридоре, кое-как брошенная на стулья одежда. За дверьми очередная схватка Ани и Рыжика. Подозрительная тишина в ванной, где Бутуз в одиночестве сопел над очередной каверзой. В столовой неубранная посуда. От каждой мелочи пахло застарелым бедствием, бедствием, к которому уже притерпелись, но с которым еще не справились.

Жена встретила его тревожными вопросами:

— Ну что?! Как он?! Неужели и его не будет?.. Это ж твоя последняя защита!

Он привычно терпеливо спросил ее:

— О чем ты?

— Как о чем? О Чубасове! Разве ты не знаешь? Ох, боже мой, Митя, почему ты никогда ничего на знаешь?!

— Что я не знаю? Что с Чубасовым?

— Все только об этом и говорят! Завтра же пленум обкома. В обкоме узнали, что он опять готовит антипартийное выступление, такое же, как на бюро, и Бликин не позволил ему выступать!

Бахирев досадливо сморщился.

— Катя, ну кто может «не позволить»? Чубасов не Бутуз... Кто может человеку не позволить выполнить партийный долг?

— Чубасов пожаловался в ЦК, но все говорят, что его песенка спета! Он был такой благоразумный! А теперь он наскакивает на самого Бликина! Я шла из магазина. Уханова говорит, что Чубасов доживает на заводе последние дни. Что «надо очистить атмосферу»!.. Митя, Митя! Ведь Чубасов — это вся твоя защита!..

Бахирева покорежило. О партийных делах Катя всегда говорила неуместными, режущими слух словами: «Чубасову не позволил выступать», «Чубасов пожаловался в ЦК», «Он наскакивает на Бликина»,— лучше б она молчала! Он надеялся, что Катина магазинная информация окажется очередным досужим домыслом, но все же позвонил Чубасову.

Ему ответил взволнованный голос секретарши:

— Ой, Дмитрий Алексеевич? Где ж вы были? — Секретарша знала о дружбе Чубасова и Бахирева.— Николая Алексеевича только что опять вызвали в обком. Лично к Бликину.

— Когда он вернется?

— Сегодня больше не приедет. У него завтра очень ответственное выступление. Ему надо готовиться...

Бахирев положил трубку. Значит, борьба ширится. Завтра полем боя будут уже не цехи завода и не кабинет парторга, где обычно заседал партком, а большой зал обкома партии. Противником будет не только Вальган, но и сам Бликин. И во главе атаки не Бахирев, а Чубасов... «Жених» Чубасов... Тот самый улыбчивый юноша Чубасов, чья осторожная медлительность когда-то вызывала невольное пренебрежение Бахирева. Бахирев вспомнил свою бессонную ночь перед первой открытой схваткой с Вальганом из-за премий. Он вспомнил тяжелую тишину этой ночи, свои колебания и свое одиночество. Положение Чубасова еще сложней! Даже в парткоме им не всегда удавалось добиться единого мнения. Вальган умел увлечь и убедить. На пленуме обкома рядом с Вальганом встанет Бликин, а рядом с Чубасовым не будет ни Рославлева, ни Сагурова, ни его, Бахирева. Не случайно выступлению Чубасова заранее приклеили ярлык «антипартийного». Возможен полный разгром. И Чубасов знает это. Нельзя оставить его одного сегодня.

Чубасов не раз звал Бахирева к себе домой, но тот, перегруженный трудами и заботами, все не мог выбраться. Сейчас он торопливо набрал номер квартиры Чубасова. Ему ответила жена:

— Дмитрий Алексеевич?.. Он приедет прямо из обкома

около шести. Он будет очень рад. Приезжайте... Улица имени сталевара Чубасова... Да, да, названа по отцу... Сталевара Чубасова, дом двадцать...

В половине шестого Бахирев уже слез с автобуса и торопливо шагал рабочим поселком. Он не думал о том, что, на взгляд Вальгана и Бликина, он опальный, снятый, почти изгнанный, моливший как о милости о должности сменного. Его избрали членом парткома. Ему коммунисты доверили партийный контроль над внедрением новой техники. Мысли, за которые шел в атаку Чубасов, Бахирев вынашивал месяц за месяцем. Он был битый, мытый, катаный, утюженый. Он знал цену товарищеской руки, он обладал испытанной в бою решимостью. Кто же, как не он, должен сейчас быть возле Чубасова? И Бахирев поспешно топал на помощь парторгу своей тяжеловесной поступью.

Вот и улица имени Чубасова. Заснеженные, нерасчищенные тротуары, небольшие домики. Только шире и прямее старых улиц рабочего поселка, да молодые ели высажены вдоль тротуаров, да аккуратные домики отступили в глубь невысоких садов.

Домик Чубасова такой же, как у всех. Пробившийся из-за туч закат цвета готовой плавки отражался в огромных окнах. Снег перед забором старательно расчищен, и тротуар густо посыпан золой. Бахирев про себя усмехнулся: «Ответственно небось жить на улице отцовского имени!—И тут же посерьезнел:—Эх, не в веселый час! Каков он перед боем? Как держится?»

Дверь открыл мальчуган лет шести-семи. На нем были шубка и шапка, вывернутые мехом наружу. Некрасивый, узкоглазый и большеротый, мальчик ничем не напоминал Чубасова.

— А я знаю—вы Дмитрий Алексеевич! А папа звонил нам по телефону. Он сказал, чтоб вы немного подождали.

В просторной передней было тихо. Нерушимая тишина стояла и за стеклянными дверями комнат.

— Ты что же, один дома?—спросил Бахирев и неосторожно задел шубой за стул.

— Нет, я не один. Только тише, пожалуйста, потому что мама кормит. А Танечка пошла в чулан за жестянкой для ветряка.

Бахирев не понял, кого кормит мама и кто такая Танечка. Ясно было одно—здесь тоже царила понятная в такой вечер сумятица.

«Хозяйка не вышла... Стулом не двинь... Тоже неладно в доме,—подумал он и оправдал про себя жену Чубасова:—Нынче не до гостей». Он и сам рад был тому, что она не вышла: это избавляло от необходимости вести

натянутый разговор, подлаживаться к женской психологии. На мальчике, однако, домашние тревоги не отражались — узкие глаза его смотрели с живым и открытым любопытством. В нем не было ни застенчивости дичка, ни развязности баловня,— в его смелой и свободной манере чувствовались естественность и доверчивость.

— Вы будете ждать в столовой или в музее?

— В каком музее?

— В нашем с Танечкой. Пойдемте!

В большой комнате с двумя детскими кроватями все стены были заставлены полками. Вверху, под стеклом, алела надпись: «Наша родина». Мальчик объяснил Бахиреву:

— Тут у нас Арктика, тут Дальний Восток, тут Сибирь, тут Поволжье.

Открытки с видами, игрушечные звери и машины, кусочки руды и антрацита, пузырек с нефтью и склянки с песком и землей. У полки с надписью «Кара-Бугаз» стоял маленький кактус в горшке, а под ним плюшевый верблюд. Тут же лежали кусок сухой змеиной кожи и книжка Паустовского «Кара-Бугаз».

Посреди комнаты возвышалось сооружение из палок, покрытых половиком. На полу лежал кусочек моха. К стульям были привязаны ветки.

— А это чум. А этот мох называется «ягель». Настоящий! А я чукча. А это стадо оленей с рогами,— объяснил мальчик и полез в свой чум.

Мальчик с его музеем и чумом был занятен, но Бахиреву было не до него. Он развернул для вида книгу «Чукотские сказки» и углубился в свои мысли. Вскоре он услышал пыхтенье и фырканье. Мальчуган задрал рубашонку и самозабвенно тер деревяшкой голый живот. На животе пестрели ссадины, красные полосы, царапины.

— Что ты делаешь? — ужаснулся Бахирев.

— Я моюся,— не прекращая самоистязания и пыхтенья, ответил мальчик.— Чукчи никогда не мылись. А потом приехала учительница и научила читать и мыться.

— Прекрати! Ты уж домылся до дыр!

Мальчуган, недоумевая, нагнул набок головенку:

— Вы тоже хотите поиграть? Хотите, вы станете медведем? Я буду к вам подкрадываться и стрелять.

— А я что должен делать?

— Вы должны рычать.

Бахирев растерянно гмыкнул.

— Рычать по-звериному мне не доводилось. До этого, брат, у меня еще не доходило...

— Надо сперва встать на четвереньки. Да вы не

стесняйтесь!—ободрил его мальчик.—У нас мама тоже рычит! Танечка, он хочет быть медведем!

Девочка лет одиннадцати вывела Бахирева из сложного положения:

— Нет, Шурик, он не хочет быть медведем. Вас зовут Дмитрием Алексеевичем?

У девочки были отцовские, правильные черты лица, но утонченные и озаренные редкой красотой. Длинные и густые ресницы тяжелы были для тонких век, и в тени их темно-серые чубасовские глаза становились черны и глубоки. Тончайшие кудри играли при каждом движении. Бахирев невольно заговорил с ней на «вы».

— Да, я Дмитрий Алексеевич. А вы Танечка? Ваш «чукча» всадил в свое пузо добрую дюжину заноз.

Мальчик выпятил тощенький живот, нахмурился и, пока сестра мазала ссадины йодом, стоял безмолвно и неподвижно, как настоящий воин. Неосознанная прелесть девочки достигала той степени совершенства, которая заставляет думать о вечном и непреходящем. Бахирев отложил книгу и все внимательнее смотрел на маленькую самаритянку, врачевавшую своего худенького, скуластого и азартного брата...

За окном догорал закат, и в комнату проник неяркий, желтоватый отсвет. От двух грациозных детских фигур веяло покоем и миром. Тишина... Дети... Тепло домашнего очага, давнее, как закат, непреходящее, как красота этой девочки... «Спокойные,—думал он о детях и сам успокаивался.—Скрывают от них родители всякие свои катаклизмы. Оберегают. У нас с Катей так не получается».

— Теперь мы будем делать ветряк из жестянки,— объявил Шурик.—На Чукотке топлива мало, солнца тоже мало, а ветер так и гудит: «У-у-у!» Туда надо ветряки.

Бахирев любил своих детей и гордился ими, но сейчас вдруг отчетливо увидел их ссорливость, нервозность. Для Рыжика и Ани обычным было состояние войны, изредка перемежавшееся периодами кратковременного вооруженного нейтралитета. Он не мог не понять, что для детей, игравших возле него, привычно как раз обратное— взаимное согласие и общая рьяная занятость. Даже игры у них были особые, насыщенные: чукотские сказки, ягель и настоящие ветряки. Женский голос прервал его размышления:

— Здравствуйте! Они вам еще не надоели? Пройдемте в столовую!

Голос был неожиданно полнозвучным, грудным, сильным и странно не вязался с его хрупкой, маленькой обладательницей.

Бахирев не раз встречал жену парторга и всегда недоумевал: чем могла привлечь Чубасова эта незаметная женщина, щуплая, узкоплечая, большеротая? Сейчас он не узнал ее. Она держала на руках ребенка. Лицо ее розовело от скрытой, но переполняющей ее застенчивой и гордой радости. Взгляд узких глаз был одновременно и прямодушен и пытлив. Во всей ее фигуре, в ее манере смотреть и говорить были та же естественность, та же смелая и свободная грация, которые привлекали в ее детях.

И словно в противовес трепетной жизни, сквозившей во всем ее хрупком существе, сосредоточенно-покоен и на диво упитан был ребенок, щекастый и слишком тяжелый для тонких рук матери.

— Так это его вы кормили? — говорил Бахирев, идя за ней.— Я пришел, а мне говорят: «Тише! Мама кормит...»

— Надо мной Коля подсмеивается, что я «священнодействую»,— живо отозвалась женщина.— Но ведь это пока все, что наша Любка чувствует, понимает и умеет. Тревожить ребенка во время кормления — то же самое, что мешать ученому или художнику. Вы не смейтесь!

Столовая, обставленная светлой мебелью, была просторна. Возле большого окна на ступенчатых подставках стояли цветы в горшках. Топилась изразцовая печь. Ребенка уложили на диван, и он, повернув головенку, уставился внимательными темно-серыми, чубасовскими глазами на огонь, игравший за полуоткрытой заслонкой.

Женщина кроила что-то на большом обеденном столе. В ней было располагающее внутреннее равновесие. Она не волновалась, не спрашивала и ни словом не упомянула о завтрашнем сражении. «Не знает. Чубасов скрывает, не тревожит ее. Да и как ее не беречь — кормящая мать»,— понял Бахирев и заговорил с ней на нейтральную тему.

— Хорошо они играют в этом в музее...— сказал он с той немногословностью, с которой говорят лишь со своими.

— Друзей много... Ездят всюду... Я на всех накладываю контрибуцию.— Женщина щелкала ножницами, сметывала куски материи, и в речах ее слышался ритм работы. Негромкие фразы ложились как стежки.— Обязательную контрибуцию,— продолжала она.— Ведь много ли детворе надо? Вчера прислала приятельница в письме кусочек ягеля. Они уже и довольны. Весь день играют в Чукотку.

— Дружные они у вас?

— Дружные, но когда Шурик родился, Танюшка ревновала! Однажды прихожу в спальню — нет ребенка. Исчез! Куда?! Обыскали весь дом — нет! Вы только

представьте наше состояние! На глазах у всех исчез ребенок!

— Куда же он делся?

— Танюшка засунула его под бабушкину кровать! От ревности. А он был такой спокойный, что спал себе под кроватью.

— Наказали?

— Таню? Ой, что вы! Ведь пока она была одна— баловали. А тут второй ребенок, да еще слабенький! Мы все к нему! И Таня у нас незаметно выпала из семейного круга. Как она намучилась, бедная, прежде чем потащила братишку под кровать!

Бахирев все с большим интересом слушал Чубасову. В искренности ее тона, в умной полуулыбке, в живом рассказе о детях было что-то необычайно привлекательное и новое для него.

«Спокойная,—думал он.—И деловитая. Знает она или нет о завтрашнем? Нет, наверное... Чубасов бережет».

Он похвалил:

— Хороших ребят вырастили...

— Трудные,—неожиданно возразила женщина.— Особенно Шурик.

— Ну, если уж ваши трудные!..—Бахирев даже развел руками.—Чем же Шурик трудный?

— Знаете,—женщина улыбнулась умными глазами,— у тракторостроителей есть такое сложное выражение: «Конструкция работоспособна в номинале, но чувствительна к отклонениям». Вот и Шурик «чувствителен к отклонениям».

— Например?—допытывался Бахирев. Ему уже хотелось знать, как ей удалось сделать из «трудного Шурика» мальчугана, обаятельного даже на его, бахиревский, не заинтересованный чужими детьми взгляд.

— Ну, например, стали мы его отвозить в детский садик в отцовской машине,—рассказывала женщина, продолжая кроить.—Втроем ездили—мы с отцом на работу, Шурик в садик. Всем в одну сторону. Приезжаю как-то за Шуриком и слышу—расхвастался ребятам: «Петьку-то папа на «Победишке» возит, а меня-то мой папа на «ЗИСе». Пошел, сопляк, хвастать отцовским ЗИСом! Почувствовал себя в садике на особом положении... Теперь езжу с ним на автобусе.

— И вы тоже на автобусе?

— А что же делать? Одного его отпустить нельзя... Далеко, с пересадками... Очень трудно, особенно пока Любка маленькая,—доверчиво пожаловалась она.— Старших с бабушкой растила, теперь и бабушки нет. Соседка приходит на полдня.

«Мы с Катей, наверное, и не заметили бы мальчишечьего спора об отцовских машинах! — невольно подумал Бахирев. — А эта худышка мало того что заметила, сама вместе с сыном пересела на автобус».

Его поразила напряженность этого материнского, жертвенного внимания к внутреннему миру ребенка.

С новым уважением смотрел он на худенькие плечи хозяйки. А она кончила сметывать и все с той же отличавшей ее грацией привычно быстрых и точных движений убрала шитье и принялась накрывать на стол. У Бахирева никогда не возникало желания помочь Кате в домашних хлопотах. Почему же сейчас он с несвойственной ему поворотливостью поднялся?

— Давайте я вам помогу.

Она отказалась, а он продолжал топтаться у тахты.

Хлопнула входная дверь, и в комнату заглянул улыбающийся Чубасов.

— А, Дмитрий?! Пришел? Сидишь? Люба-большая, что ж ты его не угощаешь?

— Так мы же тебя ждали!

— Я быстро. Шурка, полотенце! Танечка, домашнюю куртку!

Он вошел посвежевший, с мокрым чубом, закрутившимся у самых бровей, одетый в куртку густого бордового цвета. Движения его были размашисты, слова звучали бодро, по-домашнему свободно:

— Вот я и готов. Корми нас, Люба-большая!

— Ну, как? — нетерпеливо спросил Бахирев.

Чубасов не изменил ни тона, ни вида.

— Предупредили, что мое выступление будет расценено как антипартийное. — Он подошел к ребенку и подкинул его к потолку. — Ух ты, какая она у нас сегодня нарядница!

Потрогал губами короткую шейку и снова уложил девочку. На ходу притянул и тут же отпустил Шурика, пошуровал в печке.

«Да что он, не понимает, что ли, чем может закончиться завтрашний день? — досадовал Бахирев, стремившийся скорее ободрять и поддерживать. — «Антипартийное поведение» — значит, вплоть до партбилета!»

Набравшись терпения, он ждал, когда наконец Чубасов позовет его в отдельную комнату. Но тот не торопился. В своей распахнутой яркой куртке он расхаживал по комнате с таким заинтересованным и довольным видом, с каким ходит по любимому дому хозяин, вернувшийся из долгих странствий.

Дети расставили приборы, разложили салфетки, водрузили на стол голубой горшок с белыми цветами. Странная

атмосфера праздничности тоже была непонятна Бахиреву: «Именины у них, что ли, сегодня? Вот уж некстати!»

Чтобы не молчать, он похвалил матери Таню:

— И хороша же растет! Красавица!

Девочка зарумянилась, а женщина ответила быстро и пренебрежительно:

— Это вы про что? Про «губки бантиком»?

Однако взгляд ее узких, умных глаз сразу стал настороженным, и заговорила она многословнее, чем обычно:

— Губки бантиком — совсем как у Вириной. Случается, что некрасивая девушка не найдет личного счастья. Это беда, это женщине не в укор! Но если красотка вроде Вириной никому, кроме своего поганенького Вирина, не ухитрилась понравиться — значит, уж такое ничтожество, такое ничтожество!.. Вот была женщина — Лариса Рейснер. Ей стихи посвящали. Книги и пьесы о ней писали. Или Андреева. Коммунистка. Умница и красавица. Ее Ленин уважал. Ее Максим Горький сделал своей подругой. Вот это были женщины! А «губки бантиком»! Есть о чем говорить!..

— Да,— сказал Чубасов, обращаясь к Бахиреву, но предназначая свои слова дочери,— во всем нужно соответствие. Не то получится так, как было у нас в моторном цехе. На первом плане автоматика, а копни поглубже — кувалда!

По дружному отпору, который отец и мать дали бахиревской похвале, он понял, как тревожит родителей редкая красота девочки.

Хозяйка подбросила дров в печь, переменила маленькой Любе пеленки и дала команду:

— Всем мыться, причесываться, приводить себя в порядок — и за стол!

Груда крохотных пирожков дымилась на большом блюде.

— Опять возилась! — укорил жену Чубасов.

Она ласково прикрикнула:

— Молчи и ешь! Ты же любишь... Садитесь же!

Все в доме Чубасова было иным, чем ожидал Бахирев. Он думал увидеть кипение тревог и страстей, а вместо этого, невольно подчиняясь ритму этого дома, тихо сидел в семейном кругу.

Потрескивали поленья в печке, и давно забытый звук вызывал из прошлого те зимние ночи юности, когда все казалось посильным, возможным и достижимым.

Гулькал ребенок. Спокойная, забавная девочка не только никому не мешала, но придавала особый уют дому. В маленьком организме все было так отрегулировано и

отлажено, что он не доставлял Любке никаких хлопот и давал полную возможность созерцать и изучать вселенную.

Вспышки огня в печке, возглас, взлетевший над ровным журчанием беседы, звон ложки о стакан — все эти удивительные события притягивали мирно сосредоточенный, исполненный пристального внимания взгляд темных глаз. В промежутки, когда таких событий не происходило, Любка занималась собственными руками — то сжимала кулачки, то растопыривала пальчики, так и так повертывала ладошки, энергичными толчками сгибала и разгибала руки в локотках и сама себе улыбалась и гулькала.

Шурик и Таня рассказывали отцу о ветряке, и непрекращавшийся детский лепет звучал ровно и мирно. Светлый круг от абажура лежал на скатерти, и празднично цвели под ним белые цветы.

— Да что у вас такое сегодня? Именины, что ли? — не выдержал Бахирев.

Женщина подняла удивленные глаза:

— Мы же только раз в день и сходимся все вместе.

Бахирев понял: так жили в этой семье.

Кто-то позвонил, в комнату вошел Рославлев и громыхнул:

— Все в сборе? И Бахирев тут? — Он повернулся к хозяйке и постарался придать басу оттенок нежности: — Здравствуйте, Мадонна Джоконда! — И тут же снова зарокотал: — Здорово, Чубас! Как живы, «чу-бесята»? — Он потрепал Шурика по голове, подошел к тахте и дал маленькой Любке палец с твердым, желтым ногтем. Ухватившись, девочка пыталась приподняться.

Рославлев держался как у себя дома, видимо, был здесь своим человеком. И Бахирев уже тоже чувствовал себя своим в этой комнате. Он спешил сюда успокаивать и ободрять, а вместо этого сам оказался успокоенным и ободренным. Он пришел сюда первый раз, а блаженствовал так, как блаженствуют в кругу родных, до донышка знакомых людей,— расстегнул пиджак, раскинулся в кресле и в свое удовольствие посасывал трубку.

Для Рославлева поставили на стол тарелку и чашку необыкновенной величины, но он продолжал играть с Любкой.

— Хоп-ля! Хоп-ля! — И, не отрываясь от ребенка, спросил: — О чем вы тут толковали?

— Я уж и не помню,— ответила Чубасова.— О детях, кажется.

— Дети, дети! — Рославлев нахмурился.— Вмешаться надо: Витька Черноусов лампочки ворует на лестницах. А отец своей новой... — он хотел сказать грубое слово, но

посмотрел на хозяйку и только крякнул,— цигейки покупает.

История инженера Черноусова, бросившего семью, волновала завод.

— Она на днях подошла ко мне,— сказала Любовь Васильевна.— Не понимаю... Она довольна! Говорит: «Мы хорошо живем». Как они могут «хорошо жить»?

— Хорошо живут!— Рославлев покраснел, и брови его от этого сделались светлее.— Бывает, конечно, всякое. На выселках вот выродки убили старика, зарыли у себя в подполье — и тоже «хорошо жили». И такое бывает!.. Только мы-то не той породы, чтоб жить «с трупом в подполье».— Он уселся за стол и непоколебимо заключил: — Я бы ту поганую породу в корне уничтожил.

В одно мгновение Бахирев почувствовал себя выброшенным из круга этих людей, счастливых, цельных, не ведающих лжи.

«Если б они знали...— Он разозлился.— Им повезло. У меня не было такой семьи, как здесь, и все же я жил пятнадцать лет безупречно».

Рославлев, выложив свои уничтожающие суждения, утих, сел за стол, подвинул тарелку с пирожками и скосил младенчески голубой глаз на бордовую пижаму Чубасова.

— Ну, удалой купец Калашников, что ж не рассказываешь?

Чубасов молчал.

«Эх, громыхнул при жене!» — про себя укорил Рославлева Бахирев, но, к его удивлению, женщина улыбнулась и продекламировала:

Уж как завтра будет кулачный бой...

«Значит, знает! Почему же до сих пор ни слова?» — недоумевал Бахирев и спросил:

— Не волнуетесь за мужа?

— Мы тогда отволновались, когда не все понимали. Мы же с Колей любили Вальгана. Считали, что Бликин настоящий руководитель, а Вальган — незаменимый для завода человек. Теперь все ясно. Да и поздно теперь волноваться. Завтра утром Коле выступать.— И она снова шутя продекламировала:

И выйду я тогда на опричника,
Буду насмерть биться из последних сил...

Любимая Бахиревым и близкая его натуре атмосфера безбоязненной решимости снова охватывала его. Он снова был на своем месте и в своем кругу.

— А если поколотят удалого купца Калашникова? — подзадорил он Чубасова.— Куда пойдешь?

— Ты же пошел на завод сменным,— улыбнулся Чубасов.— Ну, и я пойду кем-нибудь...

— У меня, брат, была надежная защита и опора. Парторг Чубасов, сын сталевара. Слыхал о таком?

Чубасов шевельнул бордовым плечом, тряхнул чубом.

— А у меня что, не найдется опоры? Не одиночки встанут — династии! Династия Рославлевых, династия Иванковых, Сугробиных хоть полдинастии, всего дед с внуком, а тоже десятерых стоят!

Довольный ответом парторга, Рославлев так рассмеялся, что маленькая Люба завертела головой, силясь подняться.

— Глушитель на тебя надевать надо! — укоризненно сказал Чубасов.— Звукопоглощающую изоляцию приспособить!

— А ты уж так уверен, что поднимутся династии? — опять подзадорил Бахирев, все больше наслаждавшийся простодушным весельем друзей.— Кстати, на пленуме не будет ни Рославлевых, ни Иванковых, ни Сугробиных...

— Другие будут, такие же! Но если даже завтра на пленуме... Я готов и к этому! — Голос напрягся, зазвенел.

Любовь Васильевна тотчас заметила этот дрогнувший звук и поспешила подвинуть мужу тарелку с жарким.

— Давай подкрепляйся заранее. Вдруг на пленуме перепугаешься и аппетит потеряешь!

Шутка достигла цели — погасила нараставшее нервное напряжение.

Чубасов тоже ответил полушутя:

— Бери, жена, завтра горшок побольше, вари щи погуще! Из боев местного значения могу выйти побитым, но аппетита не потеряю! В большой-то битве все равно победа за нами! Не один я шагаю.

С каждой минутой яснее становились Бахиреву и внутренняя жизнь этой семьи, и секрет ее бодрого спокойствия. Здесь все сознавали опасность завтрашней схватки, но не сомневались в партийности устремлений, а значит, и в конечной победе. Чубасов допускал временное поражение и где-то в глубине души нервничал, но умные руки жены сделали все, чтоб погасить излишек напряжения. Бодрящее действие собственного дома стало привычным для Чубасова, превратилось в своего рода «рефлекс».

Этим и объяснялось его странное молчание после возвращения из обкома. Когда он ходил по комнате, он бессознательно впитывал привычную бодрящую атмосферу, остро необходимую ему сегодня. Жена понимала это. Если бы она думала о себе, она тут же накинулась бы на него с вопросами... Но она думала о нем. А ему в этот

вечер и в эту ночь важнее всего было сохранить самообладание и уверенность.

С проникновенной женственностью она щедро давала мужу как раз то, что было ему сейчас всего нужнее. Если бы кто-то сказал теперь Бахиреву, что жена Чубасова некрасива, он возмутился бы. Трогательно женственными представлялись ему и ее узкоплечая фигурка, и освещенное внутренним трепетным светом лицо. Она не была ни партийным работником, как ее муж, ни инженером, как его товарищи,— она была учительницей и обучала азбуке первоклассников. Но у нее был тот же, что у мужа, широкий и чистый строй мыслей и та же неистощимая душевная энергия.

В этой хрупкой, возглавлявшей застолье женщине бился негромкий, но неумолчный родник, питавший миром и радостью весь дом и его обитателей. Десятки выражений скользили по ее бледному, изменчивому лицу, как тени ветвей скользят по лесной поляне. За все время, проведенное здесь Бахиревым, она переделала множество разных дел и сейчас, за столом, ни на минуту не ослабила незаметного, но неустанного внимания — одному наполняла тарелку, другому подвигала соль, у третьего спрашивала: «Не надо ли погорячее?» Лишь природная организованность и та радость, с которой она хлопотала, превращали торопливость в грацию, суету многих забот — в стройное движение, скрытое утомление — в тихую женственность.

Только сейчас до конца понял Бахирев парторга Чубасова. Да и невозможно было понять до конца Чубасова отдельно от его жены! Его смущенно-жениховское выражение, его излишнее добродушие — все стало ясно. Перед Бахиревым был до неловкости, до застенчивости переполненный счастливой любовью человек. Он даже как бы чувствовал себя виноватым за свое неуязвимое счастье, даже как бы извинялся. И лицо его, и улыбка теперь говорили Бахиреву: «Я знаю, у вас там в личной жизни бывает всякая ерунда. А у меня нет! И я этого ничего не знаю. Мне хорошо! Вы меня извините, ребята, но уж очень мне хорошо!»

Люба-большая подвинула скамейку, поставила на нее ногу и стала легонько растирать ее. Муж обернулся к ней.

— Опять болит, Любушка?

— Нет... Так... Вены,— пояснила она и не стесняясь показала сквозь тонкий чулок набухшие сосуды на стопе.— Натопчешься за день...— Она оборвала жалобу и, еще морщась от боли, улыбнулась Бахиреву.— А знаете, мы с Колей как-то чуть не поспорили из-за вас.

— Из-за меня?— Бахиреву приятно было, что здесь

говорили о нем и этим как бы заочно включали его в свою жизнь.

— Из-за тебя!—подхватил Чубасов.— Однажды ты сказал мне: «Я привык жить идеей нашего технического первенства». Забыл? А я пришел и рассказал Любе. И знаешь, хохлатый бегемот, что мне ответила моя жена?

— Что?

— Моя дорогая жена заявила мне, что моя слабость как парторга как раз в том, что я еще «не привык жить идеей нашего технического первенства»!

— А теперь он привыкает помаленьку!—вмешался Рославлев и показал на Чубасова широким, великолепным жестом.— Кого вы видите перед собой? Вы видите перед собой молодого, но растущего... обратите внимание,— он поднял палец,— растущего партийного работника!

— Подожди ты!—отмахнулся разгоряченный Чубасов. Снова наклонился к Бахиреву.— Если для тебя это вопрос чисто технический, то для меня это вопрос идейно-политический. Тогда я даже обиделся на Любу, но потом...

— Люба—вещая душа, зря не скажет,— опять перебил Рославлев, оторвал ветку от цветка и галантным жестом подал ее хозяйке.

Вставляя цветок в кудри, Люба-большая склонила голову над белой скатертью. Бахирев следил за мягкими движениями женщины. Лоб ее, освещенный прямым светом лампы, стал еще чище и круче. В тонких углах крупных губ жила улыбка, ласковая, чуть ироническая, ободряющая. Но кого напоминают ему этот лоб и эта улыбка? Тина!..

Перед глазами отчетливо встала ясноглазая, девичьи легкая, с ракеткой в руке. Такою он однажды увидел ее весной, когда она шла на стадион рядом с мужем. И тут же он увидел ее теперешнюю: лихорадочный взгляд, горьковатый изгиб губ, и во всем тот след страстей и тревог, который за версту расскажет о надломленной женской судьбе.

И в страхе он спросил себя: что же так перевернуло Тину?

— И вот когда я посмотрел на тебя и на Вальгана с точки зрения борьбы за техническое первенство, я увидел вас обоих иначе...— говорил Чубасов, но Бахирев не слушал его.

Тайные и короткие встречи в чужих каморках, лихорадка торопливых свиданий и ложь, ложь, ложь... Убогая односторонность чувства... Как далеко это от той жизни, которая здесь и для которой одной они оба созданы! Чистый, ничем не омраченный круг семьи—одна из

бесценных человеческих радостей! Почему он закрыт для них обоих? Но как разомкнуть его? Уйти от Кати и жить с Тиной? С Тиной и...— он беспощадно хлестнул самого себя,— и с Рыжиком в качестве «трупа в подполье»? Нет, нет! Прозвучали слова Рославлева: «Мы не той породы, чтоб жить с трупом в подполье». И какой уж тут «семейный круг»? Катя не отдаст детей! Да и они не покинут матери. Она не богата ни умом, ни сердцем, но все свое достояние она отдавала семье сполна, не скупясь и не жалея! Если он и бросит ее, дети не бросят!

Он будет приходить в разоренное гнездо, в «гости» к детям и к Кате? Они прогонят его. Да и как он посмеет прийти к ним?

Рыжик будет приходить в «гости» к отцу и к Тине? Какое издевательство над Рыжиком, над Тиной, над тем, что зовут семьей! Сама Тина не пойдет на это. Такой мир и свет, как в доме Чубасова, возможен лишь там, где ничто не пахнет ни предательством, ни мертвечиной. И чем очевидней становилась невозможность счастья, тем сильнее обжигала любовь к Тине и жалость к ней.

Она могла б вот так же царить за безоблачным семейным застольем! Кому, как не ей! Приливом мыслей Бахирева выхватило из круга друзей, отшвырнуло, отбросило... И вот уже со стороны, издали, видит он белую скатерть, ребячьи головы, мягкий свет абажура... Никогда не будет этого у Тины... И у него... И в первый раз он спросил себя: «Зачем? Зачем мы это начали?»

— Его хвалят, а он и не слушает,— пробасил в самое ухо Рославлев.

— Да,— услышал Бахирев голос Чубасова.— Я говорю: кто у нас на заводе несет передовые идеи? Многие. В том числе Шатров, Сугробин, ты.

Словно из колодезной тьмы, выбирался Бахирев из глуби своих тяжелых мыслей. С усилием заставил он себя слушать Чубасова.

— Шатрова Вальган потихоньку отстранил, Сугробина зажал, тебя хотел совсем вышвырнуть.

— Ты их бей Сергеем Сугробиным, шатровской конструкцией,— советовал Рославлев.

— Вот!— вдруг встрепенулась Люба-большая.— Коленька, на бюро обкома ты все говорил верно, но как-то уж очень отвлеченно. А когда этот «антимеханизатор» Курганов вышел и, ни в чем не оправдываясь, вытащил из одного кармана кукурузный початок, из другого — семена люпина, из третьего — картофель... Пускай засмеялись, пускай! Все равно вот так надо!

Он — кукурузой, люпином, картошкой. А ты — новой конструкцией, кокилем, Сугробиным.

Бахирев удивился тому, с каким вниманием слушал жену Чубасов.

Рославлев тоже заметил это и одобрил:

— Слушай, слушай жену! Я же говорю: Любушка-голубушка — вещая душа!

— Это все верно! — перебил Чубасов.— Но ведь надо же и о самой основе. Мы можем делать лучшие в мире машины! Было время, когда мы говорили: «Перегнать капиталистические страны по темпам роста и по общему количеству». А сегодня вопрос стоит уже иначе: «Догнать и перегнать по количеству на душу населения и по качеству». Но ведь это новый этап в нашей жизни!

— Новый! — подтвердил Рославлев.— Теперь, как никогда раньше, нужны передовики, новаторы. Я бы теперь такой лозунг повесил по всем цехам: «Дорогу народным талантам!»

— А у партийного работника,— перебил Чубасов,— сейчас, по-моему, три заповеди: «Увидеть, поддержать, распространить!» Бликин этого не может. Вот почему сметет его волной нашего подъема! И знаешь, каких людей этой народной волной поднимет наверх? Тех, для кого нет дела выше, чем поддержка самого лучшего, самого передового в народе.

Шел тот самый большой разговор, ради которого Бахирев спешил сюда сегодня. Правда, не ему пришлось поднимать боевой дух Чубасова, а его самого здесь и поднимали, и заражали бодростью.

«Чистый, счастливый дом»,— думал он.

Но именно здесь, в этом чистом, счастливом доме, и открылась ему вся глубина его несчастья. Он уже не мог не сравнивать и уже не мог не видеть уродливости и неполноты собственной домашней и любовной жизни.

В комнате продолжался разговор.

— Знаешь, что такое люди для Бликина? Кнопки! Нажал — сработай! А думать — ни-ни! Ему от всяких передовиков, новаторов, талантов одно неудобство. Они же и сами думают, и других заставляют! Без них же Бликиным спокойнее! — Чубасов снова разгорячился, и Люба-большая забеспокоилась:

— Разволнуешься — не заснешь. А ты завтра должен быть в лучшей форме. Да и Любке-маленькой уже спать пора, а она лежит себе да таращится! — Бережным и гибким движением она взяла ребенка на руки и поднесла к Чубасову.— Попрощайся, дочка, с папой. Скажи папе: «Спокойной ночи».

— Ап...— Девчонка клешней растопырила пальцы и неловко пыталась ухватить отца за щеку, за губы.

Чубасов притих, покорно подставил ладошке ребенка постепенно смягчившееся лицо.

Ничего особого не произошло за эти короткие часы в доме на улице сталевара. Но во всем — в улыбчивом взгляде Чубасова, в согласии детей, в праздничности вечернего застолья,— во всем этом отчетливо увидел Бахирев любовный, напряженный труд женщины. Какое неутомимо материнское внимание к внутреннему миру семьи нужно для того, чтоб и мгновенно понять опасность мальчишеского спора об отцовских машинах, и дать мужу точный совет в важном деле, и вот так, вовремя, как раз в нужную минуту, положить в руки разгорячившегося отца этого успокоительного, как солнечный луч, ребенка. Ничто здесь не пришло само собой. И никогда ничто подобное не придет в тот дом, где нет вот такой женщины. Не придет и в тот дом, где нет вот такой ничем не омраченной ясности... Бахирев давно примирился с тем, что этого не могло быть с Катей. Но сегодня он впервые со всею отчетливостью увидел — этого не будет и с Тиной. Да и нет уже на свете прежней, легкой и ясной Тины...

Чубасов ходил по комнате, а Рославлев следил за ним веселыми глазами.

— Ты бы и в обком в этакой в пунцовой рубахе. На ринг!

Прощаясь, Бахирев неуклюже ткнулся губами в худую руку хозяйки. Чубасов удивился:

— Вот они, бегемоты, на что способны!

— В первый раз...— неловко и скорбно сказал Бахирев.

Чубасов вышел проводить его до калитки. Он шел молча. Его, как и всех, привели в замешательство и несвойственный Бахиреву поступок, и неуместная горечь слов. Чтобы вернуть на прощание боевой и душевный настрой дружеской беседы, Бахирев пытался шутить:

— Скажу я тебе, ох, и ответственная это история — жить на своей фамильной улице!

— Перед кем ответственная? — спросил Чубасов.

— Да хоть бы перед соседями. И тротуарчики надо чистить да посыпать, и елки выращивать — одним словом, не ронять своей фамилии, соответствовать своему положению.

Чубасов засмеялся в ответ и передразнил:

— А я тебе скажу: ох, и ответственная это история — жить в Советском Союзе! Не перед соседями ответствен-

ность — перед человечеством. И технику надо совершенствовать, и самим совершенствоваться — одним словом, не ронять своей фамилии, соответствовать своему положению!

Глава XXVII
ВАЛЬГАН МЕНЯЕТ ЛИЦО...

От Чубасова Бахирев, не заходя домой, пошел на завод. До начала смены оставалось еще около часа, но ему тяжело было после чубасовского дома идти в свой.

В кабинете Рославлева было пусто. Он сел за свой стол, вынул материалы по очередным испытаниям, но смотрел на них не видя. Внезапно на всю комнату прозвучало полнозвучное, дружески властное:

— Дмитрий Алексеевич! Ты в кабинете?

Бахирев вздрогнул и оглянулся на заводской селектор. Вальган?! Не может быть! Что надо Вальгану от сменного инженера, оставленного на заводе вопреки директорской воле?

— Мне сказали, что ты у себя, Дмитрий Алексеевич!

Вальган. Только Вальган мог вот так, одним бодрым голосом, сразу завладеть всей комнатой. Но говорил не сегодняшний, а тот, канувший в вечность Вальган, который когда-то посылал в подарок огненные цветы кактуса. Бахирев все еще не откликался, и Вальган позвал в третий раз:

— Отзовись же, Дмитрий Алексеевич! Ты меня не слышишь? — Голос звучал еще дружественнее, еще призывнее.

В комнате явственно витал призрак былого Вальгана.

— Я слышу.

В ответ на скрипучие слова все тот же вольный раскат бархатного, ласкающего баритона:

— Зайди сейчас, если сможешь.

«Зачем я ему?»

Вальган стоял у стола. На стук Бахирева он обернулся и со своей великолепной, всепобеждающей улыбкой указал ему на листы бумаги. Это была санкция министерства на новую автоматическую линию для моторного цеха.

— Только что получил. С ночной почтой.

Нет, Бахирев ошибся. Прежний Вальган никогда не умирал. Он жил во плоти и крови, исполненный обычной энергии и самого естественного дружелюбия, горячеглазый, белозубый Вальган. И Бахирев почувствовал: несмотря на пережитое, помимо воли, помимо сознания, что-то в нем самом откликается на дружественный при-

зыв. «Не поддавайся враз!—предостерег он себя.—Не враз! Почему о новой линии вдруг мне, а не Рославлеву?»

— Садись же, садись!

Бахирев опустился в знакомое кресло. Как изменчив этот просторный кабинет! Он был гостеприимным пристанищем для вновь прибывшего, он был кровом друга, он был операционной хирурга, он был станом недруга. Во что он превратился сейчас? В обитель воскресшего из мертвых? В нейтральную зону для дипломатических переговоров? А вдруг—в исповедальню кающегося грешника Вальгана? Вряд ли, вряд ли. Непонятно!

Вальган подошел к столу, сел, привычным жестом взял в кулак подбородок.

— Захотелось тебя порадовать. Расщедрилось министерство, глядя на успехи моторного! Ваше с Рославлевым достижение.

«Вызывал меня для того, чтоб обрадовать автоматической линией?—прикидывал в уме Бахирев.—Не похоже, не похоже на правду. В чем дело? Противовесы? Предстоящий пленум обкома? Но что ему пленум? Приезд Кости?»

Дней десять назад Бахирев встретил на заводе старого друга Костю Зимина. Оказалось, что Костя теперь работает в ЦК и приехал с бригадой ЦК по проверке сигналов из области. Костя пробыл на заводе всего несколько дней и неделю назад уехал в районы.

Увидев недоумение Бахирева, Вальган сказал задушевно и задумчиво:

— Сегодня автоматическая линия, завтра пескодувки, послезавтра новый цех... В чехарде и в сутолоке незаметно, а оглянешься—сколько все-таки сделано! Ведь я пришел сюда—крыш не было. И дождь и снег—прямо на станки. Оглянешься—и такою мелочью покажутся разные неувязки!

Из-под полуопущенных ресниц мирно светились темные глаза, поза была покойна, и только рука гладила подбородок слишком быстро. Это движение выдавало иной, внутренний ритм.

Разговор скользил от темы к теме. Автоматическая линия, организация потока деталей, школа передовых методов. Движение руки, гладящей подбородок, становилось все быстрее и быстрее. Пальцы стали выбивать дробь где-то у правого угла губ. Бахирев вспомнил игру в «холодно-горячо». Движение руки Вальгана как бы говорило: «Горячо, горячо, еще горячее. Совсем близко!»

— Как у тебя с испытанием новой конструкции? Сколько часов накрутил?

«Ну конечно, дело в противовесах»,— убедился Бахирев.

— Накрутили около полутора тысяч часов.

— Что ж? На мой взгляд, уже достаточно. Недостающие по закону пятьсот будем отвоевывать. В министерстве, конечно, цифроед на цифроеде. Ну, да я найду на них управу. Через пару дней думаю лететь. Готовь материалы. Иди к себе и готовь материалы. На эти дни мы освободим тебя от работы сменного. Распоряжение отдано.— И, видя изумленные глаза Бахирева, Вальган подтвердил: — Да, да, иди к себе и срочно готовь материалы. Завтра в восемь утра ознакомишь меня с основными результатами.

Рука сжала подбородок так, что побледнели суставы, и на миг окаменела.

Каким разнообразным может быть простое поглаживание подбородка! Обычно у Вальгана это поглаживание было исполнено энергии и довольства. Казалось, ему приятно ощущать эластичность своей кожи, и ощупывать, и ласкать самого себя, такого сильного, быстрого, жизнеспособного, доставляющего самому себе столько разнообразных радостей. Десять минут назад пальцы терли кожу так, как трут внезапно прихваченное морозом место. Минуту назад они выбивали дробь нарастающей тревоги. А сейчас они обхватили подбородок, сжались, побледнели и замерли. Так, сжимаясь, бледнеют и замирают в минуту опасности: пронесет или не пронесет?

«Что, что такое? Непонятно,— спрашивал себя Бахирев. И тут же отбросил все свои опасения.— Почему непонятно? Убедили, доказали испытаниями. Убедился и вот сам едет воевать за новую конструкцию! Он же человек решительный. Если уж сам взялся, значит, кончено с этой бедой, с этой бомбежкой противовесами!»

От радости Бахирев резко повернулся в кресле. Глаза Вальгана заметались под ресницами, желтые, быстрые. «Глаза рыси»,— вспомнил Бахирев. Он встал. Ресницы Вальгана вскинулись. В желтых глазах обыкновенный испуг.

«Чего он боится? — удивился Бахирев.— Боится, как бы не выплыли противовесы на пленуме? Но ведь он же давно все знал и не боялся! Боится, как бы я сам не поехал в Москву, не помешал дать делу нужное освещение? А, черт с ним! Не в том же дело, чего он так боится. Он едет воевать за новую конструкцию. А если уж такой противник превращен в соратника, значит, победа!»

Он забрал документацию испытаний и заторопился домой, чтобы к утру приготовить материалы для директора.

Не успел он поужинать, как раздался звонок и в прихожей прозвучал веселый мужской голос:

— Хозяин дома? Принимайте выходцев с того света! — На пороге стоял Зимин.— Едем из района, дороги замело, сами застыли, мотор барахлит. Шофер мотор чинит, а я думаю — дай загляну к старому товарищу! Авось обогреет!

Через десять минут он уже сидел в кабинете Бахирева, закутавшись в его теплый халат, ел оставшиеся от обеда щи и жаловался:

— Вот, понимаешь, характер: ни при каких обстоятельствах не теряю аппетита!

Он ел, говорил, был весел, как всегда, и, как всегда, над его веселым лицом круто топорщились упрямые кудряшки. Бахирев заметил, однако, что Костя сосредоточен на чем-то. Он то хмурился невпопад словам, то умолкал на полуфразе.

— Ешь больше, районный путешественник,— сказал Бахирев.— Вижу, замотался, слов не вяжешь. Куда тебя носило?

— К ухабинским «антимеханизаторам»,— засмеялся Костя.

— К Курганову? Я же его знаю! Что ты о нем скажешь? — спросил Бахирев, готовясь защищать Курганова.

— Что скажу? — Костя поставил тарелку, резко повернулся и запутался в бахиревском халате.— Скажу, что кое-где отвыкли от инициативных людей. Сидит человек в районе на полях, а у обкома, за сто километров, спрашивает: «Созрела земля или не созрела?» Таких воспитывают и такими довольны. А как заведется инициативный человек, так его по лбу! Так его по лбу!

— Ты про Курганова?

— Интересно же работает человек! Год был тяжелый, неурожайный. У него, как и во всей области, общие показатели действительно ниже прошлогодних. А ты взгляни на эти, на общие! Ведь у него интереснейшая вещь: общие хуже прошлогодних, а в отстающих колхозах, наоборот, лучше! Поездил я по этим отстающим. Поднимаются люди. У них техника была мобилизована с весны на разделку топей и залежей. А с этих топей и залежей как раз урожаи.

— Их в газетах ругали за дедовскую технику, за серпы,— припомнил Бахирев.

— Убирали серпами потому, что хлеба в низинах получились травостойными, комбайн не берет. Были и промахи. Избивать за каждую ошибку — значит убивать инициативу. Один чудак там, Вострухов, второй секре-

тарь, все ходил за мной: «Какая будет теперь линия ЦК на сроки сева, линия ЦК на глубину пахоты, линия ЦК на культивацию?» Я терпел, обозлился, да и говорю: «Линия ЦК — думать! Думать о пользе дела. Вот какая теперь линия!» Гляжу — упал духом человек. Будто я ему предложил по проволоке ходить вверх ногами! И вот такие в вашей области живут и здравствуют.

— И откуда они берутся?

— Откуда? — Зимин подумал минуту.— Сорняк на огрехах. Едешь летом полем, чистыми хлебами, вдруг, глядишь, по углам либо на поворотах, где трактористские огрехи, пошли мелькать либо костер, либо овсюг, либо васильки! Васильки этакого невинного поднебесного цвета, будто и вправду порядочный цветок. Вот и Воструховы: чуть промахнешься — они тут как тут.

Костя встал, подоткнул под пояс полы халата и принялся ходить по комнате. Казалось, катается большой пестрый шар с бараньими упрямыми, бодучими рожками.

— Как сам «антимеханизатор» переживает ситуацию? — поинтересовался Бахирев.

— Молодцом! «Я, говорит, еще до сентябрьского Пленума стремился в район. А уже после сентябрьского меня отсюда не выковыришь!» Прививает производственную культуру. Был у них там один зловредный тракторист, Медведев.

Бахирев вспомнил зловонный пустырь, журавлиные ноги, угрозу Гапкиного появления.

— Знаю, знаю такого.

— Не поддается этот Медведев никакой обработке. Все у них помыто, покрашено — у Медведева кругом грязища. Бились, бились с ним, повезли его к вам же на завод, будто за материалами, и не без умысла. Поводили по лучшим цехам. Позавчера заходим мы с Кургановым в МТС. Все мастерские как мастерские. Вошли в слесарную, стоим и не понимаем, куда попали,— не то земля, не то поднебесье! Шкафы голубые, полки голубые, окна голубые. Посреди комнаты на табурете возвышается этот самый Медведев, весь заляпанный голубой краской. Докрашивает потолок. По полу синие потеки, и ползает Медведева баба — пол выскребает.

— Гапка?

— Она самая. На что перец баба, а и то совсем ошалела от голубого цвета. Только рот открывает, говорить не может. Курганов видит, с потолком дело пропащее. Просит Медведева: «Пожалей ты хоть верстаки!» — «Нет, говорит, товарищ секретарь, я теперь уже не в силах остановиться. Все сподряд буду красить».

— Стронулся, значит, и Медведев,— усмехнулся Бахирев.

Переполненный впечатлениями поездки, Костя сыпал рассказами и заражал Бахирева своим оживлением.

— Сдвиги. Везде сдвиги. В Ухабинской МТС, в Медведеве и то... А у нас на заводе? Ведь ты пойми,— долбил свое Бахирев,— вот я сейчас работаю в моторном. Что тормозит? Недопустимый разрыв мощностей между основными и вспомогательными цехами. Из-за ерунды же простаивают машины! Механизацию планируем в отрыве от организации. Как этот «антимеханизатор» Курганов мне говорил однажды: «Коней заводим, о сбруе не думаем». Планирование. Понимаю всю сложность планирования на такую огромную страницу, как наша. Но ведь надо. Надо! Без этого не двинешь во весь мах. Кстати сказать, и у нас на заводе тоже намечается нечто вроде сдвигов. Автоматическую линию будем ставить. Вальган сам хочет ехать в Москву насчет противовесов.

— Безобразная история у вас с этими противовесами. Будем разбираться... Думали успеть до пленума, да задержались с другими заводами, с районами...

— Ты будешь завтра выступать на пленуме?

— Пока собираюсь преимущественно слушать. Положение в области еще сложнее, чем мы думали. Где у тебя телефон? Позвоню своим, в гостиницу. Как вы там?— заговорил он уже в трубку.— Интересно съездил! Побольше б таких «антимеханизаторов»! Рассказывать буду до полночи, спать и не думайте. Вот сижу отогреваюсь у старого товарища. А что у вас?.. Что?.. Где?.. Откуда известно?

Бахирев не понял смысла разговора, но видел, как меняется Зимин: затвердели губы, отяжелели брови.

Зимин положил трубку и не сразу, а как бы в несколько неспешных приемов повернулся к Бахиреву.

— Да...— Он умолк, взвешивая то, что услышал, и то, что собирался сказать. Движения его, обычно проворные и легкие, стали растянуты и расчленены, как на замедленной кинопленке. Такой же расчлененной и замедленной стала его минуту назад горячая и быстрая речь.— Да... Так похоже, что ты был прав, друг «максимум-минимум». Но ты и сам не рад будешь своим прорицаниям... Получена телеграмма. Сорвался противовес и на втором заводе...

— Как?

— Так. В южных районах уже идут весенние работы. Южные районы снабжает тот завод. Пока только один противовес. Возможно, дело случая...

Бахирев был уверен, что ошибка в конструкции выявится всюду раньше или позже. Раньше — на том заводе, где ниже технология, позже — на том, где технология совершеннее. И вот его предвидение начало сбываться. Один противовес еще ничего не доказывает тем, кто не ждал его. Но Бахирев уже много месяцев ждал и предсказывал его появление. Если оправдалось одно, значит, оправдаются и другие его предсказания. Значит, аварии грозят всем тракторам, выпущенным двумя крупнейшими заводами в течение года. Близятся массовые обрывы противовесов на тысячах тракторов, на полях всей страны! Он уподобился пифии, которая сама ужаснулась своему предсказанию, увидев, что оно начинает сбываться. Случайно повернувшись к зеркалу, он прочел испуг в собственных глазах. Такой же испуг, как в глазах Вальгана. Он понял, Вальган уже знает о телеграмме. Вот откуда призрак прошлого Вальгана, витавший в воздухе! Вот откуда его стремление самому срочно ехать в Москву! Вот откуда тревожная дробь, которую Вальган выбивал пальцами на собственном подбородке!

Но мысли о Вальгане мелькнули мгновенно и исчезли. Надо действовать! С радостью подумал Бахирев о том, что в эти тяжелые месяцы у него не опускались руки. Зоркость деда Корнея, практический ум Валентина Рославлева, интуиция Шатрова, остроумие Зябликова, целенаправленность Чубасова — труды тех, кто не шел по течению, но не переставая работал над противовесами. Если бы не это, какая безмерная растерянность охватила бы его сейчас! Темнота была бы перед глазами. «Какое счастье, что поиски и испытания новой конструкции уже позади! Какое счастье, что подготовлено и решение для тех тракторов, что уже бороздят поля!» — подумал Бахирев и с благодарностью вспомнил многие яростные нападки Чубасова, Рославлева и других, требовавших от него действия.

Сейчас завод подготовлен к действию, завод во всеоружии.

— Надо немедленно ставить на производство крепление противовесов новой конструкции,— сказал он Зимину.— И немедленно во всех МТС страны снимать все противовесы порочной конструкции.

Встревоженный новостью, Зимин заторопился и уехал, договорившись о встрече через несколько дней. Бахирев остался один. Столько событий обрушилось на него за этот вечер! Противовесы... Новое поведение Вальгана... Рассказы Кости о Курганове... Завтрашний пленум обкома и «нокаут», который готовил Чубасов Бликину. Близились немалые перемены. Ему захотелось немедленно

поговорить с Тиной. Он набрал номер телефона. Мужской, сонно благодушный голос отозвался:

— Я слушаю.

Бахирев положил трубку. Он не смог говорить с Тининым мужем, выдумывать повод для звонка. Он походил по комнате и снова остановился перед телефоном. Может быть, на этот раз подойдет она? Он вторично набрал номер, услышал тот же голос и снова положил трубку. Она не пускала к Тине тот поток большой, нетерпеливой жизни, который нес Бахирева. «Для нас с ней остаются задворки. Только задворки»,— заключил он со злобой и набрал номер телефона Чубасова.

Глава XXVIII

ДОБРОЕ ОРУЖИЕ

Из зала заседаний выходили люди, разгоряченные сдержанным и глубоким волнением. «Вот и наш черед»,— подумал Бахирев. И тотчас попросили войти всех вызванных по второму вопросу.

Бахирев вошел и сел одним из первых. Пока чинно входили и рассаживались другие, он оглядывался.

Мог ли он предполагать, что именно сюда приведет его путь, начатый в одной машине с Вальганом больше года назад, в том траурном бдении мартовской ночи?

Огромные окна, синие от весеннего неба. Высокие стены чистого, молочно-белого мрамора отражают свет и, кажется, сами светятся изнутри мягко и матово. Воздуха много, и, несмотря на горячее солнце, он легок — мраморные стены щедро одаряют свежестью.

Во всю длину тянутся четыре ряда квадратных, под стеклом столиков, а совсем рядом, за длинным столом, люди, имена и лица которых давно знакомы. Они тихо переговариваются, передают друг другу чертежи, таблицы.

Зачем они позвали его сюда? Он не понимал этого.

Все в этой комнате было для него призывом к правде: в ее сквозном свете вся его жизнь просвечивала, как стекло, и каждое незаметное прежде пятно било в глаза и звало к ответу. Страдая от этой остроты видения, он пытался успокоить себя: «Не так худо! Если я и ошибся, то сделал все, чтоб исправить, избыть ошибку. Мне мешал заслон из Вальгана — Бликина. Но как я думал, так все и оправдалось — противовесы летят на обоих заводах.

Старая конструкция порочна. Новая конструкция найдена, усовершенствована, испытана! Что же я в самом-то деле?! Мне надо радоваться». Он поднимал веки, выпрямлялся и, взбадривая себя, начинал усиленно дергать вихор. Но восставала собственная приверженность к неприкрытой истине и чистота этих стен. «Эх, мрамор, честно́й камень! Вру я! — сам себя ловил он. — Вру самому себе! Аварии начались бы на полгода позднее, если бы не моя сверхспешка. Ускорить обрывы противовесов смог, прекратить не смог. Виновен. Виновен, и нет снисхождения!» Обострившееся здесь чувство ответственности обвиняло. И он сгибался. Массивный и мрачный, изловленным медведем-берложником, горбился он над застекленным столиком и нимало не заботился о производимом впечатлении.

Он удивлялся Вальгану. Для Вальгана не существовал вопрос, виновен или не виновен, для него существовала лишь проблема: обвинят или оправдают? Директор сидел, высоко подняв яркое, красивое лицо, озабоченный, очевидно, тем, чтоб его не приняли за слабого и виновного.

Бахирев перевел взгляд на Курганова. «Весь лыбится», — так говорил когда-то пятилетний Рыжик про улыбку особенно широкую и веселую. Головастенький секретарь не улыбался, а именно «весь лыбился» безудержной улыбкой, дрожавшей на губах, в глазах, в светлых дугах бровей. «А чего ему не «лыбиться»? — позавидовал Бахирев. — Противовесы на нем не висят. «Антимеханизатором» обозвали зря. И чист, и прав, и счастлив тем, что пришел сюда чистым и правым! Эх, мне бы такое!.. А как Чубас? — Бахирев смотрел на его осунувшееся лицо и стиснутые губы. — «Жених», «жених», где же твоя улыбка? Нелегко дались тебе схватка с Бликиным и бой на последнем пленуме. Да и мои противовесы тебя стукнули рикошетом. А вот и Бликин! Атаманом входит! Как рассаживается! И это после пленума обкома!»

Бахирева поразил спокойный и уверенный вид Бликина здесь, где самые стены звали к ничем не прикрашенной истине.

Но Бликин видел эти стены по-своему: давно знакомые, непоколебимые мраморные плиты отгораживали от всего опасного, постороннего то величие, к которому он был сопричастен. Там, в области, люди малого кругозора выскакивали с мелочными нападками. Здесь он неприкосновенен для мелочей.

Как всегда, он даже самому себе не открывал подлинного смысла своих ощущений и упований. Он твердил про себя привычные фразы: «Покритикуют, но поддержат. Тут не до мелочей. Тут по крупному счету». Еще выше,

чем всегда, была вскинута его голова с длинным, чутким носом, еще неподвижней был седоволосый затылок. Нетопливо скользил он по лицам взглядом, пытаясь проникнуть в каждого и храня непроницаемость каких-то своих глубин. Но вдруг брови дрогнули. Улыбающийся Курганов! Чубасов! Он знал, что их вызывали в ЦК, но был уверен, что они не пойдут дальше отделов. Зачем эти двое здесь? Он не считал их опасными, но в самом факте их присутствия здесь таилось нечто опасное. Невольно вспомнилось сходное чувство, которое он пережил сегодня утром в Кремле. Он пошел туда по делам. Он привык видеть Кремль недоступным, торжественным и пустынным. Вход сюда был честью и привилегией. И вдруг в этом самом Кремле толпятся никому не известные мужчины и женщины, мальчики и девочки, лезут во все углы, щелкают фотоаппаратами. «Многолюдный Кремль — похожее было когда-то! — вспомнил он.— Но когда? Гражданская война, сотни деловитых людей, ходоки, Ленин... Четверть века назад. Опять?!»

Непривычные толпы в Кремле заставили насторожиться. Так же невольно настораживала доступность вот этой комнаты для всяких Кургановых — Чубасовых. Впереди, за волнистой шевелюрой Чубасова, замаячил вихор. Неужели еще и этот? Противовесы. Они были уязвимой, но крохотной деталью в сегодняшнем отчете Бликина. Плавая большим морем, нетрудно обойти маленький подводный риф. Но как поведет себя эта вихрастая улика? И как покажет себя Вальган?

Вальган приметил его взгляд и подумал: «Погорит? Или поддержат и помогут?» Вальган, как и Бахирев, впервые был в этой комнате, но тоже видел ее по-своему. «Меня простотой не проведешь! В эту игру играли»,— думал он. Он видел сверкание мрамора, ажурное золото люстр и вентиляторов. Комната была для него местом, где необходимо блеснуть — использовать редкую близость к высшей власти. Ему нужно было знать, выплывет или не выплывет Бликин, чтоб определить собственную линию поведения, и он примечал: «Спокоен. Издали здоровается с секретарями. Он здесь свой... Силен. Выплывет». Вальган понимал, что находится в сложной и невыгодной ситуации: летающие противовесы, перебои в производстве, провал на выборах в партком, жалобы рабочих. Но рядом стоял громоотвод — Бахирев. Надо было только умело направить разряд. Вальган знал свои сильные стороны — находчивость, волю, энергию. «Что ж, в последний год произошла осечка. Но гремел в военные годы. Не могут не знать. Сейчас важно не упустить случай. Показать себя. Вызвать доверие. Запомниться!»

Рука его то лихорадочно теребила подбородок, словно призывала все существо Вальгана к бодрствованию, то вдруг мгновенно замирала в ожидании, как замирает собака на стойке. И сам Вальган напоминал собаку на стойке: все в нем замерло в ожидании, и в то же время все приготовилось к цепкому прыжку. Прыгнуть не позже, не раньше, а в ту самую, в единственно нужную секунду! Прыгнуть не вправо, не влево, а в ту самую, в единственно нужную точку!

«Кажется, все расселись? Пора начинать?» — подумал Бликин и тихо откашлялся, прочищая горло.

Один из секретарей дружески закивал кому-то в зале. К столу подошел Гринин. Мешковатый и неприметный, как всегда, он наклонился над бумагами.

— Значит, это верно? Что же ты, Саша, вчера не позвонил? Заехал бы,— услышал Бликин обрывки фраз и удивился: «Секретарь ЦК с ним по-свойски. Так вот откуда у него смелость! И ни разу не проговорился! Хитрец».

Однако это не встревожило. Некоторые из секретарей ЦК недавно были секретарями обкомов и, бывало, сидели рядом с Бликиным вот на этих же стульях. Тоже старые знакомые, тоже на «ты». «Нет, в обиду не дадут,— думал он, глядя на Гринина.— Пропесочат, как положено, но и поддержат крепко».

Наконец ему предоставили слово. Он пошел к столу. Дела целой области, равной по величине иному государству, нес он с собой сконцентрированными в точные и строгие фразы.

С приподнятостью и некоторой торжественностью приступил он к обычным вводным словам — с таким чувством немолодой генерал облекается в издавна любимый парадный мундир. Генерал чувствует себя и моложе, и подтянутее, и торжественнее в мундире, каждая нашивка и пряжка которого освящены традициями. Для Бликина многие обороты и приемы речи были также освящены традициями, и он наслаждался своим умением владеть этими приемами. Он знал: для того чтобы дать правильный тон, надо в самом начале сказать о недостатках.

— В работе областной партийной организации за истекший период имелись серьезные недостатки и промахи... Бюро обкома и я, как первый секретарь, не сделали всего необходимого...

Привычные фразы текли плавно. Непроницаемое в своей уверенности лицо порозовело от скрытого волнения. Бóльшая, чем обычно, окаменелость чувствовалась в затылке, слегка откинутом, как бы обремененном делами особого значения и сугубой ответственности. Самокритич-

ное вступление было сделано, и с хорошо отработанной округлостью переходов он приступил к основной части отчета.

— Однако, если проанализировать глубинную тенденцию развития...

Он говорил о том, как город руин превратился в город заводов, как на реке, где пылали разбомбленные суда, поднимается гидростанция, как на землях, выжженных войной, вырастают колхозы-миллионеры. Удивляя памятью, он сыпал:

— Генеральная линия на индустриализацию характеризуется следующими цифрами... Размещение производственных мощностей определяется такими цифровыми данными...

Шеренги цифр ложились ряд за рядом, труднопробиваемые, как линия Маннергейма.

Он был носителем тех дел, о которых рассказывал, и, поднятый ими, чувствовал себя неуязвимым. Мелочная стихия тяжелого дня пленума обкома плескалась где-то внизу и в прошлом.

Сперва все слушали напряженно, словно ждали чего-то, о чем-то спрашивали и Бликина, и самих себя. Но вот двое за столом переглянулись, перемолвились. Кто-то пожал плечом. Кто-то начал машинально чертить. Лишь зоркий взгляд Вальгана уловил, как постепенно начало нарастать несоответствие между приподнятостью Бликина и деловитым спокойствием тех, перед которыми он отчитывался. Казалось, чем торжественнее лицо Бликина, тем будничнее становятся те, кто сидит за столом. Один из секретарей повернул к председателю очень бледное, твердое лицо и сказал коротко и суховато:

— Цифровой материал всем присутствующим известен. Не стоит тратить времени.

Другой, сидевший у самого края стола, поднял узкую ладонь и произнес, защищая:

— Нет! Пускай говорит, что считает нужным. Не каждый день такой разговор! Не будем мешать.

Минутная размолвка вклинилась в плавную речь Бликина. От неожиданности он сбился. Произошла короткая заминка. Он зашелестел бумагами, как бы ища в них тот поток, который неосторожно прервали.

— В ближайшее пятилетие наши мощности должны резко возрасти за счет гидроэнергии. К строительству плотины мы приступили в этом году.— Подъем, утраченный на минуту, вернулся к нему, голос стал по-прежнему полнозвучен.— Мы должны взять те десять миллиардов кубометров воды, которые пока бесполезно сбрасываются в океан.

Председательствующий повернулся к Бликину всем своим крепким подвижным телом.

— Это все мы знаем! Скажите-ка лучше, что там у вас варят-жарят?

— Как что варят-жарят?

— Обыкновенно! Чем кормят рабочих на строительстве плотины?

— Мясом. Картошкой...— Внезапно приземленный, Бликин еще не мог опомниться.

— Мяса-то, пожалуй, пока маловато. Картошки побольше. А на чем ее жарят?

— На масле.

— А может, на маргарине? Или на воде?

«Сбивают же мелочами»,— досадуя и удивляясь, подумал Бликин.

Но он прошел крепкую школу, он знал себе цену, он был не из тех, кто теряется от нескольких реплик.

— Я хотел перейти к вопросам сельского хозяйства последовательно, но, если вы считаете нужным, могу и перестроиться. Могу начать с того, как обстоит в колхозах области с производством масла, мяса, картофеля.

В прежнем ровном и приподнятом тоне он рассказывал об успехах колхозов, о новых совхозах, об увеличении посевных площадей.

— Картофеля убрали в два раза больше, чем в прошлом году. Сдано государству...

— А сколько похоронили?— опять «приземлили» его, перебив на полуслове.— Сколько осталось в земле?

Бликин умолк. Многолетний опыт подсказал: его не случайно сбивают мелочами. Нет. Его ловят на мелочах! Это, очевидно, не случайность, а линия, еще не ясная ему, но преднамеренная.

Затылок его утратил привычную окаменелость. Голова то поворачивалась к столу, то склонялась к бумагам. Еще стойко, но без прежнего подъема он продолжал:

— Трудности с уборкой были, как всегда, но они не помешали нам решить картофельную проблему. Решена также в области и зерновая проблема. Урожаи за последние три года...

Он снова воздвигал из цифр и укрепления и постаменты. Он постепенно поднимался по ним к той высоте, с которой его раз за разом приземляли. И снова председательствующий прервал его:

— Вы называете цифры. Непонятно, что это за урожаи — на корню или в амбаре? На корню? Э! На корню урожай еще не урожай! Вот был я у вас в позапрошлом, высокоурожайном году. Всюду под открытым небом бурты зерна. Еду — чую: что такое? Как подует ветер, так

пахнет солодом. Подъезжаю. Осень, дождь, черная земля, а по краям буртов майское кольцо—зелень! Проросла пшеничка, как в мае месяце. Берешь лопату, копнешь,— председательствующий встал и точным, умелым жестом показал, как берет лопату, копает,—глядишь, в кошму сплелось зерно корнями! Половина буртов пропала! Вот он, ваш урожай на корню!

Не только щеки, но лоб, подбородок, нос Бликина залило нездоровой, лиловатой краснотой. Потери во время уборки были везде. И всегда называли цифры урожаев на корню. Почему же теперь от Бликина требовали амбарного урожая? Преднамеренная придирка? За что? Почему? Ровный, вышколенный голос дрогнул от тревоги и недоумения:

— Не один же я ориентируюсь на эти данные!

— А я не об одном вас и говорю. Плохо убираем. Четверть, а то и треть урожая оставляем в полях. А потом подсчитываем «урожай на корню»! И твердим: «Зерновая проблема решена!»

Горечь слов относилась не только к Бликину. Но от этого ему стало еще тревожнее. Да, так было. Да, терялись при уборке тысячи центнеров зерна. Да, пропадал под снегом неубранный картофель на тысячах гектаров. Об этом знали, но сознательно умалчивали. Зачем тревожить и будоражить, если причины горестного явления коренятся во многих трудностях войны и послевоенных лет? Под покровом этих причин само явление становилось секретным, затаенным, небезопасным. И вдруг молчаливый сговор дерзко нарушен! И вдруг именно это секретное вырвано из глубин и всем напоказ обнажено. Бликину стало страшно уж не за себя: испугала сама несекретность фактов, их обнаженность. Тревога за себя перерастала в тревогу за окружающее.

Он слышал, как все тот же сухой, твердый голос, что и вначале, произнес:

— Я думаю, теперь все понятно?

И снова ему возразили:

— Нет, еще не все... Не торопи.

Что одним было понятно, а другим непонятно?

Он искал в мраморных стенах привычного мраморного величия и не видел ничего скульптурного, монументального. Он видел людей. Они могли спорить. Они открыли доступ в эту комнату Кургановым и Бахиревым. Ему захотелось предостеречь: «Доступность будет употреблена во зло!»

Но он знал, что его не станут слушать.

То несоответствие меж поведением Бликина и атмосферой совещания, которое Вальган приметил в самом

начале, теперь разрасталось, превращалось в столкновение. Вальган понял: «Если не опомнится, не развернется на все сто восемьдесят градусов, погорит дотла».

А Бликин не мог «развернуться на сто восемьдесят». Его мозговой приспособительный аппарат, столь совершенный в молодости, закостенел с годами. Многолетняя привычка приспосабливаться и гнуться лишь в одном направлении придала этому аппарату пагубную односторонность. И Бликин, столь безошибочно маневрировавший в прежние годы, в новой обстановке не мог ни сориентироваться, ни приспособиться, ни сманеврировать. Привычная почва уходила из-под бликинских ног, и, теряя ее, он терялся сам. Он мог лишь цепко и судорожно хвататься за привычное, казавшееся надежным.

Спасательный пояс великих дел был рядом. Не выпускать его! Говорить, говорить о том, что сделано, о том, что задумано. Говорить, говорить, говорить...

— На полях области за последние годы появились десятки машин, невиданных прежде. Такого взлета механизации не было в истории нашей области...

— Постойте, постойте! Кстати, о машинах, о механизации,— перебил председательствующий.— Была у вас статья об «антимеханизаторе». Товарищ Курганов, кажется, здесь?

Курганов приподнялся. Маленький и большеголовый, он от волнения позабыл согнать с лица неуместную улыбку и неловко молчал. Председательствующий посмотрел смеющимся взглядом.

— Так вот он какой, «антимеханизатор», гроза комбайнов! Я думал — косая сажень в плечах!

Бликин почувствовал: шутка полна дружелюбия. Ничего похожего на тон реплик, которыми прерывали его. Неужели этот головастик и представляет те «силы», которые собираются ополчиться против Бликина? Несравнимость опыта, эрудиции, воли очевидна. Перед такими не пасуют! Таких просто разбивают одним решительным взмахом!

Бликин пошел наперерез:

— Товарищ Курганов руководит районом всего один год. За этот срок урожайность снизилась. Погиб на больших площадях люпин. В животноводстве поощрялись рваческие настроения.

«Закаркала ворона на беркута,— с обидой за Курганова и со злобой к Бликину думал Бахирев.— Неужели, «беркутеныш», не отобьешься?» Но беркут скорей походил на воробья — сидел, вертел круглой головою.

Бликин все набирал голос:

— Это не случайное явление, а следствие того, что

секретарь райкома пренебрегает основными положениями марксизма-ленинизма. Он недооценивает, в частности, важнейший ленинский тезис о механизации сельского хозяйства. Голый практицизм в руководстве дошел до того, что секретарь райкома призывал заменять комбайны серпами, а на уборку картофеля советовал вместо техники посылать — свиней! Речь идет не о случайных явлениях, а об отказе от социалистической техники, от социалистических принципов земледелия.

— А вы сами видели ту пшеничку, которую убирали серпами? А знаете вы стоимость уборки картофеля в условиях этого района? Нет? Попросим товарища Зимина.

Зимин с его кудряшками, похожими на бараньи рожки, едва доходил Бликину до подбородка.

— Если не бывать в районах и не вникать в суть дела, то все просто: показатели хуже, значит, работа хуже. Однако, Сергей Васильевич, вы тут говорили о «глубинной тенденции».— В боковом взгляде круглых быстрых глаз мгновенная ирония.— Эта тенденция выявляется, кстати сказать, только там, в глубине полей. А на полях этого района вы ни разу не были. Так с точки зрения этой самой «глубинной» вот что получается. Показатели хуже прошлогоднего во всей области — год на редкость неурожайный. В Ухабинском же районе есть примечательная особенность. Несколько снизилась урожайность в хороших колхозах, а в наихудших колхозах урожаи даже повысились и выдача на трудодни увеличилась.

Бликин с пренебрежением и недоумением смотрел то на круглоголового секретаря райкома, то на Зимина с его ребячьими кудряшками: эти два «мальца» неожиданно плотно объединились и пошли против него. Председательствующий отзывался на каждое их слово.

— Значит, год неурожайный, а в слабых колхозах дела лучше, чем в прошлом году? — сказал он.— Вас это не заинтересовало? — Бликин молчал.— Вы ни разу не полюбопытствовали? Ни разу сами не выехали? Не интересно вам? А нам интересно! Мне, в частности, очень интересно, как работают «практики» вроде Курганова! Товарища Бликина такой практицизм не устраивает. Он за общее идейное руководство! — Председательствующий говорил с гневом, сарказмом и горечью. И вдруг, повернувшись к Курганову, произнес совсем иным, дружеским тоном: — Только вы, товарищ Курганов, не обижайтесь за это название! Все мы такие же, как вы, «практики»! Все мы призваны на основе величайшей теории практически, применяясь к конкретным условиям, строить коммунизм.

Бликин ждал критики. Но чтоб так?! Чтоб на глазах у всех сознательно унизить его и в противовес ему поднять

этого недоростка? Он вынул платок, вытер лоб, передохнул, взглянул на взволнованные лица, на облака за окном... Неужели это... конец? Нет! Ведь годы, годы... Столько сделано за эти годы!

Прерванный на полуслове, он молчал, как незадачливый школьник, выставленный у доски на позорище. А Зимин и Курганов поучали...

— Именно в отстающих колхозах в первую очередь разрабатывались залежи и проросшие участки возле лесов,— объяснял Зимин.— А как раз с этих участков в условиях засухи и собраны лучшие урожаи. Сильнейшие колхозы брали деловое шефство над наихудшими.

— Вы мне про эту доярку рассказывали, которая в два с половиной раза повысила удои,— с живым интересом сказал председательствующий.— Лужкова, кажется?

— Да, Анна Лужкова. Доярка наихудшего колхоза. Была замечена в хищениях. Сама сознается, что «пользовалась» молоком и сеном. Дали ей, как у них говорят, «покоровный» план. Стали оплачивать с надоя. Помогли с кормами. Взяла шефство над нею доярка лучшего колхоза, коммунистка Лизавета Яблонева. Подружились эти Анна с Лизаветой. И вот эта самая Лужкова сама погнала своих коров на ночную пастьбу да еще мешок соли вынесла на горбу...— Курганов продолжал:— А сама стала накашивать и давать зеленую подкормку. Теперь первая застрельщица на ферме. Деловитая, отзывчивая, ну просто приятно с человеком поговорить. В партию ее принимают. Я бы и сам дал ей рекомендацию!

Бликин, слушая, сглотнул воздух. Его били какой-то Анной. Судьба этой Анны заинтересовала их. А судьба его, Бликина? Может быть, она была уже беспощадно решена ими? Нет, не до конца!

Бликин не мог не видеть, что даже те, кто говорил с резким осуждением, как бы допытывались: «Так ли ты плох, как мы думаем? Сумеешь ли ты сам понять причины своего краха?»

Среди взглядов пытливых, ищущих Бликин уловил несколько сочувственных. «Надо держаться. Совсем не разгромят. Областей много. С большой снимут—дадут поменьше».

Зимин сел наконец.

— Меня перебили,—сказал Бликин.—Я как раз хотел рассказать о сдвигах в животноводстве. Удойность в ряде районов повысилась на двадцать—тридцать процентов... Яйценоскость повысилась...

За изгородью из цифр он почувствовал себя спокойнее. Он видел, что за столом переговариваются, не хотят слушать, и все же городил, городил свою спасительную

изгородь... Один из сидевших в президиуме негромко сказал:

— Если смотреть с точки зрения грамматики, так у вас все какие-то обезличенные глагольные окончания. Удои «повысились», плотина «строится», продукция «возросла»... Может быть, это не само по себе повышается, строится, вырастает? Может быть, это люди строят и выращивают?

В неторопливом вопросе — осуждение. И система работы, и ход мыслей, и даже весь строй речи — от тезисов доклада до глагольных окончаний — все было несовместимо с самим духом этой комнаты.

Проницательный Вальган раньше многих понял: «Он уже не секретарь.— И мысли сразу заметались.— Зачем я шел с ним? Я умею работать. Я люблю работать... Я мог не с ним, а в одном ряду хотя бы с этим Кургановым.— Заговорил инстинкт самосохранения.— Я не Бликин! Что он мог? Угодничать перед высшими, жать на низших? Я не он! А он потянет и меня за собой... Отмежеваться! Найти случай... Сегодня же... Здесь же...»

Он еще сильнее стиснул подлокотники кресла, еще сильнее спружинился, готовясь к прыжку, боясь упустить момент и случай.

Но Бликин еще держался. Уже не тот уверенно-спокойный, знающий себе цену, каким он был вначале, и не тот возмущенный, болезненно раскрасневшийся, каким был полчаса назад, а стареющий и усталый человек с опущенными плечами и склоненным лицом. От непривычного наклона обвис подбородок, и дряблые щеки набежали на воротник. Бликин все понимал и все видел, но цепкая надежда твердила ему: «Не сегодня же... Не сейчас... Так не бывает! С сельским хозяйством в области плохо. Но промышленность! Да, хорошо, что промышленность осталась под конец! На ней я выплыву. Не все еще пропало. Не все». Отвечая на вопросы о людях, он назвал ряд фамилий передовиков сельского хозяйства и заключил:

— О людях промышленности я скажу особо. Сперва разрешите перейти к этому разделу. Я хотел начать именно с промышленности, тогда картина получилась бы несколько иной.

Снова появилась округлость фраз, привычные приливы фактов и цифр. Он выплывал, еще задыхаясь, еще вздрагивая от внутреннего озноба, но все увереннее взмахивая руками, как выплывает на верной волне человек, чуть не захлебнувшийся. Его долго слушали, не перебивая. Он поднял голову, и обвисшая было кожа

снова натянулась в барственно покатом переходе от шеи к маленькому вскинутому подбородку.

Бахирев слушал и смотрел на длинный ряд окон. Облака, сквозные от солнца, переплывали от окна к окну. С такою же плавностью переходил рассказ от завода к заводу. «Везде как надо,— тоскуя, думал Бахирев,— везде справляются, только я...» Но вот Бликин заговорил о тракторном: «Программа перевыполняется...— слушал Бахирев.— Поставлена на производство новая марка. Снижена себестоимость... Осваивается прогрессивная технология — кокиль, металлокерамика... Такие рабочие, как Сугробин, Игорева, являются образцом... Завод «Красный Октябрь»...

Бахирев даже повернулся от удивления: «Как, уже о других? Уже все о тракторном?! Пронесло мимо брака, мимо противовесов? Как можно умолчать об этом?»

Но Бликин умолчал.

В конце отчета он привел лишь цифры промышленного брака в среднем по крупнейшим заводам области:

— Брак, как видите, еще недопустимо велик, но снижается.

Вторая половина доклада была впечатляющей и прошла гладко. Бликин кончил и стал вытирать вспотевший лоб.

Ему задавали вопросы о росте производительности труда, о нормах, о штатах.

— Вы тут приводили цифры отдельных производственных рекордов. А вот брак и текучесть кадров по чугунолитейному цеху тракторного завода достигли чудовищных, «рекордных» цифр. Вы интересовались причинами такого рода «рекордов»?

Бахирев насторожился: «Оказывается, не пронесло. Заставили вернуться к тракторному».

Бликин склонился в сторону председателя, и кончик его длинного, чуткого носа наклонился в эту же сторону.

— Мы принимали меры... Боролись с текучестью кадров... Улучшили столовую... Переселили в новое общежитие. Отличное общежитие. Своя библиотека, учебная комната, душевая, прачечная... Даже снимки были в «Огоньке»...

— Значит, все хорошо и даже отлично? Ну, а вы сами были у чугунщиков? Не в новом общежитии, а в старом?

— Я не имел возможности посетить все общежития.

— «Посетить»? «Посещать» вообще не требуется. Мы с вами не дипломаты! А вот знать истину о жизни рабочих наихудшего цеха наикрупнейшего завода — это от нас, от партийных руководителей, как раз требуется. Товарищ Зимин, просим.

Зимин вышел еще тяжелее, чем в первый раз. В кудрявых волосах запуталось солнце, а лицо сосредоточенно, как у хирурга, которому предстоит провести тяжелую, но необходимую операцию.

— Перевели в новое общежитие только двадцать рабочих чугунолитейного, и то по инициативе бывшего главного инженера. Переселение остальных отсрочено директором до постройки нового корпуса. Большинство чугунолитейщиков живет в полуподвальном помещении. Кадровиков постепенно выводят оттуда, но в чугунолитейном кадровиков мало, текучка. Вновь поступающим, естественно, достаются худшие места. Так и получилось, что рабочих самого тяжелого цеха сконцентрировали в полуподвале, в котором даже тюфяки истлевают от сырости. Здесь подряд и семейные и холостые.

«Зачем размазывать?—думал Бликин.—Ведь все знают—война, трудности с жильем. Ведь это же частности, неизбежные мелочи!» Но Зимин продолжал с той тяжелой обнаженностью, от которой так коробило Бликина:

— Главное—там есть дети! Их надо вывезти оттуда немедленно!

Взгляд Бликина заметался от лица к лицу, и многие лица невольными, чуть приметными движениями отворачивались.

«Ничего не замазывать!—отчетливо понял Вальган.— Спасение только в одном—честно!—Мысли били в набат.—О трудностях, о промахах, об ошибках—в лоб. Обо всем—в лоб! Другого пути к спасению нет!»

В тишине прозвучали слова:

— Расскажите об авариях с противовесами. Посадка противовесов—это же мелочь, которую легко исправить! Объясните: как могло случиться, что эта мелочь разрослась в бедствие? Больше тысячи тракторов выведено из строя!

«Вот он, и мой час!—понял Бахирев.—Вот для чего меня сюда позвали. Я должен ответить за них».

Бликин замялся. Подходили к самому уязвимому месту промышленной, основной части доклада. Приближался самый опасный перевал. «Не форсировать! Быть осмотрительным!» Он невнятно произнес:

— Происходили обрывы противовесов...

Раздались негромкие, острые слова:

— Летающие противовесы—это, кажется, первое крупное техническое новшество, о котором вы можете рассказать?

— Обком передоверил в этом вопросе. Нас ввело в заблуждение и заключение специалистов, и то, что на одноименном заводе аварий не было. Обком знал также,

что идет освоение новой марки. В процессе освоения на любых заводах бывает много тех или иных неполадок.

— «Много тех или иных неполадок»? Так вы ставите аварии, вызванные противовесами, в один ряд со многими?! А вы сами видели трактор с пробоиной от противовеса? Товарищ Гринин расскажи.

Гринин говорил с сухой точностью:

— Авария ни с чем, кроме военного повреждения, не сравнима. В мирных условиях я не видел ничего подобного. Пробиваются капот, блок цилиндра, маслопровод, выводится из строя коленвал.

— Кто-то должен нести ответственность за неслыханное безобразие?

— Виновный уже понес ответственность,— поспешил Бликин.— Главный инженер Бахирев получил партийное взыскание и снят с работы.

— Товарищ Бахирев здесь?

Бахирев поднялся. От него ждут слов. Но что говорить? Оправдываться? Но нет оправданий! Признавать вину? Но все и так знают, что он виновен. Обещать и заверять на будущее? Словами заверить нельзя.

Он молчал, но молчание его было иным, чем молчание счастливого своей правотой, улыбчивого Курганова. Его молчание было тяжеловесным, как многотонный груз сорвавшихся противовесов.

Вальган видел, какое тягостное впечатление произвело это молчание. Вальган знал, каких слов ждут сейчас люди, сидящие за длинным столом. Вот она, та самая единственная минута, которую он ждал. Ни позже, ни раньше! Мышцы сокращаются. Прыжок!..

— Разрешите мне!— Звучный, бархатный баритон прокатился по комнате.— Я должен сказать честно. Как директор завода, виновен в авариях прежде всего я. Я, только я и должен нести ответственность.

Даже Бахирев дрогнул от неожиданности. Смело поднятое лицо, прямой блестящий взгляд. «Честный, смелый? Видно, лучше, чем я считал».

Бликин слишком походил на Вальгана, чтобы поверить в его искренность: «Маневр! Но мы были заодно. Признавая свою вину, он виноватит и меня! У него все выгоды — он сам сознался, а я... Сейчас он один в выигрыше. Политикан! Разоблачить. Хочешь подтолкнуть меня? Упадешь первым».

Негодование, как впрыскивание камфары, удвоило силы. Бликин встал.

— Запоздалая честность товарища Вальгана дорого обошлась области. Товарищ Вальган долго обманывал обком, а сейчас выступает в роли честного коммуниста,

осознавшего ошибку. Однако это была не случайная ошибка, а планомерный и сознательный обман.

— Ложь!

Председатель нажал кнопку звонка.

— Товарищ Вальган, вам будет предоставлено слово.

— Но в этих стенах должна звучать только истина!

Вальган патетически требовал нужной ему истины. Но патетика не звучала в этой комнате. Бликин умело использовал промах Вальгана, противопоставив его выходке достойную сдержанность.

— Первые обрывы противовесов товарищ Вальган сознательно и ловко скрыл от обкома. Пользуясь тяжелым положением МТС с ремонтными материалами, Вальган предложил сделку такого рода: МТС берет вину на себя, а за это завод берет все расходы по ремонту и, кроме того, отпускает МТС остродефицитные материалы. Вальган обманул обком так же, как сейчас пытается обмануть ЦК.

Вальган не ждал такой контратаки. Когда-то в минуты опасности на алтарь богов бросали жертвенных ягнят. Нет! Не выйдет. Не та у него сила! Закостенел. Не способен уловить дух окружающего и примениться к нему. Зато Вальган остро чувствовал и этот дух, и все преимущества своей гибкости. «Обороняться? Нет! Наступление — лучший вид обороны!»

Когда Бликин кончил говорить, Вальган попросил слова. Лицо его горело, смуглые ладони то сжимались в кулаки, то раскрывались, протягивались, убеждая и требуя доверия, гвоздя и клеймя противника.

— Не я вводил обком в заблуждение, а меня товарищ Бликин, к сожалению, утверждал и укреплял в моем заблуждении. Не вы ли, Сергей Васильевич, повторяли, что на втором заводе противовесы не летят и, значит, дело не в конструкции? Вы сами хотели спокойствия и успокаивали нас. Беда в том, что это не отдельный случай. Это ваша линия. Порочная линия на самоуспокоенность и восхваления. Мы должны говорить правду и только правду, как она ни горька!

По испытующему, но сочувственному вниманию сидевших за столом Вальган видел, что попал в точку. Его слушали внимательно. Он понимал: вот они, эти минуты, когда проверяют его, Вальгана, когда решается его судьба. Он начал как нельзя удачнее — с первых слов вызвал сочувствие. И, воодушевляясь этим сочувствием, он продолжал еще жарче:

— Если говорить правду, то чего вы требовали от нас, хозяйственников? «Давай программу! Давай рапорт! Давай премию! Давай цифры! Давай размах!» Что для вас

бракованные тракторы? Досадная мелочь! Вы уходили от таких «мелочей» сами и уводили нас!—Вальган снова покосился на длинный стол. Слушали еще пристальнее. Он видел, что они ждут правды и прямой критики, и, попав на верную ноту, стремился играть на ней как можно громче.— Секретарь обкома воспитывал коммунистов в духе замалчивания и замазывания недостатков. Он с гордостью говорил здесь о работе новых заводов. Но за чей счет работали эти заводы? Это мы негласно делали для них и станки, и механизмы, и литейное оборудование. А заслуги приписывались им. Завод «Красный Октябрь»—это наш поставщик, но он «поставляет» нам не столько металл, сколько дезорганизацию. Ни ритма, ни плана, ни ответственности за качество! Те же пороки характерны и для большинства старых заводов.

— Вот как!—прозвучало за столом.

Неопределенная реплика камнем упала в разгоряченный, испуганный, жаждущий спасения мозг Вальгана. Смятенные мысли заколебались, заметались, пошли тревожными, зыбкими кругами: «Что означает это «вот как»? Одобрение? Неодобрение? Удивление?» Когда Вальган принимал руководство заводом, любая критика производства была ему на руку. Чем жарче критиковали предшествующее, тем очевиднее становились и трудности и все настоящие и будущие заслуги Вальгана. Мгновенно прикинув на себя, он решил, что «вот как» может означать лишь завуалированное поощрение, и, подхлестнутый им, удвоил рьяность:

— Те же пороки характеризуют всю областную промышленность в целом. Возьмем хотя бы завод Калинина...— Разгромив промышленность, он перешел к строительству:—У нас во всех газетах нашумели о городке строителей гидростанции. Но что это за «городок»? Серые коробки, прикрытые черепицей. Они же развалятся прежде, чем выстроится гидроузел! А как они строятся?

Сочувственное внимание сменилось настороженностью, но Вальган уже не следил за лицами. Им овладел угоднический пафос ниспровержения всего, что сделано прежде. Он ниспровергал старое и носителя его, Бликина, не во имя нового, но для того, чтоб как можно выше взлететь на волне ниспровержения. Однако жар его был искренним. Годами он должен был послушно играть роль мальчика при Бликине, слабости которого знал отлично. Годами скрытно и тщетно жаждал он того, что причиталось ему по праву. Да, по праву! Разве не ясно, что по уму, по таланту, по энергии он достоин лучшего? Не директор периферийного завода, не подручный Бликина! Нет! Министерское кресло, всесоюзный размах—вот по-

длинная судьба человека с его умом и волей! Неудовлетворенность и жадность всю жизнь копились и сжимались в нем подспудно и бесшумно, как газ под давлением. И вот сорвана печать молчания. Открыт вентиль. И газ многолетнего напора неудержимой струей вырвался с шипением и свистом. Критиковать! Выплеснуть скопленное за долгие годы раздражение на все, что равняло Вальгана с миллионами невальганов и мешало ему жить по-вальгановски! Критиковать!

Вальган думал, что разоблачит недостатки действительности, но разоблачал самого себя.

«Вот видите, видите?!—укорял и взывал взгляд Бликина.— Вот что значит полная доступность для Вальганов и прочих! Позвали! Кого?! Куда позвали?!» Саморазоблачение Вальгана укрепило уверенность Бликина в своей правоте.

Бахирев, слушая Вальгана, неожиданно для себя обиделся. «Какие заводищи подняли, и в какие трудные годы, а его послушать—и заводов нету. И вот! Все оплевал под видом благородной борьбы с недостатками! Переметнулся на «крайнюю левую». Вот такие, как он, из угодничества и мечутся из крайности в крайность. Лишь бы выставиться, лишь бы бежать вперед других, все равно в какую сторону!»

И встала в памяти Бахирева мартовская ночь, мертвенное марево над траурными знаменами и восторги Вальгана, доходящие до зависти бессмертию ушедшего и даже самой его смерти.

«Все предал не задумываясь. Иван, не помнящий родства! Все перечеркнул одним махом!»

В ту мартовскую ночь Бахирев спрашивал себя: что уйдет с этой смертью и что останется? Сейчас он ответил беспощадно, безжалостно: «Вот ты и уйдешь, Вальган. А останутся та же Анна, тот же Сугробин... Чубасов, Курганов, Гринин».

В них видел он людей, сформированных социалистической эпохой. Порожденные ею, они стали ее решающей силой. Но кто же такие Вальган и Бликин? Ему вспомнились слова Зимина: «Сорняк на огрехах». Не слишком ли мягко сказано? Нет. Чем сложнее жизнь, тем значительнее огрехи, и чем невиннее кажется нам этот сорняк, тем опаснее он становится. Опасность перерастает в трагедию и катастрофу, если не видеть ее, если обманываться умелою мимикрией, если принимать Вальганов и Бликиных за подлинных носителей идей коммунизма. Хлеборобов не обманывает васильковый, невинный, поднебесный цвет!

А Вальган продолжал говорить, пока поток его бессоз-

нательного саморазоблачения не прервал председательствующий:

— Товарищ Вальган, для чего это вам понадобилось все под одно малевать черным цветом? Ведь, по-вашему, получается, ничего нет в области? Погорелое место да потемкинские деревни?

Слова отрезвили Вальгана.

Он умолк, огляделся. Не было ничего похожего на прежнее сочувственное внимание. Обвал! И тишина, как в горах после обвала... Он понял: «Увлекся. Перехлестнул. Загладить!» Он поднял руку, то и дело сжимая и разжимая пальцы, хватал воздух, взывал, доказывал: «Я честный! Я преданный!»

Но время уже истекло, и слово предоставили Курганову. Еще недоумевая, но уже чувствуя катастрофу, Вальган сошел с трибуны. «Что случилось? Почему и когда случилось? Ведь началось отлично! В какой миг произошла осечка? Неужели это... все?..»

Так снайпер, отлично прицелившийся, одним неосторожным движением выдает себя, и вот, еще не успев почувствовать боль, уже видит кровь, и недоумевает, и с нарастающим ужасом спрашивает: «Как? Когда? Почему? Неужели кровь? Неужели вот это и есть... конец?!»

Курганов, неловкий, смущенный и все же улыбающийся, вышел вперед.

— ...Обвинили меня, что не знаю теории. Так ведь знать—это не долбить! Это применять в конкретной обстановке. Остается же в земле картофель. Не хватает людей, нет уборочных машин. Стоимость уборки высока. Крупную мы собрали, а на мелочь свиней! И с зерновыми... Пшеница в низинах травостойная. Не берет комбайн! А у нас нынче весь урожай тот, что в низинах! Убрали серпами. Говорят, «не по теории»! А по-моему, теорию надо закреплять хлебом! Без хлеба теория не теория. Сейчас в сельских районах теоретическую подкованность надо проверять быстротой, с которой растут урожайность, удойность, яйценоскость.

«Эх, беркут, где ж твои крылья?—волнуясь за Курганова, укорял Бахирев.—На болотине ты говорил красноречивее. И теорию охватывал. И в теории ты покрепче десяти Бликиных. Что ж сейчас не блеснешь, себя не покажешь во всей силе?»

Но Курганов так же, как и сам Бахирев, не заботился о том, чтобы «блеснуть». Силой его была правда.

«Этот выскочил,—завидовал и удивлялся Вальган.—Что он сумел? Чего я не сумел?»

— Ну, товарищ Гринин, теперь тебе слово,—с особой теплотой сказал председатель.

«С ним, с ним надо мне было, не с Бликиным,— тоскуя, повторил про себя Вальган.— А что в нем? Почему он здесь как свой?»

Впервые он внимательно посмотрел на Гринина. Жилистое тело старого рабочего и лицо, ничем не примечательное на первый взгляд. Только вглядевшись, можно заметить ту особую, спокойную твердость, которая создается жизнью трудовой и безупречной. И сухое лицо со скупой, но мягкой улыбкой, и точные, сдержанные жесты, и немногословная речь говорили о втором секретаре обкома как о человеке испытанном и надежном. Вальган понял это и снова пожалел: «Зачем с ним не сблизился?» Чем сдержаннее критиковал Гринин недочеты Бликина, тем убедительнее были слова. Коротко он коснулся работы тракторного завода:

— Отдача от перестройки, проведенной Бахиревым, началась через месяц. Июльский подъем — это заслуга отнюдь не директора, а прогрессивных начинаний главного инженера. Об этом правильно говорил Чубасов на последнем пленуме обкома,— сказал Гринин, даже не повысив глуховатого голоса. Если б ругал, нападал, горячился, все прозвучало бы для Вальгана не так обидно и не так бесповоротно, как эта мимоходом брошенная фраза. Отмел, как ветошь, не глядя, не объясняя, как нечто само собой понятное, не требующее доказательств. И уже не вспоминал о Вальгане. Зато подробно говорил о Бахиреве: — Сперва, как говорили на заводе, «гнул через дугу», да еще и гнул-то в одиночку. Дорого это обошлось заводу! Ошибки понял и пережил. Первый увидел пороки в конструкции. Новая конструкция подготовлена его усилиями. Уволенный, не ушел с завода, остался в качестве сменного. На все пошел, лишь бы исправить сделанное. Изменилась не только посадка противовесов. Изменился сам товарищ Бахирев. Авторитет им приобретен не за счет умения показать товар лицом. Авторитет заработан и завоеван! Коллектив ценит главного инженера за боеспособность и за прогрессивность главной производственной линии.

— А какая главная линия? Эта самая «директор — кузнец, главинж — кузнец...»? — улыбнулся горячими глазами худощавый человек за столом, и улыбка его передалась многим: видно, многие знали то, на что он намекал.

Гринин покраснел совсем по-девичьи, и от этого суховатое лицо его помолодело и зажглось, ожило, словно освещенное изнутри. Та внутренняя жизнь, которую он не выказывал из сдержанности или из застенчивости, прорвалась в этом девичьем румянце.

— Ну да... эта самая линия.

— Ты объясни.

— Линия на специализацию и на кооперацию заводов. Давно добиваюсь, чтоб наш завод имени Кирова сделали областной кузницей. Есть у нас такое мечтание — огромный кузнечный завод, а в нем...— Он прищурился и заговорил тем привычно отчетливым и радостным говором, каким дети рассказывают любимые присказки: — А в нем директор — кузнец, главинж — кузнец, все начальники цехов — кузнецы, все рабочие — тоже кузнецы! Кругом кузнецы! Вот дали бы поковку!

Заговорили о будущей переорганизации заводов, и Вальган все еще не мог понять, почему получилось так, что он в стороне от планов будущего, а сменный инженер Бахирев связан с ними.

Когда Гринин кончил, председательствующий спросил:

— Кто еще будет выступать?

Бахирев ждал, что выступит Чубасов, но тот, по-прежнему не двигаясь и не разжимая губ, устало опустил плечи.

«Мавр сделал свое дело...» — понял Бахирев. Не будь этих по-юношески хрупких плеч, схватка на пленуме, подготовившая это совещание, могла закончиться совсем иначе.

За столом прозвучали слова:

— Послушаем товарища Бахирева.

Бахирев не ждал, что после того молчания его захотят выслушать, и не был готов к выступлению. Он встал нерешительно. Гринин расчистил ему дорогу, вызвал к нему пристальный и доброжелательный интерес. Воспользоваться минутой, рассказать о том, почему не ушел с завода, как в нерабочее время бился над испытаниями? Эта мысль каким-то краем коснулась мозга и тут же бесследно исчезла. «Сказать о главном». Он уже поспешно шагал, задевая стулья. Он остановился у стола и прежде всего что есть силы дернул себя за вихор. Убедившись, что волосы сидят достаточно крепко, он заговорил, по своему обыкновению, коряво, тяжеловесно, без всяких вводных фраз, стремясь лишь как можно точнее и короче сформулировать главное:

— Завод в его настоящем виде лишен перспектив развития. Накопленные мощности переросли существующие формы организации. Дальнейшее насыщение техникой может не принести должного эффекта без организационной перестройки. Поточное производство раскрывает всю свою прогрессивность лишь в условиях максимальной массовости! Создать все условия для массовости!

Он волновался, спешил высказать то, что было выношено годами, и сам с недоумением замечал: «Говорю

чистыми политэкономическими тезисами. Вот незадача!» Он страдал, но, боясь произнести лишнее слово, продолжал в том же духе:

— Поточное производство раскрывает всю свою прогрессивность лишь в условиях максимальной массовости. Передать производство ряда наименований специализированным заводам! За счет освободившихся площадей и мощностей увеличить массовость основной продукции! Массовость! Специализация! Кооперация! Вот основные задачи! — воскликнул он и сам испугался и удивился: «Лозунгами пошел жарить».

Лет тридцать назад он вместе с другими комсомольцами на демонстрациях скандировал: «За индустриализацию! Ура! За кооперацию! Ура!» Он хотел остановиться, но лозунги продолжали торопливо выскакивать из него. Крайне огорченный этим припадком лозунгоизвержения, он растерянно оглянулся на руководителей партии: как они это переносят? К его удивлению, они переносили терпеливо. Очевидно, они знали, что лозунгами человек может заговорить по двум причинам: по причине полной пустоты и отсутствия собственных слов и мыслей или же по причине предельной отмобилизованности всех сил на осуществление этих лозунгов. В таких случаях лозунг так же насыщается личными страстями, как извечное «я вас люблю». Очевидно, люди, сидящие за столом, понимали, что перед ними именно этот второй случай. Они слушали Бахирева с сочувствием, хотя кое у кого в глазах, в углах губ дрожали улыбки. Трудно было не улыбнуться, глядя, как огромный, вихрастый, краснолицый, потный человек со страстным и в то же время испуганным выражением выкрикивает: «Специализация! Кооперация!»

Ободренный их сочувствием и пониманием, Бахирев стал успокаиваться и с облегчением почувствовал, что лозунги постепенно сходят с него и к нему мало-помалу возвращается нормальная человеческая речь.

— Ведь мы весь трактор делали — от втулок, гаек, шатунов до дизелей. В Англии один завод делает втулки на всю страну. А зачем нам делать шатуны для себя да еще и для других? Шатуны эти нам как чирей на теле! Когда на заводе делают все, от втулок и шатунов до дизелей, то это не завод, а первобытный общинный строй! Если мы это терпим, то этого не потерпят те же дизеля! Они не потерпят рядом с собой втулок, кроватей, печных заслонок! Они вскочат в цене и упадут в качестве. Не я прошу, дизеля требуют!

Сначала от него ожидали объяснений и оправданий. Но он забыл о себе. Искренность его самозабвения была очевидна. То, о чем он говорил, волновало тех, кто

слушал. Не судьба Бахирева, а будущее завода, естественно, оказалось в центре внимания.

«Сам как дизель, гудит свое. И убеждает!—радовался за него Курганов.—Убеждает своими тысячами оборотов в секунду. Своими лошадиными силами убеждает».

Когда он кончил и Бликину дали заключительное слово, у всех было такое ощущение, что повернулись вспять—от будущего к прошлому.

Только Бликин не видел впереди будущего. Перед ним вставало небытие. «Кто?»—спрашивал он себя, оглядывая мраморную комнату прощальным взглядом. Если б его поразила ожившая статуя командора, он понял бы и смирился. Но не было статуи. Сидели люди. Разные. Пытливые. Непринужденные. Казалось, даже добродушные. Понимают ли они сами, что здесь происходит?

В первые посмертные минуты даже небольшое тело вытягивается как бы вырастая, даже незначительное лицо исполняется твердости и значимости. Нечто подобное происходило сейчас с Бликиным. Он казался выше, чем обычно. Покатые плечи поднялись и обострились. Черты лица затвердели, сделались резче и отчетливее. Казалось, сквозь опавшие мякоти проступает костяк.

«Мертвец, мертвец»,—сказал про себя Бахирев. Бликин и сам наполовину понимал это. И все же не переставал надеяться: «Надо перетерпеть... Надо переждать... Надо продержаться...»

Медленно и упорно шел он по комнате, в которой бурным прибоем пенилась жизнь. Здесь решались судьбы тысяч людей. Здесь кровь приливала к лицам и пот выступал на висках. Здесь голоса то срывались и хрипли, то обретали металлическую силу. Здесь только что падал лицом оземь Вальган, в первый раз не рассчитавший прыжка; здесь «беркутеныш» Курганов махал еще не окрепшими крыльями, здесь сидел израненный противовесами Бахирев и на «мрамор—честнóй камень» текла неостывшая струя из алокровных боевых жил. Здесь, казалось, звучали и скрежет тракторов, их жалобы на чудовищные пробоины, и гудки заводов, требующих потока и массовости, и чуть слышная осыпь колосьев, ждущих уборочных машин. Все ждало вмешательства, все торопило с решениями, все взывало к действию.

Бликин не слышал ничего. В мертвенной и ложной своей значимости мерно прошагал он к столу, остановился и вынул блокнот с золотым тиснением. Он по-прежнему за привычной изгородью слов искал спасения от сокрушительного натиска жизни. Странно, однотонно и глухо

звучали цитаты, одна за другой слетавшие с его посиневых губ:

— «...развитие тяжелой индустрии... является самым трудным делом... Требует, как известно, громадных финансовых затрат... Партия прямо говорила, что это дело потребует серьезных жертв и что мы должны пойти на эти жертвы...» — Он наконец закрыл блокнот, но продолжал с той же монотонностью: — Я считал нужным напомнить эти основные положения марксизма-ленинизма товарищам Вальгану, Курганову и Зимину. Да, для того чтобы воздвигнуть величайшие сооружения эпохи, Иванам Ивановичам Ивановым приходится и ограничивать себя, и даже кое-чем жертвовать. Нельзя забывать, что наша цель — величие коммунизма, а величие требует жертв! Курганов и Зимин за деревьями не видят леса, за картошкой и тюфяками не видят основной цели!

Он хотел говорить дальше, но почувствовал тщету слов и, сразу ослабев, побрел на место.

— Раскалился товарищ Бликин! Выступает тут в роли единственного радетеля тяжелой индустрии. Ахает: обижаем мы ее, бедную! — прозвучал иронический голос председательствующего и тут же отчеканил: — Это же, товарищи, спекулятивное выступление. Как говорится: «Ахал бы дядя, да на себя глядя». Это вы, товарищ Бликин, запустили в области руководство тяжелой промышленностью. А партия всегда ставила и ставит тяжелую индустрию на первое место. А что касается жертв...— Голос звучал уже горечью и силой.— Да, бывают периоды в жизни страны, когда необходимы жертвы во имя будущего! Это понимает советский народ. Если бы он не понимал этого, не существовало бы нашей промышленности и полмира сейчас было б под пятою фашизма. Но одни смотрят на эти жертвы как на тяжелую и временную необходимость, с которой нужно кончать по возможности скорее. Другие видят в ней естественную закономерность, о которой думать не стоит и вредно разговаривать. Мы придерживаемся первой точки зрения.

Мгновенная тишина, наступившая в комнате, была весома, как тишина меж залпами. Слова умолкли, но боль за народ и гордость им, казалось, еще звучали. Тени облаков скользили по чистому мрамору, а мысли Бахирева от одной минувшей войны переходили к другой. Сквозь все пройти, все преодолеть, перед всем выстоять, через все пронести сердца и идеи незапятнанной чистоты! Как не гордиться тобой, страна, как не быть счастливым таким отечеством? Всех осенили эти мысли, и общее всем выражение смягчало лица.

Председательствующий первым прервал молчание:

— Теперь о спорности и бесспорности. Споров нет там, где властвует мнение одного. Там, где решают многие, можно и поспорить. Как бы ни был велик один, он всегда меньше многих. Не всякий спор, конечно, хорош. Разве это спор, что развели здесь Бликин с Вальганом? Схватились баран с козлом, помутилась вода с песком! Вот что это! Муть одна. Спор хорош, когда спорящие стоят на одной идейной платформе, исходят из интересов народа. Из каких интересов исходите вы, товарищ Бликин? Что интересует вас? То, как происходит подъем отстающего района, вас не заинтересовало. То, как живут рабочие труднейшего цеха, вас тоже не заинтересовало. Брак, невиданный в советском машиностроении, также не вызвал интереса. Что же интересует вас? Жизнь народа или догмы ради догм? Я спрашивал вас, что превратило небольшой просчет в конструкции противовесов в бедствие. Вы не ответили мне. Я отвечу за вас: равнодушие к существу дела, равнодушие к интересам народа.

Бликин не шелохнулся. Он был непохож на себя. Неподвижно было его, в ярком свете особенно бледное, сиренево-бледное лицо. Ни привычно вскинутой головы, ни окаменелого затылка, ни пронзительного и непроницаемого взгляда. Мертвенной неподвижностью сковано было все его большое тело. Через несколько стульев от него сидел Вальган. Этот был жив и жаждал жить. Горели и подергивались его щеки и губы. «Жить, жить, жить!» — твердил яркий, вонзающийся взгляд. «Жить, жить, жить!» — требовали цепкие руки, трепетные ноздри, приоткрытые губы. Он ловил каждое слово, ища в словах пути к спасению. Эти два человека были различны, но Бахиреву казалось, что нечто неуловимое объединяет их. «Что именно? — пытался он определить.— Ощущение катастрофы? Отчужденность от того, чем живут остальные? Что объединило их сейчас и объединяло прежде? В чем основа единства Вальгана — Бликина? Как раз в том, что оба равнодушны к существу дела и к жизни народа. Вальган отгорожен от этого заботой о собственном процветании, а Бликин — догмами. Каждый по-своему, но оба отгорожены».

Ему уже некогда было размышлять,— председательствующий отвернулся от Бликина и продолжал:

— И, наконец, о нашей цели, товарищ Бликин. О цели. На нашей планете девятьсот миллионов людей живут в социалистическом обществе и миллиард шестьсот — в капиталистическом. Счет пока не в нашу пользу. Надо создать для девятисот миллионов такую жизнь, чтоб

миллиард шестьсот захотели жить так же. Это трудно. Мы молодая страна, и мы вынуждены были почти непрерывно защищать свою молодость и свое будущее с оружием в руках. И ошибки были в молодой нашей стране,— не мутясь и море не становится! И необходимо нам думать о металле, о тяжелой индустрии прежде и больше, чем о молоке и масле. И все же мы выполним эту задачу так же, как выполняли другие. Выполним! — Голос вырос. Мрамор гулко отозвался на лобовой, атакующий звук.— За коммунизм не воюют атомными бомбами. За коммунизм воюют «добрым оружием» — молоком, маслом, насущным хлебом справедливости! Но и этим добрым оружием должны отважно воевать настоящие бойцы.— Он повернулся к Бахиреву, склонив голову набок, посмотрел на него.— Вот тут говорили о товарище Бахиреве, что он стал хорошим бойцом. А я скажу: плохой еще боец товарищ Бахирев. Воспользовался отъездом директора! Решил один весь завод перевернуть! Ишь герой! От такого геройства тысяча тракторов встала на дыбы! Что ж вы, товарищ Бахирев, по суду будете теперь выплачивать за эту тысячу?

Бахирев молчал. Он рад был бы выплачивать по суду хоть всю жизнь, лишь бы загладить сделанное.

— Плохо воюете! — беспощадно хлестал голос и вдруг, словно пожалев, прорвался дружеской мягкостью.— По методам плохо. А по целям — правильно.— Бахирев едва успел глотнуть этой мягкости, а голос снова хлестал.— Говорят, вы даровитый инженер, лучше других видите многое. Вот и ошибку в конструкции увидели первым. Могли приостановить, предварить событие. А как боролись? Выпустили бы вы такие танки, которые сами себя расстреливают? Костьми бы легли, а не выпустили! Так ведь трактор — это тоже оружие, наше доброе оружие! А вы боец при этом оружии. Плохой боец! Плохой еще вы боец! — Короткое слово «еще» подало Бахиреву надежду.— А почему плохой? То, что за вами стоит тысяча тракторов, вы поняли! А то, что за каждым из нас, коммунистов, стоит девятьсот миллионов плюс миллиард шестьсот человек, вы забыли! Подсчитайте-ка сами, во сколько надо увеличить боеспособность! Вот, товарищи, и все. Оргвыводов мы делать не будем. Вопрос о руководстве обкомом решит пленум обкома. И будет исходить не столько из прошлого, сколько из будущего. Из припека будет исходить,— улыбнувшись, опять «приземлился» председательствующий тем «приземлением», которое так возмущало Бликина и так привлекало Бахирева.— От кого будет больше припека для пирогов, тот и прав.

Через полчаса Бахирев шел по Охотному ряду. В киосках продавали южные тюльпаны и северную черемуху. Теплое солнце и прохладный ветер, высокая голубизна неба и синие отсветы в окнах, поток автомобилей и цветные шары в ребячьих руках — все сливалось в одно ощущение кипучей, бьющей через край жизни. Листва скверов, еще светозарная и прозрачная, не давала тени. Листья сквозили, светились и нужны были, казалось, лишь для того, чтобы притягивать свет, лучиться бесчисленными переливами зеленого. От этих сквозящих на солнце скверов, от свежеполитых мостовых, от цветов, от по-весеннему парадных и оживленных людей весь мир светился юностью. Бахирев снова вспомнил ту ночь, когда ехал с Вальганом по этим улицам.

Фосфоресцирующий туман, беспорядочные толпы, лоб юноши под копытом и странная пустота на площади за военным оцепленьем...

Противоестественность, двойственность, иллюзорность той ночи, что смутно тревожила его и тогда, со временем не исчезла, но стала еще отчетливее.

Противоестествен был мертвенный свет; ложен тот Вальган, который виделся ему в ту ночь в ореоле успехов и славы; противоречиво смешение скорби и острого любопытства, реевшее над улицами. Иллюзорны были и сами мысли о гениальности и гении. Есть один признак гения, одна мера гениальности — благо народа.

И, проникая в глубину лет, память отчетливо нарисовала еще одну ночь — ночь перед похоронами Ленина.

Костры на темных и морозных улицах маленького городка. Ряды молчаливых людей. Тишина. Не оцепленье, не барьеры машин поддерживали этот строгий порядок. Нет! Истинность скорби была истоком и порукой благородной сдержанности народа.

Бахирев задумался так глубоко, что столкнулся с продавщицей шаров, в оправдание купил у нее шар и тут же по рассеянности упустил его.

Шар уходил ввысь рывками, и полет его казался тревожным.

Не спокойно было на душе у Бахирева. Но тревога не походила на ту рожденную смятеньем и неуверенностью, которая владела им в мартовскую ночь...

Он тревожился от того, что чувствовал дыхание двух с половиной миллиардов людей и каждый свой замысел проверял их глазами. «Боролся за тракторы,— думал он,— и как боролся? Узкотехнически. А ведь практические вопросы техники и партийный долг сплелись — их не отделить. Отдели их попробуй в Рославлеве, в Чубасове, в том же Василии Васильевиче, в любом настоящем бойце

доброго оружия». Доброе оружие — трактор, несмотря на все его несовершенства, уже был для Бахирева роднее и милее всех танков, вместе взятых.

Девушка с веткой белой черемухи в волосах торговала газированной водой с сиропом. Он высоко поднял стакан и по-мальчишески сказал девушке, небу, солнцу:

— Ваше здоровье!

Глупо было пить на углу Охотного ряда газированную воду за здоровье вселенной, но девушка засмеялась в ответ и кокетливо спросила:

— А вам чего пожелать?

— Чтоб всегда было так! — сказал он, и тотчас представил весь этот кипящий жизнью день, и уже серьезно, про себя, повторил: «Только бы всегда было так, как сегодня!»

На минуту стало страшно: как сделать, чтобы было «всегда так»? Он шел дальше и думал о пережитом за последнее время, о самом себе, о товарищах. Сколько было колебаний, сумятицы, споров, ссор, непонимания, ошибок!

Ведь даже сегодня охватило сомнение и сочувствие Вальгану. А уж он ли не изучил Вальгана! И все же заколебался. Трудно отделить ложь от истины. Заколебались те, кто сидел за большим столом. А ведь Вальган — лишь малая песчинка среди множества вопросов, которые решаются ими! Возможно ли всегда, везде и во всем жить и действовать точно, твердо, безошибочно? Это кажется легким тем, кто сам ничего не делает. Но тот, кто сам стремится к немалым целям, тот знает цену поиска и борьбы... Но когда во главе борьбы и поисков стоят коммунисты, когда с живой заботой говорят они о судьбе Анны Лужковой,— миллионы Лужковых поднимаются рядом, и тогда невозможное становится возможным. И он снова повторил про себя: «Только бы всегда было так!»

Глава XXIX

СТАРЫЙ И НОВЫЙ

Около месяца прошло с того дня, как Бахирев фактически принял дела у Вальгана, а два дня назад он был оформлен директором. С часу на час ожидал он назначения Рославлева на должность главного инженера и приезда срочно вызванного Шатрова.

Крепление противовесов производилось по новому способу, и «гриб боровик» укоренился на обоих заводах.

В короткий срок произошло столько перемен, что об истории противовесов уже говорили как о болезни, которой переболели в раннем детстве.

Состояние Бахирева напоминало состояние человека, который долго, с трудом карабкался на крутой подъем, ожидая, что за этим подъемом откроется неоглядный простор. И вот, измученный и счастливый, он наконец вскарабкался. Долгожданный простор оказался еще шире и головокружительнее, чем представлялось, но вдали к горизонту убегали новые горы, еще более высокие, еще более неприступные. Радость смешивалась с растерянностью, слегка саднили старые царапины, не прошла одышка от взятой крутизны, а открывшийся горизонт нетерпеливо звал в путь. Исчезли все старые препятствия, еще не определились новые. Бликин болел, и его замещал Гринин. Всем было ясно, что по выздоровлении Бликина на ближайшем пленуме он будет освобожден и Гринина изберут первым секретарем обкома. Маленький секретарь Ухабинского райкома завоевывал все большее уважение в области, и все единодушнее становилось желание коммунистов выбрать его секретарем обкома по сельскому хозяйству.

Для Бахирева обком был уже не источником выговоров, грозных решений, а очагом непрерывного притяжения. Его то и дело одолевало желание звонить Гринину, говорить с Грининым, советоваться с Грининым. Бахирева притягивали в Гринине те качества, которых не хватало ему самому,— партийная закалка и то соединение остроты зрения с твердостью уравновешенных суждений, которое приходит со зрелостью ума.

Вечером, вернувшись домой с завода, Бахирев смотрел на телефон и боролся с искушением позвонить. «Позавчера я ему два раза звонил. Если все директора примутся так обзванивать, когда ж ему работать?» Он вздохнул и хотел отойти, но раздался звонок, и в трубке прозвучал знакомый мягкий и глуховатый голос:

— Дмитрий Алексеевич?

— Вот, поди ж ты!—обрадовался Бахирев.—А я тут стою и раздумываю: звонить или не звонить?

— Я тебе два раза звонил днем.

— Я все по цехам.

— Как ты там заворачиваешь? Как с моторным? Нашел человека вместо Рославлева?

— Никак не подберем.

— Не подбирать надо людей,—сказал Гринин.— Искать надо. Отыскивать и развивать надо в них нужные качества. Как ты насчет Осина?

— Инструментальщик же. Обижать инструменталь-

ные цехи — это рубить сук, на котором сидит весь завод.

Они поговорили об инструментальном и моторном, потом Бахирев пожаловался на заводы-поставщики:

— Не выполнили в срок поставки, оштрафовали их. Только какой это штраф — из государственного кармана?! Так штрафовать — из кармана в карман перекладывать. Какой прок. Вот если б штрафовали из нашего, директорского кармана! Во всем мы материалисты, а тут становимся чистыми идеалистами!

Отвечая на подробные расспросы секретаря обкома о моторном цехе, о печах в сталелитейном, о новаторах модельного, Бахирев все время чувствовал, что Гринин позвонил ему не ради печей и не ради моторного цеха. Уже в конце разговора Гринин сказал:

— И с нормами и со станками линия у тебя правильная. Только «трах-бах» в этих вопросах нельзя. Приказами ни трудоемкость, ни себестоимость не снизишь.

Бахирев понял: Гринин опасался излишней торопливости нового директора — и сказал:

— Ну, ну, поправляй и предостерегай! Выкладывай главные руководящие указания.

— «Главные руководящие» высказал дед Корней. Один директор смотрит на себя как на вотчинного князька, а другой — как на доверенное лицо народа. Так, независимо от личных качеств, тот, кто чувствует себя доверенным лицом, всегда сработает умнее.

— Это ты от имени деда Корнея меня напутствуешь. А от своего?

— А от себя скажу одно: линия на прогрессивную технологию — это твоя Черноморова борода, в которой твоя сила. Если ты будешь день и ночь помнить, что высокая технология возможна только в тесной увязке с рабочими, все у тебя пойдет как надо.

— Не бойся,— сказал Бахирев.— Чубасов рядом. Да и сам я уже этим местом стукался.

Он положил трубку. В темноте сыпал мелкий дождь, шумели под ветром отяжелевшие от влаги листья, блестел влажный асфальт, и веяло свежестью. Как будто ничего особого не сказал ему секретарь обкома, но Бахирев почувствовал в этом позднем звонке теплоту дружеского рукопожатия.

Когда дети уже улеглись, а Катя с распущенными косами слушала радио, кто-то позвонил. Бахирев сам открыл дверь и увидел Вальгана, нагруженного свертками.

— Утром уезжаю,— сказал Вальган, дохнув на Бахирева вином.— Вот пришел проститься.

«Что ему? Зачем?» Приход его был странен и неприятен. Еще звучали в ушах дружеские напутственные слова Гринина. Отшумевший день был деловит, ясен, нацелен в будущее. И мысли Бахирева были нетерпеливо устремлены в будущее. Вальган внес в комнату недавнее прошедшее с его горечью и ранами.

Пережитое потрясение и хмель придали лицу Вальгана странную преувеличенность и неподвижность. Жарче, чем прежде, горел в глубине внутренний огонь, но все лицо словно заледенело. Обычно он не утруждал себя излишней сдержанностью, он щедро позволял себе все, что ему хотелось,— сердиться, смеяться, кричать и шутить. Сейчас и осторожность, и настороженность, и усилия непрерывного самоконтроля как бы закупорили в глубине разбушевавшийся внутренний пожар.

Глаза блестели необычно и даже как бы высветлились от желтого блеска, но веки были полуопущены, взгляд малоподвижен, и зрачки выглядывали осторожно, как зверьки из глубоких нор. Улыбка, яркая и откровенно горькая, застыла на лице.

«Поверженного не бьют»,— подумал Бахирев и в приливе жалости заторопился:

— Входи же, входи! Что ты стоишь?

Вальган вошел, улыбаясь своей неподвижной улыбкой, оглядел бахиревскую квартиру:

— Скоро... скоро переедешь отсюда в мою... в директорскую.

Он прошел в кабинет и поставил на стол коньяк, водку.

— Угощаю на прощание.

— Катя, подай что есть в доме!—крикнул жене Бахирев.

Пока Катя накрывала на стол, Вальган стоял у открытого окна.

Бахирев знал, что на днях утвердили исключение Вальгана из партии за обман партии и очковтирательство. История противовесов была нитью, которая привела к клубку. Вскрылись искусственно заниженные нормы. Вскрылись случаи подтасовок, когда в конце месяца директор по договоренности с Ухановым недоукомплектованные тракторы приказывал считать укомплектованными и за счет их «перевыполнял» программу. Оказалось, что, показывая цифру брака в рапортах и отчетах, Вальган исключал «законный» процент, который допускался по плану.

Бахирев знал теперь все это, и все же, когда он смотрел на понуро застывшего у окна Вальгана, неприязнь пересиливалась жалостью. Мелкая сетка дождя за

окном, черная, влажная ночь, и от этого особенно яркие огни завода. Видны и дуги входных арок, и высокие звезды над Дворцом культуры.

— Огни...— хрипло сказал Вальган и неверным, не вальгановским жестом протянул к ним руку.— Завод... Вот он... завод...

Бахиреву захотелось как-то ободрить, увести Вальгана от больных мыслей. Он сказал твердо:

— В Курцовске, куда тебя направляют, завод будет почище нашего. По последнему слову техники.

Высветленный, выжженный тоской, желтый взгляд оторвался от окна, скользнул по лицу Бахирева, жадно прильнул к бутылке. Бахирев налил полную стопку. Вальган выпил одним глотком, не закусывая, снова приник к окну и вяло отозвался на слова Бахирева:

— Да... там тоже... завод...

— И какой завод!— упрямо внушал Бахирев.— Ведь нам здесь все перестраивать. А там строят заново. Вот где пригодится твой опыт.

— Да. Мой опыт! Я приехал сюда в сорок четвертом году. Руины... Мертвые руины... Битый кирпич... Стекло, спекшееся в сгустки... И стекло может спекаться в сгустки, как кровь...

Странно надрывно звучал его берущий за душу голос, и странен был Бахиреву весь этот вечер. Ночь. Дождь. Огни завода. Тоска рысьих глаз.

«Чем помочь?— думал Бахирев.— Может, в таком состоянии и в самом деле водка лучше всего?»

Жалея, он снова налил стопку. Вальган выпил так же нетерпеливо.

— Ты не бойся, я не перепью. Я и пить умею. Я все умею!— Однако он заметно захмелел, и румянец на щеках запылал еще ярче.— Да. И стекло, мертвое стекло, может спекаться, как живая кровь.

С упорством пьяного он держался за полюбившееся ему представление. Но Бахирев с не меньшим, хотя и сознательным упорством уводил его от этой темы.

— Ты крепко поработал. Ты это умеешь. Это умение работать — оно с тобой!

— Оно со мной! Как мы работали здесь! Жили в землянках, вставали при коптилках, ложились при луне.— Вальган оживился, и речь его покорно потекла по руслу, указанному Бахиревым.— Помню, пришла первая партия новых станков. Мы их встречали с цветами. С простыми цветами — с одуванчиками, с лютиками, они росли тут же, в руинах. Теперь в заводском саду великолепие — розы и георгины. Но я помню, помню гирлянды из одуванчиков на наших первых универсальных фрезерных...— Он рас-

сказывал, а жалость и желание помочь все сильнее овладевали Бахиревым.— И вот он, вот! — Вальган указал на огни за окном.— Как феникс, из пепла! Вот этими моими руками! — Смуглые вздрагивающие пальцы тянулись к темноте, к дождю.— Во все вникал сам! Арки вот эти — я! Цехи — я! Клумбы у входа — и то я! Ты тоже любишь его. Снятый, изгнанный, ты тогда остался. Почему я пришел к тебе? Ведь мы, можно сказать, поменялись ролями...— В высокий строй речи вдруг врезались издевка, цинизм.— В порядке, так сказать, обмена опытом... Ведь меня...— Вальган засмеялся задыхающимся смехом, без звука, словно горло у него было натуго захлестнуто и перетянуто чем-то.— Ведь меня... в Курцовск-городишко... рядовым инженером... Приду рядовым в генеральском мундире. Слышишь? Дали комнатушку на Грязищевой улице. Одно название чего стоит! — Он снова захохотал хмельным, злым, задыхающимся смехом и сам себе налил еще стопку.

— Хочешь остаться здесь? — спросил Бахирев.

— Никогда. Я не останусь. Но я вернусь! Я вернусь, когда меня позовут. Думаешь, пропал Вальган? Думаешь, добили? — Он выпрямился, прежний металл звякнул в голосе, пушистые ресницы вскинулись, пьяный и жгучий взгляд ударил в лицо.— Придут еще за мной! Придут! Очухаются! — На глазах у Бахирева он снова становился Вальганом, с дерзким взглядом и вскинутой головой, только напряженность всех мышц лица и тела так не похожа была на прежнюю пантерью мягкость да смех оставался сдавленным и придушенным.— А Бликин-то, Бликин! — продолжал он, смеясь этим не своим смехом.— Ведь я его пять лет своей спиной загораживал. Министерское знамя — Вальган! Станки для «Красного Октября» — Вальган! Рапорт в «Правде» — Вальган! Чугунная ограда для парка и набережной — опять я, Вальган! Всюду я!

«Кто же ты?» — все упорнее думал Бахирев. Его ставили в тупик противоречивая смесь рьяности к работе и жадности к собственным благам, любви к заводу и самолюбования. Бахирев хотел понять, кто он и что он, не ради него, уходящего, но ради тех, кто остается. Останутся люди, воспитанные им. Качества Вальгана живут и в других, может быть, не в таком ярком выражении. Медик должен хоть раз увидеть болезнь в полном разгаре, для того чтобы в будущем по первому пятнышку на коже определить и ее начало, и лечение. Бахирев хотел увидеть до конца раскрывшегося Вальгана, чтобы через него понять опасность всего того, что ему подобно. Он обязан вести многотысячный дивизион бойцов доброго оружия. Доброе оружие должны делать добрые руки! Все, что

может быть помехой, должно быть учтено, познано, обезврежено. До сих пор Бахирев сам направлял беседу, стремясь облагородить ее. Теперь он предоставил ей течь свободно. До сих пор он наливал вино из жалости. Теперь он налил его из сознательного желания глубже раскрыть Вальгана. Больше вина, и свободу речам! Кто же ты, Вальган?

— Он жил за моей спиной!—продолжал Вальган.— Как червь, питался моей любовью к заводу, моей энергией. Что мог он сам? Резолюции строчить! А я мог работать! Я мог все!.. Выдал и продал... в ЦК меня облил помоями... А кто меня таким сделал? Я тоже был комсомольцем, работал в цехе, ходил в новаторах! Предал, подлец...—Он еще выпил, расхохотался своим задыхающимся смехом и продолжал, все больше разгорячаясь:—На свой завод ходил прощаться... Не смотрят... Давно ли трепетали, в струну вытягивались! Холуи! Уханов увидел—вильнул, ушел! Ты его тоже так!—Он сделал ногтем большого пальца такое движение, будто давил на столе насекомое.—Ты не холуй. Ты зверь, но ты не холуй... Потому и пришел к тебе Вальган. Думаешь, я тебя ругаю! Хвалю! Ты зверь, подлец, но не...

— Хватит!—не выдержав, встал Бахирев.

— Ладно,—примиряюще сказал Вальган.—Ладно! Все одним миром мазаны! Все не подлецы. Я не подлец, ты не подлец, он, Бликин, тоже не подлец, и они, всякие Ухановы, тоже не подлецы! Все во имя святого самосохранения! Закон самосохранения—высший закон. Вша и та самосохраняется, и та кусается, и та хочет... существовать. Все хотят существовать!.. И я тоже...—Он наклонился к Бахиреву и выдавил по слогам жадным шепотом:—Су-ще-ство-вать хочу!

И жадность и страх звучали в этом шепоте.

Перед Бахиревым был и Вальган и не Вальган. На нем была все та же генеральская форма, и все те же ордена и медали блестели на груди, все так же ярки были влажные глаза, все так же белели зубы из-под красных губ, но исчезло то волевое, энергичное выражение, которое прежде сбивало этот блеск в одно целое. Теперь все распадалось, все пыталось жить само по себе и уничтожалось в этой попытке. Генеральская форма отделялась от похудевших, ссутулившихся плеч, коробилась, и медали на ней налезали одна на другую. Дерзкая, но неподвижная, приклеенная улыбка не вязалась с паническим блеском глаз. Лихорадочное излишество красок и резкость линий лица поражали несоответствием с растерянностью, и жадностью, и приниженностью выражения. Облик двоился, распадался, в нем проступало что-то животное.

Бахиреву было противно, но отвращение боролось с желанием до конца понять это противоречивое существо.

— Торжествуешь?— криво усмехнулся Вальган.— Я вот так же торжествовал, когда министерство меня назначило с такой же помпой, как тебя.

— Меня не министерство...— подумав, возразил Бахирев.

— А кто?

— Люди.

— Чубасов с Грининым, что ли?

Бахирев вспомнил и Ольгу Семеновну, поддержавшую его на активе, и Василия Васильевича, и Дашу, и тех, кто помогал ему работать сменным, и выборы в партбюро, и совещание в ЦК. Дрогнувшим голосом он коротко ответил:

— Многие...

— А знаешь, чем ты их взял?

— Кого?

— Рабочих... Бывало, иду — все головы на Вальгана, как по команде. Молились на меня! А вчера иду по ЧЛЦ... тень прошла! Нет меня! Не лучше Уханова...— Он не договорил фразы, испугавшись яростного бахиревского взгляда.— Ладно, молчу. Но чем ты их взял? На рабочем месте постоял. Внушил, что ты без них никуда.

— Подожди,— опять не выдержал Бахирев.— Ты тут пытался провести идею о всеобщей подлости. Подлецам всегда выгодно всех подравнять под подлость. Тогда и подлец встанет на одну доску с честным! Честному в такой уравниловке резона нет! Ты рабочих приравнял к Уханову... Чуть черным, подлым словом не обозвал. А я на днях перечитывал твои же приказы и обращения: «Во имя великой родины...», «Клянемся бессмертными могилами...», «Наш доблестный коллектив...» К кому обращал ты высокие слова приказов?

Вальган опять засмеялся беззвучным смехом. В полутемном кабинете лицо его было искаженным и острым, как лицо упыря. Он начал быстро оглаживать подбородок, но вместо прежнего самодовольства появилось в этом жесте нервическое беспокойство, словно что-то темное бурлило внутри, пузырилось, искало выхода.

«Упырь из того болота, на краю которого сидели мы с Кургановым,— подумал Бахирев.— Все ясно! Кончать надо. Прогнать. Очистить комнату».

— Давай начистоту!— предложил Вальган.— Что ты меня боишься? Ты меня придавил и раздавил. Теперь тебе меня бояться нечего. Откроем гамбургский счет! Ведь ты получше меня знаешь цену кнуту и прянику!

В нем, опьяневшем, полураздавленном, на мгновение

приоткрылось зловонное нутро, и Бахирев задохнулся от смрада.

— Уходи! — сказал он.— По себе, видно, равняешь людей? Ступай домой.

Вспугнутое пресмыкающееся быстро заползло в свою раковину. Губы сжались смиренно. Скорбные веки погасили горячечный блеск глаз. Упырь исчез.

Вальган подошел к окну и высунулся из него, подставляя лицо дождю и ветру.

— Дай еще раз посмотреть. Из твоих окон лучше видно.— Капли дождя текли по его лицу.— Сколько споров было, когда звезду поднимали,— тихим, почти трезвым голосом заговорил он.— Какую делать? Красную? Огненную? Разноцветную?.. Мне и звезду жаль. Да что звезда? Циферблата на площади — мне и того жаль... Ну, все... Я иду... иду....

Он повернулся. Перед Бахиревым стоял незаслуженно пострадавший, умный, тонкий, ушибленный жизнью человек. Тоскливые глаза его все еще не могли оторваться от заводских огней.

— Я иду... иду...— машинально повторял он, и видно было, что в эту минуту не существует для Вальгана ничего, кроме боли прощания, кроме этих заводских огненных арок, звезды над Дворцом, циферблата на площади.

Он с трудом перевел взгляд и молча вслед за Бахиревым прошел в прихожую. Здесь, в полусвете и в духоте, человеческая тоска его по заводу растворилась, угасла, нервный подъем его схлынул, силы на минуту покинули его, и опьянение тотчас взяло верх. И опять он горько и злобно забормотал:

— Меня... Вальгана! В щель на Грязищевой улице!.. Для меня это даже не существование! — Он пятью пальцами впился в руку Бахирева и отчетливо прошептал в лицо: — А я... я хочу... су-ще-ство-вать! — Казалось, не в руку, а в любое горло он вот так же вопьется цепкими, как клешни, пальцами, если это даст ему возможность «су-ще-ство-вать» по-вальгановски.

— Существуют тли. Люди живут! — сказал Бахирев.— Зачем ты опустился до такого вот подлого состояния? Возможности работать никто у тебя не отнял.

Бахиреву случалось видеть людей и в худшем положении. Ему приходилось свидетельствовать в пользу человека оговоренного, невинно осужденного. Он видел во время войны искалеченных юношей, видел людей в цвете лет, бившихся в предсмертной агонии. Ни осужденные, ни искалеченные, ни умирающие не теряли человеческого. У каждого оставалось сознание долга или подвига, любовь к

родным и к родине, интерес к делу, вера в людей. У Вальгана, казалось, не было ничего. Не зная внутренних ценностей, он превратился в ничто, когда рухнули внешние, столь жадно желанные. Комнатушка на Грязищевой улице была крахом его судьбы и философии. Понял Бахирев и то, почему Вальган постучал в его дверь. Ему некуда было пойти. Он окружал себя теми, кого сам называл «холуями». Они и вели себя по-холуйски — в час катастрофы разбежались.

Вальган надевал генеральскую шинель, не попадая руками в рукава.

— Мне завтра переезжать... Как там насчет грузовичка? — улыбнулся он робко. — Можно грузовичок?

Бахирев сморщился от стыда за него.

— Погрузим и посадим. За кого ты людей считаешь, в самом-то деле? Плохо устроишься, захочешь на завод или вообще сюда, в город, в область, — пиши. Ведь умеешь же ты работать, черт побери! Ведь человек же ты в конце концов!

— Ну, спасибо, спасибо... — Вальган растроганно заморгал длинными ресницами, но растроганность эта была неестественной. Ему, видно, неприятно было думать о своей минутной обнаженности перед Бахиревым.

— Ты забудь... что я тут наговорил. Понимаешь, какое у меня состояние. Говорю и сам слов своих не разумею. Сложна, сложна жизнь... Сложна, сложна...

Ссутулившись, он вышел и стал медленно спускаться с лестницы — тихий, ушибленный сложностями жизни человек, с блеском старых заслуг, с тонкой горечью в складке еще сочного рта.

Он ушел наконец, и Бахирев тотчас шире распахнул окно. Даже стакан, пригубленный Вальганом, хотелось выбросить. Этим пальцам, таким цепким, так жадно ласкавшим собственный подбородок, доверить доброе оружие? Но эти пальцы ловки, сильны, неутомимы. Они могут многое. И весь этот сложный, противоречивый человек, для которого превыше всего свой блеск и свое процветание, может многое. Он может и беззаветно работать сутки, он может и любить завод и даже тосковать об одуванчиках, некогда собранных на руинах и украшавших первые универсально-фрезерные...

Когда такой, как Вальган, дышит одним дыханием с коллективом и живет под его тысячеглазым и ежечасным контролем, упырь чахнет, скрючивается, заползает в тайные глубины, теряет силы. Но вот человек почувствовал себя не среди людей, а вне их оздоровляющего

дыхания, вне их тысячеглазого контроля. И упырь обретает силы, тянет щупальца, изменяя лицо и улыбку, движения и повадки, образ жизни и даже образ мышления.

Глава XXX

ДОМА И НА ЗАВОДЕ

Спасительный кабинетный диван Катя вчера отдала в перетяжку. Бахирев прошел в спальню. Он лег с краю, старательно забаррикадировавшись простыней и одеялом. Катя не повторила вчерашней попытки приласкаться. Его личная жизнь все осложнялась.

С тех пор как он стал директором, еще труднее стало приходить в заветную хибару. Меньше времени и больше глаз вокруг. Когда сменный инженер Бахирев ехал на трамвае или шел пешком в соседний поселок, это не вызывало особого внимания. Но когда новый директор завода шел проулками или стоял на трамвайной остановке, не было прохожего, который не оглянулся бы.

— Не бывает вечных тайн,— говорила Тина безнадежно.— Рано или поздно все откроется. И тайны директора еще краткосрочнее, чем тайны сменного инженера.

Но он, поднятый волною успеха и охмелевший от широты, распахнувшейся перед ним, терял осторожность, предусмотрительность.

Он уже не ходил к ней, а доезжал до главной улицы поселка, там отпускал машину и брел в переулок. Все это было сложно, но ему хотелось думать сейчас не о сложностях, а о том, что несет завтрашний день, переполненный желанными делами.

...Бахирев скоро уснул. Катя слушала его дыхание, но не спала. Почти год муж был далек от нее. Сперва он объяснял свою отдаленность усталостью от тяжелых событий и борьбы. Но вот наступили счастливые дни. Новую директоршу окружало всеобщее уважение. Она собиралась переезжать в директорскую квартиру, наново обставляться и устраиваться. После трудной доли жены сменного инженера, изгнанного, снятого, опозоренного, директорская участь казалась особенно радостной. Катя ждала, что счастье снова сблизит ее с мужем. Этого не случилось. Что-то противоестественное вошло в ее жизнь с мужем и не уходило. Всегда спокойная и ищущая спокойствия, она долго сама усыпляла свои тревоги. Недавно она разговорилась с Рославлевой. Жена Рославлева, высокая, под стать мужу, красивая женщина,

успевала и работать на заводе, и растить детей, и вести дом, и даже командовать своим густобровым «Валюшей».

— Ваш Дмитрий Алексеевич в качестве директора и мой Валюша в качестве главного — это, конечно, могучая пара. Одно меня заботит — горячие головы. Ну, да рядом с ними Чубасов. Да и Гринин сейчас глаз не сводит с завода.

— За Митю я не опасаюсь,— возразила Катя.— Он же такой спокойный.

— Спокойный?! — Рославлева даже выпустила из рук шитье.— Он спокойный! Да вы посмотрите на него! Эти ноздри, глаза, брови! Один вихор чего стоит! Он весь так заряжен электричеством высокого напряжения, что даже волосы дыбом! А вы — спокойный!

Никто так не ошибается в людях, как ошибаются иногда жены и матери. Ошибки, вызванные взглядом с расстояния, слишком близкого, тем разительнее, чем крупнее то, на что смотрят. Для того чтобы разглядеть большое, необходимо суметь отойти, иначе увидишь лишь часть предмета и особенности части примешь за целое. Такой ошибкой ошибалась и Катя. Она видела мужа вплотную, в домашних стенах, где он был неизменно спокоен, немногословен, уравновешен. Его заводская жизнь была далека от Кати.

Рославлева смотрела на нее с изумлением.

— Знаете, если б я имела такого мужа, как ваш, и видела его спокойным, я бы с ума сошла от беспокойства. Если видеть такого спокойным, значит, он или еще не развернулся и неизвестно, как развернется, или развернулся где-то страшно далеко от меня. Так далеко, что до меня даже отзвук не доходит.

А ведь Рославлева не знала того, что с каждым днем сильнее тревожило Катю,— ее противоестественного женского одиночества. Катя решила удалить ненавистный кабинетный диван и отправила его в перетяжку. Черная ночная сорочка с серебристым кружевом красиво оттеняла белые Катины плечи и руки. Новые духи пахли весенней сладостью. Катя хотела нравиться и быть желанной. Она прижалась к мужу.

— Ну вот мы опять рядом.

Он отвернулся.

— Жарко, Катюша... Очень жарко...

А потом старательно со всех сторон подтыкал под себя простыню и одеяло.

Катя почувствовала себя оскорбленной. Но днем он был заботливее, чем обычно, к ней и к детям, и она успокоилась. Он отличный семьянин. Рославлева не понимает его. Работой он увлекается, там у него, может быть,

действительно горячая голова. Дома он всегда был сдержанным, а теперь сказывается и возраст, и непомерная работа. Она успокоилась. Он спал, а она размышляла: «Он такой семейный и так предан детям, особенно Рыжику. А что ко мне не тянется, так ведь и не молоденькие! И работа у него такая злая, всего выматывает». И все же тревога гнездилась где-то в тайниках мозга.

Утром Катя сказала мужу:

— Сегодня все заводские коллективно едут в театр. Поедем?

— Что ты, Катюша... Мне нельзя. Мне вечером в город... На совещание...

Уходя, он забыл взять чистый носовой платок, и Катя выбежала на балкон с платком в руках. Бахирев в это время усаживался в машину.

— Дмитрий Алексеевич, вы поздно меня задержите?— спрашивал шофер.— У меня сегодня учеба.

— В семь часов свезешь меня в поселок — и свободен.

— В «Красный Октябрь»? Куда позавчера ездили?

— Да.

— Митя! Держи платок!— крикнула Катя.

В первую минуту она не обратила внимания на его разговор с шофером. Лишь внутренняя тревога заставила ее вспомнить слова мужа. «Мне сказал, что вечером в город, а шоферу — что в поселок. Почему? А может, я не так поняла? Пустяки все. Что-нибудь недослышала. Или, может, спутал, оговорился...»

Ложь, запирательство, таинственная поездка в поселок — все это так не вязалось с ее неизменно спокойным, щепетильно честным и надежным мужем, что Катя тут же успокоилась и не вспомнила больше о его непонятной обмолвке.

Утро было сырым. Деловитый спорый дождичек обмывал предзаводскую площадь. В ранний, еще малолюдный час белели фартуки дворников да садоводы копались в клумбах. Песок меж клумбами потемнел от дождя. Главный инженер Бахирев не замечал песка на дорожках. А Вальган замечал и цветы и песок. Правда, Вальган порой не замечал кувалд, которыми выправляли гильзы. Хороший директор должен замечать все.

«Кувалды я не могу не заметить,— думал Бахирев.— А вот замечать цветы и песок — этому надо поучиться у Вальгана».

Он давно мог бы привыкнуть и к заводу, и к мысли о заводе. И все же сейчас он входил сюда с новым чувством. В бытность главным инженером он отвечал

прежде всего за машины, теперь — за всю жизнь многотысячного производственного коллектива.

Еще три дня назад эта жизнь текла по заранее проложенному руслу, и Бахирев старался лишь максимально ускорить течение, убрать все пороги и все помехи. Теперь предстояло определить самое русло на много лет вперед. Предстояло взять в руки бесчисленные притоки и оттоки, слить их в одно и направить всю стремнину производственной жизни так, чтобы она с максимальной отдачей работала на коммунизм. Это была новая задача. Он отчетливо представлял себе решение ее отдельных звеньев, но как решить ее в целом?

«Пока я твердо знаю одно,— отвечал он себе.— Завод должен превратиться в один из лучших тракторных заводов мира. Может быть, самоуверенно и дерзко сегодня говорить о такой цели, но жить надо ею. И прийти к ней можно лишь объединенными усилиями тысяч».

С утра он наметил побывать в двух цехах. У входа в модельный он встретил Сугробина и свою «крестницу». Девушка повзрослела и непонятно похорошела. Тот же вздернутый носик, та же наивность широко распахнутого взгляда, но женственная гордость отмечала ее, как отмечает большая красота. В темно-синем платье и такой же косыночке, с влажными от дождя щеками, она стояла у входа, протягивала Сереже узелок и говорила:

— Ну как же, Сергуня? Ведь мамины же гостинцы!

Увидев Бахирева, она залилась румянцем, но не опустила смелых глаз, а поздоровалась с легким, спокойным достоинством. Это соединение пугливого, наивного румянца и смелого спокойствия было так привлекательно, что Бахирев подумал: «Ого! Моей бы Аньке добавить вот такого...» Он не смог определить словами, чего хотел бы он добавить своей Аньке, и только с особою лаской спросил:

— Ну, как жизнь, молодежь? Ты все еще без общежития, Даша? Я тебя на днях вызову. Что-нибудь придумаем.

Румянец ее стал еще гуще. Покраснел даже лоб — гладкий и ясный.

— Спасибо, Дмитрий Алексеевич! Только мне ведь теперь койки в общежитии не надо... Я теперь другого буду дожидаться.

— Чего же ты теперь будешь дожидаться?

Она не отвечала, а Сугробин обхватил ее за плечи.

— Семейного общежития мы дожидаемся. Придете к нам на свадьбу?

Даша застеснялась и осторожно высвободила плечи.

— Я сплю с дедом в одной комнате,— продолжал Сережа,— а в другой мать с малышами.

— Кухня, правда, есть большая,— серьезно сказала Даша.— Однако в ней все хозяйство. Стесним, конечно.

— Надо, надо вас устроить! Кого как не вас? Правда, до осени только один дом отстроится, и тот — общежитие. Ну, да что-нибудь сообразим. Не сегодня завтра вас вызову, вместе подумаем. С тобой, Сережа, не только о квартире пойдет разговор.

Он прошел в цех, растроганный этой парой, примостившейся у входа в цех. От их влажных и сияющих лиц, от Дашиного узелка, от ее темной косынки на гладких золотистых волосах повеяло чем-то желанным, ушедшим или небывшим. Собственной несостоявшейся юностью? «Я их должен устроить... Но как я их устрою?»

Гул станков уже плыл навстречу. Квадратная голова Гурова серела на бонбоньерочном фоне стен. Литейная при модельном так и не была создана. Надо было решить, создавать ли ее или влить в общезаводской цех кокильного литья, строительства которого Бахирев добивался в министерстве. Он сам еще не решил, что лучше, пришел посоветоваться с инженерами и рабочими. Советовали по-разному, и разговор поначалу шел вяло. Маленькие глазки Гурова смотрели на Бахирева подозрительно и даже с некоторым пренебрежением. «То ли дело Семен Петрович! — вспоминал Гуров.— Разве тот тянул людей за душу? Тот сам вострей других все видел... А этот что?!»

— А разрешите вас спросить,— Гуров склонил набок квадратную голову,— ли то свою кокильную, ли то общезаводскую — какое будет ваше твердое мнение и решение?

Бахирев нахмурился:

— Я затем и советуюсь, чтоб составить твердое мнение. Когда будет мнение, тогда будет и решение.

— Вот как? — вскинул брови Гуров, уязвленный резкостью тона.

— А вы как думали? Директор будет «иметь мнение», а решать за него будет няня?

«Сугробин и он! — думал Бахирев.— А что сделать? Переменить местами? Найти замену? Или обуздать этого? Заинтересовать в прогрессе, заинтересовать рублем? Как?»

— Дмитрий Алексеевич,— сказал Сережа,— нам Корней Корнеевич рассказывал. Были у нас в стране три завода на опытном экспериментальном хозрасчете. К примеру, если рабочие дали экономию и прибыль сверх плана сто рублей, то часть этих денег идет государству, а часть — рабочим.

— Дед Корней говорит, что это до крайности способствовало прогрессу в технике,— вставил Синенький.— Отчего нельзя нам учредить такое же?

— Еще не знаю, еще недодумал,— честно сознался Бахирев.— Одно ясно: в наш внутризаводской хозрасчет должно вдохнуть живой дух. А как это сделать? Думать будем. Искать будем. Сообща.

Жилье, кокильная литейная, хозрасчет, система материальной заинтересованности — десятки нерешенных вопросов вставали на каждом шагу, и какой пустяковой по сравнению с ними казалась загадка летающих противовесов!

«Плохой боец, товарищ Бахирев! Пока еще плохой вы боец».

В девять ноль-ноль он был у себя в кабинете. Среди очередных бумаг одна бросилась в глаза. «Постановление Совета Министров СССР»,— прочел Бахирев и обрадовался: «Оно. То самое». «Совет Министров обязывает,— продолжал он читать,— все хозяйства, эксплуатирующие тракторы марки NN, произвести снятие всех восьми противовесов на коленчатых валах старой конструкции крепления».

Бахирев смотрел на квадратный лист. Вот и завершение истории противовесов. Переболели противовесами, как корью. Ушли не только они. Уходит с завода и из области то, что их породило,— зазнайство и равнодушие, бюрократизм и самоуспокоенность. Он хотел спрятать бумагу, но раздумал и положил ее под стекло: пусть лежит тут как постоянное предостережение против тех сил, которыми она вызвана.

Позвонила Москва, и Бахирев узнал старческий бас заместителя министра Бочкарева. Расспросив о делах, Бочкарев сказал:

— Ты что ж это, товарищ директор, министерствами и Госпланом начинаешь командовать?

Бахирев не сразу понял, о чем идет речь. Дней десять назад он послал в министерство и в Госплан письмо. Он указывал на то, что в течение года программу заводу меняли пять раз, и требовал гарантийного решения основных вопросов программы не позднее, чем к пятнадцатому июля.

Этот ультиматум заставил Бочкарева и смеяться и сердиться.

— До сих пор министерство и Госплан диктовали заводам сроки. Не попадался еще мне такой директор, чтобы сам диктовал сроки министерству и Госплану. «Не позже пятнадцатого». Ишь разошелся директор!

— Так не я же диктую. Производство диктует!—

настаивал Бахирев.— Я же только его голос передаю, поскольку он мне слышнее! Сами посудите: как нам быть? Надо же начинать двигать, а у нас руки спутаны! Остаются или нет дизеля на заводе? Пока не решены коренные вопросы, нельзя правильно решить очередные. Как вести расцеховку фондов и материалов? Как акцентировать их внутризаводское размещение? Нам же решать надо, а министерство по рукам связывает.

Бочкарев долго молча слушал его, а потом сказал:

— Ох, боюсь, заставишь ты меня, старика, пожалеть о том, что настаивал на твоем директорстве: прыток очень.

— Так не я же прыткий. Производству надо во всю прыть двигаться. Это же его голос. А я вас с давних пор за то и люблю, что вы его разговор понимаете лучше многих.

— Гляди-ка! Он уж и льстить научился!—проворчал Бочкарев и тут же отмяк.— Сегодня состоится окончательное решение. Думаю, что отстоим, возьмем у вас дизеля.— Бахирев чуть не подпрыгнул на стуле.— Зато в целом программу во много увеличим!

— Так это ж то, о чем мы мечтаем!

Инженеры уже собирались в кабинете. Вошел и Уханов, вчера приехавший из Москвы.

Преобладающими выражениями в лице и тоне Уханова были опаска и ярое любопытство. Он все еще не понимал, как могло получиться, что «хохлатый бегемот» вдруг «прыгнул выше всех». Уханов видел в Бахиреве хитрейшего из хитрецов, ловко притворявшегося до времени Иванушкой-дурачком.

— Все еще здесь?—удивился он. Ему казалось необъяснимой странностью то, что новый директор сидит в своем бывшем простеньком кабинете главного инженера, тогда как давно мог восседать в вальгановской роскоши.

Бахирев не стал объяснять, что экзотические цветы и бархатные портьеры директорского кабинета раздражали его.

— Пока здесь...— вздохнул он.— Завтра перееду. Вон выживает...— кивнул он на Рославлева, назначенного главным инженером.

«Что теперь со мной будет?—думал Уханов.— Слопает меня вихрастая бегемотина?»

Уханов ездил в Москву воевать за требования, подписанные еще Вальганом. Ему удалось отвоевать необходимый металл, но в новых станках министерство отказало. Испуганный неудачей, Уханов несколько дней назад позвонил Бахиреву, прося совета и помощи.

— Вы где, в Москве?—услышал он мрачный голос

Бахирева.— Вы в Москве, а я здесь. Вот и действуйте. Ваши действия — ваш будет и результат.

«Сознательно не хочет помогать,— понял Уханов.— Все ясно: приеду — и меня, как не выполнившего важное задание, по башке». И сейчас он был уверен, что Бахирев обойдет молчанием его удачу с металлом и воспользуется случаем разгромить за неудачу со станками. Он ждал неизбежного удара.

Когда инженеры собрались, Бахирев, поговорив об очередных делах, перешел к Уханову:

— Надо сказать, что товарищ Уханов с блеском защитил металл. Договорился не только о самом металле, но и о перевозках. Если выйдем из пикового положения, то его стараниями. А что касается станков, то министерство нам отказало, и правильно сделало.

Он продолжал говорить, а Уханов недоумевал. Он хорошо знал привычки Вальгана. Если речь шла об успехах, то Вальган говорил: «Я добился», или, в лучшем случае: «Наши достижения». Если же вопрос касался недостатков, Вальган тотчас находил козла отпущения и громил: «Ваши ошибки дорого нам обходятся!» К удивлению Уханова, Бахирев действовал иначе.

— Со станками министерство право,— продолжал Бахирев.— На мой взгляд, главная наша беда — не столько слабость механизации, сколько слабость организации. Механизация без организации — вот наше бедствие. Отсюда первую задачу завода я сформулировал бы так: «Не два станка вместо одного, а вдвое с одного станка». Вы, товарищи, не смотрите на меня с удивлением. Моторный цех дал втрое с одного станка. Вдвое должен дать каждый цех!

Он говорил тоном, не терпящим возражений, и его работа в моторном цехе давала ему право на такой тон.

Когда с этим вопросом было покончено, Уханов взял папку, приготовленную им в качестве спасательного круга. Тонуть ему не пришлось, но он не хотел упустить случая «подыграть» новому директору.

— Дмитрий Алексеевич, я тут успел подготовить. Разрешите?

Уханов развернул тот самый бахиревский «план-максимум», к которому прежде относился с иронией. План был перепечатан и вложен в отличные корочки.

«Да, этот не сунется к замминистра с канцелярской папкой»,— улыбнулся про себя Бахирев.

Его удивляли естественность и легкость, с которыми Уханов сегодня горячо ратовал за то, что отрицал вчера, не выказывая при этом ни малейшего огорчения по поводу бывших своих ошибок. Он говорил с Бахиревым с

бóльшим любопытством и осторожностью, чем с Вальганом, но с тою же веселой готовностью и почтительностью. Он напомнил Бахиреву циркового клоуна, который ловко перевертывается в воздухе и, поболтавшись вверх ногами, как ни в чем не бывало становится перед изумленной публикой с сияющим лицом и с полной готовностью вертеться еще сколько угодно и в любом направлении. «Сальто-мортале!—думал Бахирев.— Полагаться на него нельзя. Однако готовность на все и энергия... Использовать его можно».

Он отстранил план:

— Я думаю, это не пригодится. Сегодня в Москве решается вопрос о будущем завода. Пока ничего определенного сказать не могу. Не знаю еще, что и как... Не знаю... Знаю пока только одно: мой бывший план-максимум теперь только-только тянет на минимум...

Все в Бахиреве было неожиданно для Уханова: и задача «вдвое с одного станка», и превращение плана-максимум в план-минимум, и странная его нерешительность, которой он не скрывал и за которой чувствовалось назревание больших решений.

Глава XXXI
КРУШЕНИЕ ХИБАРЫ

Тина торопливо шла слободкой в дождливом сумраке. С того времени как перестройка завода, о которой мечтали они с Дмитрием, становилась реальностью, чувство их разгорелось с новой силой.

Дмитрий часто звонил ей по утрам:

— Тина Борисовна, в двенадцать мы идем определять место нового корпуса ЧЛЦ. Подключайтесь!

— Тина Борисовна, пройдем на участок кокиля.

Они ходили по заводу вместе, как в первые дни любви, ни от кого не скрывая и никого не боясь. Разница была лишь в том, что тогда им нечего было скрывать и бояться, а теперь победа Дмитрия и захлестнувшая его радость заставили их обоих забыть и об осторожности, и о скрытности, и о самой опасности.

И как раньше она оттягивала разрыв, пытаясь оправдываться тем, что не может покинуть его в час поражения, так теперь она искала оправдания в том, что не может омрачить ему первые дни победы.

А он был верен себе: с головой погрузившись в новые заботы и планы, подсознательно отодвигал и отбрасывал все, что могло отвлечь от них.

«Такова его натура,— думала Тина.— Говорят, что наши недостатки порой вырастают из наших достоинств. Как это верно! Главное его достоинство — умение безраздельно отдаться делу. Но в этом же и несчастье. Все остальное отодвинуто у него на второй план, и на этот второй план у него все не хватает ни мысли, ни времени, ни решимости...— Тут же она возражала себе: — Нет. Не так. В нем все сильно — и любовь к делу, и любовь ко мне, и любовь к сыну... Потому нам и трудно. И все же,— она снова возвращалась к прежним мыслям,— все сильно, но работа превыше всего. Вчера он говорил: «Подожди немного, дай мне кончить с противовесами», сегодня он говорит: «Подожди немного, дай мне освоиться с заводом». Завтра у него опять окажется новое дело, которое захватит его целиком. И опять у него не останется ни сил, ни времени на то, чтобы как-то разрубить наш узел. Он этого не сделает. Это придется сделать мне. Если и я этого не сделаю, это однажды сделается само, и сделается катастрофически».

Она понимала все, чем грозило им его новое положение. «Директор завода» — эти слова для Бахирева означали не просто должность и звание. Его поддерживали коммунисты и весь заводской коллектив. Его полюбили, в него поверили, с него спрашивали. Он был на виду, на глазах у тысяч людей, населявших заводские поселки. Он должен быть чист перед этими людьми.

Можно обманывать несколько человек в течение нескольких недель, но обманывать многие тысячи в течение многих месяцев?!

Тина видела и неизбежность конца, и приближение реальной опасности, но Дмитрий был так хорош в своем счастье и так хотелось ей еще немного полюбоваться им...

Он говорил ей:

— Мы вместе горевали. Как же можно нам по отдельности радоваться?

И у нее не хватало сил противиться.

В этот день завод получил лимиты и разрешение на организацию участка кокильного литья и литья в скорлупчатые формы. Дмитрий вызвал Тину на совещание, но она смотрела на него только издали: он выглядел молодо и весь светился тем праздничным, именинным светом, который так поразил ее прошлой осенью. Но тогда он казался кротким ребенком, неуклюжим от неожиданного счастья, а сейчас он сиял нетерпеливым счастьем начинающего спринтера, рвущегося к финишу и уверенного в победе.

Вот наконец и низкий домик, покосившееся крыльцо. Тина открыла дверь и увидела низкий потолок, крохотные окна, стены с выцинявшими обоями. Все здесь было противно ей, но он сидел у стола, такой чуждый этой проплесневевшей комнате, свежевыбритый, веселоглазый, в новом, отутюженном костюме и голубоватой сорочке. Она увидела его крепкую голову с забавным вихром, его улыбку, медленную и веселую, и ощущение счастья, как порыв ветра, как внезапный озноб, охватило ее.

Лицо, улыбка, взгляд Дмитрия всегда жили в ее воображении, но, встречаясь с ним, она каждый раз изумлялась: настолько был он милее, роднее, желаннее, чем она себе представляла, чем можно было представить.

Все опасения сразу выпали из ее сознания.

Он смотрел на нее просящим, умиленным и покорным взглядом, так не шедшим к его волевому лицу, и в этом взгляде было счастье, за которое она готова была платить любой ценой.

Как всегда, время летело с непостижимой быстротой. Тина смежила ресницы — притворялась задремавшей, чтоб уйти от реальности разлуки. Она знала, что они должны проститься и возле нее будет Володя с его доверчивым и лихорадочным взглядом, а возле него женщина с большими добрыми руками. И снова будет ложь в каждом слове, в каждом взгляде, в каждой секунде. Она не хотела думать об этом, но невольные слезы наполняли глаза. Дмитрий смотрел на ее осунувшееся лицо — горестное и прелестное лицо много пережившей женщины — и вспоминал ее той ясной и легкой девочкой в туфельках школьницы, какой увидел впервые. Куда она ушла, та нежная и строгая, с чистым девичьим взглядом и летящей походкой? Вернее, куда *он* завел ее? Спазма схватила за горло, и в уме вспыхнули слова, вычитанные здесь в ожидании ее, в книге, оставленной ею:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!

С тех пор как он полюбил ее, он стал восприимчив к некоторым стихам: ему хотелось говорить с Тиной красивыми, небывалыми словами.

— Была ты всех ярче, верней и прелестней,— шепотом повторил он.

Она улыбнулась ему полными слез глазами.

— Видишь, как ты прогрессируешь! А помнишь, я говорила, что ты начнешь читать мне стихи только через сто лет...

Кто-то зашумел, затопал в прихожей, дверь с силой рванули, жидкий крючок сорвался, и дверь распахнулась.

Это было невероятно. Но то, что последовало за этим, было еще невероятнее. Как врезанная, встала в двери женщина в голубом дождевике.

Дмитрий рывком притянул к себе Тину, словно пытаясь закрыть, защитить ее от удара.

Тогда женщина вскинула голову, и они узнали Катю. Она вскрикнула странным, заячьим голосом и, повернувшись, исчезла.

Все это длилось мгновение. Он подумал бы, что ему привиделось, если бы не этот протяжный крик, доносящийся уже со двора. Вслед за криком раздался оглушительный металлический грохот. Казалось, сама хибара рушится, скрежещет, гремит и грохочет проржавленной железной крышей.

Послышались незнакомые голоса, какой-то мужчина встал на пороге.

— Что тут у вас? Грабеж, драка?

Только тогда Дмитрий пришел в себя. Через минуту он без пальто, на ходу надевая пиджак, бежал по темной улице, под проливным дождем.

Светлое пятно маячило впереди, но когда он подбежал, оно оказалось афишей, наклеенной на забор.

Дождливая улица была безлюдна.

«Где же она? Куда убежала? Только бы не к реке!»

Он бросился к мосту. Задыхаясь, шлепая по лужам, скользя и падая, он бежал по кривым переулкам старого заречья туда, где цепью фонарей обозначился мост.

У моста ветер рвал косые струи дождя, и огни запоздалых машин, проносясь, отражались в мокром асфальте.

— Женщина в светлом дождевике не пробегала? — спросил Бахирев у милиционера.

— Пробежала. А что? — Но лицо, и голос, и костюм Бахирева так явственно говорили о беде, что милиционер, не дождавшись ответа, добавил: — Вон... вон светлеется... — и побежал вслед за Бахиревым.

На середине длинного моста у самых перил билось и двигалось что-то светлое.

— Катя, Катя, Катя! — закричал Дмитрий. — Катя, прости, Катя, подожди!

Он боялся, что она, обезумев от горя, бросится вниз.

— Подожди, Катя, Катя!

Светлая фигура все билась у перил моста, то склоняясь к ним, то пытаясь подняться.

Когда он был уже близко, безмерная радость овладела им. «Она здесь! Непоправимого не произошло. Все еще поправимо».

Еще несколько шагов — и он схватил голубой плащ, бившийся на ветру. Это был только плащ.

— Катя, Катя! — снова закричал он.

Только твердый и мокрый плащ, зацепившийся за чугунный завиток ограды, бился на ветру и рвался из рук.

Женщины на мосту не было.

Замолк тонкий вскрик женщины с добрыми полными руками. Дмитрий, растрепанный, в одной сорочке, на ходу схватив пиджак, выбежал из комнаты. Появились и тут же исчезли какие-то незнакомые люди. А Тина все еще сидела в оцепенении.

Ей казалось, что Митя вернется, что кто-то должен войти, объяснить, успокоить. Но никто не приходил.

Осторожно, боясь каждого шороха, она оделась и выскользнула в сени. Во дворе толпились люди.

— Я его который раз примечаю,— звучал возбужденный женский голос.— Спрашиваю старика: «Чего это тракторное начальство к тебе повадилось?» — «Он, говорит, товарищ моего погибшего сына». Я, правда, кое-что кумекнула про себя. Однако, думаю, может, и в самом деле старика навещает? Коли так, дело доброе. А оно вон какое доброе!

Другой голос перебил:

— Она, видно, все его выслеживала. Гляжу — ходит. Опять гляжу — опять ходит... Мы уж стали за ней поглядывать. А тут как закричит да загрохочет...

Тина шагнула. Люди замолкли. Она прошла меж ними. Темнота служила ей кровом, но, казалось, и сквозь темноту проникали взгляды.

Тина выбралась на улицу и пошла набережной к трамвайной остановке.

У моста над черной гладью воды двигались огни: плавали лодки с фонарями, шнырял острый луч прожектора. У остановки толпились взволнованные люди.

— Один плащ остался... — сказал кто-то.

— Что случилось? — спросил другой.

— Директорова жена сейчас с моста кинулась.

— Какого директора — старого или нового?

— Нового! Вон в лодке выехали...

Тина не закричала, не схватилась за сердце. «Это случилось»,— думала она, сразу отупев от ужаса.

Подошел трамвай, все сели, она одна осталась на остановке. «Это случилось... Нет, это не могло не случиться! Как я не понимала, что это должно было случиться? Мы шли прямо к этому. Рано или поздно что-нибудь такое все равно должно было произойти...

Нет. Это все мне кажется. Сейчас просто вечер, просто дождь и просто идут мокрые трамваи по мосту. В этом простом, мокром и милом мире нет места таким страшным вещам... В этом мире всему есть место...»

Она зашла в телефонную будку, позвонила Нине и сказала деревянным голосом:

— Нина, сейчас жена нашего директора бросилась с моста в реку. Да. С моста в реку. У моста народ. Мне нельзя быть там. Молчи... Не спрашивай ни о чем, не говори мне ничего, оденься и иди туда... Узнай все и сейчас же звони мне.

Она вышла из будки и прислонилась к ближнему забору. «Нина узнает точно. Нина позвонит. Нина скажет: «Это случилось...» Если это случилось, мне нельзя жить ни минуты. Нельзя смотреть на людей. Нельзя даже думать о его трех... сиротах!—В глазах стало темно.—Не исправить, не искупить, не забыть... Остается смерть... Невозможно. Всего час назад я улыбалась... Но смерть вот так и приходит—неожиданно... Спешит человек перебежать улицу—и оказывается под трамваем. Купается—и вдруг минутная судорога. Вот так она и приходит, нежданная и неотвратимая... Сегодня? Сейчас? Нет! Эту женщину спасут... Она жива... Она просто хотела напугать его, удержать, приковать к себе...»

Мозг цеплялся за любую надежду, и все же Тина стояла как бы по ту сторону черты—уже вне круга человеческой жизни.

Подошел трамвай. Тина села и доехала до дома. Она тащилась к дому, собирая остатки сил. Деревья, дверь, обитая клеенкой, почтовый ящик—все виделось как бы в последний раз, и все наполнялось особым значением и смыслом: все становилось приметой утраченной и неповторимой жизни.

Володя встретил ее на пороге. На нем была фланелевая рубашка, и грудь его была укутана серым пуховым платком, заменявшим кашне. Он только что дремал, и сонным теплом веяло от его улыбки, от припухших глаз, от разрумянившегося лица. Он протянул к ней руки.

— Кто это пришел? Ласточка моя пришла... Я ее ждал, ждал... Худо одному. Уснул с горя. Проснулся, а ты пришла. Ты пришла, моя пичужка. Почему так долго не шла? А я ужин приготовил.

Только бы он не смотрел так доверчиво! Только бы не видеть этого света на его лице. Сказать? Не сейчас... Жизнь так коротка, радость так мгновенна... Пусть еще одну ночь проспит спокойно... Пусть еще одну ночь будет светло у него на сердце.

— Я так устала, мой хороший... Я не могу есть.

Он суетился, стлал ей постель, взбивая подушки, и все радовался чему-то, и все старался прикоснуться к ней горячими пальцами.

Она легла в постель и, вытянувшись, окаменела.

В темноте он окликнул ее со своей постели:

— Воробушек... Я приду к тебе. Ты так далеко от меня сейчас.

Он затосковал о ней. Предчувствие ли томило его или ее смятение передавалось его преданной душе?

Он прижался лицом к ее плечу. Она перебирала его мягкие, влажные кудри. «Спи, мой хороший... Может, это твой последний спокойный сон... Боже мой! Как мне вернуть время обратно? Как сделать, чтобы этого года не существовало?»

Мелодично отзванивали часы в столовой, шумел за окном дождь, узорчатые тени от кружевных занавесок лежали на полу. Счастьем веяло от каждой вещи. Как много она имела совсем недавно! Светлый дом, полный улыбок, смеха, ласковых и шутливых слов, мужа, преданного всем сердцем, завод, где все любили ее, работу, которая сулила успех, чистоту сердца, слов и мыслей,— жизнь полноценную, прозрачную и спокойную, как степная река. Как много счастья было у нее! Миллионы женщин мечтают о такой доле. Как же случилось, что в тот час, когда она шагнула вслед за бабочками, ей вдруг показалось, что у нее ничего нет, что она нищая, что она несчастна лишь потому, что к ней ни разу не прикоснулся желанный?

Как изменчиво понятие счастья!

Она подумала тогда: «От этого никому не станет плохо, а я хоть на час узнаю полноту счастья». Узнала... Что же узнала? Узнала, как бесконечно счастлива была до этого часа, узнала в тот момент, когда потеряла возможность счастья и жизни. Думала, никому не станет плохо. Всем стало плохо. Володе, Дмитрию, его детям... А женщина с добрыми руками... Нет! Это ошибка... Этого быть не может!

«Митя проклинает каждую секунду свиданий.

Когда совершена ошибка? Когда, как, где началась эта гибель? Тогда, когда пренебрегла всем, что имела, чем счастливы были бы тысячи женщин? Тогда, когда шагнула вслед за бабочками? За что так наказана? За эту ошибку, за этот шаг вслед за бабочками? Человек не может жить как бабочки! Он должен жить как человек!

И вот теперь случилось непоправимое. Его жены нет на свете. Нет, этого случиться не могло! Ее спасут. Ее уже спасли. А если нет? Значит, и мне надо умереть этой же ночью... Да, в этом единственное спасение... Это самое

легкое из всего, что мне осталось... Володя по-прежнему будет жить в нашем доме. На яблоне, что смотрит в окно, созреют яблоки. На заводе построят новые цехи... А меня не будет, и нельзя будет на все это любимое взглянуть даже в щелочку».

— Ласточка, отчего ты не спишь?

— Я сплю, Володенька... Спи, любимый мой.

Как она любила сейчас каждую прядь его волос, каждый вздох его теплых губ! В эту ночь прощания с жизнью мир впервые открывался во всей его неповторимой ценности. Каждое движение родной руки, каждый взмах ветки за окном, каждый звук маятника были дороги сердцу и звали к жизни.

«Простит ли Володя меня? Смертью все искупится... Но, может, от этого ему будет еще тяжелее?»

Она инстинктивно сильнее сжала его плечи. А он, почувствовав непривычную наполненность ее слов, не спал и думал о ней.

— Ласточка, как ты сказала мне только что?

— Я сказала: «Спи, мой любимый».

— Ты любишь меня? В самом деле любишь? А мне иногда кажется...

— Пусть тебе ничего не кажется. Спи, мой хороший... Спи, мой любимый.

Он уснул крепким и сладким сном.

В этот день Катя с утра была в праздничном настроении: накануне муж привез ей коробку духов «Белая сирень».

— В ларьке... возле обкома... попались...— смущаясь почему-то, объяснил он.

Последние дни он был особенно внимателен, и его внимание успокаивало ее. «Он семейный, преданный,— думала она.— Он все больше меня балует. Чего ж мне утром прибредилось?»

Она была счастлива его счастьем, его торжеством и тем покоем, который снова пришел в ее дом после долгих тревожных дней. Радостно готовилась к переезду в квартиру Вальгана — покупала новые абажуры, занавески, скатерти. Соседка сказала ей, что в магазине соседнего поселка продают наборы эмалированной посуды. Шел дождь, и час был поздний, но желание достойно оборудовать великолепную кухню Вальгана пересилило все Катины колебания. Она надела дождевик, отправилась в магазин и встала в очередь. Она дождалась счастливой минуты и перед самым закрытием магазина накупила кастрюль разных размеров и даже великолепное молочно-

белое ведро с голубой каемкой. Пакеты с покупками были громоздки и неудобны, дождевик топорщился над ними, и Катя напоминала растопырившую крылья наседку. Такси на стоянке не было, Катя ждала, мокла и утешалась мыслью о том, как украсят ее покупки новую кухню.

Вечер от дождя и тумана казался еще сумрачнее. Зажглись первые фонари, а машины все не подходили к стоянке. Катя нетерпеливо вглядывалась в серую муть дороги. Из-за поворота выехал черный ЗИС. Она узнала номер машины. Машина остановилась в полквартале от Кати, у большого здания с освещенным подъездом. Катя увидела квадратную фигуру мужа. Он вышел и скрылся в подъезде. Катя заторопилась, но машина тут же развернулась и уехала другим переулком.

Катя растерянно остановилась на полпути. Что делать? Идти вслед за мужем? Должна же машина вернуться за ним! Но как войти в учреждение со своими кастрюлями, ведрами и где там искать мужа? Идти обратно на стоянку такси? Пока она колебалась, Дмитрий вышел из подъезда и торопливо двинулся вниз по улице. Куда он шел? Дальше не было никаких учреждений, только тупички, переулки, овраги. Почему, отпустив машину, шел он пешком, в дождь и слякоть по выщербленным тротуарам чужого поселка? Кате вспомнилось то, что она сочла обмолвкой, вспомнились слова: «Опять в поселок? В семь часов».

Дмитрий дошел до угла и свернул в глухой переулок. Она добежала до угла. Немощеная улица, домишки с палисадниками подбегают к оврагу. Он шел быстрым и решительным шагом. Так ходят привычной дорогой. Она уже ничего не видела и не слышала. Только темнеющий вдали силуэт да громкий стук своего сердца.

Он остановился у большого тополя и скрылся в калитке. Катя ослабела от волнения и села на скамью у ворот. Дождь стекал по капюшону плаща, но губы у Кати пересохли. Страх, подозрение, боязнь подозрений, предчувствие правды, желание правды и ужас перед этой правдой лишили ее воли и сил. Она долго сидела на скамейке, облизывая влажные от дождя губы, потом встала и поплелась к тополю. Возле тополя были две калитки рядом. В которую вошел Дмитрий? Издали она не различила. Войти? Спросить? Но в которую из двух войти и что спросить? «Не здесь ли мой муж?» А что дальше? Она не могла решиться, прошла до следующего угла и снова вернулась.

В поселке все знают друг друга. Люди удивлялись странной женщине в голубом дождевике, с громоздкими

пакетами, которая все ходила взад и вперед по узкой улочке. Мужчина выглянул из окна:

— Вы что потеряли, гражданочка?

— Нет, я ничего...

Надо было или решиться, или уходить. Войти было слишком страшно, и она торопливо направилась к стоянке такси, прошла два квартала и вдруг отчетливо поняла, что сейчас, в эту самую минуту, он, ее муж Митя, с женщиной. Зачем еще он мог пойти один, вечером, в дождь, в эту глушь, отпустив машину? И в учреждение он заглянул, чтоб отвести глаза шоферу. Сомнений не могло быть. Катя побежала к тополю, скользя по раскисшей земле. Тополь, высокий забор, два домишка, две калитки. В окнах уже горел свет, и Катя заглянула в щель меж занавесками. В одном из домиков кишела детвора, в другом темнела кровать и седой, старческий затылок виднелся на подушке. Значит, Дмитрий где-то в задних комнатах. В котором доме? Не там, где дети. Катя открыла калитку и вошла во двор. От соседних дворов он отделялся полуразрушенными заборами. За одним из заборов светился фонарь «летучая мышь» и слышались голоса.

— Опять чуху заливает дождь,— сказала невидимая в темноте женщина.

— Ничего с ней не станется!— ответил мужской голос.

Детский голосок пискнул:

— Пап, а поросятки? Давай хоть фанерой прикроем...

Сквозь пролом забора видно было, как люди хлопочут у низенького свинарника. Дружелюбно похрюкивала свинья. Все было так мирно и так желанно за проломленным забором. А здесь? Шаткое темное крыльцо, и окно за углом хибары наглухо завешено темно-красной узорной портьерой. Здесь. Катя прислонилась спиной к косяку. Богатая и непроницаемая портьера на окне покосившейся хибары — это несоответствие было зловещим. Здесь. Что здесь? Убедиться, увидеть, узнать. Катя только теперь услышала, как страшно грохочут ее кастрюли, поставленные в ведро. Она осторожно опустила покупки на крыльцо, не дыша взошла по шатким ступеням. Дверь в сени открылась легко. В полшаге была еще дверь. В щель падал розовый свет. За этой дверью раздались странный, взволнованный голос Дмитрия и приглушенный женский смех. С той силой, которую придает опасность, Катя рванула дверь. Хлипкий крючок слетел с петель.

Прямо перед собой, в маленькой комнате, Катя увидела женщину, лежавшую на коленях у мужчины. Дмитрий был так не похож на себя и так невероятен, что в первое

мгновение она подумала: «Это не он!» Никогда она не видела его таким и не подозревала, что он может быть таким.

Всегда, даже дома, в пижаме, он сохранял подтянутый, аккуратный вид. Сейчас он сидел в смятой и расстегнутой сорочке. Волосы, всегда гладко зачесанные со лба назад, сейчас свисали темными космами. Но главное, почему она не могла признать в нем мужа,— это невиданное, невозможное для него выражение лица. Он смотрел на женщину, лежавшую у него на коленях, с выражением жадности и мольбы. Увидев жену, он не оттолкнул эту женщину, но быстрым движением притянул ее к себе и нагнулся над ней, словно хотел защитить. Озлобленный, угрожающий взгляд его говорил: «Кто посмел помешать ей?»

И затхлая комнатушка, и вид мужа, и женщина — все было так неожиданно, нереально, что на миг Катя оцепенела, но движение, которым он привлек женщину, и этот злобный, угрожающий взгляд, брошенный на того, кто посмел помешать ей, яснее слов сказали Кате, что он любит, по-мужски жадно любит эту женщину, любит так, как никогда, ни одной минуты, не любил жену.

Катя постигла это мгновенным женским прозрением.

С криком она выбежала во двор, задела за покупки, и кастрюли покатились с грохотом и скрежетом. Она кричала и бежала по улице, бежала от своего понимания, от самой себя.

Потом умолкла, но продолжала бежать. Не памятью, а тем же мгновенным прозрением она охватила сразу все — и спокойствие его первого поцелуя и снисходительную, ровную теплоту его ласк.

Она была счастлива этим скупым теплом, потому что и сама не знала иного и думала, что, увлеченный работой, он не может любить женщину иначе. Всю жизнь она даже радовалась его спокойствию: «Он весь в деле. Ему не до нежностей. Не бабник. Это хорошо. Такие не изменяют». Она думала, что он отдает ей всю любовь, на которую он способен, и была счастлива. Оказалось, он способен на иное. Снова вставал тот покорный и жадный взгляд, которым он смотрел на женщину. Ни разу в жизни не взглянул он так на свою жену, на мать своих троих детей. И, вспомнив этот взгляд, она бежала еще быстрее, бежала до тех пор, пока в груди не начинало жечь, пока ноги не подкашивались. Тогда она, задыхаясь, прислонялась к забору или дереву. И вдруг снова видела защищающий жест, которым он притянул к себе ту. Таким жестом мать в минуту опасности притягивает ребенка, таким жестом мужчина притягивает к себе свою женщину, свою един-

ственную. Она понимала это и снова пыталась бежать. Она вспоминала его частые подарки последних месяцев, она наивно думала, что они шли от его растущей с годами привязанности к ней, а они были попыткой как-то откупиться от нее и от своей совести. Катя вбежала на мост. Спасительная темная глубина была рядом. Катя наклонилась над ней. Обдало холодом, мраком, небытием. Стало страшно. Она отшатнулась. Нет! Речным ветром распахнуло плащ. Он мешал ей, и она сбросила его... Она сама не помнила, как и когда очутилась на вокзале, не понимала, почему прибежала именно на вокзал.

Растрепанная и насквозь мокрая, она возбуждала общее любопытство. Надо было укрыться. У вокзала дежурили такси. Она села в одну из машин.

— Куда?—спросил шофер.

И не голосом, а всем своим нутром она ответила:

— Домой!

Куда еще она могла деться? Во всем мире у нее не было другого места, где была бы крыша над головой, где можно плакать, биться головой об стену и все же ощущать тепло. Не тот огонь, что давал он той женщине, но хоть какое-то, хоть крохотное тепло, чтобы хоть немного отогреть оледеневшее тело и душу, застывающую в смертельном холоде.

— Домой...

Катя сказала адрес. Машина мчалась какими-то незнакомыми, никогда прежде не виданными улицами. Весь мир стал невиданным, незнакомым, страшным. Как лодка, привязанная к кораблю, покойно плыла Катя, не тратя усилий, укрытая его высокой кормой от встречных волн и ветров. И вот канат оборвался... Теперь ей, лишенной укрытия и неприспособленной, угрожали гибелью те же волны, которые недавно лишь укачивали. Когда и почему начался отрыв?

Судьба ее так счастливо складывалась. Муж был ее опорой, ее редкостной удачей, ее гордостью. Она вышла замуж за рабочего, ничем не прославленного. Но муж сделал ее сперва женой начальника цеха, потом женой главного инженера и, наконец, женой директора огромного завода. Он любил ее и детей, не пил, не смотрел на других женщин, отдавал ей весь заработок до копейки. Еще сегодня утром тетка говорила ей: «Заиметь такого мужа—все равно что найти миллион на дороге. Детолюб, работяга, большой человек. Счастливица ты!»

Он шел навстречу всем ее желаниям и не предъявлял никаких требований. Поглощенный работой, он не замечал, хорошо или плохо приготовлен обед, прибраны комнаты. Только в последние годы он все заговаривал с

ней о разных курсах. Ходить бы на эти курсы, ходить бы, раз он хотел!.. Недавно вдруг потребовал от нее какого-то подноса. Это было совсем не похоже на него. Он мог есть с разбитой тарелки, сломанной ложкой и не замечать этого... И вдруг — поднос!.. Почему поднос? Тогда она удивилась, оскорбилась, заплакала, но не задумалась. Сейчас она думала, она пыталась проникнуть в истоки случившегося, она спрашивала себя: «Чего он добивался от меня этим подносом? Чего он хотел тогда от меня?»

Машина подъехала к дому. Катя поднялась по лестнице, распахнула дверь. Испуганные дети выбежали навстречу. Он предал не только ее, он предал их. Маленькие, теплые, дрожащие, они были еще беспомощнее, чем она сама.

Боль за них была еще сильнее, чем за себя. Она обнимала их всех троих разом, прижимала к своему мокрому платью, к лицу, залитому слезами, выкрикивала и бормотала:

— Бросить всех троих?.. За что?! Ради кого?! Не отдам... Не отдам... Не отдам...

Испуганная Аня побежала за соседями.

Катя не видела, как появились люди, врач, сестра. Когда она очнулась, Дмитрий сидел рядом, растирал ей руки и ноги, поил вином и горячим чаем. Она снова разрыдалась и рыдала все сильнее. Она видела, что слезы вызывают его сострадание.

— Катя, нельзя так... Катя, ты же... мать... Мы должны думать о детях... — В голосе его слышалась строгость.

И слезы ее перешли в крик.

Тогда детей увели куда-то, а он обнимал ее и гладил ее волосы. Она понимала, что это только жалость, но даже тепло жалости она, обойденная любовью, впитывала жадно.

Ночью Нина позвонила Тине. Володя спал так сладко, что не услышал звонка.

— Она жива. Вернулась домой, — ледяным голосом сказала Нина. Страшная тяжесть спала с плеч. Смерть, всю ночь стоявшая рядом, отступила. — Но весь завод, весь город знает. Тебе нельзя приходить на завод... Я возьму твой расчетный лист и все оформлю. Ты сказала Володе?

— Нет еще. Я боюсь...

— Тебе сейчас уже поздно бояться за него. — Тина даже не услышала ненависти, звучавшей в словах подруги.

Она жива! У Володи есть Нина. Она любит его. Любит много лет. Она не оставит...

— Нина, приходи к нам утром. Скажи ты... Чтоб не от меня... Ему с тобой будет легче.

— Хорошо.

Тина села тут же, в прихожей, у телефона.

Жизнь возвращалась волнами, как прилив. Тина могла уже не только прощаться с жизнью, в тоске и любви, она могла думать... Мысли приливали толчками.

Эта женщина жива... Самого безумного не случилось... Какое счастье... Как относительно понятие о счастье...

Володе будет даже лучше с Ниной... Он узнает не только женскую привязанность. Он узнает, как любит женщина. Нелюбимый — значит обездоленный. Володя не должен быть обездоленным!

О Мите нельзя думать... Может быть, он разлюбил, отрекся, клянет... Думать об этом почти так же страшно, как о смерти.

Начинался рассвет. Володя продолжал спать. Тина не могла ни спать, ни сидеть. Еще в полусвете она стала убирать кухню, с редкой даже для нее старательностью она мыла кухонные полки, протирала оконные стекла.

Ранним утром Нина вошла в двери и увидела Тину за уборкой.

— Ты сумасшедшая!

Она говорила с ненавистью и омерзением, но Тина готова была снести от нее все ради той любви, что зажигалась в серых глазах, когда Нина говорила о Володе.

Тина вышла в палисадник и считала капли, падавшие с крыши.

Двадцать одна капля... Двадцать две... Двадцать три... Как медленно идут секунды... Времени нет конца.

Наконец Нина появилась на пороге.

— Тебя мало убить,— сказала она, не поднимая глаз от ненависти.— Такой человек... — По кирпичному румянцу щек текли слезы.

Тина понимала и видела, что для Нины Володя был таким же лучшим из лучших, незаменимым, как Дмитрий для нее. Какое счастье, что Нина будет с Володей!

— Он не верит мне,— сказала Нина.— Он хочет все услышать от тебя.

Тина переступила порог когда-то своего дома. Володя стоял все в той же фланелевой рубашке, в платке, заменявшем кашне.

— Ласточка, скажи, что это неправда. Одно твое слово — и я не поверю никому, ничему, ни людям, ни глазам, ни ушам. Я поверю только тебе.

Она едва выдавила из себя три слова:

— Все правда, Володя.

Он ушел в комнату, и Нина пошла за ним. Тина села на стул в прихожей. Она сидела до тех пор, пока не вышла Нина и не сказала ей:

— Володя сейчас едет ко мне. Он не может видеть тебя. Ты должна уехать.

— Да, я уеду с ночным поездом.

Она еще сама не знала, куда она поедет. Володя и Нина ушли. Она видела в окно затылок Володи, его серую шляпу и серое пальто, которое они вместе покупали, радуясь, что удалось подобрать в тон и что все это так идет Володе.

Она осталась одна. Она не могла ни плакать, ни думать и стала неловко собирать вещи в маленький чемодан. Только самое необходимое, то, что купила сама. Мысли были такими же одеревенелыми, как руки. «Куда я поеду? Не знаю. Не все ли равно? Просто сяду в поезд и поеду. Триста рублей осталось от зарплаты. Что будет дальше? Не все ли равно, что будет дальше?»

Она сложила вещи и стала убирать квартиру. Она хотела оставить ее в безупречном порядке. Сделать это для Володи...

Никогда с такою нежностью не перебирала она Володины вещи. Рубашки с потертыми воротами, носки с заштопанными пятками.

Сейчас вдруг оказалось, что каждый носок и каждая рубашка говорят о любви и радости. Манжетку он разорвал, когда нес Тину через сад на руках, чтоб она не промочила ноги. Пятно на сорочке—это он кормил Тину с ложки вишневым вареньем, когда она пришла с работы усталая и сразу легла. Она ласкала его носки и рубашки, складывала тщательно и любовно. Остаться? Просить прощения? Он простит... Но ведь уже все равно не скроешь, что другой дороже! Чем же станет Володина жизнь? О Мите по-прежнему боялась думать.

В ящике стола попалось письмо о кокиле. Инстинктивно, почти бессознательно, она положила его наверх. Она возилась с уборкой весь день, а вечером позвонил телефон!

— Тина!—услышала она хриплый и тихий голос.

От одного звука этого голоса кожа на руках покрылась пупырышками.

— Митя?

— Как ты, Тина?

— Я уезжаю...

— Когда?

— Ночью.

— Я еду к тебе. Выходи к реке. Там, где встречались.

Они встретились в знакомой аллее. Ночь была такой

же дождливой и ветреной, как минувшая. Он обнял ее, и она прильнула к нему.

— Как она, Митя?

— Простужена, сражена, плачет... Но опасности нет. Куда ты едешь?

— Я еще не знаю... Мне все равно.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю... Мне все равно.

— У тебя есть деньги?

— У меня есть деньги.

— Возьми еще. Я буду посылать тебе. Не смей отказываться. И без того тяжело. Не смей.

Она не видела в темноте его лица и стала привычным движением пальцев ощупывать его щеки, лоб.

— Митя, ты не клянешь меня?

— За что?

— За жену... за семью... за себя...

— У нее остались дети, дом, остался я. У меня остался дом, дети, завод. У твоего мужа остался дом, институт, друзья. Только ты потеряла все. Едешь неведомо куда, неведомо зачем, без вещей, без крова, без родных, и ты спрашиваешь меня...—Он крепче прижал ее к себе.—Тина... я и сейчас... готов поступить так, как ты захочешь.

— Я поступаю так, как я хочу.

Дождевые капли стекали по ее шее за воротник, а лицо ее согревалось его дыханием, прерывистым и горячим.

— Тина... Ты... простишь ли ты меня?

— За что? Ты же не обещал, не уговаривал, даже не просил... Я сама шла на это... А мне не семнадцать лет...

— Все равно мы еще будем вместе. Это временно, Тина... Мы еще увидимся... Мы еще решим.

— Молчи! Еще минуту с тобой. Мне хорошо. Ведь ты рядом... Митя, если б все началось сначала?..

— Я не отказался бы ни от одной минуты...

— Милый... Я так счастлива сейчас...

Плечи его вздрогнули. На пальцы, которыми она гладила его щеки, вместе с холодными каплями дождя упали горячие капли.

— Льдинка-холодинка...—с болью и горечью шептал он.—Льдинка-холодинка моя!

— Прощай, Митя... Пора...

— Подожди!

Она отстранилась от него.

— Мы оба счастливы сейчас?

— Да...—твердо ответил он.—Пока я рядом с тобой, я счастлив.

— Ну вот и все... Мне ничего в жизни не надо, кроме этих слов...

Она была спокойна, а его плечи вздрагивали.

Тина вернулась домой. Села в теплую ванну и закрыла глаза. У самого лица с тихим журчанием лилась вода. От тепла или от этого журчания вдруг встало в памяти давно забытое: журчание горной реки, солнечное тепло и мараленок, глянувший ей в зрачки. Глаза мараленка, спокойные даже в минуту смертельной опасности, все видели, все отражали и ничего не пропускали в глубину. Откуда шло это непроницаемое спокойствие? От неведения? Или от того, что внутри, в нем самом, все так совершенно, что ничем нельзя испортить?

Мараленка можно было убить, уничтожить, но нельзя было лишить этого благородного, ясного и яркого взгляда.

Давно-давно и Тина знала дни такого же спокойствия. Куда он исчез тогда, этот мараленок? Его не было ни в кустах, ни за камнями. Маленький сгусток солнечного света поднялся с земли, взял высоту и исчез...

Если б можно было исчезнуть так же легко и мгновенно...

Тина вышла из ванны и, вытираясь, машинально взглянула в зеркало. Собственная юность поразила ее своей противоестественностью.

Она чувствовала себя тысячелетней, а из зеркала печально и нежно смотрела смуглая, гибкая, цветущая женщина.

От бесполезности этой, еще такой живой и горячей, красоты нахлынула горечь. Захотелось швырнуть об землю, растоптать, расточить как попало себя, остаток своей жизни. «Все обман в жизни... И ничего мне не надо... Уничтожить! Бросить кому попало под ноги, под колеса, под поезд. Я же хотела смерти! Зачем, для чего ехать куда-то, думать о чем-то, метаться, мучиться? Под поезд!.. Ведь я не первая».

Ей вспомнилась Анна Каренина. И вдруг стало ясно, что все это уже было.

Женщина, звавшаяся Тиной, ласкавшая Дмитрия и лгавшая мужу, уже умерла, и все уже позади: и неумолимый грохот колес, и предсмертный жаркий порыв к жизни, когда все на земле так смертельно мило, и мертвое, ко всему безразличное тело, бесстыдно отданное на поглядение... Все это уже было с нею.

Женская жизнь ее отжита, кончена, раздавлена колесами. Что в ней осталось жить? Что, какая сила несет ее не под колеса поезда, а в поезд, в путь, в новую дальнюю дорогу?

Она не знала, что движет ею, а руки ее складывали в сумочку письмо.

«Струсила?—спросила она себя. И твердо ответила:—Нет. Если бы осмысленная смерть—в бою, в научном опыте, ради спасения кого-то,—хоть сейчас. Но так, бессмысленно! Бессмысленная смерть—конец бессмысленной жизни». Жизнь, окружавшая Тину, могла быть сложной, трудной, до предела насыщенной радостями и печалями, но не могла быть бессмысленной. Каждый час, каждый миг жизни представлялись Тине освещенными высоким смыслом и целью. Можно, ослепнув и запутавшись по слабости и неразумению, упустить из виду и эту цель, и этот смысл. Но они не могут исчезнуть! Открой глаза—и они с тобой.

До отъезда было далеко, она решила прилечь и попыталась уснуть, но мысли гнали сон. Она продолжала думать:

«Почему я живу? Анна, теряя любовь, теряла смысл жизни, и смерть для нее наполнялась смыслом. Что оставалось ей? Женщине с проснувшимся умом и сердцем, куда применить их и ради чего жить?.. А у меня? Горя на мою долю пало много. Но и счастья много. Счастья близости с лучшими, смелыми... Может быть, и мое горе как-то связано с моим счастьем? Ведь лучшие бойцы всегда под огнем. Мир все еще устроен так, что лучшее часто пробивается с боем... Странно. А может быть, не странно. Сколько тысячелетий под этими звездами, от рабов до рабочих, люди жили в мире звериных законов собственности. И вот народился совсем новый и милый человеческий мир! Еще и сказки такой не написано, чтоб новорожденный богатырь сразу и рос, и отбивался от полчищ врагов, зрелых и вооруженных. В битве бывают не только победы, но и труд, и боль, и ошибки. Но не бессмысленность!»

И в эти часы, когда смерть только что отступила, Тина испытывала облегчение оттого, что начинается жизнь, очищенная от лжи. Можно отдохнуть от насилия над собой. Так или иначе—кончилась двойственность, отпало притворство, навсегда ушла хибара. А любовь? Освобожденная от наносного, она возвращалась к самой себе, к тем дням, когда Тина и Дмитрий, ни от кого не таясь, плечом к плечу ходили по цеховым пролетам. Одиночество? Одинок тот, кто не любим и не любит. Там, в хибаре, когда они обижали и унижали любовь и друг друга, она была порой дальше от Дмитрия, чем сейчас. Ей хотелось думать, что, уезжая от него, она в чем-то приближается к нему. Ей хотелось верить, что там, вдалеке, она все же будет чувствовать его плечо рядом со

своим. «Я только хочу этого, чтоб утешиться, или это будет в действительности? — спрашивала она себя и отвечала: — Это действительность! Я никогда не разлюблю и не забуду. Два человека навсегда оставили след — отец и Митя. Оба учили верности цели, страсти к делу. Оба талантливы. Но что такое талант? Способность быть счастливым избранным тобой трудом, и жизнь в нем, и стремление изо всех сил служить им народу. Разве мне это недоступно? Во мне этого меньше, чем в них обоих, но оно есть и во мне».

То, что было оттеснено последними опустошающими месяцами, снова приближалось к ней. Живой пульс многих конвейеров под руками, захватывающий поиск у опок и вагранок, ночные бдения над Сережиными тиглями с алюминием... Она увидела все это глазами Бахирева, резко повернулась в постели, откинулась на спину:

«Нет, это не слова! Это в нас! Это наша жизнь! И разве нельзя работать с такой же страстью, как любить? Ах, нет, невозможно! Но Митя живет именно так. Он может. Почему же я не смогу?»

С мужеством сильного человека искала она дорогу в будущее и с женственной слабостью жаждала хоть призрачного утешения. Но то, что брезжило перед ней в эту ночь, не было призрачным. Оно было реальным. Оно было весомым, пламенным, кипучим, как чугун в вагранках, только что мелькнувших в ее памяти.

Тина вытянулась в постели и сказала себе:

— Ты будешь спать... Никаких бессонниц... Володя говорит, что ты, как индийский факир, можешь силою воли останавливать сердце. Ты сейчас уснешь!

Какая все-таки тишина в этом доме! Здесь когда-то жила женщина, которая ни разу в жизни не сказала слова лжи, была предана мужу, была очень счастлива и чувствовала себя несчастной, потому что никогда горячо не любила. Потом эта женщина исчезла, и появилась другая, которая лгала поминутно, лгала каждым шагом и каждым словом, у которой сердце запекалось от любви, которая была безмерно несчастна и чувствовала себя самой счастливой во всей вселенной. И этой женщины уже нет! Какая будет женщина? Прежде всего, совсем бесстрашная. Две страшные вещи есть на свете — разлука с любимым и потеря родины. Первое уже произошло, а второго не произойдет никогда. Чего же еще могу я бояться? О чем же ты плачешь, индийский факир? И как ты смеешь не спать, когда я приказала тебе уснуть?

И она уснула.

Глава XXXII

НОЧЬ И УТРО

Вторые сутки билась головой о кровать, плакала и не спала Катя. Неотступно стояло перед ней лицо мужа с этим выражением жадности и мольбы по отношению к той, которую он так торопливо укрыл собою, и с выражением угрозы, злобы, относившимся к ней, к жене.

Нет, это не ее Митя. Незнакомый, чужой, страшный своей отчужденностью человек. Многие годы она уютно прожила, укрывшись за теплыми, надежными плечами мужа. И вдруг не стало ни мужа, ни тепла, ни укрытия. Мрак, холодный, осклизлый, подобный мраку минувшей дождливой ночи, надвигался на нее со всех сторон, и она кричала:

— Где ты? Куда же, куда же теперь я? Митя, не уходи!

— Как сильно она любит вас!—сказала Рославлева, помогавшая ему ухаживать за Катей.

Но он видел в ее криках не силу подлинной любви, а ужас одиночества, поражающий слабых. Для нее, отгороженной от всех сложностей жизни его заботой, материнство было единственной жизненной задачей, но и чувство материнства, казалось, рухнуло при этом испытании. Она не нашла в себе силы сдержаться ради детей. Она забыла обо всем, и в женской горькой обиде ее было нечто животное.

Он жалел ее, понимал, что она такова и нельзя требовать от нее другого, как нельзя требовать пения от безголосого.

Но от этого понимания ему становилось не легче, а тяжелее. Еще безрадостнее, безнадежнее представлялось будущее. Страдая, жалея, успокаивая, укачивая, отпаивая лекарствами эту женщину, к которой он был прикован, он не мог не сопоставлять ее с той, о которой тосковал не переставая. Та нашла в себе силы навсегда отказаться от счастья ради чужих детей, а эта не смогла и суток совладать с собой ради собственных детей. «Покой детей, который ценой своего счастья оберегали мы с Тиной, она не задумавшись разрушила за полчаса. Как поступила бы Тина в подобном положении?—спрашивал он себя и отвечал:—Она не могла оказаться в подобном положении». Иных женщин можно не понять и недооценить вначале, но с каждой встречей они больше захватывают, глубже входят в душу и со временем становятся все незаменимее, неповторимее. Он знал: Тина из таких. Но если бы все же она оказалась в положении Кати? Он

зажмурил веки и представил себе ее глаза: такие светлые на смугловатом лице, спокойные и нежные. Да, перебродила бы где-нибудь в темноте под дождем и вошла бы в дом с таким же твердым и ясным взглядом. И слезы не уронила бы при детях.

Катя снова громко заплакала.

Он погладил ее плечи. Она, плача, прижалась щекой к его руке. Эта залитая слезами щека, несмотря ни на что, припадала к его ладони! Это переворачивало его. Он сам чуть не застонал. Какая бы она ни была — умная или глупая, вялая или энергичная, хорошая или плохая, нужная или никчемная,— в ней были безграничное доверие, безмерная преданность. Ударить по доверию и преданности.... Он мог с самого начала обдумать и сказать: «Не та... не любимая». Но взять и пить из предложенной чаши и потом ни за что ни про что отбросить? Перед которой из двух женщин он виноват больше? Но как она кричит! Если б хоть капля воли...

— За что? За что? Лучше б ты убил меня! Дай мне самой убить себя!

— Катя! Дети! — Он глазами указал на дверь.

— Ах, зачем я не бросилась тогда в воду! Я хотела умереть!

Ни мысли о детях, ни воли, ни разума, ни достоинства. Но как рыдает, как терзается! Как же он сумеет вернуть ей покой, в котором одном ее жизнь и блаженство?

Он жалел Катю, тревожился за нее, окруженную его заботой и всяческим благополучием. И не тревожился за Тину, одинокую, вышвырнутую из привычной колеи неизвестно куда. Живая сама, она всегда будет притягивать к себе живое, и жизнь будет плескаться вокруг нее, играть всеми своими переливами. Он не тревожился о Тине, он лишь тосковал о ней и завидовал всем тем, кто увидит ее светлые глаза, ее улыбку, ее нежную, чуть горьковатую, но такую освежающую иронию.

— Не уходи,— плакала Катя.— Я не в силах жить без тебя. Я не буду жить без тебя.

Рыжик в трусах и майке вошел в комнату.

— Мама, пусть он уходит... Если он хотел оставить нас ради той, то пусть он совсем уходит от нас.

Уже не с жалостью, но с ожесточением взглянул Бахирев на бессильное тело жены.

«Щадя сына, я терял все. А эта никого не пощадила! Ни о ком, кроме себя, не в силах подумать. Как с такой жить?! Не уберегли сына!»

Катя начала рыдать еще громче. Он заметался меж ней и сыном.

— Катя, перестань! Катя, успокойся.— Он подошел к

сыну. Сын был ему дороже и ближе всех, и он не побоялся сказать, глядя прямо в потускневшие, уже не мальчишеские глаза: — Я не хотел оставить вас, Рыжик. Но я очень полюбил ее. Когда ты вырастешь, ты поймешь. Но вы мне дороже. Я никуда не уеду от вас. Уйди пока. Потом я объясню тебе все. Сейчас дай мне успокоить маму. Уйди.

Мальчик ушел.

— Катя, пойми,— снова продолжал он,— то кончено... Такого раньше никогда не было и никогда не повторится... Я буду тебе таким же преданным мужем, каким был долгие годы. Возьми же себя в руки. Я виноват, но ведь дети, дети не виноваты! Казни меня как хочешь, но зачем же терзать их?! Ведь они не спят, мучаются не меньше нас. Смотри — что стало за эту ночь с Рыжиком? Ты взгляни на него! Или ты не мать ему, Катя? Казни меня любой казнью, но подумай о них.

Она продолжала биться и плакать. Рославлева увела детей к себе. Бахирев попросил сестру впрыснуть Кате снотворное.

Впервые за полутора суток в доме настала глубокая тишина. Бахирев вошел к себе в кабинет, снял пиджак, грузно сел в кресло и закрыл глаза, прислушиваясь к дыханию жены, к тревожному шороху тополей за окном. Каждый лист бился и что есть силы рвался куда-то, тысячи маленьких парусов кипели в темноте за окном. Ночь была ветреной, но дождь прекратился. Вихрем разогнало тучи. Катя всхлипнула во сне. Если ее оставить, она не сможет жить, она действительно способна убить себя.

Если б это было возможно — оставить ее! Расстаться с ребятами? Оставить их во власти этой рыхлой и подавленной горем женщины? Во власти уныния и бессилия? Как просто такие проблемы разрешал его отец! Произвел сына и, не раздумывая, швырнул в угол меж водочными бутылками — пусть растет как знает. Как просто их и сейчас разрешают многие! Полюбил новую — бросай старую! Выложил алименты — и ходи гордо! Почему же для него, выросшего возле такого отца, оказалось невозможным шагнуть через счастье детей? Как происходила «мутация» характера? Слова о социалистической этике, об ответственности коммуниста перед партией, родительские собрания в школе, статьи в газетах о многодетных семьях, ордена за материнство, милиционер, останавливающий сотни машин перед шеренгой карапузов... Все привычно, почти незаметно... А глядишь — оно уже становится твоей плотью и сидит в тебе, и уже нельзя отойти от этого, как нельзя отойти от самого себя. Тина говорила: «Процесс

очеловечивания орангутангов». Он таки действительно происходит! И кто бы знал, как он иногда мучителен...

Бахирев встал, прошел в ванную, подставил голову под холодную струю — охладить кипение мысли. В мгновение перед смертью человек способен припомнить всю жизнь, от рождения. В дни катастрофы мысли не столь молниеносны, но так же кипуч и всеобъемлющ их поток.

Вода не охладила головы. Он прибегнул к Тининой иронии: «Орангутангам было легче!» Но и ирония не спасала. Мысль бежала дальше.

Коммунистическому человеку тоже будет легче. Таким, как Чубасов и Рославлев,— им уже легче. А мне еще трудно. И Кате. И Тине. Если б Катя отдала детей! Тина воспитала б их лучше. Но они и не уйдут от матери. И он не сможет пойти на такую жестокость, не отнимет их у нее. Если представить себе проникновенный суд коммунистического будущего, суд высшей справедливости? Может быть, высшей справедливостью было бы соединить тех, кто создаст лучшую семью, и отдать детей той, кто будет им лучшей матерью? Но справедливо ли отнять их у женщины, которая, давая им жизнь, сама рисковала жизнью? И справедливо ли губить одну жизнь даже ради нескольких? Счастье одних, построенное на несчастье другого? Разве вся этика будущего коммунистического общества в своей глубокой и простой сущности не сводится к тому, что счастье одного не должно строиться на несчастье другого? Разве не на этой простой основе зиждется та коммунистическая мораль, которая рождается в нас иногда с кровью? Но может ли быть в том коммунистическом мире человек, подобный Кате,— скудный мыслью и рыхлый душой? Или человек с пробоиной в сердце, подобный Тине? И будет ли жить в том коммунистическом мире существо, подобное ему, Бахиреву, существо, одержимое властным стремлением к высокому, справедливому миру коммунизма и подвластное порой иным страстям?

Иным будет будущий суд, иными будут судьбы и характеры. Наше счастье в том, что все больше в нашей жизни проводников коммунизма, верно следующих за первым и лучшим из них — за Лениным. Наше счастье в том, что капиталистическая собственность — главная преграда на дороге к коммунизму — снесена. Но битвы на дороге еще не кончились.

Поезд пролетел за окном. Бахирев взглянул на часы: «Да, как раз время... Это проехала ты, Тина...» Он бросился к окну, но не увидел ничего, кроме темных деревьев, крыш, заводских труб. Только мерный звук колес и паровоза прорывался сквозь мятежный шелест

отяжелевшей от влаги листвы. Мерный стук колес, мерное пыхтение паровоза: пф... пф... пф... Давно уже нет поезда, а звук все не затихает. Это не поезд... Это бьется сердце.

«Уехала Тина... Любимая, друг, жена, единственная, которая могла бы так украсить, так обогатить, так осчастливить каждый час, каждый миг моей жизни! Мы встретимся еще. Когда? Через годы? Но что такое годы? Тина не из тех, кто забывается с годами. Тина из тех, кого с каждым годом понимаешь все глубже, ценишь все больше, вспоминаешь все чаще. За что расплачиваемся мы этой болью разлуки? За любовь? Но такая, как наша, любовь никогда не была преступлением, требующим расплаты. За ошибки давнего прошлого? За измену самим себе? За то, что когда-то, в очень давние годы, пошли по инерции, по течению, пошли не своею дорогой? Ведь оба где-то в самой глубине сознания понимали: еще не пришло то единственное, незаменимое, без чего невозможно жить на свете. Оба хотели уйти от трудностей жизни: я — в Катину тишину, Тина — в покой Володиного дома. Тишина, покой, жизнь по инерции не для нас. Не столько за измену Кате и Володе расплачиваемся мы сейчас, сколько за давнюю измену самим себе... Силы инерции рано или поздно отомстят за себя, если их не преодолеть, если жить, уступая им».

Он прошел в детскую, в кухню, постоял в прихожей; он кружил по квартире, обходя только одну комнату — спальню жены.

Снова вернулся в кабинет. Одинокий зовущий свисток донесся издали. «Прощай, Тина». Он закрыл глаза. Какая-то часть его существа должна быть погашена, выключена из жизни. Долго сидел он так, а когда поднял веки, удивился мирному свету настольной лампы, неприкосновенному спокойствию кабинета.

«Я верну Рыжика,— подумал он.— Я верну ему дом. И Рыжик придет».

Так же, как недавно Вальган, он подошел к окну. Увидел россыпь заводских огней, огненные арки и звезды. Сколько надо было рук и сердец, чтоб на месте руин зажглись эти огни! Пережитая боль сделала его ближе к людям. Не огни арок, но судьбы людей — судьбы тех, кто несет сейчас в цехах ночную вахту или мирно спит в заводских поселках, видел он перед собой в эту ночь. Вчера он прошел мимо Даши и Сережи, на миг растрогавшись, но не взволновавшись их судьбой. Сейчас их юность, нелегкая, но чистая и здоровая, вставала перед ним из огней, из звездной ночи, из трепетного шума листвы. Они сейчас не вместе. Почему, почему они не

вместе? Из-за того, что не нашлось для них стен, крыши, окон, дверей? Своя боль стократным эхом откликалась на боль других. Сильнее, чем они сами, почувствовал он сейчас горечь их разлуки. Лучше, чем они, понимал он, чего стоит пропущенная минута счастья. Они должны быть вместе! Как можно человеческое счастье ставить в зависимость от леса, кирпича, железа? Нужно достать стройматериалы. Если не лес и не кирпич, так хоть шлакоблоки, другие материалы... Мало ли их. Можно делать даже на заводе. Или централизованно в области. Гринин пойдет на это, заразится этим, поможет.

Кипение мыслей не прекратилось, энергия, разбуженная катастрофой, не иссякла, но она уже не бушевала, она меняла направление и вливалась все в то же излюбленное, проторенное, исконное бахиревское русло — в работу.

...Вступало в привычные права то, что показалось бы противоестественным для многих, но было характерной особенностью Бахирева, то, что одни называли одержимостью, а другие творческим горением, то, о чем Тина говорила «талант»...Способность при любых обстоятельствах самозабвенно жить своим делом, и находить в нем счастье, и изо всех сил служить им народу.

Если бы он делал величайшие атомные машины, но предназначенные для порабощения и уничтожения людей, он не смог бы работать от тоски неудовлетворенности и раздвоенности. Но там, где труд служил человеческому счастью, не было ни мелкого, ни безразличного, ни скучного; вкладыши, противовесы, стройматериалы — все облекалось животрепещущей плотью, все становилось пафосом бахиревской жизни.

Стройматериалы будут, продолжал он думать. Нехватка строительных организаций? Какая нелепость! Да разве они не пойдут строить для себя сами? Он заразит их этой мыслью, опытом собственного сердца. Если б ему пришлось своими руками строить дом для жизни с Тиной? Он не спал бы, не ел, и каждый кирпич стал бы радостью. Надо строить не один дом, а целые улицы. Помочь тем, кто любит, кто рад поработать для любимых, для семьи, для счастья. Доброе оружие должны делать счастливые люди с добрыми руками. Он уже видел поселок, новые дома, новые улицы. Улица Радости, улица Молодоженов, улица Бойцов Доброго Оружия, улица Любви...

Он провел рукой по лбу. Странная фантазия! Но эта фантазия облегчила боль. Нет, это не фантазия. Это потребность, необходимость, реальность. У тоски есть лишь один выход, один отток — делать для людей то, чего неутолимо хочешь для себя! Он до сих пор еще не мог определить, с каких больших шагов начать новое восхож-

дение. Может быть, это и будет одним из его первых директорских дел? Помочь выйти заводу из многолетнего послевоенного жилищного голода?

Он вспомнил часы, проведенные в мраморной комнате, и осудил прежнего себя, фанатика технического прогресса ради прогресса. Разве может такой человек стоять во главе социалистического завода? Но как медленно иногда проникают даже самые очевидные истины в человеческое сознание!

Сущностью всего происходящего в мраморной комнате была борьба за счастье людей, и казалось, он понял это всей глубиной мозга. Но вот понадобились еще и раны в сердце, чтоб и сюда могло проникнуть это понимание! Трудно перестраиваются люди! «Трудно «очеловечиваться орангутангу»! — опять вспомнил он Тинину иронию.— Всем так трудно или только мне?»

Катя спала глубоким сном. Он отодвинул рабочее кресло и сел. Два долгожданных последних министерских приказа лежали на столе. Приказ о передаче производства дизелей одноименному заводу и о строительстве новых цехов. Сперва он с трудом вдавливал в мозг строки и цифры, потом произошло неожиданное. Если электростанция работает с полной нагрузкой, предельным напряжением, то когда в одной половине города выключают свет, то в другой огни загораются с удвоенной силой. Это случилось с ним. Одна сторона его натуры усилием воли была погашена, выключена, а все силы его, весь внутренний огонь сосредоточились на другом: на самом коренном, самом поглощающем, самом привычном — на работе. Каждая строка и каждая цифра вдруг вспыхнули, ожили, заговорили. Министерство, согласно старым требованиям, отпускало средства на строительство двух новых, больших цехов. На заводском дворе не было места. Снести старые цехи? Но если завод отдаст производство дизелей, освободятся большие площади. Центральные цехи стояли тремя рядами. Если соединить торцы этих рядов? В плане они получат форму буквы «Ш» — три параллели, соединенные с одного края четвертой, поперечной полосой. Средства, данные на строительство двух цехов, употребить на реконструкцию всего завода. Соединить три основных корпуса четвертым, провести подземные и воздушные конвейеры. Свести до минимума внутризаводские погрузки, разгрузки и перевозки.

Он уже видит этот стройный и мощный поток деталей. И главная схема планировки будущего завода, и частности производства — все то, что в иное время потребовало бы многодневного, кропотливого труда, возникало в мозгу зримо и отчетливо. Никогда прежде не испытывал он

подобного состояния. Мысль торопила, и рука не успевала за мыслью, набрасывала лишь основные линии чертежа, лишь первые слоги слов. «Потом разберусь, дочерчу, допишу... Сейчас только б не упустить, только бы зафиксировать то, что в уме».

Это можно было назвать озарением.

Бахирев очнулся, когда забрезжило утро. Он выключил свет, но мир еще был бескрасочен — лишь тени различной густоты наполняли комнату. Алый ковер на стене еще казался бархатисто-черным, голубая диванная подушка выделялась на нем светлым, бескрасочным пятном.

Он прилег, еще раз обдумывая намеченное. Он видел, как наверху, под потолком, зажегся винно-красный край ковра, как на верхних полках появилась прозелень книжных переплетов. Краски медленно выплывали из сумрака.

Тихо скрипнула входная дверь — ее так и не закрыли ночью. Бахирев оглянулся. На пороге кабинета стоял Рыжик. Хмурый, растрепанный, похудевший за ночь, наверное, ни на миг не уснувший, он не глядел на отца и не говорил ни слова. У него было не по-детски скорбно-сосредоточенное лицо. Спортивная тапочка на левой ноге была плохо зашнурована. Бахирев вспомнил «разнесчастного» мальчика на вокзале. Не уберегли... К кому он пришел? К отцу или к матери? Нет, не к ней. Он стоит на пороге кабинета. Зачем он пришел? Еще раз сказать отцу: «Уходи»? Он стоял молча. Бахирев узнавал в нем свое упорство, свою неловкость, свои тяжелые веки. Детство, когда-то отнятое у него самого, стояло на пороге. Неужели оно будет отнято второй раз? Он хотел протянуть сыну руки и не смел. Но Рыжик потоптался на месте и, не поднимая век, двинулся к отцу. И снова Бахирев узнал в нем себя — свою тяжелую походку, свои сомкнутые губы. «С чем ты идешь ко мне?» — хотел он спросить и так же, как сын, не смог разомкнуть губ. Золотая прядь приблизилась к окну и вспыхнула в первом луче. Бахирев не мог удержаться. Он поднял руку, нерешительно коснулся волос и тут же убрал ее. Мальчик не пошевельнулся. Не простит. Пришел с обвинением. Пришел еще раз сказать: «Уходи». Они стояли молча, вплотную друг к другу. Чуть повернувшись, Бахирев увидел в зеркале отражение обоих.

На голове мальчика, растрепанной несмелою отцовскою лаской, топорщился такой же вихор, как у отца. Насквозь пронизанный первым острым лучом, он горел, как язычок пламени. Оба вихрастые, оба насупленные, оба мрачные, они стояли рядом и молчали с равным упорством. В другую минуту Бахирев рассмеялся бы над

двумя вихрастыми и равно мрачными фигурами. Сейчас ему было не до смеха. Но как же они походили друг на друга! Даже в этом молчании Бахирев узнавал себя. Сын! Бахирев снова поднял неверную руку и осторожно обнял сына. Мальчик не прильнул и не отстранился.

— Я пришел сказать тебе, папа...

Он умолк, и Бахирев с замершим сердцем ждал: с чем же пришел к нему его мальчик, о чем думал он в эту ночь?

Рыжик долго молчал, не в силах договорить. Потом отстранился от отца, сильнее нахмурился, начал всю фразу сначала и проговорил тихо, сердито, но уже залпом:

— Я пришел сказать тебе, папа, что я все равно тебя люблю.

Бахирев уже с силой притянул его к себе. Огненные волосы сына коснулись щеки. Бахирев обнимал его, прижимал к лицу его голову. Не сразу он почувствовал ответное движение. Выпуклый горячий лоб мальчика плотно прижался к отцовской щеке.

— Ты колючий сегодня...— Он еще сильнее прижался и сипло сказал куда-то в отцовскую шею, в подбородок: — Я тебя все так же люблю...

«Почему мы считаем, что дети не всё понимают?— думал Бахирев.— Понимают острее, глубже взрослых». Маленький мужчина понял все. Понял и то, чем была Тина, и то, чем пожертвовал их отец...

Рыжик кивком указал на дверь спальни:

— Я к ней с утра позову доктора.

— Хорошо.

Он не только понял цену жертвы, он хотел помочь. Бахирев отстранил его от себя, чтобы лучше видеть. Как горела рыжая прядь! Вот таким, огненным, золотым, нарисовала его Тина. Она видела все. Она знала Бахирева лучше, чем знал себя он сам. Лучше его самого понимала она, что он ни на миг не сможет быть счастлив и покоен без Рыжика.

Налюбовавшись сыном, он опять прижал его к себе.

— Мы вместе...

Какое облегчение было в том, что они вместе! Какое счастье было в том, что не утрачен сын, что не разрушена его вера в отца, а значит, и его вера в мир!

Они молча стояли рядом, как двое мужчин, как два преданных, все без слов понимающих друга, как отец и сын.

Он пошел на завод на рассвете. Ветер, разогнав тучи, утих, и лишь листья на темных деревьях слабо вздрагивали, словно вспоминая о ночном урагане. И листья, и

травы, и цветы были полны влаги. В живых чашах лежали круглые, еще матовые капли.

Бахирев шел по пустынным улицам, не замечая окружающего. Он был сосредоточен на одном стремлении — владеть собой, не думать о том, о чем думать горько и бесполезно.

Не торопясь поднялся он в свой кабинет. За окном слышалось старательное тарахтение.

Из сборки на обкаточную площадку, еще влажную и тенистую, выползали тракторы. Почему сегодня мила сердцу и их неуклюжесть, и их старательность? Они смотрели дружелюбно, но укоризненно: вот, мол, какие неуклюжие по твоей милости, а ведь гляди, как стараемся!

Он видел в них теперь не просто сгустки организованного металла, не просто машины, но то доброе оружие, которым надо завоевывать счастье миллиардов людей, завоевывать коммунизм. Доброе оружие, оружие счастья должны делать добрые и счастливые руки. Жизнь рабочих, справедливая оплата их труда, непосредственная и максимальная заинтересованность их в непрерывном прогрессе — вот на чем сосредоточить мысли и волю!

Секретарша вошла к нему, посмотрела расширенными от любопытства глазами.

— Вы вызывали... насчет квартиры... Примете или отмените прием?

Он усмехнулся про себя: «Смотрят как на прокаженного».

— Зачем же отменять? Зовите.

Даша и Сережа провели воскресенье в заводском доме отдыха и, вернувшись в понедельник, проехали прямо на завод. Новый директор назначил им прийти до начала смены. Даша была полна надежд.

— Как-нито, а устроит нам комнату, вот ты поглядишь.

В приемной к ним подошел Синенький.

— Плакал наш жилищный вопрос! У него у самого крыша горит над головой! Ему не о наших крышах, о своей впору думать.

Он рассказал о субботнем происшествии.

Юному сердцу потребно верить в больших, справедливых людей. Для выросшей без отца Даши Бахирев стал такою верой. Сережа говорил о нем: «Этот станет меж других директоров передовиком и новатором. Настоящий коммунист». Он был «их директор», опора лучших людей завода поборник передовых начинаний. И вот свою новую

деятельность он начал с громогласного скандала. Грязь пачкала не только его, рикошетом пятнала она связанные с ним радостные ожидания людей и высокие их устремления. «Ты не осудишь меня, Даша?» — однажды робко промолвила Тина. Даша не могла не осудить. Она даже говорить с Бахиревым не могла сейчас.

— Не пойдем, Сергуня. В другой раз! — шептала она Сереже.

Но секретарша сказала:

— Дмитрий Алексеевич вас ждет.

Даша вошла в кабинет, не смея взглянуть в лицо Бахиреву от стыда за него.

— Садитесь, садитесь. Поговорим.

Она удивилась тому, что голос звучал спокойно, только мягче и глубже, чем прежде.

— Сначала о тебе поговорим, Сережа.

Внимательно и неторопливо расспрашивал он Сережу о его желаниях, замыслах, заработках, учебе. Сережа разговорился, а Даша слушала, по-прежнему боясь поднять ресницы.

— Имел бы я образование, сколько бы мыслей я осуществил! — говорил Сережа.— Знал бы я физику, разве бы не мог, допустим, использовать фотоэлемент для переключения хода станка? Меня эти фотоэлементы прямо зазывают к себе. Сколько еще можно понаделать чудес!.. А я пока и простого не могу. Возьмусь подсчитать высоту и то застопорю. Вот все говорят — рабочему, фрезеровщику ни к чему высшая математика. А я скажу, что хорошему фрезеровщику высшая математика так же нужна, как инженеру.

— Думал я о тебе. Что сделать для тебя? Как тебе лучше? Может быть, выдвинуть тебя в экспериментальную лабораторию? Или в своем цехе мастером, начальником участка?

— Эх, Дмитрий Алексеевич! — Даша услышала обиду в словах Сережи.— И вы до сих пор не понимаете, в чем корень вопроса! — Он двинул стулом с гневным укором.— Да разве скрипач бросит свою скрипку и пойдет заведовать филармонией? Да вы и не предложите такого хорошему скрипачу. Разве какому никудышному! А для меня мой станок не хуже скрипки. Я каждую свою фрезу по голосу различаю! И вы мне: «Покинь свой станок!» Уж кто б другой говорил, а от вас обидно!

— Ну, прости. Что же для тебя сделать? Я понимаю твои обиды. Только должен тебе прямо сказать: не в одном Гурове беда. Трудностей еще много. Растем мы и сами себя обгоняем.

— Это я понимаю, только все же обидно.

Они продолжали говорить, а Даша несмело, косо взглянула на Бахирева.

Он заметил это:

— Не горюй, Даша, с жильем устроим. Вот какое дело, ребята. Деньги мы найдем. Материалы тоже раздобудем. А строителей у нас нет. Хотите объединиться с такими же, как и вы, и к осени сообща выстроить себе дом, по своему плану и вкусу?

Даша знала, как трудно на заводе с жильем, почти смирилась с мыслью отгородить себе уголок в кухне у Василия Васильевича. Комнатка в общежитии была пределом ее желаний. И вдруг заговорили о целой квартире, которую можно спланировать, покрасить, отделать по собственному вкусу, о квартире с газом, с водопроводом, даже с ванной. Она боялась дохнуть, как бы не отлетела, не разрушилась эта готовая воплотиться мечта...

— Там, в приемной, еще Синенький с Тосей по этому же вопросу. И еще ребята из моторного.— Ей казалось, что чем больше людей ухватится за этот замысел, тем он станет реальнее.

— Зовите их всех.

Чубасов спешил в кабинет Бахирева, ожидая увидеть его подавленным, растерянным, одиноким. Он нашел Бахирева в плотном кольце разгоряченной молодежи. Все разглядывали и обсуждали какие-то планы.

— Эту стенку можно будет повернуть и так, и так, и так. Смотря по желанию жильцов,— говорил Бахирев и передвигал на плане спичку, изображавшую стену.

Он казался таким же разгоряченным и взволнованным, как окружавшие его комсомольцы. Лицо его стало бледнее, чем раньше, а темные глаза словно выросли.

Чубасов тихо присел в стороне.

Разговор закончился, все вышли, только Даша задержалась у порога. Бахирев, сразу погрустневший, в тишине сказал ей:

— Все организуем, Даша. Не теряй надежды.

У нее вырвалось:

— Ой, уж как хотели бы мы... на вас надеяться...

Только когда она ушла, Бахирев понял, что стояло за ее словами — недоумение, укоризна, призыв к ответу. Вот уж не думал, что ему придется «отвечать» за себя, за Тину и Катю перед молоденькой стерженщицей... Странно сплеталась его судьба с судьбой этой девушки. Когда-то первая она обдала его доверием в грохоте чугунолитейного. Странно? Нет, что же странного? Есть многие судьбы, которые неизбежно рано или поздно сливаются, сплета-

ются, потому что образуют один поток. Такова судьба его самого, Даши, Сережи и бедного Чубасова, который сидит здесь, придавленный всем происшедшим с Бахиревым. Есть судьбы, которые временно текут где-то рядом, параллельно, а потом уходят в сторону, в песок... Такова судьба Вальгана.

— Ребята хотят сами построить для себя дом,— обратился Бахирев к Чубасову.— Средства и материалы мы найдем. Это только первая проба. Будем строить новые поселки.

Он рассказал Чубасову о своих планах строительства жилья для рабочих.

— И насчет перестройки завода у меня новая идея. Видишь, что получается.

Он объяснил свои наметки.

«Сделать все это за ночь...— думал Чубасов.— И за какую ночь! Сколько б он своротил, если б сам себе не чинил помех!»

— Знаешь, чего мне сейчас хочется?— не сказал, а сквозь стиснутые зубы процедил он.— Дать тебе.— Он поднял каменный кулак.— Да так, чтоб влёжку... Чтоб не скоро поднялся...

Кулак опустился, но оскал стиснутых металлических зубов зло поблескивал из-под ощеренной, приподнятой верхней губы. Бахиреву вспомнилась «жениховская» улыбка первой встречи. Вспомнились слова, сказанные на улице имени сталевара Чубасова: «Технику совершенствуй, сам совершенствуйся... не теряй своего достоинства, соответствуй своему положению. Не перед соседями ответственность — перед человечеством...»

— Что ж не размахнешься?

— Жалко...— Где-то в гуще великолепных ресниц, в глубине чубасовских глаз мелькнула жалость, но он торопливо спрятал ее и сказал еще жестче: — Да не тебя жалко! Руки жалко марать.

Вошла секретарша и доложила:

— Инженеры собираются в кабинете директора.

Бахирев вспомнил, что сегодня он должен был перебраться в кабинет Вальгана и там назначил совещание командного состава завода.

— Пошли,— сказал Чубасов.— Ты соображаешь, что ты наделал? Чтоб все это загладить, чтоб вести за собой людей, надо вдвойне, втройне... Надо дышать, надо жить заводом!..

— Что же у меня еще остается?— тихо возразил Бахирев.— Не здесь.— Он кивнул на стены кабинета.— Здесь!— едва заметным движением он указал на грудь.

Знакомые панели и портьеры. Знакомая винно-красная

дорожка. Она обладает свойством то сжиматься, то растягиваться до непомерной длины. Сегодня она опять невыносимо длинна.

Все уже были в сборе. Со всех сторон смотрели глаза, осуждающие, брезгливые, острые, любопытные. «Как поведет себя новый директор после скандального происшествия? Как выкарабкается из этого положения?»

Он шел обнаженным. Весь он, со своими ошибками и замыслами, принадлежал им, людям, с которыми собирался работать годы и годы. И казалось, чем тверже шаг, тем больше и осуждения и непонимания во многих глазах.

Рославлев сидел полуотвернувшись, ощетинив брови и спрятав за ними взгляд. «И смотреть на меня не хочет»,— понял Бахирев. Но брови дрогнули. Взывающие к глубинам человеческой совести глаза на миг взглянули с гневом, укоризной и даже с какой-то наивной обидой. «Мы за тебя горой, мы к тебе с полной душой, как к лучшему из нас, а ты мордой в грязь!» — сказал этот мгновенный взгляд. Бахирев понял: щетинистобровый представитель династии правдолюбов Рославлевых не прощает. Не многим дорожил Бахирев так, как немногословной, верной, деятельной, почти фронтовой дружбой Рославлева. Год упорного труда понадобился для того, чтоб завоевать рославлевское уважение. Легче получить то, чего не имел, чем вернуть то, что утратил...

Он встал за стол Вальгана и взглянул в окно. Мягко золотились дымы и облака. Острый отсвет зари зажег высокие трубы, и они заалели в высокой голубизне. Все в искрах и солнечных бликах, сияли травы. Заря плескалась в реке. Перед ним лежал завод с Тининой картины, золотой и розовый, словно вышедший из мойки под давлением в несколько атмосфер и ополоснутый самою зарей. Он на мгновение смежил веки, пересилил себя и заговорил:

— Позавчера я получил приказы и сделал первую, приблизительную наметку. Прошу обсудить, товарищи.

Все заметили минутную заминку и ждали, что будет дальше. Но он говорил спокойно. Он не был ни подавлен, ни развязен, не каялся безмолвно и не делал вида, что ничего не произошло. Он уже был полностью поглощен делом. Он приколол кнопками к стене свои схемы и говорил о своем замысле, с каждой минутой сильнее увлекаясь сам и увлекая других:

— Передача производства топливной аппаратуры и моторов специализированным заводам и расширение производства дают возможность для такой массовости потока, когда сам поток будет снашивать, смывать оснастку и тем способствовать самообновлению! Исчезнет консерва-

тивность, неизбежная при поточном производстве средней массовости. В полной мере выявится та прогрессивная сущность поточно-массового производства, которая заложена в потоке великой массовости.

Он развертывал перед ними свои планы, захватывал ими и, несмотря ни на что, заставлял уважать себя, человека со страстями, с ошибками, но с великой преданностью общему делу и с несгибаемой силой преодоления. Острое житейское любопытство постепенно гасло во многих глазах, сменяясь углубленным интересом к задачам будущего.

Чубасов слушал нового директора и дивился ему. Что стояло за этой увлекающей речью? Скрытность и редкое самообладание? Может быть, поза гордеца, который не хочет, чтоб его увидели ослабевшим, раздавленным? Нет. Не было ни роли, ни позы, ни скрытности. В лице, перевернувшемся за сутки, в том, как он сказал Чубасову: «Что же у меня еще остается?» — открытая и не стыдящаяся себя скорбь. Он естествен в каждом слове, в каждом порыве.

Чубасов понял — он и тут верен себе. Все преодолевающее, самозабвенное увлечение делом уже захватило его, подняло над самим собой и над собственными ошибками.

Бледное лицо Бахирева, казалось, говорило ему: «Я лишился многого. И все же ничто не может лишить никого из нас чести и радости быть людьми доброй воли, бойцами доброго оружия, победителями в трудной борьбе за счастье двух с половиной миллиардов живущих на земле».

И, глядя на это лицо борца, на эти стянутые узлом к переносью, круто изогнутые и разлетающиеся к вискам брови, на вихор, словно вздыбленный от избытка сдержанной энергии, на плечи атлета, Чубасов думал о том, как трудно еще даже такую благотворную, но подчас захлебывающуюся от собственного избытка силу направить по верному руслу, чтоб текла, не теряя мощи и не допуская опустошительных разливов. Сколько для этого надо зоркости взгляда, точности шага и верности намеченной цели!

1957

КОММЕНТАРИИ

БИТВА В ПУТИ

Впервые роман опубликован в журнале «Октябрь» в 1957 г. (№ 3—7), отрывки из него публиковались в «Литературной газете» («Битва» — 1955, 25 октября) и в журн. «Советская женщина» («Даша» — 1956, № 2).

Еще работая над романом «Жатва», Г. Николаева, будучи под впечатлением от Уренской ГЭС, задумала новый роман о гидростроителях.

Однако дальнейшие поездки по стране, новые волнующие впечатления изменили замысел. «Галина Евгеньевна заговорила о поездке в Сталинград,— пишет М. В. Сагалович,— взяла со стола толстую ученическую тетрадь и, проглядывая торопливые записи, увлеченно рассказывала о поднявшемся из руин заводе, о тракторах и, конечно, о людях. О волевом директоре завода, упрямом, несмотря на сопротивление сверху, и гнущем свою линию Иване Флегонтовиче Синицыне...» (Воспоминания о Галине Николаевой. М, 1984, с. 206). Однако писательница пока еще не обнаружила такой проблемы, которая могла бы вырасти в общечеловеческую и вскрыть общественные противоречия. «Летающие противовесы» коленчатых валов на Харьковском тракторном заводе и попытка выдвижения создателей тракторов этой несовершенной конструкции на соискание Сталинской премии — окончательно утвердили Г. Николаеву в намерении создать роман о тракторостроителях.

Роман «Битва в пути» — плод семилетней работы романиста. Сохранилось множество блокнотов и тетрадей с записями, которые условно можно разделить на: 1. Зарисовки характеров с натуры; 2. Технические конспекты с чертежами, схемами и пр.; 3. Планы и разработки образов. В заметках об организации производства, в записях бесед со специалистами — острый взгляд исследователя жизни. «По каждому вопросу ждут команды! Даже секретарь обкома!» — читаем в одной из записных книжек

(ЦГАЛИ, ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 73[1]). Описание одного из прототипов Вальгана, главного инженера крупнейшего завода, впоследствии снятого и исключенного из партии — сопровождается кратким резюме типа «История о человеке, который забыл, что он — доверенное лицо народа и вообразил, что он «хозяин» (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 5).

«Почти все мои герои,— рассказывала писательница на читательской конференции,— живые люди, но писала я эти образы со многих людей. Например, любимый образ Даши написан с девушки-стерженщицы Сталинградского тракторного завода Маши Ильясовой. Она пришла девчонкой на завод. Я взяла даже многие ее выражения, например, «Я такая мнимая», ее рассказ о своей матери, о первых днях работы на заводе, когда она не могла дать норму, как на нее нарисовали карикатуру в стенной газете, ...ее любовную историю» (ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 58). О том огромном жизненном материале, который был собран во время бесед с рабочими и послужил основой для создания большинства образов романа, рассказала писательница в статье «Живые голоса» (Октябрь, 1957, № 11, с. 182—191).

Кроме этих непосредственных жизненных впечатлений на разработку образов повлияла глубоко продуманная идейная структура произведения. «Разметка по частям», намеченная Г. Николаевой, в одном из черновиков выявляет философско-историческую канву романа: «Часть I. 5/III—53 г.—5/VI—53 г. Вход новых сил в формы, выпестованные Бликиным и Вальганом. Часть II. 5/VI—53—5/IX—53 г. Столкновение новых сил со старыми. Разгар борьбы. Часть III. 5/IX—53—10/III-54 г. Перелом» (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 1). Уже здесь типажность героев, их нравственная сущность теоретически выверены и уточнены. Прежде чем перейти к описанию симптомов, автор в своих черновиках ставит диагнозы. Вальгану: «Отношение к рабочим, к учебе, к науке и ученым,— все подчинено закону внешнего порядка, внешнего совпадения с законами социализма — закону самосохранения» (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 5, л. 6). Бахиреву: «Талант, страстность, одержимость — прелесть образа, диалектика и критика образа в том, что страстность превращается в подвластность страстям» (*там же*, л. 32).

1954—1955-е годы — время наиболее активного ознакомления с работой Волгоградского тракторного завода и МТС, Харьковского тракторного завода. Но, как видно из документов, в 1955 г., когда Г. Николаева заключает в издательстве «Молодая гвардия» договор на издание романа «Дмитрий Бахирев» о людях послевоенной колхозной деревни и о рабочих тракторных заводов (ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 197), окончательный план романа еще недостаточно определен.

1955—1957-е годы — время самой напряженной работы над

[1] Далее, как и здесь, указываются фонды ЦГАЛИ.

романом и одновременно — время обострения тяжелой сердечной болезни. В 1956 г. в письме из Киевской больницы отчаявшаяся писательница подводит итог: «...все же дотянула роман до того, что для «посмертного» годен, на мой взгляд. Хотя нет важнейшей главы — ЦК!» (Архив М. В. Сагаловича).

Г. Николаева несла свой взгляд на миссию романиста. Отмечая стремительность развития советского общества, писательница пыталась найти выход из противоречия между быстротекущим временем и «глобальностью» жанра. «Роман требует порой десятилетней работы,— писала она,— но жизнь не ждет! В своем стремительном развитии она захлестывает не только наших героев, но и нас — писателей! Нам тоже хочется идти в ногу с ней! Что же делать? Отрабатывать книгу десятилетиями, как это делали Флобер, Гончаров, Лев Толстой? Но тогда вся наша литература заранее обречена на отставание, так как темпы нашей жизни неузнаваемо изменились» (О романе нашего времени.— В кн.: Держать руку на пульсе жизни. М., 1958, с. 24).

Ритм работы над романом был необычайно напряжен. Писательница знала, что цена расплаты этому — её жизнь. Торопливость шла не столько в ущерб роману (по многу раз переписывались целые главы, текст неоднократно редактировался и перерабатывался), сколько в ущерб здоровью. Первый вариант романа, названный «Битва» и содержащий пока еще не все главы окончательного варианта, был готов в 1956 г. Его сюжет — проще и стремительнее.

Уходя в следующем варианте в глубь моральных и социальных проблем, Г. Николаева замедляет и усложняет сюжетную канву. Так, писательница приходит к принципиально иной основе чувства Тины и Бахирева,— чувства, возникающего теперь в процессе труда. Образ Сергея Сугробина возникает уже не плакатно, а исподволь и в развитии. Уходит Г. Николаева и от «задиристости» как внешнего проявления бахиревского характера, который в первоначальном варианте отстаивает свои позиции следующим образом: «Пусть на каплю меньше такого патриотизма, но на тонны больше чугунного литья», «Любая заграничная марка трактора лучше этой «вершины» советского тракторостроения» (ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 12, л. 227). Зато появляется глава «Деды и внуки», имеющая переломное значение в том, за кем пойдут рабочие завода — за Вальганом или Бахиревым, и вскрывающая корни гражданской зрелости и решительности Сергея и его друзей, оправданной всей линией жизни деда Корнея и Василия Васильевича. Серьезность поднятых проблем потребовала убрать момент фарса, облегчающий сюжет и связанный с образом интриганки Козихиной, в результате деятельности которой произошло в первом варианте «крушение хибары».

Переработанный вариант Г. Николаева предлагает для публикации в журнал «Знамя». Наконец, возвращенная рукопись попадает в журнал «Октябрь». Неудовлетворенность последними

главами романа заставляет писательницу еще раз перерабатывать их уже на этапе версток летних номеров журнала. По ощущению писательницы,— «Глава в ЦК не получилась. Недотянут образ Сугробина, очень уж он «голубой». Не выписан и парторг Чубасов — такие примерные партийные руководители разгуливали на страницах многих книг» (Воспоминания о Галине Николаевой, с. 219).

В верстках, несмотря на тяжелую болезнь, правится линия Сергея Сугробина. Материал о Лупандине — известном фрезеровщике Харьковского тракторного завода как нельзя лучше дополнил образ. «Предложил кокильное литье,— рассказывал Лупандин,— производительность поднялась на тысячу процентов. На столько же процентов снизили расценки. И стал я, изобретатель, передовой рабочий, зарабатывать вдвое меньше сторожа на проходной» (Воспоминания о Галине Николаевой, с. 221).

Серьезным переделкам подвергся роман и после его публикации в «Октябре». Самые значительные изменения связаны с образами Тины и Чубасова. Автора не удовлетворяла история первого замужества Тины, не доставало побудительных мотивов для выхода замуж не по любви. Трагическая история Игнатия по этой причине была перенесена на отца, отчего «не очень умный, но добрый» отец первого варианта значительно изменился. Убрана история картины, приглушена прежняя «воздушность» образа Тины. Прежнее название XXII главы — «Золотое и розовое» — характеризовало основные тона картины, над которой работала Тина, и одновременно символизировало тональность ее души. Значительно отодвинуто осознание Тиной всей глубины своего чувства к Бахиреву.

Осложнился, утратил черты прямолинейности характер парторга Чубасова. Образ «жениха», поначалу представившийся Бахиреву, перевешивался не сразу разгаданной внутренней силой и твердостью духа. Вновь написан разговор Чубасова с Вальганом, вынужденным под влиянием парторга представить Бахиреву место сменного инженера. Написана новая глава — «На улице им. сталевара Чубасова», объясняющая «тыловую» защищенность парторга.

Кроме перечисленных, в романе произведены и другие переделки различного характера, сообщающие бо́льшую напряженность конфликту новых сил со старыми.

Г. Николаева намеревалась написать второй том романа. «Директор завода» — это ориентировочное название следующего романа,— делилась писательница своими замыслами на встрече с читателями,— я хочу написать о Бахиреве, как он будет работать директором завода и о дальнейшей судьбе Сережи Сугробина» (Стенограмма выступления на читательской конференции завода «Компрессор», ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 58). В качестве продолжения романа написана глава «Тина», опубликованная посмертно в виде рассказа (См. том 3 настоящего Собрания сочинений).

Журнальные номера с «Битвой в пути» по выходе из печати становились бестселлерами, но газеты встретили роман почти полным молчанием. Первой появилась резко отрицательная статья (Мурзиди К. О современности и глубине конфликта.— Литературная газета, 1957, 26 сентября). «Статья Мурзиди оплевала работу,— вспоминала писательница.— Газету заставили эту ошибку исправить прежде всего читатели: посыпался поток читательских писем... и «Литературная газета» поместила более обстоятельную статью» (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 58). Действительно, 14 ноября на страницах «Литературной газеты» появилась статья В. Дорофеева «Противоречия талантливого романа», в которой при всех недостатках (наплывы всякого рода красивостей, мотивы мелодраматической взвинченности в обрисовке личных отношений Бахирева и Тины, недоработанность образа Чубасова и т. п.) отмечался «правдивый анализ сущности явления, верное освещение этой сущности».

Критическая полемика по поводу романа перенеслась в номера «толстых» журналов. В. Архипов (От проблемы.— Нева, 1958, № 1, с. 177—182) увидел в романе прежде всего заданность, искусственность образов: «Герой-проблема, герой-недостаток, герой-достижение, герой-параграф, герой-пункт, герой-мероприятие»,— жестко констатировал критик (с. 178). Откликом на эту рецензию явился редакционный материал в журнале «Коммунист» («По поводу характера критики», 1958, № 4, с. 129). «В статье без всяких доказательств,— говорится в нем,— характеризуются и «Жатва», и «Повесть о директоре МТС...», и «Битва в пути» как произведения иллюстративные, сконструированные, идущие от «проблемы», а не от жизни... Автор просто произносит приговор. В статье нет научного анализа. Выступление В. Архипова скорее похоже на зубоскальство».

Дальнейшая критика так и не решилась отнести роман ни к бесспорно положительному, ни к явно отрицательному явлению литературной жизни (Трифонова Т. Книга, о которой спорят.— Новый мир, 1958, № 3, с. 203—213; Злобин Ст. Битва в пути.— Знамя, 1958, № 6, с. 199—211 и т. д.).

«Вот написала Г. Николаева новый интересный роман,— подводил итоги дискуссии один из критиков,— о нем заговорили... Но никто из критиков не проанализировал заботливо, обстоятельно, по-хозяйски новаторских черт этого романа, не рассмотрел их применительно к общей проблеме отражения современности в литературе...» (Николаев Д. За литературу больших проблем.— В кн.: Держать руку на пульсе жизни. М., 1958, с. 138).

Более благожелательно отнеслась критика к переработанному изданию романа (Метченко А. Об искусстве художественного синтеза.— Звезда, 1959, № 5, с. 175—187; Хватов А. Пути изображения характера.— Нева, 1959, № 7, с. 199—207;

Ленобль Г. На новом этапе.— Вопросы литературы, 1959, № 7, с. 25—50; Фоменко Л. О мастерстве романиста.— Москва, 1959, № 8, с. 198—205; Бурсов Б. Писатель как творческая индивидуальность.— Звезда, 1959, № 8, с. 196—207 и т. д.). Л. Фоменко, отдавая должное эмоциональной силе романа — «...роман написан вдумчиво, страстно, иные главы с болью, с раздумьями, с обобщениями»,— как ведущее определял публицистическое начало произведения. Говоря о «незаурядной хватке автора», В. Перцов констатировал: «Г. Николаева не идет в глубь темы, не вынашивает, как художник, своих образов, желая ответить на неотложные вопросы дня. Это задача святая, но в решении ее искусство всегда будет спорить с беллетристикой» (с. 205).

Огромная волна критики поднялась в 1961 году после выхода на экраны фильма (сценарий Г. Николаевой и М. Сагаловича, режиссер В. Басов). С восторженными отзывами выступили почти все центральные газеты, журналы «Огонек», «Смена» и т. д.

В 1962 г. предпринимаются новые попытки разобраться в таком противоречивом явлении, как роман «Битва в пути». И. Виноградов выступает против нравственных нормативов в решении семейного конфликта: «...человек по природе своей — свободное существо... для него не может быть нормальным принуждение — в том числе и в любви» (По поводу одной «вечной» темы.— Новый мир, 1962, № 8, с. 251). В «Битве в пути» критик видит не столько внимательное художественное исследование жизни, сколько конструирование «всеобщих» нравственных сентенций».

В излишней дидактичности упрекает Г. Николаеву А. Турков (Поэзия созидания. М., 1962, с. 238—248): «Г. Николаева, видимо, не замечает, что она заведомо обедняет своих героев, навязывая им определенный стандарт мышления и чувств».

Столь суровое отношение критики к роману сочеталось с невероятной читательской популярностью. «Битва в пути» вызвала также значительный международный резонанс. После публикации романа в «Октябре» письма с просьбами о разрешении издать его шли из различных издательств Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Германии, Польши, Югославии, Вьетнама и т. д. Роман получает Большую золотую медаль Общества германо-советской дружбы. В центральном органе Германской коммунистической партии «Нойес Дойчланд» в течение года продолжается дискуссия по поводу романа. На заводах ГДР разворачивается бахиревское движение. Роман издается в американском «Атлантик Мансли пресс», в итальянском издательстве Альдо Гарцанти, во французском «Клубе друзей прогрессивной книги» и пр.

Жорж Сориа, переводчик романа на французский язык (вышедшего во Франции под названием «Инженер Бахирев»), так

объясняет успех этой книги в Париже: «Автор как... хирург вскрывает раны, чтобы возвратить организму полную силу. При чтении некоторых открывков сжимается горло, появляются на глазах слезы. Для Галины Николаевой социализм, коммунизм не являются какой-то догмой, в этих понятиях заключается то, что люди произвели лучшего в двух последних столетиях в своих думах и в поисках системы, отвечающей стремлениям массы» (ф. 2292, оп. 2, ед. хр. 130).

На читательские конференции автора «Битвы в пути» приглашают различные редакции и издательства Италии и Франции. «После нашей короткой беседы,— пишут из редакции французского журнала «Клартэ»,— мы получили новые вопросы, посланные студентами — не коммунистами... Было бы великолепно, если бы мы могли встретиться хоть на короткое время, если это возможно... (ф. 2292, оп. 1, ед. хр. 195). В библиографическом проспекте издательства фабрично-заводского комитета заводов Рено, включающем американскую и русскую классику, на первой странице объявлен «Инженер Бахирев».

Ретроспективное осмысление «Битвы в пути» после создания «Человека со стороны» И. Дворецкого, «Премии» А. Гельмана и др. произведений, в которых видно продолжение многих характеров и конфликтов романа, приводит критиков к выводу о его актуальности и в наши дни. Так, Е. Каплинская отмечает, «как непреходяще значителен философский смысл конфликта между Бахиревым и Вальганом и в каком множестве раз возникал он в произведениях о рабочем классе всей последующей поры, во скольких ипостасях и воплощениях, трактовках, да и просто повторениях» (Каплинская Е. Перечитывая роман Галины Николаевой.— Литературная газета, 1986, 5 марта).

По мотивам романа Г. Николаева в соавторстве с драматургом С. Радзинским написала пьесу, поставленную в театре им. Моссовета; для МХАТа инсценировал роман режиссер Г. Герасимов. Пьеса прошла во многих театрах страны.

Роман публикуется по последнему прижизненному изданию (Гослитиздат, 1963).

А. Александрова

СОДЕРЖАНИЕ

Николаева Г. Е.

Н63 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Битва в пути: Роман / Сост. М. Сагаловича; Научная подгот. текста и коммент. А. Александровой.— М.: Худож. лит., 1987.— 671 с.

Настоящий том представляет широко известный роман Г. Николаевой «Битва в пути» (1957), спектр проблем которого остается животрепещущим на протяжении многих и многих лет.

Н $\frac{4702010200\text{-}278}{028(01)\text{-}87}$ подписное

ББК 84Р7

Галина Евгеньевна
Николаева

Собрание сочинений

Том второй

Редактор
Т. Шеханова

Художественный редактор
Т. Самигулин

Технический редактор
Г. Такташова

Корректоры Б. Тумян, Т. Филиппова

ИБ № 4726

Сдано в набор 24.11.86. Подписано к печати 22.05.87. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд. л. 41,8. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2614. Заказ 3351. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.